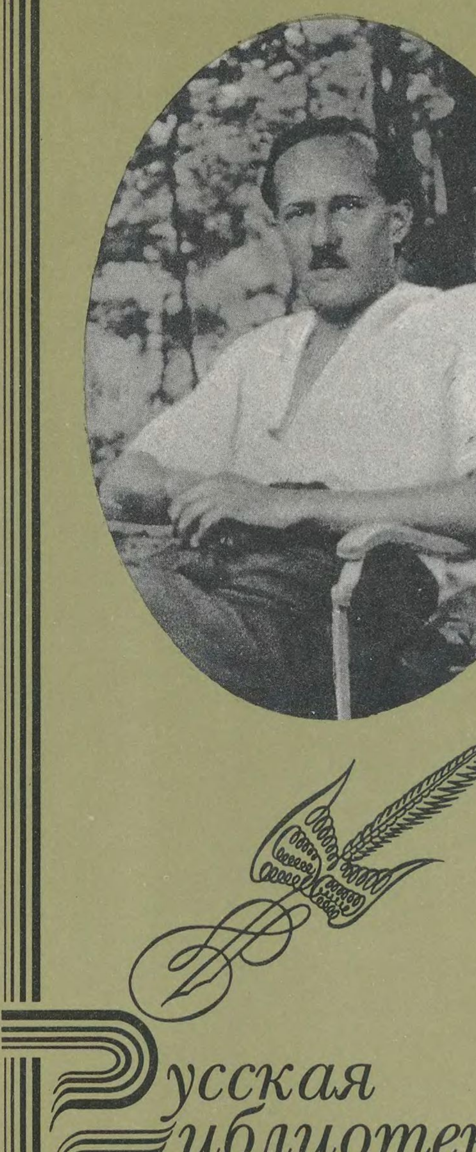
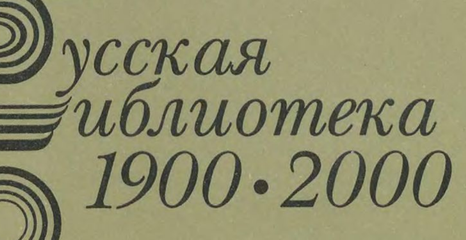
Михаил ОСОРГИН

Михаил ОСОРГИН







Русская библиотека 1900 • 2000

Михаил ОСОРГИН





усская
иблиотека
1900·2000



Михаил
ОСОРГИН

собрание сочинений

Михаил

ОСОРГИН



собрание сочинений

том 1

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

роман

ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ

РАССКАЗЫ

том 2

СТАРИННЫЕ РАССКАЗЫ



Михаил ОСОРГИН



собрание сочинений

том 2





МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ • НПК "ИНТЕЛВАК"

1999

УДК 82 Осоргин 2
ББК 84 Р
О-75

Художник
Е. Б. Чупрыгин

Осоргин М. А.
О-75 Собрание сочинений. Т. 2. Старинные рассказы / Составление, послесловие О. Ю. Авдеевой. Комментарии О. Ю. Авдеевой и А. И. Серкова. - М.: Моск. рабочий; НПК "Интелвак", 1999. - 560 с.

ISBN 5-239-01988-6 (т.2) ISBN 5-93264-003-0 (т.2)
ISBN 5-239-01983-5 ISBN 5-93264-004-9

Впервые издаются вместе *все* исторические рассказы Михаила Осоргина. Основанные на документах русской истории, исторических воспоминаниях, они являют образец высочайшего художественного осмысления фактов, тончайшей стилизации, любви и бережного отношения к родному языку.

УДК 82 Осоргин 2
ББК 84 Р

СТАРИННЫЕ РАССКАЗЫ

СОЛОВЕЙ

Пойдет сейчас рассказ о доле соловьиной – об участи одного соловья, своей судьбой предсказавшего судьбу патриарха Никона. А сам соловей о том ничего не знал.

Соловей, малая серая пташка, вернулся из теплых стран к себе на родину, в Валдайский уезд Новгородской губернии. Местом жительства избрал тот остров на озере Валдайском, где стоял Никоном построенный Иверский монастырь.

Островок лесистый, и кругом большого озера тоже леса и леса, а само озеро полно рыбы. В уездном городке Валдае жители промышляли литьем колоколов и бубенчиков, от самого большого до самого маленького, годного под дугу; об этом всякий знает по двум стишкам:

И колокольчик, дар Валдая,
Звучит уныло под дугой.

И еще жители были знамениты своими валдайскими баранками отменного вкуса. А чем они занимаются нынче, – не знаю; колокола никому не нужны, заместо бубенцов треплют люди языками, а про баранки рассказывают деткам в сказках, да и то на ухо.

Соловей выбрал себе остров за красоту и спокойствие. Прилетел сюда холостым, повертел хвостом и женился. Вместе с женой вили гнездо, устилали пухом, а дальнейшее – забота женская, пока не выведутся птенцы, которых кормить опять придется вместе. В ожидании соловей занимался прямым своим делом: выступал солистом в ночных концертах.

Соловьиное пенье – дело русское; иностранцы ничего о нем толком не знают, у них даже и нет соловейной науки. И рассказать им про нее невозможно, потому что у них нет под-

ходящих слов. Никакой переводчик не переведет на иностранный язык всех тонкостей переводов (колен) соловьиного пенья: пульканье, клокотанье, раскат, плёнканье, дробь, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня, почин, оттолчка...

Наш валдайский соловей был великим знатоком всех этих переводов, так что мог бы потягаться и с курским. Особенно хорошо умел запускать лешеву дудку и юлиную стукотню (когда у места); по раскату же был первым мастером: где и раскатиться, как не на острове среди озера! И, слушая его, монахи по весне спали "соловьиным сном", – ворочаясь с боку на бок и вздыхая.

И вот однажды, напившись росы с березового листа (это для соловья, как для человека – рюмка спиртного), соловей прочистил нос, пулькнул, булькнул, перекатил дробь и только хотел раскатиться, как слышит: звякнул на монастырской колокольне малый звонец, а за ним загудели колокола, благовестные и полиелейные. И тогда же донеслось до соловья из монастырского собора осьмогласное на два лика пенье. И было это так необыкновенно, что соловей сорвал голос на гусачка, стукнул дважды – и умолк.

Соловьиха же, сидя в гнезде на яйцах и невольно очнувшись от сладкой дремы, про себя сказала: "Ке-се-ке-се-кеса?"

Это было в майскую ночь одна тысяча шестьсот шестьдесят шестого года: заметь, что после тысячи идет число звериное! А по-монастырски, в 174 году.

И возревновал соловей: какие такие могут быть колена, каких он не знал?

Возревновав, – решил побывать на месте, посмотреть и послушать, в чем тут дело. А кстати, шел слух, что в монастыре густо бродят черные тараканы: после мурашиных яиц – первое соловьиное лакомство, как и говорится в пословице: "Падок соловей на таракана, человек – на льстивые речи".

И вот что случилось дальше, как отписывает о сем архимандрит Филофей в своей грамоте:

"Мая в 20 число, в шестую неделю по Пасце, в соборной церкви на утрени, на втором чтении, пошел из церкви в притвор северными дверьми дьякон Варсонофей, и в северныхде дверях летит ему встречу птица, и тот дьякон чаял, что нетопырь летит, и учал на неё махать и в церковь не пускать, и та-де птица мимо его пролетила, и через братию, которые седили подле дверей, полетила вверх через деисусы в олтарь".

Дьякон Варсонофей был человек степенный, почти что не пьющий, – разве для прочистки голоса, – и любил поря-

док; а виданное ли дело, чтобы нетопыри и птицы залетали в алтарь пачкать? Замахал дьякон широкими рукавами рясы, а не достав, искусился сшибить незваную гостью орарем, сняв таковой с плеча. Но, как уже описано, не убоялась птица пролететь через деисусы – тройную икону Спасителя, Богоматери и Предтечи – и скрылась в алтаре.

Не гнаться же за ней почтенному и грузному Варсонофею, большому мастеру по части ловли рыбной, но в птичьей ловитве неискушенному! И все бы ничего бы, если бы не случилось чудного дела, а именно:

"И как начали петь степенную песнь, первой антифон, и в олтари на горном месте седя, преж почал посвистывать по обычаю, и защокотал, и запел, и пропел трижды, и то пенье мы, архимарит, и наместник, и строитель, и братия, слышали".

А нуте, монахи, сразимся, кто лучше! Ваши ли распевы строгого неизменного чина: знаменный, трестрочный, демественный уставной, мусикийский киевский – или же наш соловьиный восторг без чинов и запретов: и бульк, и клык, и щелк, и дробь, и всяческая стукотня под любую лесную птицу, хочешь – под кукушку, а то под дятла; а желаете – свисток с горошиной или базарная детская дудочка.

Замерли монахи: откуда такое пенье?

Первым усмотрел в алтаре соловья пономарь и возвестил архимандриту, который с братией пошел в алтарь того соловья посмотреть. И видят: сидит малая птица на горном месте, отведенном великому господину патриарху, где и сам архимандрит и наместник не садятся. Когда же ввалились черные монахи с сизыми носами, – убоялся певец и начал биться крыльями в окне, ударяясь о зеленое стекло с переплетами. От монашеского духу захотелось ему на волю.

Может быть, и вылетел бы прежней дорогой – через деисусы в выходную дверь собора, но монахи порешили изловить певчую птичку. Один сбегал за лестницей, другой за клеткой. Молодому послушнику, здоровому детине, приказано было ловить соловья руками и скуфьей.

Знающий человек скажет, что так соловья можно только загубить. Даже на воле соловьев ловят с великой осторожностью: плетеным тайничком, запрокидной сеткой, лучше всего – понцами в два полотна или же лучком – сеткой на обруче. Иначе помнешь, и от перепугу соловей лишится голосу.

Пока бегали – соловей бился в окне, как большая бабочка. А когда малый, взобравшись на лестницу, почал цапать его мужицкими лапами, как ловят муху на стекле, – полетели вниз

перышки, на святой алтарь. Приняв, зажал в горсть, сунул в скуфью, слез и принес отцу архимандриту.

Отогнув борток скуфьи, отец архимандрит заглянул внутрь, – а за ним вся черная братия, так что и свет заслонили. Велел всем расступиться, остались только сам архимандрит Филофей, наместник Паисий и строитель Евфимий. И тогда увидали синеву замкнутых век мертвой птички, понапрасну загубленной.

И было так обидно, что дьякон Варсонофей, забыв о святости места, набросился на неловкого парня, дал ему согнутым перстом по затылку и сказал напраслину про его мамашу, каковое слово, за общим говором, осталось незамеченным.

* * *

Про смерть соловья разнесли молву малые пташки: ласточки, синички, воробьи, щеглы, чижики. И весть об этом донеслась до великого господина, святейшего Никона-патриарха, который проживал в то время в своем любимом Воскресенском монастыре. Тут тоже, по реке Истре, были хороши леса и соловьев было немало. Их пенье доносилось до ушей патриарха, когда он засиживался до глубокой ночи за книгами и за раздумьями о новокнижном мятеже. В те дни упрямый Никон готовил последний и жестокий удар своим врагам, ревнителям старой веры, двуперстого сложения и сугубой аллилуйи. Но, занимаясь большим делом, Никон, суетный и капризный, никогда не упускал путаться в пустяках. Узнав про событие в Иверском монастыре, – взволновался и обиделся, что не был своевременно извещен подначальными монахами про то, как в монастырскую соборную церковь влетел соловей, сел на его, великого господина, горном месте, пел дивно, после чего погиб в руках самого архимандрита. Проведают про такой случай враги – распустят небывальщину про великого господина!

И пишет с Никонова голоса приказный Евстафий Глумилов:

"И как к вам сия грамота придет, и вам бы о том деле отписать, не замотчав (не умедля) ни часу обо всем подробну: как тот соловей появился в церкви, и в кое время, и в коем часу, и как было, и на нашем, великого господина, месте тот соловей пел, и сидел на коем месте, и кто преж его осмотрил, и кто его преж отдал тебе архимариту, и как ты его принял, и долго ли у тебя он был в руках и пел на какой перевод?"

Смятение и страх в Иверском монастыре – всех больше перепуган дьякон Варсонофей, который махал орарем и дал подзатыльник малому: как бы и о том не проведал великий господин. Была ли та птичка подослана дьяволом, или загублена чья непорочная душа? И как о том проведал сам патриарх? И какое будет теперь его решение? И кому быть в ответе?

За ответную отписку сел сам архимандрит Филофей, советниками ему иеромонах Паисий и строитель Евфимий, а дьякона даже не допускали в келью. Отписано в подробности, как приказывала грамота, а закончено кроткими словами:

“А есть ли б жив был, и мы хотели его послать тебе, великому господину, простотою своею и не писали, что он умер и послать некого. И о сем у тебя, милостивого отца, прощения просим, что о том соловье простотою своею к тебе, милостивому отцу, не писали”.

Отписку послали с нарочным в месяце июне в двадцать третий день. Что будет – ждали со смирением и надеждою, – да так ничего худого и не случилось.

Улетели соловьи в теплые страны, к весне вернулись на знакомые места и к новой зиме опять отлетели. В декабре 1667 года стояло Валдайское озеро сковано льдом, дьякон Варсонофей возился с рыболовною сетью над прорубью, братия подтапливала печи и отстаивала долгие службы, окрестные жители лили бубенцы и колокольчики, по воскресеньям закусывали бубликами.

И только к новому году добежала до монастыря весть, что великий господин патриарх, крамолами честолюбия вельмож и суеверия раскольников, лишен царского доверия и заточен в Ферапонтов монастырь.

И тогда поняли монахи, что недаром прилетел соловей в церковный алтарь и что своим дивным троекратным пеньем он возвестил победу великого господина на соборе, а вслед за тем – скорое его падение от грубых рук. Потому он и взволновался, узнав о монастырском событии, потому и послал опрос о дне и часе и о том, на какой перевод пел соловей, и подлинно ли сидел на горном, его, великого господина, месте. Узнав же, почуял свою судьбу и все, как по писаному и по предсказанному, выполнил.

И только дьякон Варсонофей, умом тугим и непросветленным, так и не мог до конца додумать, что было бы, если бы удалось ему тогда вымахать птицу орарем и не допустить ее до пролета через деисусы. Может быть, все пошло бы по-иному, и великий господин пребывал бы по-прежнему в Новом Иерусалиме.

Но так как о дьяконе Варсонофее, ни об его opape, ни о подзатыльнике, ни о неосторожной его напраслине, ни о многих иных подробностях в документах ничего не имеется, прибавлено же это по усердию написателя сих строк, то и разрешить дьяконовых сомнений мы не можем. И единственно известно, что как прилетали соловьи на Валдайский остров, так прилетают они и ныне, хотя утекло с той поры не только много воды, но немало и крови, колокольчики же и бубенчики в тех краях звякать и звенеть навсегда перестали.

ВЫБОР НЕВЕСТЫ

В черевичках на босу ногу Наташенька, Наталья Кирилловна, спускалась утром на погребицу. Шла туда с тремя девками, но сама и замок отпирала и слезала по холодной и скользкой лесенке на лед, где рядами стояли молочные крынки, деревянные чашки с простоквашей, чаны браги и пива, кадушки с соленьями и недельный запас свежей убоины. Охватывало боярышню запахом плесени и пронзительным холодком, который, пожалуй, был даже приятен после сна в душных дядюшкиных горницах. Руками прекрасными и белоснежными подавала снизу девкам разные припасы, сколько было надобно к столу и на дворню, а себе за труды прихватывала моченое яблочко, которое очень любила есть по утрам раньше всего прочего. Отсюда две девки уходили в поварскую, а боярышня с третьей навещала еще подполье, где хранились вина и наливки, – тоже выдать дневной запас. И когда шли по двору, – со всех концов сбегались и слетались к ним куры, гуси, кривобокие утки и провожали до крыльца.

Приодевшись со скромностью, но как полагается боярышне, Наталья Кирилловна спешила в приходскую церковь соседнего с Алешней села Желчина. Здесь у нее было свое место – у стенки под правым крылосом, не на виду. Молилась усердно, а о чем молилась – ее дело. Называли ее желчинской черничкой и дивились, что она неохотна до игрищ и хороводов и столь прилежна к молитве. Молодые соседи, дворяне Коробьины, Худековы, Ляпуновы, Остросаблины, Казначеевы, заманивали ее в общее веселье редко и с трудом, а когда удавалось, то все девушки вкруг нее как бы линяли и выцветали, и больше смотреть было не на кого, – смотрели на нее. Ее такое внимание смущало: посидит немного и уходит домой, где дела по хозяйству всегда много, потому что дядюшка, отцов братец, боярин богатейший, только на нее во всем и по-

лагался и любовно называл ее “племянинкой Кирилловной”.

Была весна ее жизни, преддверие будущего. И это будущее рисовалось простым: богатые родичи пристроят в замужество за равного человека, хоть незнатного, но с достоинством. И тогда будет свое хозяйство и своя семья.

Была Наташенька очень красива: с юности рост большой, статна, бела, над черными глазами – коромысла бровей, волосы длинны и густы. Характер покладистый, вид смирненький, ласкова, – а что на душе у девушки, про то ни родители, ни подружки не знают.

* * *

Областным и другим городам от царя Алексея Михайловича приказ: через людей доверенных из окольничьих или дворян с дьяками, под зорким глазом наместников и воевод, осмотреть всех девиц округа, из бояр и простых, званием не стесняясь, и которые девки особо хороши и по всем статям здоровы, про тех дать знать на Москву. Найлучших отобравши, привозить их для осмотра, помещая на Москве у родичей с почтенными женщинами, а дальше указано будет.

Овдовел царь: не можно царю оставаться вдовым. Выбор невесты – дело нелегкое: не просто царская радость, а мать будущих детей царских. Раньше сгоняли на Москву отборных девиц полторы тысячи и боле, ныне примут только отборнейших, одобренных усердием местной власти. Которые окажутся отменно хороши, тех возьмут в верх для царского смотра, а не подошедшим под царский вкус все равно награда. Какая лучше всех – той быть царицей.

С ноября месяца по апрель – полна Москва красавиц. Из них идут первыми Ивлева дочь Голохвастова Оксинья, да Смирнова дочь Демского Марфа, да Васильева дочь Викентьева Марфа, да Анна Кобылина, да Львова дочь Ляпунова Овдотья, да Ивана Беляева дочь черница, может быть, прекраснее ее девки и не найти, кабы не было еще Кирилловой дочери Нарышкина Натальи, которую прислали из деревни, а проживает у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, царского первого министра.

Царь Алексей Михайлович смотром не спешит, наверх подымается в месяц три раза, в шести покоях смотреть по девке. Сразу не угадаешь. Ему в помощь боярин Богдан Хитрово, знаток женских статей, и у которой руки худоваты, плечо не ладно скатывается, на лице рябинка, нога в коленке не

совершенна, волос не блестит – все это боярин понимает тонко. Доктор Стефан, ученый немец, тот судит по своей части: довольно ли в тазу широка, в груди обильна, да хороша ли кровь, – все в рассуждении будущих детей. По части нужных подробностей – повивальные бабки. Чтобы не было никакой ошибки.

У царя не об одной жене забота: надобно заново украшать кремлевский дворец. Раньше работали русские мастеры, упражнялись в простой резьбе. Ныне царь завел немцев и поляков, пошли по стенам золотые кожи, резьба стала фигурной, в Столовой палате на потолке звездотечное небесное движение, в будущих царицыных хоромах у подволоки и от стен атлас зеленый отнят и вместо его обито полотнами и выгрунтовано мелом, а в сенях по углам и стенам обито флемованными дорожники и насыпано стеклярусом по зеленой земле; за письмом стенным и травным наблюдает славный иконописец Симон Ушаков.

Готовится и царская опочивальня: выводят серным цветом обильного клопа, до царской крови жадного. Кровать поставлена новая, ореховая, резная немецкая, на четырех деревянных пуклях, а пукли в птичьих ногтях; кругом кровати верхние и исподние подзоры резные позолочены, резь сквозная, личины человеческие, и птицы, и травы, а со сторон обито камкою цветною, кругом по камке галун серебряной прикреплен гвоздми медными. Поверх кровати жена нага резная золочена, у ней в правой руке шпага, а в левой одежда; по углам на четырех яблоках четыре птицы крылаты золоченые. Сама постеля пуховая, наволока – камка кармазин червчата бела-желта-зелена, подушка – наволока атлас червчат. Полог сарапатный полосат большой. Одеяло на соболях, атлас – по серебряной земле репьи и травы шелковые, грива – атлас золотой по червчатой земле с шелки с белым, с лазоревым, с зеленым. Завес кизылбашской – по дымчатой земле птицы и травы разных шелков, подложен тафтою зеленою.

И та кровать не самая парадная, и то одеяло не самое ценное. Для будущей царицы заготовлено одеяло – оксамит золотной, по нем полосы на горностаях, грива – по атласу червчатому низано жемчугом, в гриве двадцать два изумруда, и в том числе два камня зеленых граненых. Спать под таким одеялом не можно – задавит тяжестью; взор же радует самый прихотливый.

С домашними заботами справившись, к ночи назначил тишайший царь осмотр девушек в верхних хоромах, шестерых зараз, среди них Кириллова дочь Нарышкина Наталья.

* * *

Прошла Наташенька через все муки и всякий девичий стыд: третий месяц тайно смотрят ее сенаторы, и боярин Хитрово, и дохтуры, и бабки. Взяли, наконец, к государю вверх, и с ней две тетки и мамка, живут в небольшой комнате, обитой сукнами, постеля велика и содержится бережно, тетки с мамкой спят на боковых скамьях по стенам. Живут неделю, другую, царь на смотрины не удосужился. Девушка даже привыкла, ночью спит сладко в натопленной комнате под легким полотном. Но в день назначенный не дали ни простыни, ни сорочки, комнату истопив еще жарче. Уложили рано, тетки с мамкой с вечера стоят на ногах возле постели, ведут беседу тихую, а Наташеньке велено спать, как положили, – и сохрани Боже шевелиться при смотринах! Так она и лежит как бы в огне, в стыду и почти что в бесчувствии от страха.

Тишайший царь на парадах любил надевать немецкое платье, но в обычный день одевался просто: на сорочку и на становой кафтан – обычный легкий зипун, в ру́ках инроговой посох. Так подымался и на смотрины, с дохтуром и старым духо́вником, да с двумя девками, которые несли каждая по толстой свече. Перед осмотром усердно молился, и чтобы Бог вразумил его, и чтобы мысль не отвлекалась случайной женской прелестью, а всех бы посмотреть со здравым вниманием, избирая не любовницу, а супругу на долгие годы. Но, конечно, по человечеству, не всегда убегал радостного волненья, обходя покои наипрекраснейших девушек, отобранных знатоками, и случалось, что каждая новая казалась ему лучше всех прежде виденных, и уж краше, пожалуй, и быть не может, не к чему и тянуть дальше томительное вдовство. Однако сдерживался и продолжал смотрины, иных отчетливо и надолго запоминая.

В покоях, обитых и устланных сукнами, царских шагов почти что и не слышно. Когда входили в комнату, приставленные женщины молча кланялись в пояс, девки со свечами становились по обе стороны постели, доктор с попом задерживались у двери, пока царь при надобности не позовет. Сам Тишайший подходил с лицом спокойным и ласковым, не позволяя себе неприличной спешки и торопливости чувств, без смущения, как бы выполняя царский долг или выбирая драгоценный камень для своей короны. Не наклоняясь и не трогая, почтенно поглаживая бороду, оглядывал будто бы спящую девицу во всех статях взглядом не наглым, не оскорбительным, но мужским и опытным, без лишнего ханжества. Огля-

девши, молча повертывался и выходил, а девки со свечами забегали вперед. Если уж очень приглянулась ему виденная картина – тихим голосом приказывал дохтуру Стефану ту девицу в подробностях проверить и на случай записать и запомнить.

Февраля в первый день дошло и до Натальи Нарышкиной. Под вечер плакала и охала, трижды мыли ей лицо холодной водой, к ночи хоть и успокоилась, но распылалась, совсем замучила теток и мамку, и едва к нужному времени могли ее уложить и раскидать ровненько и красиво, лучшего не скрывая, ничего слишком не выставляя на вид, а прекрасным лицом прямо на смотрящего, чтобы видел и дуги бровей, и рисунок губ.

И уж если эта картина не хороша, – тогда придется царю искать не дома, а где-нибудь за морем; может быть, там и найдется лучше.

Царь вошел, как входил к другим, и девки со свечами осветили красавицу. И неизвестно, что было бы, если бы не случилось, что Наташенька нарушила запрет открывать глаза. Она и не открыла, а только в одном глазке сделала малую щелочку, едва дрогнувши веком. Когда же сквозь эту щелочку увидела перед собой царскую бороду и два мужских глаза, прямо на нее смотрящие, то так застыдилась, что уже не могла сдержать девичьей застенчивости и, как рассказывают, легонько вскрикнула и закрылась, как могла, “обема рукама”.

Дело неслыханное, явная царю обида! Тетки с мамкой бросились, чтобы те руки отнять, а как она не давалась, то царь, увидав даже сверх обычного, сам стыдливо засмеялся и поспешил уйти, крепко ударяя в пол инроговым посохом. И было горе в оставленном им покое, потому что женщины решили: всем надеждам отныне конец! Могла девка стать царицей, а теперь прогонят ее с позором.

Еще рассказывают, что в ту же ночь царь досмотрел и еще двух девиц, одна из них – черничка Иванова дочь Беляева Овдотья, которую оберегали и готовили Ивановская посестрия Егакова да старица Ираида. Та черничка была поистине прекрасна и лежала, как положили, не шелохнувшись и вся замерев, будто в настоящем сне. Но чего-то царь на нее, как и на другую, смотрел рассеянно, словно бы думая о постороннем или что вспоминая, так что настоящей ее красоты почти и не заметил.

Смотрел царь невест и еще не раз, до самого месяца апреля, в середине которого все собранные девицы были распущены по домам с подарками, боярину же Артамону Матвееву

сказано было его девицу маленько позадержать – царь ее еще на дому у него посмотрит. И когда смотрел, то теперь Наташенька была не как там, а в телогрее атлас зелен полосат с волоченым золотом на пупках собольих, кружило делано в кружки червчат шелк с золотом и серебром. И была, сказывают, ничуть не хуже, чем там, и от царского взгляда не убегала, только пылала заревом молодого пожара. Царь же смотрел на нее неотрывно, и не как царь, а как неразумный жених, не по обычаю торопливый, не по возрасту молодой.

Дальше известно: стала Наталья Нарышкина русской царицей и тем над всеми возвысилась и осталась памятной в истории, что родила царю сына, а царству – Петра Великого. И выходит, что в выборе супруги тишайший царь Алексей Михайлович не ошибся.

АВВАКУМ

Пятнадцатый год сидит в пустозерском заточении, в земляной тюрьме протопоп Аввакум. Тело изныло и гниет, воля не сломлена. Прожито шесть десятков лет, из них сорок лет в борьбе и вечном гонении. Нет таких мучений, каких не испытал бы и не вынес великий столп истинного православия и двуперстного сложения, ругатель носатого и брюхатого борзого кобеля Никона. Одно осталось – сжечь праведника в срубе. Если сожгут – дым прямым столбом подымется к небу, и все равно черти ненадолго возрадуются: правая вера победит.

Дня своей смерти никто не знает, ни простец, ни искусник, ни философ, ни гадатель; свиньи и коровы знают больше, чем альманашники и зодейщики, измеряющие небо и землю, а часа своей смерти не знающие. Случится – сожгут Аввакума, не случится – выйдет он на волю и всех собак-никонианцев развешает по дубу, лучшему наступит на горло о Христе Исусе, из скверне йшего выпустит сок, чтобы не поганил веры проклятой ересью.

Сорок лет назад, когда был Аввакум рукоположен во дьяконы, а потом и в попы, возгорелся в нем огнепальный дух, и он вступил в жестокую борьбу с притеснителями-начальниками, был суров и с паствой. За то был не раз бит жестоко, был преследован и изгнан из своего села Лопатицы. С молодой женой Настасьей Марковной и с рожденным сыном побрел в Москву добиваться правды – и вернулся с грамотой духовных отцов; но дом свой нашел разрушенным и хозяй-

ство разоренным. Едва поправился, как опять дьявол воздвиг на него бурю. Пришли в село скоморохи с медведями, с бубнами и с домрами, а Аввакум того не стерпел, скомарохов изгнал, медведей выпустил в поле, а ухари и бубны изломал в щепы и лоскутья. За это боярин Василий Шереметьев, плывя Волгой в Казань на воеводство, затащил Аввакума на судно и велел бросить его в Волгу, да Бог спас. Били нещадно и опять изгнали из села. Побыв в Москве, назначен был протопопом в Юрьевец-Повольский. Тут Аввакум повел борьбу с бабьим блудом – и не прошло восьми недель, как дьявол научил баб, мужиков и попов прийти к патриархову приказу, где Аввакум вершал духовные дела, и вытащить его из приказа на улицу. Мужики были с батожьем, бабы с рычагами; протопопа среди улицы били и топтали ногами, пока замертво не стащили под избной угол. Спас его воевода с пушкарями – умчали на лошади в его дворишко, а оттуда на третий день ночью ушел с женой и детьми на Москву.

Таково было начало служения Аввакума, первый десяток лет, еще до Никона. Таковы были цветочки, а ягодки впереди. Когда же на патриарший престол сел Никон – приспе время страдания, и почуял Аввакум, яко зима хощет быти: сердце озябло и ноги задрожали! Приказал Никон в церкви поклоны творить не на колену, а в пояс и креститься тремя персты. Того не потерпели ревнители истинного православия, и первым среди них Аввакум. Подали жалобу царю Алексею Михайловичу с выписками о кресте и о поклонах из святых книг, а царь отдал Никону. За это дело Никон кого, сняв скуфью, уморил, кого сослал, а протопопа Аввакума взяли от всенощной Борис Нелединский со стрельцами и на патриаршем дворе посадили на цепь, а потом перевезли в земляную тюрьму, в Андроньев монастырь, и держали без света в яме дни и ночи. Сидя на цепи, протопоп молился и клал поклоны, сам не зная, на восток ли или на запад, и никто к нему не приходил – только мыши и тараканы, да кричали сверчки и было блох достаточно.

С этой поры и началась жизнь, полная чудес и непереносных страданий. В той самой земляной тюрьме помер бы от голоду, если бы на третий день не явился во тьме не то человек, не то ангел и, молитву сотворя, не подал Аввакуму кусок хлеба и превкусных щей похлебать. Скорее всего ангел, потому что человеку входа нет, а ангелу никакие пути не заказаны, и дверей он не отворял и не затворял: дивиться нечему. А наутро вывели протопопа и укоряли, что не хочет подчиниться Никону. Поволокли в церковь, драли за волосы, толкали

под бока, трясли цепью и плевали в глаза, а после увели обратно в яму, где и сидел он четыре недели, но не подчинился, не принял дьяволовой ереси, а Никона ругал и лаял псом и отступником.

В борьбе неравной ни пяди не уступил протопоп патриарху. Приводили его на патриарший двор, распяливали руки, вступали с ним в богословский спор, убеждали словами и побоями, – все напрасно. В Никитин день был крестный ход, и его в цепи везли на телеге против крестов к соборной церкви, где хотел его Никон расстричь, да заступился царь. На царя Алексея Михайловича у протопопа зла не было: накудесил много, горюн, в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветер гоня! И не раз он убеждал царя в письмах: "Перестанька ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных твоих. Право будет хорошо". И если бы царь дал ему, Аввакуму, волю, он бы их, никониян, что Илья-пророк, распластал во един день. Не осквернил бы рук своих, но и освятил. Перво бы Никона того, собаку, рассек бы начетверо, а потом их других, студных и мерзких жрецов. Ну их к черту, не надобны они святой Троице, поганцы, ни к чему не годны!

Но не он их, а они его одолели. Сослали Аввакума в Сибирь, в город Тобольск, с женой и детьми; в то время протопопица родила младенца, – так и волокли телегами, и водою, и санями, по бездорожью тринадцать недель. Ничего, доволокли.

В Тобольске архиепископ устроил Аввакума к месту, но покоя не было и тут. Дьяк Иван Струна захотел напрасно мучить протопопова дьяка Антония, а Антоний скрылся в церковь. Аввакум пел вечерню, когда прибежал Иван Струна и тут же, на крылосе, ухватил Антония за бороду и хотел тащить. Аввакум покинул вечерню, церковные двери запер и того Струну за церковный мятеж посреди церкви постегал кнутом нарочито и отпустил. Тогда сродники Струны, попы и чернецы, возмутили весь город, вломились в избу к Аввакуму, чтобы взять его и потопить в реке, да он успел бежать; после того Струну посадили на цепь за взятки.

И опять пришло горе – велено было сослать протопопа в Дауры, за тысячу верст от Москвы и больше, и мучить его дорогой за то, что продолжает лаять патриарха Никона. На Тунгуске-реке едва не затонули; протопопица кое-как повытаскала детей из воды. В ссылку протопопа провожал Афонасий Пашков с казаками и мучил напрасно: рыкал, как зверь,

бил по щекам и в голову, дал по голой спине семьдесят два удара. Сковали руки и ноги и так везли на казенном дощанике под холодным дождем; стало у протопопа кости щемить и жилы тянуть, и сердце зашлось, и умирать стал. Текла вода по брюху и по спине, а когда проходили пороги, то скованным тащили протопопа прямо по каменьям от места до места. Жену с детьми сослали отдельно, мучили, детей поморозили. В Брацком остроге держали протопопа до Филиппова поста в студеной башне, а после в теплой избе скована вместе с собаками.

Весной поехали дальше и так тащились водой и посуху четыре года, трижды тонули, многажды голодали и ели кобылятину и всякую скверну: что волк не доест, то ели протопоп с протопопицей и малые дети; два сына, не выдержав, померли в пути.

В Даурской земле выстрадано было шесть лет – но дух протопопов не сдался. А когда вызвали его обратно в Москву, пришлось ехать по голому льду на нартах. Дали протопопу под детей и под рухлядь двух кляч, а сам с протопопицей брели пеши. Много раз падала протопопица без сил на скользком – и встать не могла. В слабости иной раз пеняла на мужа:

– Долго ли муки сея, протопоп, будет?

А он ей отвечал:

– Марковна, до самые смерти!

И, встав, говорила протопопица со вздохом:

– Добро, Петрович, ино еще побредем.

Ныне, сидя в срубе пятнадцатый год на цепи и заточенным, вспоминает протопоп протопопицу с лаской и любовью. Радостного мало было – больше страданья непереносного. Вот еще была в пути курочка черненька, помогала нужде путников, весь год давала по два яичка в день. Был такой случай: у одной боярыни переслепли куры и стали мереть; принесла боярыня кур к протопопу, чтобы о них помолился. Протопоп молебен пел, воду святил, куров кропил и кадил – и куры те исцелели. Одну курочку себе оставил, а как выпала дальняя дорога, взяли и курочку. И та птичка одушевленна, Божие творение, их кормила и сама с ними кашку клевала сосновую из котла, а рыбки прилучится – и рыбку клевала. За такую курочку сто рублев – плюново дело! Да грех случился – задавили ту курочку, на нарте везя. И как на разум придет: жаль протопопу той курочки, подруги верной. Слава Богу, все устроившему благая!

Ехали из Даурской земли долго, плыли реками, волоклись землей. Горы высокие, утесы каменные, птиц зело много, гуси

и лебеди стаями, яко снег. В Байкаловом море рыба: осетры и таймени, стерляди, и омули, и сиги, и прочих родов. Все то Богом наделано для человеков, а человек Бога не молит, насыщаяся довольно – лукавствует, яко бес, скачет, яко козел, гневается, яко рысь, покаяние же отлагает на старость и потом исчезает, во свет ли или во тьму – явит то день судный.

В Енисейске зимовали, лето плыли, в Тобольске опять зимовали, шли до Москвы три года. А в пути и во всех местах не упускал протопоп проповедовать веру истинную и обличать Никонову ересь с великим дерзновением. Усумнился было, жалея жену и детей, через то страдавших: говорить ли ему или молчать? Спросил о том протопопицу Настасью Марковну, друга верного и сопутника страданий, а она ему:

– Что ты, Петрович, говоришь? Я тебя с детьми благословляю: дерзай проповедовать слово Божье по-прежнему, а о нас не тужи. Поди, поди, Петрович, обличай блудню еретическую!

В Москве встретили протопопа с лаской и лестью – хотели переломить его непреклонную волю, да напросно. Лаской не взяли, хотели убедить батожьем, мучили много. Подержав на цепи в Пафнутьевском монастыре, опять привезли в Москву и в соборном храме расстригли и проклинали, отрезав протопопу и бороду, а потом болотами и грязью свели обратно в монастырь, заточили в темную палатку и держали год без мала. И еще привозили в Москву уговаривать и мучить, и опять заточали, пока не замуравили в Пустозерье. Других же, протопоповых сподвижников, кого пересилили и заставили отречься, а кого казнили смертью лютой: жгли живыми, резали языки, гноили в земле закопанных. А кому резали языки, тем иным Господь отращивал заново и без следа. И огнем пытали, и на дыбу вешали, антихристовы шиши, извели смертию верных довольно.

Сидя в заточении пятнадцать лет, учил расстрига-протопоп людей, сколько мог, приходящих словом, а дальних – посланиями. И царям писал, Алексею, а по смерти его Федору, зла не поминая, убеждая прогнать тайных римских шишей, богоборцев и прилагатаев, напитавших народ аспидовым ядом. Писал письма верным боярам, слал послания рабам Бога вышнего и отцам поморским, толковал Книгу Притчей и Соломоновых Премудростей, словом казнил Никона, дьяволова сына и овчеобразного волка.

Ни годы, ни страдания не согнули – хоть опять волоки в Сибирь по камениям и льдам, да и здесь в заточении не лучше. “Долго ли муки сея будет?” – “До самые смерти!” – “Добро, Петрович, ино еще побредем!”

* * *

Апреля 14 дня 1682 года за крепкую веру и за великие на врагов праведной веры хулы сожжен был в срубе мученик Аввакум вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором, страдальцами безмерными, ране того лишенными языка.

Господь избиенных утешает ризами белыми, а нам дает время ко исправлению. Вечная им память во веки веков!

СКАЗАНИЕ О ТАБАШНОМ ЗЕЛЬЕ

Когда заходит солнце – распускаются трубчатые чашечки ароматнейшего из цветков, и весь вечер, всю ночь, до нового солнца благоухают. Воспета роза, возвеличена лилия, но их известность ничтожна в сравнении с мировой славой и мировой властью скромного по виду растения с тонким высоким стеблем и клейко-волосистыми овальными листьями.

Его родина – Америка. В половине четырнадцатого века его мелкие, как бурая пыль, семена отправились в путешествие и засеяли теплые побережья Африки и Азии. Двумя веками позже оно появилось в Европе, и хотя его завез сюда как будто испанец Франциско де Толедо, но французам очень хочется увенчать славой такого подвига своего соотечественника, дипломата Жана Нико, и нам, гостям Франции, как-то неудобно не соглашаться. Земля, открытая Колумбом, неправильно названа Америкой; цветок, ввезенный де Толедо, получил ботаническое имя – никотиана. Мы же, курильщики, называем его попросту табашным зельем, отрадой нашей души и отравой нашего тела.

Поехал английский мореплаватель Ричард Ченслер открывать новый путь по холодным морям. Испокон веков англичане суются туда, где их не ждут и куда их не звали. Ледяные поля, ледяные горы, полыньи, торосы, глетчеры. Самоеды, олени, собаки, полозья, моржовый жир. Белые медведи, киты, тюлени, пингвины, перелетные гуси и утицы. Ничего не делается аглинскому человеку, потому что ему уже известна дымная прелесть носогрейки; нового пути не открыл, а попал к нам в устье Северной Двины – местечко забавное и достаточно прохладное, а оттуда пробрался и на Москву, к царю Ивану Грозному. Царь Иван Васильевич встретил его приветливо: “Мы торговать очень согласны, – чего изволишь, именитый купец?” Ченслеру понравился наш пуш-

ной товар, и наши леса, и тогдашняя наша советская паюсная икра. Говорит: "Со своей стороны можем в обмен предложить английский пластырь, лондонский туман и уморительную травку – и жевать, и курить, и в нос пихать". На этом согласились. Съездил Ченслер домой, привез табашного зелья, забрал наших соболей и куниц, а на обратном пути погиб славный купец и мореплаватель: Бог его покарал за такое жульничество.

Надо думать, что Ченслер завез к нам не только сушеный лист, а и семена благодатного растения. И хотя нелегко прививалось у нас в те времена европейское просвещение, но этот подарок понравился, и повсюду, где климат был теплее, зацвели розовые и зелено-желтые цветочки; от солнца прятались, к ночи распускались пышно. От дней Ивана Грозного до дней Михайлы Федоровича русский человек беспрепятственно пил табак носом, клал его за губу и пускал дымом. Когда же эта сладостная отрава, по царской воле ввезенная и царями благословленная, пройдя весь путь от Москва-реки до реки Иртыша, полюбилась всему русскому народу ("Табак да баня, кабак да баба – только и надо!") – тогда стали табашников преследовать, по государеву приказу отымать табак сырой и толченой, и дымной, и на полях сеяной, а кто его жевал, курил и пил с бумашки, тем людям приказано было чинить жестокое наказание: метати их в тюрьму, бити их по торгам кнутом нещадно, рвати им ноздри, клеймити им лбы стемпелями, дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. А самый тот табак приказано жечь, чтобы одноличо табаку нигде, ни у кого не было, а кто наказан, про тех людей велеть бирючу о том их воровском деле кликать по многие дни и с тех табашников брать заповеди и поручные записи, чтобы впредь им не воровать, табаку самим не пить и никому не продавать.

Горе пошло на Руси!

Ленский воевода стольник Петр Головин сам пивал и жевал табачище; однако, государев приказ получивши, строго наказал пятидесятнику Богдану Ленивцеву имать табак у всякого и виновного представлять на воеводский суд.

Пивал с бумашки и за щеку кладывал и Богдашка Ленивцев, да нечего делать: поймал с поличным Семена Сулеша, да Мартынку Кислокваса, да Ондрюшку Козлова, да еще многих табашников, – а против поличного нет отвода. Тех людей уличенных бил кнутом на козле енисейский палач Ивашка Кулик. Но нет такой силы, которая осилила бы соблазн душистого заморского цветка, крепко прижившегося и на земле и в

тавлинках. От кнутового битья пластом лежат и Мартынка Кислоквас, и Семен, и Ондрюшка, а доносчик Ленивцев с палачом Куликом, покончив работу, тянут носами отобранное добро, косясь друг на друга: кто кого раньше в таком деле выдаст головой?

Все у нас грубо и жестоко. В просвещенной Европе было гораздо полегче: римский папа Урбан Восьмой положил на табак проклятье, а табашников велел отлучать от церкви; папа Иннокентий и нюхал, и покуривал, однако запрещенье подтвердил – не к чему народ портить; папа Бенедикт недаром был тринадцатый: и сам курил-нюхал, и всем разрешил дьявольское зелье. Но доброго папу римского опередил наш Великий Петр, усердный ценитель всякого пьянства и похмелья: с 1697 года опять стала вся Россия и за губу совать, и в нос сыпать, и дымом пускать то зелье невозбранно и беспрепятственно.

Что кому по достатку. Сирый и бедный тянул тютю́н; кто поразборчивей – бакон и махорку. Одному по вкусу табачок папушный и шнуровой, другому – бунтиковый, иному – рубанка, а тому трапезунд, америка́н, унгуш. Саратовский житель держался колонистского, приезжий требовал канастера, амерсфорта, самсона, дюбека; если же человек немецкой выучки, то подай ему винцера, гунди и фридрихсталера. И умел опытный и привычный трубакур не по цвету, так по дыму, сразу угадать: этот – виргинский, энтот – мариландский, а тот – фиалковый, попросту крестьянский.

Близко к нашим дням гремел в России повсеместно табачок жуков, при длинном чубуке – сладкое наваждение! А кто баловал нос, те в тертый табак клали малинку, а то гвоздичку, а то и фиалку. Нюхали нафырок, с ногтя большого пальца, огородив его указательным; нюхали и насоколок, из ямки меж тяжей пальца большого; а испанский табак нюхали только с кончика пальца, иначе пропадала тонкость понюшки. От старых времен, от кнута, рванья ноздрей и клейменья осталась поговорка: “Пропал ни за понюшку табаку!” Понюхав – чихали многократно, утирая нос и усы цветным платком и говоря друг другу: “На здоровье!”

Памятью благодарной вспомним и наше недавнее прошлое. Доктор курил месаксуди, адвокат – стамболи, эсер – асмолова крепчайший, эсдек – вышесредний, а кадет, – конечно, мешаный, середка наполовину. И только на одном сходились все партии – на рисовых гильзах Катыка, 250 шт. 18 к. Ныне же все народы земли российской, от Ленинграда до Камчатки, курят сорт единый: советский; едины и гильзы:

марксистские. Тот самый сорт, про который сочинен немцами короткий рассказ об охотнике.

Шел охотник по лесу и встретил черта. Черт увидал ружье и спросил:

– Это что за штука?

– Табакерка.

– А ну, дай понюхать!

Охотник выпалил в черта, а черт чихнул и прибавил:

– Дас ист штаркер табак!

* * *

– Несть ли сие вред, яко нос, исполненный сего зелия, изрыгает, яко гора Везувий, нечистые и отвратительные извержения, зане всякому гнушатися и отвращати лице свое?

– Сказано: “Очисти нос твой, яко трубу рожану, зане ветром веяти и вихрям играти”.

Спорили о табашном зелье великие начетчики, писали о нем богословы, ученые и просто писатели-табашники, и Чехов – лекцию “О вреде табака”, и Ремизов – заветный сказ “Что есть табак?”. Чехов не договорил, Ремизов переложил, дым вьется струйкой одинаково.

Сей злак есть поганое, блудное, сатанинское зелье. К ревнителям старой веры и душевной благости пробирался он потайной дверью и совращал младых и поживших. Бежали его духоборцы, гнали штундисты, проклинали молокане, хулили постники, осуждали равно и беспоповцы, и белопоповцы, и бегуны, и скопцы, и имебожники, и непокорники, и чемреки, ветвь Старого Израиля, и баптисты, и сам Лев Толстой. Кто курил табак, тот хуже пьющих горелое вино и бобом ворожащих! Открещивались от него истовым крестом: большой перст через два великие персты подле меньшого перста и середней великий перст пригнув мало. Но враг рода человеческого силен!..

Говорили староверы:

– Кто нюхает таба́ки, тот хуже собаки.

Отвечали им табашники:

– Кто курит табачок, тот Христов мужичок!

И тянули нафырок сыромолотного зеленчака, вертели собачью ножку.

Тюремные стены одолел! Не дают заключенному ни хлеба, ни мяса, только помойную бурду, – а в табаке отказать не могут. Идущему на смертную казнь – последняя утеха в папи-

росе. И против всякого горя – испытанное средство с давних лет: "Табаку за губу, всю тоску забуду!" Из всех потреб нужнейшая, из всех надобностей малейшая: "Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко". И когда уж совсем плохо, все пошло прахом, тогда говорят: "Дело – табак".

Бежит по реке пароход, на носу матрос-меряльщик. Когда нет дна, кричит: "Не маячить!", когда мель – считает четверти, а если в самый раз, только-только шест царапает по дну, тогда звучит бодрое: "По табак!"

Хлеб-соль вместе, табачок врозь. Последнюю рубашку отдают, глазом не моргнувши, а последнюю папиросу иностранец не даст ни за что, да и русский только "на затяжку", сам из руки не выпуская.

Знаменит табак и во французском участке.

Табакерками жаловали, советскими папиросами жалуют знатных приезжих дипломатов и сейчас. У Лескова в "Леди Макбет" обозвал Сергей Фиону "мирской табакеркой" – обидное название! Но лучше всего говорят про табакерку, уличая святошу и ханжу в нечистой совести:

– Свят, да не искусен: табакерочка в рукаве выпятилась!

* * *

С заката до восхода солнца благоухает никотиана табакум, цветок из семейства пасленовых, пятитычинковый родственник ночной красавицы, одурь-красавицы (беладонны), белены, дурмана, крушины и своего соперника по власти над человеческим родом – винограда. Человек сушит лист, режет, крошит, пакует, набивает, зажигает – и сладкий дымок окутывает всю землю. Там, где табак не растет, там за него отдаст самоед жену, эскимос – стадо оленей. Поэт окуривает рифму, художник полотно, философ идею. Больной сердцем запивает дымом дигиталис и камфору. У старика, немощами пододвинутого к краю могилы, последняя надежда: "Брошу курить!" И о последнюю свою папиросу он закуривает новую, с которой и отходить в вечность – легко, в ароматном облаке, с затуманенной головой. На том свете его ждут курильщики, раньше закончившие земные дела: не донесет ли на одну затяжку? Ангелы его окружают: хоть и воспрещено, а хочется и им. Вот какая сила у скромного на вид цветка! К нему подлетают мотыльки с длинным хоботом, похожим на дамский мундштук, и пьют, трепеща крылышками; мотыльки вечерние и ночные, серые, расписные, запойные, на дневных непохо-

жие. Липкими волосиками ствола и листьев он защищается от мелких букашек, иначе пропасть бы ему от тьмы горьких пьяниц и наркоманов мелкоскопического мира, – ему, призванному услаждать серое бытие крупных двуногих животных и обогащать государственные казны гражданским порохом.

И только одного мы не знаем: как же жили люди в древности, со свежими ртами и некопченой ноздрей? И не была ли их жизнь непоправимой ошибкой?

СОЖЖЕННЫЙ ДЬЯЧОК

Осенью 1720 года пошло солнышко на убыль, так что под вечер дьячок Василий Ефимов клацал зубами и содрогался, чему соответственно сотрясалась и его косичка, торчавшая крысьим хвостом. Который холод снаружи – на тот управы нет, который же внутри самого человека – тот холод можно изжить приятием обильной пищи и согревающего тело пития. И, однако, было сие пребедному дьячку недоступно за падением в людях веры и малыми доходами даже священнослужителей, а уж простому дьячку прямо пропадать. И даже жена дьячка Василия спала с тела и видом была не женщина, а как бы копченая смерть.

Разве что случится чудо!

Что чудо может спасти человека, о том дьячок Василий знал доподлинно и видал примеры. Будучи же человеком отчаянного воображения, мечтал о таком чуде денно и нощно, пока не додумался.

А как надумал, то собрал последние грошики и купил у посадских людей кроповой водки три золотника да росного ладану четверть фунта, принес домой и спрятал в чулане, где спал.

После чего тайно писал дьячок какую-то бумагу ночью, при свете плошки, а как был малограмотен, то писал ее три ночи. На четвертую ночь, под тринадцатое августа, вышел дьячок Василий из дому тайно, жены не потревожа, с собою взяв большой ржавый ключ, кадильницу и закупленные ароматы. Тем ключом, под покровом ночи, отпер он каменное подцерковье обрушившейся церкви Пресвятые Троицы, что была в Ямской Новинской Слободе Новегорода и при которой он числился в дьячках, из подцерковья же пролез по мусору и каменьям в самую церковь, даже ободрав локоть и обе коленки, после чего проник в деревянный новый притвор в честь великомученицы Параскевы, где свершались служения и куда

из старой церкви были снесены богородичные иконы Умиления и Тихвинской.

Лез дьячок не как тать, а для свершения и прославления чуда в помощь немоготе духовенства, с крохотами выгоды и для низших – для себя и исхудалой дьячихи. Сговору ни с кем не имел – сам надумал, сам и выполнял, а там будь что будет.

Был тот дьячок не пуглив и к мраку церкви привычен, а также к крысам. Взятой с собой сереной тросткой возжег свечу, раскадил в кадильнице уголья, положил росного ладану и, став посреди церкви, кадил прилежно, пока не наполнилась вся церковь благоуханиями от низу до самого купола. Пока кадил – думал усердно, достанется ли ему по загривку за подобное воровское и прелестное действо или же выручат его поп Никита Григорьев с причтом, которым предстоящее чудо сулит неисчислимую и безгрешную выгоду. Потом окропил дьячок укропной водкой пелены при образах и помост, побрызгал и в отдаленных углах, чтобы дух был крепче, и наконец зажег перед Умилением и Тихвинской самые большие свечи, завязал в узелок все принесенное и прежним ходом, по мусору – в каменное подцерковье, оттуда – в дверь, ту дверь снова на запор, вышел на улицу, докатился до дому в свой чулан, припрятал узелок и снова вышел – оповестил попа Никиту о чуде в церкви Святой Параскевы Пятницы.

Поп спал крепко, однако на зельное стучание проснулся, окошко приотворил и услышал:

– Беги, отец Никита, в церковь, где видно в окна сияние необычное!

И началась беготня. Поп позвал другого дьячка, Михайлу, с ним добежал до церкви, а когда отперли замки и проникли внутрь – увидали чудо возжжения свечей и неописуемого благоухания. С ними вошел и дьячок Василий, а войдя – онемел и уже не мог сказать ни единого слова, только мычал и знаками показывал на свой лоб и свои глаза, что он-де все это предвидел и постиг в сновидении. Пошли за ключарями Иоанном Иоанновым и Аверкием Иоанновым, а с ними дальше – объявить о происшедшем преосвященному Аарону, который приехал в церковь своей персоной и всех допросил, как то было.

Всех допросил, но дьячка Василия, первого объявителя, допросить не мог по случившейся с тем полной немоте. И вместо словесного объявления дьячок представил своеручное письмо о бывшем ему во сне видении. В том видении открылось-де ему, дьячку, еще за три дня, предстоявшее чудо, и как должны приехать к церкви епископ Аарон, да архиерей Иов, да боярыня Анна Головина, да княгиня Марья Татева, у кото-

рых те иконы прежде в доме стояли, да их сродичи князь Хилков, да князь Юрий Голицын, и будто с ними во главе весь народ новгородский у той церкви молился. И как в самый день чуда услыхал дьячок ночью словно бы гром или хождение колесницы, вскочил от сна в страхе и ужасе, выглянул в окно и увидел над церковью лучи и услышал пение многих ликов и аллилуию, после чего и побежал доложить о том попу Никите, сам же остался нем.

Немым остался дьячок надолго, на целый год, пока шли в церкви молебны, и народ, приняв воровскую прелесть за истину и уверовав в чудо, приходил во множестве и давал нескудную дачу. Нужно сказать, что из этой дачи перепадало дьячку Василию немного, а промышлял он больше тем, что давал списывать свою пророческую бумагу, взымая малую мзду, или же списывал ее сам, взымая за это побольше. В общем – поправился дьячок, и жена его как бы снова вошла в приличествующее тело.

Когда же слава о чуде, как и всякая слава мирская, человеком измышленная, стала меркнуть и забываться, а с тем окончился и приток доброхотных дач, – прошла понемногу и немота дьячка Василия Ефимова, и прошла на его горе. В пяток первой недели великого поста покаялся он своему духовному отцу Тихону Зотикову на исповеди в своем прелестном притворстве, обещавши поститься весь пост и читать двенадцать псалмов и богородичен акафист каждодневно, за что духовник отпустил ему грех. Потом же, придя в отчаяние от новых своих жизненных бедствий, поведал дьячок о своей проделке и архиерею, который греха не отпустил, а делу дал законный ход.

И с того дня начались мытарства дьячка Василия, пытки его великие и великие страдания, тяжкий ответ за затеянное дело и сплетенный промысел, страшная расплата, закончившаяся даже смертию.

Странствует то дело из архиерейского разряда духовных дел в Святейшего Правительствующего Синода коллегию, а оттуда в юстиц-коллегию, и с тем делом странствует дьячок Василий, во всем давно признавшийся, однако пытаемый усердно и без сожаления как лживец и богопротивный хульник и составитель и распространитель соблазнительных копий блядословного воровского письма, мутящего народ.

Уже допрошено и сыскаано немало замешанных в то дело людей, уже отсечен от всех иерейских действ добрый духовник дьячка Тихон Зотиков, не донесший вовремя о признании дьячка на исповеди, уже исписано много бумаги, источено много перьев и изданы сотни приказов и публикаций, –

пока, наконец, доставлена в юстиц-коллегию и вручена провинциал-инквизитору Синода во Новегороде последняя бумага, при коей приложен и сам дьячок Василий и коею объявлено по его царского величества указу:

"Дьячка Василия Ефимова за ложное его воровское в народе разглашение и за богопротивный притвор казнить смертию, сжечь, дабы впредь другим такое дело ложно и притворно затевать и тем народ возмущать было неповадно".

Декабря 29 числа 1721 года из архиерейского разряда писано в Синод, что во исполнение приказа – *оной дьячок Василий в Новегороде сожжен.*

* * *

Но столь велик был дьячков грех, что и сожегши дьячка, – сразу и до конца того дьячка не дожгли, и вышло отсюда новое хлопотное дело, и новая переписка, и новые допросы и сыски.

Жгли дьячка на костре, на еловых дровах, в руку вложив лживую его грамоту о небывшем чуде. Был дьячок худ и изнеможен, горел плохо и невеселым огнем, так что все дрова сгорели, а от жареного дьячка оставалось еще немало, как о том описано в протоколе:

"Голова с шеею остались токмо одне кости и часть груди и рук с перстами и с телом, а в левой руки зажатого о оном ложном чуде списка его дьячковой копии часть, которой и вынять за крепким от онаго жару тоя руки сцеплением невозможно, также и прочих костей не малое число, которых подробну за горением по большей части росписать невозможно".

Прежде всего, хоть о том в протоколе и не помечено, завилась кольцом и сгорела дьячкова косичка, к концу завязанная тонким вервием, дабы зря на ветру не расплеталась. За косичкой запылали дьячковы сальные лохмотья, а как сжигаемый дьячок не был на костре спокоен, то полопались путы на руках и ногах, на лице же дьячковом, когда лизнул его первый огонь, замечено было народом как бы большое удивление, после чего перестал дьячок жаловаться и кричать.

И было допущено, что стоявший при том сожжении на карауле урядник с солдатами, по согласию ректмейстера, собрал жареные останки того дьячка, уложил их в гроб и доставил в дом к дьячковой жене. Для чего той жене понадобились несгоревшие части преступного мужа, о том судить трудно, однако в народе, падком до соблазна, пошел разговор и дошел до начальства.

С царским приказом не шутят, и начальство взволновалось. А так как о том, что делать дальше с недосожженным дьячком, ясного распоряжения не было, то новгородский провинциал-инквизитор извлек названный гроб из дома дьячихи и приказал поставить в церковном притворе до определительного по тому делу святейшего синода указа.

Сожгли дьячка в декабре, указ же был получен в мае месяце следующего года, так что дьячок, хотя и жареный, лежа в гробу в церковном притворе, начал к весне сильно попахивать, наполняя самую церковь уже не прежним благовонием.

Новый же приказ Синода был таков:

"Тот запечатанный гроб с теми оставшимися частьми сжечь на том же месте, на котором дьячку та казнь учинена была, а при том сжении приставить караул и смотреть того накрепко, дабы тот гроб с теми оставшимися частьми сгорел весь в пепел".

Приказано было также произвести сыск и допросить в юстиц-коллегии ректмейстера Глебова, урядника Тимофеева и солдат, для чего собирали они кости и отдали дьячковой жене, а если они покажут на других, то и тех сыскать с пристрастием и всех держать под караулом, пока все дело не обнаружится и, в ответ на посланные дознания, не получится окончательное по тому делу решение.

Что было дальше – не знаем, и все дальнейшее уже мало касалось дьячка Василия Ефимова, обращенного на этот раз в совершенный пепел.

Писан настоящий рассказ по синодским документам подлинности бесспорной, а чего в документах не было, те пропуски добавлены сочинителем, ответственным во всей полной мере.

ИСТОРИЯ ТРЕХ КАЛАЧИКОВ

Серпуховский житель Гостиной сотни Афанасий Львов сын Шапошников принадлежал к разряду людей по преимуществу общительных. По-итальянски таких людей называют "франкоболло" (почтовая марка), а по-русски еще выразительнее: "банный лист". Человек наслаждается в бане, хлещет себя распаренным березовым веничком, окатывается водой, стоит чист, как новорожденный, и только один березовый листочек никак не смывается – прилип и ни с места; а сгонишь его с плеча – он прилепится где-нибудь на ноге и норовит присохнуть, да так и остаться. Вот такие бывают и люди, не

озорные, не нахальные, вполне добропорядочные, но до невозможности прилипчивые; ходит вокруг вас, особенно разговорами не преследует, а смотрит, слушает, интересуется, как вы глотаете кусок, как чихнули, что сказали, кому улыбнулись, и все это бескорыстно, лишь по общительности и с целью изучения. И куда бы вы ни двинулись, – он за вами, предварительно спросив: "Я вам не мешаю?" – "Да нет, пожалуйста!" И уже в дальнейшем никак от него не отделаться, особенно если вам необходимо остаться одному или переговорить с кем-нибудь другим по душам. Если же грубо сказать ему: "Да, мешаете!" – то он нисколько не обидится, отойдет и будет смотреть издали вежливо и внимательно, пока не явится у вас желание разбить ему череп или улететь от него в стратосферу.

Афанасий Львов сын Шапошников приехал из Серпухова в Москву продавать пеньку маия 20 числа 1724 года и жил на Мясницкой улице у Ивана Выписляева в доме Гостиной сотни. Пеньку продал, мог бы и поехать домой, но задержался по случаю предстоящего дня рождения государя Петра Алексеевича. 30 маия его величество высокою своей особой изволил быть в селе Преображенском в церкви Преображения Господня у обедни, куда отправился и Шапошников посмотреть на царя.

По преданности своей государю и по привычке делать известным людям приятности, Афанасий Львович догадался, идя в Преображенское, захватить три серпуховских калачика, домашнего приготовления, малость подсохшие, но высокого качества и преотличного вида, тем более что они были перевязаны каждый ленточкой особого цвета: один – белой, другой – зеленой, третий – красной. В Серпухове на базаре такие калачи продавались по цене высокой: 2 копейки штука.

Когда обедня кончилась и царь направился к выходу, Афанасий Львович сын Шапошников подошел к нему в притворе церкви, низко, но без подхалимства поклонился, поздравил и поднес царю три калачика. Его величество не то чтобы удивился, – он никогда и ничему не удивлялся, кроме заморских художеств, – а пожелал узнать, кто такой жалует его калачами:

– Ты какой человек?

– Я Афанасий, раб Бога Вышнего.

– Чего за раб Бога Вышнего?

– Все мы рабы Бога Вышнего.

Великий Петр посмотрел на него со вниманием, калачи принял, ничего больше не сказал. За Петром шла толпа его

приближенных, и к той толпе пристал Афанасий. Однако, не желая по смиренности своей докучать царю зря, выдвинулся вперед, подошел к царю сбоку и спросил, как государь прикажет, идти ли ему, Афанасию, домой, или государь укажет ему следовать с ним далее. Петр кивнул головой, дескать – иди с нами, раб Бога Вышнего.

Из Преображенского села великий государь проследовал в свой лефортовский новопостроенный дом, бывший прежде головинским, а теперь приспособленный для приятного царского проживания. За государем пошли туда Василий Поспелов, его приближенный человек, да Михаил Ширяев, постоянно при нем состоявший, да еще человек пять, а с ними и Афанасий Львов сын Шапошников, который нисколько в таком избранном обществе не потерялся, а шел достойно и со всеми наравне. Прибыв в Лефортово, государь изволил уйти в спальню к ее величеству государыне императрице, а свите велел подождать. Потом государь к ним вернулся. И все пошли с ним в галерею, сделанную на островке, в каковой галерее в те поры государь изволил кушать. Чтобы не быть назойливым, Афанасий Шапошников смирненько и достойно подошел к государю и спросил, должен ли он, Афанасий, в ту галерею идти наряду с другими. Великий государь поглядел на Афанасия с прежним любопытством и приказал ему идти вместе со всеми.

Тут начался государев обед, и за одним столом с ним обедали генерал-прокурор Ягужинский, благородные господа Нарышкины, бригадир Румянцев, Михаил Ширяев, певчий Иван Михайлов и другие разные люди, человек двадцать, а с ними и серпуховской Гостиной сотни человек Афанасий Шапошников, не уронивший себя ни обычаями, ни особым к вину прилежанием, ни глупым словом. Держался просто и достойно, кушал умеренно, слушал внимательно и ждал сам, если доведется, вставить слово в общий разговор. Государь был прост, обходителен и ко всем равен, в пище охотлив, в питии малость неумерен и неизменно весел. Взором орлиным оглядывал всех, примечал и Афанасия, поднесшего ему калачики. Когда же, утерев губы рукавом, государь изволил принимать прошек табаку, поднеся его к носу, то Афанасий счел подходящим к случаю громко сказать государю:

– От сего употребления табаку есть ли какая польза?

Его величество поднял брови и спросил Афанасия:

– А ты напред сего табак нюхивал ли?

– Табак я нюхивал, но никакой в том пользы не нашел, кроме греха.

И как о табаке стали говорить и другие, с которыми Афанасий дельно и вежливо поспорил, то внезапно его величество изволил рассмеяться и кивнул на Афанасия:

– Не рыть бы тебе, раб Бога Вышнего, у меня каменья!

Сказано это было шуточно и без подлинной угрозы, только потому, что его величество недолюбливал рассуждений о табаке, о немецком платье и о бородах, будучи очень чуток до раскольничьих розысков и подметных писем, осуждавших его за новшества.

Конечно, по нынешним временам человек с улицы не только не попадет за императорский стол, а и с президентом республики вряд ли пообедает, не говоря уж о том, что калачиков ему никак поднести главе государства не удастся. Тогда было проще, и был доступен великий Петр. Через такой случай могла случиться Афанасию Шапошникову и царская милость, и удача в делах. Но всего этого он не искал, а действовал попросту, как любознательный и общительный человек. Великий государь ему приглянулся, и уходить ему не хотелось, хотя не желал и напрасно навязываться. Поэтому, когда обед окончился и государь направился отдыхать в свою спальню, Афанасий опять зашел вперед и спросил государя, повелит ли он ему, Афанасию, ехать восвояси или прикажет ему остаться со всеми при нем.

Тут государь великий Петр приостановился досадливо, потом со всего размаху ударил Афанасия дважды своей тростью и указал взять его под караул.

Жужжит муха и не хочет отстать; ну, отмахивал ее рукой, не унимается – да и прихлопнул.

Было это 30 маия. Июня 16 дня Петр уехал в Петербург, а за ним Румянцев со своей канцелярией и с арестантом Афанасием Шапошниковым. Об арестанте Петр давно забыл, а Румянцев не знал, что с ним делать. Афанасий сидел в узилище смирно и спокойно: был человек прав, преступления не совершил, бояться ему нечего. Того же года в сентябре месяце Румянцев, которому Шапошников надоел безмерно, доложил Петру: что делать с арестантом дальше? Петр вспомнил про муху-прилипалу и опять отмахнулся:

– А отправь его к Андрею Ивановичу Ушакову в Тайную, да пусть он, Ушаков, мне при случае доложит.

До такого случая заключили Афанасия Львова сына Шапошникова в каземат Петропавловской крепости, обычную тюрьму Тайной канцелярии, где, как полагалось, заковали его по рукам и по ногам. И было в тюрьме тесно, сыро и очень голодно.

Не было в деле Шапошникова никакой срочности, ни в чем он не обвинялся, а других дел было много. Ушаков о нем ничего не знал, Петр, может быть, и вспомнил бы, – но и пяти месяцев не прошло, как уже вопиял в своем вдохновенном надгробном слове служитель церкви:

– До чего мы дожили, о, россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!

* * *

В самый день кончины государя объявила Екатерина манифестом прощение заключенным в тюрьмах, чтобы могли они вознести за него молитвы. Тайной канцелярии канцелярист внес в списки освобождаемых Афанасия Львова сына Шапошникова, содержавшегося в тюрьме неведомо за какую вину и по какой причине.

Тут-то и приключился "случай" для Ушакова вспомнить об арестанте. Никаких о нем сведений не было, и только сам он мог сказать, за что он был взят и посажен в тюрьму приказом государевым.

Афанасий рассказал все, как было, без малейшей утайки: как он поднес Петру калачики, как с ним обедал и говорил о табаке, как изволил государь ударить его дважды тростью и отдать под караул, – больше того он, Афанасий, и сам ничего не знает.

Поведение подозрительное! Как посмел Гостиной сотни человек поднести великому государю калачики с лентами по две копейки за штуку, да еще с государем обедать?

– Какой ради причины вышесказанное ты все чинил и так дерзновенно поступал?

Но не было никакого дерзновения! Калачики поднес в знак почтения к государевой особе, а все дальнейшее чинил с донесения государю и с его соизволения. По его приказу за ним следовал, по его указанию сидел за его столом с другими почтенными особами и вел разговор. А укажи государь идти ему домой – ушел бы и не испытал бы заключения в сырой тюрьме. За что был бит и заключен государем – то неведомо, и хотел ли государь наказать его за разговор о табаке или хотел, попугавши, отпустить и наградить, да позабыл – про то ничего никому неизвестно.

Видимо, главное дело – табак. Забеспокоился Ушаков, не имеет ли он дело с раскольником, двуперстником, защитником старой веры и старых книг? Не потому ли и посадил его покойный государь?

Но и в расколе Афанасий Шапошников неповинен. Молится триперстно, исповедь соблюдал, причастия не пропускал. На слово ему бы не поверили, но на очной ставке духовник его подтвердил все в пользу Афанасия.

Конечно, потребовалось время на расследование личности Афанасия Шапошникова и на суждение об его предерзости. После смерти Петра еще год просидел он в крепости за Тайной канцелярией и только в феврале 1726 года вышло о нем решение сената, коим объявлено, что за предерзости достоин он, Шапошников, примерного наказания, но для поминовения блаженныя и вечно достойныя памяти его императорского величества тоя вина ему отпускается и из-под караула освобождается он на вольную волю.

Тем и кончилась история трех калачиков. И того не поняли судьи, что виноват он был не в предерзости и не в расколе, а лишь в излишке общительности и в той особенной клейкости, которой Петр никак переварить не мог. Чувствовал великий государь, что если не посадить Афанасия под караул, то может он прилипнуть к государевой особе крепко и на вечные времена, и уж тогда, сколько его ни отмывай и ни отдирай, – отвязаться от него будет невозможно.

Была у Петра сила – она ему и помогла. И не смущался он действовать дубинкой. А вот нам, простым людям, приходится иногда страдать от такого "банного листа" и без трех калачиков, – а поделать ничего невозможно!

ПРОДЕЛКА ЛУКАВОГО

Нрав лукавого, его различные шуточки и бытовые привычки изучены во многих подробностях. Его любимое занятие – путать человека, водить его за нос, запрятывать мелкие вещицы, сбивать с толку и панталыку, кружить в лесу и на проселочных дорогах (никогда на железной!), подстрекать на предосудительные поступки. От всего этого можно уберечься, не произнося наиболее распространенного имени лукавого, которое начинается на букву "ч" (полностью из предосторожности не пишу). Безопаснее говорить "лукавый" или звать его по имени и отчеству.

Имена у лукавых христианские, конечно, и отчества. Фамилии в их среде не приняты, разве что лукавый давно живет в доме и потому носит фамилию хозяина. Эти жильцы довольно безобидны, питаются мухами и хлебными крошками, якшаются с тараканами и мышами, живут в чуланах, иног-

да в конюшнях и, если с ними хорошо обращаться, не душат по ночам даже после сытного ужина. Все же рекомендуется, особенно женщинам, чаще закрещивать рот, через который единственно лукавый может проникнуть в брюхо и причинить немало неприятностей, от простого пучения до падучей болезни и кликушества.

Случай, о котором ниже идет речь, не выдуман, а действительно был и удостоверен не только показаниями свидетелей, но и документами архива святейшего правительствующего синода (дело номер 296 за 1737 год). Ничего выдающегося или редкостного в этом случае нет – один из многих подобных; но он отлично показывает, как нужно быть осторожными даже в пустяках, памятуя, что лукавый подстерегает каждый наш жест, прислушивается к каждому слову и готов начудить и накрутить при первой возможности. Так было в дни нашего рассказа – в начале осьмнадцатого века, так это остается и посейчас, только несколько иначе проявляется.

* * *

Кстати, как и в наши дни, в те времена часто давали дочерям имя святой Ирины. Потом это вышло из моды, а лет тому назад тридцать опять привилось и распространилось, чем и объясняется, что пожилых Ирин нет, а Ирин возраста цветущего и отроческого, пожалуй, больше, чем Наташ. В редком современном романе не полулежит на кушетке Ирина с выщипанными бровями и не стоит перед нею, скрестив руки, спортивного вида Глеб или Кирилл.

К нашему рассказу это не имеет ни малейшего отношения. Наша девица Ирина не полулежала, а лежмя лежала на лавке и кричала не своим голосом. Перед нею стояла мать, потом прибежала другая женщина из дворовых боярского сына Мещерина, и обе они говорили о том, что во всем виновата Василиса Лушакова, ихняя по дому соседка и приятельница. А происходило это в городе Томске, в далекой Сибири.

Бывали у Ирины припадки и раньше, еще в детском возрасте: теряла сознание, и изо рта шла у нее сначала пена, потом вроде пара; однако к шестнадцати годам как будто все прошло, – и вдруг возобновилось в утроенной силе, как раз вскоре после отъезда хозяина, боярского сына Мещерина, по торговым делам. Припадочность Ирины объяснялась просто. Когда ей было восемь лет, мать ее уходила на работу, а дочку оставляла под присмотром соседки Василисы. Однажды Ва-

силиса стирала белье, а Ирина, проголодавшись, стала просить поесть и заревела. Василиса рассердилась, что девчонка мешает работать, выхватила из печи горшок, плеснула в чашку щей, сунула девочке и пробурчала: "На тебе, жадная, хлебай да проглоти со щами и лукавого!"

И готово! Только этого и ждал лукавый: моментально – в рот Ирины, со щами – в живот, удобно там примостился и время от времени устраивал неистовства и причинял и Ирине и ее матери огорчения: судороги, крик, пена, пар, – и проходит до следующего раза. Но, как сказано, в последние годы припадки Ирины прекратились, чему нельзя было не порадоваться, так как девушка вошла в возраст и была во всех отношениях здоровой, приятной, веселой и из себя далеко не дурнушкой. Ее мать, Марина Артемьевна, вдова, смотрела за домом Мещерина, Ирина жила при ней и помогала в хозяйстве. Хозяин, человек почтенный, хотя еще молодой, доверял им вполне, а сам был в постоянных разъездах. В последний раз побыл дома месяца два – да и опять в дорогу, наказав Марине Артемьевне держать дом в чистоте и порядке и подарив Ирине новую шубку добрых мехов: нужно же и девушку побаловать. Хозяин был добрый.

Сначала все было ладно, потом начала Ирина о чем-то задумываться, – и, конечно, лукавый ее задумчивостью воспользовался: опять начал свои безобразия. Вообще – нет ничего хуже, как впадать в грусть! Пока человек весел – лукавый ничего с ним не может сделать; стоит распустить нервы – и он тут как тут. Так замечено еще в старые годы, то же самое говорят и нынешние врачи.

Как-то мать увидала, что Ирина озабоченно щупает живот.

– Ты чего? Али нехорошо поела?

– Да нет, – говорит, – ничего. Малость пучит.

Мать советовала ей поесть хлебной тюри с хреном и квасом – хорошо помогает, а то помазать пупок маслом из лампадки – еще лучше.

А к вечеру у Ирины припадок. Заметалась, закричала, пала на лавку, корчится, пускает слюну. А когда прибежали мать и проживавшая в доме другая женщина, Ирина сначала как бы замерла, а потом заговорила не своим, а грубым мужеским голосом, выходившим как бы из печной трубы или из самого чрева:

– Слушайте все! Я – лукавый, и девка Ирина должна меня скоро родить. А в утробу ей я попал давно вместе со щами по желанию Василисы Лушаковой. И живу я в той утробе восьмой

год, а выйду, где хочу и когда пожелаю. И захочу я и пожелаю выйти из Ирининой утробы младенцем, и так тому по сему и быть, слово мое крепко!

Прогудел и замолчал, после чего Ирина как бы проснулась, но ничего из происшедшего с нею не помнила.

И с той поры начало это повторяться постоянно: как только девушка задумается – сейчас же и припадок, а к концу припадка тот же голос.

– Слу-шайте! Я лука-вый, скоро меня ро-дит дев-ка Ири-на-а! – гудит из утробы, словно протодьякон.

– А как тебя зовут?

– А меня зо-вут Ива-ном Лексеевым, по фамилии Ме-ще-риным!

Вот тут и подтвердилось, что лукавые любят называться христианским именем и носят иногда фамилию хозяйскую; боярского сына звали Алексеем Ивановым, а лукавого, значит,наоборот.

Так тянулось с месяц, так что мать даже привыкла к мысли, что в один дурной день родит Ирина Ивана Алексеевича, вернее всего – в виде лягушки, которая потом сгинет у всех на глазах.

Но, как увидим дальше, в дело вступились гражданские и духовные власти, и девка Ирина родила преждевременно, притом не лягушку, а курицу.

* * *

Чесали бабы язык, а ветер разносил. От своей бабы узнал протоколист Соколов, а при случае сообщил приятелю своему, тобольскому протоколисту Крылову.

Тобольский Сибирский приказ отписал о происшествии Московской сенатской конторе: в городе-де Томске бесовское наваждение: залез лукавый девке во чрево.

Московская сенатская контора запросила тобольского губернатора: как так ничего нам неизвестно? Немедленно забрать и доставить в Тобольск девку Ирину Артемьеву и всех по делу свидетелей.

Всполошились власти гражданские, власти духовные, власти местные и губернские, и сенат, и синод, и канцелярия тайных розыскных дел.

Ведут девку Ирину этапами из Томска в Тобольск; приставлен к ней отдельный пеший казак Перевозчиков. Бредет девушка запугана, идти ей невмоготу. Ночью остановились в

Рождественском девичьем монастыре; Ирину заперли в келье, казак улегся у дверей: кабы не сбежала с лукавым во чреве!

Едва успел казак заснуть – как будит его громкий голос в Ирининой келье, и не женский, а мужской, грубый, как бы из трубы выходящий:

– Эй, казак Перевозчиков! Явись пред мои очи!

Казак вскочил, отворил дверь – никого в келье нет, кроме пересыльной девки, и голос – ее голос, хоть и сыплет на его голову последние ругательства и сквернословья:

– Что же ты не смотришь, такой и разэдакий! Тебе велено сторожить, а под окнами народ, и все сюда рвутся. Бери свой фузей и защищай!

Казак выбежал на улицу – и там никого. Доложил матери игуменье. Пришла мать игуменья, а Ирина катается по лавке:

– Ой, лихо мне! Прости меня, мати!

А потом опять мужским голосом:

– Отворите двери, пустите меня выйти!

– Куда тебе идти?

– Иду в воду навсегда и навечно!

Мать игуменья была мудрая – догадалась:

– Оставьте, – говорит, – меня с сею несчастной, да пусть еще одна келейница останется, да принесите теплой водицы. Да чтобы нечистому открыть свободный проход к озеру – не стойте на дороге, скройтесь за угол.

А девка уже кричит:

– Ой, лихо мне, лихо, сейчас бес выйдет!

И подлинно – вышел из нее лукавый, сначала пеной, потом паром, а потом будто бы мокрой курицей. Так написано в документах, свидетелей же, кроме игуменьи с келейницей, не было, а этим тайну разглашать никак нельзя. Около часу плескалась в ведерке с теплой водицей, потом, крыльями махая невидимо, клохча неслышно, улетела на озеро и там сгинула навсегда.

А когда пустили в келью казака и народ, лежала девка Ирина на лавке как бы преображенная, и живот у нее, нечистым вздутый, внезапно опал.

Два дня оставили ее полежать в мире, на третий повели дальше в город Тобольск.

Следствие по делу о дьявольском наваждении велось долго. Приказано было "розыскивать усердно, стараясь, однако, чтобы от оных розысков кто-нибудь не помер, чтобы важное дело не могло скрыться".

И был поставлен вопрос розыскателям: "Узнать точно,

откудова выходит голос, чрез отверстые ли уста или же через утробу проницательно?"

Но узнать было невозможно, потому что мужеский голос перестал выходить из Ирины, что и понятно, когда лукавый уже вышел и утоп в озере монастырском мокрой курицей! И по допросе всех было отписано в канцелярию тайных розыскных дел: "Имеется ли и поныне в указанной утробе дьявольское наваждение, того познать невозможно, поелику о себе не сказывается".

Этим канцелярия, однако, не убедилась. Было приказано допросить девку с пристрастием накрепко, кто научил ее на такое вымышленное дело и какую хотела от того иметь выгоду? Буде же станет и в застенке таковое утверждать, то, подняв, на дыбы, бить розгами за несовершеннолетием.

А чтобы было ясно, допросили в застенке с пристрастием также и мать Ирины, и соседку Василису Лушакову, и прочих свидетелей, да, кстати, доставили в Тобольск и боярского сына Мещерина, фамилией которого называл себя лукавый.

И хотя всякому человеку ясно, что лукавый подлинно квартировал во чреве девки Ирины, оттуда разговаривал и ругался, и вышел оттуда же во образе курицы, однако сама Ирина, после первой дыбы, муки той не вынеся, заявила, что ничего такого не было, никто ее не научал, а притворялась она по девичьей глупости и озорству. И то же самое подтвердила на второй дыбе, когда опять привели ее в застенок из больницы, от первой дыбы малость отдохнувши.

Надо полагать, что тем дело и кончилось – больше не осталось о нем никаких документов в архиве Святейшего Синода. Что девушка отреклась от чистой видимости – никто ее, замученную, в том не осудит. И на большое ее счастье случилась в дороге добрая игуменья, знавшая, как управиться с шутками лукавого и прогнавшая его на дно озера!

Такой был случай в старину, когда настоящих докторов еще не было и девушек, захворавших от дурного глаза или неосторожного слова, лечить не умели. А лукавый как был, так и ныне шутит свои шуточки, забираясь куда не следует через незакрещенный трижды рот.

КАРЛИЦА КАТЬКА

С опаской, прилипнув к косяку, пробирается из комнаты в комнату существо в ярких тряпках, похожее на жабу. Природа, опытная стряпуха, лепит людей сотнями и тысячами

по одному образцу, потом создаст штуку или парочку покрасивее и наряднее – всем на загляденье, а из остатков теста скатает заскребыша, жалкое подобие человека, в полроста, руки-ноги обрубками, голова ненужно велика, ни ребенок, ни старик, напрасная зверушка, на горе родителям, на забаву сторонним. Вот такова была и Катька, одна из многочисленных карлиц государыни Анны Иоанновны.

Катька была очень дурна собой, притом слабосильна и запугана. Она была дочерью русской православной мещанской четы Пятаковых, совсем обыкновенных людей, роста среднего и поведения благопристойного, – неведомо почему родилась у них такая уродица. К пятнадцати годам была Катька ростом едва поболе аршина, лицом старообразна и морщиниста, на руках пухлые ребячьи пальчики, ножки бревешками, грудь под самым подбородком и непомерно развита. За такое безобразие взяли ее во дворец шутихой, обучили квакать, кудахтать, драться и петь. Катька пела скрипучим басом, как нетрезвый мужик, так что без смеха невозможно было слушать. В пенье была без соперников, а в остальном всем уступала, получала щипки и колотушки, – а ответить тем же была не в силах. Потому и была запугана, пряталась за других, жалась к стенке и шипела, когда к ней подходили с шутками.

Хотя государыня Анна Иоанновна управляла страной, размеров которой сама не ведала и народов которой не могла бы счесть, но свободного времени у нее было больше, чем занятого государственными делами. Чтобы не скучать, держала при себе уродцев и умных дураков. От державного дядюшки, Петра Великого, она унаследовала его знаменитых шутов, Балакирева и Лакосту, самоедского короля, но оба они уже не смели при ней обижать придворных острыми шутками, а жили как бы в качестве старых преданных слуг; другими шутами жили при ней именитые граф Апраксин, князь Волконский и несчастный, впавший в идиотство князь Голицын Михайло Алексеевич. Верх над другими брал ловкий шут-мошенник итальянец Пьетра Миро, по прозвищу Педрилло, разбогатевший на делах комиссионных и карточной игре. Но Анна Иоанновна тонких шуток не понимала и не ценила, а больше удовольствия находила в играх и забавах с карлами и карлицами или в хороводах своих фрейлин, которых она звала девками. Одной из ее любимиц была Катька, которую она часто трепала и щипала державной рукой.

По чину дура, Катька не была идиоткой, в ее безобразном теле, там, где быть полагается, билось робкое и чувствитель-

ное сердце. В месяц раз, не боле, к Катьке приходили родители и вызывали ее тайком через знакомого придворного служителя. И тогда Катька со всякими хитростями незаметно пробиралась из общих шутовских покоев на свидание в нижние прихожие дворца. Приходила, разряженная в шелковые тряпки, с лицом, обсыпанным мукой, и наведенными бровями. Родители являлись не для того, чтобы обнять свое ужасное произведение, а чтобы получить от него подмогу в суровой жизни – деньжонок, лоскутков материи, иногда и съестного, все то, что Катьке удавалось выклянчить, утянуть и прикопить к их приходу. Она стояла между отцом и матерью ряженым зверьком и совала им свои припасы, грубым, хриплым голосом высказывая им свою дочернюю нежность. Может быть, мать и приласкала бы ее, да как приступишься к такой парадной государыниной кукле: увидят люди и засмеют. А когда родители уходили, Катька с теми же предосторожностями пробиралась обратно, всхлипывая густым басом и размазывая по старческому пятнадцатилетнему лицу обильные, настоящие человеческие слезы.

* * *

Чем позабавить скучающую императрицу? Большим мастером на выдумки был шут Педрилло, сочинявший всякие забавы. То нарядит всех монахами – понесут хоронить завернутого в холст несчастного Михайлу Голицына, а Катька идет впереди и поет панихиду; то посадит всех большим кругом, друг у дружки на коленях, а потом вышибет одного – и весь круг повалится. А то заранее, до прихода государыни, заготовит ей на потеху "куриное царство".

По двум стенам проходной комнаты уставлены лукошки, а в них карлы и карлицы, разодетые курами, будто сидят на яйцах. И когда пойдет мимо государыня с придворными, куры заклохчут, захлопают крыльями, а самый старый карла, мужичок с бородой, во все горло кричит "кукареку". Потом рассыплют по полу конфет и леденцов, и все карлы бросятся подбирать ртами, будто клювом. Петух сам не ест, а кличет жен:

– Сюда, дуры, по сахарного червячка!

Иным даст, у других отнимет. А какую изберет любимицу, на ту скоренько наседает, и чаще всего это бывает Катька. Государыня изволит весело смеяться и велит еще оделить сладостями. И тогда начинается общая свалка – кто больше за-

хватит. В свалке участвует и Катька, слабосильная, но яростная и жадная до сладостей. Ей самой и не нужно бы, но старается нахватать, чтобы потом было что передать отцу с матерью. Катьку щиплют, толкают, бьют, бородатый карла чинит над ней всякие непристойности на потеху государыне и ее окружению, но Катька бьется из последних сил, подбирая леденцы, орехи и расписные пряники и засовывая себе за шиворот. Мало набрать – надо еще уметь схоронить запасы в тайном месте, чтобы не украли озорники. Подбитая, растерзанная, Катька старается улучить минуту и удрать, как собачка, уносящая с бою добытую кость.

Когда государыне прискучит драка карликов, шут Педрилло всегда находит случай подразнить Голицына, к которому государыня расположена не меньше, чем к маленьким уродцам. Михайло Алексеевич не всегда был идиотом. Живал хорошо, бывал в чужих краях, по страстной любви женился на итальянке. С женой его насильно разлучили – и он затосковал, перестал есть и пить, стал заговариваться. Впавшему в идиотство человеку знатной фамилии – прямой путь во дворец. Михайлу Алексеевича пристроили в дураки при дворе Анны Иоанновны, и вся его забавность заключалась в том, что он был всегда грустен, отвечал невпопад, застенчиво улыбался, смешно кланялся и был словно дитя. Настоящих шутов побаивались: Педриллу, Балакирева, Лакосту, людей себе на уме, умевших составить свое благополучие и накопить капитал. Голицына никто не опасался, всякий задевал, а жалеть его могло только существо, еще больше обиженное судьбой и затурканное людьми и еще меньше похожее на человека.

Таким существом была Катька, питавшая к Голицыну материнскую привязанность. В тихие дни, когда государыня не нуждалась в своих забавниках и оставляла их в покое, Катька улучала минутку, добиралась до Михайлы Алексеевича, смотрела на него снизу вверх и хрипло рычала ему нежные слова. И хотя был он ростом вдвое больше против нее, – он ей казался маленьким, как бы ребеночком, нуждающимся в ее заботах. Она приносила ему поесть, совала, став на цыпочках, прямо в рот сладкий леденец, гладила его по руке. Подсев рядышком где-нибудь в уголке, штопала ему прямо на ноге разорванный чулок, клала на кафтан неуклюжую заплату, а то своими цветными лохмотьями вытирала ему нос. Михайло Алексеевич и ей, как всем, вежливо кланялся и говорил кроткие слова благодарности, ни от кого не отличая. Это и нравилось Катьке, к которой все прочие относились, как к комнатной собачке или живой кукле.

Еще была у государыни любимая калмычка, девка на возрасте, ростом невеличка, но много повыше Катьки, уродица знатная. И когда государыня очень заскучала, решено было устроить, на манер петровских времен, шутовскую свадьбу. Невестой была калмычка, а о женихе долго думали, пока Педрилло не присоветовал одарить калмычку княжеской фамилией, выдав ее за Михайлу Алексеевича, согласия которого, конечно, не потребовалось, а впрочем, он всегда и на все был согласен. Свадьба эта была знаменита и парадна, и не нам ее описывать: ее описали многие историки, ее расцветил живописными узорами большой романист, автор "Ледяного дома". Но никто не упомянул в этих рассказах о горе карлицы Катьки, любившей Голицына всем пылом маленького сердца, бившегося в ее уродливой груди.

К свадьбе готовились долго. Из ледяных глыб строили никогда и нигде раньше не бывалый и неслыханный дворец без камня, железа и дерева, а в нем спальню для молодых – с ледяной постелью. Портные обшивали всех шутов и шутих, готовили калмычке богатое приданое, жениху целый набор забавнейших камзолов и кафтанов. Катька была в числе подружек, и приказано было ей разучить подобающие случаю песни, чтобы идти запевалой. Катька учила песни, глотая слезы; на насмешки отвечала бранью, царапалась и кусалась. А когда можно было улучить минуту – искала злополучного калмычкиного жениха и, не смея теперь проводить с ним время и ласкать его руку, садилась в уголок поодаль и смотрела неотрывно, как он скромненько играл в куклы, сделанные из тряпочек, и строил из чурбашек шаткую колокольню, а достроив, задевал ногой и сам пугался, когда чурбашки обрушивались на пол. Если же кто-нибудь походя обижал жениха, Катька шла за тем следом и находила случай подкатиться обидчику под ноги, чтобы он упал, или ткнуть его иголкой пониже спины. Ее за это били, она яростно шипела и кусалась, но своих проделок не оставляла. Больше ничем иным своей тайной любви она проявить не могла.

* * *

В день свадьбы был великий мороз. Кому повезло, тех закатали в бараньи тулупы, надев им поверх шутовские наряды. Завернули и Катьку в шали и тряпки и усадили ее вдвоем с бородатым карлой в малые санки, запряженные парой боровов. Карла, великий озорник, от холода посинел и присмирел, а у Катьки на ресницах налипли соленые ледяные сосуль-

ки. Толпы народа собрались смотреть на свадебный поезд – царицыну забаву; были в толпе и родители бедной карлицы, но она их высмотреть не могла. Катались до самого вечера, пока ледяной дом не осветился чудесными огнями. К ночи вернулись во дворец, оставив новоженов на их брачной ледяной постели.

Устав и перемерзнув, все спали как убитые, кроме Катьки. Ее трясла лихорадка, и уродливое ее тело то корчилось от озноба, то пылало огнем. И было в ту ночь карлице много видений. Будто стала она ростом велика, собою прекрасна и будто она стоит перед налоем на шелковом коврике со своим прекрасным женихом, а кто он такой, посмотреть не решается, но чует, что это – самый ее любимый человек, кроткий и незлобный, всеми засмеянный, в ней же нашедший свою утеху. Из храма их ведут прямо в опочивальню, а когда они остаются вдвоем, видит Катька с ужасом, что это не Михайла Алексеевич, а ее бородатый враг, озорник и насильник, прыгающий вкруг нее петухом на общую потеху. У Катьки отбиваться нет сил, и ноги ее, погруженные в снежный сугроб, знобит и колет иглами. Тут ей велят петь веселую песню, и у Катьки из горла вылетает хрип и страшный кашель, от которого ломит грудь. И только успокоилась, как опять все сначала – и санки со свиньями, и венчанье в душной церкви, и тайная радость, и приключившийся ужасный обман. Мечется в бреду, хочет натянуть на себя покрывало – и лежит, раскинувшись, коротышка и страшная уродица.

Свадебное празднество продолжалось и на следующий день. Катьку подымали и угрозами и щипками, но встать она не могла – не пришла и в сознание. Некогда было с ней возиться, и ее оставили лежать и досматривать бредовые видения. Катьке хотелось пить, и она видела деревянный ковшик, протянутый ей Михайлой Алексеевичем, но едва она подносила ковшик к губам, как вода расплескивалась, и на губы ей ничего не попадало.

Только через день про болезнь Катьки узнала государыня, пославшая ей немецкого придворного доктора. Немец пощупал ей живот, вытянул и посмотрел язык и поставил пиявок. А главное – дали ей напиться. И тогда Катьке сразу полегчало, она успокоилась, стала большой и красивой, повидалась с родителями, поведала им, что выходит замуж за любимого человека и что сама царица одарила ее своими милостями. До самого утра Катька лежала спокойно, не то спала, не то ушла из этого неласкового мира, и только одно известно, что доктор, пришедший утром ее посмотреть, поднял ей веко своим немецким пальцем, посвистал и сказал: “Капут!”

В другое бы время Катьке устроили знатные похороны. Но как все были утомлены праздниками, то вызвали ее родителей и передали им маленькое тело, выдав также парчи на покров и столько-то денег на погребенье. Таких, как Катька, было во дворце много – убыль невелика.

ИМПЕРАТОР

Опочивальня императора огромнейшей страны – страны лесов, степей, полей, болот, горных кряжей, могучих рек, рыбных озер, холодных и горячих морских побережий, пушного зверя и оленей, страны еще в младенчестве культуры пребывающих многоплеменных народов. Какая воля к власти, какая нечеловеческая сила, какие всеобъемлющие знания нужны, чтобы самодержавно править этими пространствами и этими народами, не забывая и о враге внешнем, поддерживая с соседями взаимовооруженную чуткую дружбу.

Уже светло, день, но самодержец еще почивает. Во рту у него подсыхающая тряпочка.

В огромном дворце личные апартаменты императора не так велики: упомянутая опочивальня, собственный его величества кабинет, комната министерская, покой для советников, покой для секретарей, покой для адмиралтейства, большая зала, другая зала, галерея, или семь покоев (шахматная, галерея от комедии, галерея от церкви и другие комнаты, отделанные Растрелли, Караваком, живописцем исторических дел Тарсием, скульптурным мастером Цвенгофом!), еще комнаты – Анны Федоровны Юшковой, другая – генерал-супер-интендантши, третья – той необычайно полной, цветистой, по-крестьянски одетой румяной немки, которая имеет право входить в опочивальню его величества, когда он хочет и когда он не хочет, и которая неизменно присутствует при его отходе ко сну и при его пробуждении.

Министерская комната обита малиновым бархатом. Покой для советников – пунцовым и белым штофом. Покои для секретарей, камергера и переводчика – обоями фабрики Затрапезного, имя которого станет нарицательным.

Голубым штофом обита опочивальня его величества. С потолка нисходят четыре зеркальных подсвечника на голубых же лентах. Пол обит коврами. Прекрасные дубовые кресла, обитые тафтой. Лично для императора высокие кресла на колесиках обиты малиновым бархатом. Окна зеркального стекла.

В комнате соседней пенье и щебетанье: в золоченых клетках два заморских снегиря, три чижа и один перепел. В других комнатах (император любитель птиц!) канарейка, "воспевающая куранты", и соловьи "лучшие и впредь надежные". Еще – попугай, параклитка, египетский голубь, ученый скворец.

В личном комнатном употреблении императора тут же в опочивальне, на случай надобности, посуды серебряной 2 пуда 1 фунт 90 золотников: рукомойник, кастрюлька, солонка, все прочее. Из чистого серебра и то, что потребно срочно, чтобы не выходить из комнаты из-за такого пустяка.

Его величество открывает глаза, тряпочка выскальзывает изо рта, и на все покои гремит голос императора: призыв властный и немедленный.

Суматоха и беготня не слышны – ковры убивают звук. В иных комнатах и, конечно, в самой опочивальне под коврами и суконной настилкой положены хорошо выделанные бараньи шкуры, так что нога несколько утопает в роскошной мягкости.

Сегодня император позирует первоклассному немецкому художнику. Чтобы писать портрет великого самодержца, нужен не только талант: нужна огромная выдержка. Император непоседлив и нетерпелив: двух минут не выдерживает в желательной неподвижности. Притом лиц столь высокопоставленных не пишут просто: нужно уловить не только сходство черт лица, но и присущую званию высоту одухотворенной мысли; нужно одновременно придать благосклонность снисходительной улыбке, подчеркнуть красоту родовитости, напомнить о властности справедливого взгляда и о преобладании воли над случайным человеческим чувством. Это делается для подданных – это остается в руководство будущим историкам.

И правда: портрет остался, единственный портрет, писанный с натуры. Император молод. Судя по портрету, ему трудно дать больше тридцати лет, скорее меньше, так как плечи его слишком круглы, как и его раскормленные щеки. Глаза его очень ясны, ярки, велики и выразительны. В них ум и знание, можно даже сказать, – знание людей. Лоб высок, брови едва заметны, губы как нарисованы щедрой и искусной кистью самой природы. Шея императора открыта, белый хитон особо оттеняет надетую через плечо голубую ленту струящегося шелка, другое плечо закрыто бархатной мантией, отороченной горностаем, окутавшей мощную фигуру императора, изображенного художником до пояса. Но изумительнее

всего тонкость усмешки императора – художник изобразил ее с необычайным искусством, слегка заставив дрогнуть правую ноздрю породистого носа: усмешка, ласковая для верноподданных, но сулящая беду неверным. Трудно оторваться от этого несколько женственного, но освещенного духовным мужеством лица. Однако, если вглядеться долго, – внезапно поражает и что-то другое в лице императора, какое-то досадное сходство с тупой, отъевшейся немецкой девой, улыбнувшейся на заигрывание унтера. Затем, когда вспомнишь, чей это портрет, – нелепое сходство немедленно исчезает.

Портрет хранится в сенатском архиве. Он закончен в день, который мы здесь описываем.

Отвесив глубокий поклон императору, художник со всей предосторожностью взял акварель и, вычурно и изящно пятясь, утопая носками туфель в коврах, удалился, чтобы представить готовую работу августейшей родительнице.

На уход его император не обратил ни малейшего внимания. Сидя на руках кормилицы, он пускал губами пузыри и болтал пока ни на языке своих подданных, ни на родном немецком, а лишь на своем собственном. На этих днях императору российскому Иоанну Антоновичу исполнился один год.

* * *

Профессор аллегории Штелин, допущенный взглянуть на отдыхающего от трудов самодержца, остановился пораженный и очарованный: ему представился образ младенца Геркулеса, в круглой зале на подушке сидящего и играючи превеликую змею убивающего и терзающего. В действительности император терзал одну из четырех драгоценных книжечек с разноцветными раскрашенными рисунками, которые были поднесены его величеству августейшей родительницей. Ему представилось также, что вот молодой Давид занес пращу, чтобы поразить дерзостного Голиафа; Голиаф – один из диких славянских богатырей, населяющих эту презренную, но богатую страну. Затем профессор прикинул, не уподобить ли этот гениальный отпрыск благородного Брауншвейгского дома мудрому законодателю Солону, погруженному в неустанные труды. И уже слагалась в прочном и добротном немецком мозгу профессора блестящая речь о том, как еще в самом младенчестве его императорское величество как наисильнейший монарх очи и удивление всего мира на себя обращает и как благополучие империи от времени до времени возносит-

ся и в распространение и умножение происходит, так что праведное упование и надежды всех верных подданных всегдашнее свое счастие и радости под благословенным скипетром его императорского величества в некоторый проспект уже наперед усматривать может, – но разве передаст в точности варварский язык всю образность и всю звучность божественной немецкой элоквенции!

Юстиц-советник Гольдбах ассистирует профессору Штелину: сими столпами знаний и талантов славна Российская Академия наук, поручившая им выполнить ученое задание – составить аллегории, эмблемы, мифологические уподобления и все необходимое в прославлении первых шагов императора в управлении страной лесов, степей, полей, водных путей, пушного зверя и дикарей в человеческом образе.

Но, конечно, в действительности не может младенец лично управлять такой страной: бразды правления крепко держит и умело направляет его мать, великая правительница Анна Леопольдовна, личные покои которой рядом.

Ей только двадцать три года – залог силы и энергии. Самая обстановка ее покоев говорит об ее трудах. В ее опочивальне кровать работы кроватного мастера Антона Рожбарта, большая, богатая, с балдахином французского манира, желтого штофа с серебряным позументом, с атласным двуспальным матрасом алого цвета. В ее другой опочивальне и кровать и обои – по рисунку придворного мастера Людовика Каравака. В ее уборной односпальная кровать на четырех столбах, с занавесами из малинового штофа с золотым позументом, точная копия такой же кровати в ее Летнем доме. В ее библиотеке (а все знают, как любит читать правительница!), кроме двух шкапов работы французского мастера Мишеля, дубовых, с резьбой и угловыми каранштейнами, – приказано поставить новую кровать, с павильоном из желтого штофа, с желтой тяжелой подкладкой, а пол устлан успокоительными коврами. На этих прекрасных сооружениях возлежит правительница в часы, когда ее утомляет беседа с карлами и карлицами, с дурами и шутихами, с девушкой-дворянкой, с матерью-шезножкой, с материной бабой, уродицей, горбушкой, девкой-заикой, четой арапчат и прочей шумной ватагой ее помощников в препровождении времени.

В иные часы день правительницы полон забот и хлопот. То торжественный прием персидского посла, представившего присланных из Персии четырнадцать слонов; то совещание с министрами о том, где устроить место для гулянья этих слонов, чтобы они могли купаться в Фонтанке и не наделали

бы беды; то доклад о том, как слоны, осердясь между собой о самках, сорвались и ушли, причем изломали сенат и чухонскую деревню на Васильевском острове; то рассмотрение ходатайства состоявших при слонах "персидского слонового мастера" и "слонового учителя" о выдаче их опекаемым в зимние месяцы по четверти ведра водки в день, а в летние – по ведру в неделю, причем водки с пригарью и недостаточно крепкой слоны не пьют, на закуску же им полагается большое число сырого тростника, травы, сорочинского пшена, пшеничной муки, сахару, коровьего масла, разных пряностей, виноградного белого вина, соли и прочих продуктов. Но ведь не об одних слонах приходится думать и заботиться правительнице столь обширного и еще так мало устроенного государства: по одному Петербургу числится еще 2 львицы (при них собачка), 10 медведей, 20 оленей американских, 4 марала, индейская коза, рысь, куница, 3 лисицы, а хивинский султан прислал леопардов.

Иногда, донельзя утомленная заботами о населении, правительница позволяет себе отдых, приказывая доставить во дворец в ее покои мячи, воланы, духовые ружья, или же перебирает заморские материи для новых нарядов. Так занята она в дни обычные, не говоря уже о парадных праздничных днях, охотах и торжественных выездах, чтобы показаться обожающему ее народу.

* * *

Всевластный российский самодержец еще не может сам держаться на ногах. Поэтому его укутывают в атласный кафтанчик, хорошо подбитый тафтой. При этом нет ни матери, ни генерал-супер-интендантши, а его кормилице неуклюже помогает высокий рыжеусый гвардеец, подбадривая ее веселыми шуточками. Кормилица в страхе и в слезах, как и вся во дворце иноземная прислуга, еще не успевшая разбежаться, как и придворные профессора Штелин и Гольдбах, не заготовившие речей и эмблем для прославления дочери Великого Петра, которая только что дала младенцу свое историческое прощальное лобызание. Единственно спокоен и бескорыстно заинтересован событиями низложенный император обширной страны лесов, полей, горных кряжей, пушного зверя и равнодушных дикарей. Он тянется ручонкой, чтобы захватить с собой на прогулку бархатный мячик.

Бархатный мячик катится впереди кареты, плывет впере-

ди яхты и указывает путь бывшему императору и суровой группе его спутников через ворота мрачного здания в новые апартаменты, отведенные для него в Шлиссельбургской крепости.

Теперь у неизвестного малолетнего узника только две комнаты, наскоро подметенные сторожем и лишенные роскоши. Раньше были три колыбели: одна дубовая, оклеенная ореховым деревом, другая обитая серебряной парчой с бархатными цветами, третья ловко сплетенная из прутьев, вся внутри обтянутая тафтой, с такими же тюфячками, подушками, пуховиками и одеялами. Здесь кормилица устраивает колыбель на лавке из своей захваченной рухляди, так как собственного его бывшего величества имущества впопыхах захватить и не успели и не посмели.

Тяжелая дверь каземата замыкается на двадцать три года. В погребах проращивается картофель, выводятся шампиньоны и некоторые сорта салата. Их отличие – бледность, хрупкость, мертвенность. Такими же вырастают дети в подземных шахтах. Вероятно, тайна жизни бывшего императора несложна.

Затем однажды врывается в каземат свежий воздух улицы. Бесцветная страничка личной жизни, вырванная из истории и никем не прочитанная, наконец, разорвана и брошена в помойку памяти. Для трагедии это слишком ничтожно и слишком неважно для огромной страны лесов, болот, озер, растущих городов и наконец пробуждающихся дикарей.

БРАУНШВЕЙГСКОЕ СЕМЕЙСТВО

По дорогам неосильным и членовредительным, по каким и черт ездит чертыхаясь, – с кочки в колдобину, с корневища в болото тарахтели, тряслись и трепыхались повозки и телеги, увозя на долгий покой и полное забвение Брауншвейгскую чету.

И как в те времена новую татарщину представляли на Руси немцы, то начальником обоза в головной повозке дремал немец – барон Николай Андреевич Корф. Немец, в сущности, безвредный и достаточно обруселый – насколько это было возможно при первом Петре, первой Екатерине и первой Анне и поскольку стало необходимым при Петровой дщери Елисавете. К ее воцарению он был тридцатилетним премьер-майором кавалергардского Копорского полка. Угадав будущее – пошел в гору. Был оценен за солдатскую преданность и уменье молчать и действовать. Исполнял поручения самые

деликатные, ни разу не сплоховавши. Когда Петровой дочери понадобился наследник, – спосылали Корфа за границу привезти немчика, будущего Петра Третьего; привез благополучно и получил действительного камергера. Теперь поручили вывезти ненужный, но еще опасный хлам – бывшую правительницу Анну Леопольдовну с ее супругом Антоном-Ульрихом. Их сын, несчастный Иоанн, недолгий император, был у них отнят раньше и заключен в Шлиссельбургской крепости.

Ехать за будущим, за наследником престола, было и просто, и занимательно, и выгодно: для карьеры – укатанная дорога. Увозить прошлое – куда тяжелее и скучнее. Об этом, когда не дремалось, и думал между кочками и колдобинами молодой офицер. Еще думал о том, что дорога от Санкт-Петербурга до Холмогор долга; пока приедешь да вернешься обратно получить за путешествие сенаторский чин, – может случиться многое. Жизнь показала, что не только временщики, а и самые престолы не прочны. Быть ли мальчику Петру, им привезенному, русским императором? Не зря ли учат его русскому языку? Да и тетушка его долго ли просидит на престоле? А вдруг: вернешься – и все переменилось!

На остановках молодой барон выходил, разминал затекшие члены, подзывал старшего в конвое и шел проверить, в целости ли драгоценная кладь. В обширном и громоздком возке сидела чета на мягких подстилках; прислуга была сменена в пути, чтобы никто из старых болтунов не попал в место ссылки. Был трижды сменен и конвой, и никто, кроме Корфа, не должен был знать, кого он сопровождает по царицыному приказанью. Заночевав и отдохнув, отправлялись дальше, впереди верховые, за ними головная кибитка начальника и брауншвейгский возок, позади, вперемежку с конвойными, кибитки с людьми и телеги с кладью. Дорога на Архангельск уныла и сурова – леса, поля, болота, болота, поля, леса, то хвоя, то гниль, то чахлые заросли. Гибель птицы и зверья, поселки редки, городки нестоящи, народ молчалив и неприветлив.

Ближе к Холмогорам ехали берегами велиководной реки Северной Двины. За сто с небольшим верст до Белого моря Двина разбилась на рукава, образовав несколько островов. Холмогоры на острове; с востока – рукав Двины Курополка, с трех сторон обширные луга, омытые речкой Оногрой. По лугам идет до городка Холмогор дорога гладкая и веселая, а луга замыкаются спокойной и тоже веселой волной холмов с малыми поселками. Но самый город беден, некрасив и уныл, – хоть и был славным при московских царях.

Приехали в Холмогоры перед вечером – прямо в бывший архиерейский дом, перед этим отобранный в казну. Дом с обширным двором, обнесенным высоким тыном. Рядом с домом высится прекраснейший Спасо-Преображенский собор с колокольней в виде башни, в нижней части четырех-, в верхней восьмиугольной. Собор пятиглав, с окнами в два яруса и в трех куполах. На башне железные часы с боем.

Как ни торопился барон Корф домой, пришлось задержаться в Холмогорах и обстоятельно озаботиться об устройстве ссыльного семейства: не столько об его удобствах, сколько о том, чтобы и здесь отрезать его и огородить от всякого сношения с внешним миром. Поставлены две охранные команды; одна – в особой казарме при входе за ограду, другая – в нижнем этаже дома. Между конвойными командами не должно быть никакого общения. Узникам за ограду никогда не выходить. Для развлечения могут кататься в шлюпке по пруду, что перед домом. Что за арестанты, – никому не допытываться, болтовни не переносить под страхом тяжкого наказания. Лекаря допускать с разрешения губернатора, живущего в Архангельске; более же никому, за исключением поставленной прислуги, к узникам не входить.

Уезжая, еще раз повторил бывшей правительнице и ее супругу, что по приказу милостивой императрицы жизнь им дарована лишь с тем, чтобы никому никогда себя не называли и попыток к уходу не делали. Если же, Боже упаси, узнается, что их разговором прошлое их станет ведомо прислуге, конвою либо местным жителям, то у милостивой императрицы найдутся узилища много пострашнее, каменные мешки в монастырских подвалах, а то и последняя мера расправы с ослушниками такового приказа. Говорил это молодой барон с неохотой и против сердца; сам немец чувствовал к Брауншвейгской чете невольную скрытую жалость, и по крови, и просто по человечеству был человек добрый, но прежде всего – исполнительный солдат.

Так и не знали в Холмогорах, кто схоронен в бывшем архиерейском доме; и тайну эту прозвали не вполне понятным именем: “Неизвестная комиссия”.

Обратно Николай Андреевич ехал путем санным – быстро и без задержек. Замуровав российское прошлое, – ехал в будущее. Быть ему важным чиновником по полицейской части. Помогать ему подросшему наследнику в его письменных сношениях с Фридрихом Прусским. Состоять и при Петре-императоре; в момент важный и решительный – переметнуться на сторону его догадливой и властной супруги

и дни скончать в сиянии царствования великой Екатерины.

Вся жизнь Корфа была правильно рассчитана и разумно прожита – на зависть другим добросовестным и плодовитым русским немцам.

* * *

Тюрьма Брауншвейгской четы была довольна обширна: передняя с окном во двор, огромная зала, хоть и слабо освещенная, гостиная Анны Леопольдовны с тремя окнами на почтовую дорогу, спальня и комнаты, сначала пустые, после ставшие детскими. В окна заглядывали белые ночи и мигали сполохи. Летом можно было любоваться далью лугов; видна была и деревушка Денисовка, верстах в трех, откуда однажды бежал мальчик Михайло Ломоносов учиться и прославиться. Слушать было можно колокольный звон и ругань конвойных. Еще можно было вспоминать о былой роскошной жизни, о низкопоклонстве придворных, о шутах, шутихах, уродах и умных дураках, о притворной ласковости статной девушки, дочери Петра, в день переворота поцеловавшей свергнутого ею императора-младенца, который, может быть, жив, а может, придушен ее клевретами.

Но к думам были мало приспособлены головы грубого и неотесанного Антона-Ульриха и его бесцветной, едва грамотной жены. И здесь, как раньше во дворце, жить продолжали животно, от пищи до сна, от дремоты до нового питанья. В тупой праздности и полном однообразии дни и недели тянулись черепахой, а годы летели быстрой пташечкой. От той же праздности и скуки рожала Анна Леопольдовна детей. Сына гордо назвала Петром – в честь своего державного дяди по матери, портрет которого висел в ее комнате. Второго сына окрестила Алексеем – в память его прадеда. Дочь назвала Екатериной – дань уважения к бабке. Когда же родилась вторая дочь, ей, в арестантском раболепии, надеясь на перемену участи, дали имя Елизаветы.

Дети росли в неволе и комнатной духоте, без учителей, без сверстников. Один был косноязычен, другой кривобок, третий горбат, все болезненны, худосочны, с младенчества безрадостны, в юности неграмотны, к взрослым годам тупы и безжизненны. Плохо говорили по-русски и по-немецки, по складам читали церковные книги, тайком слушали сплетни прислуги, жившей такой же замкнутой жизнью и находившей исход в ссорах и драках да в тайных связях с конвойными.

Рассказы и причитанья матери давно надоели, да и не верилось им, что когда-то их родители были первыми людьми в государстве, а брат – малолетним царем; незабавная сказка эта надоела.

Никто в России не вспоминал и мало кто знал, что на далеком Севере еще живо Брауншвейгское семейство и что тридцать шесть лет оно протомилось в стенах архиерейского дома безвыходно. Родители умерли раньше, на тридцатом году своего заключения. Уже давно Россией правила Екатерина с ее орлами, просвещенными людьми и ловкими царедворцами. Вольтеры писали ей письма, Дидероты беседовали изустно, поэты слагали оды, историки запасали перья. Немецкий мальчик, привезенный Корфом, просидел на престоле не дольше сынка Анны Леопольдовны и, свергнутый супругой, "внезапно скончавшись", стал призраком, бродившим по Руси в разных образах, пока не воплотился в страшного и сильного Пугачева. Но все это свершалось вдали от Холмогор, могилы Брауншвейгского семейства.

В 1780 году зачем-то понадобилось великой Екатерине потревожить забытый исторический прах: был дан приказ отвезти детей Анны и Ульриха за границу – в Данию.

Как прежде Корф, приехал в заброшенный город А. П. Мельгунов повидать двоих принцев и двух принцесс. Принцы и принцессы, оборванные, уродливые, едва способные связать в разговоре два слова, встретили посланника царицы с пугливым равнодушием. Один, парень на возрасте, несвязно мычал, другой, горбун, прятался за спину сестер. Бойчее и толковее других оказалась младшая, Елизавета.

Милость царицы их не обрадовала, а испугала. Зачем им свобода? Куда их хотят отправить? Что за страна Дания? Они родились здесь, прожили жизнь в этом доме, – зачем им другой свет, иная страна, неизвестные люди, свобода передвижения и какая-то новая жизнь? У них есть нужды и желания, но только гораздо проще. Вот, например, нельзя ли им позволить выезжать из дому на ближние луга за цветами; говорят, что на этих лугах растут цветы, каких в их садике не найти. Да еще – не пришлет ли им государыня портного, который шил бы простые платья; а то присылали им по милости императрицы чепцы, токи и корсеты, каких и надеть-то никто здесь не умеет, ни девки, ни даже офицерские жены. И еще насчет бани: очень баня стоит близко к деревянным покоям; если бы ту баню перенести в другое место, они бы не опасались пожара. Ежели же будет такая милость, что позволят им вести знакомство с семейными офицерами и у них в дому

бывать и к себе приглашать в гости, от скуки поговорить, то были бы они все премного довольны, и хотят остаться здесь, на месте привычном и насиженном, на весь век.

Смотрели Мельгунову в глаза, стараясь угадать, как решит насчет бани, согласится ли? Запросит ли милостивую императрицу о знакомстве с офицерскими женами? В луга выезжать сам разрешит или придется обождать высокого указа? За всех объясняясь, смотрела принцесса Елизавета на Мельгунова почтительно и с тревогой; горбун все прятался, а косноязычный чесал в голове и мычал.

Но приказ был ясный и прямой: даровать узникам свободу и отправить их кораблем в Данию – жить, где хотят. Девушки всплакнули, – но и слезы не помогли им остаться в холмогорской тюрьме. Собраны пожитки, дадены провожатые и деньги на дорогу.

Мало известно о проживании Брауншвейгских принцев и принцесс за границей. Будто бы жизнь их там была несладка по незнакомству их со светским обращением. В просвещенную страну явились дикарями – дикарями и померли. И будто бы до конца дней вспоминали о Холмогорах и своем старом доме как о жизни райской и вполне их удовлетворявшей; вот только страх пожара от бани, да невозможность водить знакомства, да неведомые цветочки в лугах, да непригодность дареных царицей корсетов и роб. Но плохое забывается, а помнится только хорошее. Ничего лучше Холмогор не увидали в жизни Брауншвейгские принцы и принцессы.

МОНСТРЫ

Исецкой провинции в красногорском остроге у дьячка Ивана Кузнецова родился сын. А может быть, и дочь. Возможно, однако, что сын. Главное – как же назвать? Будь дьячок басурманской веры, он мог бы назвать родившееся Жозефом-Марией или Анной-Ромуальдом, что делается сплошь и рядом зря и безо всякой нужды; но по вере православной этого нельзя даже при действительной надобности. А так как дьячок и дьячиха желали иметь сына, то и окрестили родившееся Аврамом: Аврам Иванович Кузнецов.

Случай странный, таинственный и неприятный. Когда же через полтора года дьячиха снова разрешилась от бремени, то дьячок своими глазами убедился в дальнейшей насмешке судьбы: нельзя было без преувеличения считать новое родившееся сыном, но и за дочь принять не вполне точно. Пригла-

шенная для экспертизы баба-повитуха мудро указала, что в данном случае пол младенца вполне зависит от усмотрения родителей, почему новое родившееся было окрещено Терентием: Терентий Иванович Кузнецов.

Дальше – прямо точно из сказки, а между тем все изложенное и следующее удостоверено документами Камчатской экспедиции и Академией наук.

В том же красногорском остроге проживал отставной солдат Василий Яковлев, у которого в те же года от законной жены родилось сначала одно, а затем и другое лицо неопределенного жизненного назначения: не то чтобы сыновья, но не совсем и дочери. Подражая дьячку, отставной солдат окрестил одного младенца Михайлой, а другого Иваном: Михайло и Иван Васильевичи Яковлевы.

Очевидно, в этой местности было такое поветрие, потому что говорить о наследственности совершенно в данном случае невозможно. Иногда приписывают такие явления порче или шуткам врага рода человеческого, но, как увидим дальше, такие предположения противоречат не только просвещенному разуму, но и высочайшему указу.

Родившимся повезло: лет за двадцать пять до их рождения Петром Первым Великим было прорублено окно в Европу. В окно полезли всякие замечательные иностранные новости и интересы из стран просвещенных, но, сравнительно с нашей, маленьких и дрянненьких. На чудеса европейские Петр положил ответить собственными, доморощенными, и, как известно, во многом преуспел и Европу обогнал. Так создалась у нас своя собственная Кунсткамера, сначала состоявшая при аптеках, московской и петербургской, а потом переданная в ведение Академии наук, царем созданной.

Вначале в Кунсткамере чудес было немного: люди скрывали своих уродов, боялись позора. Были, правда, доставлены "два младенца, каждый о двух головах", да еще "два, которые срослись телами"; доставлены были мертвыми и содержались в банках. Поэтому указом 1718 года Петр объявил, что "в таком великом государстве может быть монстров более, но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един Творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет; но от повcovрежденья внутреннего, так же от страха и мнения материнского, как тому многие есть примеры".

За доставку монстров, зверской ли, или птичьей породы, или же человеческих, была назначена денежная награда, а за

утайку обещано примерное наказание. При этом, “когда кто принесет какой монструм или урода человечьи, тому, дав деньги по указу, отпускать не мешкав, отнюдь не спрашивая чье, под потерянием места и жестокого наказания”.

Вот когда посыпались монстры! Достаточно сказать, что в числе других чудес были доставлены в Кунсткамеру из Москвы “две собачки, которые родились от девки 60 лет”! В одном чуде сразу четыре: и двойня, и звери, и у девицы, и у достаточно пожилой!

Умер великий Петр, но дело его не умерло. В 1742 году проезжала по Сибири Камчатская экспедиция с профессором Гмелиным во главе; до Камчатки не добралась, но сделала немало важных дел, в том числе открыла существование в красногорском остроге четверых живых монстров, коих у родителей забрав – отправили в Кунсткамеру Академии наук.

По-русски монстры звались скопцами, по-ученому же их именовали армофродитами.

В архивах академии сохранилось мало подробностей о проживании при ней живых человеческих монстров. Относясь к архивным документам с полным почтением, добавим догадкой то, что позабыто или упущено. Так, например, по нашим изысканиям, сибирские монстры приехали в Петербург не младенцами, а подростками и прожили дольше, чем выходило по бумагам.

* * *

Пост армофродита при Академии наук ответствен, но не требует особой затраты энергии. Приехав в Петербург, Аврам с Терентием Кузнецовы и Михайло с Иваном Яковлевы попали в условия жизни почетной, но праздной.

Было бы много проще для них и для академии, если бы можно было, заливши их спиртом, содержать в банках вместе с прочими человеческими монстрами и в компании двух собачек, рожденных девицей на возрасте. Но они были монстрами живыми, и это вызывало осложнения, особые заботы и накладные расходы.

Ясно, что поместиться на полках и в шкапах Кунсткамеры они не могли. Поэтому обычно они проживали: Михайло и Иван – у канцеляриста Худякова, а дьячковы Аврам и Терентий – у капрала Анцыгина, которым и было поручено содержать их “как трактиром, так и покупкой рубашек, чулков и мытьем рубашек”.

Требовалась кроме рубашек и верхняя одежда. Подумавши, академия заказала им отличительную – по их положению – форму: "мундир зеленого сукна с обшлагами красными, камзол и штаны красные ж, а шляпы с тесьмой". Эта форма армофродита была им выдана под расписку с обязательством содержать одежду во всякой чистоте и сохранности.

И было монстрам, хотя и в мундирах, скучно и бездеятельно. Хорошо, что нашлась компания: еще два живых монстра, про одного из которых известно только, что он был "уродливый малый", а про другого, что он болел животом.

Монстры ели, пили, играли в шашки и зернь и вели жизнь затворническую, так как на публику и показываться не разрешалось. Жалованье им выдавали маленькое – восемнадцать рублей в год и мундир; и то академия ахала, что такой расход ей делать не из чего. А тут еще прислали в Кунсткамеру нового монстра: "У левой руки ладонь толщиной в три четверти и пальцы не так, как надлежит, да у правой ноги нет пальцев, а повыше ноги как ниткою перевязано". При этом отец нового монстра засвидетельствовал, что "от рожденья сколько оной сын растет, то у той руки та шишка растет, в четыре месяца в окружении вершок прибавляется и не отворяется никогда".

Приняли и этого, благо освободилась вакансия: монстр, страдавший животом, заявил однажды, что его "прежняя животная болезнь умножается", почему пожелал исповедаться и причаститься, а вслед за тем "после полудня во втором часу оный монстр умре". Анатомил его доктор Дюверноа и, разобрав его тело по частям, "для курьезности все части отдал в Кунсткамеру".

Прислали и еще монстра Федора Тарасова одиннадцати лет: "Голова кругом без вершка аршин, лоб и борода в длину четь и полтретья вершка, туловище от шеи до вилок две чети и два вершка, ноги по три чети тонки, нос вершок, рот полвершка, а лицом гладок". Но академии не хотелось обязываться лишним мундиром и жалованием, и от этого монстра она отказалась.

Так монстры и жили вшестером, днем на службе: может быть, кто пожелает их осмотреть, – а в остальное время в размышлении о странной своей судьбе.

Жили год, другой, третий. У Михайлы Яковлева, даром что он мог быть и дочерью, стали пробиваться усики, а Аврам Кузнецов давно уж брил бороду. Видя, что монстры живучи и не скоро удастся их анатомить и рассовать по банкам, академия задумала отдать их в гимназию для обучения русско-

му и немецкому языкам; однако, при неопределенности пола, это оказалось неудобным.

Отошнела монстрам жизнь. Первым догадался Михайло Яковлев. Почувствовав себя вполне определившимся, он стал убегать из дому и водить компанию на стороне, а однажды ушел – и не вернулся. О пропаже его была послана промемория в полицию, пропечатано в "Ведомостях" и опубликовано в пристойных местах с барабанным боем. Указаны были его приметы: "Волос рус, глаза серые, нос плосковат", – но по таким приметам бежавшего армофродита не сыскали.

Вторым вымолил себе отпуск и свободу "уродливый малый", отпросившись пожить к родственникам. Его отпустили, но с тем, что в случае его смерти ближайший к жительству лекарь проанатомит его тело, и "какое из тех частей сего монстра, по его лекарскому рассуждению, найдет примечания достойное, оное отправит в спирте в академию незамедля".

Парню с вечно растущей левой ладонью и беспалой ногой, как ниткою перевязанной, бежать было невозможно, а родственники видеть его совсем не желали. Его шишка росла с правильностью, в четыре месяца на вершок в окружении, и академия не могла на него нарадоваться. О его судьбе сведений у нас нет, но нужно думать, что он в свое время весь или в части попал для курьезности в соответствующую банку.

Что касается до оставшейся тройки армофродитов, то ни один из них в банку не попал и желания к тому не выразил.

За это время произошли в далекой Сибири некоторые события.

Исецкой провинции в красногорском остроге у дьячка Ивана Кузнецова родилась дочь – самая настоящая и подлинная, не внушавшая никаких сомнений.

И тогда же родилась дочь, вполне правильная и бесспорная, у отставного солдата Василия Яковлева.

Надо бы радоваться, – а родители загрустили. Были они уже немолоды, жили скудно и впереди не видели ничего доброго. Старость подкрадется незаметно: кто будет их кормить и о них заботиться? Старшие дети, какие ни на есть, взяты в государеву Кунсткамеру, а дочери – не работницы, да еще надобно их вырастить. Девка в семье – отрезанный ломоть.

Нашелся грамотный писарек и, по просьбе родителей, написал им прошение в Академию наук:

"Мы, нижайшие, у себя в Сибири имеем еще по младенцу, токмо не скопцы и никакой курьезности нет, и оные наши дети в малых летах, которых нам содержать и пропитать некому, а мы уже при самой старости. И дабы ука-

зом ее императорского величества повелело было нам, нижайшим, из помянутых скопцов наших детей по одному, Михайлу да Аврама, для прокормления обретающихся в Сибири родителей и малых детей к ним отдать и отпустить в дома свои".

Была академия в смущении: как вернуть Михайлу, когда Михайло успел самоопределиться и сбежать? С другой стороны – нужно и родителей пожалеть и казну избавить наконец от великого расхода на содержание армофродитов: по восемнадцать рублев в год, да мундир, да шляпа с тесьмой! И притом оные армофродиты, не проявляя желания перейти по частям или в целом виде в банки со спиртом, делаются с годами, напротив, весьма нахальными, требуют прибавки питания, носят усы и проявляют склонность к развлечениям, по званию их предосудительным.

Но так как в те времена зря швыряться музейными ценностями было не принято, то академия постановила: "Осмотреть оных армофродитов через немецкого доктора Вейтбрехта, много ли осталось в них от прежней курьезности?"

Как все немцы, доктор Вейтбрехт был человеком дотошным и в суждениях точным и непреклонным. Исполнив поручение академии, он возмущенно воскликнул:

– Колоссаль!

Вследствие чего и была положена академией следующая резолюция:

"Рассуждая об оных армофродитах, что в оных никакой нужды при академии и курьезности нет, и жалованье они берут напрасно, и плода от оных – не токмо чтоб в гимназии обучались, но и в грамоте русской читать и писать поныне в совершенство не пришли; к тому же сего 9 августа об оных армофродитах подан от доктора Вейтбрехта репорт, в котором объявляет, что оные при нынешнем случае, по осмотру его имеют мужское свойство, постановлено: оных оставшихся бывших армофродитов Аврама, Терентия и Ивана возвратить по принадлежности родителям, мундиры отобрав".

* * *

И отправились три бывшие армофродита, своекоштно и пешим хождением, через всю Россию в Сибирь, в место неудачного своего рождения, прославляя мудрость Петра и милость Елизаветы...

ШИНКАРКА РОЗУМИХА

Черниговской губернии Козелецкого уезда в небольшой хутор Лемеши приехали знатные москали целым поездом, с кибитками, подводами, людьми и запасной каретой; таких людей в этих краях раньше и не видывали, и хотя в Лемешах трусов не живало, а все же на прибывших смотрели исподлобья, шапки не ломая и держась поодаль.

Из передних кибиток вышли паны, одетые петухами, в шитых кафтанах и шляпах пирогом, и стали расспрашивать, где тут найти госпожу Наталью Разумовскую. Им отвечали степенно, что такой госпожи в наших краях отроду не бывало, а есть, коли божаете, Розумиха удова, шинкарка.

– А где нам ту вдову разыскать?

Объяснили, что разыскивать Розумиху не приходится, потому что полагается ей сидеть в шинке за стойкой и отпускать добрым козакам горилку. А если и еще кто потребуется приезжим панам, но все равно идти им в шинок, где все известно и всякого можно найти, потому что день праздничный, в поле никто не пошел, и нет только пастуха Кирилла, Розумихиного сына, который ушел с волами.

Чудные те люди забрали из кибиток разное богатое барахло, а один впереди всех понес соболью шубу. Пришли в шинок и действительно застали там немало народу, а за стойкой почтенную вдову Розумиху. Увидав ее, приезжие паны отвесили ей поклон в пояс, так что бабу даже напугали, и сказали, что прислал их к ней ее сын, знатный боярин, самой царицы слуга и любимец, Алексей Григорьевич Разумовский. И, конечно, им старуха не поверила:

– Мий сын простый козак, дэ ж ему знаты таких вальяжных панив?!

Однако должна была шинкарка признать, что есть у нее два сына, один, Кирилл, ходит пастухом, а другой, старший Алексей, ушел по городам в Московию с певцами, да так о нем и нет никакой вести.

Словам можно и не верить, а как не поверишь подаркам, присланным и сыном и самой императрицей.

Нашлись люди, разумевшие по-московски, и через них послы объяснили Розумихе, что ее сыну выпала судьба поистине чудесная. Однажды он пел в хоре во дворцовой церкви, и его отличила сама цесаревна и за голос и за его красоту; сначала он был принят во дворец бандуристом, а вскоре был перед всеми отличен и назначен камер-юнкером. Когда же стала Елизавета Петровна царицей, то был Алексей Григорье-

вич пожалован в действительные камергеры, в поручики лейб-кампании, с чином генерал-аншефа, а потом и обер-егермейстером и высоких орденов кавалером, одним словом, особой высокой и знатнейшей, первым при государыне человеком и богатым помещиком, у которого есть теперь крестьян несколько тысяч душ.

Вот какое счастье свалилось на голову шинкарки! Все это она выслушала, спорить не стала, а пригласила послов выпить горилки, потому что тогда и разговаривать легче. Сама села на соболью шубу, рядом положила кошель с золотом, присланный ей сыном, дочерям Агафье, Анне и Вере приказала потчевать гостей и всех кто был в шинке. Выпили за здоровье государыни, и за здоровье Алексея Григорьевича, и за счастливый отъезд к нему его матушки Натальи Демьяновны, бывшей Розумихи, а отныне госпожи Разумовской. Послали и за Кириллом, чтобы он со всеми вместе порадовался, а волов за него пока попасет другой хлопец.

Так погладили дорожку, щоб ровна була, а после недолгих сборов повезли послы Наталью Демьяновну с сыном Кириллом и одной из дочерей прямым путем в город Санкт-Петербург.

Этот длинный путь описать трудно. Пришлось старой шинкарке немало дивоваться на разные города и села, на реки и леса, каких она и видеть не надеялась, а по дороге был всякий почет, встречные люди кланялись в пояс, разные царские чиновники являлись справляться о здоровье. На настоящую жизнь, конечно, не похоже, а в сказках бывает и еще чудеснее. Об одном сомневалась Наталья Демьяновна: как на хуторе идут дела в шинке да здоровы ли волы, свиньи и курочки?

Под самым Петербургом встретил старуху на станции сам Алексей Григорьевич. С лица похож, но уж очень богато одет и вся грудь в лентах и орденах, настоящий вельможа. Не то чтобы не поверила Наталья Демьяновна, а все же попросила его сначала войти в дом, раздеться да показать матери приметы на теле – родимые пятнышки, чтобы уж никакого сомнения не оставалось. И только когда увидала, что все приметы сына на месте, что нет тут ни обмана, ни вражеского наваждения, – только тогда залилась счастливыми слезами, обнимая его с материнской любовью.

* * *

На другой же день по приезде стали готовить Наталью Демьяновну к приему императрицы. Показать ее такой, как

была, и думать не приходилось: государыня не обидится, а придворные засмеют старуху. Поэтому напустили на Розумиху портных, разрядили ее в фижмы, позвали волосочеса, который провозился над нею не час и не два. Во дворец ее привели разряженной, "мов на ярмарке", с лицом нарумяненным и набеленным, обклеенным черными мушками, как требовалось по моде. На голову ей навертели огромную куафюру, столь непривычную "писля очипка". Сама собой старуха и идти не могла – вели ее под руки. И заранее научили, что когда появится государыня, то должна она, Наталья Демьяновна, встать перед ней на колени и благодарить ее за все милости себе и сыну.

Шла старуха, как во сне, ноги подкашивались, голова с прической едва держалась на плечах. А когда ввели в зал, то увидала Розумиха перед собой дивное видение – в пух и прах разодетую пани, с лицом размалеванным, с башней на голове; увидав – повалилась на колени и сразу позабыла все слова. Однако сопровождавшие поспешили поднять Наталью Демьяновну, объяснив ей, что это не государыня, а она сама в большом зеркале, чему долго она не хотела верить.

Тут вошла и государыня Елисавет Петровна, женщина красоты удивительной, и хоть одета со всей роскошью, а на чучело не похожа. Едва встала Розумиха на колени, как царица ее подняла и поцеловала, сказавши ей: "Блаженно чрево твое!" и еще много ласковых и простых понятных слов.

Когда прием кончился, Наталью Демьяновну окружили придворные люди, затолкали ласками, запугали подобострастием, и каждый старался, чтобы она его запомнила. Розумиха стояла ряженой куклой, отвечать не могла, да и кланяться в ответ не могла по причине тяжести головы, украшенной буклями. Однако сразу поняла, что полагается ей держаться важно и в обиду себя не давать, да и кто смеет ее обидеть при таком сыне! Может, и была она раньше шинкаркой, теперь же, милостью императрицы, сделалась она статс-дамой, а что это значит – после сынок расскажет.

И потекли дни странные, жизнь в богатстве и пышности, пища обильная, спрашивай чего хочешь, и даже любимую цибулю приносит на серебряном подносе разодетый человек. Жила Наталья Демьяновна при дворе, привыкла видеть государыню, всегда к ней ласковую, балакала на родном языке с сыновьями и дочерью, научилась ничему не удивляться, даже тому, что и младший ее сын, вчерашний пастушок, вдруг стал важным барином и так быстро к этому приспособился, словно никогда и не пас волов на хуторе в Лемешах. Поговарива-

ли, что государыня жалует дворянство не только Кириллу, а и всем Розумихиным зятьям, и ткачу Будлянскому, и козаку Дарагану, и закройщику Закревскому, а с дворянством дадут им и хорошие должности. Одно горе: нет здесь лемешинских кумушек и свах, не с кем пощебетать и поделиться чудесами!

Прошло времени немного, поехала государыня и весь двор в Москву на коронацию; в царском поезде, в богатой карете отправилась в Москву и Розумиха.

Как ни была проста лемешская шинкарка, а все же задумывалась, почему свалилось на голову ее сына такое невиданное счастье: стать при царице первым человеком? Что он грамотен да что хорошо поет – таких рядом с ним найдется немало из знатных и родовитых. А вот что он строен и красив, да смел, да нравом прекрасен – это правда. Спросишь его самого – только посмеивается, а про государыню говорит почтительно и любовно, как про дорогого и близкого человека. Сама же царица относится к Наталье Демьяновне не как ко всем, а с особой заботой и любовью, словно бы к родной матери. Скажешь ей: "Здравы булы, пани господыня!" – а она целует в обе щеки, как равную. Что-то тут неспроста, а догадываться боязно.

Если сказкой была петербургская придворная жизнь, то торжество коронования совсем ослепило Наталью Демьяновну. Увидав горящие смоляные бочки и потешные огни в небе, думала она, что горит вся Москва. Государыня же была так прекрасна, как икона в Божьем храме. От шумных праздников кружилась голова, и тут, как никогда, взгрустнулось Розумихе по тихому хутору, по курам, баранам и коровкам, брошенным без хозяйского призора. Там, в деревенской тиши, была бы она сейчас наипервейшей важной пани, а здесь не обижают ее только потому, что боятся гнева царицы, про себя же всякий знатный человек подсмеивается над старой шинкаркой, не умеющей ступить шага.

– Добре туточки, тай ладно. А так моркотно – хоть у криницу кидайся!

Пробовала проситься домой: "Мене там свыни тай курки чекают", – но сын просил подождать: есть одно такое дело, что без матушки ему никак обойтить не можно:

– Дело тайное, а какое – о том после узнаешь.

И однажды вывели Наталью Демьяновну из дворца и посадили в карету. Выехали под вечер в трех каретах, а кто в двух других – неизвестно, не было ни гайдуков, ни конвою, а ехали быстро, долго и без остановок. Вышли в каком-то поселке перед скромной церковью, из первой кареты женщина, с головой укутана, из другой Алексей Григорьевич с дву-

мя молодцами, из третьей высадили Наталью Демьяновну.

А в церкви зажжены свечи и ждут поп с дьяконом, а никого народу нет. А когда женщина сняла свои шали, то оказалось, что это сама красавица государыня Елисавет Петровна в белом платье парчовом и белой тонкой прозрачной тафте. Был посреди храма постлан червленый шелк перед налоем, и на тот коврик разом ступили двое: государыня, яко невеста, а рядом с ней шинкаркин сын Алексей Григорьевич Разумовский, красавец и великан, государыне под пару.

Тут под Натальей Демьяновной ходуном заходил пол, и как упала на колени, так и не вставала до конца венчания. Думала: может быть, снится ей сон, ни на попа, ни на молодых не смотрела. И только тогда поднялась, когда подошли к ней молодые и государыня ей сказала:

– Матушка, мы твое благословенье заранее знали, а теперь благослови повенчанных на добрую жизнь. Дело это тайное, только между нами и останется.

На обратный путь посадили Розумиху в одну карету с молодыми. И всю дорогу они смеялись и ласкали испуганную старуху, признавшись ей, что друг друга давно полюбили и что любовь свою увенчали законным браком, только об том разговора нигде быть не должно.

– А теперь, матушка, если тебе с нами не любо, поезжай к своим куркам. Придет время – мы к тебе в гости приедем.

* * *

На голове Натальи Демьяновны, под платком, хоть и новый, но все же привычный очипок, и платье на ней удобное и простацкое, без дурацких фижм, о которых она и вспоминать-то не хочет. Волы, курки, свиньи благоденствуют, числом прибыли безмерно, и хата новая, самая богатая в селе, самая высокая, самая почтенная. Но в шинке сидеть уже нельзя, неудобно пани Разумовской, матери знатнейшего человека на Руси. Прежних приятельниц, соседок и кумушек, пани Разумовская не гнушается, а как начнет рассказывать, так кумушкам ничего не остается, как развесить уши.

И так уж все чудесно, – но могла бы рассказать им старуха такое, что ни одна бы кумушка не решилась впредь сидеть в ее присутствии и на всю округу ни один человек не смел бы стоять перед Розумихой в шапке. Но этого рассказать старуха не может: дала зарок. И сама – помнит, а не верит, был ли то сон, или вправду довелось ей стать свекровью дочери Петра Великого?

САМОБЕГЛАЯ КОЛЯСКА

Если бы не наша непростительная национальная застенчивость, то давно бы весь мир знал, что все великие изобретения и открытия, за исключением парламента и социализма, сделаны русскими. Впрочем, первый самовар найден был при раскопках в Помпеях, а счеты были известны китайцам задолго до христианской эры. Все же остальное, чем гордится наше время, было у нас много раньше, чем в Европе.

Всякому известно, что первую электрическую свечку сделал Яблочков, а радио открыл Попов. Но не всякому известно, что первую летательную машину соорудил “черный московский человек” в 1647 году, за что был бит плетьми нещадно, машину же сожгли и пепел развеяли по ветру.

Поющую машину, в виде птицы, смастерил крепостной Гришка Плосколик, отделавшийся пустяками: его лишь слегка посекли и приказали впредь ничего не выдумывать.

Аэросани изобрел бумажной мельницы работник Ивашка Культыгин и катался на них изрядно, но, по доносу попа Михайлы Варваринской церкви, был взят в Приказ тайных дел, под пыткою покаялся, и был батогами бит нещадно, а сани сожгли.

Моторную лодку изобрел крепостной дядька Семен Петров и катал на той лодке по пруду троих человек свободно, но был за это высечен помещицей на конюшне и сослан в пастухи в дальнюю деревню. Такова же была судьба Анании Звонкова, построившего первую молотилку.

О первой паровой машине, отменно работавшей в Сибири в дни Екатерины Второй, можно прочитать подробное описание, с чертежами и вычислениями, в исторических журналах, – но в Европе об этом никто не знает.

Что же касается автомобиля, то он был изобретен Леонтием Шамуренковым в первой половине восемнадцатого века. Кое-что об этом человеке известно, а что неизвестно – дополним мы нашим творческим воображением.

* * *

Печатью гения Леонтий был отмечен, можно сказать, с младенческого возраста. Грудным младенцем он дважды падал, один раз – с лавки, другой раз – с печки, и все-таки остался жив, только оба раза долго икал. От первого раза остался у

Леонтия след – кривая нога; от второго раза – заметный горб. Мать жалела, что Леонтий оказался небьющимся, потому что какой же это работник в крестьянском деле – с горбом и кривоногостью! Того не сообразила, что двойное падение отлично отразилось на мозгах ребенка, который и вырос гениальным изобретателем.

Изобретать он начал с самого раннего детства. Предполагают, что он изобрел машинку для раскачивания зыбки, в которую поступил прямо из чрева матери; но это, конечно, преувеличение, тем более что никакой люльки у него не было, иначе не упал бы он с лавки и с печки. Но соску он действительно усовершенствовал, заменив грязную тряпочку собственным пальцем. Когда же он начал ползать, а затем и ходить, его умственное превосходство над прочими детьми сразу обнаружилось. Его стрекозы, проткнутые соломинкой, летали лучше всех; его кубарь не просто кружился, но и гудел, а на сделанной им дудочке-свиристельке можно было играть без устали все, что угодно. Десяти лет он соорудил такой самострел, что убил наповал петуха, за что был нещадно избит матерью, но стал героем в глазах сверстников. Тогда же он построил первый понтонный мост через ручей, а зимой приспособил к санкам рогожный парус и катался по льду речки, возбуждая общее удивление. За последнее изобретенье бил его собственноручно отец, но бил как-то неуверенно, лишь по обычаю и явно без надобности.

К пятнадцати годам он считался на деревне лучшим плотником и слесарем, и ни починка телеги, ни рытье колодца, ни закладка нового сруба не обходились без его участия; советовались с ним даже почтенные домохозяева, на словах с ним не соглашались, но на деле поступали по его указаниям. За советы ему платили обычно подзатыльниками и зуботычиной: не мешайся не в свое дело!..

К занятию крестьянством Леонтий остался неприспособленным, и по двадцатому году был продан неразумным помещиком своей соседке по имению, княгине Г-ной, полная фамилия которой в наших документах не значится.

Княгиня Г-на была одной из тех помещиц, о которых сохранились в народе воспоминания и легенды, рисующие ушедшую в вечность идиллию крепостного права. Из рассказов о патриархальном быте, о чисто родственных отношениях помещиков к крестьянам мы воспользуемся здесь только одним, имеющим ближайшее отношение к биографии нашего героя.

* * *

У княгини была дочка, милая девушка шестнадцати лет, добрая, веселая, несколько шаловливая и капризная. Мать не чаяла в ней души и потакала ее выдумкам. Так, чтобы доставить дочери невинное развлечение, княгиня приказала старосте отбирать каждый день по семи девок, покрепче, поздоровее и покрасивее, и присылать их на господский двор. Здесь на девушек надевали особую упряжь и впрягали их в шарабан. Затем садилась княжна, рядом с собой, в помощь, сажала кучера, сама брала в руки вожжи и хороший хлыст – и выезжала на прогулку. Девушка любила спорт и ловко правила, подбодряя лошадок вожжами и хлыстом. Если пристяжные отставали от коренника, она изящным в своей простоте движением с великим искусством подхлестывала их, норовя попасть, как делает хороший кучер, по причинному месту, одинаково чувствительному у лошадей и у крестьянских девок.

Так каталась она по часу, по два, объезжая материнские владения, по полям, по лесным дорогам, по пригоркам и оврагам, то рысью, то вскачь, то с раздумцей и тихим ходом. Устав править сама, передавала вожжи кучеру, но следила, чтобы он не портил лошадок, делая им поблажки:

– Подхлестни Анютку, не видишь! Вытяни-ка коренную по хребту!

По возвращении домой звонким голосом окликала мать:

– Мама, лошадкам овса!

Мать выходила, умиленно улыбалась забавам девочки, приказывала принести пряников и леденцов, высыпать кульки в длинную колоду на конюшне и подогнать девок. Угощенья добрая помещица не жалела. Девки должны были стоять у колоды и есть, хватая пряники и конфеты губами, а руками не прикасаясь. Затем, покормив осчастливленных девок, отпускали их домой, а на другой день пригоняли новых, чтобы все по очереди испытали помещичью ласку.

Так каталась молоденькая княжна каждый день на новой семерке, разве что облюбует какую-нибудь девку, сивую или караковую, и прикажет запрягать ее каждодневно, пока не наскучит.

Особенно полюбила она Дуньку, лошадку не сильную, но красивую и большеглазую, с длинной русой косой. Ее запрягали чаще других, и всегда на пристяжку.

Эта самая Дунька полюбилась и гениальному горбуну Леонтию. Любовь, конечно, платоническая: горбуну рассчитывать не на что. Когда же однажды пришло княжне в голову взнуздать Дуньку особо, сунув ей в рот железную переборку, –

не выдержал Леонтий и решил изобрести такую штуку, чтобы отвлечь внимание княжны от крестьянских девок и соблазнить ее новым развлечением.

Работая малым при конюшне и при кузнице, Леонтий Шамуренков облюбовал старый брошенный шарабан и стал над ним мудрить. Неделю он только сидел на бревешке против шарабана и смотрел, ничего не предпринимая, обдумывая будущее изобретение. Потом стал мастерить какие-то скрепы и колеса, никому своей затеи не открывая. Потом шарабан разобрал на части и опять сложил по-своему. И наконец пришел день, когда горбун, в обеденное время, пользуясь отсутствием свидетелей, залез в свой дырявый шарабан, скрылся под сиденьем, начал там что-то крутить – и шарабан, закачавшись, покатился на колесах без лошади.

* * *

Так, в 1745 году в селе Княз-ке П. уезда (точнее названия нет в документах) пущен был в ход первый в мире автомобиль.

И тут в биографии Леонтия Шамуренкова огромнейший пробел, который нам заполнить нечем. Неизвестно даже, узнал ли кто-нибудь об изобретении Леонтия, били ли его за это изобретение, каталась ли княжна на его самобеглой коляске. Решительно ничего мы не знаем до той минуты, как у сидевшего в нижегородском остроге по своим делам колодника Федора Родионова в 1751 году отобрано заготовленное им прошение в Сенат от имени крестьянина Леонтия Шамуренкова. Сам Шамуренков был на воле, а колодник Родионов, хоть и сидел в остроге, слыл за ловкого ходатая по чужим делам и искусного грамотея.

Бумага в Сенат, отобранная у колодника, взволновала нижегородское начальство. Было сказано в бумаге, что некий крестьянин Шамуренков может сделать в два счета самобеглую коляску о четырех колесах, чтобы бегала она без лошади на дальнее расстояние, и не только по ровному месту, а и на гору. Править же ею будут два человека разными секретными инструментами, да еще четверо могут сидеть в ней господами и кататься, ни о чем не думая. Кроме того, может тот же Шамуренков сделать при той коляске часы, которые будут ходить на задней оси и показывать, сколько верст проехали, хотя бы даже до тысячи верст, да еще на каждой версте будет звенеть особый колокольчик.

Значит, по-нашему – не только автомобиль, а и таксомотор с полным счетом!

Вызвали, конечно, Шамуренкова, посадили и его в острог

и допросили, правду ли говорит. Все это Шамуренков подтвердил, прибавив, что по неграмотности все делал самоучкой, по своему разумению, и что прежняя его самобеглая коляска ходила не бойко по неимению средств; сделать же он может очень бойкую и на ходу легкую, на что ему потребуется сумма в тридцать рублев. И еще он может сделать машину, чтобы вытаскивать из земли тяжелый колокол, а также сани без лошади для зимних разъездов; только бы поддержали его скудность немногими деньгами, о чем он и решил просить Сенат.

Совещались начальники, как быть с Леонтием Шамуренковым, пытать ли его с пристрастием или, легонько поучив плетью, отпустить. Однако, побоявшись в сем смутном деле законной ответственности, послали о нем длинную и подробную бумагу в Санкт-Петербург, с приложением всех показаний и всего по делу производства.

Ответ пришел по тому времени скоренько – через девять месяцев. И не только Леонтия освободили, но приказали выдать ему подъемные и доставить его в Петербург, чтобы мог он ту коляску делать.

Тут опять пропуск, хотя известно, что Леонтий в Петербурге был, коляску сделал, но только денег ему дали мало, так что нечем было кормиться, а жаловаться он боялся. Хуже всего, что сенатор, которому было поручено ведать делом Леонтия и рассмотреть его самобеглую коляску, никак не мог за большой занятостью с этим делом справиться. Леонтий же, опасаясь от голода преждевременно скончаться, просил пока что отпустить его в деревню на кормежку и туда прислать ему, Леонтию, ответ. Его отпустили, а о коляске забыли; никак не мог сенатор улучить время и ту коляску расследовать. Да както она и затерялась, а может быть, не умели с ней справиться без помощи самого изобретателя.

Пробовал Леонтий навести справку в столице: когда рассмотрят его самобеглую коляску и какая будет по тому делу резолюция. Сам писать не мог, а писал за него отставной солдат Алешка Михайлов; и то письмо в Сенате сохранилось, но ответа на него не последовало по причине неизвестной.

В исследовании же таковой причины приходится сделать предположение, что как раз в те года внимание Сената и двора императрицы было отвлечено другим важным делом, а именно: поимкой в городе Казани и доставлением в Петербург совсем особенных пушистых сибирской породы котов. По этому делу велась огромная переписка между Сенатом и казанским губернатором, и императрица этим делом живейшим образом интересовалась. Посланы были в Казань особые чиновники, и дело было

поставлено на широкую ногу, не жалея средств. Известно также, что коты были действительно наловлены в достаточном количестве и отправлены специальным обозом, а казанский губернатор получил благодарственный рескрипт и золотую табакерку.

По этому поводу ходили даже в народе слухи о предстоящей войне и что будто бы предполагается стрелять по басурманам живыми котами из особых пушек. Еще говорили, что в скором времени всех кошек из восточных губерний переведут в западные, а на их место пошлют корюшку и рыбу салакушку для разведения в реках Волге и Каме, и что все это – по причине предсказанного немецкими учеными солнечного затмения, от которого могут произойти всякие неприятности.

Как бы то ни было, а за всеми этими толками и хлопотами позабыли и о самобеглой коляске, и об ее изобретателе, а когда наконец на пятый год, проглядывая список дел незавершенных, сенатор вспомнил и запросил о самобеглой коляске, то справкою и отношением был извещен, что та коляска приспособлена была для возки дров на нужды канцелярии при помощи лошадиной тяги, но оказалась непрочной и развалилась; устройство же ее осталось неизвестным, так как никаких чертежей не было, а все делал изобретатель самоукой. Однако были будто бы свидетели, что у самого Шамуренкова бегала та коляска бойко по двору, на улицу же выпущена не была, во избежание лишних и опасных толков в народе.

Посему сенатор положил резолюцию: дело производством прекратить.

А не прекрати он это дело – возможно, что уже Екатерина Великая каталась бы по российским дорогам в отличном автомобиле, и было бы всему миру ведомо имя Леонтия Шамуренкова, первого изобретателя самобеглой коляски!

ТАЙНА СЛУЖКИ

Царевоконстантинова монастыря наместник иеромонах Зосима, проходя через пустой малый покой, что между кладовкой и большой ризницей, увидал стоявшего неподвижно, носом к углу, но от угла шага на полтора, монастырского служку Акакия.

Игумен был в мягких лапотках, но будь он в каменной обуви и увешан звенящими веригами, – и тогда Акакий не услыхал бы его приближения. Только тогда и очнулся, когда игумен толкнул его в бок и спросил:

– Что тут делаешь?

Акакий вздрогнул всем телом, как бы проснулся от глубо-

кого сна и на отца Зосиму взглянул глазами нездешними и восхищенными.

– Слушаю, отец игумен.

– Чего же ты слушаешь?

– Чудный колокол!

Был Зосима строг, и не миновать бы Акакию примерного наказания за безделье и глупость, если бы не поразила игумена ангельская восторженность в простоватом рябом лице монастырского служки. Было его лицо подобно состоянию совершенных в благодати, восшедших на двенадцать степеней; белыми ресницами не моргал, нос же его, похожий на младорослую репку, до поры из земли вытянутую, отражал свет, падавший из верхнего окошечка покоя.

В сей час никаких колоколов не полагалось и быть не могло, и подумал старец Зосима, не повихнулся ли Акакий в разуме. И, однако, Акакий сказал ему:

– Стань-ка, отец игумен, как я стою, рядом стань!

Стал игумен бок о бок, и оба замолчали. Минуты не прошло, как из неведомой дали донесся до старческого слуха не то и правда – колокол, а может быть, райское пенье. Как поют в раю, про то неизвестно, но уж наверное поют прекрасными голосами, согласно и претаинственно. А то и впрямь колокольный перезвон – угадать нельзя.

Сим звучаньем зачарован, тихо прошептал игумен:

– Откуда сие? Нет такового поблизости.

– Ныне, отец, звон их особливый, утренний, уйти от сладости невозможно. При чуде присутствуем!

– Слыхал и раньше?

– Три дни слушаю во всякой свободный час. И наслушаться не могу.

– Не вражье ли?

– Быть того не может, отец! Не иначе небесное!

И еще слушали, пока звуки не отмерли, словно бы отнесло их ветром.

Тогда старец Зосима, брови насупив, приказал служке идти по своим делам, да никому про слышанное не болтать, чтобы не было соблазна.

Так завелась тайна между настоятелем и служкой Царевоконстантинова монастыря, что был от города Владимира на Клязьме в пятнадцати верстах да давно упразднен.

* * *

О сказанном чуде ничего из документов узнать нельзя, хотя и есть такой документ от 9 Генваря 1753 года. В нем

прочитаем, что было разбирательство в домовой святейшего правительствующего синода члена преосвященного Платона, епископа Владимирского и Яропольского духовной консистории, и кто на том совещании присутствовал, и кого допросили, и как и кто слыхал чудный колокольный звон с перебором толстых и тонких голосов во святых вратах монастырских, якобы из земли исходящий, и как прислали в монастырь комиссию консисторских чинов, и как тот звон внезапно прекратился. И что не было в то время никакого звона монастырских колоколов, и нет такого даже в селе Добром, в церкви ближайшей.

Все это описано, и все это не настоящее, а только одна канцелярская сплетня и волокита, начатая уже после того, как про таинственный звон все в монастыре узнали. И все это с истиной не согласно, потому что того звона и пения никто не слыхал, кроме служки Акакия и старца Зосимы, а говорили только по любопытной выдумке, чудо приукрашая и сами им приукрашаясь.

Мы же знаем больше, знаем и внешнюю того чуда причину.

Знаем мы, что весной, когда ушла полая вода, монахи, по обычаю, загатили речку хворостом и завалили землей, оставив для спуска лишней воды творило, а по-тамошнему – вешняк. И через тот вешняк стекала вода в нижнее русло с шумом и говорком. Шум той водоточины и поблизости был приятен, но никто его не замечал.

И была в старом монастыре комната со сводами и с окошечком наверху. Чрез окошечко доносило ветром звук речной струи, который, дважды в стены ударяясь, слышим был только в одном углу, где и уловило его ухо монастырского служки. Но в том па́голосье звук водопада менялся и пел чудесно на разные голоса и на колокольный перезвон то как бы буревой колокол, то будто зазвонный и перечасный, то бурлилой, то лебедью, а то мелким колокольчиком-гормотунчиком, хлопотливым балабончиком, а то и стройным пением нездешних голосов.

Все это мы знаем и можем объяснить, как бы отменив и самое чудо. Но чуда человеческой души не объяснишь разумом. Душевного счастья и волнения служки Акакия на бумаге не докажешь; старца Зосимы радости и покоя одним отгулом водостока не оправдаешь.

Потому-то, отложив в сторону старовременный документ, тихой ночью проследим тень чернеца, скользящую в мягких лапотках из кельи в малую комнату между ризницей и кладовкой.

* * *

“Господи, побори борющего мене врага и укрепи, слове Божий, обуревающие меня помыслы Твоею тишиною!”

В руке у игумена масляный светильник, и при слабом его свете находит Зосима на полу шестиконечный крестик, намеченный рукой Акакия, чтобы точно знать место, куда ногами становиться. Найдя и установясь лапотками, ставит игумен светильник позади себя на пол, чтобы светом его не отвлекаться.

В угол между стен падает и уходит под своды тень чернеца. Спит монастырь – бодрствует за него старец-настоятель. “Мне мир распяся и аз мирови”. Звук чудесный рождается комариком в темном углу, растет мухой, жужжит майским жуком, пластается отдаленным хором и переходит в колокольный дальний перезвон.

Кости Зосимы привыкли к стоянию, и ряса на нем не дрогнет. Замерев, слушает часами и слышит, что хочет, тайно приказывая, а может быть, и сам подчиняясь приказанию. Иной раз слышит как бы грозу, столь силен гул в его ушах, а то городской шум, голоса и споры, торжественный набат, хор аллилуйный, зычную проповедь и опять – мирный говорок, начало утехи и умиротворения, как бы от молодых борений пошло дело к старости, отказу от желаний и могильному покою. Вроде как бы проходит перед старцем вся его жизнь, событиями небогатая, однако полная незамоленных грехов, и дале уже ждать нечего. Выйдет наружу суетная мысль, что-нибудь из малых злоб истекшего дня – и сейчас же заслонится рядом колоколов и звонцов, нанизанных на жердь и поющих поочередно, одни тяжелым билом, другие трепетливым язычком, но все согласно. И тогда опять возвращается покой, и уступает мысль усердию слуха: “Мне мир распяся и аз мирови”.

Откуда сие и почему открылось впервые пустому парню из бельцов?

А когда утренний свет в верхнем окошечке пересилит лампаду, старец Зосима, задув огонек, мягкими лапотками шуршит по каменным плитам обратно в келью досыпать или додумывать свою чудесную ночь. Утром будет он бодр, потому что ночное стояние в чудных звуках укрепляет и душу и тело; и будет он добр и терпелив, зная больше, чем знают другие, и приобщившись несказуемой тайны.

Иное дело – служка Акакий, весь день заваленный работой. Ему удается слушать явленное чудо только урывками, а

лучше всего в послеполуденный час, когда братия отдыхает по кельям.

Еще на дворе Акакий двумя пальцами освобождает нос от излишнего, чтобы не мешать дыханию, пальцы обтирает об испод ряски и, опасливо оглядевшись, чтобы кто не застал его на месте, как однажды застал отец игумен, спешит в полутемный покой, привычно становясь ногами на закрещенное место.

Ему слышится иное, не как отцу Зосиме. Чаще всего слышит он пение, и не всегда духовное. Вдруг из стройного хора выбежит и заиграет голосок, не то женский, не то детский, а то наподобие соловьиного присвиста и раската. Защурив глаза, рот широко распятив, Акакий замирает в слухе, не пытаясь думать, откуда несутся к нему голоса и паголоски, кто он сам, Акакий, какая его жизнь. Так стоять и слушать для него сладостнее меда и сота. Тело его легко и бесчувственно, за спиной крылья, и он летает с поющими птицами, окунается в лесную прохладу, не задевая в полете за ветки шумящих деревьев, перекликается с ангелами ангельским голосом, вторит пению и свободно предстоит накату шумов и гудящих чудесных мух. А когда невидимых уст дуновением звуки временно относятся вдаль и умолкают, Акакий вздыхает негромко, не разрушая молчания, и осторожно переступает затекшими ногами или чешет там, где чешется. Вздыхает и потому, что долго задерживаться ему нельзя, всякая минута у него как бы краденая, работы у него, монастырского служки, всегда вдосталь и как бы его не хватился игумен или отец ключарь.

После бегает Акакий по двору с метлой или поганым ведром в рассеянном небытии и душевном сиянии, не то дурачком, не то блаженным. На оклики отзывается не сразу, но всегда радостно, словно каждый его должен одарить словом и лаской; чаще же всего получает "дурака" и "глухую тетерю", реже – колотушку в бок.

Так прошло лето, и о тайне, объединявшей игумена и служку, никто не знал. Служка думал, что отец игумен про то дело забыл; сам же, – памятуя о запрете и ему радуясь, – никому про чудо не рассказывал.

Но нет ничего тайного, что не открылось бы. Осенью, перед самым рекоставом, поймал Акакия на месте отец ключарь, прибил несильно, тайну выведал и доложил игумену. Тогда-то и возникло дело о чрезвычайном происшествии в Царевоконстантинове монастыре, что слышны там бывают звуки колокола меж монастырских врат и все прочее. Верно же то, что ни отец ключарь, ни кто другой тех звуков не слыхал, а толь-

ко притворились, будто слышали, так как чудо подтвердил сам игумен Зосима, запрошенный о нем консисторией.

В те самые дни, ожидая осеннего ледоплава, монахи и деревенские спустили плотину. И когда в монастырь, по указу преосвященного Платона, прибыли чины назначенной им комиссии, коих игумен Зосима и повел в отмеченную комнату на отмеченное Акакием место, то никаких звуков больше не было, и то дело пришлось оставить без последствий как сумнительное и недоказанное.

* * *

И в старобытности, и в современности было и есть только одно чудо: чудо человеческой души, когда нисходит в нее бескорыстная и бесполезная радость. И тогда не нужно этому чуду объяснений и никто сторонний его не поймет и не оценит. Рождается оно из ничего и уходит никуда, о сроках не спрашивая.

Для каждого оно разно, рассказать его нельзя и сомневаться в нем законно тому, кто его отродясь не испытывал. А кто испытывал, тому не приходится втолковывать тайный смысл умилительных слов Исаака Сирского:

"Когда находит сия несказанная радость, тогда умолкают уста, и язык, и сердце – хранитель помыслов, ум – кормчий чувств, мысль – пролетающая и неудержимая птица!"

КАЗНЬ ТЕТРАДКИ

Рано утром 4 декабря 1755 года, в день великомученицы Варвары, бежал в школу солдатский сын Вася Рудный; и хотя был в валенках, но на бегу подпрыгивал, потому что полушубок едва доходил ему до коленок и архангельский холод забирался и снизу, и с ворота, а хуже всего в короткие рукава. Нужно и руки греть, и уши тереть, и не забывать о носе. В безветренный день даже и не щипнет, а тронешь – заместо носу деревянный сучок.

Как раз против дома пробирного мастера Соколова, на полпути в школу, видит Вася: лежит на снегу, на протоптанной тропе, большой пакет синей бумаги. Находка! Наклонился – и поднял свою судьбу. А не подними – ничего бы не случилось с Васей Рудным, солдатским сыном.

Обжигая пальцы о бумагу, развернул пакет и увидал тет-

радку, крупно записанную рыжим чернилом; была тетрадь прошита суровой ниткой, половина листов записана, половина чиста. Чистая бумага для школьника – сокровище: пиши и рисуй. В школах бумаги и не видали, а писали на черных досках мелом.

Может быть, и полюбопытствовал бы Вася, что написано в тетрадке; но на морозе не зачитаешься, да и не мастер он был разбирать полууставное скорописное письмо. Сунул тетрадку в карман и припустился бежать весело.

И зачем не выпала та тетрадь у Васи из кармана, как выпала у прохожего! Была бы у Васи своя жизнь, может, вышел бы в люди, протянул положенное человеку счастливо и в достатке. Погубила его находка на пятнадцатом году жизни.

Пословица говорит: "Не знаешь, где найдешь, где потеряешь".

* * *

За главного был в архангелогородской солдатской школе прапорщик Елагин.

Учителей было, не считая попа, двое: Петр Хромых и Иван Волков, оба из грамотных солдат. Петр Хромых учил счету и географии: где какое государство и какая губерния. Иван Волков учил складам по псалтыри и по Четьим Минеям. Пока учил Хромых, Волков либо курил табак в сторожке, либо шарил по карманам в ребятских полушубках. Случалось, что найдет три копейки – тогда шел хлебнуть от безгрешного дохода.

В день холодный Волков шарил особо усердно, – но без толку. В одном кармане нашел солдатскую пуговицу, в другом – тетрадь.

Откуда у малого тетрадь? Кем писана? Разогнул посередине, наложил на строку прокуренный палец с черным ногтем, повел и, сам не сильный в грамоте, прочитал слово за словом, помогая себе губами:

"Оный Бог пребывает на горе под небом и живет с супругой Юнонией, однако, будучи весьма охоч до земных девок, является к оным бычком либо лебедем, а то золотой монетой, и те девки от Бога брюхатеют. Имеет бороду, лицом пригож и пьет брагу, именуемую нектаром, часто до пьяна".

Не будь солдат Иван Волков брит – стали бы у него волосы дыбом: этакое написано про Бога! Сунул ту тетрадку за голенище и прямым путем пошел доложить про находку прапорщику Елагину.

Прапорщика нашел в кабаке, за первым утренним шкаликом, по причине холода. Был Елагин ростом мал и умом кроток, звезд с неба не хватал, грамоте был почти что не обучен, с солдатами не зверь, с начальством робок. Греться – грелся, но в будний день знал меру и не терял офицерского достоинства. В школе доверял учителям, а сам больше пекся о солдатском продовольствии, муштрой не донимая. Верил в Бога, верил в розгу, служил отечеству без обмана и по правде.

Первым делом порешили школяра Василия Рудного допросить под лозой: откуда взял тетрадь, кто научил богопротивным мыслям, да с кем про эти дела ведался? И хотя день был не субботний, – по субботам драли всех школьников, – но после урока выдвинули скамейку и спустили Васе штаны. Драл его учитель Иван Волков, а допрос вел самолично прапорщик Елагин. Драли, по важности случая, всерьез и нещадно.

Сначала Вася запирался, что ничего про ту тетрадку не знает, а нашел ее на улице, прочитать же ее не хватило ни разуму, ни времени. Но когда от ягодиц к спине набухли красные полосы и голос Васи от крика стал сдавать, то сообразил он лучше сознаться и наклепать на неизвестного человека, что будто дал он ему ту тетрадку. Будто встретил он на улице не знаю какого посадского человека, всего два раза его и видел, зовут его Семен Никитин, а прозвище неизвестно, и тот посадский дал ему тетрадь, а для чего – неведомо, и ту тетрадь он, Васька, положил в карман не читая, да и забыл, и в том вся правда, и чтобы до смерти его, Ваську, не били, а отпустили, потому что сказывать ему больше нечего, все сказал.

Велев додать Ваське счетом еще десять, прапорщик Елагин приказал учителю Васькино сознанье записать на бумаге и, ту тетрадь приложивши, отправить дело в архангелогородскую губернскую канцелярию, чтобы не было нарекания от начальства за покрытие того Васьки богохульных дел.

* * *

Без лозы и линьков следствие в те времена не производилось. Хоть и назвал солдатский сын Василий Рудный имя посадского человека, а как прозвище он указать не хочет, то взять его, Рудного, и испытать еще раз под лозами, содержать же его в секретной камере, пока человека не укажет и не будет по тому делу решения.

Первое время били Васю многократно, с пристрастием и не-

щадно, содержа на воде и хлебе в холодной камере. Но как ничего сказать больше он не мог, то дело его затянулось на месяцы.

Что было в богопротивной тетради, то прочитали, но толком понять и растолковать никто не мог, хотя и была в ней явная ересь и хула на Бога и призыв к язычеству с описанием всяких историй, полных соблазна и не известных христианской вере имен. Повальным обыском спрашивали про неведомую женку Юнонию, нет ли такой хлыстовской богородицы, пытали и про распутную девку именем Венера, не знает ли кто и не донесет ли губернской канцелярии. Но, на Васино несчастье, никто про сих еретиков и нехристей ничего не слыхал и разъяснить не мог, сам же Вася ни в чем больше не признавался.

К весне, которая в архангельских краях хоть и поздняя, но полна красоты и ласковости: роскошна черемухой и белыми пахучими лесными цветочками, а поля зеленеют просторами, а ручьи шумят, да не могут заглушить щебетанья и гомона прилетных птиц, и дышит человек свободно, на ходу легок, в обращении улыбчив и весел, – к той весне осталась в секретной камере городского острога только тень Васи Рудного, былого здорового парнишки. Только кости торчали, а тело сползло, хриплым стало дыхание, и кровь вся истратилась у малолетнего колодника. Кашлял днем, перхал ночью, так что и спал мало, ел же через силу по малости выдаваемый черный хлеб. И словно бы повредился малый в разуме, всякого слова пугался и дрожал весенней осинкой.

Когда зацвела сирень, пришлось Васю перевести из острога в архангелогородский полковой госпиталь, потому что сам он был в холодном поту, а внутри тело пылало печкой, и было крепчайшее запирание в груди, от которого запирания колодник Василий Рудный волею Божьей и помре в начале месяца мая 1756 года.

* * *

Со смертью преступника дело, однако, не кончилось, и кончиться оно не могло, потому что Вася был только сообщником, а главный виновник того прелестного воровского деяния так и не был найден.

Пришлось губернской канцелярии потрудиться и исписать немало по тому делу бумаги. Потрудился и прокурор, подыскивая статьи закона, по которым можно было завершить дело, так и не двинувшееся с первого дня.

Всего труднее, что не было в военных законах никаких указаний на богохульные тетрадки, могущие сеять в народе неверие и соблазн. И случая такого раньше не было.

Нашлось, однако, в военном уставе 1716 года, в артикулах 149 и 150, указание, как будто к случаю подходящее, каковое гласило:

"Кто пасквили и ругательные письма сочинит и распространит и тако кому непристойным образом какую страсть или зло причтет, через то его доброму имени некой стыд причинен быть может, сочинитель же не найден, то палач такое письмо имеет сжечь под виселицей, а сочинителя онаго за бесчестного объявить".

И хотя ни стыда доброму имени, ни вреда от той тетрадки никому, кроме Васи, не причинилось, но, за неимением закона более подходящего, было дело подведено под эти артикулы, о чем и прочитана публикация в губернской канцелярии, а также назначен день исполнения приговора.

В сей день была поставлена на городской площади легкая виселица на помосте, а под виселицей поставлена железная жаровня, полная раскаленных березовых угольев.

Собирались праздные посадские люди посмотреть на казнь. Кого будут казнить – не все знали, а кто поопытней, говорили, что перед казнью будут прижигать казнимому либо лоб, либо пятки каленым железом, другим же ставить клейма по обычаю. Палача знали хорошо в лицо и уважали, так как он считался одним из лучших в тех краях заплечных мастеров и перевешал немало народа.

Явились на площадь разные начальства из губернской канцелярии и военные власти. Пришел и прапорщик Елагин со взводом солдат, а всех молодцеватее красовался унтер, учитель школы солдатских детей Иван Волков, всего торжества главный виновник.

Тетрадь принесли прокурор с копиистом, в той самой синей бумаге, в которой завернутой нашел ее на улице мальчик Вася Рудный. И только тут узнала толпа посадских, что ныне вешать никого не будут, а жечь будут только пасквильную бумагу.

И был барабанный бой. После боя долго читал чтец канцелярское постановление, писанное языком мудрым, подписанное людьми темными. И кто слышал в нем многократное упоминание имени волей Божьей помершего колодника Василия Рудного, тот представлял себе этого колодника высоким и мрачным злодеем, который, попадись ночью или даже днем, – не упустит обобрать человека донага, а то и загубить

христианскую душу: лицом зверь, борода рыжая, шея воловья, уши и ноздри рваны, на щеках и на лбу клейма. Такому человеку нипочем загубить чужое доброе имя клеветой и позорным слухом, да не щадит он и имени Божьего, хуля его в угоду самому сатане! И что тот Василий Рудный помре в остроге – в том виден перст Божий, покаравший его ранее всякого человеческого наказанья.

По прочтеньи же длинной бумаги опять загремел барабан, и тогда на помост взошел палач в красной рубахе, взял из рук прокурора преступную тетрадку и, огонь в жаровне раздувши, так что пламя едва не опалило ему бороду, бросил ту тетрадь в самый жар.

Отогнулся и, почернев, откинулся первый листочек, за ним второй – точно неведомый дух листает тетрадку. Сгорело писанное и сгорели чистые листы, на которые позарился школьник. Сгорели древние боги, мифы о которых старательно записал прилежный семинарист, потерявший тетрадку на улице.

И когда тетрадка сгорела начисто, палач залил жаровню полуведерком воды. Разошлось начальство и разошлись посадские, пораженные мудростью и справедливостью законов, но не совсем довольные зрелищем: все-таки настоящая казнь, человеческая, много занятнее!

Что здесь рассказано, то случилось в стародавнее время, в российском медвежьем углу, в краю смоляном, деготном и рыбном, среди людей темных и суеверных.

Когда же пройдет еще сотня лет, с полсотней и четвертью, – новый сочинитель расскажет людям про то, как его предки, постигшие и логику, и риторику, и самую философию, жгли соборне на кострах преступные книги в городах больших и славных просвещением.

Ибо возвращается ветер на круги свои, ночь сменяется днем, день ночью, и мало нового в подлунном мире.

ЧАРОДЕЙ

В старые годы дамы и девицы заместо нервов имели вапеnecessary; потом кисейные барышни (кличку придумал Помяловский) стали падать в обморок и дрыгать ножками; в деревнях же во все времена истерика выражалась в кликушестве, причем одни кликушествовали взаправду (при падучей), а другие только кликушничали притворства ради, по собственным причинам.

Так точно залаяла жена Родиона Жигалова, а за ней еще четыре женки той же волости. Лаяли они каждая на свой образец: одна – собакой, другая – скорее всего волком, третья – иподьяконом, четвертая – с пророчеством. Общим у них было, что в своем бреду и нечистом смятении называли соседа, Андрея Козицына, батюшком.

Тут, собственно, и думать не о чем. Если какая порченая называет кого батюшком, – значит, он ее и испортил. Не столько, конечно, врачебная истина, сколько вековая народная мудрость.

Андрей Козицын был, на деревенский счет, годами стар – пятьдесят два года, но собой крепок, еще совсем молодец. Может быть, между ним и женками что-нибудь и было, мы не знаем – и дело не наше. Однако ни в чем подобном ни женки, ни их мужья Андрея Козицына не обвиняли; а вот что кликуши называют его батюшком – очень подозрительно!

Весной 1756 года обо всех этих делах поступило доношение сотского в яренскую воеводскую канцелярию. В наше время потащили бы женок в больницу и к психиатрам, стали бы врачевать последствия; но сто восемьдесят лет тому назад смотрели в корень и старались изничтожить причину, а тогда сами исчезнут и следствия. Поэтому яренская канцелярия затребовала прежде всего присылки того, на кого злой слух происходил в чародействе. И первым забрали Андрея Козицына.

Козицын отозвался полным незнанием всего, в чем его обвиняли. Ни трав он не знает, ни жабьих костей, ни чаровных слов, ни прочего какого зелья к порче людей. И подлинно ли те женки испорчены или кричат притворно, того тоже не знает. Жил со всеми в мире, и никто его не осуждал.

Сначала допросили просто, затем под пристрастием битья батожьем, потом по добровольном увещании, потом без особого членовредительства – ничего мужик не знает и ни в чем не признается. Потребовали вновь допросить с истолкованием – кряхтит крепкий мужик, но толку никакого. Пришлось вытребовать в канцелярию всех потерпевших и всех близких им людей, а потом прибегнуть и к повальному обыску – опросу всей деревни. Раз дело, да еще такое важное, началось – покатилось оно вперед до полного разрешения и по крайней сложности катилось оно десять лет: зачавшись в дни Елисаветы, закончилось в просвещенное царствование Екатерины Второй, царицы мудрой и милостивой, приятельницы заморских философов.

Спервоначала все потерпевшие и все свидетели единодуш-

но отозвались незнанием. Что в деревне и девки и женки кликушествуют – истинная правда; у Родиона Жигалова одна жена чахла три года, скорбела сердцем и была в чахоточной болезни, пока не померла, а когда он взял другую, та через полгода заскорбела икотной скорбью и по сей день скорбит и кликает. Родион, мужик добрый и разумный, учил ее и плеткой, и поленом, и ногами на полу топтал, и в бане обдавал ее, дурную, горячим мятным паром, и на мурашиную кучу сажал, задрав ей исподницу на голову, – помощи никакой, как и с первой женой было. Что обе бабы испорчены – в том нет ни спора, ни сомнения, а кто испортил, Родион не знает и догадаться не может.

Так же точно и порченые женки показали на допросах, что подлинно они впадают почасту в беспамятство и несостояние ума и в том безумстве называют Андрея батюшком; но чтобы тот Андрей был чародеем, еретиком и волшебником, знал бы травы и зелья для порчи людей, того они не знают и показать не могут.

Была в деле мелочь: Козицына невестка Агафья будто бы сказала одной из кликуш: "Я-де тебе не по свекрову учиню!" За такие похвальные речи Агафье учинено битье батожьем, дабы впредь жила смирно и от брани удерживалась, а паче таких похвальных слов не говорила. А затем ее, как и всех других, отпустила яренская канцелярия по домам с миром, взяв с обыскных людей поручную запись по Козицыне.

Но вмешалось в дело другое ведомство: консистория преосвященного Варлаама, епископа великоустюжского и тотемского, и потребовала то дело пересмотреть в согласии с указом Святейшего Синода, коим повелевалось:

"Где явятся в церквах и монастырях, также и в городах и селах, притворноюродцы и босые и с колтунами, тех для расспросов, чего ради такие притворства, а кликуши в церквах и монастырях безобразия чинят, отсылать в светский суд без всякого отлагательства".

Нужно сказать, что борьбу с кликушеством и притворноюродством начал еще царь Иван Грозный, жаловавшийся собору, что "лживые пророки, мужики и женки, и старые бабы бегают из села в село нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются и кричат: св. Анастасия и св. Пятница велят-де им" и прочее. А в следующем столетии на то же жаловался и патриарх, говоря, что в церквах "от их крику и писку православным божественного пения не слыхать" и что они "приходят в церкви в Божии, аки разбойники с палками, а под теми палки у них бывают копейца железные, и бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная".

И хоть в данном случае ничего подобного не было, а все же пришлось следствие возобновить. Для начала еще раз выдрали невестку Козицына, а самого его посадили в узилище для "добровольного увещания", время от времени допрашивая с пристрастием. Собственно, судить надо было женок, виновных в кликушестве, но вышла небольшая путаница, и ответил за все чародей Андрей Козицын, как увидим, по всей справедливости.

* * *

Сидит Андрей Козицын в узилище год, и два, и три, и пять, и больше. Дело его тянется и осложняется, допрос идет за допросом, батожье за батожьем, толкованье за увещаньем. Пишутся протоколы, посылаются промемории простые, дубликатные и трипликатные. Конца следствию не видно, борода у Козицына из белокурой стала совсем седой, кости ноют, тело подгнивает от частых увещаний. Выдержи чародей еще лет десять в упорном отрицании – может быть, и вышел бы на волю к семидесяти годам. Но, видно, и у чародеев бывают минуты слабости! В одну из таких минут, лежа на козле под розгами, заговорил Козицын толково, а писарь записал.

Было дело на Пасху. Зашел Козицын к соседу Гордею Карандышеву выпить пива. Ну – выпили. Потом легли спать, а наутро принялись опять пить пиво. Тут ему и говорит Карандышев:

– Хочешь ли научиться портить людей?

– А как?

– А вот видишь ли пятерых дьяволов, которые мне служат? Если хочешь – будут они и тебе послушны.

Козицын вгляделся – и действительно увидал пятерых невидимых дьяволов. Один сидел на чарке и болтал ножками, другой спокойненько ползал по потолку мухой, третий ковырял нос кочергой, остальные тоже занимались своими делами. Из себя черненькие, роста небольшого, спинка в шерсти, животы голые, хвосты с кисточкой. Вообще – обыкновенные дьяволы, как им и быть надлежит.

Конечно, тут же и договор заключили. Козицын отрекся от Бога, дьяволы обещали ему служить верой и правдой по части порчи людей. Старшего дьявола звали Ерахтой, а имен прочих он не запомнил. В дальнейшем в нужных случаях Козицын обращался к Ерахте, а тот уж отдавал распоряжения. Испортив человека, Козицын отсылал дьявола за ненадобностью к сатане.

Наконец-то дело получило настоящее движение! Разыскали Карандышева, старика за шестьдесят лет, привели в застенок, принялись увещать рядом с Козицыным. Но так как Карандышев даже на виске (дыбе) не признался, то снова принялись за Козицына, трижды его подвесив, а на четвертый раз проверив под страшной пыткой – под теми кнутами, от которых оставались на теле кровавые перекрестные колеи, так что куски кожи отваливались с мясом. И только тут в сознании Козицына наступило полное просветление.

Оказалось, что он все перезабыл и Карандышева оговорил напрасно. Чародейству его научил лет пятнадцать назад промышленный человек Иван Поскотин в Сибири. Тот грамоте не знал, волшебных писем не писал, но держал у себя для постоянных услуг трех дьяволов, вроде как приказчиков. Жалованье этим дьяволам полагалось самое простое: нужно было снять с себя крест, да и то только на время, когда необходимо портить людей. Были эти дьяволы, конечно, черными, роста небольшого, по всему телу шерсть, головы противу человеческих вострые, а на спрос отвечали они человеческим языком, по-русски, очень хорошо и понятно. При нужде навести на человека порчу призванные дьяволы наговаривали разными словами на печеный хлеб или на живую муху. От них Козицын и получил свое чародейское образование, ныне же он портить больше не умеет и все то учение позабыл, и дьяволы к нему больше не являются.

Дело затянулось, потому что пришлось разыскивать промышленного человека Ивана Поскотина, успевшего, на его счастье, к тому времени помереть.

Но все-таки ясность в том деле теперь уже была. Поэтому опять разыскали девку Агафью, невестку Козицына, и подвергли ее нещадной порке. Самого же Козицына яренская канцелярия, руководясь главой 22 уложения царя Алексея Михайловича, – хоть и сидела на престоле императрица Екатерина, просвещенная мать отечества, – приговорила, дав ему время для покаяния, казнить смертью сожжением в срубе.

И сожгли бы несчастного старика, дважды себя оговорившего, если бы не народились к тому времени в Европе великие энциклопедисты, учение которых своим немеркнущим светом согрело и нашу землю!

Узнав о состоявшемся приговоре, архангелогородская губернская канцелярия его отменила. Правда, сей чародей подлежал сожжению, но подпал он под действие новых человеколюбивых сенатских указов, по точному смыслу которых надлежит:

"Учинить ему жестокое наказание кнутом, вырезав нозд-

ри и поставив на лбу и щеках знаки, и послать в ссылку в Сибирь для определения при Нерчинских серебряных заводах в вечную работу".

Всякий приговор все же лучше бесконечных следственных пыток! Сорок ударов кнутом чародей выдержал, выдержал и рванье ноздрей и стемпели, духа не испустивши, а по исполнении приговора, по законам того времени, тот приговор был послан на утверждение столичной юстиц-конторы.

Юстиц-контора несколько замешкалась, однако два года спустя приговор утвердила, найдя лишь одно сумнительным: учинено ли колоднику увещание от Божественного писания через духовную особу?

Признаться, яренская канцелярия забыла, сделано ли такое увещание. Поэтому пришлось осведомиться у самого колодника, которого по этому случаю подвергли новому допросу "с толкованием", достаточно убедительным, чтобы он прибавил некоторые подробности в описании дьяволов, ему служивших. Сверх того, канцелярия за давностью времени позабыла, была ли достаточно наказана девка Агафья, невестка Козицына, которую на всякий случай пришлось опять вызвать и плетью выдрать нещадно, дабы и другим неповадно было говорить похвальные слова.

Когда же земля в своем непрестанном движении вокруг солнца завершила десятый круг, а именно весной 1766 года, был, наконец, тот чародей Андрей Козицын "за его тяжкие и малослыханные злодейственные вины и напрасное пролитие крови", – хотя кровь пролита лишь его собственная, – отправлен в Нерчинск, скованный, в заклепанных кандалах, под "достаточным и безопасным конвоем", причем сопровождавшим его инвалидам была дана инструкция с наставлением "до побегу его во время дороги отнюдь не допускать, а ножа или другого вредительного оружия не давать".

В документах не значится, была ли в тот же день еще раз нещадно выдрана плетью случайная оного чародейского дела участница девка Агафья.

Но стоит ли вспоминать о столь стародавних временах, когда Россия была в судах темна неправдой черной, когда порчу нагоняли наговором на живую муху и думали, что дьяволы чем-то отличаются от людей? Да почиет наше забвение и прощение на их неправосудных делах!

И если мы все же позволили себе оглянуться на прошлое, то лишь потому, что в необычайном и словно бы необъяснимом признании деревенского чародея почудилось нам некоторое сходство со столь же необъяснимыми покаяниями со-

временных "вредителей", дела о которых обогащают архивы – к любопытству и пользе грядущих изыскателей.

"ПРЕД ВСЕМИ БЕДНЫЙ"

Всеподданнейший и последний раб Михайла Алсуфьев, по робости и малой грамотности так свою славную фамилию писавший, получил служебный приказ через Тайную канцелярию: разведать и донести подробно и обстоятельно о деятельности тайной франмасонской секты, какая у них ложа, кто в ней собирается, и что делают, и в чем ихняя ересь состоит. Да чтобы донес не по пустым рассказам приятелей, а проник бы туда лично, все обстоятельно высмотрел и изложил письменно на имя всемилостивейшей государыни Елисаветы Петровны. Передан ему сей приказ в форме высочайшего рескрипта на личное его, нижайшего раба Михайлы Алсуфьева, имя.

Завидна честь и высоко монаршее доверие, – но и задача трудна безмерно!

Михайла Алсуфьев, чиновник скромный и бесталанный, с неба звезд не хватавший, получил такое важное поручение случайно: отчасти потому, что давно о нем хлопотала перед высоким начальством его тетушка, а больше потому, что в разговоре с сослуживцами однажды проговорился, будто бы знакомый франмасон звал его вступить в тайное общество, где собираются именитые люди и проводят время весьма нескучно и где можно сойтись на дружеской ноги с вельможами, близкими ко двору и к самой императрице. На ушко названы были Роман Илларионович Воронцов, писатель-бригадир Александра Сумароков, кадетского корпуса капитан Милисино и два-три лица княжеских фамилий. С одним князьком как раз и беседовал Михайла Алсуфьев, согласия, однако, не изъявивший, а просивший дать ему подумать.

Теперь, с царским рескриптом в кармане, можно бы и согласиться на вступление в ложу – от этого беды произойти не должно. Но князек говорил, что скоро это дело не делается, а нужны месяцы подготовки и предварительных разговоров, после чего будет назначен день для посвящения, а самые тайны масонские узнаются лишь постепенно, по мере того, как братья присмотрятся к новому человеку. Такой окольный путь никак дела не устраивал – приказ был срочный. И потому Михайла Алсуфьев решил открыться приятелю-князьку, взяв с него обет молчания и попросив дать ему возможность посетить ложу тайно; от себя же обещал доложить императрице

нелицеприятно и в духе умеренном, только бы дали ему также и полный список всех членов.

Вначале князек очень испугался, заявив, что тайно провести в ложу никого невозможно. Однако, переговоривши со своими, скоро явился к Михайле Алсуфьеву с согласием: и в ложу проведет, и доставит списки. "Из сего убедишься, что наше общество есть не что иное, как ключ дружелюбия и братства, кои бессмертно во веки пребыть имеют, и если от профанов двери ложи на запоре, то от премилосерднейшей матери отечества нам таить нечего".

И в день назначенный сам привел Михайлу Алсуфьева в помещение, где все братья были уже в сборе. Посетителю указали место, не в ряду других, а в сторонке, где ему поставили особое кресло. Никто к нему не подошел, как бы не замечая, да и знакомых среди масонов, кроме князька, никого у Алсуфьева не оказалось. Тоже и князек за все время собрания к нему не подходил, а по окончании вывел его из помещения, вручив ему пакет, а в том пакете реестр с фамилиями тех, кто в ложе присутствовал, о прочих отозвавшись незнанием.

* * *

Сидя дома при двух свечах, с которых уже многократно снимал нагар, Михайла Алсуфьев пишет донесение императрице о тайной масонской секте.

То, что довелось ему видеть и слышать, – весьма странно и непонятно, и подходящих слов у него, Михайлы Алсуфьева, малого чиновника, обучавшегося на гроши по-домашнему, едва преодолевшего гражданское письмо, нет совершенно.

Начало бумаги ему, приобыкшему к стилю канцелярии, дается просто – от заглавных слов "Вашему Императорскому Величеству" и до слов "Со всеглубочайшею моею рабской подданностию доношу". Дальше же полагается кратко и внятно изложить, в чем заключается учение масонской секты и кого она в свои ложи привлекает и зачем. В заключение описать всю обстановку, все виденное и слышанное в отменном порядке. Памятуя же данное приятелю обещание, ввернуть в своем донесении и его оправдательные секте слова, однако как бы не от себя, а по ихнему толкованию.

И долго, меняя перья и черкая ранее написанное, туманит Михайла Алсуфьев длинными словами и отборными выражениями мысль, самому ему непонятную:

“Всякого звания чина людей, желающих ложа удостоит в разные времена, чрез случаи, взыскивая своих товарищей об оном, вышеперечисленных с ясными доказательствами уверить, что оное ничто иное, как ключ дружелюбия и братства, которое бессмертно во веки пребыть имеет, и тако ненашетшихся их сообщества называемым просвещением оных удостоивает”.

Дальше идет легче, так как довольно простого описания двух комнат, ему показанных. Одна – черная палата со всякими страстями, другая – обширное помещение самой ложи, куда на глазах его привели профана для посвящения и где все главное и происходило. Будь то в простом письме, речью подлой и простой можно бы рассказать без особого труда, но в доносе на высочайшее имя гусиное перо путают обязательные словечки и большие расстояния между точками, чтобы текли слова без задержек и остановок в стиле, высокому письму подобающем. Особенно же не может доносочинитель преодолеть слово “оный”, которое, сколько ни вымарывай, – всюду вновь появляется и пестрит белый лист:

“Палата обита черным сукном и по оному сукну на стенах раскинуты цветы белые, во образе звездам и посреди оной палаты поставлен стол под черным сукном, и на оном столе лежит мертвая голова и обнаженная шпага с заряженным пистолетом; то во оную приведут и огонь вынести должно, и оной пришедший сидит против оного стола; и оная мертвая голова, вделанная на пружинах, имеет движение, и так до оного касается”.

При воспоминании о виденной мертвой голове, которая покачивалась на скрытой пружине, тянется доноситель к сальным свечам и снимает нагар медными щипцами. Пожалуй, что это и было самым страшным из всего виденного! Про заряженный пистолет прибавил так, для таинственности, а может быть, и не заряжен. Однако люди, которые способны вздевать подлинный человеческий череп на пружину, – такие люди пойдут и на все другое. Приведенного человека они полураздели, водили его с завязанными глазами меж двух братьев с обнаженными шпагами, предавали его мытарствам, дули на него кузнечными мехами, жгли порох у него под носом, возводили на шатающуюся доску и на гору, откуда сбросили, правда, подхвативши на лету и бережно на пол опустив. А также, грудь ему проколовши циркулем, кровь стерли платочком и заставили целовать трижды левую ногу у гранметра.

Зачем это делается, – непонятно, а от разъяснительных слов, которые говорили и гранметр, и оратор, ничего в голо-

ве у Михайлы Алсуфьева не осталось. И слова не простые, и смысл в них должен быть особенный, скрытый, не всякому доступный, или же нарочно темнят, чтобы запугать и запутать человека: и про великую тайну, и про три светила, и про храм царя Соломона, печать которого наложили новому брату на левое плечо.

Если делают доброе – зачем запугивают и берут страшные клятвы; если злое – как не побоялись показать свои обряды постороннему человеку, хотя и имеющему в ложе приятеля? А если догадались, что этот человек обо всех их действиях сообщит высшему начальству, а то и самой матери отечества, – то подлинно ли показали всё, не укрыли ли от него самого главного? Будто похоже на игру в театр, а между тем все участники – люди серьезные и в чинах, известных родов, по большей части офицеры славных полков Преображенского, Семеновского, Ингерманландского и Конной гвардии.

И как бы тут не запутаться и не промахнуться! Потому что из таких людей каждый, если пожелает, может ввести в беду маленького человека, а кто в беду ввел – даже и не узнаешь. Есть, например, слушок, что состоит в масонской секте близкий родственник его сиятельства Александра Ивановича Шувалова, того самого высокого начальника, через которого передан от императрицы высочайший приказ о расследовании. Стало быть, может дело так повернуться, что в ответе окажется сам доноситель, ни к чему не причастный и лишь исполняющий волю милосердной царицы. И заступиться тогда будет некому!

А также может случиться и то, что в полученном списке не все помечены и что как раз не окажется тех имен, до которых более всего любопытна Тайная канцелярия или сама императрица. Помечены и разные музыканты, и купец Миллер, и даже танцмейстер Пеле, а какая-нибудь важнейшая персона нарочно опущена, – и это поставят доносителю на вид. Тщательно реестр переписав на особом листке, делает Михайла Алсуфьев приписку:

"И тако по недавнему моему об оном секте знании более числа людей оказать не могу, а из вышеописанных всякой может наиболее особо показать Вашему Императорскому Величеству по их давности в оном, кто им известны со всеми обстоятельствы".

Не отметить ли еще чего? Не сделать ли до переписки вставочку, что у гранметра была орденская голубая лента, "у нее троякая красная с зелеными каймами, на оных лентах полу-

циркуль и треугольник", и что надевают через плечо, а Александровскую на камсол? И что сидит он за столом, покрытым пунцовым бархатом, и что стол этот именуют престолом, а самого грнметра зовут храма Соломонова защитником и как бы святителем? Да не забыть про постланную на полу клеенку с разными изображениями, смысла которых понять невозможно: солнце с луной, колонны, инструменты и разные зодиаки, известные только чернокнижникам.

Весь вечер строчит свое донесение Михайла Алсуфьев, а уж переписывать будет завтрашним утром, чтобы завтра же и представить. Если угодит быстротой и исполнительностью – ждать высокой награды; не угодив – надеяться лишь на монаршую милость и снисхождение. Впредь же лучше бы таких поручений не иметь, дабы не нажить врагов, кому – неопасных, а для малого человека гибельных.

Лег – и долго нет сна; а как пришел сон – пришли с ним и сновидения. Окружили люди с обнаженными шпагами, разули правую ногу, скинули рубаху с левой груди, грозят сердцу острой ножкой циркуля, дуют в лицо, пышут в глаза огнем. Там, в ложе, будто и не замечали, а теперь, ночью, мстят доносчику, сговорились лишить его жизни и дыхания. Стонет во сне Михайла Алсуфьев, и едва люди со шпагами ушли – видит перед собой белый скелет с прыгающим на пружинах черепом, в глазных впадинах – синее пламя, зубы щелкают в адском смехе. А рядом со скелетом на черной стене большими белыми буквами начертано: "Помни о смерти!"

Плохо выспавшись, встает по чиновничьей привычке раненько и, едва умывшись и закусив, садится за стол переписывать вчерашнее сочинение на больших листах плотной синей заморской бумаги.

За хороший почерк – и по ходатайству благодетеля – принят был Михайла Алсуфьев на службу. Хорошим, четким почерком, с соблюдением всех писарских правил, при каждой новой строке осматривая перо, при нужде его меняя на свежеочиненное, единым духом, без остановок доводит свою рукопись до последнего слова, за коим, с красной строки и отступя от края, полагается ставить последнее обращенье, вначале – литерами титульными, а подпись – самыми мельчайшими:

> "Всемилостивейшая государыня! Вашего Императорского Величества особливо премного милосерднейшей матери и защитнице ко мне пред всеми бедному всеподданнейший и последний раб Михайла Алсуфьев".

ПЕРЕВОДЧИК

– Скажи мне, пожалуй, что это за диковинка?
– Золотая статуя, сударь!
– Умилосердись, что ты говоришь, будто золотая?
– Право, государь мой, вся из золота вылита!
– Ах, какая преудивительная вещь! А не знаете ли, что в ней весу?
– Сорок пять пуд с половиной!
– А чья на ней персона?
– Марка Аврелия Антонина, цесаря римского!
– Не имел ли он пред другими цесарями какой отмены?
– А такую отмену имел, что он Император и Философ был!
– А есть его житие?
– Есть, сударь, на российском языке!
– А кто переводил?
– Академии наук служитель, а вам, Государю моему, сию книгу с почтением преподносящий, всеусердной благожелатель Сергей Волчков!

* * *

Сколь легок был штиль и сколь свободна оного игривость, пока был молод и не обременен семьей академический переводчик Сергей Саввич Волчков! И сейчас ему приятно взять с дубовой полки одну из прежних работ и открыть ее на первых страницах – на посвящении или на предисловии, где сказывалась сила собственного творчества в добавление к искусству переводчика. Сколько прекрасных и самонужнейших книг он перевел с немецкого и французского языков! Чего только не было в девяти книгах “Флориновой Экономии”, посвященной им “творящей героине, великой императрице Анне Иоанновне”: и о домостроительстве, и о признаках погоды, о шелковых червях, о солении и печении, о доме в три жилья с куполом, о пожарной трубе, о пашне озимой, о лошадиных жилах и мышках, о теле и покровении оного – обо всем, что нужно знать образованному человеку и доброму семьянину.

Бывало, трудится, переводит – и в мыслях не держит, что все эти сведения, важные для других, самому ему в его домостроительстве, пожалуй, и не очень пригодны. Хоть родом и из дворян, но нет у него ни озимой пашни, ни мельницы, ни лошадей с жилами и мышками, ни дома с куполом, ни богато-

го покровения для тела. Откуда этому быть у малого чиновника, секретаря Академии наук? Есть у него только голова, переполненная знаниями, – товар дешевый! Есть жена, которой недоступны наряды, есть дети, – но не для них он перевел книгу о "Совершенном Воспитании", полную прекрасных наставлений молодым знатного рода и шляхетского достоинства, нуждающимся в приобретении благопристойных манер.

Писатель, хоть и в чине надворного советника, хоть и в должности секретаря, – человек маленький, подначальный, пуганый, особенно если нет у него влиятельного покровителя. Уж на что высокоискусен Василий Кириллович Тредиаковский, также переводчик, а к тому ж и профессор публичный ординарный элоквенции российские и латинские, а и его всякий толкает в бок и оттирает от знатных компаний, ходу не давая, и он чуть не слезно выпрашивает подачки у покровителей. И Михайло Ломоносов гнет выю, и столь рано прославленного Сумарокова любой знатный сорванец потянет за косичку. Где же пробиться в люди мелкой сошке Сергею Волчкову!

И, однако, в молодости горел! Кто мог в трудолюбии сравняться с Сергеем Волчковым? Кто взялся бы перевести в краткий срок "Генеральную Историю Гильмара Кураса", где рассказаны все достопамятные в свете случаи от сотворения мира по нынешнее время? И не то же ль "Экстракт Савариева Лексикона о Коммерции", где всего света коммерция обстоятельно описана? И кто не знает великой и нужнейшей книги "Грациан, Придворный Человек", где в трехстах регулах изложены все правила поведения при дворе бывать допущенного человека, и одежа, и поклон, и все лучшие манеры – словами ясными, изящными, поучительными, с рекапитуляцией для лучшего запоминанья! Не перечесть всех книг, перетянутых из просвещенной Европы на пользу российского человека усердием, знанием и пером Сергея Волчкова. А "Краткие Разговоры о Куриозных Вещах"! А 188 басен Эзоповых, а "Книга Язык"! Не важно перевесть – важно уметь предложить читателю. Иных соблазняет новизна – другие клонятся к старине. Угоди всякому. "Каков нынешний век ни любопытен, и хотя к новолюбию весьма склонен; однако извольте, Благосклонный читатель, верить, что и самые новомодные люди хорошую старину очень любят!"

Сколько гусей крыла потреблены, сколько перьев приведено в негодность! Сколько лет привычно вытирались перья о прядь волос на затылке – ныне о лысину уже не вытрешь, а привычка осталась. И вот на склоне ветхих дней – все тот же

убогий домишко, вмещающий большую семью, те же заботы о насущном хлебе, та же пугливость ничтожнейшего человека перед властными, способными и озолотить, и низвергнуть в бездну нищеты, – только бы знать, как пред ними изогнуться, как облобызать полу златотканого кафтана. В дугу пред знатным – во прах пред особой августейшей!

“Со всеглубочайшим респектом сей убогий труд Вашему Императорскому Высочеству всенижайший и последнейший раб всеподданнейше приемлет дерзновение низположить; а ко оным и самого себя повергая, в глубочайшей девоции прошу сие всеусердное с природным Вашего Императорского Высочества милосердием всемилостивейше воспринять, что за неизреченную радость и за крайнее благополучие своей жизни со всеглубочайшим подобострастием почитать не перестану...”

* * *

Мал был Сергей Волчков в дни великого Петра – лишь обучался грамоте и языкам. Ко дням Екатерины Первой пришел в возраст. Императору Петру Второму готовил посвятить свой перевод латино-немецкого лексикона, – да не успел, как престол Российский заняла Анна Иоанновна. За десять лет ее правления, уже будучи секретарем академии, немало книг украсил Волчков торжественным и пышным посвящением. Было бы преполезным вызвать внимание и всесильного Бирона, но недоступно было русскому привлечь взор и покровительство сего сиятельного иноземца. Когда же, за смертью Анны, собрался Сергей Волчков в почтительном словоистечении склонить выю и хребет перед другою Анной, матерью малолетнего венценосца, – новый переворот поверг его в немом умилении к ногам воцарившейся дочери великого Петра. Радость неизреченная, ласка сердцу русскому человеку – прекрасная Елисавет! Новая заря Российская! Уже не столь давили академические немцы, не дававшие хода просвещенному русскому человеку. Двадцать лет приятного, хоть и плохо платимого труда на пользу отечеству! За это время перо привыкло выводить любезное имя в торжественных посвящениях. Но час настал – и новые слезы сменились новой радостью: Петр Третий, император Всероссийский!

В доме, пришедшем в негодность, голодает семья присяжного переводчика, хоть и получившего почтенную должность директора сенатской типографии, хоть и достигшего чина

коллежского советника. Выросших сыновей определил на службу, дочерям никак не может сыскать женихов. В дни Елисаветы, смелой красавицы, бросившей вызов старозаветному шляхетству своим тайным браком, Сергей Волчков умел найти для перевода книги со смелыми мыслями о браке, и перо его выводило на бумаге ранее неслыханные слова:

"Весьма несправедливо, чтобы к браку необходимо нужное доброе произволение, выбором родителей и сродников принуждать, ибо сие в самом себе такое свободное дело, к которому человека и злейшие тираны привлечь не могут. Ежели красного лица девица, будучи за мужем, от болезненных припадков похудеет, однако по любви все еще сносно; и то уже подлинно, что мерзкая харя ни от чего в свете Ангельскою персоною не сделается".

Что будет дальше? Каким мыслям поощрение и каким запрет? Как управиться бедняку с этой постоянной сменой свысесходящих обязательных мнений? Как привлечь благоволение нового императора и его окружения? Третьему Петру чужд и русский язык, и российское просвещение. Опять придут немцы и займут все важные должности, оттеснив старых работников, поседевших на верной службе!

Только что Волчков закончил свой перевод книги "Истинный Христианин и Честный Человек". Пером свежеочиненным он украшает белый лист, отыскивая слова всеуниженные и похвалы такие, каких еще ничье перо не находило. Неизвестно, каким проявит себя новый император, – но лучше забежать вперед и воспеть заранее свою любовь к нему и свое безмерное восхищение его грядущей добротой и милостью ко всеподданным. Мысленно изгибаясь в поклонах и простираясь в своем ничтожестве, пишет Сергей Волчков новое посвящение:

"Хотя б благородное и честнейшее Российское шляхетство не только золотую, но ежели б в бриллиантовую статую Вашего Императорского Величества на жемчужном подножии, в бессмертный знак приснодолжнейшей своей благодарности поставило, однако неумирающая память в сердцах переменяющихся родов Российского дворянства далее и крепче всех статуй пребудет... С сим, Августейший Император, искренним желанием, бедной, без малого сорок лет Вашему Императорскому Величеству, Шестому монарху и Всемилостивейшему Государю своему, всем усердием служащий, но в непрерывной нищете пресмыкающийся сирой дворянин, с семерыми детьми (из того числа трое сыновей все в службе), самого себя и с ребятишками своими к монаршим Вашего

Императорского Величества стопам всераболепно повергает Вашего Императорского Величества, всеподданнейший всеуниженный раб, коллежский советник Сергей Волчков".

Мало написать – нужно еще изобразить всю преданность и все раболепие так, чтобы, и не читая, видело ее око монаршее или приближенных к нему влиятельных и знатных персон.

Нижайший директор самолично выбирает в типографии подходящие шрифты – крупный, черный и ясный для "Величества" и "Монарха", простой, четкий – для всего текста посвящения, мелкий – для слов всеподданнейшего унижения и самый мельчайший, едва различимый – для собственной подписи.

Книга готова для подношения. Отоптаны пороги знатных персон, кои в час удобный повергнут ее к ногам державным, и тогда решится судьба старика и его ребятишек, – и уж если не высочайший дар, то хотя бы сохранить прежнюю должность, на которую зарятся поднявшие голову академические и сенатские немцы.

Июньской ночью мчится в Петергоф Алексей Орлов. В крестьянской телеге выезжает в Петербург молодая жена императора. В семь часов утра она в казармах Измайловского полка. В тот же день в Казанском соборе ее благословляет на царство новгородский архиепископ. Никто не воздвиг Петру Третьему бриллиантовой статуи на жемчужном подножии; подписав отреченье, он просит об одном: снабдить его табаком, бургундским вином и философскими сочинениями.

А как же книга, уже облеченная в свиную кожу, уже готовая к подношению? А где же милость простершемуся ниц переводчику?

* * *

Блестящий век – расцвет просвещения и литературы! Вот когда талант может найти приложение своим творческим силам! Сама императрица берет перо и не брезгает переводами: в своем путешествии по России она переводит "Велизария" вместе с лицами своей свиты. Но в свите ее не может быть места бедному Сергею Волчкову! И напрасно он берется за перо, чтобы посвятить блистательной Минерве свой новый труд: уже не тем языком говорят писатели и поэты, и не ему соперничать с певцом Фелицы! Лесть стала тоньше, изящней, звучнее, и последний придворный, едва умеющий

подписывать свое имя, скажет лучше, чем старый переводчик, обломавший зубы об изречения Марка Аврелия и Эзоповы басни.

Годами согбенный, полуслепой и искривленный в плече от вечного писания, служитель семи и свидетель восьмого царствования – доживает свои дни в том же полуразвалившемся доме за той же работой, то пробуя старческие силы в переводе Михайлы Монтания, то отдыхая за изложением "Христианина в Уединении", – пока, с пером в руке, не падает к ногам последней повелительницы, пришедшей избавить его от земных страданий.

РАССКАЗЫ БЕСХИТРОСТНОГО

Мне прислали вырезки статейки моего усердного читателя, фельетониста русской газеты, задавшегося целью исследовать, откуда я беру материалы для своих рассказов о русской старине, и для этого перелиставшего несколько доступных ему сочинений мемуарного характера, в том числе "Жизнь и приключения" Андрея Болотова. К своему удивлению, фельетонист не нашел в записках Болотова ничего, кроме "бесхитростного описания общества, яркого чувства патриотизма и страха перед масонством, в которое его втягивал Новиков", – между тем как мои материалы, по его мнению, бросают тень на прекрасное прошлое царской России.

Пользуясь столь авторитетным отзывом о беспристрастии и патриотизме Андрея Тимофеевича Болотова, автора не одних записок, а множества произведений, лишь часть которых напечатана, деятеля елизаветинского и екатерининского времени, человека довольно просвещенного, лояльнейшего и чистокровного крепостника, – не премину извлечь некоторый материал и из такого богатого источника, как его автобиография, напечатанная впервые (с цензурными выпусками) в "Русской Старине", изданная после отдельно и вновь переизданная советской "Академией" (очень плохо и с большими сокращениями).

* * *

Бесхитростность Андрея Тимофеевича вне всякого сомнения: хитрый человек не стал бы подробно излагать, как он, управляя имениями Екатерины, взял крупную взятку (300 руб-

лей золотом и 1000 ассигнациями) при их покупке и составил немалый капитал при управлении ими. Он умолчал бы также о жесточайшей порке крестьян, которою он начал и впредь поддерживал свой управительский авторитет. Все это Андрей Тимофеевич описывает с полной откровенностью и настолько красочно, что лучше всякого пересказа – пользоваться его собственными словами.

В самые первые дни управления привели к Болотову крестьянина, заподозренного в краже муки, своей вины не отрицавшего, но не желавшего выдать соучастника.

"Итак, ну-ка я его опять пороть... и как, претерпев добрые настилки, вывел он меня совсем уж из терпения, то боясь, чтоб бездельника сего непомерным сечением не умертвить, вздумал я испытать над ним особое средство. Я велел скрутить ему руки и ноги и, бросив в натопленную жарко баню, накормить его насильно поболее самою соленою рыбою и, приставив строгий к нему караул, не велел давать ему ни для чего пить и морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины, и сие только в состоянии было его пронять. Он не мог никак перенесть нестерпимой жажды и объявил, наконец, истинного вора, бывшего с ним в товариществе".

После этого оба крестьянина были раздеты, вымазаны дегтем, и в таком виде их водили, на острастку прочим, по деревне, а мальчишкам было приказано бросать в них грязью.

Но это, конечно, лишь правосудие, отправляемое лояльным человеком и помещиком над подлым народом. Андрей Тимофеевич был – по его собственному признанию – человеком мягким и строго осуждал других помещиков за жестокости. Так, например, очень не одобрял он следующего, им же подробно рассказанного, происшествия в "одной нашей дворянской фамилии".

Отдана была крепостная девка в Москву учиться плесть кружева. По возвращении домой она была так отягощена работой, что "всякий вечер по две свечи просиживала". Девка, не выдержав, ушла обратно в Москву к своей мастерице, но ее, конечно, отыскали, привезли и "посадили в железы и в стуло (кандалы и обрубок, к которому приковывали) и заставили опять плести". При вторичной попытке убежать от непосильной работы "девка была уже заклепана в кандалы наглухо, а сверх того надета была на нее рогатка, и при всем том принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке (железный ошейник) и днем плесть кружева, а ночевать в приворотной избе под караулом и ходить туда босая. Сия строгость сделалась, наконец, ей несносною и довела ее до тако-

го отчаяния, что она возложила сама на себя руки и зарезалась; но как горло не совсем было перерезано, то старались сохранить ей жизнь, но, разрубая топором заклепанную рогатку, еще более повредили, так что она целые сутки была без памяти. Со всем тем не умерла она и тогда, и хотя была в опасности, но кандалы с нее сняты не были, и она умерла, наконец, в них, ибо рана, начав подживать, завалила ей горло. И как дело сие было скрыто и концы с концами очень удачно сведены, то и остались господа без всякого за то наказания".

Это уже не нравилось Андрею Тимофеевичу, который даже прибавляет, что с тем семейством он решил не быть домами знакомым.

Андрей Тимофеевич был в свое время известен как образованный и образцовый помещик; за свои печатные и писаные труды по сельскому хозяйству и об обязанностях помещика он получил несколько медалей от Экономического общества, членом-корреспондентом которого много лет состоял. Трудов этих сейчас не разыскать, но искусство управления он доказал не только в поместьях Екатерины, где нещадно сек крестьян и, как он сам признается, "закрывал глаза" на насаждение кабаков (такое закрытие щедро оплачивалось откупщиками), но и в собственных поместьях, при отмежевке которых ему удалось утянуть у волостных крестьян до 400 десятин. Все это с такой подробностью и такой откровенностью описано милым графоманом, что невольно привлекает к нему не вполне им заслуженную симпатию. Даже в мелочах он был примерным помещиком: "Удалось в соседней деревне купить девку всего за десять рублей!", "Поймал своего беглого человека, да удачно продал и выручил немалые деньги".

Он был действительно искренним патриотом. Служа адъютантом Корфа при Петре III, он постоянно присутствовал при любимых развлечениях российского императора и его приближенных. С огорчением, но и с большой живостью он описывает в своем дневнике некоторые сценки:

"Редко стали мы уже заставать государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорознившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда", "Не успеют бывало сесть за стол, как и загремят рюмки и бокалы и столь прилежно, что... вставши из-за стола и вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки. Ну все прыгать на од-

ной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать: "Ну! ну! братцы, кто сшибет кого с ног первый?" – и так далее".

Он уклонился от участия в заговоре Орлова и успел, выйдя в отставку, уехать в деревню. Но, при всей лояльности, одобрительно отнесся к происшедшей в скором времени "великой революции", завершившейся свержением и убийством голштинского выродка: "Таково-то окончание получила славная сия революция, удивившая тогда всю Европу как своею необыкновенностью, так и благополучным своим окончанием".

Член-корреспондент Экономического общества, образованный человек, владевший иностранными языками, имевший очень большую библиотеку, Болотов не мог не возмущаться суеверием крестьян, болтавших о "коровьей смерти". Однако сам подробно описывает жабу, вышедшую из желудка женщины, коготки этой жабы и даже ее необыкновенно крепкий волосяной хвостик с особой прицепкой. Он верит, что у другой женщины, семь раз рожавшей девочек, все эти девочки сейчас же после родов бесследно и неизвестно куда исчезали, к большому горю родителей, пока, по совету деревенского колдуна, муж не отрубил передние лапы черной собаке, которая оказалась ведьмой. Он, конечно, верит в сны, и он же добросовестно отмечает в своем дневнике следующее происшествие:

"Одному из петухов наших вздумалось войтить не в свое дело и снести яйцо; и как яйца сего рода случалось мне тогда еще впервые видеть, то не могли мы оному довольно надивиться. Оно было нарочито велико, но не совсем кругло, и к одному концу узко и почти совсем остро, и загнувшись немного в сторону, как будто винтиком. Я не преминул его тогда же свесить и нашел, что весу в нем было с четвертью золотник".

Была у Андрея Тимофеевича одна характерная черточка: неизбывная трусость, от младенческих лет до самой смерти. Он сам в этом признается и на протяжении своих записок приводит множество примеров своего малого мужества. Он боялся выстрелов, воды, войны, холеры, открещивался от участия в "великой революции", был рад уехать из своей деревни в дни Пугачева, хотя жил в Туле. Той же породы был и его "страх перед масонством, в которое его втягивал Новиков". Но тут нужна некоторая оговорка: этот страх он проявил только после того, как тяжкая кара Екатерины обрушилась на голову его друга, "известного и толико славного у нас господина Новикова". В то время многие печатно отрекались

от всякой прикосновенности к масонству, в том числе и довольно видные масоны (например – Лубяновский). В масоны "тянул" Болотова не один Новиков, но "еще в Кенигсберге ко вступлению в оный орден уговаривать меня старался (Гр. Орлов), но я, имея как-то во всю жизнь мою отвращение как от сего ордена, так и от всех других подобных тайных связей и обществ, не соглашался к тому никак".

Как не поверить бесхитростному Андрею Тимофеевичу! И, однако, вряд ли можно сомневаться, что еще в Кенигсберге Болотов вступил в масонскую ложу, возможно – в ту же самую, в которой был тогда же посвящен и генералиссимус Суворов ("Цу ден драй Кронен"), о чем лишь недавно стало известным. Да вряд ли он и мог по тем временам не быть масоном! Он был молодым офицером, делавшим карьеру, стремился к просвещению, пожирал книги, вращался в обществе культурных немцев, сам вспоминает, как пришлось ему присутствовать в масонской среде при подписании адреса Петру III (баловавшемуся масонством в подражание своему кумиру, Фридриху II). Он служил в канцелярии масона генерала Корфа, был связан теснейшей дружбой с масоном Орловым. При том же Корфе он был адъютантом в Петербурге, – и недаром Орлов тянул его, как своего человека, в заговор дворцового переворота. Он был позже ближайшим сотрудником знаменитого Новикова, в предприятиях которого, издательских и общественных, почти все участники были масонами.

Для историков масонства этого мало – прямых документов нет. Но, к сожалению, они вообще мало интересовались Андреем Болотовым, оставив его принадлежность к масонам под знаком вопроса. Но кое-что они упустили из вида. Так, например, Андрей Тимофеевич воспитал своего сына Павла в полном уважении к собственным идеям и исповеданиям. Это был не только сын, но и лучший его друг до самой смерти; он говорит о нем восхищенно, он состоит с ним в беспрерывной переписке. И масоном был не только его сын Павел, но и сын этого Павла, а его внук – Алексей.

Историки упустили из вида также маленький, но характерный документ: портрет Андрея Тимофеевича работы его сына Павла, приложенный к изданию "Жизни и приключений". Под портретом надпись рукою Болотова: "Точное изображение той комнаты и места, где писана сия книга". Болотов сидит у своего стола с пером в руке; на первом плане – треугольник с положенными на него циркулем и наугольником в их символистическом переплетении, принятом в голубом иоанновском масонстве. Маленькая таинственная дань увлечениям молодости, от

которых не мог не отрекаться робкий мемуарист, писавший свои записки в столь сомнительные дни!

Неважное приобретение для русского исторического масонства – имя крепостника Андрея Болотова. Но – увы! – несравненно более ярым крепостником был знаменитый масон Поздеев (Баздеев в "Войне и мире"). В дни молодости и неопытности ту же дань увлечению отдали даже такие типы, как шеф жандармов Бенкендорф и Муравьев Вешатель! Конечно, успели отречься и загладить свой грех. Так уж что же говорить о милом и бесхитростном графомане, а впрочем, весьма приметном и даже выдающемся писателе и деятеле своей эпохи, точнее, целого ряда эпох (он родился при Анне Иоанновне, умер при Александре!).

Его записки – истинный кладезь для изучающих былую Россию, особенно для тех, кто, ценя в ней прекрасное, не закрывает глаза и на то, что было ее позором и – к счастью – ушло без возврата.

КОНЕЦ ВАНЬКИ-КАИНА

Характер, склонности, нравственное лицо русского человека непременно свидетельствуют о том, какая река в детстве омывала его тело. Некоторых омывал только водопровод, – не будем говорить об этих несчастных, детях свинцовой трубы и медного крана; все же огромное большинство родилось и жило при такой-то речушке, речке или реке. Мы говорим здесь лишь о себе, не желая впутывать иностранцев; дело в том, что в одной только дельте нашей реки Лены в пору разлива с удобством тонет любое европейское государство, обычно без остатка, и только от некоторых остаются рожки и ножки. Так что разговор о реке – наше дело семейное.

Спор рек не менее оживлен и значителен, чем спор горных вершин. Нева, зловредная коротышка, пыталась в свое время оспаривать преимущества красоты и сладости у худенькой и длинной Москва-реки. "Волга впадает в Каспийское море" только потому, что украла это право у Камы, в которую она в действительности впадает и с которой не может сравниться ни глубиной, ни чистотой воды, ни мощью. Споры давние, любопытные. Пером князя М. М. Щербатова было написано "Прошение Москвы о забвении ее":

"Шумящие струи реки моей не имеют ни пространства, ни чистоты Невских вод, а паче, быв без призрения, ежедневно чистоту свою теряют, но, однако, показуют по живу-

щей в ней нежной рыбе, чтобы они более чистоты могли иметь, и конечно, не отягчают жителей такими болезнями, которые Невские воды производят...”

Волга, украв у Камы тысячу семьсот верст и написав на них свое имя, сумела это имя прославить – тем оправдана. А прославила себя Волга разбойниками и ворами, народными любимцами и героями. Среди них не последним был Иван Осипович, по прозвищу Ванька-Каин.

* * *

Жизнь Ваньки-Каина, славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика, описана им самим при Балтийском порте в 1764 году. Мы ее пересказывать не будем, предполагая, что мало-мальски образованному русскому человеку она должна быть известна: о ней писали историки и любители русского языка. Не верится, конечно, чтобы Ванька-Каин сам написал свою автобиографию; вернее – записана она с его слов грамотным человеком. Кратко: был Ванька московским вором, речным разбойником, предал своих, стал сыщиком и – как водится во всех гепеу всего мира – соблюдал свои интересы, стращал, мошенничал и грабил сверх меры. Кончил рваными ноздрями и каторгой.

Такая биография не вполне совпадала с требованиями, предъявляемыми народному герою. Разбойники у нас в почете, предатели в хуле. Нужно было Ваньке-Каину искупить свое бесчестие, – и в том ему помогла созданная приволжскими деревнями легенда, следы которой остались в воспоминаниях детства одной большой помещицы и барыни.

Ванька-Каин в великой чести у начальства, богат, пьян, неприкосновенен, изловил всех воров, ворует сам и за хорошую мзду возвращает краденое, в трепете держит московских купцов, играет в любовь с их женами, знает все, грабит всех – настоящий начальник столичной полиции. И задумал Ванька последнее дело: уничтожал он воров московских, теперь изловит и всех разбойников дорожных, лесных и речных, от Москвы и до Казани, с которыми сам хаживал и грабил еще в недавние годы.

На такие подвиги сыщик отважился один, без шайки преданных ему головорезов, его полицейских помощников. Один отправился и на Волгу – разыскать былых товарищей, обойти их кругом, обмануть, заманить в западню и выдать головой всех до единого.

Крадучись и не сказываясь, не забегая и не отставая, последуем и мы за Ванькой-Каином Москва-рекой в Оку, Окой до Нижнего, Волгой на Казань, где лодкой, где плотом, где топким берегом и дремучими лесами.

* * *

Ваньке-Каину, знаменитому разбойнику, бьет челом русская река!

Перед зарей она в молочном тумане. От тумана спит по берегу не только намокшая стрекоза, но и хищная совушка; ночной волк бродит подальше, медведь держится берлоги, заяц и не дышит. В реке спит рыба, кроме леща и подлещика, любителей темной воды: в камышах и у крутого бережка они высовывают тупые носы, чмокают воздух, кувыркаются – и камушком на дно.

Вспомни, Ваня, как гулял с кистенем-гостинцем по большой проезжей дороге, выжидал купца и барина, а то и денежного приказчика, – было бы чем поживиться. Не предательство, не опора на начальство, а честный разбойничий труд, своя воля щадить и казнить, богача пощипать, бедного и помиловать, и наградить. Заходили и в богатую деревню, чинно, важно, без ругани и обид. Мужички охотно откупались подарками, собрав всем миром сколько можно денег, – да чтобы подносить с почетом: хлеб-соль да шитое шелком и золотом полотенце атаману, молодцам ручники и ширинки попроще. Рязанский мужик здоров и работящ, разорять его не надо, кормиться около можно, ему это даже на пользу. А на случай – была крестьянину в разбойнике защита против помещика, и было беглому с какими друзьями спасаться. Конокрад – злодей, поджигатель – изверг, а придорожный и лесной разбойник в преступниках не числится: знатный вор и лихой молодец; не злоба к нему, а зависть.

Делали порой набеги и на поместья и тут ни людей, ни добра не щадили. В ряду подвигов бывали и неудачи – все равно вспоминать приятно. В Спасском уезде Казанской губернии, в селе Танкеевке проживала в то время бодрая старуха, смелая вдова Блудова, Катерина Ермолаевна. Откуда проведала, что идет на нее Ванька-Каин с ребятами, – так и не допытались. Живо согнала мужичье, окопала ров, выдвинула две пушчонки, забила порохом, дворовым раздала вилы-топоры, сама с палкой – за командира. И вышла плохая потеха для Ваньки со товарищи! Ждали поклона и бабьего визга, счита-

ли за верное богатую поживу, подошли, не особо крадучись, на самой заре. И тут пустила старушонка в самую разбойничью гущу свинца и щебня, многих покалечив и послав спать навечно. Против пушки никакой кистень не выдержит, и бежал тогда Ванька-атаман со всеми товарищи, земли не чувствуя, только бы ноги унести. Далеко за деревней собравшись, десятка своих недосчитались. И мстить не стали – ушли из тех мест, вспоминая о старухе с почтением и как бы с любовью, потому что храбрость разбойники и в другом уважают.

Вспомни, Ваня, на великой реке расшиву с золоченой кормой, коврами устланную, отнятую у купеческого сына. Сам как бы именитым купцом разлегся атаман Ванька, и рядом девица в парчовом шушуне с длинной лентой в длинной косе. Девка была дрянь и распутница, из себя курноса, на ощупь жирна до чрезвычайности. Но для красоты картины произведена в царицы и важничала за первый сорт. Паруса на расшиве подвязаны, идет на веслах; атаману с девицей место на казенке, другим молодцам на носу, а спят в косновской мурье. Расшита расшива на двенадцать весел, кочетки и оключины смазаны дегтем без скупости, оттого и на ходу легка. Главное дело – порядок; косные бурлаки на своих местах, один ходит кашеваром, всем потрафляет.

И было как-то на Оке, обогнали посудину-тихвинку, которая прятала корму. Сложив ладони трубой, приказал Ванька посудине остановиться: чьих хозяев да чего везете? Подтянулись, сошли на борт, хотели вязать ребят, но те угрюмо заявили:

– Не можно нас трогать, у нас лоцман под бревном!

Лоцман у них помер дорогой. А так как добрый лоцман честью должен довести судно до места, то, по обычаю, привязывают его тело в воде под бревно к рулю и так волокут, держа дело в тайне. И Ванька, и все молодцы поскидали шапки, покрестились двуперсто и отошли с миром. Был таков закон на великих реках – и оставался всегда, пока люди Бога не забыли.

Тихим вечером дух на реке сладок, ранней весной цветет черемуха, за ней сирень, а летом липовый цвет схватит и не отпускает, пока не станешь пьян без вина. А то налетят белыми тучами метлички, поденки-обыденки, которым жизнь только и есть, что один день, и тот для любви, а пищи не принимают; с последними лучами солнца падают на воду и всю ее устилают белым покровом, малой рыбке на потеху и обжорство. И тогда начнут заливаться соловьи трелью, свистом и стукотней на все переводы, и кажется атаману, что подле него

настоящая заморская царевна и что сам он не разбойник, а мудрый своего княжества правитель.

Вспомни, Ваня, и малые речки – как сушили над огнем купца, выкупав его в речке Суре, чтобы указал свои товары, да как на реке Пьяной забрали лошадей у татарского абыза, скрываясь от погони, и после утекли на них до Боголюбова монастыря; да как много речонок прошли бродом, пробираясь сам-пят, Столяр, Кувай, Легает, Жузла да ты, Ванька, на Макарьевскую ярманку путем необычным, минуя большие дороги, и на той ярманке натворили таких дел, что пришлось на целый месяц укрыться в Керженские леса. Избыто много хлопот и тревоги, – а сколь была радостна жизнь вольная, без городской пыли и грязи, без подлых бояр и приказных крючков, без сыска и обмана!

И вот теперь, идя подлым путем сыска и обмана, ища предать былых товарищей, вспоминает Ванька-Каин, неуемный московский сыщик, губитель разбойничьих душ, всю свою прежнюю жизнь, города, села, местечки, леса, реки, лишенья и подвиги, о которых потом ничего он не запишет и никому не поведает, а лишь оставит в памяти святым и легким бременем. И с каждым шагом вперед, с каждым оборотом колеса, когда стучит по дорогам в телеге, с каждым топотом коня, всплеском весла косной лодки уходит его дума дальше от проклятой заботы, а тяга к прежней жизни просыпается в нем с силой истовой и непобедимой.

В лесу его приветствует по давнему знакомству каждый куст и каждая травка; в поле ему кланяется каждый колосок. С детской улыбкой на порочном бородатом лице он вспоминает их имена: на опушках травка-трясунка, высокий аржанец, пушистая полевица, да лисий хвост в желтых цветущих пылинах, да бор-просовик и никчемная занозка; в чистом поле – дряква с мелким синим цветом, красный чередник – собачьи зубы, желтыми пучками вверх яркая горечавка, веселая трава иван-да-марья, при дороге мать-мачеха и крепкий подорожник, в лесу на пнях уразная травка, в оврагах и канавах – дербенник-плакун, в темных местах – заросли папоротников, и дербянка на мокром, и высокий, в рост человеческий, раскорячивший резные выи могучий орляк, и ягодник, и гроздовик, и узкий листом змеязычник.

Где лес пониже, – кланяются Ваньке-Каину кусты боярышника, лесного ореха, заросли малины, обманной прелести волчьи ягоды. Над ним трясет листом осина, дрожит березка, благоухает липа, черемуху затянуло белой паутиной, горьким духом цветет рябина, красуется ольха; в гуще леса – и со-

сны, и ели, и пихта, и светлая лиственница, и бук, и вяз, и приземистый мелколистый дуб. Ближе к воде ива плакучая и толстоствольный осокорь, из коры которого Ваня мальчиком нарезал поплавки не тяжелее перышка. Все травы, все кусты и все деревья знает Каин – и все они знают Каина и рады его приходу в честный лес из развратного города. Поклонился бы ему и подножный гриб, да боится, что зачервивеет и отвалится голова, а жизнь гриба недолгая.

Так об этом и рассказывает приволжская деревенская легенда: все травы, злаки, растения и деревья сговорились, чтобы опять одурманить и зачаровать бывалого разбойника. Чего хотели – того и достигли.

Хорошо ему известными тропинками и переходами дошел Ванька-Каин до места, где с давних пор была условная разбойничья встреча. Шел для того, чтобы притвориться своим, выпытать что надо, подбить молодцев на доходное дело – и выдать всех отрядам отчаянного полковника Редькина, который не раз лавливал и самого Ваньку, да удавалось бежать хорошим подкупом. С этим шел Ванька, истинный Каин, к бывшим братьям, надеясь на великую награду от канцелярии и на высокую славу первейшего на Руси сыщика.

Когда же пришел Ванька к последнему перегону, – понял, что такого нечистого дела не сделает он, какой есть убийца и погубитель души.

Такого последнего греха на душу принять не может! И не нужно ему ни наград, ни почестей, а лучше разделить судьбу до конца своих дней с верными товарищами, вольными ворами и славными разбойниками, – с ними остаться и за их честь и доблесть положить голову.

Когда же к ним пришел, то скликал всех, стал посередине круга, шапку с головы сорвал, бросил оземь и голосом не атаманским, а простым и смиренным поведал им всем, как на духу, про свою мерзость и свои предательства, и что пришел он их погубить, и что долгой дорогой леса и поля нашептали ему в уши ужасное покаяние, и хотите – убейте меня, злого предателя, на месте вздерните на дыбу, сожгите на костре, а хотите – помилуйте и примите не за старшого, а за последнего в шайке, за кашевара и кухонную бабу, мазать колеса и платать молодецкие штаны и кафтаны.

И как перед ними стоял – так и повалился в земном поклоне.

И тогда разбойнички Ваньку-Каина простили и поставили опять над собой атаманом. Много лет он с ними гулял и по дорогам, и по Волге, подвигов совершил без числа, а где все

они сложили буйные головы, – о том и не знамо, и долго рассказывать.

Такова была легенда о конечном житии Ваньки-Каина, его историкам неизвестная и нигде не написанная, а нами подслушанная в тех самых лесах и по течению великих русских рек.

МУЖСКАЯ ВЕРНОСТЬ

Есть такая низкая полевая травка с голубыми цветочками, которую за непрочность цветочного венчика, отлетающего при дуновеньи, называют "мужской верностью"; подлинное же имя ее женское: трилистная вероника.

Доказательством легкомыслия подобных суждений о мужской верности могут служить исторические примеры, к которым и обратимся, так как жизнь современная так запутана, что ничего толком не разберешь.

* * *

В Ржеве Володимировом – позже город Ржев – проживал молодой именитый купец Василий Анисимов, сын Чупятов, торговавший преимущественно пенькой. К тому времени, когда стряслась с ним странная история, он был вдов и очень хотел опять жениться. Невесту ему присоветовал Прокопий Акинфиевич господин Демидов, давний его благодетель, а именно – свою племенницу, по фамилии Володимерову, девицу весьма приятную и подходящую.

Были бы времена наши – все было бы просто: свиделись, слюбились, поженились. В те же времена, в средине осьмнадцатого века, подобное предприятие требовало много хлопот. Во-первых, не полагалось видеть будущую жену; во-вторых, требовалась посылка сватов и – при удаче – учиненье сговора. В данном же случае приходилось победить упрямство брата невесты, человека весьма скупого.

Сначала делом занялся сам Демидов, его сестра Сердюкова, да серпуховской купец Федор Кишкин, да Иван Степанов сын Сериков, да тульский купец Илья Иванов сын Ливенцев, да его жена, которая невесте приходилась сестрою, да господин фон маклер Петр Барсов, да казанский купец Осокин, да другой Демидов – Иван Евдокимов сын. Все они, как поодиночке, так и скопом, хлопотали, говорили, убеждали и, по-

видимому, убедили, так что Чупятов считался как бы женихом. Согласна ли была невеста – о том известий нет, да и не считалось это важным. Одно известно, что она, по воле Божией, занемогла и была в слезной болезни на малое время. И еще есть предположение, что помянутой девице хотелось выйти замуж не за купца, а за дворянина.

И хотя никогда, ни теперь, ни после, Василий Анисимович Чупятов своей невесты не видал, но любовь пронизала и истерзала его сердце, и он сильно запустил свои дела по продаже пеньки и масла в Любек, Гамбург, Англию и Голландию: упустил лучшее время заготовить товары, не взыскивал по векселям и письмам, а наличные деньги перерастряс.

Ожидая окончательного сговора, он время от времени писал своей невесте письма, убедительные и полные житейской мудрости, в которых рассказывал ей про себя и свои дела, а ее старался отвлечь от мысли сочетаться браком с человеком дворянского звания. Письма длинны и обстоятельны, так что привести их здесь нет никакой возможности, разве в кусочках.

"Почтенная госпожа девица! В милости Божией Вам всякого благополучия всегда охотно желаю. Хотя с Вами случаев быть не имелось, а в рассуждении покойного родителя Вашего, а моего милостивца, и Ваших любезных свойственников и родственников, приязней и советов их, беру смелость Вашу милость спросить: не согласитесь ли со мною законным браком сочетаться? А о себе Вашей милости донести более не имею, что детей, отца и матери, по власти Божией, не имею, а жить – где тобою рассуждено будет, соглашусь. Впрочем, желаю Вам своим усердием всякого благополучия; и на сие пребуду в ожидании благосклонной отповеди. И тако Вы не мало пожаловать изволите, когда моей сей просьбы не презрите; и пребываю Вам, моей возлюбленной и почтенной госпоже, доброжелательный слуга Василий Анисимов сын Чупятов, купец Ржевы Володимировы".

В других письмах он объяснял купеческой дочери, что зариться на дворянина ей не следует, "как-де дворяне стараются, чтоб больше приданого взять, а в карты проиграть, а жен отсылают в деревню свиней кормить", и что "ни одного графа не осталось, кто бы не имел на себе долгу от разных приключений", и все они только "зайцев гоняют и во всем мотают, да и вообще – большое дерево ветер часто ломает, а которое дерево пониже – пребывает себе безо всякой беды!". Сверх того – разборчивая невеста может и опоздать. "Тетушка Ваша Анна Акинфиевна сказывала, что Вам уже двадцать

пятый год: сожалеть достойно, что Вы свою жизнь столько изнуряете, еще до сего времени – какая в жизни радость замыкается, не знаете. И вообще по закону велено жениться пятнадцати, а брать двенадцати лет, так уж то время минуло!"

Действительно, невеста, по-тогдашнему, была уже не молода; но, видно, либо она была упряма и защищалась своей "слезной болезнью", либо ее брат зарился на знатную для нее партию. Бедного Чупятова долго мотали, – пока не довели до гнева и разорения, так что он даже обратился с жалобой в Коммерц-коллегию, указывая на убытки, им понесенные от неисполненного сговора. Дошло дело до Орловых и до самой императрицы, и у Чупятова появились новые влиятельные сваты, графы Иван, Алексей и Федор Орловы, его превосходительство Дмитрий Волков, его превосходительство Алексей Петрович Мельгунов, его высокопревосходительство Лев Александрович Нарышкин; но сватали они Чупятову других богатых и благородных невест, того не зная, что сердце его было отдано одной и на других не соглашалось.

До сих пор идут архивные документы – дальше же историкам делать нечего, и только поэт может понять страдания человека, оскорбленного в лучших своих чувствованиях.

Исчез солидный купец Чупятов, экспортер пеньки и масла в далекие государства, – и не было больше речи о девице Володимеровой. В неудачливого жениха влюбилась мароккская принцесса, да и сам он оказался наследником мароккского престола. Его французский кафтан украсился лентами и мишурными звездами и медалями, и хотя он мог поддерживать всякий разумный разговор, но лишь до той поры, пока покажут ему лентами же украшенную курицу. Дело в том, что мароккская принцесса посылала ему курицу в качестве своего воплощенного духа – и тем поддерживала с ним постоянную духовную связь. Что теперь ему до знатных дворян, отбивавших у него любовь невесты, когда сам он не сегодня-завтра сядет на престол, сочетавшись браком с богатейшей в свете невестой! Пока же никому зла он не причиняет, всякому готов помочь. Не гордый, он охотно принимал новые ленты и новые ордена, которые от имени принцессы присылали ему шаловливые петербуржцы, нацеплял и их на кафтан, уже достаточно расцвеченный, и в церкви проходил и становился впереди всех, милостиво кланяясь. Но, крестясь широким крестом, думал он не о марокккской невесте, а о той неверной госпоже девице Володимеровой, которая отринула его и осмеяла. Мишура и чудачества – для других, в сердце же его жили обида и страдание, и забыть он не мог – мужская верность не

в пример женской ветрености. Был тих, вежлив, приветлив, с годами неизменен – и таким его помнят тридцать лет, чудаком, история которого уже всеми была забыта. Таким вспоминает его С. Н. Глинка, бывший кадетом в 1794–1795 годах, и о нем упоминает Державин в своем стихотворении "Вельможа":

Когда не сверг в боях, в судах,
В советах царских супостатов, –
Всяк думает, что я Чупятов
В марокксих лентах и крестах.

О девице Володимеровой ничего не известно. Может быть, неправду про нее говорили, что она мечтала о другом женихе; может быть, ее слезная болезнь объяснялась деспотизмом брата, отклонившего домогания верного рыцаря, который недаром писал в одной из своих слезных жалоб, что "объявленная невеста к сочетанию со мною законным браком большое склонение имеет, как то мне довольно вестимо". Не было в те времена своей воли даже у девушки в двадцать пять лет.

* * *

А другой пример мужской верности и женского легкомыслия находим в "Записной книжке" П. Вяземского; коротенький рассказ, занесенный в тетрадку для того, чтобы отметить странность женского сердца; но не справедливее ли отметить в нем другое, не замеченное рассказчиком: силу мужской верности?

Он – молодой человек из "высшего общества". Она – красивая, юная, "высокорожденная невеста, яркая звезда на светлом небосклоне". Дело происходит в Петербурге в начале двадцатых годов прошлого века.

Как рождается любовь? Встреча, обмен взглядом и словами, непонятное влечение, желание новых встреч.

Была весна. Они сидели влюбленной парой в большой зале, окна которой были отворены. Вероятно, свечи или лампа были в дальнем углу, а для них было достаточно света лунного. Было сказано еще слишком мало, – но недавний бал с бесконечным котильоном и сегодняшее свидание приблизили окончательное объяснение.

И вот тут проехала по улице "ночная колесница, которой

приближение скорее угадывается обонянием, нежели слухом".

Неприятный пустяк, обратившийся в роковое событие. За минуту до этого она охотно поддерживала разговор, тонкий, несколько иносказательный, осторожно подводивший их к решительной минуте. И вдруг она замолчала – и разговор потух. Он был слишком деликатен, чтобы спрашивать объяснений: очевидно, сегодня слово не будет сказано. Но и нетерпеливое чувство может обождать – пусть наступит день завтрашний.

Пришло и прошло завтра, прошли еще дни. С грустью он убедился, что в ее отношении к нему произошла перемена, что она чуждается его и не ищет больше свиданий. Он не хотел и не мог ее преследовать любовью – искал не победы, а ответного чувства. Может быть, это пройдет, или... может быть, он ошибся.

Что же, собственно, случилось? Не ему, – он не спрашивал, – а своей подруге она коротко объяснила: "Что же мне делать, если с той самой минуты образ его и воспоминание о нем неразлучно связались с запахом, который так неприятно поразил меня в тот вечер?"

И они разошлись, она – отдав себе отчет о причинах, он – горестно недоумевая. Она скоро его забыла – он забыть не мог и не пытался. Спустя два года она вышла замуж за другого – он остался холостяком на всю жизнь. Вскоре она умерла, в цвете лет, в богатстве и поклонении. Он остался жить – и жил памятью о ней. Впрочем, о жизни его мы не знаем подробностей, но почему не предположить именно этого: вечной печали и культа ее памяти? Так рассказ получится цельнее и романтичнее. Важно одно: до конца жизни он и не понял и не узнал, чем было так внезапно, так необъяснимо расстроено его счастье? Не отделяли ли его только минуты от ее согласия – разделить с ним и радости, и горе, и все, что могло ждать в жизни их обоих? Только одна минута – и все случилось бы по-иному. И, конечно, он помнил все сказанные и недосказанные слова, намеки, улыбки, дрожанье голоса, может быть, легкое прикосновенье – и он совсем не помнил о "ночной колеснице".

Не получил ли он, по гроб ей верный, ответ за гробом? Но тут вряд ли можно что-нибудь прибавить к заключению талантливого автора "Записной книжки":

"Если и верить, что некоторым земным тайнам будет разъяснение за рубежом земным, как-то трудно предполагать, что двум действующим лицам придется войти в объяснение по такому неблаговидному и неблагодушному вопросу".

БРАК ГЕНЕРАЛИССИМУСА

Престарелый генерал-поручик Василий Иванович окончательно порешил женить сына, своего единственного наследника; двух дочерей выдал замуж и не обидел приданым, но надлежало позаботиться и о том, чтобы не прекратился старый дворянский род и было бы кому передать две тысячи крестьянских душ и хорошо налаженное хозяйство. Поэтому Василий Иванович вызвал к себе почтенную родственницу, имевшую в Москве наилучшие знакомства, и поручил ей сыскать для сына Саши подходящую невесту:

– Чтобы была девка честная, не вертопрашка, из семейства почтенного и знатного, собой не дурнушка и телом здорова. За приданым не гонюсь, сам награжу сынка, но и совсем нищей не требуется. А моего мальца ты знаешь: жених для всякой девушки завидный и в большой милости у царицы.

Задача была не из трудных. "Мальца" знали не только в Москве, но и во всей России как прославленного военными подвигами, имевшего уже генеральский чин, Александровскую ленту и орден Георгия 2-го класса. Правда, он был не молод, сорок три года, но славился прямотой, честностью, простотой жизни, беззаветной храбростью, скупостью и чудачествами; звали его Александр Васильевич Суворов.

И невеста скоро была найдена – князя Ивана Андреевича Прозоровского дочь Варвара, по-тогдашнему девушка-перестарок, 23 лет, но почтенному годами жениху как раз под стать. Варвара Ивановна засиделась в девках безвинно, так как была красива, статна, румяна и даже умела немножко читать и писать. Но ее отец, отставной генерал-аншеф, был стеснен в средствах до крайности, так что мог дать приданого только пять тысяч рублей, а на такую придачу к глупой красавице охотников из знатных семей до сих пор не находилось. И потому сватовство Суворова пришлось очень кстати. Князь Прозоровский справился, конечно, о том, как отнесутся к сватовству наиболее влиятельные родственники, особенно вице-канцлер князь Александр Голицын, дядюшка невесты по матери. Все родственники предстоящий брак одобрили: жених богат, доброй фамилии и усердный служака на виду. Сам Александр Васильевич, воспитанный в строгости и привыкший к военной дисциплине, хотя в жене и не нуждавшийся, отцу ни в чем не противоречил и на его приказ жениться ответил немедленным послушанием.

Генваря 16-го дня 1774 года свадьба состоялась. Для этого Суворову пришлось приехать в Москву из армии и некоторое

время пожить жизнью совсем для него необычной: праздно болтаться в обществе, говорить любезные слова папашам и мамашам, жирно есть на званых обедах, вставать и ложиться не вовремя и в заключение оказаться пристегнутым к бабе, с которой и предстоит ему в дальнейшем не расставаться. Александр Васильевич, которого считали в обществе грубым солдафоном, был в действительности человек тонкого ума и немалой скрытности; привычно чудачил, потому что так ему было легче устанавливать с людьми отношения, как будто со всеми равные, сам же в людях отлично разбирался и, по гордости своей, многих презирал, внешне оказывая им почтение. Если уж довелось жениться – хотел быть своей жене хорошим мужем, поскольку, конечно, это не препятствовало службе и выполнению сложных военных обязанностей; но видел ее насквозь: красивая и глупая женщина, воспитанная в баловстве и без достаточной строгости, за него вышедшая безо всякого чувства, по родительской воле. Но ведь точно так же и он женился на ней лишь в угоду родителю и старым обычаям!

Приказание исполнив, оба супруга известили о событии высокого родственника князя Голицына. Суворов ему написал собственноручно:

"Сиятельнейший князь, милостивый государь! Изволением Божиим брак мой совершился благополучно. Имею честью при сем случае паки себя препоручить в высокую милость Вашего сиятельства. Остаюсь с совершеннейшим почитанием, сиятельнейший князь, Вашего сиятельства покорнейший слуга Александр Суворов".

К каковому письму супруга его сделала также собственноручную приписку:

"и Я, милостивый Государь дядюшка, принашу маие нижайшее патьчтение и притом имею честь рекамандовать в вашу миласть александра васильевича и себя так жа, и так астаюсь милостивая государь дядюшка, покорьная и верьная куслугам племяница варвара Суворава".

Писала эту привесочку к письму не меньше часа, вложив в нее всю свою грамотность, и муж угодливо послал сиятельному князю произведение его племянницы.

С месяц прожив с женой, Суворов уехал сначала в Молдавию к армии, потом в Царицын – подавлять пугачевское восстание. Дальше пошла его обычная походная жизнь, одна и та же с молодых лет до самой смерти. Менялись местности, города, крепости, военные задачи, мелькали картины частых переходов и переездов по российскому и окраинному бездорожью, и это для Суворова было жизнью подлинной, настоя-

щей, удобной и любимой. Иногда же приходилось застаиваться в одном месте – в Таганроге, в Астрахани, в Полтаве, в Крыму, в крепости святого Дмитрия, – и тогда заботливый муж выписывал свою жену, потому что ко всем своим обязанностям, приятным или тяжелым, он относился одинаково строго и по совести. Родилась дочь Наталья, да еще измерли от безвременного рождения два младенца. Вообще же о брачной жизни Суворова не осталось бы сведений, если бы не было на тогдашней Руси духовных консисторий и состоявших при них генеральных писарей, великих мастеров кляузы и витиеватого письма.

Из этих документов мы узнаем, что брачная жизнь Суворова была не гладкой и не сладкой и что часто приходилось ему каяться в своем послушании отеческой воле.

На третьем году брака Суворов по болезни жил в местечке Опошне вместе с женой, которой совсем не хотелось сидеть у его постели и ставить ему пиявки. Было жаркое лето, в саду цветущая липа душила ароматом, а в лесах и в полях дух легкий и прохлада. И был другой Суворов, племянник Александра Васильевича, молодой премьер-майор Николай Сергеевич. И вот оная Варвара Ивановна, своевольно отлучаясь от мужа, "употребляла развратные и соблазнительные обхождения, неприличные чести ее, и предавалась неистовым беззакониям с названным племянником, таскаясь днем и ночью, под видом якобы прогуливания, без служителей, по броварам, пустым садам и по другим глухим местам". Не из ревности, а опасаясь позора, Суворов увещевал жену напоминанием страха Божия, закона и долга супружества. И, однако, то же самое повторилось позже в Крыму, где, судя по тем же документам, "в небытность его, Суворова, на квартире был оный племянник тайно пускаем в спальню", а еще позже, в Полтаве, "жил при ней до 24 дней непозволительно".

Каковому злу решившись положить конец, Суворов подал прошение о разводе с женой в Славянскую духовную консисторию. Но так как в челобитной, писанной генеральным писарем Щербаковым, не были названы свидетели, и писана она была на простой бумаге, то челобитную Суворова вернули.

Такого афронта не мог потерпеть генерал-поручик и подал жалобу в Синод. Дело получило огласку, и скандал был неминуем. Переполошилась семья Прозоровских, забегали влиятельные тетушки, и великий воин был побежден натиском родственных сил: взял свое прошение обратно.

Но в глазах Суворова, человека религиозного, а порой и святоши, любившего бить в присутствии толпы земные по-

клоны, святость брака была нарушена, и поправить дело можно было только новой религиозной церемонией. Ее он изобрел сам.

Живя в Астрахани, Александр Васильевич Суворов, к тому времени граф, в разное время года выезжал для пребывания то в село Началово на Черепахе, то в Татарские Сады, то в Спасский монастырь, а то в николаевскую Чуркинскую Пустынь. Однажды в декабре месяце протоиерей кафедрального собора Василий Памфилов, игуменья Маргарита и статского советника жена Анна Баранова получили от графа приказание явиться в село Началово к девяти часам утра, что и исполнили, прибыв в церковь.

Не замедлив, туда же пожаловали граф и графиня Варвара Ивановна. Графиня, молодая и дородная, была одета в самое простое и дешевое платье, какое носят и мужички, а граф явился в простом солдатском мундире, сам сухой, без улыбки, строгий, волосатый, с обычной своей завитушкой на лбу. Протоиерей вошел в алтарь в полном облачении и отворил царские врата. Граф с графиней стояли позади дьяконского амвона на коленях, рядом с ними игуменья и статская советница также на коленях, и все четверо обливались слезами. Затем граф встал и прошел в алтарь к престолу, перекрестился, приложился и упал в ноги протоиерею, громко восклицая:

– Прости меня с моею женою, разреши от томительства моей совести!

После того протоиерей Василий Памфилов вывел графа из царских врат, поставил на колени на прежнее место, поднял с колен графову жену Варвару Ивановну и повел ее приложиться к местным образам. Когда же ко всем приложилась, подвел ее протоиерей к графу и велел ей поклониться ему в ноги, а графу велел так же поклониться жене. По выполнении сего прочитал протоиерей супругам разрешительную молитву и приступил к служению литургии, во время которой супруги приобщились святых тайн.

И кланяясь и проливая слезы, граф оставался строгим и суровым, графиня же была смущена до крайности и рыдала неудержимо, не то от раскаяния, не то от великого стыда, хотя свидетелей ее унижения было мало. Но еще не привыкла к унижению оная преступная жена, а привычка пришла позже, когда про ее отношения с мужем узнали все и в этом городе, и в обеих столицах, потому что из их торжественного примирения ничего путного не вышло.

Годом позже поступило в Святейший Синод от графа Су-

ворова новое прошение о разводе. Писал его канцелярист Кузнецов, хлопотал по делу ростовский купец Иван Никитин сын Курицын, и хлопотал неудачно. Суворов, избегая всяких влиятельных людей, поручал свои семейные дела ходатаям мелким и темным, завзятым болтунам, от которых про его дела узнавали все кумушки. Делал ли он это по слабости или нарочно – неизвестно, как многое не разгадано в характере этого человека. Синод в ходатайстве графу отказал по обычным формальным причинам: прошение было подано не в форме челобитной, а в форме доношения, и подано оно не по месту жительства ответчицы, в соответствующую епархию.

Сверх прошения Суворов написал письмо Потемкину, прося его предстательствовать у престола "к освобождению его в вечность от уз бывшего союза". И в доношении Синоду, и в письме вельможе, и в устных жалобах знакомым не скрывал нового греха своей богоданной супруги, нарушившей клятвенное обещание верности с Казанского пехотного полку секунд-майором Иваном Ефремовым сыном Сырохновым, так что теперь неведомо, чей от нее родился сын Аркадий.

И хотя опять заступничество родных, а вернее всего, прямая воля императрицы воспрепятствовали разводу, но на десятом году совместной жизни Суворов со своей женой расстался навсегда, оставив при ней сына Аркадия, отдав дочь Наталью в Смольный монастырь и положив жене очень скромное содержание.

Попытки примирить его с женой не удались. "Третичного брака быть не может, – говорил он, – а обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду". Жить же с женой розно в одном доме он решительно отказывался, как "не придворный человек".

Даже в деловых письмах он никогда больше не упоминал имени жены, которой приказывал переводить деньги. Отчужденная им, графиня Суворова-Рымникская сделалась спустя пятнадцать лет княгиней Италийской, супругой знаменитого генералиссимуса, но уже никогда не видала того, чье имя продолжала носить и чью славу должна была делить. Даже в завещании своем он не упомянул о жене, оставив свои родовые и за службу пожалованные деревни, свой дом, вещи и бриллианты сыну, а дочери – лично им купленные имения.

Те же, кто присутствовал при его кончине 6 мая 1800 года, утверждают, что и на смертном одре Суворов не вспомнил о жене, а если вспомнил, то сумел промолчать. Обиды, ему причиненной, не забыл и вряд ли сознавал, гордец, что сам загубил чужую молодость.

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

В тиши роскошного кабинета рыцарь свободы и законности, прекрасная Като, только что закончила очередное длинное письмо Вольтеру. Нелегко переписываться с великим мастером изящного стиля! Царица-реформатор никогда не переставала быть женщиной, и Фарнейский пустынник на восьмом десятке лет не мог, конечно, не улыбнуться ее кокетливой фразе: “Като хороша только издали”.

На столе Екатерины сафьяновая папка с листами ее прилежной работы, имеющей целью установить блаженство всех и каждого. Ее Наказом руководствуются созванные ею персоны, вельми разномыслящие, – и недоумевают, как им быть с осуждением пытки, “установления, противоречащего здравому смыслу”, – тогда как с мест пишут чиновники, что при окаменелости сердец и сугубом духе народа избежать пытки не можно?

Никакими подобными вопросами не задается поручик Семен Самойлов в Ярославле, человек простой и исполнительный, к тому же, при всем своем офицерском чине, неграмотный, и ни о Вольтере, ни о философе Дидероте ничего не слыхавший.

Поручику необходимо выпороть нескольких дворцовой вотчины крестьян, – а кто их выпорет? Дело это нелегкое, требуется большое искусство, а заплечный мастер окончательно одряхлел и хорошо сечь не может.

В последний раз, например, поручили ему пороть такого же старца, как он сам, – лет под семьдесят. Чего проще? А он сам умаялся, пока того старца привязывал к деревянной кобыле; поистине – смотреть было тошно. И наказуемый охает, и заплечный мастер охает, возятся два старца, и не поймешь, который которого будет драть. Полоснул кнутом поперек костяка – сам едва на ногах удержался: умора! Не будь старец на кобыле очень уж слаб, – умаял бы палача; одначе на десятом ударе отошел; давали пить для роздышки – не восприняли белые губы, и дыханье ушло.

Разве же это правосудие? И кого устрашит?

Нагнув голову, чтобы не сбить лбом притолоки, поручик втискивается в ветхую избу:

– Лежишь, дед?

За деда отвечает старуха:

– Лежит, неможется ему.

– Вот незадача! Он лежит, а сколько ждет народу ненаказанного: полный острог! А не перемогся бы, дед, ну, хоть для останного разу?

– Куды ему, ослеп совсем, и силы никакой.

В огорчении разводит поручик руками:

– Что будешь делать? Сколько ожидает людей, кому – кнут, кому – ноздри обязательно рвать; только зря задерживает. Отписали в московскую разыскную экспедицию, нет ли излишнего заплечного мастера, – три месяца без ответа, а ныне получили: “Нельзя, самим надобно”.

Лежа на лавке, шамкает старый заплечный мастер:

– Молодого поищите. Старым рукам такое дело не под силу. Еще клещиками туды-сюды, а хомут или, скажем, виска великой силы требуют. То же и кнутом работать.

– Легко сказать: молодого! Где его возьмешь? Ныне на гарнизонный оклад охотников нет. И еще горе: на пожаре все снасти сгорели. Запросили город Романов, не пришлют ли на подержку ихнии, а тамошний воевода пишет, что у них-де тоже был пожар.

Ярославский пожар был опустошителен. Сгорело одних церквей пятнадцать, домов более трехсот, да колодничий острог, да магистрат, да сот пять лавок, да со всеми делами провинциальная канцелярия – жуликам на радость. А главное, сгорели самонужнейшие орудия: дыбы, хомуты, кнутобойная кобыла, самые кнуты в большом числе, клейма для постановки знаков, щипцы для ноздрей и ушей и прочие снасти, подлежащие к учинению колодникам экзекуции.

Как быть правосудию? А тут еще совсем развалился старый заплечный мастер. И тоскует в напрасном ожидании ненаказанный народ, размещенный после пожара по большим избам. Ждут колодники, когда им вырвут ноздри установленным порядком, ждут невыпоротые крестьяне, зря теряя осеннее рабочее время, ждут свидетели из посадских, не испытанные ни кнутом, ни дыбой; иные же, ждать наскучивши, пытаются бежать.

Нет мастера в Ярославле. Нет мастера и в Пошехонье, тоже срочно требуют. Посылали раньше ярославского, теперь послать некого. Стоят законы без выполнения – истинное несчастье!

* * *

Небольшая комната во дворце приспособлена для ручных работ императрицы. Державной ножкой колебля педаль, точит великая законодательница табаретку. Токарный станок, прелестно украшенный, заграничный, с легким ходом, сам

похож на точеную игрушку. Допущены присутствовать только учитель Екатерины, старичок в парике, озабоченный успехами ученицы в столярном деле, да еще европейский гость – философ Дидро.

Придерживая баклажку холеной рукой и осторожно поворачивая, Екатерина ждет от балованного гостя ядовитых слов: "Драгоценные годы текут, и вашему величеству нет возможности заняться своими великими планами для блага страны".

Умный, но непокойный человек. В чем старик, а в чем совсем младенец. Вольтер его ревнует к Северной царице. Любит и Вольтер давать в своих эпистолах бесконечные советы, – но Фарнейский пустынник все это делает с изяществом и тончайшей лестью, какая не может не нравиться женщине. А этот рубит с плеча: "Нет ничего легче, как приводить в порядок государство, лежа на подушке. Тут все идет как по маслу. А когда приходится приняться за самое дело, что уж нечто совсем другое". Как будто сама императрица не сознает этого лучше других! Ее ли он хочет быть умнее? Из двух собеседников Екатерина все же предпочитает далекого швейцарского корреспондента.

Вольтер – Екатерине: "Простите ли, всемилостивейшая государыня, дерзость моей маленькой досады на то, что вы именуетесь Екатериною? Древние Героини никогда не знаменовали имян у святых: Гомер, Вергилий нашли бы в сих именах великое затруднение. Вы сотворены не для месяцесловов. Но пусть Юнона, Минерва или Церера делают лучший склад в Поэзии всех народов!"

Екатерина – Вольтеру: "Я не думаю иметь право на то, чтобы быть воспеваемою. И я не поменяюсь именем с завистливой Юноной; я не так тщеславна, чтобы применять имя Минервы; называться Венерою хочу еще менее, потому что сия красавица слишком прославлена. Мое имя мне всех прочих милее".

Вольтер – Екатерине: "Непременно надобно, чтобы все люди лишились ума, когда не будут удивляться произведенным Вами великим и полезным деяниям. Умираю в грусти, что не могу увидеть степей, превращенных в великие города, и на две тысячи миль простирающегося государства, очеловечественного Героиней. В истории целого мира нет подобного примера, нет революции славнейшей и изящнейшей. Сердце мое подражает магниту: оно лежит к Северу!"

Кто другой так скажет! И это лишь слабый перевод с нежнейшего французского на грубый русский язык!

* * *

Совсем иного стиля публикация, в те же дни прибитая на всех уличных перекрестках Ярославля:

“Объявляется во всенародное известие. Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера и быть в штате при ярославской провинциальной канцелярии на казенном жаловании? И если кто имеет желание, тот бы явился в канцелярию в самой скорости”.

Но нет палачей-добровольцев, такое несчастье. Не хотят ярославцы идти на казенное жалованье. Уж не заражен ли пристойный город Ярославль фарнейским духом, не ползет ли из него вольтерьянство в города приписные?

Маия в десятый день бояре слушают докладные выписки и важно беседуют.

– Буде охотников не явится – велеть бы выбирать из посадских людей, из самых молодших, или из гулящих людей. Надобен заплечный мастер в каждом городе, чтоб не было задержки.

– Не всякому та наука доступна. Незнающий человек бьет по чем напрасно, один удар в полпальца, другой до костей. Непорядок!

– Точно, что одно битье простое, другое нещадное, по человеку глядя. Одно в проводку, другое на козле, а то с разбегу. Сразу рубить ни к чему, дай отдышаться. И бей по соразмерности. Тут нужен по закону человек пытанный, не случайный.

– Попривыкнет.

– Пока привыкнет – сколько перепортит работы. Пробовал вон пошехонский воевода пристроить к делу нештатного отчаянного пьянчугу, неоднократно дранного на кобыле. И что же? Сам лежать под кнутом умел, а драть других не способен. Надобно по закону драть ровно, полоса к полосе, с раздышкой; он же спервоначалу бьет накрест, отчего напрасно выпадают клочья. Когда же, воевода пишет, допустили до ноздрей, – убоялся, запутался, захватил клещиками губу и тянет зря, не чикая, чистую работу портит.

– Из острога прошедшей ночью утекли десятеро разбойников.

– Этих поймали. Однако потребно тем утеклецам вскорости наложить стемпеля и учинить экзекуцию.

Слушали и постановили:

“В ярославский магистрат сообщить промеморию и требовать, чтобы оный прислал заплечного мастера, выбрав из купцов. А ежели не пришлет, то принудить”.

Затронули тем честь ярославского купечества, но только магистрат не послал.

Осталось искать среди гулящих людей. Главная приманка – водка. Полагается доброму мастеру после каждого удара кнутом передышка и стакан водки: пей, пока хочешь. Бой медленный: на двадцать ударов полчаса. При раздышке наказуемого садят на барабан: смотреть, жив ли. И только когда порублен на мясо, тогда завертывают в сырую баранью шкуру, что иным помогает оправиться.

И не скоро вздохнул поручик Семен Самойлов. Хорошо хоть, что прислала московская канцелярия тридцать кнутов новых, да щипцы, да стемпель. Щипцы и стемпель стоимостью рубль двадцать копеек, кнуты по двадцать копеек, что и взыскано. Новую кобылу и виску заказали деревянного дела мастерам.

* * *

Вольтер – Екатерине: "Знают ли все, где рай земной? А я знаю: где Екатерина, там и рай. Повергнитесь все со мною к ногам ее! Мне в идолопоклонстве находиться у ног Вашего величества лучше, нежели быть с глубоким почитанием Вашего храма жрецом! Больной старик фарнейский".

Екатерина – Вольтеру: "Государь мой. Излиянные на несколько сот миль благодеяния, о коих угодно Вам упоминать, не ко мне относятся. Терпимость в числе наших учреждений: она составляет государственный закон, и гонение совсем запрещается. Но ах! кто может поручиться за их совершенство? Я выточила табакерку, которую Вас прошу принять".

Поручик Самойлов – канцелярии: "Сим доношу: подвернулся плечистый молодец из отпетых посадских. Опыта мало, да подучиться может. Спервоначала хлестал криво, потом выправился, с малого же разбега бьет разом до кости. Однако водку пьет неистово. Ныне наказаны ожидавшие и рвано ноздрей утеклецам и разбойным немало, о чем и доношу".

Спасен пристойный город Ярославль. Правосудие отправляется.

ШАХМАТНЫЙ БОЛВАН

По набросанному нами плану рассказ должен был начаться описанием сражения, в котором тяжко ранен поляк Воронский; но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы заимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать грубую ошибку. Напишешь, например: "Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды", – и окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку, почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе. По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избегнуть смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы "поклялся не показываться людям в своем натуральном виде".

Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек маленького роста и что вряд ли после несчастья родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал полтора года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы.

Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России; и в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской – смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий и плоховато Екатерина Вторая. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах кто бы ни победил – все равно он оказывается русским, и с этим решительно ничего не поделаешь.

Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянье и сражался с простыми людьми, затем он попал в барские дома и наконец проник и во дворцы.

Пощады не давал никому, а бились с ним игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще не было, как и вообще профессионалов, кроме базарных жуликов. Не было еще и книг с анализами начал и концов, знание которых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до пятнадцатого хода, после которого объявляется ничья. Но так как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя, то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге.

* * *

– Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой, но с отменной головой! Играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православной веры бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже! Кто с ним сыграет, того он и обыграет!

На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом, в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе два-три купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки.

– Почем игра?

– Ставь по желанью, а за выигрыш плачу десять раз.

– Какой воровской прелести нет ли?

Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо, ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются; сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками: чулки, сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине.

– Голова пуста, мозгу хватит на бывалого.

Находятся охотники. Из ящика, к которому приделана кукла, вынимается тавлея и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка.

Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно подымает руку над шашечницей,

цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку.

Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче сжульничать: фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно, с железным скрипом, повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь, говорил:

– Не по чести играете, купец!

За турка вступалась и публика, – и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы, при том и в простую ферезь, и во всяческую, когда эта ферезь, или царица, ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая, и раньше игры хозяин уславливался о правилах: “За шашку – так и за место”, то есть тронута – сыграна; “Через шах не запирайся” – нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы – если шах царю, и простым – царице, которую называли также ферезью, кралей и фрёй.

Слава турка росла и с базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписной повозке в сундуке. Выгружал со слугами осторожно, оберегая сложный механизм, а в покоях вынимал турка из сундука по частям: сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину.

Продать своего искусного истукана нипочем не соглашался, хотя давали ему большие деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате, приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить, – хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет:

– Не обману великую монархиню. Мы с сим турком, что он – то я, оба вместе, друг без друга не существенны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что и прошу униженно не прогневаться.

Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили весьма щедро.

* * *

Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г., вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы супротив него выиграть. Чтобы машина играла лучше человека – тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник – человек, и значит, победить его возможно.

– Меня, брат, на кривой не объедешь! Твое имя как?

– Зовусь Кемпеленом, ваша светлость!

– Видно, и ты басурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю – плачу за каждую тысячу золотом, а выиграю из трех одну – отдашь мне твою машину.

– Машины отдать не могу, ваше сиятельство, не обидьте бедного человека. А только выиграть у моего турка невозможно.

– Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу, доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш две тысячи. А проиграешь – пеняй на себя.

Шахматы фокусник расставил, видимо, без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно; не спускало глаз с фокусника и княжеское окруженье. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подале.

Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую – турок свою. Князь вывел скакуна – турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно, и каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке, забегала по доске ферезь, и когда князь, долго продумав ход, объявил шах, – турок, не медля, поднял руку, подставил под удар свою ферезь, взял за нее три фигуры и дважды наклонил голову: шах князеву царю! Князь отступил – турок наступил; князь прикрылся – турок наскочил простой пешкой, провел ее в доведи, на последнюю линию, прижал князя насмерть – и игре конец.

Ахнули все, а князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе:

– Чистое наважденье! Это зря я дал ему обменять ферезь. Не обменяй – была бы ему крышка на третьем ходе. А ну, давай еще!

Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника –

смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество – невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану!

Подали вина. Князь выпил, турок не шевельнулся.

– Может, он у тебя и пить знает?

– Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство!

– А ну, пускай теперь он начинает.

Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу – турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона да раньше проиграл две пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру, приободрился, стал наступать на правом крыле – да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно: турок продвинул две сцепленные пешки, пришлось бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя, но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход, до того неладный, что князь даже и думать долго не стал: двойным шахом цапнул туркову пушку, приобрел силу – и попал в ловушку: через два хода – нет царю никакого спасенья!

Стукнул кулаком по столику, так что подпрыгнула тавлея и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, – пустил крепкое слово и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой, – очень уже разгорячился князь.

И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще – со свистом и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, – турок продолжал чихать неистово и безудержно.

Спервоначалу князь и его гости остолбенели: что машина может играть – удивительно, но чтобы она чихала – совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь:

– Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано?

Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать, но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий голос:

– Сними голову, дурак! Глаза мне выело!

Под полой железной головой оказалась другая, живая, со

слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида.

И когда наскоро, под общий хохот, обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, притом на отличном французском языке:

– А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь, атакуете, позиций не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду!

Французский язык победил – и ни турка, ни его слугу Кемпелена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав: сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Великолепнейшая обстановка исторического водевиля: средней руки дворец в Венеции, всепроникающий запах нечистых вод канала, раболепная прислуга, сервирующая стол для высоких особ. Всероссийская княжна Елизавета, внучка великого Петра, она же принцесса Волдомирская, изволит кушать на золотой тарелке; для князя Карла Радзивилла, боевого, непримиримого эмигранта, ставится тарелка серебряная; речицкий староста довольствуется обычной посудой. Иногда к высочайшему столу приглашаются пинский староста, подчаший великого княжества Литовского, хорунжий Галицкой земли, какой-то чудаковатый англичанин, арнаут Изук Гассан, алжирский турок Махмет и итальянский банкир Мартинелли.

Ели они, вероятно, минестроне с тестом, луком и рыбой, спрута в сухарях, для шика – привозную дичь; запивали восточными тяжелыми винами. Все пахло дурным маслом и водорослями. При входах и выходах – пышнейшая стража в польских и литовских нарядах. На улице толпились итальянские моряки, гондольеры, чарлатани, музыканты, актеры, проходимцы и честные труженики, пронизанные любопытством. О всероссийской княжне не все были осведомлены, и здесь она предпочитала зваться графиней Пиннеберг; но всякий венецианский рагацинне знал в лицо толстого князя Радзивилла, твердо решившего низвергнуть трон Екатерины при

помощи турок, к которым он и направлялся. И невозможно было не отличить "Пане Коханку" в его пышном окружении: три подбородка и еще маленькая складка кожи под чушкой, усы с завитком на короткой пухлой губе, тупые белые глаза, лысый череп и огромный живот. Кратчайшую и точнейшую характеристику дала ему впоследствии сама всероссийская княжна: "Чрезвычайно глупый человек".

Но центр заговора, конечно, новооткрытая царевна, единственная из всех по совести не знавшая, кто она такая, и так и не узнавшая до смерти. Она вошла в историю под именем княжны, точнее лжекняжны, Таракановой; но этим именем она никогда себя не называла и его не слыхала.

Было бы безвкусицей пытаться еще раз воспроизвести историческую фигуру княжны Таракановой; столько раз это сделано под всевозможными соусами, в форме рассказа, романа, ученой монографии. Как не получается героя из вульгарного "Пане Коханку", так нельзя вылепить историческую личность и из прославленной самозванки. Жестоко поступили с ней те, кто изучал ее по архивным документам; пожалуй, более жестоко, чем Екатерина и Орлов-Чесменский: придумали авантюристку и проглядели женщину – красивую и очень больную женщину-фантазерку, гениальную артистку, подвизавшуюся на исторической арене в труппе провинциальных бездарностей. Ее документальный образ ничтожен, а прекрасен только легендарный; иначе говоря, ею должны были заниматься не историки, а поэты и художники. Только им доступно возвратить этой загадочной женщине ее право считаться дочерью Елизаветы и Разумовского, внучкой Петра, сестрой Пугачева и страдалицей, погибшей в каземате Петропавловской крепости во время наводнения. В сущности, прав только художник Флавицкий, изобразивший никогда не бывшую гибель никогда не существовавшей княжны Таракановой, и от созданного им образа нам никогда не отделаться.

Были, как известно, две княжны Таракановы: подлинная и самозванка. Из них, наверное, существовала только самозванка, а подлинная только предполагалась в лице монахини Досифеи, умершей в московском Новоспасском монастыре. Ни та, ни другая не носили фамилии Таракановой, и такой фамилии не могло быть у дочери Елизаветы, если у нее была дочь. Монахиню Досифею считали Августой Алексеевной – по отцу, Алексею Разумовскому, мужу Елизаветы; Тараканова-самозванка называла себя, или ее называли, Елизаветой Кирилловной, потому что не знала, который из Разумовских был в браке с русской царицей. Первую называли Таракановой,

спутав фамилию: сестра Разумовского была замужем за казацким полковником Дараганом, или Дарагановым; вторая предпочитала считать себя последней из дома Романовых.

Но последняя не сразу стала Елизаветой: предварительно она была просто госпожой Франк, затем стала госпожой Шэлл, потом мадам Тремуй, Али Эметэ, княжной Волдомир с Кавказа, Азовской принцессой, Бетти из Оберштейна, графиней Зелинской, голштинской графиней Пиннеберг. Иногда ей казалось, что она родилась в Черкесии, хотя эта страна была для нее такой же фантазией, как и княжества Азовское и Владимирское. Чаще она думала и утверждала, что ее приемным отцом был князь Али в Багдаде, богатейший человек, торговавший с Индией и Китаем, осыпавший ее золотом. Но когда ей нравилось, она принимала имя Элеоноры, – не все ли равно! Важно то, что ей верили, кем бы она ни называлась.

И ей нельзя было не верить: она была молода и очаровательна. Никто не знал, – и она сама не знала, – сколько ей лет, двадцать или тридцать; когда понадобилась точность, ей стало столько лет, сколько должно было быть дочери Елизаветы. Она была очень образованна и прекрасно осведомлена в делах европейской и азиатской политики; в этом были уверены все те, ее окружавшие, которые путали Черкесию с Украиной, Персию с Индией, а Карла Радзивилла считали подлинным революционером. Она знала почти все европейские и восточные языки; знание французского и немецкого она доказала и в разговоре и на письме. Став русской княжной, она нечаянно обнаружила незнание ни единого русского слова; связавшись с поляками, она выучила слова "Пане Коханку" и часто слышала: "Падам до ног". Когда от нее потребовали написать письмо по-персидски, она исполнила это, не задумываясь, и ни один лингвист не мог определить, на каком языке написаны странные знаки и палочки. Милостивая Екатерина решила подослать к ней в тюрьму священника, который выпросил бы у нее на исповеди все, что возможно; но она не знала, к какой религии принадлежит. Наиболее удобной ей показалась православная – и русский священник исповедовал ее по-французски, но узнал слишком мало.

И все-таки она умела быть, когда нужно, настоящей французской аристократкой, подлинной немецкой графиней, чистокровной персиянкой, принцессой Азовской, внучкой великого Петра. Она была уверена, что ребенком жила в Москве и Петербурге, помнила свою старую няню, вместе с нею и еще с тремя седыми стариками была увезена куда-то в безлюд-

ное местечко, в семи верстах от “ханской ставки”; тогда она говорила по-русски. Потом, при помощи крестьянина-татарина, она с нянькой убежала через леса и пустыри, пока не добралась до Багдада. Дальше, уже со своим персидским покровителем, она оказалась где-то под Астраханью, затем попала в Петербург, Ригу, Кенигсберг, Берлин, Лондон. Она жила также в столице донских казаков, но ее хотели отравить, и она поселилась на берегах Каспия. Она скрывалась также и в Сибири, откуда ее вывез и спас русский священник. Естественно также, что она была родной сестрой Пугачева, который был подлинным Петром Третьим.

И эту великолепную фантазерку историки называли авантюристкой! В действительности авантюристами были те, кто, веря ее рассказам, падали к ее ногам, предлагали ей не только свои сердца, но и свои имена и даже свои княжеские престолы, хотели ее именем вызвать переворот в России, свергнуть Екатерину, восстановить Польшу! Она писала рескрипты, сулила богатства, разоряла состояния, делала все, что подсказывала ей больная фантазия. Что она была больна – в том нет сомнения. В разгар своей славы и своих похождений она сгорала от чахотки, вскоре после ареста сразу увяла и умерла.

Конечно, главный секрет ее могущества был в ее красоте. Поляк Глембоцкий пишет: “Она очень хорошо сотворена Богом и может соперничать с настоящими красавицами”. Министр при Ватикане признает, что “ее приятность и умение вести разговор так вероломны и опасны, что она легко может вскружить голову, если кто-либо не имеет этого в виду”. Очевидно, он это “имел в виду”, но другие не были столь догадливы! Доктор Салицетти описывает ее наружность словами, полными неподдельного восхищения. Михаил Огинский, веривший в ее восточное происхождение, утверждал, что “вся Европа, к своему позору, не произвела бы подобной личности”. Она была среднего роста, изящная, худощавая, с энергичными, резкими движениями, проницательными карими глазами; белое, молочного цвета, лицо, часто окрашенное румянцем, продолговатый нос с горбинкой, черные волосы. Это описание дают русские официальные документы. И все, говоря об ее прекрасных глазах, не забывают прибавить, что она слегка косила. Маленькая подробность, такая же неизбежная, как и ее болезнь! Психологи знают, какую силу красивым глазам дает этот маленький недостаток, не позволяющий проникнуть в душу и вечно тревожащий! Ко всему этому ряд талантов, достаточных для того времени: она прекрасно играла на арфе, чертила, рисовала и имела познания в области

архитектуры; ей приписывали “высокие совершенства и превосходные добродетели”. Ее воспевали поэты как “королевскую деву”, “богиню-попечительницу Черкесского края”, “будущую мать счастливого народа”.

Меньше говорили о главном ее даровании: необыкновенной способности сразу узнавать людей. Правда, ее окружали преимущественно люди с очень громкими именами и очень низкими лбами. Им не мог не импонировать ее девиз: “Вперед и ни шагу назад!” В ее вещах было найдено семь пистолетов, да два заряженных всегда висели над ее кроватью; этого достаточно для загадочной натуры! Она умела приказывать и не терпела ослушания. Она отвергала преданнейшую любовь и самые лестные предложения, но дарила себя кому хотела, по простой прихоти; однако мало кто мог и смел похвастаться ее близостью, потому что ему бы не поверили. Ее историческая роль заключалась в том, чтобы быть истинной царицей высокорожденных дураков; но это открывало ей путь к подлинным престолам, если бы только ее фантазия не пожелала слишком многого: престола Екатерины. Но ей, по-видимому, были безразличны достижения: она сгорала от страсти к недостижимому. И она спешила, как все тяжело и неизлечимо больные; доктора называли ее болезнь “апостема”: постоянное возбуждение, частые лихорадки, сопровождавшиеся кровотечениями, болью в груди и упадком сил.

Перебаламутив Европу, прекрасная больная фантазерка напугала Екатерину Великую. Нет ничего мудреного: разве не оказался реальной страшной грозой темный казак Емелька Пугачев? Навстречу новому призраку русская царица послала испытанного буяна, не склонного к поэзии, бывшего фаворита Орлова-Чесменского. По-видимому, Орлов был первым, догадавшимся, что он имеет дело с больной фантазеркой; поэтому он расставил нехитрую ловушку, которая и прихлопнула мышонка. Его великий подвиг носит все черты грубой и примитивной бессовестности.

Дальше – Петропавловская крепость и поистине зверское добивание умиравшей, которая уже никому не могла быть опасной и ничего не могла открыть, потому что ничего и не знала: могла только рассказывать ею придуманные фантастические сказки. 15 декабря 1775 года тело многоименной женщины, княжны Владимирской и Азовской, властительницы Черкесии, претендентки на всероссийский престол, зарыли на лужайке у Алексеевского равелина.

* * *

Никакой исторической фигуры нет; бессмысленно искать ее портрет в документах эпохи. Великолепная путаница фантастического и реального, распутывать которую даже преступно: ведь все равно не понять, что видела лжекняжна Тараканова в лихорадочном бреду, который принимался за необычайно тонкую расчетливость ловкой авантюристки. Последняя картина: всеподданнически припавший к стопам императрицы Радзивилл и теми же стопами раздавленная чахоточная мечтательница.

Может быть – дочь нюрнбергского булочника, может быть – трактирщика из Праги. В сущности, это совершенно безразлично. Одному русскому художнику, также больному чахоткой, захотелось, чтобы княжна Тараканова, истинная дочь Елизаветы, погибла в день наводнения в мрачной камере. Бледную красавицу, потерявшую силы и сознание от ужаса, он прислонил к облупившейся стене, одел убогостью когда-то роскошного платья, бросил рядом бараний тулуп. Кровать, на которой она хочет спастись от хлынувшей в окно воды, оспаривается у нее также мечтающими о спасении тюремными мышами. На столе, который сейчас всплывет, глиняная кружка и кусок хлеба. Ужас обстановки и чудесная красота груди и плеч. Кто не замирал перед этой картиной Флавицкого в Третьяковской галерее?

Ни капли "исторической правды"! Но есть правда художника: такою он представлял себе княжну Тараканову. И конечно, его правда пересиливает, потому что сказка имеет свои права, а именно – право на сказку жизни отстаивала знаменитая самозванка.

ТРИ ГОЛОВЫ

Престарелый сторож Кунсткамеры имел свою биографию, о которой все давно забыли, сам же он сохранял тень воспоминания. Некогда младенцем он был доставлен в город Петербург из страны сибирской в качестве монстра, во внимание к неопределенности его пола; в те времена, по приказу императора Петра, собирали диковинки со всей Руси и за живых монстров платили щедро, а если дело шло о диковинном человеке, ему давалось при Кунсткамере содержание: хорошо питали и одевали в особый установленный наряд и после смерти сохраняли его в банке со спиртом. Младенцу,

ставшему позже сторожем, в банку попасть не пришлось, так как к осьмнадцати годам его пол определился окончательно и с несомненностью, что и было доказано его женитьбой и производством потомства. Во внимание же к прошлым заслугам он не был лишен содержания и остался при Кунсткамере, так как был грамотен и мог показать посетителям разные чудеса природы и искусства.

Теперь Якову Брюханову было за восемьдесят лет, всех детей он похоронил, и помощником ему остался внук, тридцатилетний парень, на войне потерявший три пальца на левой руке; именем, в честь государеву, Петр. Внук помогал дедушке в уборке, а понемногу учился объяснять публике диковинки. На престоле сидела просвещенная государыня Екатерина Вторая, которая только что назначила президентом Академии наук княгиню Дашкову, женщину дотошную, любившую входить во всякую мелочь. Кунсткамера была в ведении академии.

Утром каждодневно Яков Брюханов со внуком являлся в Кунсткамеру наводить порядок, подметать сор, вытирать пыль и ставить на место, что неладно поставлено. Яков орудовал тряпками; старик указывал и рассказывал: "Сие есть чудная махива, государем Петром привезенная из Голландии"; "Сие есть зародыш человека, каковым бывает в чреве матери на четвертом месяце"; "А сие есть рог единорога, целебное от всякой болезни средствие".

И еще стояли в банках три человеческие головы: одна в большом зале да две в кладовой комнате, и эти две показывались не всякому, а только посетителям знатным или богатым купцам. Первая голова безымянного юноши, отрубленная за красоту; а была ли какая на том юноше вина – ничего не известно. Государь Петр Великий рубил головы кому хотел, одному в наказание, а иному просто в оказание своей монаршей милости. Вторая и третья головы были знамениты не одной красотой, а и знатностью тех, с чьих плеч, по Петрову приказу, сняты эти головы рукой палача. То были головы Монсова и девки Марьи Гаментовой.

Про камергера Виллима Ивановича Монса и про фрейлину Марию Гамильтон теперь написано историками сколько угодно, а в то время про них знал и помнил хорошо только один сторож Кунсткамеры Яков Брюханов. Не то чтобы он их знавал сам, – хотя видать мог; а живы были в его памяти рассказы того времени. Виллим Иванович, молодой красавец, носил дорогого бархата кафтан с серебряными пуговицами, отороченный позументом; заместо пояса – серебряная лен-

та, на ногах шелковые чулки и башмаки с драгоценными пряжками, под кафтаном жилет блестящей парчи, на голове пуховая шляпа с плюмажем. После него остался гардероб, в котором были кафтаны всех цветов, и бархатные, и кофейной голландской фондишпании, и с черной бахромой, алмазных пуговиц двадцать шесть простых да двадцать четыре с искрой в каждой пуговице, сапогов сорок семь пар, одна пара с усами, чулков гарусных пунцовых и другого цвету без счета, шапки пареные и аранские, перчатки с серебряной бахромой, – всего не расскажешь. Виллима Ивановича задаривали все знатнейшие люди, зная близость его к государыне Екатерине, супруге великого Петра. В те времена брал каждый влиятельный человек, но редкому перепадало столько, сколько Виллиму Ивановичу, к которому богатство текло рекой. И все бы ему сошло с рук, если бы не пустили слушок об особой ласковости к нему Екатерины Алексеевны. Высоко взлетел – быстро пал; по государеву указу судили его вышние судьи и вынесли ему приговор – казнить смертию, каковой приговор сам государь, по милостивом рассуждении, изволил утвердить. Ноября в 16-й день 1724 года Виллиму Монсу отрубили голову на Троицкой площади и ту голову воткнули на шест. А после ту голову император приказал положить в спиртовую банку и поставить в кабинет Ее Величества. И будто бы та голова долго там стояла в банке, и царица должна была на нее смотреть, а после ту голову отправили в Кунсткамеру.

Вторая голова блистала красотою на белоснежных плечах царской фрейлины, которую Петр любовно называл девкой Марьей Гаментовой, а с глазу на глаз и милой Марьюшкой. Она была древнейшего и именитейшего шотландского рода, переселившегося в Россию при Грозном, и при императорском дворе была не только на виду, но и общей любимицей, так как красотой не уступала и знаменитой Марье Юрьевне Черкасской. Пока любовался ею Петр – все было хорошо; но на свое горе она полюбила молодого Петрова денщика (адъютанта) Ивана Орлова. Свою любовь молодые люди долго скрывали, и Петр о ней узнал только случайно. Узнав – допытался, не рожала ли девка Марья Гаментова детей от Орлова и куда детей этих девала. Оказалось, что дети точно были: двоих она вытравила, а третьего будто задушила и бросила в саду, обернув салфеткой, а Орлов считал, что все младенцы рождались мертвыми.

Такого злодейства царь потерпеть не мог, памятуя, что, по божеским и человеческим законам, “проливая кровь человеческую, да прольется и его”. И после суда на той же Троиц-

кой площади, где пятью годами позже был казнен Монс, солдаты окружили эшафот, на котором еще торчали на шестах головы казненных ранее соучастников царевича Алексея. Все ждали, что царь помилует Марьюшку. Он и правда обещал ей, что ее прекрасного тела не коснется рука палача. Он лично присутствовал при ее казни. Ее вызвали одетой в белое шелковое платье с черными лентами, и, хотя красота ее поблекла после тюрьмы и ужасных пыток на дыбе, царь был с нею ласков и велел ей молиться. Когда она склонила голову в молитве, палач, по цареву знаку, отсек ей голову, но тела ее не коснулся.

Великий Петр был человеком просвещенным и образованным, чуждым предрассудков. Он поднял с земли голову Гамильтон, поцеловал ее в губы и прочитал присутствовавшим при казни маленькую популярную лекцию по анатомии головы: показал, где какие жилы и куда они ведут. Потом еще раз поцеловал – и отбросил.

Голову девки Гаментовой положили в спирт и отправили в Кунсткамеру при Академии наук и в память оказанной ей царем милости, и за необычайную красоту.

Обо всем этом старый сторож рассказывал внуку не раз и во всех подробностях, как много раз рассказывал посетителям. И самого его заставлял повторять, готовя себе в нем преемника. Только в одном не мог убедить: что головы в спирту блистают красотой. Самому ему и правда они казались красивыми, а внук видел только сморщенные носы, оскаленные зубы и мятый пергамент щек. Такова же была красота головы мальчика, стоявшей в большом зале.

Когда внук попривык, Яков Брюханов открыл ему и еще одну тайну. Если из тѐх двух банок, особливо же из банки девки Гаментовой, тот спирт подливать в водку, а той водкой поить женщин на сносях, то родятся от них младенцы отменной красоты. Про то ведают повивальные бабки, а спирт им отпускает он, Яков Брюханов, взымая за сие по состоянию рожениц. Не будь оного безгрешного дохода, не воспитал бы он детей и внука, так как по службе содержание его самое малое. А насчет спирта просто, спирт все года отпускается на Кунсткамеру по расчетной ведомости для содержания тех голов по ведру на неделю. За три ведра в месяц идут деньги начальству в карман, одно ведро – сторожу за молчанье и на подлинные надобности, и недостатка не бывает. А и случится недостаток – стоит самому прикупить, так как то дело доходно. Можно бы, конечно, отпускать и простой спирт за Гаментову настойку, но Яков Брюханов вел дела по чести и ни-

кого не обманывал: раз в неделю старый спирт в банках заменял новым, либо отличал и подливал понемногу, сообразно потребности.

* * *

Княгиня Дашкова, в своих личных делах великая скареда, чужой плутни не любила; и когда ее назначили президентом академии, вошла во все денежные дела и самолично проверила ведомости. Увидав, что едва ли не шестьдесят лет без перерыва шли казенные деньги на покупку спирта для двух голов, пожелала на те головы взглянуть и о том доложила императрице Катерине Второй. Приказано было доставить банки Монсову и Гаментову во дворец, где на диковинки полюбовались и нашли их не столько прекрасными, как о них говорилось. По этой причине, а также не желая порочить памяти великого Петра, приказала государыня спирт из банок вылить, а головы похоронить в земле без почестей и без всякой огласки, что и было исполнено в том же 1780 году. Головы были зарыты в погребе при Академии наук. Про третью голову неизвестного молодого человека не вспомнили, потому что на нее спирта особо не отпускалось.

Государынин приказ – закон; хорош или плох – судить не приходится. Но и дохода лишиться старому сторожу было не можно. Поэтому Яков Брюханов, поразмысливши, решил, что не будет особого обмана, если многочисленным заказчицам отливать спирта из оставшейся банки, заменяя новым, который приходилось теперь покупать на свои деньги. Зато и цена на чудесную Гаментову настойку теперь поднялась, – а действие ее осталось прежним. Что же касается ученых объяснений музейных диковинок, то старик не видел никакой возможности лишать публику столь интересного рассказа. А как банка осталась всего одна, то неизвестную голову он теперь произвел в голову девки Марьи Гаментовой, а про Монса говорить перестал; для большего же интереса и вероятий всей истории показывал и банку с человеческим зародышем, будто бы это и есть тот плод, за вытравление коего отрублена была голова знаменитой красавицы.

Старик прожил недолго, и на посту сторожа его сменил внук. Померла великая императрица, помер Павел Первый, помер и Александр. Стукнуло восемьдесят лет и сторожу музея при академии Петру Брюханову. Для того и строятся хранилища редкостных вещей, чтобы люди новых поколений

видели то, что завещано их вниманию предками. И хотя за эти годы набралось в бывшей Петровой Кунсткамере немало новых диковинок, но все же изо всех чудес любопытнейшим осталась прекрасно сохранившаяся голова фрейлины Гамильтон, некогда венчавшая стройную фигуру неизвестного юноши. И показывая ее, престарелый сторож, памятуя уроки своего деда, неукоснительно давал объяснения: "Сие есть голова государевой девки Марьи Гаментовой, которая девица жила с царским денщиком Иваном Орловым блудно и была оттого беременна трижды и двух ребенков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила, а за такое ее душегубство приказал царь Петр Великий казнить ее отрублением оной пред вами находящейся в спирту головы". И все ахали и удивлялись, до чего сохранило время за истекший век красоту злодейственной девицы. Когда же рядом с той банкой показывали им и другую, содержащую загубленного ребенка, то редкий человек не задумывался над неизбывной и неодолимой силой человеческой страсти, доводящей человека до ужасного преступления. А женщинам особенно нравилось, что Петр отрубленную голову поцеловал, потому что в наше время такого деликатного и галантного мужчины не встретить даже и среди коронованных особ.

ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ

Три могильных памятника стоят рядышком в Александро-Невской лавре. Надписи на них:

"На сем месте погребена Агафия, Иванова дочь, де Ласкара жена, урожденная Карабузина. Монумент, который нежность моя воздвигнула ее достоинству, источнику и свидетелю наигорчайшей моей печали, приводи на память потомкам нашим причину моих слез, пускай оплакивают купно со мной обитающую здесь добродетельми изящных дней достойную гречанку, приятную разными живо в ней являющимися качествами, скромную, благотворительную и нежную жену, без слабости к прелестям, к талантам, вмещающую в себе и премудрость. О судьба! Вот сколько причин должны были тебя умилостивить! Родилась в 1753 году, февраля 4 числа, преставилась в 1772 году, августа 16 числа".

На втором памятнике:

"В сем месте погребена и вторая его, подполковника де Ласкара, жена, Агафия Ивановна, дочь Городецкая..."

И на третьем:

“На сем месте погребена Елена, де Ласкара третья жена, урожденная Хрисоскулеева. Несчастный муж, я кладу в сию могилу печальные останки любезной жены; ею лишился благополучия своего, приятельницы и всего того, что бремя жизни облегчает. Прохожий! Ты, который причину слез моих зришь, восстони о печальной моей судьбе и знай, что добродетель, таланты, прелести и самая даже юность вотще смерти противоборствуют. Родилась в 1750 году, мая 27 числа, преставилась в 1773 году, апреля 29 числа”.

Редко можно найти человека, которому бы так не везло: за восемь месяцев он потерял трех горячо любимых жен, из которых две первые были Агафиями Ивановнами, а третья Хрисоскулеева!..

Первая Агафья Ивановна значится достойной гречанкой только по мужу, хотя и жившему под именем де Ласкари, но в действительности кефалонскому греку Мартыну Карбури. На родине у Карбури вышли кое-какие уголовные неприятности, в России же в то время процветало всяческое строительство, и духовное, и материальное: люди были нужны.

Переименовавшись, Карбури поступил в Петербурге учителем в пансион француза Карбоне – для талантливого человека должность слишком ничтожная. Но ему удалось познакомиться с Бецким, главным директором канцелярии строений, и войти в полное его доверие. Далее нетрудно было получить чин подполковника и место полицеймейстера в корпусе, а затем и директора корпуса. Именно за время своего директорства де Ласкари ухитрился трижды жениться и трижды овдоветь, что несколько поправило его материальное положение. Относительно яда, которым он будто бы отравлял своих жен, ничего толком не известно. Должность директора корпуса он исправлял три года, но не был в ней утвержден по единодушному протесту офицеров, презиравших его за явное взяточничество и откровенное распутство. Нажив взятками и разными аферами капитал, де Ласкари возвратился в Грецию, стал крупным плантатором и был убит своими рабочими, не выдержавшими жестокого обращения.

Но известен он не этими мелкими подробностями биографии. Его имя прославлено участием в строительстве величайшего памятника ныне отцветшей российской столицы – памятника Петру Великому. Конечно, Фальконет – великий художник; но без Семена Вишнякова, безвестного крестьянина, и без жулика Мартына Карбури Медный Всадник не стоял бы столь величественно и столь прочно и, может быть, не вдохновил бы Пушкина.

Нехорошо, когда забывают имена гениальных людей. Де Ласкари еще немного помнят, Вишнякова давно забыли, а имя кузнеца, идею которого украл де Ласкари, как крал он все, что попадало под руку, так и кануло в вечность.

В восьми верстах от Петербурга, в казенной деревне Лахты, проживал крестьянин Семен Вишняков. В те дни Фальконет искал подножье для конной статуи Петра; художник предполагал составить нужную скалу из шести кусков камня, соединенных крючьями; но и такие куски нелегко было найти поблизости. Прослышав про поиски, Семен Вишняков смекнул, что для великого Петра больше подойдет камень цельный, и такой камень есть, лежит он в болоте и называется "громом", потому что некогда в этот камень ударила молния и произвела в нем большую расселину, в которую с годами набилась земля и в которой теперь растут березки.

Камень осмотрели и нашли его не только подходящим, а как бы нарочно созданным природой в помощь Фальконетову строительству. Длина 44 фута, ширина 22, высота 27; расселина фута полтора. Одно затруднение – вес камня, исчисляемый в 100 тысяч пудов. Как доставить в столицу такую махину? Не было тогда ни подъемных кранов нынешней силы, ни укрощенного пара, ни порабощенного электричества, ни путей сообщения. Притом громов камень сидел в болотистой земле футов на пятнадцать глубины. Передали задачу на решение специалистов, обещав 7 тысяч рублей награды.

Специалисты напрасно ломали головы. Решил задачу простой кузнец, не имевший путей к Бецкому и поведавший свой секрет де Ласкари. Кузнец получил на чай, де Ласкари получил награду и славу изобретателя.

Нет спора: велик и славен труд Фальконета, создавшего коня и всадника без головы; блестяще соучастие девицы Колло, помощницы Фальконета, вылепившей лавроносную голову статуи; не мала заслуга литейщика Хайлова, с опасностью жизни заткнувшего лопнувшую трубу и потушившего пожар при неудачной отливке статуи; молодец и часовой мастер Сандоц, два года полировавший творение Фальконета. Но когда читаешь описание перевозки громова камня из болота на Сенатскую площадь, – все остальное кажется пустяковым делом.

На 14 сажен вокруг окопана земля. Двенадцать воротов и двенадцать рычагов подняли камень на платформу из толстейших бревен, в нижнем ряде которых вделаны медные желоба, а в них вложено тридцать медных шаров. Дорога укрепле-

на сваями и фашинником, и на каждых 50 саженях вбиты столбы из корабельного леса для канатов от четырех воротов, и на каждом вороте сто рабочих. На камне устроена кузница, и сорок восемь каменотесов, стоя на камне, обтесывают, где надо, острые углы и зацепки. На самом верху – сигналисты-барабанщики для отдачи команды рабочим. Так тянули камень до берега пять месяцев. Дальше – погрузка на баржу, которую пришлось сначала затопить до уровня платформы, а потом поднять, выкачав воду. Труднее было выгрузить, потому что под Петербургом вода у берега глубока, барка дна не достает. Пришлось затопить ее на вбитые в шесть рядов сваи и устроить сходни из мачтовых деревьев с решетками, по которым и скатили камень на берег.

Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу Божию из уст Екатерины,
Прешла во град Петров чрез невские пучины
И пала под стопы великого Петра.

Так был блестяще выполнен план безымянного кузнеца, создавший славу двухимянному греческому проходимцу. И была выбита медаль в память этого события, с портретом Екатерины, изображением камня и надписью: “Дерзновению подобно”.

На это величавое подножье въехала статуя работы Фальконета, когда сам художник, обиженный невниманием Екатерины и грубостями Бецкого, уехал во Францию. Она была торжественно открыта уже после того, как де Ласкари, выгнанный со службы, отправился на родину завершать свою скандальную карьеру.

* * *

И был еще маленький человек, связавший свое имя с историей Медного Всадника, обстоятельно изложенной в труде, которым я пользуюсь. Это – старый сельский дьячок Тимофей Краснопевцев из села Чижова.

В селе Чижове родился светлейший князь Потемкин, сын небогатого отставного офицера. Когда Потемкин был только бойким мальчишкой Гришей, его обучал грамоте сельский дьячок, сам малограмотный, но добряк, вероятно, пьяница, как все добрые дьячки, но неплохой певец, о чем свидетельствует и его фамилия. Тимофей Краснопевцев не столько учил

Гришу, сколько забавлял его пением. Учил он его недолго – шестилетним Потемкина отдали в обучение в Москву.

Больше его Краснопевцев и не видал. Гриша стал сначала большим, а потом и огромным человеком, ближайшим к царице вельможей и всесильным фаворитом. Тем временем сельский дьячок постарел, опустился, потерял голос и был уволен на покой. Покой его заключался в том, что ему стало нечего есть.

И вот побрел старик в Санкт-Петербург, где был у него родственник в Измайловском полку, бывший причетник, сданный в солдаты за какую-то провинность. Земляк земляку рад – устроил старого дьячка временно проживать в казарме. Дьячок слыхал, что его бывший воспитанник Гриша вышел в люди, но только тут узнал, что ныне до Потемкина простому человеку и не добраться. Однако приятели-солдаты убедили его написать вельможе письмо, и полковой писарь в том охотно помог: написал с завитушками и в стиле и на бумаге. В письме была просьба о помощи, причем упоминалось, что в свое время Гриша остриг у учителя косичку, и это сошло ему, Грише, безнаказанно, потому что учитель про это дело смолчал, не пожаловался родителям.

Письмо завернуто в тряпочку, тряпочка сунута за пазуху, и только нужно это письмо вручить в светлейшие руки. Пришел старик в Зимний дворец – и едва не попал на съезжую. Его уже потащили, да выручил молодой адъютант Потемкина, пожалевший старика и обещавший ему при случае передать письмо светлейшему в добрую минуту:

– А уж сам ты не ходи сюда, чтобы не вышло какой неприятности.

В казарме солдаты качали головами: "Попало письмо в канцелярию, добра из этого не выйдет, как бы не вышло худа!" И дьячок совсем приуныл, как вдруг однажды прислал Потемкин за стариком ездового с приказом явиться перед ясные очи.

Посадили дьячка в одноколку, привезли во дворец. Блестящая толпа, ленты, звезды, золотые кафтаны. Стоит дьячок ни жив ни мертв. Отворилась дверь, вышел сам в голубом шлафроке, с расстегнутым воротом, в стоптанных туфлях, в руках табакерка и розовый платок: настоящее светлое виденье. Конечно, дьячок – на колени.

– Здорово, старина! Зачем сюда пожаловал?

То ли в голосе что-то знакомое, то ли в чертах лица. И дьячок просветлел:

– Гриша? Да какой же ты стал большой и красавец!

Объяснил, не смущаясь, что вот служил пятьдесят лет дьяч-

ком, да за старостью, глухотой и глупостью теперь выгнан, – так нет ли какого другого подходящего местечка? Может, примут в придворную арапию или хоть в скороходы.

Потемкин подумал.

– Ну, а Петру Первому памятник видал ли?

– Как не видать, памятник отменный.

– Так вот что, старик, сходи посмотри, все ли он стоит на месте, да доложи мне.

Памятник стоял крепко, как стоит и сейчас. Поглядев обстоятельно, старик доложил Потемкину, что все благополучно. За блестящее выполнение поручения светлейшего был назначен Тимофей Краснопевцев первым смотрителем памятника, с жалованьем из доходов светлейшего князя Потемкина, стол, квартира и платье от него же.

Утром раненько, по привычке, вставал и брел на Сенатскую площадь. Петр на коне, рукой указывает вдаль. Громов камень целехонек, стоит крепко, не шатается. Обойдя кругом и все осмотрев внимательно, возвращался старый дьячок, а ныне смотритель, во дворец для доклада. Служба ответственная, но неутомительная, вполне доступная и старику.

На этом посту смотрителя Медного Всадника и умер Тимофей Краснопевцев.

НОСОВЫЕ ХРЯЩИ

В глазах иных – лишь презабавная, на наш же взгляд – печальная и трогательная история, послужившая сюжетом нижеследующего рассказа, произошла около 140 лет тому назад; несомненно, однако, что она и посейчас не утратила своей назидательности. Даже более: именно мы, живущие во Франции и вынужденно говорящие на чужом языке, лучше других поймем и оценим страдания молодого героя рассказа и невольный поступок девушки, избранницы его сердца. Прибавим, что отсутствие в документе, опубликованном в одном журнале прошлого века (интимное письмо), необходимых подробностей заставило нас восстановить игрою собственного воображения сцены и картины ушедшего быта.

* * *

По мере родительских сил и возможностей Петенька был воспитан в добрых нравах, обучен грамоте достаточно, что-

бы написать и письмо, и деловую бумагу и чтобы поддержать легкую и приятную беседу всякого содержания без излишней учености. Из наук он знал историю собирания Руси от Ивана Калиты до просвещенного царствования Екатерины, по математике достиг умножения дробных чисел, мог перечислить важные созвездия в последовательном порядке, знал имена монархов в главных странах и имел представление о величайших горных хребтах. К словесности имел даже большую склонность, наизусть читал оды Державина и наилучшие вирши Михайлы Хераскова и Александра Сумарокова.

Однако, сын богатого рязанского помещика, он, в противоположность молодым людям хорошего общества, до тринадцатилетнего возраста не был обучен французскому языку, исключительно в силу предубеждения его батюшки, который не видел в этом надобности ни для себя, ни для детей, ссылаясь на то, что и без помощи знания этого языка он потерял ногу в сражениях, женился, родил сына, был председателем в Совестном суде и завершил жизненный путь в деревне, уважаемый соседями и любимый крестьянами.

Когда же Высший Судия призвал его батюшку к отчету в делах житейских, матушка же, оплакав невознаградимую утрату, переселилась с сыном в Петербург в 1782 году и взяла в дом французского гувернера, – время, как мы увидим дальше, было упущено: знание языка юноша приобрел, но его носовые хрящи успели ранее того затвердеть настолько, что правильное произношение слов “мон дин-дон” сделалось для него совершенно недоступным.

Чтобы не возвращаться в дальнейшем к вопросу о носовых хрящах, упомянем, что в свое время был приглашен к юноше штаб-лекарь, тщательно юношу осмотревший и вынесший следующий приговор на языке Цицерона:

– Ad rectam linguae Gallicae pronunciationem nasus hujus pueri semper erit inhabilis.

Что значило: “К правильному галлического языка произношению нос сего юноши всегда будет не способен”.

Производство соответствующей случаю операции было по тем временам затруднительно, так как хирургическим искусством заведовали главным образом брадобреи, ловко отворявшие кровь, но в дроблении и размягчении носовых хрящей весьма мало искушенные. Нужно ли прибавлять, что в наше время это было бы сработано в два счета? О Наука, благодетельствующая современное человечество!

Осьмнадцати лет от рождения Петенька был произведен в офицеры гвардии и с эспантоном в руках являлся на караул

во дворец, где не раз удостаивался лицезреть великую Екатерину, мать отечества. Возможно даже, что молодой, богатый и красивый, он мог быть благосклонно подарен взглядом богоподобной Фелицы, впрочем пребывавшей тогда уже в весьма почтенном возрасте.

Изучившим отечественную словесность отлично ведомо, что хотя сатирические журналы и преследовали галломанию беспощадными насмешками, преимущественно бичуя щегольство и мотовство, но без французского языка в высшем свете обходиться было невозможно, русский же был в большом пренебрежении. По этой причине дурное французское произношение не могло не причинять молодому человеку постоянных неприятностей, вызывая насмешки и даже издевательства приятелей. Будучи стол же обидчив, сколь и храбр, Петенька не переносил нахальных оскорблений и даже однажды вызвал обидчика на дуэль, лишив его трех пальцев правой руки и снискав уважение однополчан. Однако постоянная его раздражительность вызвала отчуждение товарищей и привела к тому, что, недолго пробыв в Петербурге, он решил переселиться на жительство и службу в Москву, предполагая первопрестольную столицу более русской и менее требовательной по части правильного развития носовых хрящей.

Увы! – надежды, столь часто нас обманывающие! И кто остановит занесенную руку судьбы, когда она готовит удар нашей чувствительности!

* * *

Прекрасный вторничный бал в Московском Дворянском собрании. Прелестные личики девиц и статные талии молодых щеголей и петиметров. Чье воображение представит себе богатость и пестроту нарядов, предписанных французскими и аглицкими модами, среди которых, по простоте московской, встречаются и смешные остатки старины? И правда, попадаются еще и кокошник с перепелами, и бархатная шапочка корабликом, и чепец-бармотик, и прочие отзвуки обывательской бономи и симилибито. Но все же лучшая публика одета по моде, штатские мужчины – в суконные фраки разных цветов, с длинным лифом и стальными пуговицами, с косынками из лино, батисту или кисеи, в жилетах, шитых по канифасу разными шелками, с прической в три букли на стороне, одна возле другой, и широкий алаверЖет; девицы и дамы в платьях из объерей, двойных тафт и французских ма-

терий, шитых шелками и каменьями, рукава одинакового цвета с юбкой, по корсету пояса, на шеях околки или косынки на вздержке, на груди закладка из флеру, голова причесана буклями, большими и малыми, виски отобраны и подрезаны наравне с ушами, на волосах ленты и перья, у иных целые гирлянды из цветов, по приличию к цвету платья. Да разве все опишешь! Опытный взгляд заметил бы и последнюю новинку: мужские шелковые половинчатые чулки, до половины икры – томного цвета, а от икры до колена – белые; у иных же чулки с только появившейся стрелкой!

Но не опытный, а только жадный взгляд молодого приезжего офицера сразу заметил черноглазую девушку в весьма привлекательной робе по фантазии на манер молочницы и с длинными буклями в розовых лепестках. Она казалась одною из тех, которые

...в простом наряде
Умеют дух пленять,
В приятном, скромном взгляде
Всю прелесть сохранять.

И правда, была юна и прелестна, взор же ее ласкал, хотя мог и обжечь мимо пролетавшего мотылька.

Подойдя к знакомому, Петенька якобы равнодушно осведомился:

– Кто эта черноглазая девушка, танцующая в третьей паре?

– Это Темира, – отвечал знакомый, – прекрасная и любезная девушка, от которой не у тебя одного кружится голова.

– Темира? Значит, она иностранка?

– Ничего не бывало, русская.

И знакомый пояснил ему, что, будучи при святом крещении, в угоду бабке, названа грубым именем Татьяна, она была вынуждена просить, чтобы ее называли Темирой.

Они познакомились – и мотылек опалил крылья. Он убедился, что не противен девушке. В контрдансе они больше говорили глазами, а все нужное он изъяснял ей шепотом, хотя и по-французски, но не выдав прискорбного затвердения своих носовых хрящей.

Она представила его своему отцу, человеку старинного покроя, говорившему только по-русски. В этот первый вечер они много танцевали вместе, и ей было не в чем упрекнуть его, отлично изучившего, каким образом должно в менуэте ставить тело и производить разные положения ногами, как украшать танец шагами "балансе" и "грав", как во время танца

держать руку, отводить плечи в разные стороны и употреблять обороты головы. И когда в этом танце ему приходилось в три меры подавать своей даме обе руки и чувствовать на ладонях нежность ее пальчиков, он видел впереди себя, на всем протяжении жизни предстоявшей, только молодость, счастье и неописуемые наслаждения.

Он стал частым гостем ее семьи и был рад, что разговор всегда шел по-русски, так как беседа наедине не могла быть допустимой. Когда же, почувствовав ее будущий ответ, он сообщил ее отцу о своей надежде вступить в супружество, его предложение было принято, и он сделался счастливым женихом.

Час их соединения был назначен, и невеста устроила девишник. Были танцы, и были игры, и все было прекрасно, пока кто-то не предложил играть в фанты, а именно в остроумную французскую игру "Корбийон".

Играют в нее так: все по очереди выкликают по-французски:

– Je vous vends mon corbillon; qu'y met-on[1].

И нужно ответить на это находчиво и в рифму.

И вот, когда изящная корзиночка попала в руки Темиры и когда она, сверкнув огнем чудных глаз, кинула вопрос жениху, – он, придумав самое сладкое, ответил ей громко, выдав природный недостаток своих носовых хрящей:

– Бон-бон!

Следствием чего явился раскат всеобщего в зале хохота.

Девушка краснеет, опускает глаза, полные слез. Молодежь возвращается к забавам. Темира удаляется в соседнюю комнату. Он спешит за ней, чтобы рассказать ей искренне и откровенно о несчастии, постигшем его носовые хрящи, затвердевшие слишком рано. Но она вырывает свою руку из честной руки любящего юноши с уклончивыми словами:

– Извините меня, несносно болит голова.

Лекарь, доставивший его домой, сообщил ему, что он лишился чувств, очевидно пораженный нездоровьем невесты. Мучительная ночь. Утром он рано одет, чтобы ехать объясниться. Но вот ее письмо.

Кратко и твердо, без лишних слов, она отдает дань его достоинствам и чувствам, но признается, что никогда не могла бы счастливо жить с человеком, обладающим таким недо-

---

[1] – Вам корзиночку продам, если скажете, что там (*фр.*).

статком. "Вы меня разумеете... и мне остается только пожелать вам всякого благополучия".

Душа его была подобна морю, ветром колеблему. Схватив горячку, обычную в те времена любовную болезнь, ныне называющуюся гриппом и происходящую от иных причин, он опомнился только на десятый день. Но, как бывает на море после бури, и в его страждущую душу уже снизошла тишина.

Была весна, он был молод, имел прочную коляску и слуг, – и ничто не помешало ему, выйдя в отставку, уехать в Рязанскую губернию, в деревню отцов, на покой, так быстро залечивающий раны, нанесенные Татьяной, Темирой, – не все ли равно!

* * *

Нам остается прибавить, что в деревне он прожил почти безвыездно двадцать лет. Ушел блеск царствования великой Екатерины, мелькнуло тяжкое и тревожное время Павла, дни Александра Благословенного омрачились нашествием французского чудовища Бонапарта. Миновало и это лихолетье, но он не вернулся в столицы. Одинокий, он бродил с ружьем по болотам, скакал по полям за зайцами, хаживал и на медведей, которым не было дела до качества его носовых хрящей.

Он остался холостым, но подробности его жизни неизвестны. Близость большой реки и обширных лесных пространств, несомненно, облегчала его жизнь, утешая его рыбой и грибами. По произведенным нами исследованиям, он мог всегда иметь к столу блюда того времени, а именно стерляжий присол, схаб белужий паровой, щуку-колотку, рассольного сига и уху из пескарей и ершей с налимьей печенкой. Из блюд грибных в тех краях изготовляли отменно: грибы гретые с луком, капусту матковую с грибами, грибные галушки, грузди с маслом, таковые же с соком и таковые же холодные с хреном. Лучшей же утехой оскорбленного в чувствах человека могли служить утоляющие жажду напитки, как-то: настойка, наливка, травник и в особенности так называемый ерофеич.

В ПОДМОСКОВНОМ

Над барским домом в подмосковном селе Новоспасском ночь – как говорится – распростерла свои крылья. Ничего она не распростерла, а одна мученическая мука с сумасшед-

шим барином Головиным Василием Васильевичем! Дворни у него в доме и пристройках ни много ни мало – триста человек; спят по комнатам, по клетям, по сеням, кухням, каморкам, на лестницах, на лавках, на сеновале, на голой земле под окнами. Дома спать – духота и вонь, все окна и двери не только затворены, а и заболтаны затычками, чеками и закладками, заставлены и приперты широкими досками, железными коваными крючками, висячим замком; а и наруже спать нет сладости, потому что кругом дома всю ночь ходит неусыпный дозор, гремит в доску, бьет в колотушку, трубит в рожок, перекликается по баринову приказу безостановочно – какой уж тут сон!

Хуже всего в комнате, смежной с бариновой спальней: семь кошек и семь девок. Посередине стоит семиногий стол, к ка́ждой ноге на разноцветных лентах привязано по кошке, к каждой кошке приставлено по девке. Утром просто: кошки бродят на свободе, девки каждая бродят за своей кошкой, чтобы и угодить ей вовремя, и доставить на баринов зов, и прибрать тряпочкой кошкин грех. И чтобы ничего без бариного ведома промежду кошками не вышло, не то быть девкам битыми. Работа легкая и среди другой дворни почетная, только смотри в оба. Ночью хуже – и дух от кошек нехорош, и недовольны они привязью, скулят и мяучат и на ласку не поддаются, а как девка заснет и во сне захрапит, – норовит кошка царапнуть ее за горло, думая, что это мышь. Лежат девки на полу вповалку, семиконечной звездой, ногами к окружности, головами внутрь. Блоха их одолевает без всякой жалости, и бедра и грудь расцарапаны в кровь. Все же хуже двум девкам, Дашке с Палашкой, у которых кошки даже и не кошки, а коты, и хотя по баринову строгому приказу одеты в штаны за выключением хвоста, однако те штаны грызут зубами и пластают ногтями ежечасно, желая от них быть навсегда свободными и поступать, как указывает природа, каковое настрого – без баринового ведома и личного присутствия и участия – воспрещено. Догадались было девки, видя отчаянную лютость тех котов, приносить под подолом в комнату кошек свободных и гулящих, которым это все равно, коты же знакомству рады, – но барин, о том проведав, приказал расписать Дашке с Палашкой несказуемые места соленой розгой, чтобы впредь неповадно было.

Нет, барин Василий Васильевич не самодур, барин – сам великий мученик. Днем легче, ночью беда. Сон его посещает редко и только к утру, в последнем утомлении.

В бариновой спальне кровать, ростом в гору, под распис-

ным навесом с гербом, занавесь тяжелая, сверху – парча, с подбою – струящийся шелк. Одних подушек до двадцати, большие – перьевые, малые – лебяжьего пуху. И все напрасно – сна в той постели нет. Василий Васильевич с вечера до зари сидит в креслах, в мягком неподвижном либо в особом кресле, механическом, в котором можно без усилий качаться, как малому ребенку. Чтобы призвать сон, он читает всегда одну и ту же книгу – Квинта Курция "Жизнь Александра Македонского" на иностранном языке, иногда про себя, а чаще вслух, и, чтобы усилие зря не пропало, велит дворовому человеку Яшке стоять против кресла на виду, и слушать, и не моргать, и стоя не спать, а следить, не пролетит ли мимо барского носа черт под видом мухи, и того черта тотчас же поймать и казнить.

У помещика Головина сон плохой с молодых лет, примерно с той поры, как свел с ним счет проклятый временщик Бирон, вздернув его на дыбу в застенке. Тогда были у Головина выворочены руки и растянуты ножные сухие жилы, а может быть, повредилось что и в голове. Сейчас он уже стар, но к смерти по-прежнему не готов, смерти страшится и не хочет, а пуще всего боится нечистой силы, которая всюду сторожит его по ночам. Оставив книгу, он качается в кресле, сжав руками седые височки и оттопырив уши, чтобы услышать каждый нежданный шорох и чтобы успеть вовремя заклясть приближающегося духа. Только одного духа закрестит, как подбирается к креслу другой, никому не видим, и почнет колоть барина в бок, под сердце или же щекотать пятку, а то мурашкой бегать по спине. И тогда нужно не медля качаться с ровными причитаниями, то понижая, то повышая голос и не останавливаясь, пока все причитание не скажешь до конца:

"Заговариваю я себе, рабу Василью сыну Васильеву, колотья и болести и вражий подступ сим моим крепким заговором: и заповедаю вам, колотье и болести, таскаться по миру от востока до запада, от озера до болота, от горы до дола, от моря до моря, от избы до терема, от леса до перелесья, от стара до мала человека, от зверя до гада, от города до пригородов, от села до погоста, от деревни до стана, от звезды до месяца; а к востоку до запада не доходить, а в озере со болотом утонуть, а с дола на гору не влезть, от моря до моря не перебродить и в лесу с перелесьем зацепиться..." – и еще много всяческих крепких заклинаний, и все наизусть, без ошибки, без пропуска, ровной скороговоркой, пока хитрый черт с колотьями и болестями не устанет ждать и не провалится в щель.

Иногда удается старику сразу справиться с нечистиком и даже, перейдя с кресел на постель, заснуть мирно. Но чаще бывает, что нечистик перехитрит старика, отойти-то отойдет, а сам обратится в пыль и притаится. Тогда барин, созвав в помощь себе и лакею Яшке еще пяток дворовых поразумнее, делает обход спальни и соседних комнат. Сам идет впереди с колотушкой и с гусиным крылом: чего не спугнет колотушка, то обнаружит гусиное крыло, которым он обметает на пути столы, лавки, стулья, половицы. И если где заметит подозрительную пыль, – а пыли и грязи во всем доме довольно, – то эту пыль самолично подбирает крылом на подставленный скребочек и сыплет на легкую жаровню, которую позади всех несет дежурная девка. Другие же в этом месте курят ладаном и кропят святой водой. Обойдя комнаты, вернутся к спальной, в которую сам барин и Яшка войдут скоренько и бочком, дверь за собой прихлопнув, а люди пущай теперь идут досыпать недоспанное.

Так великим мучеником проводил свои ночи богатейший помещик Головин Василий Васильевич.

* * *

Обедал барин с трех часов до семи. При всех болестях покушать любил и для каждого любимого блюда имел особого повара. Блюд же обычно подавалось семь, а в торжественные дни до сорока.

Начинался обед почти сейчас же после завтрака, так что не всегда барин и из-за стола выходил. Чтобы хорошо закусить, ему было достаточно усердной работы двух-трех десятков дворовых людей, не считая занятых на дворах скотьем и птичьем, охотников, мясников, хлебников и мальчиков-поварят. Один докладывал, двое слуг подводили барина под руки к столу, двое стояли за стулом с зелеными ветками, двое у дверей для бариновых распоряжений. Каждое блюдо приносил особый повар, который за него нес и ответственность: ставил на стол, уносил крышку. Когда выходил повар, являлись двенадцать официантов в кармазинного сукна красных кафтанах с напудренными париками и длинными белыми косынками на шее. Один резал, другой держал тарелку, третий накладывал, четвертый поливал, пятый подавал, шестой повязывал барину салфетку, седьмой по хлебной, восьмой по винной части, девятый при соли, десятому барин плескал в морду горячими щами, еще один бежал за провинившимся пова-

ром, еще другой того повара тут же бил по шее, чтобы барским ручкам не утруждаться, – всех дел не пересчитаешь, у каждого своя обязанность. Сам барин только жевал, глотал и переваривал – и то утомлялся. Слуг по именам не помня и не зная, приказанья отдавал старшему мажордому. После обеда пил чай или шоколад, но в другой комнате, для чего и штат прислуги был другой: вперед всех входил слуга с большим медным чайником горячей воды, за ним другой нес железную жаровню с горячими угольями, за ним третий – с веником, насаженным на длинной палке, чтобы обмахивать золу и пыль. В чашку наливали, барину подавали, сахар клали, сахар мешали, зуботычину получали – вместе с тремя прежними всего только десять душ, да двое за стулом, да двое у двери, да тот же самый для всех приказаний дворецкий человек.

Но несравненно больше рабов требовалось, когда барин с барыней, а то и с дочками, отправлялся зимой на Москву в двадцати экипажах на семидесяти лошадях.

Впереди везли в особой золоченой карете на полозьях чудотворную икону Владимирской Божьей матери с фонарем, крестами и попом. За нею барин и барыня в шестиместных фаэтонах, запряженных цугом в восемь лошадей каждый. Дочки всякая в особой четырехместной карете о шесть лошадей. Дальше в бричках и кибитках барские барыни и сенные девушки да разная челядь, раньше вперед не отправленная. При барыне безотлучно два карлика, особо уродливых, да красивый кавказский настоящий черкес. Само собой, гайдуки и скороходы, а для охраны барского поезда – двадцать верховых егерей в одеждах богатых и затейливых.

И все это – не столько для роскоши, сколь по необходимости, для удобства. Вдруг понадобятся барину или барыне в дороге дурак или дура, а то арап, калмычка, башкир, – где их взять, если не возить с собой? Были те времена у порядочных людей потребности широкие и разнообразные, не то что в наше время: в кармане – газета, в чемодане – зубная щетка, а дома в лучшем случае фам-де-менаж, а то и сам себе башмаки чистит!

От села Новоспасского до Москвы, по-нашему – рукой подать, а прежде считалось не близко. Едва отъехали версты три – всему поезду остановка, верховой скачет от кибитки к кибитке, босая девка лупит прямо по снегу, другая поспешает за ней: случилось барыне чихнуть, а носа утереть нечем. Чистые платки у Машки, держанный у Акульки, обе бегут барыне на помощь и, пока барыня утирается и снова чихает, стоят голыми ногами в снегу по колено, потому что валенок на ко-

роткую дорогу выдавать не приказано, а ноги греют в сене и в тряпках. Отъехали дальше полверсты – новая тревога – середней дочери нужно до ветру, а чтобы из кареты в сугроб не вылезать, требуется помощь трех сенных девушек с прибором. Так и едут с задержками и заминками, почти от утренней зари до вечера, а зимой в поле не заночуешь. С господами сложно, которые же люди, те могут делать все на ходу, а полудничать и ужинать завтра.

В московском господском доме все готово к приему: комнаты натоплены до угару, конюшни очищены, сараи для карет отворены, погреба набиты задолго. Здесь нет деревенского раздолья, жить потеснее, и даже дворовых будет при господах всего-навсего пятьдесят душ с кучерами. Семиногий стол привезен, прибыли и бариновы кошки благополучно, но теперь не на каждую кошку по девке, а на все семь – всего три. Как углядеть за всеми, как уследить за котовыми штанами – ума не приложишь! Сколько забот, сколько хлопот, сколько впереди провинностей и розог!

* * *

Какая жизнь далекая, кошмарная сказочка, забытый быт! И действительно: нынешний раб не так заметен, под ногами не путается, не всегда и хозяина видит.

По этому прошлому никто уже слез не льет: льют по барству недавнему. Но и недавнее – не покажется ли нашим внукам кошмаром, а правнукам – оскорбительной сказкой?

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ

Кончился поистине трудовой день Александра Васильевича Храповицкого, того самого, фамилией коего и поныне обозначается прекраснейший момент человеческой жизни – “задать храповицкого”! Но прежде чем отдаться благодетельному сну, Александр Васильевич, всегда аккуратный и обстоятельный, привел в образцовый порядок и дела, и мысли. На столе стопочкой собрал листы рукописи “Карантинное положение”, в ящик стола положил только что составленный четвертый акт оперы “Иван Царевич” с высочайшими пометками, из того же ящика вынул толстую тетрадочку, переплетенную в сафьян, раскрыл на початой странице, написал дату дня и, недолго подумавши, кратко перевел из памяти на бума-

гу приметную за сей день беседу, не забыв выделить вносными знаками собственные ее величества слова:

"Говорено о жаре и что я много потею. Надобно для облегчения употреблять холодную ванну; но с годами сие пройдет, я сама сперва много потела".

Но не только этим неприятным свойством натуры, но и примерным трудолюбием Александр Васильевич был похож на державную повелительницу, при которой состоял статс-секретарем по принятию челобитен. Челобитные в действительности отнимали времени не так много, как всякие иные поручения, главным образом по литературной части. Приходилось то переписывать сочиненную государыней пьесу, то сочинять для нее куплеты или же приписывать арии и хоры белыми стихами. Иногда по собственному побуждению, и, однако, для преподнесения высокой сочинительнице, составлял сборник русских проверб, или же словарь рифм, а то долгими вечерами корпел над "Уставом о соли" и над "Карантинным положением", едва успевая попутно придумывать и забавные сказки, которые и читал государыне, когда она желала развлечься после трудов государственного управления. Сказки Екатерина очень любила и не раз высказывала, что они надобны для разбития мыслей и суть такого рода, что при чтении не требуют внимания, ибо она много читала таких книг, кои мысли занимают.

Не всякая работа была приятна. Случалось, что изволили посылать с поручениями по городу, и притом с великой спешкой, что при основательной комплекции Александра Васильевича было нелегко. Поручения же самые разнообразные, заключавшиеся не только в посещении лиц и передаче им распоряжений ее величества, но, например, и в приобретении для господина Циммермана, живущего в Ганновере, собольей шапки или же в нахождении наилучшего в Петербурге чаю и кофею. И хотя от подобной беготни Александр Васильевич с тела не спадал, а скорее наоборот, все же понятно, что ему приходилось советоваться с медиками по случаю неистового потения. Шутили ее величество, что человека столь неумеренной потливости видят в первый раз, хотя в жаркий день и сами ему уподобляются, но не в такой степени.

И то сказать – труды статс-секретаря императрица ценила, называя его в шутку "суфр-дулером" и при многих случаях одаривая то золотой с бриллиантами табакеркой, то чином, то подарком денежным.

К завтрашнему докладу Александр Васильевич приготовил, кроме четвертого акта "Ивана Царевича", также и на днях

законченный и переписанный набело перевод нового сочинения императрицы, направленного против мартинистов: “Тайна противонелепого общества, открытая непричастным оному”. Про высокое авторство приказано молчать. Переводил статс-секретарь с некоторым стеснением совести, так как сам имел прикосновенность к ложе Александра Ильича Бибикова, и, однако, пришлось заботливо подыскивать соответствующие тексту забавные выражения и заготовить рисуночки: пучок розог, разинутый рот и другие. На случай, ежели императрица о таковой его принадлежности к тайному обществу проведает и выразит неодобрение, – оправданием послужит добросовестное использование настоящей работы.

По позднему вечернему времени вызова в Зимний дворец ожидать как будто уже не приходится, хотя случаи бывали. И потому, весь порядок завершив, Александр Васильевич снял не только парик, из-под которого капли стекали по шее вдоль косы на спину, но и камзол с цветным отворотом, с особым же блаженством размотал шейный платок и отцепил ниспадавшее кудрявое кружево. Части туалета, стеснявшие окружность под ребрами, были ослаблены ранее, как и всегда при усердном писании.

И затем Александр Васильевич предался преступной и тайной своей слабости, велел слуге принести горячей воды и две бутылки душистого французского вина. Мало кому было известно, что статс-секретарь императрицы изрядно выпивает. Никто, даже из людей близких, не видал его пьяным. На званых обедах воздерживался, да вообще днем не брал в рот лишней капли, боясь увлечься и потерять достойный образ. И только поздними вечерами, в неделю раза два, когда срочной работы не было, позволял себе в одиночку отплывать к берегам фантазии и свершать Бахусову мессу, а попросту говоря – напиваться до состояния безответственности и райских грез. Делал это без особой спешки, со вкусом, и, однако, часа через полтора от первого глотка без зова приходил старый слуга, с натугой брал его превосходительство со спины под мышки и, слегка подталкивая коленом в задок, препровождал в спальню, раздевал и укладывал в постель. По счастливым качествам здоровья, наутро Александр Васильевич просыпался свеженьким, лишь со слегка опухшими глазками приветливого и доброго лица. И то сказать – статс-секретарю было всего за сорок лет, а молодость вынослива.

На этот раз дрема пришла на половине третьей бутылки, напрасно начатой сверх обычной порции. Уложенный в постель, Александр Васильевич некоторое время мычал и ше-

велил ножкой, требуя еще стакан, но вскоре откатился от действительной жизни в одну из сказочных стран. Было это часу во втором ночи.

Выше было сказано, что о слабости Александра Васильевича никто не знал. Это не совсем точно, так как раза два, ради завязания более близкой дружбы, он столь же приятно провел поздний вечерок в компании приглашенного им Захара Зотова, любимого камердинера Екатерины. Пили поровну, но Зотов выдержал лучше, а хозяин гостю поведал с откровенностью, что французские вина он предпочитает отечественным и потребляет немало. От Зотова о том узнала Марья Саввишна Перекусихина, также приятельница статс-секретаря, а у Марьи Саввишны не было секретов от Екатерины, точно так же, как не было и не могло быть никаких секретов, даже самых интимных, у императрицы от Марьи Саввишны, которая именно по делам личным и секретнейшим при ней и состояла.

И в этот именно раз случилось, что богоподобной Фелице пришло в голову испытать секретаря и потребовать его во дворец на ночь глядя. Прискакал нарочный: приказано явиться немедленно по неотложному делу. С большим трудом слуга все-таки умудрился растолкать его превосходительство и передать ему приказ. И хотя удалось Александру Васильевичу спустить с кровати волосатые ноги, но на дальнейшее он не оказывался способным. Сам, чувствуя свою несостоятельность, догадался послать за коновалом, жившим рядом, каковой коновал и пустил ему кровь. Кто же не знает, что люди полные очень чувствительны к такому лечению? Через час – не более – Александр Васильевич, в парике с завитками у висков и в превосходном кружеве на груди, стоял перед ее величеством, как ни в чем не бывало, держа за щекой отбивающую винный дух травку.

Так все благополучно и сошло. Что же до самого дела, то ее величество, весьма хитро посмотрев на секретаря, изволила сказать ему:

– Прости, что послала за тобой ночью. А я сейчас читала из Плутарха жизнь Кориолана и заметила, что при богослужебных обрядах римлян провозвестники кричали: "Хок аге!", то есть "Вонми!", и что у них были свои оглашенные. До того это меня удивило, что послала за тобой, чтобы скорее тебе рассказать. Ты – человек образованный и сочинитель и уж наверное оценишь.

Александр Васильевич, конечно, оценил. И еще больше оценил милостивый подарок за беспокойство: преизящную

табакерку стоимостью тысяч на пять рублей. Сверх того был удостоен высочайшей ручки, а наутро, явившись к волосочесанию, был спрошен:

– Ну как, здоров ли?

– Слава Богу!

– Перестал ли потеть?

– Три дня уж не потею.

Каковой разговор тем же вечером занесен Александром Васильевичем в его дневник, озаглавленный "Памятные записки".

* * *

За десять лет секретарства только раз сплоховал Храповицкий, правда, в угоду слишком уж влиятельному человеку, графу Безбородко.

Вместе с Соймоновым Александр Васильевич управлял Эрмитажным театром, где тогда играла замечательная актриса Уранова, а также был славен и актер Сандунов. Уранова и Сандунов любили друг друга и мечтали пожениться. Но в те времена актеры были кабальными и содержались в строгости. За Урановой ухаживал Безбородко, с какими намерениями – понятно. Этого было достаточно, чтобы директора препятствовали браку двух любимцев публики, и никакого выхода для влюбленных не было, – хоть кончай с собой.

Ставили в Эрмитажном театре оперу "Федул с детьми", сочиненную плодовитейшим автором – самой Екатериной, не без сотрудничества, конечно, и Храповицкого, так как в русском языке сочинительница была несильна. И как хороша была в своей роли Лиза! Еще никогда не был так чист и прекрасен ее голос, и сколько в нем было страсти, и как сама актриса была молода и красива! Зрители восторженно рукоплескали, а Екатерина, в знак одобрения и поощрения, все время кивала Лизе головой. Граф Безбородко, сидя в креслах, впивался в Лизу глазами, а в перерывах бегал за кулисы и топтался около ее уборной.

Как автор, Екатерина хорошо знала свою пьесу и, когда Уранова пропела свою последнюю арию, бросила ей свой букет цветов при общем восторге публики. Артистка схватила букет, поцеловала его – и добавила к пьесе сцену, которой автор не заготовил. Она бросилась на колени, воздела руки к Екатерине и тем же своим ясным и певучим голосом, но с надрывом и тоской, закричала:

– Матушка царица! Спаси меня!

Во всех подобных исторических анекдотах у просителей бывают заготовлены за пазухой челобитные. На этот раз челобитную, минуя назначенного для этого статс-секретаря, Екатерина приняла лично из рук Урановой. Там было рассказано все: и домогательства графа, и препятствия счастью любящих сердец со стороны директоров театра.

В ту ночь, вернувшись из театра, Храповицкий спросил себе бутылку раньше, чем снял парик со щекотавшей шею косичкой. И вообще чувствовал себя неприятно. Утром к волосочесанию позван не был, а к вечеру не был больше директором театра: его и Соймонова на этом посту сменил Юсупов. Уранову с Сандуновым приказано повенчать и перевести обоих в театр московский, подальше от старого сатира. И опять пришлось прибегнуть к французскому напитку с горячей водой.

Но был он слишком нужен Екатерине, чтобы она лишила его благоволения. С новым усердием писал ей куплеты, выслушивая ее глубокомыслия, шептался с Марьей Саввишной и водил компанию с Зотовым. Вопреки пророчеству высокой покровительницы, с годами потеть не перестал, – а, впрочем, умер не старым, почтенный чинами и лентами от Павла и Александра, которым, однако, уже не был нужен человек, столь незаменимый в Екатеринино царствование.

ПАРНАС ПОМЕЩИКА СТРУЙСКОГО

Читатель приглашается в гости к помещику Николаю Еремеевичу Струйскому в село Рузаевку Инсарского уезда Пензенской губернии. Форма одежды – екатерининский камзол.

* * *

Именье не малое: из центра кругом верст на тридцать, с населением в тысячу душ. Самое село Рузаевка окружено крепостным валом – неизвестно от каких врагов. В селе три церкви, из них две построены последним барином, Николаем Еремеевичем, поэтом и вольтерьянцем. Эти церкви расписаны итальянскими художниками, и нельзя сказать, чтобы бабы охотно молились безбородым святым и веселым мадоннам.

Барский дом – сама красота. Комнат в нем несчетно, потому что и семья Струйского не малочисленна: жена и во-

семнадцать человек детей. Всего роскошнее зала в два света, с мраморными стенами, с расписным плафоном работы крепостного живописца. И еще примечательны две комнаты: одна – хозяйский кабинет в верхнем этаже и называется “Парнас”, другая – в этаже подвальном, таинственная и мрачная.

Хозяин – человек дородный, важный и приветливый, с бритым лицом екатерининского вельможи, но не из крупных: околачивался в Санкт-Петербурге, допускался к ручке, потом был губернатором во Владимире и выказал себя самодуром, но безвредным; теперь – на покое, если можно назвать покоем его кипучую деятельность. Примечательнее всего одежда хозяина: при фраке парчовый камзол, подпоясанный розовым шелковым кушаком, чулки белые, туфли с бантиками, к парику привязана длинная прусская коса.

Первое, что оценит посетитель, – культ великой Екатерины: ее портреты, ее бюсты, ею подписанный пергамент в роскошной раме. Это она изображена в виде Минервы на расписном потолке. Минерва восседает на облаке, попирая ногами крючкодейство и взяточничество, которых сразу можно признать по эмблемам лихоимства: сахарные головы, мешки с деньгами, бараны. Их поражает стрелами двуглавый орел, парящий над головою Минервы. Окружают богиню гении и атрибуты поэзии.

Славу императрицы делит Вольтер, бюстом которого украшен хозяйский кабинет. Творения Вольтера не заперты в книжный шкаф: они всегда под рукой у хозяина. Тут и полное собрание большого формата в зеленых переплетах, и отдельные томики в коже, и переводы в прозе и стихах. Есть, конечно, и майковский перевод “Меропы, Трагедии господина Вольтера”:

Царица, истреби мечтания ужасны,
Вкушай приятности надежды в дни прекрасны...

Но почетнейшее место в библиотеке Николая Еремеевича занимают все-таки его собственные труды: до двадцати книг, им написанных и им же изданных, большинство – в собственной типографии, в собственном селе Рузаевке, безо всяких цензур и одобрений, не для продажи – для личного употребления и преподношений.

Иные заводили конюшни, другие – псовую охоту, третьи – винокуренный завод. Было всего этого понемногу и у поме-

щика Струйского, но великую славу и бессмертие создала ему типография, отменная и превосходная, на которую он тратил большую часть доходов. На него работали известные граверы и художники Набхольц и Шенберг. Его книги печатались не только на александрийской бумаге, но и на белом атласе. Подносились императрице, некоторым высоким особам, личным друзьям автора и всем членам семьи – каждому по экземпляру каждого произведения, с обязательством непрестанно читать и изучать. И случалось, что, вызвав одного из сыновей, Николай Еремеевич задавал ему вопрос:

– Какой стих находится на такой-то странице, на такой-то строке в такой-то книге?

И сын должен был отвечать не задумываясь и с полной точностью, чтобы доказать, что с папашиными книгами не разлучается и их старательно изучает.

Творил Струйский исключительно на Парнасе, куда никто не допускался, даже для уборки. Был на Парнасе поэтический беспорядок, валялись рукописи, корректурные листы, оттиски гравюр, и лежала многолетняя пыль, которую хозяин называл своим стражем: "По ней вижу тотчас, был ли кто-нибудь у меня и что он трогал". И когда хозяин удалялся на Парнас – жизнь замирала не только в доме, но и во всей округе, потому что за помеху вдохновению ожидала виновного жестокая расправа. Лишь в крайних случаях допускался староста, но не на Парнас, а к его подножию, к нижним ступеням лестницы, где и выслушивал краткие приказы барина с высоты Парнаса. Было на Парнасе немало оружия – на случай злонамеренных покушений на свободу поэта. И родные подтверждали, что Николай Еремеевич иногда остается на Парнасе по два дня без пищи и питья, не покладая пера, отдавшись высокому творчеству.

Отличительным качеством поэтического дарования Струйского была независимость от грамматики и здравого смысла. Музы заводили его в лабиринты слов и фраз, куда за ним невозможно следовать и откуда он не всегда благополучно выбирался. Он был поклонником Сумарокова, которого считал едва ли не гениальнее самого себя и которому подражал в торжественности и напыщенности стиля. Сумарокову он посвятил свою первую книгу – "Апологию к потомству", напечатав ее и в собственном французском переводе, столь же безграмотном. А когда один критик посмеялся над "Апологией", разгневанный Струйский пригвоздил своего врага новой книгой, под заглавием "Для Ховрика ни проза ни стихи". И тут были строки:

Всем нравится моя Апология.
Ховрику не нравится моя Апология,
Ховрик вмещает в себе всех гадов!
Которых Апология моя омержает;
И когда Ховрика она уже усекнула,
Усекнет и прочих гадов!

В книге отличный виньет с изображением гадов и крыс, сидящих в большом числе на болоте. Так расправлялся Николай Струйский с критиками.

Он писал Епистолы, Елегии, Епиталамы, Оды, Еротонды, письма, критические статьи и кончил изданием "Акафиста Покрову Пресвятой Владычицы". Он описал в стихах потолок своей залы для поднесения императрице, приветствуя ее словами:

Милостивая Циана,
Мать правосудия,
Кроткая и щедрая Богиня
Наперсница небес!
Хоть я Тебя не именую,
Но знают все Тебя, кто Ты.
И кто Ты есмь:
Мой дух Тебя всех больше знает!

Но ему была свойственна и элегическая грусть:

Взойду на брег реки и уду опущу;
На солнце прогляну и паче загрущу!

И, скорбя о смерти друга, он "шествовал за ним в мрачное поле и ту разверстую хлябь, где тени и ничто", – строка, какой мог бы гордиться и современный поэт.

Наконец, он не чуждался и политики, и в книге "О Париже" заклеймил разом бунтарей и масонов-мартинистов:

Что делают в тебе Мартышки Каглиостры?
Поставили во грудь тебе кинжалы остры!
Лютейша Кромвеля и Гизов воскреся.

И вот этот поэт – вольтерьянец и служитель культа Екатерины – сидит в кругу родных и друзей. Как всякий поэт, он немного деспот. После очень сытного обеда гости не прочь отдохнуть, но хозяин приготовил для них лучшее развлечение. Из кабинета он приносит сверток стихов, прекрасно переписанных крепостным писцом или оттиснутых на листах белоснежной бумаги. Читает он без устали и с увлечением.

Никому и в голову не придет задремать, потому что у хозяина есть привычка: во время чтения щипать не только невнимательных, но и тех, чьи лица выражают неподдельный восторг. Щипками он как бы подчеркивает сильные места, особенно в стихах сатирических. К щипкам его привыкли и жена и гости: у каждого гения свои странности.

Не одним этим славен хозяин Рузаевки. В пензенской глуши он – единственный настоящий европеец, читающий Вольтера с пониманием. Он – враг беззакония и произвола. Он мог бы, подобно другим, бить своих крестьян кулачным боем без суда и следствия. Но, просвещенный юрист в душе, он держится строгих форм судопроизводства: "Лучше десять оправдать виновных, чем одного невинного казнить".

В подвальном этаже его дома есть комната, куда приводят обвиняемых. В первой степени судопроизводства, не вполне согласно новым веяниям в области правосудия, допускаются пытки. Но при пытках хозяин присутствует редко – они не любезны его поэтической натуре. Когда же виновность установлена допросом с пристрастием, – лишь тогда начинается настоящее служение Фемиде. Он сам пишет обвинительный акт, сам оглашает его в публичном заседании, в большом зале, в присутствии семьи и гостей. Иногда он выступает прокурором, произнося обвинительную речь, – и это плохо для подсудимого. Но нередко он берет на себя защиту, – и благо тому крепостному, адвокатом которого выступает сам барин Николай Еремеевич!

В сильной речи, прекрасно построенной, порою переходящей в стихотворную форму, он низвергает обвинение и превращает обвиняемого в белую голубицу. Его речь пестрит выдержками из творений Вольтера и императрицы, словами о высоком милосердии, призывами охранять человеческое достоинство и знатного и подлого человека. По его ланитам текут искренние слезы, сквозь которые он видит на потолке светлый образ Минервы. В пензенской глуши раздаются призывы, делавшие честь Франции вплоть до дней революции и до тех же дней находившие живой отклик в творениях милостивой Цианы. Порок наказан – добродетель торжествует.

Но столь еще велика была тьма в ту славную эпоху, что крестьянин предпочитал быть высеченным розгами наверняка, чем ожидать, захочет ли барин быть его прокурором или защитником. Особенно же боялись мрачной подвальной комнаты, где были и плетки, и щипцы, и жаровня, и хитро устроенная дыба – дань прошлому, еще не стертому высокими идеями нового правосудия.

В одном Струйский был, несомненно, искренен: в своем поклонении Екатерине, "всепресветлейшей Героине", матери отечества и богоподобной царице. Он не был изыскан ее

милостями – во всяком случае, не больше других рядовых дворян. Он "пел" ее не за страх, а за совесть, с той же искренностью, как пел Вольтера и Сумарокова и как обливал негодованием Княжнина, "трагика, рыгающего в Бога", за его трагедию "Вадим".

И силу своей любви к Екатерине он доказал не только словами. Когда "бессмертная Богиня и наперсница небес" скончалась самым благополучным образом, – Струйский был поражен в самое сердце. У него не нашлось слов для торжественной и печальной оды: получив известие об ее кончине, Струйский заболел горячкой и лишился языка. Его типография стояла без работы, в подвальной комнате не раздавались стоны, в парадном зале не собиралась публика на праздник правосудия. Попрятались Музы, поник головой мраморный Вольтер, пылью покрылись белые атласные и глазетовые переплеты, и вся Рузаевка обратилась в "мрачное поле и хлябь разверстую, где тени и ничто".

Певец и верноподданный не оправился: он умер, не сказав больше ни слова, не написав ни строчки, промучившись недолго. Создав себе нерукотворный памятник книгами, не их содержанием, а их редкостной пышностью, он остался только в памяти книголюбов. Две-три заметки о нем и его типографии найдутся в старых журналах; вскользь упомянул его имя Ключевский, говоря о "цивилизованном варварстве". И даже не всякий историк литературы знает, что был во дни Екатерины поэт, тем знаменитый, что считался "бездарнее Тредиаковского".

НАСТИНЬКИНА МАЕТА

Для молодой барыни со щипаной бровью и красными поганочками на ногтях – всякого романа занятнее должен быть модный журнал. Ну, а мы, козлиная порода, смотрим – не понимаем, в чем интерес: облизанные полудевы в изгибе, точно если стекольщик скатал промежду ладоней замазку, на головах шляпки-бляшки, на дощатом животе пуговица, прочие принадлежности срезаны перочинным ножиком, и материи на копейку. Смотреть нечего: то ли бальное, то ли постельная рубашка!

Ах, не так рядились в старину! Погасла радуга и увял сад цветущий! Было раздолье для выдумки, и праздничная толпа, что на бале, что на улице, играла огнями красок и радовала прихотливый глаз. Даже и на нашей памяти были, напри-

мер, шляпки, подобные осеннему возу зрелых овощей и фруктов или заморскому попугайному курятнику. А плечи с буфами-фуфырами, а истово подбитый подушками круп, столь прекрасно тончивший талию, а стоверстый шлейф, собиратель блох и окурков, а высокий корсет, стальная чаша для живого мрамора! Какие мамы и какие девушки, и сколько было на них шкурок и таинственной шелухи: не нынешний вылущенный боб, а подлинный артишок, отрада гастронома!

Но если по-серьезному говорить об искусстве наряда, то нужно отдалиться ко временам мудрой императрицы Екатерины Великой, матери отечества, когда и мужчина недалеко отставал от женщины, соперничая яркостью камзола с дамской робой. От тех времен остались нам в поучение и модные журналы, и записи благодарных воспоминаний.

* * *

Графинюшка Настинька вышла в невесты. Лет ей шестнадцать, глаза лучисты, личико худовато от частых балов да от Клуба и Воксала, костяк хрупкой, но юность говорит за себя, а приданое – две тысячи душ и столько сундуков, сколько наберется добра до свадьбы. Этим делом она сейчас и занята, под руководством тетеньки Параскевы Михайловны, женщины и основательной, и бывалой, видавшей и Париж, и Версаль, сподобившейся причесываться у великого придворного версальского волосочеса Леонара. Граф-батюшка отвалил достойной сестре на расходы по покупке дочери приданого такую кучу денег, что только Параскева Михайловна и способна глазом не моргнув истратить все и еще попросить. Теперь все московские модистки завалены работой, и жизнь Настиньки стала трудовой и беспокойной: с утра до вечера покупки, примерки, заботы, огорчения, некогда и с женихом повидаться.

Вставать приходится рано, в десятом часу, и с утра одеваться хоть и просто, а по-модному, потому что у больших модисток встречается целое общество щеголих, бывают и мужчины, а в Гостином ряду настоящее гулянье. Дома причесывает простая босая девка Глашка, и перечесываться приходится в заведении у Бергуана, который по утрам на дом не приходит, а торгует помадой для плешивых, нитяными париками, салом и пудрой, накладками для дамских головок, гулявной водой, амбровыми яблоками, лоделаваном, лодеколоном и всякими притираньями и румянами: кошенилью, огуречным

молоком, отваром усопа, зорной и мятной водой. Есть у него и пудермантели, и щипцы, и ложные букли, и расписные веера, и презабавные мушки, от мелкой в соринку – до большой, в монету, а вырезные – лисичкой, петушком, жучком, даже каретой цугом и с гайдуками, чтобы налеплять их на щечку (согласна!), под носом (разлука!), у правого глаза (тиран!), на подбородок (люблю, да не вижу!). Много всяких значений – и все их знает модный волосочес.

Чтобы ехать к нему, Настинька, в сопровождении пожилой мамки, сначала заезжает за тетенькой, а дальше уже в ее карете. Приходится думать о том, чтобы не замарать в великой московской грязи красный каблучок башмаков; для этого с крыльца на дощатый тротуар и до самой каретной подножки девка Глашка настилает половик, а Дунька смотрит, подобрана ли роба, не волочится ли хвост. Батюшкина карета проста, без золота и без форейторов; у тетеньки выезд расписной, на дверцах изображены пасторали, стекла граненые, ободки с золотом, позади гайдук на высоком сиденье, впереди едет выносной с ременным кнутом.

Когда едешь с тетенькой Параскевой Михайловной, особенно на бал, люди смотрят с удивлением и завистью. Тетенька сидит неподвижно, нагнувшись, чтобы не смять о крышу свою высокую прическу в виде висячего сада а ля Семирамид. Тетенька любит вышитые робы с глазетовой юбкой и русскими рукавчиками позади, а фижмы так велики, что и Настиньку прикрывают и высовываются в отверстое каретное окно. С фижмами в карете вдвоем, конечно, не уместиться, но Настинькино девичье платье всегда проще: летом – сюртучок из тарлатана, зимой к нему – бархатная шуба с золотыми петлицами и ангорской муфтой длинной шерсти. Причесываться в последнее время ей как молодой тетенька указала с пострижкой шейного волоса, как для гильотины, – очень модно и заведено французскими беглыми аристократами.

Лошади месят грязь через пол-Москвы, и только к полудню удается добраться до знаменитой модистки мамзель Виль, которая, как завидит богатых заказчиц, – бросает всех и пренесносно лебезит. И вот тут поистине разбегаются глаза и разум темнеет. Время такое, что от тяжелых роб стали переходить к платьям легким и воздушным. Конечно, женщина в годах, как тетенька, хоть и великая модница, не оденется Дианой, Галатеей или весталкой, но все же и ей наскучили польские и немецкие фалбалы и палатины, и она завела себе, на случаи менее парадные, де-буффант волосяной материи вместо обычных фижм. Однако при парадном приеме Пара-

скева Михайловна выплывает всегда в круглом молдаване с хвостом из бархата, штофа, атласа либо люстрина, гродетура, гроденапля. На малый выезд, в Клуб и Воксал, – сюртучок с фраком, воротничок узенький и высокий, вроде туркеза, рукавички расшнурованы цветными ленточками, лацканы на пуговках, юпка из линобатиста, а шляпа непременно колоколом. Все эти наряды шьет себе теперь и Настинька, потому что не во всяком доме появишься, как смелые щеголихи, Авророй и Омфалой, в тонкой шелковой рубашке хитоном, с сандальями на ногах и прической а ля Титюс! Да этого и папенька не позволят, пока не стала мужней женой и от семьи отрезанным ломтем.

В мастерской мамзель Виль глаза разбегаются еще больше, чем в самых лучших модных лавках "О тампль де гу" и "Мюзе де нувоте". Самое замечательное у нее – готовые на все вкусы шельмовки, шубки без рукавов, из всякого цвета и всякой добротности материй, и глазетовая, и аглинского сукна, и стриженого меха, и с вышивкой, и с кружевом, и с лентами, и с красной оторочкой. На шельмовках вся Москва помешалась! А как начнет мамзель Виль показывать распашные кур-форме, да фурро-форме, да подкольные кафтанчики, да чепцы всех сортов, величин и форм, всех цветов и материй, да рожки, да сороки, да а ля греки, да "королевино вставанье", да башмачки-стерлядки или же улиточкой, – нет сил оторвать глаза, и хочется забрать все и целый день примеривать дома. В платье, ей заказанное, мамзель Виль советует непременно вставить для пышности проклеенное полотно, прозванное лякриард, потому что оно не только держит материю несмятой, а и само шумит и привлекает всеобщее внимание. Сейчас без этого лякриарда хоть и в общество не показывайся, никто замечать не станет; а вот на балах – не годится, очень размокает, если вспотеешь в модном танце – вальсоне.

От мамзель Виль приходится ехать к другой знаменитой модистке, к мадам Кампиони, которой заказано платье самое поразительное, последний парижский крик, хотя по виду простенькое неглиже. Вы представьте себе белый с пунцовым карако а ля пейзан: коротенький пиеро из белого лино а жур, без подкладки, с маленькими клиньями и белыми флеровыми рукавами, и все сие обшито пунцовою лентою; юпка такая же, как пиеро, конечно, без фижм, но на бедрах с пышностью; на шее белый флеровый, пышной, однако полуоткрытой платок, как бы говорящий: "Скрываю прелесть, но не жесток"; чепец белого лино гоффре с маленькими круглыми складками, убранный пунцовою ж лентою, к платью подобран-

ный в полном совершенстве; всенепременно носить при этом большие круглые золотые подвески. Говорят, что в Париже стало недостаточно золота, потому что все щеголихи носят его на себе в виде блонд, ожерелий с большими сердцами, серег, бахромы, колец и обручей, даже и на ногах. Но приятнейшее в сём модном неглиже – это пунцовые башмачки, при ходьбе и в танце мелькающие огоньками и обжигающие и глаз, и чувствительное сердце. Помилуй, сколь желаннее цвет пунцовый, нежели желтый с черным а ля контрреволюция, который тщились ввести французы, однако у нас не понравился! Нужно прибавить, что неглиже а ля пейзан требует особой прически а ля кавальер, с весьма толстым шиньоном и мужескими локонами.

От модисток Настинька с тетенькой спешат домой, где ждут купцы с бельевыми тканями: все белье шьется дома, но из холстов покупных, а свои, деревенские, идут только на дворовых. Опытные девки с утра до ночи кроят и шьют для Настинькиного приданого епанчи, исподницы, камзолы спальные, юпки и юпочки, платки на покрыванье, наволочки на одну и на две особы, на оконишные подушки, на стулья и канапеи, да занавесы постельные и подъемные. Тетенька сама выдает нитки и иголки, кричит на девок, наказывает за плохой шов. И не только о белье думает, а во все входит самолично: аптекарю приказала доставить всяких трав и снадобий, необходимых для домашних притираний: и травы нюфаровой, и воды бобовой, и лимонного соку, и дикой цикории, и уксусу, и козьего сала, и лаудану, и росного ладана, мужжавельных ягод, фиольного корню, гумми бенжуанской и даже тертого хрусталю.

А назавтра с утра ехать смотреть мебели, иногда даже с папенькой, который по этой части сам большой любитель и знаток: сразу отличит, которая мебель по модели Давида, которая работы Жакобовой, а которая русских мастеров – Воронихина, Шибанова, Тропинина. Всего же приятнее бывать с папенькой на гулянье, где все ему кланяются, он же первым кланяется только большим вельможам и старым госпожам. И сколь парадна и пышна московская знать! Сколь ненаглядно одета бывает приезжая из Санкт-Петербурга графиня Разумовская, та самая, которая прославилась убранством головы: ей великий Леонар, из Версаля бежавший, сделал прическу из красных бархатных штанов, случайно на глаза попавших, – и все щеголихи на придворном бале позеленели от зависти! Из мужчин первый щеголь – старик Нарышкин, знаменитый своим кафтаном: весь кафтан шит серебром, а на

спине вышито целое дерево, и ветки, сучки, листья веселым блеском разбегаются по плечам и рукавам. Пожилые мужчины во французских кафтанах, в белом жабо, в чулках и башмаках, в париках пудреных. Князь Лобанов-Ростовский каждый день с новой тростью – у него их не меньше сотни, иные с драгоценными камнями, и, в отличие от других, князь носит бархатные сапоги. Молодежь одета по-модному и в своих волосах, иные выходят на гулянье во фраках с узкими фалдами, в жилетах розового атласа, в огромных галстуках, закрывающих подбородок, четырежды обмотанных вокруг шеи, в широких сапогах с кистями. Но на молодых людей девушке заглядываться не пристало.

День за днем – суета и маета, отдохнуть некогда. До свадьбы еще далеко, девичье личико бледнеет, и рада Настинька, когда вечером, ежели тетенька не везет на бал, с облегчением снимает с худенького тела ужасного тирана корпа, железными тисками сковывающего ей бока и грудь; зато талия у нее совсем в рюмочку – зависть подруг. И кажется: вот проходи еще час-два в мучительном корсете – сердечко станет, дыханье прекратится, и случится, как бывает с тетенькой, столь модный ныне обморок коловратности...

ДВА ПЕШЕХОДА

Подпоручик Иван Дмитриевич Федосеев, родом из обер-офицерских детей, а возрастом двадцати шести лет, вышел из здания Военной коллегии во двор не то чтобы в отчаянии, а в настроении "черт вас всех подери". Ничего особенного не случилось, и лучшего ждать было трудно. Он просил определить его на службу в какой-нибудь армейский полк, и коллегия назначила его в Оренбургский гарнизонный Трейдена полк. В сущности, довольно безразлично, где тянуть лямку. Семнадцати лет от роду Федосеев поступил копиистом в казенную палату в городе Тобольске; прослужив шесть лет, задумал пойти по военной части и по собственному желанию был записан сержантом в первый морской батальон, где за три года успел испортить здоровье отчасти тягостями службы, а отчасти и спиртными напитками. По нездоровью уволился в отставку с чином подпоручика. Другие дворяне, бросая службу с первым офицерским чином, занимались поместьями и приискивали себе жену; но Федосеев был беспоместен и беден, как крыса в клети церковного служки. Поэтому, проболтавшись год без дела и кое-как починив здоровьишко, подал

он прошение о зачислении в армию. Никакие тетушки о нем не хлопотали, и вышло ему отправляться в Оренбург, край опасный, куда собственной волей никто не шел. И это бы ничего – Оренбург не хуже Тобольска, да и не все ли равно, где пропадать или ждать неожиданного счастья; худо то, что от Петербурга до Оренбурга путь велик, а в кармане поручика не было и на месяц жизни, не то что на дорогу. Указывал на свою крайнюю бедность и просил у коллегии выдать прогоны до места службы; отказали – не полагается.

Вот она – задача. Благородный офицер, а положение хуже собачьего. Собаку хорошей породы экую даль не погонят, а подвезут. Да еще и кормить в дороге будут.

– Эй, сержант! Какого батальона?

– Второго флотского, ваше благородие.

– Как тебя звать?

– Степановым, ваше благородие. Осип Степанов.

– Получил перевод?

– Так точно, в гарнизонный Трейдена полк, в город Оренбург.

– И тебя туда укатали? Когда поедешь?

– Завтра утречком и выйду, ваше благородие, по холодку.

– Пешком?

– Так точно. Пути, говорят, в один месяц дойти и не думай.

– А дорогу знаешь?

– Где ж ее знать! Покажут, ваше благородие, люди везде есть.

– Ино пойдем вместе, мне туда же.

– Слушаю.

Денек все же обождали: подпоручик пытался призанять на подводу, но без успеха. Если и были приятели, то такие же бедняки. Сухарями и вяленой рыбой, однако, наделили, а табаку Федосеев не курил. Вышли из Петербурга по холодку и пошли по солнцу в ту сторону, где за несчитанными верстами должен быть город Оренбург.

Это было в 1796 году, на границе славного и бесславного царствований, одинаково безразличных для бедных офицера и солдата.

Шли, может быть, и неплохо, без особой устали, только очень голодно. Спали реже в избах, чаще под звездами. Сухари прикончили быстро, рыба тянулась дольше; а так как рыба любит плавать, то до Устюжны истратили последнюю копейку, и Федосеев, у которого сапоги были работой потоньше, протер подошву пораньше. Одним словом, идти дальше ста-

ло невмоготу – хоть бы денек проехать лошадиной тягой!

В Устюжне Федосеев, еще под городом почистившись, явился к городничему. Не фанфаронил, а просто, как бы с деловым визитом. Все-таки – столичный офицер, знакомый с хорошим обращением; приятно повидать градоправителя. Случайно проездом, в небольшой командировке; и такая обида – не рассчитал денег, не хватило на один перегон, до ближнего села, где найдутся знакомые люди. Таким образом, все дело в лошадях.

Городничий дал своих лошадей и кучера – большое облегчение. Радушно угостил благородного офицера, и сержант закусил на кухне. Выехали сытыми и довольными. В ближайшей деревне подкатили прямо к избе десятского.

Еще на пути Федосееву пришла в голову богатая мысль, которой он и поделился с Осипом Степановым:

– Как приедем, я потребую у десятского лошадей дальше. Если будут у тебя спрашивать, куда едем, говори, что я послан по высочайшему повелению для переписи крестьян.

Десятский видел, что офицер с солдатом прибыли на лошадях устюжского городничего. А разговор был короткий:

– Чьих господ? Сколько душ? Какой оброк платите помещику? Ладно. Приготовь лошадей до следующего села.

И ответы десятского записал на бумажку. Лошадей десятский дал с поспешностью.

Выдумка оказалась удачной: поехали от села к деревне, от поместья к хутору. Везде Федосеев коротко и начальственно говорил, что послан по высочайшему повелению для переписи. Записывал, сколько душ, каков оброк, – и требовал лошадей дальше. Мужички посмелее спрашивали, не будет ли какого облегчения, чтобы платить, к примеру, оброк наравне с казенными крестьянами, да не отпишут ли всех помещичьих за государем? На это Федосеев отвечал, что он того не знает, а что послан для переписи их, офицеров, целый полк. Если угощали, не отказывался, ничего у крестьян не вымогал, а ночевали больше у помещиков, которые попроще и порадушнее.

И могло статься, что так бы и доехали от Устюжны до самого Оренбурга, если бы путь их не скрестился случайно с объездом дотошного заседателя весьегонского нижнего суда Маслова. Этому Маслову рассказали в селе Макарове, что был здесь только что офицер, расспрашивал крестьян и уехал в деревню Перемут и что теперь, возможное дело, всех помещичьих крестьян перепишут в государевы. Маслов нагнал Федосеева в ближнем селе, застал его в беседе с крестьяна-

ми, а у ворот готовую подводу, спросил бумаги, велел обыскать, нашел записи душ и оброка – и привез к себе в нижний суд двух арестантов.

Сидя в весьегонском остроге вместе с сержантом Степановым, подпоручик Федосеев говорил ему смущенно и безрадостно:

– Плохо, братец, повернулось дело! А как хорошо ехали!

– Ничего, ваше благородие! Сколько надо посидим, да и опять поедем.

– Нет, уж теперь пойдем пехтурой; вот только сапоги у меня разлезлись, а в лаптях офицеру, сам понимаешь, неудобно.

* * *

Жалованная благородному российскому дворянству грамота 1785 года апреля 21 дня:

"Статья 5. – Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянскому достоинству противным.

Статья 15. – Телесное наказание да не коснется благородного".

Воинского устава 17 главы артикулы:

"135. – Никто б, ниже словом, или делом, или письмами, сам собою, или чрез других, к бунту и возмущению или иное что учинить причины не дал, из чего б мог бунт произойти. Ежели кто против сего поступит, оный по розыску дела живота лишится или на теле наказан будет.

137. – Всякий бунт, возмущение или упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано".

А на оный артикул толкование:

"В возмущении надлежит виновных в деле самом наказать и умертвить, особливо ежели опасность в медлении есть, дабы чрез то другим подать и оных от таких непристойностей удержать, пока не расширится, и более б не умножилось".

Весьегонский нижний суд не поскупился на вызов свидетелей; дали показания старосты, десятские, простые крестьяне, помещики, помещицы и дворовые люди. Все показания были одинаковы и согласны. Проехал через села и поместья офицер с солдатом, спрашивал, сколько душ да какой платится оброк, требовал лошадей дальше – и уезжал. У помещиков обедывал, у коллежского асессора Бориса Новицкого провел денек и рассказывал, что едет в Оренбург обучать солдат но-

вой военной экзерциции, барыня Марья Саванчеева действительно сама пригласила подпоручика с сержантом заехать к ней выпить пива домашнего приготовления, и в беседы со всеми вступал охотно. Но про то, будто с нового года будут все крестьяне платить один оброк, на манер казенных, – про то офицер не говорил и никто от него не слыхивал.

Исписавши ворох бумаги, весьегонский нижний суд направил свою ревизию в петербургскую уголовную палату. К груде бумаг приложили злосчастных подпоручика с сержантом. Уж так случилось, что на путь в Оренбург не нашлось денег на прогоны, а тут, путем обратным, везли бесплатно и даже, хоть и худо, кормили незадачливых арестантов.

В петербургской палате дело слушали и смотрели великие судьи и законоведы. Особый страх внушала им отобранная у преступника бумажка с записями: "Устюжского уезда у помещика Батюшкова – 1000 душ, оброку с души по 12 рублев. Помещика Досадина – 300 душ, оброку по 25. Помещицы Нелидовой – 1000 душ, с каждой души оброку 37 рублев. Помещика Куликова – у оного крестьяне в побеге, разогнаны им самим. Помещика Кропотова – оброку по 5".

Если спрашивал об этом крестьян – могло среди оных родиться сомнение. От сомнения же бывает возмущение. От возмущения – бунт.

Указ 1767 года августа 22 дня: "Кто отважится возмущать людей и крестьян к неповиновению их помещикам, тотчас брать под караул и поступать с ними, как с нарушителями общего покоя, без всякого послабления". А по силе военных артикулов наказание таковому разгласителю вольности – смертная казнь.

Важно было – найти подходящую статью. Когда же статья была найдена, вопрос пошел только о том, применить ли к злодеям смертную казнь или отнестись к ним милостиво и, вырвав ноздри и учинив жестокое наказание кнутом, поставить им калеными стемпелями на лбу букву "В", на одной щеке "О", на другой щеке "Р", а затем в кандалах отправить их в тяжкую работу в Рогервик и прочие места.

Порешили милостиво, но не обоим одинаково. Сержанта Степанова наказать кнутом и заклеймить литерами было просто; но "дело благородного, по законам достойного лишения дворянского достоинства или чести или жизни да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации Императорского Величества".

В петербургской тюрьме поручик говорил сержанту:

– Погубил я тебя, Степанов, прости Бога для!

– Бог простит, ваше благородие!

А понеже указом 3 января 1797 года предписано: "Как скоро снято дворянство, то уже и привилегия до него не касается, по чему и впредь поступать", то Сенат наконец уравнял великих преступников.

31 января в Рождественской части на Александровской площади чрез заплечных мастеров учинено полностью наказание кнутом и клеймением двум пешеходам, придумавшим способ прокатиться на казенных лошадках.

А затем сослали Федосеева в Нерчинскую каторгу, Степанова – в Ригу.

ВОЛОСОЧЕС

Ночью в душной спальне слышны два дыхания, одно подавленное, придушенное, другое с присвистом, но тоже неровное и тяжелое. Воздух в комнате сперт и многоароматен: пахнет и лоделаваном, и мятной настойкой, и нечистым человеком. На дворе весна, а окна заперты и даже фортки на крючках.

Бывает, что свистящее дыхание прерывается, словно приключилась закупорка; потом пробка выскакивает, и слышится шлепанье губ и бормотанье. И сейчас же в сторонке раздается робкий стук, сопровожденный вздохом; похоже, что собака под стулом привстала, покружилась, задела хвостом за деревянное, вздохнула и улеглась поудобнее, стукнув костями.

С первым утренним светом белеет пятно постельного изголовья: подушки, кружевной чепчик на огромном черном лице. Потом ясно, что это не лицо, а как бы тыква с пробоиной. Однако под стеганым одеялом, сшитым из многоцветных треугольников, шелковых, атласных, бархатных и парчовых, видно очертание тела, копной лежащего на постеле, обширнейшей, как площадь. Над постелею подобранный кружевной навес с золотыми лентами и золотым же гербом. К ногам постели приставлен темного дерева шкап неизвестного назначения вроде большой будки, но глухой, на наружном засове, по бокам со скобами на манер ручек. Если там собака, то помещение достаточно и для крупной породы – скажем, для сеттера с добрыми глазами.

Поздним утром в доме шорохи, в будке все чаще постукивает, а то и покашливает, а тыква все лежит неподвижно, и из отверстия слышен свист. И не раньше, как в десятом часу, изпод стеганого одеяла высовывается рука, поддевает и снима-

ет тыкву и открывает потное бабье лицо с приставшими серыми мокрыми плюшками. Рыхлое тело садится в постеле, а рука тянется к полотенцу, приготовленному на столике рядом.

Человек, хоть сколько-нибудь искушенный в косметике, поймет, что тяжкая маска набита пареной телятиной. А когда приставшие кусочки осторожно сняты полотенцем, лицо вытирается особым замшевым утиральником Венеры, промятым спермацетной мазью с белилами. Умываться не полагается: кожа портится от воды и казанского мыла.

И только все это выполнив собственноручно, кричит графиня Наталья Владимировна голосом визгливо-хриплым, но барственным:

– Девки!

Темная будка вздрагивает и снова затихает. Две девушки, одна простоволосая, другая во французском чепчике, но обе босые, с робкой спешкой протискиваются в спальню. Обе ждали у двери подоле часу, а впрочем, и ночь спали тут же за дверьми на полу, на холодной подстилке.

* * *

По утрам графиня не одевалась и не прихорашивалась, а слонялась по дому в грязном ватном халате и глухом чепце, покрикивая на челядь, на девок, на поваров, щедро раздавая пощечины, девушкам выкручивая кожу щипком, нехорошо ругаясь. Никого не принимала, да никто в эти часы и не приезжал. Граф Николай Иванович – тот, наоборот, из дому уходил рано, поутру, а случалось, и ночевал во дворце, где был как бы дядькой при великом князе Александре Павловиче, еще не вошедшем в возраст. И весь остальной день был занят у графа Салтыкова, будущего фельдмаршала и князя, – расписан по часам. Оттого и спальни у графа и графини были особые у каждого, что и по возрасту их было понятно: Наталья Владимировна кончала свой шестой десяток.

Для толстой и рыхлой женщины шестьдесят лет – цифирь почтенная! Тело обвисло до потери женского и вообще человеческого образа, лицо в складках, и, страшное дело, повылезли у графини последние седые власы, так что образовалась большая плешь. На ее счастье, в то время носили модные прически высоты неимоверной, да еще поверх прически налагали “бонне а цилиндр” – наколку на манер цилиндра ростом в добрую сахарную голову, так что в хороших домах, где собирались модницы, подвешивали ближе к потолку люс-

тры и жирандоли, чтобы – сохрани Боже – не вспыхнули огнем столичные красавицы.

Свою лысину графиня приписывала скверному снадобью старого своего крепостного волосочеса, которого она, жестоко наказавши, сослала помирать в дальнюю деревню. У себя оставила его бывшего помощника, парнишку пятнадцати лет Онисима, делу волосочесания до тонкости обученного, можно сказать, рожденного жения!

Обедала графиня в одиночестве, за большим столом. Ей служило пять прислуг, а при непорядке в блюдах вызывался старший повар и получал в рябое лицо горячую похлебку с графской тарелки или же, в пост, соленого груздя за шиворот. Ела графиня долго, шамкая деснами, ворча на лакея и на девку в чепчике. Ела плотно и жирно, с ужасом думая о том часе, когда Дашка с Малашкой будут с двух сторон затягивать ее в стальную броню. Поевши – крестилась мелким крестиком, покрестившись – ругалась и ослабевшей рукой раздавала оплеухи.

Иногда к обеду приезжала в малом наряде ее сестра, княгиня Козловская, женщина также сиятельная и знаменитая своим изобретением: наказывать дворовых девок, раздевая их догола, и чтобы груди клали на мраморную доску столика, и по тем их белым грудям сама княгиня хлестала их розгами собственноручно и без утомления. Девки боялись ее пуще смерти, особенно с тех пор, как одной она цепкими пальцами разорвала рот до ушей.

Отобедавши, старая графиня часок отдыхала в постеле, на этот раз наложив на лицо легкую, дорогую и модную "маску Попеи", продушенную "Франжипаном". К пяти часам просыпалась, вставала и, подойдя к будке у подножия кровати, стучала согнутым пальцем:

– Можешь!

Тогда начиналась в будке тревожная суета, стучала крыша, плескало жидкое. Минуты на три графиня выходила из спальни, а возвратившись, спрашивала:

– Готов, что ли?

И голос тихий, нельзя понять – женский, мужской, молодой, старый ли, отвечал поспешно:

– Так точно, ваша светлость.

Отодвинув засов, графиня скоренько отворяла ключом замок и, зажав нос с выражением страдания, шла впереди, а за нею шла человеческая тень, босая, измятая, в нанковых длинных штанах и русской рубашке. Оба они проходили в соседнюю комнату, а в спальню врывались девки с тряпками

и метелками, выносили малую кадушку из шкапа, окуривали внутри можжевельником, выметали, приносили миску с тюрей и хлеба, кувшин воды, опять ставили опорожненную кадушку, а на полу спальни, на каменной плитке, зажигали курительную свечку.

В соседней проходной комнате, маленькой и полутемной, графиня, все с тем же страдательным лицом, как бы принося жертву, прежде всего опрыскивала человеческую тень из особого водяного дульца туалетным уксусом, чтобы от тени не воняло. Потом и графиня и тень проходили в довольно обширную будуварную комнату с венецианским зеркалом у туалетного столика, заставленного пудрами, белилами, банками с кошенилью, бутылками с бодягой для втирания в щеки и дорогими духами: “Вздохи амура”, “Франжипан”, “Мильфлер”.

Здесь графиня надевала пудермантель, а человеческая тень облекалась в серый пыльник, превращаясь в изможденного монашка – кожа да кости.

* * *

Третий год крепостной волосочес Онисим живет безвыходно в шкапу в спальне графини Натальи Владимировны. Выпускает его только сама барыня на два часа для работы: собрать остаточки ее волос, связать их с париком и соорудить ее любимую прическу “ле шьен кушан”. Делается посредине головы большая квадратная букля, будто батарея, от нее по сторонам идут косые крупные букли, как пушки, позади шиньон, и вся прическа не ниже полуаршина. И нужно эту прическу ровно и прилежно запудрить благовонной пылью, пока графиня держит против глаз маску на ручке с зеркальцами из слюды, чтобы не запорошило глаз. Пудру она употребляла либо палевую, либо серенькую – а ля ваниль. А потом сама не без искусств налепляла на лицо, подбеленное и подкрашенное, мушку размером в горошину под правым глазом, называемую “тиран”.

Никто на свете не должен знать, что у статс-дамы графини Салтыковой, награжденной орденом Екатерины первой степени, облысела голова. Для того и содержится всегда в особом шкапу волосочес Онисим, и никто не смеет сказать с ним ни слова под страхом жестокой членовредящей порки. Из дому выезжая, графиня запирает спальню, а мажордому приказано никого из челяди и близко не подпускать. Все об этом знают – все молчат. Девки, Дашка с Малашкой, иной раз,

жалея Онисима, засовывают ему за нечистую кадушку недоеденную кость с барского стола или лишний кус хлеба. За три года парень отупел, выцвел, потерял голос и стал как бы старцем, без протеста и без желаний, с того света выходец. И только три минуты в день радостен – и ждет этих трех минут, когда разрешается ему в том же шкапу же оправиться; в остальное время терпит, боясь ужасных побоев за несдержанность.

В восемь часов графине подают английский дезоближан к подъезду. Она выходит важная, парадная и торжественная, в обширной шубе или летней накидке на платье "молдаван", с короткими рукавами, какое носит и сама императрица Екатерина, с кружевами, блондами и бахромой. Цвет платья меняется: то – "цвет сладкой улыбки", то – "нескромной жалобы" или "заглушенного вздоха", а то и "совершенной невинности". В жутком ущелье жирной груди, приподнятой корсажем, болтается на золотой цепочке модная блошиная ловушка из слоновой кости с дырочками, куда ввертывается стволок, намазанный кровью и медом; хоть блохи и редко попадают, но без этой игрушечки модные женщины в свете не показываются.

Из дому выезжая покойно и чинно, случается, что возвращается графиня в ваперах и раздраженная. И тогда плохо Дашке с Малашкой!

Три года просидел в шкапу молодой волосочес Онисим. На четвертый год бежал.

* * *

Как и почему бежал Онисим, – про то не могла выведать графиня никакими пытками. Перепороли на конюшне всю дворню, иных засекли до полусмерти. Перепоров, – угнали выживших по деревням, всех сменив новыми. Добрый граф Николай Иваныч не вмешивался: на то воля жены, да и некогда ему заниматься домашними делами.

Но так была тяжка и невознаградима потеря графини Натальи Владимировны, что она лично подала жалобу во дворцовое ведомство о бегстве крепостного, чтобы приказали найти его беспременно и ей возвратить.

Может быть, и нашли бы, – не в разбойники же ушел еле живой парень. Но в одном ошиблась графиня: и все ее люди, и весь Санкт-Петербург, и весь императорский двор знал и про ее лысину, и про скрытого ее в шкапу волосочеса. И не только знали, а и называли графиню второй Салтычихой: уж

такова судьба ее фамилии! Но, зная о ней, жалели дядьку великого князя.

И верно, потому было решено беглого крепостного не искать, графине не возвращать, а известить ее через полицию, что по наведенному дознанию раб ее и волосочес Онисим, осьмнадцати лет, утонул в одном из притоков реки Невы, а тело его не найдено.

Трудно найти другого такого волосочеса, умевшего воздвигать батарею на лысом графинином черепе! Но хоть то хорошо, что парень тот утонул, а не трезвонит по чужим дворам о безволосии статс-дамы и не порочит ее россказнями.

Шкап из спальни графини вынесли, а с новым наступившим царствованием Павла изменились прически и начались гонения против французских мод. Прежней нужды в волосочесе уже не было: стала страшной и тревожной придворная жизнь, и осторожные люди позапирались в домах.

ПО МОСКВЕ

1. Незнакомка в красном

Мы полюбили ее с первого знакомства и с первого взгляда. Нам представил ее приятель, сам не знавший, с кем он нас знакомит. Она была в красном с золотой расшивкой – таких нарядов давно не делают. Она говорила на языке, который нам очень люб и к которому другие равнодушны. Когда она нас покинула, мы твердо знали, что эта встреча не может остаться единственной и что наши судьбы связаны.

Так и случилось. Недели через две она вернулась и осталась с нами на несколько дней. Суетливо и увлеченно мы занялись тайной ее происхождения. Мы рылись в архивах и книгах родословий, пока совершенно случайно ее замечание не натолкнуло нас на догадку. Речь зашла о томике стихов, давно всеми позабытом, название которого не было даже упомянуто. Мы бросились к многотомным справочникам и, руководясь только годом издания, напали на очень любопытное и заманчивое предположение. Оставалось проверить, не знакомы ли ей имена ближайших родичей автора книжки стихов.

Да, она знала некую Катиньку и назвала имя Никиты.

Именно этих имен мы и ждали.

Прошу простить меня за некоторую искусственность и таинственность рассказа и за недомолвки: именно в таин-

ственности и была главная прелесть маленького события в жизни людей, живущих несколько обособленными интересами и страстно увлекающихся тем, что для других – пустяк или ничто. Мы переживали трепетно каждый шаг нашего сближения с поистине "прекрасной незнакомкой". Когда наконец она произнесла имя Никиты, трехлетнего ребенка (она назвала его нежно Никитинькой), мы бросились ее обнимать: тайна ее происхождения была разгадана.

Сразу стал понятен и весь круг ее знакомств – свыше сотни имен, в большинстве очень известных и весьма аристократических: император, его два сына, блестящая вереница сановников; прославленный поэт; начинающий историк, впоследствии – виднейший; целый ряд образованнейших людей своего времени. Короче говоря – избраннейшие имена ее эпохи, любопытнейшей исторической эпохи.

Дальше было бы трудно продолжать рассказ в том же таинственном стиле, раз тайна раскрыта. Но и расстаться с этим стилем трудно и обидно. Она для нас была действительно живым существом; я даже готов настаивать на том, что она и есть живое существо, или, точнее, то живое, совсем живое, что остается от ушедших в историю и вечность. Исчезает плоть, в небытии растворяется личность, – но живет мысль, слово, живут буквы, одни – выписанные усердно, другие – с милой поспешностью, легкой небрежностью человека, утомленного забавной для нас, а для него важной и полной интереса беготней по городу, которого уже нет, мельканьем встреч и болтовней с людьми, давно умершими. Но сам человек тут, перед нами, так что даже дыханье его слышно и видна его улыбка. И главное – человек, давно нам знакомый, но кто же знал, что это его рука?

И вот, взяв в руки недавнюю незнакомку, ставшую приятельницей, мы с особой тщательностью рассмотрели узор ее сафьяна, особенно на корешке: восьмиконечная звезда с внутренним крестом, глобус, циркуль, линейка, треугольник, ветки акации – всё в самом изящном сочетании. Внизу – кафинский узел; превосходный золотой обрез переплетенных листков почтовой бумаги с бледными водяными знаками, кажется – голландской фирмы; потом все это проверится. Теперь, когда известно имя, понятна и символика украшений.

Дальше начинается наша трагедия: пришел человек, ее хозяин, положил ее в карман и унес.

Мы старались быть или хотя бы казаться равнодушными – это нелегко. Он спросил, открыли ли мы имя автора этой прелести. Мы сказали: да. Но назвать его мы могли бы только

в том случае, если бы эта маленькая рукопись в красном сафьяне стала нашей.

Вероятно, это нехорошо, эгоистично, но что делать: такова любовь!

* * *

Вы разочарованы: дело идет только о бездушной рукописной книжке пока еще неизвестной эпохи и неизвестного автора. Стоило из-за этого нанизывать столько лишних слов на ниточку таинственности! Затем окажется, что имя автора вам лишь смутно ведомо, и ваше любезное "Ах, вон кто!" прозвучит удивленно и не очень уверенно.

В библиофильстве есть оттенок снобизма. Люди любуются порыжевшим чернилом (из того же снобизма это слово – в единственном числе), они вдыхают аромат тлеющей бумаги, смотрят на свет, гладят мизинцем сафьян, исследуют обрез и будто бы испытывают ряд вам, профанам, неведомых тонких наслаждений. Не интереснее ли альбом почтовых марок? Или – голубой бриллиант? Взглянуть на бриллиант сбежится толпа, напор которой придется сдерживать протянутыми канатами: никчемный камушек, пригодный только для резки стекол, пошлый и бездушный! А тут – листки, писанные рукой превосходного человека, культурнейшего, жизнерадостного, обладавшего редкой способностью чаровать людей и завоевывать их доверие и искреннюю преданность. Душа, открывающаяся в каждой строчке пустого и немного болтливого перечня дневных дел. Книжечка, которая не соберет толпы, – и только два-три заговорщика, неисправимых чудака, поахают над ней и, может быть, будут видеть ее во сне. Нет, это, конечно, необъяснимо!

И вот потекли дни и месяцы ужасной муки, – если я преувеличиваю, то лишь немного; скажем, не муки, но постоянного беспокойства и тревожной досады. Она продавалась, как ценная внешностью безделушка. Всякий мог ее купить, не зная, не ценя, только по прихоти, походя. Мог всякий, кому вообще доступно иногда доставлять себе удовольствие, не лишая себя и обеда. Но мы были слишком бедны – именно мы, так тесно связавшие себя с нею днями совместных переживаний, открывшие ее внутреннюю сущность, ее историю, ее родословие. Знать, что вот кто-то случайно, ничего толком не понимая, швыряет деньги и будет владеть ею с небрежностью невежды, – это очень тяжело, это – непереносимо!

И еще – ревнивая боязнь: кто-нибудь другой, проведя с нею день, нападет на след и откроет то, что до сих пор известно только нам, затратившим столько труда и испытавшим столько волнений!

Год был исключительно тяжелый, вычеркнувший все даже самые маленькие прихоти из обихода. Было бы неприятно рассказывать, ценой каких лишений мы решили "позволить себе роскошь". Это произошло в последний момент, когда – по нашим сведениям – ждать дальше было нельзя: на нашу невесту засматривался жених с пониманием. Но он не успел сделать предложение нашей безвольной приятельнице. В нашей жизни это было самым неблагоразумным поступком – и самым радостным событием.

* * *

"Марта 13 числа прискакал я или притащился к вратам Москвы, утром, в десятом часу в половине. Я не удерживаю тебя, милой друг мой, описанием прекрасного виду, в котором представляется Москва приезжающему, чтоб описанием моим не уронить природы и не смешать некстати стихотворства с Историею. Довольно я приехал: не точно в таком приятном расположении духа, как бывало ездил из Твери за славою писателя. Мечты сии уступили времени. Другие привязанности отнимали у окрестностей московских волшебные их прелести. Я думал, как теперь, о милой и оставленной семье моей. Я просил Бога, чтобы Он наставил Катиньку перенести с благоразумием краткую разлуку. Я просил Его, чтоб он сохранил жизнь и здравие нежнейшего из родителей".

В эти дни Москва была переполнена приехавшими на коронацию Павла. Из Петербурга и из всех губерний "прискакали" и "притащились" дворяне с семействами по ужаснейшей весенней распутице. Москвичи теснились в своих особняках и уступали комнаты родственникам и знакомым с прославленным гостеприимством. Михаил Никитич Муравьев приехал из Петербурга и по любопытству и по обязанности: он был воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей.

Москва была ему хорошо знакома: здесь он окончил гимназию и университет, здесь впервые посетила его муза: в 1771 году, от роду четырнадцати лет, он написал "Эклогу" в подражание Вергилию. Двумя годами позже появились его "Басни в стихах" и "переводные стихотворения". Двадцатилетним он

был избран сотрудником Вольного собрания любителей российской словесности, в трудах которого появились его первые опыты. По своему времени он был очень известным поэтом, создателем легкого и приятного стиля:

В спокойствии природы
Луны приятен свет,
Когда молчат погоды
И туч на небе нет.

Теперь утихли страсти,
Движение людей:
Душа одной лишь власти
Покорствует своей!

Это неплохо для семидесятых годов позапрошлого столетия. Он был очень образован, знал несколько языков, и его проза по своей простоте и по богатству языка может считаться образцовой. Его считают последователем Карамзина в сентиментализме; но нужно прибавить, что это он выдвинул Карамзина на путь славы, доставив ему возможность стать историографом. Большинство сочинений М. Н. Муравьева увидало печать уже после его смерти в полном собрании, вышедшем в двадцатых годах двумя томиками в издании Смирдина. Перелистывать его стихи, прозу и статьи – истинное удовольствие, стиль, ум и художественное целомудрие.

Михаил Никитич был другом и соратником замечательных людей эпохи – Хераскова, Карамзина, достойного Ивана Петровича Тургенева, был сподвижником созидателей русской культуры, вышедших из рядов екатерининского масонства. В конце жизни, при Александре, своем воспитаннике, он был одновременно попечителем Московского университета и товарищем министра народного просвещения; университет обязан ему рядом добрых реформ. Им основан журнал “Московские ученые ведомости”.

Он был сыном просвещенного сенатора Никиты Артамоновича и отцом знаменитого декабриста Никиты Михайловича Муравьева. О Никитиньке, еще ребенке, часто упоминается в лежащей передо мной книжечке, рукописном собрании писем к жене, Катиньке, Екатерине Федоровне, урожденной Колокольцовой, также замечательной женщине своей эпохи, о которой современники вспоминают с почтительным восхищением как о женщине не просто очаровательной, но и умной и образованной. Про самого Михаила Никитича мож-

но сказать, что не было никого, кто в своих воспоминаниях не называл бы его человеком "великого ума, редких познаний и самой лучшей души" (слова поэта Батюшкова, его родственника по матери) и не отмечал бы его "страсти к учению, которая равнялась в нем со страстью к добродетели" (слова Карамзина).

Таким умницей и в то же время жизнерадостным, любознательным, увлекающимся и влюбленным в Москву, в друзей и в жену Катиньку, в сына Никитиньку, в книжную лавку, в поэзию и вообще в жизнь, а на досуге и немножко болтуном и душой общества рисуется Михаил Никитич в своем путевом дневнике, написанном в форме писем к жене, листочки которого собраны ее или его рукой, переплетены в красный сафьян с золотым тиснением на корешке и озаглавлены "Московский журнал".

Я приведу несколько выдержек из этой рукописи, посвященной блужданиям по ушедшей в историю Москве. Она никогда не была напечатана и историкам неизвестна. Мне не удалось узнать, как она попала в Париж и в чьем архиве сохранялась раньше. Старому книголюбу простят сентиментальное предисловие к этому сентиментальному путешествию.

2. "Московский журнал"

Поскольку почерк выдает человека, Михаил Никитич не отличался постоянным характером. Каждая новая главка его "Московского журнала" начинается старательно выведенными строчками, в которых он любуется всякой буквой. Но так выдерживается только первая страница: дальше буквы наклоняются и начинают бежать по бумаге с тою же поспешностью и суетой, с какой сам он рыскает по Москве, навещая родных и знакомых. В его четырнадцати письмах названо свыше ста имен; всех нужно навестить, всем передать поклоны и письма. И редкий день можно не побывать в Петровском дворце, где до дня коронации остановился государь с сыновьями, и у батюшки, старого сенатора Никиты Артамоновича, который живет у Михаила Михайловича Рахманова.

Приехав в "городовых санях", он спешит обменять их на карету. "Таковы сильны старинные привычки. Нанял я карету с четвернею, потому что грязное состояние улиц московских обижало самолюбие мое. Нанял немножко дорого: но Катинька позволила мне мотать". В первый же день, не зная дорожной усталости, успел устроиться на квартире в доме Протасьевых, на Мясницкой, побывал у Рахмановых и у ба-

тюшки, заехал к княгине Урусовой, слетал и на Старую Конюшенную к Ивану Предтече, где проживала княгиня Голицына, имел неожиданную приятную встречу со своим учителем танцевания Бубликовым и закончил день визитом к тетушке Федосье Алексеевне на Остоженке. И не столько желание видеть людей, сколько жажда любоваться Москвой: "Моя резвость не в состоянии была просидеть в одном доме целый вечер. Жадность зевать на кривые улицы, на бесчисленные здания и хижины Москвы имела в том также участие".

Следующий день – официальные визиты, но утро непременно посвящается писанию "Московского журнала", листки которого отправляются с первой почтой Катиньке. Утренний завтрак готовит Еремей из припасов, привезенных с собою. "Завтракал по обыкновению на своем дорожном приборе. Прекрасный ларчик Катинькин стоит всегда передо мною на разогнутом ломберном столе. Он составляет все мое хозяйство". Одевшись парадно, заехал к обоим градодержателям, князю Долгорукову и Архарову, но ни того, ни другого дома не застал; придется побывать завтра. Пока же побывал на Арбате у Миколы Явленного, где живет Алексей Минич. И как не навестить Михайлы Матвеевича Хераскова, старого знакомого и преотменного российского поэта? Михайла Матвеевич купил себе новый дом на Вшивой горке: "Прозвище, недостойное для жилища великого стихотворца!" И уж кстати было слетать за Москву-реку под Донской монастырь к Петру Алексеевичу Ижорину и к Семену Саввичу, жена которого Аграфена Петровна приносит Катиньке свое почтение.

"*15 число, воскресенье.* У меня был Алексей Минич, которому я рассказал, где живет Елисавет Карловна. К ней поскакал он от меня. А я по тщетном визите у Куракина был на Почтовом Дворе, где мне сказали, что почта пришла, но письма не разобраны. Оттуда поехал к Ехалову мосту отыскивать Елисавет Карловну. Был у Чонжина, их соседа, и потом двор обо двор у Фритингофши и у Елисавет Карловны. Они унимали меня чрезвычайно обедать, но я положил быть в Петровском Дворце. Была повестка в два часа сбираться для встречи Государя. От них возвратился я на Почтовый Двор, где имел несравненное щастье получить радостное письмо моей милой и обожаемой Катиньки. Ездил домой читать его и плакать от радости. Потом был у Льва Васильевича Толстова и, наконец, в Петровском".

Заезды на Почтовый двор – целое событие. Письма получаются по воскресеньям и средам, и нетерпеливому получателю приходится ждать, пока происходит разборка. Сдавать

письма можно только до восьми часов вечера – позже не принимают. На почте Михаила Никитича сразу признали и отметили: человек известный, приятного характера, получает и отправляет с каждой почтой, не гневается, если приходится долго ждать. Иной раз при разборке писем удается Михаилу Никитичу усмотреть в куче свое, надписанное знакомым почерком Катиньки, – большая удача! За любезную выдачу не в очередь Михаил Никитич отвечает почте любезностью: он готов прихватить и развезти некоторые письма знакомым. Ему доверяют неограниченно, – а впрочем, у него должно быть немало знакомых в почтовом ведомстве, где чуть не все старшие чиновники–масоны. Писанье писем – страсть Михаила Никитича. "Искусство писания выдумано было отсутственным любовником. Я чувствовал приятности его сие утро. Я разговаривал за семь сот верст с моим милым другом. Может быть, теперь разговаривает она со мною".

Дни бегут, и непрестанная скачка по улицам Москвы немножко утомляет. "С приезду вставал я очень рано, а теперь час от часу позже. Купленный у волшебника (у книгопродавца) план города Москвы занимал меня. Прежние приезды, помнится мне, я устали не знал колесить по улицам и переулкам Москвы. Теперь что-то я равнодушен к етому удовольствию и желаю очень мая месяца, чтобы свидеться и не расставаться с моею голубушкою". Но это только лирика, а на деле в "Московском журнале" продолжают мелькать имена и названия улиц. Нужно повидаться со всеми и испытать приятность новых знакомств. Как не заехать в университет, с которым соединено столько воспоминаний? Удачно попал на конец философской лекции профессора Шадена, с которым после лекции не мог наговориться. Тут же побывал и у недавнего знакомого профессора Гейма. В дружеском доме наиприятнейшая встреча: Николай Михайлович Карамзин, писатель известнейший; за этой первой встречей – обмен визитами и долгое приятельство, весьма для Карамзина полезное. Как не побывать у старого "учителя закона", знаменитого в духовенстве московском Архангельского собора протопопа Петра Алексеевича? Как не полюбоваться лишний раз московскими церквами и церковками и не посетить церемонию "варения мира" (здесь должна стоять ижица!)? С Пресненских прудов на Берсеневку, с Якиманской в Сыромятники, с Пречистенки на Яузу. По пути неизбежно на Почтовый двор.

И еще увлечение: книжные лавки. Их немного, и самая знакомая – на Ильинской, старого Редигера. "Худая привычка!" И хотя Катинька позволила мотать, но очень уж разори-

тельны эти визиты к волшебникам-книгопродавцам! Учтивство и тщеславие заставляет всегда что-нибудь купить! “Сия неисцелимая привязанность к книжным лавкам не подает выгодного мнения о благоразумии моем. Но я радуюсь, что Судия мой наперед подкуплен и простит мне мои ребячества”. В первый визит подхватил роман Фелдингов “Том Жонес”, во второй визит не удержался, потратился на “Жизнь Карла Великого”. Зато сколько удовольствия – даже не хочется скакать по Москве. “Любезный мой Том Жонес не пустил меня из дому весь вечер. Чтение его столь привлекательно, что я с трудом могу с ним расстаться”. А на Петровке оказался новый книжный магазин. Кстати – чтение “Тома Жонеса” кончилось – необходимо надобно иметь аглинский роман. “Жребий пал на “Сесилию”. Но глаза мои было расступились, увидел великолепное издание аглинских стихотворцев. Благоразумие стояло возле и щуняло сорокалетнего мальчика. Ему надобно было поспешить домой, чтобы дописать письма свои”. Да разве удержишься!

22 апреля. Середа. Надобно признаться, что чтение “Сесилии” служит мне иногда вместо упражнений, и всегда новая глава заманивает дальше, между тем как время, не останавливаяся, продолжает свое путешествие. Кроме того, напало на меня дурачество не сочинять стихи, а переписывать их с памяти, потому что я оставил портфель свой в Петербурге, а взял с собою Музу. Итак, Муза неотменно требует, чтоб я старое вранье клал на новую бумагу.

А когда в университетской лавке увидал случайно на полке книжку собственных стихов, изданную двадцать три года назад, – “можно ли было удержаться и не сделать приятное себе и книгопродавцу?”

Торжества коронации идут своим порядком – о них Михаил Никитич после лично расскажет Катиньке, а пока лишь вскользь отмечает их в “Московском журнале”. Он и правда несколько утомлен московским сидением, – но уехать нельзя. По плохим от распутицы дорогам почта приходит неаккуратно. “Мало охоты знакомиться и рыскать: очень много возвратиться домой, на свою родимую сторонушку, где столько привязанностей, столько истинного щастья. Однако время идет, и мой извощик напоминает мне, что месяц прошел. Надобно развертывать пакетец Катинькин и платить наличными деньгами мои бесполезные странствия. Надобно еще за собой оставить коня и колесницу, покуда приятное позволение окончит здешнее мое пребывание”. Меньше по гостям, чаще в книжных лавках, где удается иногда, не покупая, прочитать

немецкую или английскую небольшую книжечку, или в университетскую типографскую контору, единственное место, где можно почитать газеты. Заново прочитаны "Том Жонес" и "Сесилия". Был у Спаса на Бору. Посетил Ризничью патриархов. Осмотрел собрание греческих и русских манускриптов. Есть и обязательные посещения: "В понедельник бал, во вторник опера, в середу в клобе, в четверг опять опера, в пятницу гулянье в саду и будто в субботу прощальный куртаг, а в воскресенье отъезд. Бог знает, правда ли". В опере давали "Молинару", а пятничное гулянье пришлось на 1 мая. "Чтобы описать ясность погоды, красоту местоположения, свежесть зелени, надобно быть живописцем. Вот для чего я не предпринимаю етого трудного дела. Людей видимо и невидимо. Великий порядок в етом следствии карет одна за другой, которые въезжают в остров и проезжают далеко в прелестную рощу, оборачиваются и в близком расстоянии возвращаются другой дорогой, так что из карет видят друг друга. Я только однажды проехал и не ослепил моим екипажем московских жителей".

Уже кое-кто достал себе подорожную. Но Михаилу Никитичу торопиться нельзя: надобно подождать отъезда государева и великих князей – его воспитанников. Катинька может быть уверена, что, ежели б он имел крылья, он бы к ней полетел.

Тем временем – прощальные визиты: и к Николе Явленному, и под Донской монастырь, и в Сыромятники к Хераскову, и к Карамзину, и к Ехалову мосту к Фритингофше, и к тетеньке Федосье Алексеевне, и к Голицыной на Старую Конюшенную, в университет, и к Редигеру, и ко всем старым приятелям и новым знакомым: к Вульфу, к Небольсину, к Урусовой, к Рахмановым, к зятю Христины Матвеевны, к Львову, и к Алексею Миничу, и к Василию Васильевичу – совсем замоталась карета четверней.

"Московский журнал", продолжение последнее, или заключение. "Я желаю, чтобы ету часть моей жизни прочли мы вместе с Катинькой, или, ежели етого не можно за умедлением подорожной, чтобы Герой замешкался очень недолго за Романом и вместо удивления подвигам его нашел любовь, щастье, дружбу и прощение несияющей судьбе его".

День последний. "*Маия 4.* Сегодня желаемый понедельник. Мне надобно проскакать всю Москву, чтоб проститься с теми, к которым я ездил. Семена пошлю дожидаться подорожной, обедаю у хозяина, и ежели столько щастлив буду, что получу подорожную, тотчас в кибитку и скачу без памяти в

Петербург, пересказывать сам бесполезное мое путешествие в первопрестольный град Москву".

Очень спешным почерком эти слова уписаны в конце листка почтовой бумаги. Несомненно – подорожная наконец получена, и последнее письмо Катинька читала вместе с писавшим. А потом, вероятно, они не раз перечитывали и весь "Московский журнал". Потом листочки были собраны, позван переплетчик, и обстоятельно обсудили, какой поставить сафьян, какие вытиснить украшения на корешке, да чтобы обрез сделать со всей аккуратностью, не зарезавши букв, подбежавших к самому краю, а за позолоту переплетчик поручился: в этом деле он привычный мастер.

Михаил Никитич Муравьев умер молодым: спустя десять лет после коронации Павла, пятидесяти лет от роду. Книжечку берегла Катерина Федоровна, может быть, читала ее сыновьям, Никите и Александру, будущим декабристам. Прошло сто тридцать семь лет – бумага едва пожелтела, переплет стал старинным, но не старым. В чьих руках побывал "Московский журнал"? Как могла затеряться память о писавшем? Как могла семейная реликвия стать безымянной книжкой?

Мне хотелось бы обещать, что этот исторический памятник московского быта недолго останется за границей.

РОЗА БЕЗ ШИПОВ

В поисках идиллического прошлого – мудрых правителей, их славных сподвижников, гражданского благоденствия и прочих достопамятнейших событий нашего отдаленного прошлого, в поисках весьма трудных и утомительных, но обязательных для бытописателя, заподозренного в пристрастии и желающего обелиться, сочли мы за благо остановиться в восхищении перед останками храмика Розы без шипов. Этот храмик стоял, а может быть, и посейчас красуется на холме у овражка в местности между Павловском и Царским Селом. Сейчас эти имена исчезли и заменились новыми; точно так же в течение прошлого века, без помощи революции, менялось имя сада, в котором стоял храмик. Современники могут помнить его как Анненкову дачу; раньше он назывался Салтыковской мызой; но создан и крещен он как Александрова дача, создан императрицей Екатериной для любимого внука.

У державной бабушки была слабость, великим людям простительная: не довольствуясь сочинением замечательного "наказа", она писала повести, пьесы и юмористические

фельетоны обличительного характера. Не обладая ни художественной фантазией, ни достаточной грамотностью, она не составила бы себе литературного имени, если бы, на счастье, не была императрицей. В качестве таковой она без труда находила издателей и пользовалась лестным вниманием критиков, в частности Державина, который устроил отличную рекламу нравоучительной сказке Екатерины о царевиче Хлоре (имя, по тому времени не звучавшее слишком химически), взошедшем "на ту высоку гору, где Роза без шипов растет, где добродетель процветает".

Сказка забыта; мало найдется охотников ее перечитывать. Но обиднее всего, что давно-давно исчезла из памяти великолепная иллюстрация к этой сказке, созданная по мысли и по плану удачливой писательницы. Можно с уверенностью сказать, что никогда и никому ни раньше, ни позже не доводилось так иллюстрировать свое маленькое литературное баловство! "Сказку о царевиче Хлоре" Екатерина повторила в символической распланировке лесной дачи под Царским Селом, названной Александровой в честь очаровательного мальчика, будущего царевича, также мечтавшего о Розе без шипов, и будущего царя, при котором Роза выродилась в колючий шиповник.

По счастью, жил в те времена поэт С. Джунковский, бездарный, но вдохновенный. Восхитившись увеселительным садом великого князя Александра Павловича, он описал его в поэме, роскошно изданной в лист, с четырьмя гравюрами, – издание ныне редчайшее и ненаходимое. С увеличительным стеклом склоняемся мы над этими превосходными старинными гравюрами и наконец находим в себе благорасположенность без всякого искусственного напряжения вдохновиться идиллиями минувших времен.

* * *

Кто этот добрый ратай, идущий за легким плугом, влекомый дюжими волами? По простоте одежды его можно принять если не за простого мужичка, то за духовного пастыря. Белыми руками он держит рукоятки плуга, как ни один пахарь их не държивал. Острая сталь режет надвое судорожно извивающуюся змею. Другая змея с любопытством смотрит с камешка на страдания своей родственницы. Сквозь тучи потоками низвергается солнечный свет, в лучах которого парит голубь, слегка напоминающий утку. На ветке огромного дуба

пахарь повесил суетное – генеральскую ленту и орденские знаки. На горизонте – сжатая нива и огромный сноп с перевязью и латинской надписью, гласящей: "Просвещение народа". Справа в отдалении и возвышении – круглый храмик с курящимся жертвенником.

Змея – невежество. Пахарь – генерал-аншеф граф Николай Иванович Салтыков, воспитатель великого князя. Ему была подарена Александрова дача, и он по праву изображен за мирным занятием на гравюре заглавного листа. Это он вспахал великокняжескую душу и засеял ее благими намерениями; он научил Александра "восчувствовать особливо высокость и справедливость мыслей", державным пером вложенных в сказку о царевиче Хлоре.

Храмик Розы без шипов стоит на холме, окруженном водою. К воде сбегает вьющаяся тропинка, и у берега ждет ботик с Андреевским флагом. Лебеди с выгнутыми шеями, кудрявые дали, арка изящного моста, сельские домики, в которых благоденствуют пейзане, совсем на горизонте церковка, в которой эти пейзане по праздникам воссылают благодарственные молитвы за сыплющиеся на их головы благодеяния. Сельский труд – в мирном сожительстве с искусствами. Против храма Цереры, на круглой крыше которого урны и встреча двух голубков, скромно красуется избушка, крытая соломой. Перед избушкой поле, уставленное скирдами в таком изобилии, что диву даешься, откуда на малой полоске могло уродиться столько хлеба. Два крестьянина толкуют о своих делах; у одного на плечах сноп и коса, в другом по бороде можно угадать старца и мудреца; в стороне собачка, верный сторож.

О чем говорят пейзане? Конечно, они обсуждают надпись на каменной глыбе, соседствующей с избушкой. Надпись гласит: "Храни златые камни" – символ незыблемой основы благосостояния России при Екатерине: ее "Наказа".

А вот на берегу группочки людей, одетых просто, но со вкусом. Дамы сидят на лужайке; юноши рассматривают какой-то чертеж. Возможно, символ строительства. Вдали юноша, стоя на утлом челне, рукой указывает на холм; вероятно, это – царевич Хлор, отправляющийся в далекое путешествие. Среди богатой зелени виден дом; к нему ведет прямая недлинная аллея.

Прекрасный вход дорога открывает,
Полна цветов, и кратка, и пряма,
Блаженну жизнь младенцев представляет;

Забавы их премудрость чтит сама;
Но вдруг, поворотясь, стезя пестреет,
Там нежные цветы, там тень имеет,
Излучисто предходя поле, лес.

Действительно, за поворотом дорога превращается в лесную тропинку и приводит к месту, украшенному трофеями. На пути водный ключ, носивший имя матери Александра, Марии Федоровны, а также пещера нимфы Эгерии, мудрой наставницы Нумы Помпилия. Многозначительное сочетание имен и эпох! Пройдя через мост, подымемся на холмик храма Розы.

Роза без шипов процветала в урне посередине храма; современным садовникам ее порода незнакома. Плафон храма был расписан фресками, изображающими Петра Великого. С небес великий преобразователь радостно взирает на блаженствующую Россию: символы богатства, науки, всяческого изобилия. Промышленность опирается на щит с изображением Фелицы. Орел ломает когтями лунный серп – предприятие довольно бесплодное, но доказывающее презрительное отношение орла к светилу ночи и склонность его к свету дневному. Слава трубит в рог, извещая весь мир о победе над безбожными турками, а может быть, над злодеем Пугачевым, пытавшимся смутить легковерных пейзан благоденствующей России. Два ангела с крестом – дань христианской религии, несколько потревоженной изобилием богов и полубогов римских и греческих. Отсюда прекрасный вид на протоки и заливчики озера, на лодочки, парусные ботики, лебедей, на колоннаду храма Цереры и строгие линии еще одного храма, посвященного Флоре и Помоне, божественным покровительницам цветов и садоводства.

Таков был, по описаниям и по гравюрам, увеселительный сад "Александрова дача", долженствововаший иллюстрировать сказку Екатерины о царевиче Хлоре. Непонятно, почему он был подарен Салтыкову; уже на плане Павловска 1789 года он именуется Салтыковскою мызой. Позже он переменил очень много владельцев, и из всех его архитектурных украшений до недавнего времени сохранились только останки семиколонного храмика.

Он был задуман как символ; он и оказался красноречивым символом жизни и царствования Александра Павловича.

Мечтательное детство, вдохновенная юность. Прилежный ученик нимфы Эгерии, безвредного Салтыкова и превосходного человека, чувствительного писателя, культурно-

го европейца Михаила Никитича Муравьева. Прямая и краткая дорога к храму славы, усыпанная цветами лучших намерений. Блестящее окружение молодежи, готовой на подвиги строительства. Правда, нелегок переход по мостику из долины мечтаний к высотам возможностей, но символический орел ломает когтями лунный серп мрачного павловского правления. С небес великий Петр и великая Екатерина благосклонно взирают на первые шаги преемника на путях преобразований. Царевич Хлор тянется к мистической Розе – и больно накалывает руку.

Оказывается, что Роза без шипов встречается только в сказках. Неведомо откуда появляется непредусмотренный сказкой персонаж – Бонапарт. Царевич совершает подвиги, конечно, за счет благоденствия пейзан и сказочного урожая. Промышленность передает щит богу Марсу, Слава трубит в рог в честь Священного союза. Два ангела с крестами принимают личины князя Александра Голицына и фанатического чернеца Фотия; Флора и Помона переименовываются в Татаринову и госпожу Крюднер.

Путаются тропинки, разрушаются мостики, тонут ботики, белоснежные лебеди взлетают черными воронами. На алтаре храма Цереры гаснет пламя бессмысленных мечтаний Александровой молодости. В ссылке Сперанский, в силе Аракчеев. В угоду Фотию закрыты масонские ложи. Сбившись с пути, неудачливый император неожиданно и безвременно умирает в Таганроге.

Легенде хочется продлить сказку: она превращает Александра в старца Федора Кузьмича, ушедшего от мира и скрывавшегося в медвежьем углу. Вместо Александра похоронен солдат. Легенда держится долго и упорно, до наших дней. Будто бы вскрывают гроб – и он оказывается пустым: ни императора, ни солдата. Легенда порождена обидой: мудрый и чистый духом старец Кузьмич – бывший царевич Хлор, лучшее, что было или что предполагалось во внуке Екатерины, не оправдавшем ожиданий просвещенных современников.

Прежде всего исчезли декоративные снопы и скирды в увеселительном саду. Ботики продырявились и затонули. Цветники по обеим сторонам дороги заросли мокрицей и лопухом. Мальчики отбили нос Церере, пририсовали усы богоподобной Фелице и утащили урну с бесшиповой Розой. Заглохли тропинки, пруд затянулся ряской. Голубь действительно обратился в утку и в дни перелета крякал на образовавшемся болоте. Завалился искусственный грот и исчез больше не нужный мостик. Камни храмов заросли или разбрелись

на менее художественные, но более полезные постройки. Скоро высохло и болото, и на месте прихотливых рукавов и извилин пруда к нашему времени остались небольшие овражки. Но местность не перестала быть живописной, и Анненкову дачу посещали влюбленные парочки; на колоннах уцелевшего храма Розы без шипов они увековечивали свои уменьшительные имена химическим карандашом, на коре старых дубов вырезывали перочинным ножиком. Теперь дубы, вероятно, вырублены как не соответствующие символике нового времени.

Нам кажутся наивными сказки старого времени и забавной чувствительная слезоточивость предков; все эти урны, розы, добрые пахари, Хлои и Хлоры. Наше время желает казаться железобетонным даже в поэзии. Но как былая идиллия не препятствовала овечкам, где нужно, показывать зубы, так и холодная рассудочность наших дней может на поверку оказаться только новой формой детских мечтаний. Едина судьба небоскреба и храма Розы без шипов; она отлично выражена надгробной надписью осьмнадцатого века:

Бех – несмь.
Есте – не будете.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ДВУХ МЕЙЕРОВ

Жил в Гамбурге еврей Мейер, богатый человек, купец, фабрикант; у него была жена, были дети, и прекрасные кушанья подавались не только в праздники, но и в любой день недели.

И жил-был, во всяком случае, существовал, в Митаве тоже еврей Мейер, и тоже имел жену и уж слишком много деточек, гораздо больше, чем стоило бы заводить бедному еврею, у которого не было фабрики, а кушанья подавались такие, что дети спрашивали мать: "Еще что-нибудь будет?" – и она отвечала: "Или вы хотите полопаться?"

Одному человеку дается больше, другому меньше, третьему почти что ничего – и это очень мудро, иначе не было бы разнообразия и никто бы не работал, чтобы догнать и перегнать другого. И столь же мудро, что еврей богатый и еврей бедный могут иметь одну фамилию, потому что Мейеру из Митавы приятно, что есть в Гамбурге богатый Мейер, а Мейеру из Гамбурга безразлично, есть ли в Митаве Мейер бедный. Таким образом, если обоих Мейеров оставить в покое жить,

то они найдут способ устроиться и не мешать друг другу: один будет жить в Гамбурге, другой в Митаве или же наоборот, и каждый будет ковать свою судьбу, ожидая часа, когда оба будут призваны на суд Того, чье имя неназываемо.

Так и было с обоими Мейерами до месяца июня 1800 года. Но случилось, что в последних числах этого месяца богатый гамбургский фабрикант Мейер приехал в Митаву повидаться со своим старым другом Исааком Шнейдером. И хотя он приехал только повидаться, однако они говорили только о делах, после чего, пробыв в Митаве пять дней, богатый еврей Мейер выехал обратно за границу через Палангенскую заставу. И больше ничего.

Больше ничего, если считать за ничто Французскую революцию, заразившую весь мир духом якобинства. Единственной страной, где эта зараза встретила серьезное сопротивление и успеха еще не имела, была Россия, управлявшаяся императором Павлом Петровичем, верховнейшим магистром Священного воинского ордена иерусалимского, издревле храбростью отличавшегося, в те же дни гонимого и водворившегося под сенью крыл всеавгустейшего монарха.

Не то чтобы якобинская зараза совсем не проникала в Россию, но, во всяком случае, она пресекалась при самом появлении, иногда же и до появления, то есть на самой границе государства. Для этого в чужих странах проживали российские резиденты, имевшие в числе других поручений и таковое: быть оком недреманным; а на границе российской проявляли высокую бдительность таможенные инспекторы, чиновники невысокого класса, но в известных делах – первеющего значения. Так, например, в Гамбурге, где обычно проживал еврей Мейер богатый, российским резидентом был Муравьев, человек образованный, знаток иностранной литературы, не чуждый и знания древних языков, автор занятных книг, как то: “Ошибки, или Утро вечера мудренее”, “Наставление знатному молодому господину” и прочее. Однако по причине увлечения литературой Иван Матвеевич не удосуживался достаточно внимательно следить за тем, кто едет из Гамбурга в пределы России и сколь этот человек способен быть носителем якобинской заразы. Зато в Митаве, где проживал еврей Мейер бедный, таможенным инспектором был другой Муравьев, чиновник седьмого класса, литературой не занимавшийся и весьма бдительный, хотя и несколько склонный к мздоимству.

Вся путаница дальнейшей истории, которую мы тщетно старались распутать по документам эпохи, заключается в том,

что точно неизвестно, который из Муравьевых, гамбургский или митавский, раньше узнал и известил подлежащие высокие полицейско-дипломатические сферы о приезде богатого Мейера в город, где проживал Мейер бедный. При всей быстроте тогдашних курьеров собственный экипаж богатого Мейера передвигался настолько быстрее, что богатому Мейеру успела наскучить Митава раньше, чем хранитель исконно русских начал граф фон дер Пален, петербургский военный губернатор, переслал письмо которого-то Муравьева первоприсутствующему в коллегии иностранных дел графу Ростопчину, каковой, в свою очередь, послал сообщение в Митаву барону Дризену, курляндскому гражданскому губернатору. Если же к этому прибавить, что о том же была переписка еще и с графом Паниным Никитой Петровичем, вице-канцлером, бывшим не в лучших отношениях с графом Ростопчиным, то станет понятным, сколько времени должно было занять одно начертание в письмах имен, титулов и званий.

Не может нас, конечно, не заинтересовать, почему такую междуведомственную суматоху вызвал краткодневный наезд в Митаву богатого еврея Мейера. Нужно заметить, что именно этот пункт и является самым темным в деле, так как никаких сведений о Мейере ни у кого не имелось, за исключением того, что он еврей и, следовательно, легко мог быть якобинцем, хотя и был фабрикантом. Поэтому в переписке он именуется "злодеем" и "приверженцем якобинства". Сверх того известно с достоверностью, что незадолго до его приезда было донесение о собиравшихся проникнуть в Россию эмиссарах французского правительства Бейере и Мооре, а также некоем Мелнере, якобы имевших поручение, "клонящееся к нарушению спокойствия общего". Вероятно, эти три фамилии от частого их повторения слились в одну в тот самый момент, когда еврей Мейер представил свой паспорт гамбургскому резиденту Муравьеву и таможенному инспектору Муравьеву же. Что касается до примет, то описания наружности богатого Мейера не сохранилось, вообще же на границах существовало предписание наблюдать, не попытается ли проникнуть в нашу страну изверг со следующими приметами: "Ходит в прическе и косою, нос длинный с горбом... Носит белый фрак с красным воротником и в голубых панталонах". Таковым предполагался типичный портрет якобинца. И, однако, достоверно известно, что в подобном костюме никто не пересек отлично охранявшейся границы, быть может, потому, что белый фрак по тогдашним грязным и пыльным дорогам не был достаточно практичным одеянием.

Коротко говоря, богатый еврей Мейер был совсем ни при чем и, конечно, хорошо сделал, что не задержался в Митаве. Вероятно, он так и не узнал, какая опасность ему угрожала и как ждали его обратного проезда на таможенных заставах не только Палангенской, но и Бржестской, Гродненской, Юрбургской и Ковенской. Но если не было Мейера богатого, то был в Митаве Мейер бедный, там родившийся и там проживший пятьдесят четыре года на той же улице, в том же доме и в тех же двух комнатах. Зачем еврею менять квартиру, как будто он перелетная птица? И что скажут, когда узнают, что портной-починщик Мейер уже не живет там, где жил? Скажут: если уж он переехал, то это что-нибудь да значит, и могут от этого выйти разные неприятности.

Дальше все понятно. Барон Дризен, не поймавший в пределах своего ведения злодея Мейера, получил из Петербурга нахлобучку. Со своей стороны, барон Дризен дал нахлобучку губернскому таможенному инспектору Муравьеву, охранявшему по должности границы. Поставленная на ноги городская и таможенная полиция без особого труда установила, что человек с длинным горбатым носом действительно приезжал в Митаву в собственном экипаже и уехал обратно раньше, чем узнали, что он изверг и приезжал в злонамеренных целях распространения развратных мыслей якобинства. Однако в списках уехавших за границу имени его не нашли, хотя был тщательно отмечен проезд прусского седельного подмастерья Фридриха Полкана, мясничного дела подмастерья Теодора Шпека, рижского купца Христиана Позвона, американского дворянина Роберта Муррея со служителем Леоном и многих других. Следовательно, гамбургский Мейер мог и не выехать к себе на родину, а остаться с тайной целью нарушения общего спокойствия.

Естественно поэтому, что в один очень неприятный день забрали бедного еврея Мейера в тот самый момент, когда он примерял старому Лейзеру уже в четвертый раз перевернутый и сорок раз штопанный праздничный длиннополый наряд. Забрали и не погнали пешком, а посадили в хорошую коляску и привезли в приличное помещение, где приезжий из Петербурга чиновник задал бедному Мейеру несколько таких вопросов, каких ни один человек за всю жизнь Мейера не задавал ему даже в шутку. Так, например, он спросил Мейера, нет ли у него фабрики в Гамбурге и доброго дорожного экипажа, не носит ли он белого фрака при голубых штанах и не водит ли дружбы с Исааком Шнейдером, самым богатым, почтенным и гордым евреем в Митаве?

И, конечно, бедный Мейер понял, что на такие лестные вопросы просто отвечать нельзя. И он отвечал, что хотя фабрики в Гамбурге у него нет, но он очень хотел бы ее иметь и надеется управиться с нею не хуже всякого другого; что если есть для него на примете такая фабрика в Гамбурге, то он готов, как ему ни жалко оставить родной город Митаву, сейчас же выехать в Гамбург со всем семейством, а также переселить туда и нескольких родственников. Но так как собственного дорожного экипажа у него, бедного Мейера, в настоящее время также не имеется, то ему на такую поездку потребуются подъемные, и уж не меньше, как сто рублей, которые он полностью выплатит из доходов своей фабрики, так что за ним не останется ни одного гроша, и даже готов заплатить небольшие проценты тому, кто ему эти деньги даст. Единственное, на что он как честный еврей не может согласиться, это надеть белый фрак и голубые панталоны, потому что для старого человека это неприлично и его, конечно, осудили бы все знакомые и заказчики, но если уж это необходимо, то белый фрак мог бы надеть его старший сын Лейба Мейер, играющий на скрипке на еврейских свадьбах и человек модный. Что касается до близкой дружбы с Исааком Шнейдером, то этого он, Мейер, не отрицает, и вот почему. Однажды, лет девять тому назад, его вызвали в собственный дом Исаака Шнейдера, но вызвал не сам Исаак Шнейдер, а служивший у него кучером Хаим Берман, сын Иосифа Бермана, родственника его жены Сарры, и Хаим Берман спросил его, Мейера, может ли он, Мейер, сшить ему совсем новую кофточку, чтобы надевать ее под верхней одеждой в холодную погоду. Конечно, он, Мейер, ответил, что может сшить все, что только потребуется, но что материал должен купить заказчик или же дать ему вперед денег, на что Хаим не согласился. После о том же они говорили много раз, до самой зимы, но сговориться не могли, потому что ни у него, Мейера, ни у Хаима Бермана не было денег.

Ценные показания Мейера чиновник записал и велел ему подписать имя, после чего ему сказали, что он может идти. Очарованный разговором с важным чиновником, Мейер попробовал спросить его, нужно ли ему собираться в Гамбург за получением фабрики и какой срок ему дадут на сборы? Это было напрасно, потому что до тех пор вежливый чиновник немножечко рассердился и велел Мейеру убираться вон, иначе его проводят по шее. Мейер поспешно удалился, но у крыльца обождал, не одумается ли чиновник и не выдаст ли ему хотя немного денег вперед на устройство дел перед отъездом. Не

дождавшись в этот раз, он пришел и на другой день, но к чиновнику его больше не допустили.

Так вполне благополучно закончилась эта история для обоих Мейеров, хотя могло случиться гораздо худшее. И оба они не узнали того, о чем знаем мы из обширнейшей и сложной переписки графов, канцлеров, посланников, военных и гражданских губернаторов, тщетно ловивших якобинца в белом фраке и голубых панталонах, именуемого в бумагах "извергом" и "злодеем". Потом эти бумаги рассеялись по архивам, из архивов были извлечены по частям историческими журналами, из журналов же любопытствующими изыскателями, как и сказано в книге пророка Иоиля:

"Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели кузнечики и оставшееся от кузнечиков доели мошки".

НЕСКЛОННОСТЬ К ЛЮБЛЕНИЮ

Тарахтела по мостовой подвода со скарбом синодского регистратора Максимова, сам же Александр Дмитриевич следовал по тротуару с независимым видом чиновника четырнадцатого класса, каковой чин действительно только что получил.

Остановилась подвода у дома портного мастера немца Иоганна Клокенберга, где Максимов снял меблированную комнату.

Ничего-то мы не знаем! Можно ли было думать, что такой пустяк, как переезд мельчайшего канцелярского служащего на новую квартиру, окажется источником исторического события и началом целого ряда странных и сложных ведомственных соображений!

Вселясь в комнату, синодский регистратор, человек не по годам обстоятельный и аккуратный, разобрал свои вещи и определил для каждой ее место.

Прежде всего, старательно вздев на палочку, повесил на стену рыжеватый фрак, обернув его подержанной шалью, как одежду, запрещенную при нынешнем царствовании; но не бросать же, и может случиться, что монарх вновь разрешит фраки, жилеты и панталоны.

Постельное белье, камзол спальный, колпак спальный же и прочее, к сну относящееся, положил на кровать.

Жабо и галстуки, платки шейные, платки для носа, карпетки простые и парадные – в верхний ящик комода; белые

камзольчики, полусорочки и исподние невыразимые – в средний ящик; нижний же ящик оставил свободным для белья, подлежащего мытью.

Ценные вещи, как часы луковкой карманные, колечко с сердоликом, тетрадка со списанными стихами, неприличные картинки, диплом четырнадцатого класса и другие важные документы, – в ящик стола; все остальное – на стол и на комод, в том числе письмовник Курганова, изданный сего 1800 года.

Подойдя затем к небольшому зеркалу, строго оговоренному при найме комнаты, Александр Дмитриевич не без удовольствия встретился взором со своим любимым существом, мысленно отметил превосходное совмещение в лице молодости и солидности, чередование в глазах ясности и томности, округлость щек и опрятность подбритых бачек. Обменявшись улыбкой с прекрасным двойником, синодский регистратор сказал вслух:

– Поздравляю ваше благородие с началом новой жизни и карьеры! Мордашечкой вас Бог не обидел, остальное же будет делом таланта и осторожности.

И события потекли.

* * *

Портной мастер Иоганн Клокенберг, шивший на знатных вельмож и чиновников, был весом тяжел, видом важен, нравом замкнут и чрезвычайно похож на философическое понятие “вещь в себе”.

Его супруга обладала грандиозностью во всех трех ей свойственных измерениях.

Те же измерения были, пока в неокончательно развитом виде, у ее дочери Катринхен, или Катерины Ивановны, унаследовавшей от отца рыжеватый оттенок волос, от матери – номер обуви. Но человеческое сердце при выборе помещения не всегда сообразуется с обстановкой: в груди Катринхен приютилось сердце нежнейшее, легкое на отклик, сделанное из пуха и пороха.

Января 25 дня того же 1800 года это сердце, невзирая на петербургский мороз, екнуло, вспыхнуло и взорвалось само собой, без малейших на него покушений, от простого действия двух глаз, чередовавших ясность и томность.

Описывать это нет времени, так как основная наша задача – описать события последующие, а их немало. Да и бессильно перо описать страсть, подобную солнечному удару.

Ни в чем не был причинен синодский регистратор. Правда, он прочитал ей стишки, но тяжкие и увесистые, как формы самой Катерины Ивановны. Однажды утром он нашел на полу просунутую ему под дверь записку, где кратко и ясно была выражена внезапная и пламенная ее любовь. На это письмо он ответил ей отлично, с канцелярской опрятностью, написанной им почти деловой бумагой, где осторожно излагалась неспособность к чувствам его ледяной натуры и были даны благоразумные советы забыть его в занятиях хозяйством и послушании родителям. И еще на две записки был ответ столь же осмотрительный и доказывающий рассудительность молодого человека, немедленно начавшего подыскивать себе другую квартиру в том же районе, близком к Синоду. Ввиду того, что помянутая девица, вняв голосу благоразумия, просила его лишь об одном – о маленьком сувенире, который она сохранит на всю жизнь, Александр Дмитриевич, – и это было, пожалуй, неосторожностью, – подарил ей праздно лежавшее у него золотое колечко с сердоликом, в свое время им полученное от другой девицы и ценности не представлявшее. Вот и все! Не в чем упрекнуть молодого чиновника.

Но события стерегли. Мать увидала колечко и нашла у дочери письма жильца. Семейный совет. Положение признано угрожающим. Помимо неприличия поведения дочери, – не может быть ей парой маленький синодский писарь, ей, отпрыску торгового дома Иоганна Клокенберга!

Мать держала Катринхен за плечи, отец всыпал ей в еще не вполне сформировавшуюся грандиозность количество ударов, установленное правилами немецкого католического воспитания несовершеннолетних.

Только хладные воды Мойки могли бы утолить страсть и смыть такой позор. Катринхен прыгнула, ахнула, и ее юбка образовала круг на поверхности воды. По счастью, два полицейских служителя, бывшие поблизости, услыхали крик, подоспели вовремя и не без труда извлекли из Мойки дочь портного мастера, после чего доставили ее в частный суд, где и допросил ее частный инспектор.

* * *

Это было уже в июле месяце, так как односторонний роман Максимова и Катринхен затянулся все же на полгода. Десятым числом июля помечен высочайший приказ нижеследующего содержания:

“Господин генерал от кавалерии граф фон дер Пален. Я усмотрел из сегодняшнего Вашего рапорта, что дочь портного Клокенберга из любви к регистратору Максимову хотела утопиться, и как я в обвенчании ее ничего противного не вижу, то предоставляю Вам оное совершить; пребываю в прочем Вам доброжелательным”.

На подлинном подписано собственною его императорского величества рукою так:

“Павел”.

Одно из преимуществ монархического самодержавного образа правления заключается в том, что единоличным приказом монаршей воли могут разрешаться сложнейшие жизненные хитросплетения и в один миг созидается счастье подданных, которым без этого пришлось бы долго и бесплодно обивать пороги канцелярий.

Было же дело так. 9 числа июля к вечеру полицеймейстер Зильбергарнеш доставил к господину военному губернатору Петру Алексеевичу фон дер Палену обезумевших от страха Катерину Клокенберг с матерью, а вслед за ними в таком же состоянии и регистратора Максимова. И хотя мать умоляла избавить ее дочь от неподобающего брака, хотя дочь плакала и выражала раскаяние, а чиновник решительно заявил, что он к люблению указанной девицы не склонен, – все же высокий администратор порешил испросить монаршего указания на устройство счастья немецкой девицы и ее кумира. Подозревают историки, что граф Пален любил толкать Павла на великие деяния, в предъявлении счета за которые сам Пален позже участвовал, – но нам в этом разбираться не приходится.

На другой день, по высочайшему указу, были обвенчаны в церкви Рождества Пресвятыя Богородицы чиновник с томным взором и покушавшаяся на самоутопление девица. И хотя священник возражал, что потребно было бы учинить сначала установленный церковью обыск, но полицеймейстер предъявил ему копию приказа, всякие возражения устранявшего.

Неизвестно, что ответила девица на вопрос священника, имеет ли она благое произволение стать женою рядом стоящего, что же касается до последнего, то он мрачно ответил, что выполняет волю государя императора.

Каковую волю в точности выполнив, молодые и полиция покинули церковь.

* * *

О семейной жизни Максимова и рожденной Клокенберг нам ничего не известно, но предполагать счастливым сей брак по высочайшему повелению мы не можем в силу нижеследующего.

В 1801 году, при участии того же графа фон дер Палена, оборвалось полное любопытных событий царствование Павла Петровича. Не выждав срока траура, синодский регистратор написал на казенной бумаге прошение на имя нового императора:

"Правосудие и милость твои облегчат несчастную судьбу мою, свершенную против моего желания, а чрез того лишен я милостей родителя моего и оставлен влачить жизнь в бедности и отчаянии".

И описал, как, несклонный к люблению, был повенчан силою при участии полиции и как ныне тяжко страдает, – "ибо какое благополучие может быть в том супружестве, где нет согласия, и по нищете обоих горестную жизнь влачащих".

Пошло дело к обер-прокурору Святейшего Синода, который, осведомившись, что несклонность Максимова к люблению не воспрепятствовала ему иметь с женой супружеское сожитие, и сославшись на мнение по сему предмету евангелиста Матфея, в главе 19-й в стихе 6-м изображенное, постановил "брак тот, не расторгая, утвердить в своей силе, о чем Максимову и объявить".

И было бы безгранично отчаяние несчастного мужа, если бы не старался новый император в первые годы своего царствования исправлять ошибки покойного родителя. Заработали ведомства, обер-прокуроры и генерал-прокуроры, и, хотя один ссылался на авторитет евангелиста, другой не преминул указать, что участие в совершении брака полиции "есть, между прочим, такой признак принуждения, коего ничем опровергнуть невозможно и который один составляет уже весьма важное против твердости сего брака предубеждение".

Допрашивали супругов, допрашивали и мамашу Катерины Ивановны.

Мамаша решительно заявила, что не слыхала в церкви, чтобы ее дочь выразила священнику согласие на обвенчание. Дочка призналась, что ничего из того времени не помнит, ибо была в страхе и великом смущении, сам же Максимов настаивал на своей полной и тогда, и сейчас несклонности к люблению портновой дочери, с которой имел он сожительство лишь по приказу свыше, как бы при исполнении обязаннос-

тей не столь супруга, сколь аккуратного чиновника, привыкшего подчиняться. Ко всему вдобавок – жизнь его нищенская, содержать жену не на что, и ее и его родители к их браку неблагосклонны, и было бы лучше и справедливее отпустить его на свободу и дать ему возможность вступить в другой брак, более соответствующий, она же, Катерина, может, по своей религии, беспрепятственно совершить то же самое.

Неизвестно, сколько бы времени протянулось дело, возбудившее столь важный междуведомственный спор и взволновавшее самого государя, если бы не был петербургский митрополит Амвросий великим знатоком человеческих сердец и угадчиком сокровенных желаний. За ошибки приходится платить, но прежде чем платить за них такой дорогой ценой, как расторжение брака, не попробовать ли утешить супруга некоторой суммой денег и обещанием определить к выгоднейшей должности, нежели какова ныне?

Улыбнулся генерал-прокурор Д. Трощинский, поколебался и император Александр: но только чтобы не было принуждения! Пусть сам регистратор решает свою судьбу! Хочет остаться в браке – выдать ему из кабинетских сумм одну тысячу рублей с обещанием повысить в должности. Не хочет – расторгнуть его брак, деньги же отдать целиком разведенной жене, чтобы легче могла найти нового мужа, а чрез то удалилась от всякого уныния и на себя покушения.

Так и было объявлено Максимову: выбирай для себя лучшее.

Нелегка жизнь маленького чиновника, а тысяча рублей – деньги большие. Главное – обидно, что при разводе получит их не он, а нелюбимая жена. Два дня думал Максимов, на третий день ответил, как требовалось, письменным заявлением:

"Имею счастье выслушать именное Его Императорского Величества соизволение и внимая милосердного монарха, призирающего с высоты престола к верноподданному своему снисхождению, коему повинуюся, яко гласу с небеси от Бога, остаюсь согласным продолжать брак мой, совершенный в 1800 году июля 10 числа, с дочерью немца Клокенберга Екатериной Ивановной, безразрывно навсегда, если ею, Катериною, оной брак, по точности правил святых отец, будет соблюден. О чем сие утверждая, дал сию своеручную подписку регистратор *Александр Максимов*".

Так, мудрым соизволением властей, несклонность к люблению жены уступила склонности к приобретению тысячи рублей с придачей обещания повышения по службе.

Тысяча рублей – на руки. Дело верное. Что же касается

повышения по службе, то его пришлось ожидать долго. Наконец, два года спустя, чрезвычайно кстати умер в Москве секретарь консистории – почтенная вакансия для кандидата, намеченного к повышению высочайшей властью. Похлопотал сам обер-прокурор Синода, и Максимов, собрав скарб и немецкую жену, готов был двинуться в первопрестольную столицу. И не будь у московского митрополита своего кандидата, все бы устроилось благополучно.

Но, видно, в книге судеб не был записан на счастливую страницу синодский регистратор, – и московский кандидат пересилил!

Сею новой неудачей кончаются исторические документы, а где молчит история, там досужая выдумка только портит дело. Одно можно сказать с уверенностью: не могла быть сладкой и жизнь Катерины Ивановны, связанной безразрывно навсегда с несклонным к люблению законным мужем, хотя и чиновником четырнадцатого класса!

ЧЕПЧИК НАБЕКРЕНЬ

За давностью времени, – прошло лет сто или сто двадцать, – трудно сказать, та ли это самая помещица, которая боялась неприличных слов, или была еще другая в том же Ново-Оскольском уезде. Но кажется, что та самая: Марьяна Петровна Тинькова, прославившаяся, между прочим, защитой плотины собственным телом от вторжения неприятельских банд, о чем здесь и будет пересказано со слов ее современников.

Каждому человеку естественно презирать некоторые слова и выражения. Например, император Павел Петрович приходил в истинный гнев от слов “обозрение”, “выполнение” и “врач”, казалось бы, совсем невинных; несколько понятнее, почему в 1797 году состоялось высочайшее повеление о замене слов “отечество” и “граждане” – словами “государство” и “жители” или “обыватели”, а слово “общество” было вообще запрещено употреблять.

Вот точно так же помещица Марьяна Петровна считала совершенно неприличным слово “мельница” и, краснея, поправляла говоривших:

– Ах, что вы! Мукомольня!

Ни разу с ее языка не сошло ужасное слово “яйца”, и на птичьем дворе она спрашивала в описательных выражениях:

– Даша, каков ныне урожай куриных фруктов?

Кроме того, она считала неаристократичной и для поря-

дочной женщины неприличной букву "х", по каковой причине не только называла стекло "фрусталем", но и собственный хутор именовала "футором Свистовкой". Она говорила: "Фуже быть не может" – и: "Уж эти мне фудожники!" Собственно, Марьяна Петровна не столько избегала слов и звуков, по ее мнению, неприличных, сколько любила слова изысканные и свидетельствующие о "форошем" воспитании. Различную погоду она называла "коловратной" или, наоборот, "зефирпогодой". Приемные дни "журкниксами". Склянка со скипидаром именовалась "фиалом любви"; это потому, что скипидар она вообще любила до страсти, протирала им полы, мебель, собственную грудь, мазала за ушами, принимала с водой, капала во щи и в кисель и душила им дочерей, пока они наконец не вышли замуж.

Именно Марьяна Петровна ввела в обиход выражение: "Какой пронзительный случай!", и она же отличала благосклонностью среди многих ловкого любезника, который обратился к ней с такой фразой:

– Позвольте оконечностям моих пальцев вкрасться в вашу табачную западню, дабы почерпнуть этого мельчайшего порошка для возбуждения моего гумора!

Этим любезником был, как известно, ее сосед по имению Федор Петрович Волков, отличнейший и деликатный человек, добрый хозяин и, как увидим дальше, человек находчивый. Какая обида, что их длительная дружба окончилась так трагически!

* * *

Прежде чем перейти к самому событию, расскажем об удивительной изобретательности помещицы Марьяны Петровны Тиньковой. При всех своих забавных черточках она была очень хозяйственна и практична и отлично воспитывала своих сенных девушек, которых держала при доме до двух десятков, сносно кормила и заставляла работать. Девушки вышивали гладью, ткали ковры, пряли, вязали и пели хором. Их работы неплохо продавались и окупали содержание с избытком. Летом девушки назначались на работы огородные и полевые, собирали в лесу малину, грибы, по речке – смородину, по полям – землянику и разные лечебные травы.

Хорошо обученная и воспитанная девка, ежели она к тому же не урод, стоила по тем временам двадцать пять – тридцать рублей серебром; но тиньковские девки ценились на рынке

куда дороже и были очень известны. Продавать девок отдельно от семьи было запрещено, но Марьяна Петровна была умна и изобретательна: она продавала их на сторону "выводным письмом".

Это делалось так. Продать нельзя, – но ведь может же девушка выйти замуж на сторону, не всегда же в своей деревне! А чтобы выйти за чужого крепостного человека, нужно было получить от своего помещика разрешение, выводное письмо, примерно такое:

"Девке моей такой-то позволяю выйти замуж за крестьянина или дворового такого-то помещика беспрепятственно, в чем и подписуюсь".

Письмо выдавалось на руки не девке, а владельцу жениха. И от священника прилагалось метрическое свидетельство заневестившейся девки.

Такое письмо для каждой девки заготовляла Марьяна Петровна, оставив чистыми места для имен жениха и помещика, а затем, как полагается, везла своих девок самолично на Коренную ярмарку. Там она показывала товар лицом и что девушка не рябая, собой здоровая, все на месте, работать умеет, всему обучена, одним словом, не какая-нибудь девка – тиньковская, наилучшей марки, с ручательством. Девку покупали, и помещик получал "выводное письмо" и уж сам выдавал девку за кого хотел, так что и закон соблюдался, и барыне был хороший доход за ее заботы о племенном выводе сенных девушек. Были, конечно, и слезы: девки плакать любят. Поплакавши – утешались, а после, по общему признанию, устраивались счастливо в чужих деревнях и производили здоровых ребят, тем способствуя процветанию российского государства.

* * *

Теперь – о самом происшествии. Как случилось, что Марьяна Петровна повздорила с соседом Федором Петровичем, сведений не осталось. Вышло ли промежду них что-то из-за потравы, а может быть, какая-нибудь проданная Волкову девка оказалась с легким изъяном, и получилось недоразумение, об этом из документов Ново-Оскольского уездного суда, которыми мы пользуемся, ничего усмотреть невозможно.

И было так, что поля и луга Федора Петровича лежали по ту сторону реки, а проезд к ним был возможен только через плотину, принадлежавшую Марьяне Петровне. Раньше никог-

да недоразумений не было: крестьяне ездили через плотину, и стало это обычаем. А тут вдруг Марьяна Петровна взбеленилась и объявила, что не пустит больше волковских крестьян ездить через ее плотину:

– Не фочу – и не пущу!

Время было самое страдное, уборка яровых; пропустишь дни – начнут хлеба осыпаться, а там, пожалуй, пойдут дожди, одним словом, каждая минута хозяину дорога. Двинулись волковские крестьяне с телегами к переезду, а на плотине тиньковские люди с рогатинами:

– Барыня не приказали пускать!

Те побежали за своим помещиком, эти – за своей барыней. Встретились бывшие друзья на самой плотине, и, вероятно, был между ними бойкий разговор, может быть, даже не в самых приличных выражениях, так что забыта была неуместность и "мельницы", и "яиц", и неприличной буквы "х". Опять-таки известий об этом не сохранилось. Но хорошо известно, что едва попытался помещик Волков гнать своих крестьян с подводами на тиньковскую плотину, как Марьяна Петровна собственной своей персоной, как была, в сиреневом капоте и чепце, легла поперек дороги и заявила:

– Через мой труп!

Так что это ей принадлежит изобретение знаменитого ныне метода поведения женщин при забастовках и манифестациях – ложиться под ноги лошадей: топчите, изверги, если не осталось в вас ни капли человеческого чувства!

Создалось положение поистине безвыходное. Ехать через барыню крестьяне, конечно, не решаются, объезда никакого нет, а барин гневается и ничего поделать не может. Жаловаться некому, да пока жалоба рассмотрится и выйдет решение, – пройдет не только страдная пора, а, может быть, и целый год.

И вот тут помещик Федор Петрович, – он был хитер, догадлив и очень осторожен, – придумал следующее. Он выбрал парней посильнее и поразумнее и приказал им легонько, со всей вежливостью и всей осторожностью, ни боли, ни увечья не причиняя и – Боже сохрани! – нечаянно не ущипнув и чего-нибудь не прищемивши, – отодвинуть Марьяну Петровну к сторонке с проезжей дороги и держать ее так, пока не проедут все телеги.

Марьяна Петровна стали визжать и биться, однако совладать с дюжими парнями, конечно, не могли. Были отодвинуты к сторонке и оттуда, гневаясь и истекая разными выражениями, обдумать которые было им некогда, с искренним возмущением наблюдали, как крестьянские телеги со скрипом,

но и спокойствием проехали по собственной, Марьяны Петровны, плотине, а за ними проследовали на сером коне и Федор Петрович, напоследки крикнув парням:

– Пусти ее, ребята!

Дальнейшего никакой художник не опишет, парни же спаслись бегством благополучно.

* * *

И вот начался суд – со всей тогдашней волокитой. И суд не о нарушении собственнических прав помещицы Тиньковой – тут и спора быть не могло, что права нарушены, – а об оскорблении личности помещичьей, о насилиях, учиненных женщине; короче говоря, Марьяна Петровна обвиняла Федора Петровича ни больше ни меньше как в покушении на убийство. И правда, могло случиться, что дворянка и рыхлая женщина скончалась бы тут же на месте от непереносного оскорбления.

Было одно затруднение для обеих сторон: отсутствие свидетелей. По закону крепостные крестьяне не могли давать показания ни за, ни против своих господ, и никого, кроме крепостных, при том происшествии не присутствовало.

И пошло то дело правильным письменным порядком: жалоба, запрос, ответ, доношение, отношение, заявление, отзыв на отношение, справка, извещение, опровержение – и по каждой бумажке хлопоты и великое крючкотворство.

Помещик Волков деяния своего, конечно, не отрицал, ссылался же на безвыходность своего положения и насущную деловую необходимость. Однако обращал внимание суда на то, что по его помещичьему приказу вышеупомянутые парни действовали со всею осторожностью, как бы передвигая вещь хрупкую и нежную, лишь временно и случайно мешавшую проезду лошадей, насилия же никакого не чинилось, а было все, напротив того, в пределах полной вежливости и заботливого отношения к женщине и дворянке. Самое же крайнее, что при сем могло случиться, это что у помещицы Марьяны Тиньковой, по случаю отодвигания ее особы к стороне от проезжей дороги, "сбился чепчик набекрень".

Может быть, в конце концов и помирились бы соседи, но этого "чепчик набекрень" Марьяна Петровна перенести не могла, потому что многое можно стерпеть, даже и покушение на жизнь, но нет возможности безнаказанно терпеть оскорбление в судебной бумаге подобным поистине неприличным

выражением! И в ближайшей ответной бумаге, поданной в суд, требовала Марьяна Петровна присудить помещика Волкова к жесточайшему наказанию за оскорбление ее дворянской чести словами “чепчик набекрень”, обидными и унизительными даже и для лиц податного сословия. И тогда затихшее было дело разгорелось с новой силой.

Сколь часто, однако, исследователям приходится встречаться с отсутствием положительных документов, относящихся к самому важному моменту исследуемого события. Нет сомнения, что по поводу действительно неуместного выражения, пожалуй, даже более неприличного, чем “мельница” и “яйца”, должна была существовать немалая переписка и, быть может, даже опрос экспертов и знающих людей. Но именно этого мы в делах уездного суда не находим, и все дело на исходе пятого года кончается краткой резолюцией суда:

“Дворянину Федору Петрову Волкову сделать замечание за неуместность его выражения “чепчик набекрень”, дело же по обвинению его в покушении на убийство дворянской вдовы Марьяны Петровой Тиньковой за отсутствием доказательств и свидетельских показаний производством прекратить и сдать в архив”.

Суд мудрый, хоть и не скорый. Думается, что обе стороны остались довольны. А засим – мирно продолжал хозяйствовать Федор Петрович, не упускала своих интересов и Марьяна Петровна, воспитывая сенных девушек на продажу и справляясь у птичницы по утрам:

– А каков ныне урожай куриных фруктов?

ГРОЗА

В поместье старой барыни, княгини Елизаветы Кирилловны, все на городскую ногу: убранство, прислуга, попугаи, арапчата, выезды, приемы, только что нет городского шума, по ночам поют соловьи и лают на луну деревенские собаки. Утро – тоже по-городскому, начинается в десять часов, когда барыня просыпается и звонит в серебряный колокольчик. К этому времени должны быть в сборе все придворные чины: обер-парикмахер, просто парикмахер, девка старшая гардеробная с помощницами, главный повар, камердинер, лекарь и все иные-прочие необходимые люди. Барынину моську приносит приставленная к ней горничная в наряде кормилицы. Все ждут в туалетной комнате, куда княгиню приводят под руки в спальном халате, и дальнейший туалет совершается в общем присутствии.

– Попугаю сливок давали ли?

– Давали, васиятьство.

– Бибиша как ночь проспала?

Кормилица докладывает подробно, как Бибиша, барынина моська, просыпалась ночью дважды и просилась на двор, а под утро во сне тявкала, верно, ей какой-нибудь приснился сон. После доклада Бибиша осторожно опускается на подушку рядом с креслом княгини; однако ей больше спать не хочется, и она норовит тяпнуть за ногу обер-парикмахера.

– Ты что дергаешься?

– Бибиша, васиятельство, очень за ногу кусает.

– Собачка играет, а ты чуть мне волос не выдернул! Небось всей ноги не откусит, можешь и потерпеть.

Все хозяйственные распоряжения делаются утром во время туалета. Тут же княгиня принимает и приезжих гостей, которые попроще, не смущаясь облекаться перед ними в корсет и во все подлежащие женские шкурки, вплоть до шелковой робы, темной в будни, светлой по праздникам. В единственное отличие от города княгиня не носит в деревне высоких причесок, а придумала для себя особую, деревенскую: волосы укладываются плотной лепешкой, и свои и чужие, и затягиваются, как чалмой, ярким шелковым платком с выпущенными по бокам концами. Но лицо пудрится и брови сурмятся непременно. И мушки лепятся – по настроению.

В молодости Елизавета Кирилловна была женщиной взбалмошной и характера непостоянного, но злой ее никто не считал, и даже с подданными – дворовыми и крестьянами – она никогда не была слишком сурова. Не в пример другим помещикам, не приказывала пороть крепостных по пустякам и даже считалась вольтерьянкой. Над собой же не признавала ни чужой власти, ни даже влияния и мужа держала в страхе и подчинении, что как раз тому и подходило по характеру. Прожив с женой двадцать пять лет, князь до самой смерти не научился угадывать ее желаний и постоянно попадал впросак: хочет угодить, – а выходит как раз наоборот. Доходило до того, что однажды он попросил ее со смиренным отчаянием:

– Милая моя княгинюшка, изволь ты мне нарисовать на бумаге, как я должен лежать в постеле, чтобы тебя не обеспокоить, а то ты меня всего ногами избрыкала!

За отличное его смирение княгиня, овдовевши, поставила ему в имении славный надгробный памятник, да, кстати, и себе приготовила место рядом. Теперь ей кончался шестой десяток, но была еще очень бодра и распорядительна, только реже наезжала в столицу.

Кто из родственников или преданных друзей хотел повидать княгиню, мог всегда приехать сюда и быть уверенным в добром приеме. Гостей княгиня ничем не стесняла, живи сколько хочешь, занимайся чем нравится, все к услугам: прогулка, охота, обильный стол, карты, только без азарта, полный отдых. Встречались за столом обеденным и вечерним, иногда же по вечерам была музыка. И если попадался умный просвещенный человек, княгиня охотно с ним беседовала и, бывало, поражала его не только ясностью мысли, а и редким по тому времени для женщины образованием: говорила и о политике, и о литературе, особенно французской, и о театре. Не любила сплетен, разве что уж очень собеседник зол и остроумен. Науки не чуралась и была любопытна порасспросить о месмерическом лечении и воздушном электричестве. Последнее особенно интересовало старую княгиню, так как, при всем ее здравомыслии, она панически, нестерпимо, неисправимо и до полной потери самообладания боялась грозы.

Грозой в доме Елизаветы Кирилловны заведовал лекарь, человек свободный, служивший на постоянном жалованье и давно проживавший в имении, конечно, не русский человек, а из немцев. В обычные дни он оставался незаметным, так как лечиться княгиня не любила, да и пользовалась отменным здоровьем; но если на небе показывалась подозрительная тучка, лекарь становился в доме первым человеком, как бы верховным командиром, которому на этот случай были подчинены все проживавшие в барском доме свободные и крепостные люди, да, кстати, и сама барыня, которую он должен был защищать от небесных стрел и безумного метания колесницы Ильи-Пророка.

* * *

Как раз в ночь под Ильин день была такая духота, что барыня спала с отворенными окнами, а Бибиша во сне тявкала и разговаривала. Солнце встало злым и краснорожим, люди ходили с пудовыми головами, куры жались в тень к стенке, петух свернул голову на сторону и смотрел в небо. Барынин лекарь, хоть и немец, знал доподлинно, что в Ильин день гроза бывает неизбежно, ничем ее отвести нельзя. Дождя давно не было, и барынин попик, учтя обычай Ильи-Пророка, наметил на этот день выйти в поле крестным ходом еще до тучки, чтобы успеть и домой засухо, а дождик, если будет, припи-

сать своему усердию. Сама Елизавета Кирилловна, по вольнодумству в Илью не верившая, все же встала черной тучей, отменила обычный туалет и каждые полчаса посылала девушку поглядеть, не видно ли на луговой стороне далекой тучки и все ли приготовлено на случай. До обеда солнце жгло неистово и небо было чисто, а в воздухе пахло гарью. В обед прилетел неведомо откуда горячий ветерок с холодными иголочками, поболтался, напугал птицу и скот, упорхнул куда неведомо, и наступила жуткая тишь. И вот тогда посланная девушка вернулась и доложила, что на луговой стороне небо чистое, а из-за леса словно бы ползет облачко, а какое – не разобрать. Не успела сказать, как тонкому барыниному слуху почудился первый отдаленный гром.

Береженого и Бог бережет. Кликнули лекаря, и пошла в доме суета. Ножки барыниной кровати на случай, что пожелает барыня лечь, еще с утра были поставлены в стеклянные банки. Теперь спешно запирали окна, задергивали тяжелые гардины, выносили из комнаты все железное и все шерстяное, выгоняли кошек и запирали их в подвал, даже Бибишу унесли в людскую, чтобы шерстью своей не привлекла часом воздушного электричества. Всем распоряжался немец, лично за грозу ответственный. Сам он облекся в шелковый кафтан, трем горничным княгини выдано было по шелковому платью, и чтобы не было на них не только ни шерстинки, а и полотна; платье напяливали на голое тело, ноги босые, на головах шелковые платки, и в них запрятаны волосы вместе с косами.

Слух не обманул княгиню – подошла тучка с громом, затмила солнце, окутала небо. Но к этому времени уже успели посадить старую барыню на высокое кресло, поставленное на деревянный помост, крытый шелковой материей, а под помостом дюжины две стеклянных банок, так что с полом и землей никакого общения. Уши у княгини заткнуты чесаным хлопком, голова обмотана шелковыми платками, только дырочки оставлены для носа и для глаз. Молнии в наглухо закрытой комнате не видно, а чтобы заглушить гром, приказано явиться в покой парням с балалайками и всем певчим девкам и водить вокруг барыниного кресла хоровод. И чтобы пели веселое и притаптывали ногами, а для поощрения розданы девкам пряники и леденцы, а парням поднесено по стакану водки.

От пения, от пляски, от водки, от дыхания в комнате давно нет воздуха, да еще в такой горячий день. Но терпят все, как терпит и княгиня, неподвижно сидящая на стеклянных

банках среди хоровода. Девушки в шелках брызгают ей под нос лавандовой водой, от которой дышать еще труднее. Уж лучше задохнуться, чем подвергнуться опасностям грозы, которая человека, сидящего на стекле, тронуть все же никак не может.

Время от времени лекарь выбегает на крыльцо поглядеть, проходит ли гроза бочком или затянется надолго. Затяжная гроза для него выгоднее, так как больше будет благодарности от княгини своему спасителю. И только когда уходит последнее облачко и открывает обновленное и чистенькое солнце, лекарь дает знак парням и девкам расходиться. С осторожностью и постепенностью прислуга отдергивает гардины, растворяет ставни и окна, и главный командующий с шелковыми девушками снимают княгиню с помоста и раскутывают ей голову. Ослабевшую, отводят ее в спальню и укладывают отдохнуть на кровать, пока подметаются полы и курительными свечками изгоняется крепкий дух дворовых песенников и плясунов; лучше свечек действует послегрозовой воздух, сменивший дневную духоту.

* * *

После хорошей грозы в барском доме праздник. Об этом хорошо знают и домашние, и соседи, налетающие со всех сторон поздравить княгиню с избавлением от опасности. И хотя бы гроза была пустяшная и едва освежила зелень, каждый спешит рассказать, как на его глазах ударила молния в вековой дуб, под которым он укрылся от дождя, и как той молнией и дуб и его чуть не расщепило надвое. Княгиня слушает рассказы, не верит ни единому слову, а все же ужасается и содрогается:

– Бог с ней, с грозой, уж лучше про нее забыть. И кто только придумал воздушное электричество!

Слова почти кощунственные, но княгине они в счет не ставятся. Да и мало кому известны такие мудреные и ученые выражения. Конечно, женщина образованная и из высокого света, недаром держала мужа в смирении и послушании.

После грозы и лекарь ходит, высоко подняв голову. Это он придумал водружать княгиню на помост со стеклянными банками – по последнему слову науки. Во всем остальном княгиня мало его слушает и даже никогда не позволяла отворить себе кровь. Порезы она лечит паутиной, головную боль – клюквой в уши, брюшную боль – настойкой на зверобое, а

иных болезней не знает. Немец же знает все, вплоть до модного животного магнетизма. В своей стране он мог бы прославить искусством свое имя, но в своей стране не накопишь и десятой доли того, что доставляет ему легкая служба у княгини по усмирению грозы.

– Кучера мне вылечи. Степенный мужик, во всем хорош, а пропадает от запоя. Что в вашей науке для этого придумано?

– Пьяниц нужно сажать в тюрьму и не давать пить.

– А кто меня тогда возить будет?

И княгиня лечит кучера сама: приказывает давать ему пить каждый день по стакану водки, настоянной на тухлых раках. И сколько ни пьет кучер – не может привыкнуть, с души воротит. По четвертому разу валяется в ногах у княгини, дает зарок на всю жизнь позабыть проклятое зелье, только бы больше его не лечили. Держит зарок иной раз месяц и больше – пока раковая тухлятина не исчезнет совсем из памяти. А нарушил обет – опять начинается лечение, и стакан ему подносит сама княгиня Елизавета Кирилловна, отказаться нельзя.

Обидно немцу такое русское невежество, но княгине он не противоречит. Знает, что едва покажется на летнем небе черная тучка, как снова он будет первым в доме человеком и княгиня, послав девку поглядеть на небо, прикажет ей дополнительно:

– Да позови этого, как его, хера Доннерветера!

ОЗОРНОЙ КОЛОКОЛ

В ту самую минуту, как священник повел жениха и невесту вкруг налоя, случилось то, чего никогда не бывало дотоле и, думать надо, впредь никогда не случится: брачные венцы, серебряные, подбитые розовой тафтой, слетев с голов брачующихся, поднялись, как две пташки, на воздух, улетели под самый купол, выпорхнули в боковые окошки и уселись на колокольне под наружными крестами. Все в церкви ахнули, священник прекратил венчание, жених с невестой пали на пол бездыханными, и случившемуся нужно радоваться, потому что мог свершиться величайший грех: были жених и невеста родными братом и сестрой!

Слух о таком чудесном происшествии разнесся по всей Москве, и не было человека, не только вздорной бабы, а и степенного мужчины, который не побежал бы на другой день посмотреть на колокольню, а дальние люди приезжали на

своих лошадях целыми семействами. Однако венцов не было видно, а церковь была заперта. Тут на площади людишки бойко торговали квасом, кислыми щами и печатными пряниками и была также пожива ловким карманникам. И будто бы приходский священник, то венчание справлявший, отрицал всякое событие: и венчания не было, и не было таких жениха с невестой, и венцы не летали и под колокола не садились, а все это не иначе как выдумка литейщиков Маторинского завода, обычный "колокольный рассказ".

И действительно, был такой веками освященный обычай, что ко дню отливки нового колокола пускался самый чудесный и нелепый слух. И если с той выдумкой будет удача – удача будет и с колоколом.

Дело это было сложно, и приступали к нему с соблюдением строгого чина. День и ночь в плавильной печи поддерживали рабочие огонь березовыми и сосновыми поленьями: на 100 пудов меди – три сажени дров, на 1000 – не менее десяти сажен. Когда вся медь расплавится, перед самой отливкой прибавляли на 100 фунтов меди 22 фунта олова, а голых мастеров, которые размешивали клокочущий и адом пышущий сплав, другие окатывали из ведер холодной водой. Допускались к присутствию люди набожные и богатые, любители колокольного дела, которые бросали в сплав серебро, а иные и золотые монеты – для чистого звона и для спасения души. А к часу литья хозяин сам приносил в заводскую мастерскую освященную икону, собирал всех рабочих и читал соответственную случаю молитву, а все хором ее повторяли. По окончании молитвы давал хозяин знак начинать. Несколько опытных рабочих брали наперевес особый чугунный рычаг, раскачивали его мерно, точно и по команде и пробивали у плавильной печи отверстие пода. Из отверстия выливался пылающий и слепящий глаза жидкий огонь, и теперь все дело было в том, чтобы не дать ему безумствовать, а пустить его ровным потоком по желобу в заготовленную форму. Если желоб перельется через край, – все дело пропало, медь выльется зря, и может не хватить ее для наполнения формы, хотя бы только на колокольные уши; тогда плавь и переливай все заново.

По отливке колокол несколько дней – смотря по величине – стынет в земле. А когда остыл, отрывают его со всей осторожностью, разбивают кожух, и колокол переносят в точильню. Все это легко рассказать, а труд и искусство требовались неимоверные. И великая требовалась сила – не как теперь, когда подъемным краном один рабочий может поднять

пушинкой многопудовую тяжесть и направить ее куда угодно.

И вот колокол готов, и зовут попа свершить чин освящения кампана: "Яко услышавше вернии раби глас звука его, в благочестии и вере укрепятся и мужественно всем дьявольским наветам сопротиво станут... да утолятся же и утишатся и пристанут нападающие бури ветряные, грады же и вихри и громы страшные и молнии злорастворения и вредные воздухи гласом его".

Стоит колокол нов и светел, ждет, когда вздымут его на предназначенную ему высь и раскачают ему язык: "Выйду я на гой-гой-гой, и ударю я гой-гой-гой!" Первый звон главный, самый слышный, густой и ровный; второй звон – гул, остающийся надолго; третьего звона, острого, не должно быть слышно отдельно, он должен сливаться с двумя первыми, чтобы был колокольный голос чистым и певучим; иначе будет колокол не звонить, а звенеть, не гудеть, а напрасно беспокоить ухо.

Колокола – что соловьи. Для простого уха – все одинаковы, для знатока и любителя – у каждого своя неповторимая песня. Как у каждого соловьиного колена и перевода есть свое имя, так имели имена и многие колокольные звоны: Ионин, Георгиевский, Иоакимовский, что в Ростовском соборе; всех колоколов там тринадцать, различного веса, от двух пудов до двадцати, повешены в линию, и звонари бьют в них согласно и концертно. И у самых колоколов ростовских свои имена, из них знаменитые: Сысой, Полиелейный, Лебедь (будто бы прозван так за сходство его звона с "лебединой песней"), Голодарь (который благовестил в Великий пост), Баран, Козел (не в насмешку так прозваны, а за отличие, и тоже любимцы), Ясак, Красный.

Красные колокола были и в Москве. Красный – значит прекрасный, веселый, напевный, усладительный. Красным звоном была знаменита в Юшковом переулке церковь святителя Николая, так и называвшаяся – "У красных колоколов". Еще лучшее название носил храм за Неглинной, на Никитской улице: "Вознесенья хорошая колокольница". Всех колоколов краснее и певучее были Симоновский в Москве и Саввино-Сторожевский в Звенигороде, и это потому, что дно у них много потоньше краев и сплав чудно хорош. Симоновский колокол лил великий художник – мастер Харитонка Иванов сын Попов с товарищем Петром Харитоновым сыном Дурасовым в лето от создания мира 7186-е, при царе Федоре Алексеевиче. Саввино-Сторожевский колокол лит мастером Григорьевым на десять лет раньше и знаменит еще своей над-

писью тайного письма, которую с большим трудом разобрали ученые-историки.

Когда звонишь в колокол – клади в уши ягоды калины, рябины или клюквы, а то скоро оглохнешь. Иные привыкают звонить с открытым ртом. Были у нас искусные звонари – на шесть, на семь и на девять переборов, хотя нет на свете звонарей лучше английских. Зато мы брали весом, и в этом перегнали даже старую страну колоколов – Китай: в Царь-колоколе весу 12 372 пуда 19 фунтов. А разбит он при пожаре от копеечной свечки.

Были колокола, как люди: и степенные, законопослушные, в житии своем мирные, и озорные, мятежные, великие бунтари. Благовестные висели мирно веками, а буйственные попадали в плен и уходили в ссылку. Иным было дано многолетнее житие, другие кончали свою жизнь инвалидами, в трещинах, обвязанные лыком. А иным колоколам за их проказы урезывали, как и людям, язык.

Было такое неспокойное место в Москве – полубашенка Спасских ворот. По преданию, там висел всполошный, набатный колокол, привезенный в Москву из Великого Новгорода Иваном Третьим; возможно, что он был перелит из новгородского. Но переливка не помогла, и колокол однажды в полночь напугал царя Федора Алексеевича, за что был сослан в Карельский монастырь. Его сменил другой набатный колокол, после попавший сначала в Арсенал, а затем в Оружейную палату.

Из всех московских колоколов этот был, кажется, самым озорным, что и понятно, потому что били в него всполохом в тревожных случаях – при пожарах и мятежах. Весу в нем было всего 108 пудов, немного, по московскому счету; но язык его был зол и тревожен. Был страшен его звон в дни стрелецких возмущений и мрачно гудел при стрелецких же казнях. Этого колокола боялись все цари. Когда не было еще ни газет, ни "общественного мнения", ни иных способов и путей народного волеизъявления, набатный колокол был единственным прибежищем и последней надеждой. У него был свой расчет и свои ожидания. В дни Екатерины Второй он поджидал великих событий, когда уже ползли из отдаления слухи о народных возмущениях, но Москва была еще покойна. В 1771 году колокол сделал первую пробу. Пришла чума и принесла общую растерянность московского начальства. На улицах валялись трупы, кто мог и был побогаче, тот успел выбраться из города, развозя с собой и чуму по соседним губерниям. Забрав свои пожитки, удрал из Москвы в свою подмосковную глав-

нокомандующий Салтыков. И когда был пущен слух, что доктора отравляют колодцы, а начальство валит в одну могилу и больных и здоровых, тогда Спасский набатный колокол забил тревогу. Был день ужаса и жестокой расправы не с виновными, – если они и были, то унесли ноги, – а со всеми, кто намозолил глаза московскому люду, а главное, кто попался под руку. За народной расправой последовала расправа полицейская, и колокол умолк до нового случая. Этим случаем должен был явиться Пугачев, и кто знает, сколько глаз поглядывало на всполошный колокол, сколько ушей прислушивалось, не раздастся ли его призывный гул! Но Пугачев не пришел на Москву – его привезли связанным и четвертовали. С ним вместе был казнен и колокол: у него отняли язык за чумной бунт.

Такова была судьба набатного колокола, отлитого мастером Иваном Маториным.

И когда в жизни этого колокола кончилось трагическое, тогда у трупа его началась чиновничья комедия.

В 1803 году из-за него поссорились два чиновника, главноуправляющий и главнокомандующий. Главноуправляющий Кремлевской экспедицией Валуев давно точил зубы на озорной колокол; это он был тайным хранителем преступного колокольного языка. Теперь, ввиду непрочности Спасской башенки, он приказал снять колокол совсем и отправить его в кладовые. Колокол сняли, но на площади он был арестован комендантом, который приставил к нему двоих солдат. Коменданта Валуев обвинил в самоуправстве, – за коменданта заступился московский главнокомандующий граф Салтыков, сын убежавшего во время чумы. И пока стоял на площади безъязычный колокол, почтенные вельможи чесали языками и устно и письменно, черня друг друга и строча доносы.

Валуев писал министру Трощинскому, что, лишь руководясь понятием своим о пользе казны и славе государей, приказал он убрать колокол, служащий возвестителем всех возмущений и бунта во время чумы в царствование Екатерины Премудрой. По сей причине он еще раньше припрятал язык оного колокола как памятника зол российских, который должен быть забыт всеми благомыслящими сынами отечества. Сверх того это – памятник бесславия покойного отца нынешнего главнокомандующего, о чем напрасно сей главнокомандующий забывает. Что до коменданта, то комендант – известный пьяница и стяжатель, украшает свой дом дворцовыми мебелями, велит набивать на казенный счет льдом свои погреба и не может того сообразить, что не принадлежат колокола военной дисциплине. Он же, Валуев, давно оправдал и

покровительство начальства, и монаршее благоволение и снискал всех московских жителей эстиму.

Со своей стороны соответствующее отписывал в Петербург и главнокомандующий. В ожидании конца чиновничьей перепалки колокол стоял на кремлевской площади, люди ходили мимо и посмеивались над арестантом. После вышел высочайший приказ: колокол оставить на башенке; если же нужно башенку чинить, колокол хранить в надежном месте, а по починке – вешать обратно.

Но возвращать и вешать его, по-видимому, не пришлось. Он скончал свои дни в Оружейной палате. На Спасской башне вместо колокола заиграли куранты масонский гимн "Коль славен наш Господь в Сионе". С непокрытой головой проходили москвичи через Спасские ворота. Потом пришли иные люди, и куранты заиграли "Интернационал". Что еще им суждено заиграть и суждено ли – никто того не ведает.

ПАСТОР В МУНДИРЕ

Рижский пастор Август Албанус был средним проповедником, но очень представительным мужчиной; кроме того, он был еще писателем – так именуют его справочники; но было угодно судьбе, чтобы из его писаний наиболее замечательными оказались столько же величественные, сколько и иронические его письма в рижский магистрат и, наоборот, почтительная жалоба на этот магистрат в Министерство народного просвещения. Пастор писал по-русски и вообще был законопослушен, за что и назначен губернским директором лифляндских школ с чином седьмого класса. Были первые годы девятнадцатого века, и было пастору Августу Албанусу под сорок лет.

Тезка пастора, император Август, носил, конечно, тогу, притом пурпурового цвета; обладая совершенно таким же римским носом, пастор Албанус носил черный кафтан безо всяких украшений – при исполнении проповеднических обязанностей, и синий кафтан, с таковыми же обшлагами и черным воротником – в приватной жизни.

В такой одежде трудно выделиться даже при величественной природной осанке. Стоит только вспомнить, как в первые годы царствования Александра вспыхнул блеск нарядов, погашенный мрачным правлением Павла! Каждый мелкий чинуша норовил облечься в голубой фрак, при светло-серых панталонах из кашмира и шелкового трико, при малиновом

жилете, атласном белом галстуке и туго крахмаленной белой рубашке с брызжами. А прически – с собачьими ушами и эксперансами; а сучковатые дубинки под названием "друа де л'ом"! И еще не забудьте, что не умер екатерининский кафтан, башмаки с лентами, выставка на одной шее дюжины платков и косынок, так что от человека зависело, остаться ли ему при пышных буклях и пудре старины или блеснуть платьем энкруаябль, шляпой а ля Робинзон, панталонами с узором по бантам, сапогами а ля юсар. А бриллианты, снова повылезавшие из шкатулок на свет Божий и свет придворный, а меха туруханских волков и соболей! Конечно, в Риге жизнь была скромнее петербургской, но все-таки каждый старался выказать свой вкус и свое знание современной моды.

Пастор Албанус смотрит на себя в зеркало; из зеркала смотрит на него человек в цветущем возрасте, с отлично развитыми мускулами и грудью если не колесом, то уж, во всяком случае, не доской.

В последнее воскресенье пастор говорил прихожанам о величии человеческого духа и о бренности внешнего и временного. Истина не нуждается в прикрасах, справедливость чуждается пышности, совесть презирает наряды; в гробах повапленных – мерзость и пустота!

Такую речь можно произнести только в простом черном кафтане служителя религии.

Но иное дело – губернский директор школ, представитель правительства, чиновник седьмого класса. Он не должен быть одетым скромнее первого встречного и беднее писаря канцелярии. Не только словом, но и внешним своим видом он должен внушать уважение и удивление. Одно – прихожане, другое – подчиненные. И стократ права власть предержащая, издавшая циркуляр о ношении мундира всеми школьными чиновниками.

Пастор Албанус потому и стоит перед зеркалом, что сегодня он впервые примерил мундир своего ведомства по высочайше предписанной форме: синий кафтан, черный воротник, шитый золотом, гладкие желтые пуговицы. У левого бедра в кафтане прорез для гражданской шпаги. Август Албанус, директор школ, оттягивает момент полного вооружения, хотя шпага с золотой рукояткой и золотой кистью, новенькая, блещущая, влекущая, лежит на камине под зеркалом. Шпага – пустяк, безделушка. Конечно, гражданская шпага – эмблема личного благородства, а не насилия, как военная. Шпага чиновника не отточена, она – символ в ножнах, напоминание об авторитете власти, знак доверия императора. Впрочем,

меч носили и апостолы; мечом защищали веру крестоносцы.

Шпага в прорез – и Август Албанус окончательно похож на неистового Роланда гражданского образца. Во всяком случае, редко кому так идет мундир, как губернскому директору лифляндских школ!

Кто-нибудь может подумать, что пастор Албанус дорожит пустяками призрачной внешности. Нет, он только лоялен и исполнителен, он должен показывать пример послушания высочайшему приказу.

Как директор он подчинен ведомству народного просвещения; как проповедник – рижскому магистрату. Как тонкий политик – он хорошо сделает, если заранее предупредит возможное недоразумение. Всякому известно, что магистрат любит проявлять свою независимость и противодействовать разумным распоряжениям петербургского правительства. К тому же магистрат почему-то недолюбливает пастора Албануса: очевидно, интриги!

Итак:

"Сим извещаю рижский магистрат, что высочайшим повелением предписано отныне всем школьным чиновникам носить мундир установленного образца".

Ответ магистрата на отношение пастора Албануса:

"Рижский магистрат выражает уверенность, что Дерптский университет уволит от ношения мундира директора школ, пока таковой состоит пастором".

Ах, так? Уволить от ношения, когда мундир уже готов? По прихоти магистрата Август Албанус будет носить черный кафтан, в то время как пастор Мюллер, яко учитель рижской гимназии, и пастор Фрейтаг, яко инспектор венденской школы, и пастор Прейс, яко той же школы учитель, – все они облекутся в мундир, что уже дозволено им генерал-суперинтендантом Зонтагом!

Август Албанус решительным жестом вытягивает из ножен тупую железную шпагу. Пусть она тупа, но остер язык пастора!

"Имею объявить: ношение мундира высочайше повелено всем учителям и паче директорам школ, следовательно, и мне, яко директору лифляндских школ. Поелику Его Императорское Величество предписал мне мундир, то уже, по верноподданническому долгу, не буду признавать власти, которая могла бы уволить меня от послушания высочайшему указу".

Магистрат полагает, что мундир, шитый золотом, может подать соблазн прихожанам. Какой вздор! Кого хочет учить магистрат?

Лучше других знает пастор Албанус, когда он должен быть в скромной одежде проповедника и когда в блеске директорского облачения!

"Магистрат, яко имеющий верховное право епископа рижского, может твердо быть уверен, что ни один разумный член нашего общества не будет досадовать на мое послушание высочайшему указу или на то, что я должен и хочу напрягать силы свои для образования юношества города и всей губернии в кафтане, сделанном по предписанной форме. Если ж, что совсем невероятно, кто-либо найдется, который не может сообразить сие с духовным саном, то я покорнейше прошу прислать его ко мне, и я тогда дружески докажу ему, что синий кафтан следует при исправлении директорской должности, а черный – при пасторской, и что оба одеяния, каждое в своем месте, дозволено".

Написав письмо, Август Албанус вкладывает шпагу обратно в ножны, прицепляет к бедру и, выпрямив грудь директора школ, выходит на улицу. В удивлении замирает будочник. Жмется к стене дома встречный прихожанин. Женщина в платочке спешно переходит на другую сторону улицы. Мальчишки следуют за ним в восторге, не смея подойти слишком близко. Солнце выходит из-за облака специально, чтобы озарить лучами золото шитого воротника. Август Албанус шествует военной походкой, уверенно стуча каблуками новых сапог. Он делает круг по улицам Риги и возвращается домой: Рига побеждена.

Но еще не побежден рижский магистрат, бессильный предписывать директору школ, но начальствующий над пасторами. На стороне магистрата консистория; на стороне консистории общественное мнение: "Перемена проповеднической одежды на шитый золотом гражданский мундир даже и просвещенным не полюбилась, кольми иначе же менее просвещенным людям!" Обер-пастор Либориус Бергман на дружеское внушение слышит решительный ответ:

– В рассуждении сложения школьного мундира предписания не исполню, но с первою почтой отпишу в комиссию о школах Дерптского университета.

– Дорогой Албанус, но нельзя же писать в деловой бумаге, что вы отказываетесь признавать властей!

– Не могу признавать власть, идущую против высочайшего повеления.

Второй выход в сияющем мундире Августа Албануса. Шепчутся прохожие. Рига делится на партии: Рига пастора Албануса и Рига магистрата. Женщины на стороне мундира, муж-

чины на стороне гражданских кафтанов. Соблазн расшатывает спокойную семейную жизнь города. В воздухе чувствуется война.

Рижский магистрат выдвигает дальнобойное орудие – на его стороне оказался сам военный губернатор граф Буксгевден. Однако положение спорное, разрешить которое может только министр юстиции князь Лопухин и юстиц-коллегия.

Можно ли сомневаться во всемогуществе графа Буксгевдена? Но напрасно торжествует рижский магистрат: Август Албанус умеет защищать свой мундир! Пишет письмо военный губернатор, но уже послано письмо директора школ.

31 декабря 1804 года курьер военного губернатора выехал из Риги, проклиная свою судьбу. Вечером будет веселье, встреча Нового года, а тут приходится тащиться в холод и вьюгу по скверным дорогам в Петербург.

31 декабря того же года выехал из Петербурга в совершенно таком же расположении духа и курьер юстиц-коллегии в Ригу.

В сумке рижского курьера было, в числе других бумаг, письмо графа Буксгевдена министру Лопухину. Нужно действительно положить конец неприличному поведению пастора Албануса, щеголяющего в мундире и не желающего слушать приказы магистрата, своего непосредственного начальства.

В сумке курьера петербургского – очень важная и крайне неприятная для графа бумага. По жалобе директора лифляндских школ Августа Албануса Министерство просвещения, обиженное за своего чиновника, испросило высочайший рескрипт на имя графа:

"Из донесения по части Министерства просвещения доходит до моего сведения, что рижская городская ратуша лифляндскому директору училищ Албанусу воспрещает носить мундир, в учебном округе употребляемый. Обстоятельство сие ставлю Вам на замечание, почему упомянутая ратуша входит в оное, яко дело, ей не принадлежащее".

Мирно почивает Август Албанус; мирно висят в его платяном шкафу скромный сюртук пастора и блестящий мундир директора. На маленькой станции между Ригой и Петербургом встретились два курьера, пожаловались друг другу на судьбу, выпили по чарке и более – и разъехались каждый в свою сторону. Ухмыляются члены магистрата, наконец унизившие непокорного пастора, зевает от скуки граф Буксгевден, охотно променявший бы Ригу на Петербург.

И вдруг – гром в январском небе. Военный губернатор получил нагоняй за пастора Албануса.

Положение воистину губернаторское! Хуже всего, что письма разошлись в дороге и мнение губернатора, противоречащее мнению императора, придет с опозданием. Знай губернатор раньше о мнении императора, было бы иным и его собственное мнение.

По счастию, Август Албанус поименован в высочайшем рескрипте директором, но не назван пастором. Но известно ли было его величеству это побочное обстоятельство? Во всяком случае, оно может служить объяснением, почему военному губернатору действия магистрата показались не лишенными некоторой справедливости и, во всяком случае, подлежащими суждению юстиц-коллегии. Однако если государь император и при этом осложняющем дело обстоятельстве повелит пастору Албанусу носить мундир ведомства просвещения, то военный губернатор не упустит немедленно указать рижскому магистрату на неправильность его действий.

Не отдохнув, петербургский курьер садится с пакетом в дорожную кибитку. Пастор Албанус чистит пуговицы на директорском мундире; члены магистрата уныло беседуют об очередных делах. Курьер рижский, возвращаясь после недельного пребывания в Петербурге, лупит в спину ямщика.

15 января всей Риге известно, что пастор Албанус выиграл сражение: высочайший приказ получил подтверждение в повторной бумаге. Отныне мундир может и должен носить не только директор, но и пастор Август Албанус, и рижский магистрат никоим образом не должен совать нос не в свое дело.

Третий выход пастора Августа Албануса в сияющем мундире. Если бы не жестокий мороз, директор лифляндских школ вышел бы без шубы. Но и в шубе он достаточно величествен, тем более что из меховой опушки ее ворота поблескивает шитый золотом воротник. Знакомые и прихожане приветствуют героя; незнакомые смотрят с почтением на победителя не только магистрата, но и самого военного губернатора.

Так на заре девятнадцатого века стойкость законопослушного восторжествовала над пороком общественности.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОРОДА

В начальные годы девятнадцатого века появился в городе А. молодой человек, присланный из столицы занять административную должность в одной из многочисленных губернских канцелярий. Если мы пишем “город А.”, а не попросту

всеми буквами, то только потому, что достоверность относящихся к рассказу фактов не всегда подтверждается документами, так что иной раз не разберешь, что нами вычитано из старых книг, а что, без особой натяжки, может быть отнесено к счастливому творчеству фантазии. По той же причине и герой рассказа, фамилия которого отлично известна (С–н), будет у нас назван лишь по имени-отчеству собственного измышления – Игнатий Никитич.

Никто в городе не заметил прибывшего, если бы он сам не поспешил обратить на себя общее внимание непозволительным и неслыханным поступком: он ударил по лицу богатого местного кулака, имевшего дело в канцелярии и сунувшего молодому человеку взятку, что было, конечно, вполне в обычае. Сослуживцы замерли в изумлении и страхе, а кулак взбесился и побежал жаловаться высокому начальству.

Начальство, разумеется, вызвало чиновника и начало его распекать:

– Не только прогоню со службы, но и отдам под суд! Да как вы осмелились!

– А известно ли вам, за что я его ударил? Он хотел дать мне взятку!

– Подумаешь, какая невинность!

– Значит, вы защищаете взятки?

– Не извольте учить меня, молодой человек! Взяткодателей и взяточников карает суд, а вам этого никто не поручал. Извольте убираться вон!

Молодой человек спокойно ответил:

– Я к вам прислан из Петербурга, и без приказа из Петербурга я не уйду. А взяткодателей и взяткобрателей буду нещадно бить по морде, в том числе, ежели понадобится, и ваше высокоблагородие.

Вышел скандал невообразимый, и начальник пожаловался губернатору, требуя удаления чиновника силой. И однако, губернатор, осведомившись о фамилии молодого человека, многозначительно поджал губы и сказал:

– Убрать его можно, но кто поручится за последствия? Ведь он – сын петербургского вельможи, человек с огромными связями, сосланный сюда за шалости подобного же рода. Притом он очень богат и еще имеет получить огромное наследство. Так что вы подумайте, тем более что в дело замешалась попытка открытой взятки и может пасть тень на вашу канцелярию.

Начальник был ошарашен: неужто же так и стерпеть? И однако, сам он был отъявленным взяточником и имел основание бояться всякой огласки или ревизии.

Было решено, что губернатор вызовет чиновника и сделает ему примерное внушение, а обиженного кулака как-нибудь удовлетворит и успокоит начальник.

– Вы там уже найдете способ. Кстати, пускай он в другой раз поступает осмотрительнее.

Вот какие времена пришли! Ничего подобного раньше не бывало! Начальник вернулся присмиревшим, а чиновник спокойно продолжал служить: выдавал просителям справки.

Стало, кроме того, известным, что, вызванный губернатором, молодой человек ему заявил:

– Взяточников буду бить безо всякой пощады. И вообще негодяев.

– Я понимаю ваше возмущение, молодой человек... кажется, Игнатий Никитич? Я и сам, Игнатий Никитич, э... возмущаюсь. Но для подобных воздействий есть суд и полицейская власть, и нельзя же самоуправствовать.

Подумав, молодой человек ответил:

– В судах – волокита и взяточничество. В полиции – то же, вы сами знаете. А впрочем, обещаю вам впредь самоуправство в присутственном месте не учинять. Да, кстати, скоро подам в отставку, мне эта служба надоела.

Чему был губернатор, разумеется, радехонек. И даже в Петербург ничего не отписал.

* * *

Сразу Игнатий Никитич вошел в моду! Все его приглашают, дамы к нему льнут, мужчины нашептывают ему один про другого разные гадости: “Вот бы этому морду набить! Хапуга неистовый!” Игнатий Никитич посмеивается и отмалчивается. В городе он нанял себе большой каменный дом, обставил богато, не чужд гостеприимства, и сам губернатор обедывал у него с другими крупными чиновниками, купцами и откупщиками.

31 декабря, под Новый год, скандальное происшествие: гражданской палаты начальника отделения забрали на улице какие-то молодцы-сорванцы, голову в мешок, приволокли в неведомый подвал и там учинили ему незаконный суд:

– Поелику ты, сукин сын, помог за взятку купцу Патрашину обидеть бедную вдову и оттягать у нее владение, то подлежишь ты, такой и этакий, наказанию линьками – пятьдесят ударов.

Судил судья в маске и богатом халате, и те молодцы, что его взяли, тоже были в масках. И тут же начальника отделе-

ния выпороли так, что исполосовали ему спину и причинное место. Выпоров, вывезли его на розвальнях за город и выпустили на волю.

Ахнули в городе. С первого числа января по седьмое только об этом и говорили. Седьмого же числа заговорили о другом происшествии, совсем удивительном.

По казенным подрядам работал купец Баранников, жулик первостатейный, закупивший всех нужных чиновников. 7 января вечером прибежал к Баранникову один из чиновников, очень расстроенный, и вызвал его скорее явиться к начальству повыше на совещание: похоже, что будет строгая ревизия. В половине девятого купец вышел из дому, во втором часу ночи вернулся – и дома своего не нашел: он был весь разобран по бревнышкам и раскидан вместе с имуществом, из которого, однако, ничего не пропало. А на оставшихся воротах было написано мелом вполне грамотно:

"Вот тебе ревизия, мошенник!"

Эти два происшествия взбудоражили весь город, и все в один голос заговорили, что дело не иначе как рук Игнатия Никитича. И однако, под Новый год, пока драли начальника отделения, Игнатий Никитич был гостем у губернатора и словно бы не удалялся, а в ночь на 8 января у него был прием дома: хорошо закусили и даже поиграли в ломбер. Когда же кто посмелее пытались тонко намекнуть Игнатию Никитичу, что, мол, благородного человека сейчас видно по поступкам и что правильно зло наказывать и искоренять, Игнатий Никитич охотно поддакивал: так им, жуликам, и надо! И прибавлял:

– Я такими поступками прямо восхищен. Значит, есть еще на свете люди смелые и мстители за расхищение государственного достояния и за несправедливости.

– А как вы думаете, Игнатий Никитич, кто это мог сделать?

– Думаю, не иначе как сам губернатор тайно наказывает. Тут видна рука властная и не боящаяся ответственности. А что он по этим делам производит следствие, так это только для отвода глаз.

Следствие губернатор действительно производил, а пуще всего суетилась его жена, женщина властная и ловкая: все откупщики и казенные подрядчики были ее данниками. Сам губернатор был чист, как стеклышко и как новорожденный младенец: ни из чьих рук ни одной копейки не взял. И ему было даже втайне приятно, что кто-то ему приписывает подвиги великого самоуправства. Однако в розысках жене помогал: все-таки эти беззакония нужно прекратить, пока не заговорили об этом в Санкт-Петербурге.

– Только, матушка, не моги и думать наводить тень на Игнатия Никитича! И тебе, и мне головы не сносить! Если это он, то ты сама видишь, на что он способен.

– Я его не боюсь.

– Знаю, что ты смела. А только семь раз подумай, все ли у тебя в порядке. Я, конечно, ничего не знаю и лишь предупреждаю.

На масленой был маскарад. Молодая губернаторша заказала себе костюм роскошнейший – дни и ночи работала над ним лучшая портниха. Все в городе знали: молдаван парчовый с хвостами из бархата, тюрбан с перьями, розовая маска. До прибытия губернаторши бала не открывали – и вот она в дверях. Ахи и восторги, всеобщий комплимент, снимите да снимите маску, все равно все вас узнали и по изяществу туалета, и по бриллиантам! Жеманится, не хочет, – и в этот момент в дверях такая же маска, в костюме, сходном до мелочей, только бриллианты похуже, и в сопровождении начальника губернии. Полное недоумение! Выручил случившийся при этом Игнатий Никитич; подошел к первой, сорвал с нее розовую маску, закричал на нее: “Ты как смела явиться” и пинками выгнал ее из залы:

– Возмутительно! Это моя кухарка! Тоже – расфуфырилась и пришла. Извините, ваше превосходительство, неприятная сцена!

Если бы губернаторшу высекли в подвале, тайно и без свидетелей, было бы ей все-таки легче.

* * *

Утром Игнатий Никитич принимал у себя в деловом кабинете людей странных, служивших ему не столько за деньги, сколько за совесть. Был у него особый докладчик дел судебных – из секретарей, всякого производства знаток. Докладывал с горячностью о больших и мелких делах неправосудных, раскрывая всю подноготную судебной волокиты, корысти и подхалимства. Вторым приходил тайно, задворками служащий полиции, не из мелких, – также с рассказами. Третьим – здоровенный парень, ломавший подковы, а перед Игнатием Никитичем – смирный и послушный, как ребенок. С ним обсуждались дела особого рода: день и час, да что и как.

И понемногу в городе привыкли, что делам неправосудным есть поправка. Не проходило недели, чтобы все те же таинственные молодцы, ловить которых никто не решался,

не забирали кого-нибудь, то на улице, а то и в его собственном доме, и не уводили его в неизвестный подвал, где, по кратком изложении его вины, производилась экзекуция: от пятидесяти линьков и до ста, смотря по вине и возрасту. И рассказывают, что в короткое время были высечены в городе А. все, кого высечь стоило в первую голову, хотя, конечно, и еще осталось немало достойных. Охотнее секли чиновников, не спускали и частным гражданам, промышлявшим жульничеством. И после каждого случая было в городе ликование: ликовали обиженные судом и полицией, ликовали и ранее выдранные, что не им одним исполосовали спину. И еще рассказывают, что действиями этих неизвестных молодцов и их тайного покровителя в городе А. повысилась нравственность, суды стали решать дела по совести, чиновники перестали брать взятки и потому, что боялись, и потому, что никто больше взяток не давал.

Вот какой герой объявился на заре девятнадцатого века! Вот какой мститель за униженных и оскорбленных! Рассказы об его подвигах довольно однообразны: все больше драл линьками, по пятьдесят и по сто, недаром был человеком морского звания. Но драл, не опираясь на предержащую власть, а, так сказать, параллельно ей, и преимущественно ее служителей.

Чем все это кончилось? Кончилось, конечно, доносами. Каждый почтовый курьер увозил из города А. в город Санкт-Петербург целые связки доносов на самоуправщика и на попустителей, пока одного курьера не остановила в пути шайка вооруженных молодцов, не отобрала у него всей почты, после чего курьеру была возвращена часть писем, а другая часть тоже возвращена, только не курьеру, а тем, кто эти письма писал, притом с прибавкой строчки: "За повторение – сто линьков". И однако, в скором времени приехал из столицы ревизор, распек губернатора, вызвал Игнатия Никитича и будто бы имел с ним такой разговор:

– Чинимые вами безобразия и самоуправства, молодой человек, заслуживают примерного наказания. Лишь во внимание к государственным заслугам вашего батюшки вам предписывается немедленно выехать из города и отправиться в ваше имение в Тамбовской губернии, где и проживать безвыездно, пока не заслужите прощения его величества.

И будто бы Игнатий Никитич ответил на это:

– Охотно подчиняюсь распоряжению, потому что, в сущности говоря, в сем городе уже высечены все, кого высечь следовало, за исключением губернаторши, уважаемой за ее

женский пол. К тому же город этот прескучный, людей просвещенных нет, не с кем поговорить о высоких материях. Выеду я завтра же, пока же позвольте просить ваше высокопревосходительство откушать у меня ухи с налимьей печенкой, которую мой повар готовит поистине замечательно. Ежели же вы мне в этом откажете, то почту для себя позором и не поручусь за последствия.

После чего будто бы сенатор не счел возможным отказаться той ухи отведать.

Так рассказывают одни, по другим же источникам, сенатор, имевший поручение арестовать самоуправщика, не сделал этого лишь потому, что получил от него очень крупный и убедительный подарок. Это, однако, настолько противоречит всему поведению нашего героя, что мы эту версию отвергаем.

Во всяком случае, в истории города А. пребывание в нем Игнатия Никитича отмечено как дата высокознаменательная, и легенды о нем рассказывались до времен революции, создавшей легенды иного порядка, о которых со временем будут писать другие, по столь же достоверным источникам.

ЗУБОВРАЧ

Ради предисловия скажем так. Раньше человек управлял губернией, теперь управляет рулем грузовика; значит ли это, что судьба несправедливо человека обидела? Совсем нет! Очень возможно, что именно теперь он нашел свое подлинное призвание, соответствующее духовному развитию и практическим способностям, а прежняя жизнь была ошибкой и недоразумением.

И все оттого, что люди выдумывают свое назначение в жизни, а не следуют попросту влечению. Так, например, граф Михаил Румянцев, сын победителя при Ларге и Кагуле, страстно тянулся штопать чулки, чинить белье, вязать кружево, одним словом – быть женщиной и экономкой; он даже наряжался в женское платье, садился за пяльцы – и чувствовал себя счастливцем. Но, разумеется, ему в этом препятствовали и заставляли его быть государственным человеком. Или еще был такой помещик, который приказывал зашивать себя наглухо в медвежью шкуру и гулял на четвереньках по двору, где его рвали собаки. Ясно, что он родился быть медведем, что лишь это ему близко, дорого и понятно, – а его избирают в предводители дворянства!

Здесь мы расскажем про сенатора николаевских времен,

которому все-таки удавалось иногда быть самим собой, отдаваться настоящему своему призванию. Но, конечно, его считали чудаком, да так и прославили в истории. Крупицы печатных о нем сведений нам пришлось пополнить собственными изысканиями, и думаем, что эта работа не напрасна: она ободрит многих, стесняющихся открыто следовать своим влечениям и занимающихся, например, политической деятельностью, тогда как их истинное призвание – собирать почтовые марки.

* * *

Сенатора звали Николаем Титовичем, он был тульским помещиком и к почтенным годам выполнил ряд административных чиновных обязанностей. А начал, конечно, с военной службы. Именно на военной службе, то есть еще в молодые годы, он почувствовал первое влечение к зубоврачебному делу.

Обыкновенно зубы солдатам рвал полковой фельдшер Кондратыч, мужчинище огромный, рыжий, рябой, скроенный дубовыми ножницами, сшитый липовым лыком. Кондратыч работал зубоврачебным ключом – инструмент старинный и напрасно оставленный современными врачами. Держа пациента за нос, Кондратыч наставлял ключ куда полагается, прихватывал, упирал рычаг в челюсть, крякал сам, и за ним крякал солдатский зуб, а сам солдат покрывался кровью и потом... Без промаха и без ошибки! То есть ошибки, конечно, бывали, если Кондратыч прихватывал зуб здоровый вместо больного, но вырывал его с равным искусством, а потом принимался и за больной. Окончив работу, Кондратыч обтирал ключ клетчатым носовым платком и клал в карман – до следующей операции.

Увидав однажды чистую работу Кондратыча и придя в истинное восхищение, Николай Титович стал постоянно присутствовать при священнодействии фельдшера и присматриваться, как он наставляет ключ, как подвинчивает на нем винт и как ловким движением локтя выворачивает из челюсти лишнее. Присмотревшись, – попросил фельдшера дать ему попробовать вытащить зубишко полегче, из нижних передних. И вытащил – ничего. Потом попробовал силы на коренном, один сломал, другой тоже, а третий вытянул настолько ловко, что Кондратыч очень одобрил. С зубами сломанными фельдшер тут же покончил козьей ножкой, научив Николая Титовича и этому хлопотному делу:

– Главное, ваше благородие, не робейте и без остановки, тут, окромя зубьев, ломаться нечему. А что до мяса – оно заживет, ему ничего не вредно. Разом кончишь – солдату лучше.

И действительно, Кондратыч не давал больным передышки. Иной солдат валился без сознания, а отлежавшись, уходил здоровым, поплевывая кровью.

От Кондратыча узнал Николай Титович и о том, что кроме ключа и козьей ножки существуют еще разные особые крючья и ковырялки, которыми можно делать истинные чудеса; а если калить их на сальной свечке, то опытный зубоврач может ими свободно убивать в зубе больную жилу. Однако таких тонких инструментов у Кондратыча не нашлось, да они солдату и не по зубам.

Все это восхитило Николая Титовича. А что с ним было бы в наши дни, когда у любого врача в кабинете жужжит бормашина, которою сверлят зуб, а больному кажется, будто у него в затылке прогрызают ход миллионы зубастых мурашиков? Но в те времена таких хитрых машин еще не было.

* * *

Увлечения молодости скоро забываются, и Николай Титович, выйдя в отставку, сначала как-то забросил ключ, приобретенный им при содействии полкового фельдшера. Лежал ключ в куче любимого хлама в ящике стола и даже стал ржаветь. Снова он выглянул на свет, когда Николай Титович, как добрый дворянин, занялся хозяйством в своем имении.

Имением управлял просвещенно: завел канцелярию, писал приказы за номерами, строго следил за выполнением, неисполнительных приказчиков сек. Но одной розгой не исправишь, и вспомнил Николай Титович о своем ключе.

Вспомнил – и применил. При первой провинности строго приказал:

– А ну, открой рот пошире!

У какого человека нет во рту дупла? Оказался duплистый зуб и у Прохора. Наложил Николай Титович ключ, подвинтил винт, налег, – не успел Прохор ахнуть, как осталось у него вместо зуба только пустое место.

Вскорости завелся в делах имения полный порядок. Пока были зубы у приказчиков, Николай Титович довольствовался ими; за малую провинность дергал корешки, за большую – коренной. От приказчиков перешел к старостам, от старост – к рядовым подданным. Иным подлинно оказывал благодея-

ние, других калечил, пожалуй что и понапрасну, особенно стариков. А ребятам молочные зубы рвал, как бы играя. Года не прошло – прославился ключ Николая Титовича на сто верст кругом, и деревню его прозвали Беззубовкой.

Хозяйствовал Николай Титович недолго – был призван на службу гражданскую, в город Санкт-Петербург. Заглохло насажденное им просвещение, и снова при зубной скорби стал обращаться крестьянин к знахарю:

"Заря-зарница, красная девица, в поле заяц, в море камень, на дне лимарь. Покрой ты, зарница, мои зубы скорбны своею фатою от проклятого лимаря. Враг лимарь, откачнись от меня, а если будешь грызть, сокрою тебя в бездны преисподние. Слово мое крепко".

Но, набив руку на собственных крепостных, Николай Титович уже никогда не оставлял своего любимого занятия. Практики стало меньше, зато каждый новый случай он ценил и прилагал к нему все свое искусство: не только ключ, но и козью ножку.

* * *

Николай Титович уже в превосходительных чинах, на виду и всеми уважаем за редкую черту: совершенное бескорыстие. Черта в чиновнике тех времен неудобная и вызывавшая смущение – как же быть при надобности и с какого боку подойти?

В табельные дни, от службы свободные, Николай Титович занимается дома. Утром, напившись чаю с молоком, извлекает из стола содержимые в полной чистоте инструменты: заслуженный ключ, козью ножку, несколько щупов и ковырялок и новомодные заграничные щипцы, которых применить еще ни разу не приходилось, а очень хочется.

Все это Николай Титович раскладывает на синем листе плотной сенатской бумаги, любуется, чистит, протирает винт ключа масляной тряпочкой, пробует пальцем цепкость щупа.

Возможно, что и зайдет кто-нибудь страждущий.

Страждущих посылают к Николаю Титовичу подчиненные ему департаментские чиновники, народ хитрый и догадливый. Придет проситель из состоятельных и начинает смазывать дело. В деле малом смазка проста и действует неукоснительно; в деле же сложном все зависит от решения его превосходительства, знаменитого бескорыстием.

– Обещать не могу-с, – говорит чиновник просителю. –

Совет дам охотно, а уж сами решайте, подойдет ли вам такое средство.

– Для успеха можно и порасходоваться...

– И думать не могите беспокоить его превосходительство благодарностью – все дело испортите. А вот нет ли у вас ненужного зуба?

И обстоятельно втолковывает, как прийти к его превосходительству на квартиру в день табельный, о своем деле ни слова не говоря, со щекою подвязанной и с видом скорбным. За крупную монетку лакей обязательно пропустит и доложит. Зуб же, если все здоровы, можно указать на челюсти подальше, малозаметный и для жевания неглавный. Когда же его превосходительство тот зуб выдернет, тогда, в боли и во слезах, можно кратко изложить и суть тяжбы. Жертва немала, но зато путь вернейший.

– А корешком не удовольствуется?

– В вашем деле корешок словно бы маловато, однако попробуйте, не попадете ли под счастливое его превосходительства мгновение. А самое лучшее, ежели он зуб спервоначалу сломает. Бывали случаи, что помогало в делах самых трудных и медлительных.

Со щекой старательно подвязанной приходит проситель к генералу на дом:

– Прощенья прошу, ваше превосходительство! К милости вашей за помощью в большой беде: болит зуб немилосердно.

Николай Титович доволен, но сдается не сразу:

– Почему же вы ко мне? Идите к зубному врачу настоящему.

– Помилуйте, ваше превосходительство, разве они могут!

– А кто вас ко мне послал?

– Малый ребенок знает, можно сказать, весь город Санкт-Петербург.

Скрывая удовольствие, Николай Титович говорит хмуро:

– А ну, раскройте рот. Этот, что ли?

– Никак нет, этот здоров, а подале.

Николай Титович для проверки стучит по зубам рукояткой ключа:

– Присядьте.

– Помилуйте, ваше превосходительство, я постою.

– Сядьте, говорю!

Нынче решил поработать новыми, заграничными щипцами. С непривычки немного волнуется. Главное – нет в щипцах упора, столь славного в ключе.

Полчасика спустя, окровавленный и замученный, сдержи-

вая стоны и злобу, проситель говорит прерывистым голосом:

– Дозвольте, ваше превосходительство, побеспокоить также и по другому делу... как отец-благодетель...

Страсть победить в себе трудно – лучше других это знает Николай Титович. Каждый табельный день попадается на удочку, облегчая зубную боль имеющим до него другую надобность. Но раз человек доверился – обмануть его доверие невозможно. Как добрый врач, Николай Титович любит своих пациентов и чувствует к ним особую нежность, граничащую с пристрастием.

* * *

Рассказывают также, будто бы Николай Титович, ставши высокопревосходительным сенатором и одновременно впав в старческую слабость, лишившую его силы управляться зубоврачебным ключом, растерял своих добровольных пациентов и ради удовлетворения закоренелой страсти стал дергать собственные зубы, пока не извлек последнюю гнилушку. Это, конечно, только глупый анекдот и напрасное издевательство над человеком, увлеченным с молодых лет чистой идеей и пронесшим свое благородное увлечение через всю свою жизнь.

Чем сочинять такие анекдоты, лучше бы подумать серьезно о том, как часто люди проходят мимо своего настоящего призвания, уделяя ему, в лучшем случае, лишь табельные дни жизни и занимая при этом неподходящие должности, что, впрочем, нами уже было высказано в кратком предисловии к настоящему достоверному рассказу.

КОСТИ ЕВРЕЯ

Самое подробное описание жизни старого еврея Менделе из местечка Оржева Ровенского повета, даже такое описание, в котором будет рассказан всякий его день, и будний и субботний, от рождения до смерти, – все равно ничем не будет отличаться от такого же описания жизни любого иного Менделе из соседнего села или даже из дальнего повета Волынской губернии.

Будем поэтому очень кратки. Когда Менделе исполнилось три года, ему остригли волосы, и каждый из гостей, – а было гостей четверо, – подарил ему по грошу. Еще через три года

Менделе отдали в хедер, где под руководством меламеда, имевшего привычку больно колоть ребят заостренной тайтеле, он постиг премудрость от "алеф" и "бэз" до Торы и Пророков. Но постичь мудрость Талмуда Менделе не пришлось, потому что он был вынужден оставить хедерные науки, едва достигнув того счастливого возраста, бар мицве, религиозного совершеннолетия, когда ответственность за грехи с плеч родителей перекладывается на собственные плечи согрешившего. По крайней и унизительной бедности родителей и всех предков Менделе не пришлось мечтать не только о ешиботе, откуда выходят великие ученые, но и о бес-медреше, откуда также выходят не полными дубинами. Именно поэтому на плечах Менделе выросла не талмудистская гморе-коп, а самая обыкновенная голова.

А дальше уже совсем нечего рассказывать. Трижды в день Менделе бегал молиться, не пропуская ни шахрис, ни минхе, ни майрив, а в промежутках обделывал делишки мизернейшие и грошовые, для которых у него, однако, никогда не хватало оборотного капитала, почему главные усилия обращались на добывание гмилус-хесед, беспроцентной ссуды, которую приходилось возвращать немедленно, иногда в тот же день, а завтра начинать поиски снова. Так бегал Менделе шесть дней в неделю, а на седьмой день все, кто мог, ели и субботние калачи, и чолент, кугель, а Менделе оставалось только петь в честь субботы змирес, ничем своего пения не закусывая.

Именно так Менделе прожил назначенные ему шестьдесят шесть лет, с утра до вечера бегая и суетясь, причем успел на бегу жениться, на ходу народить детей, и все это совершенно неизвестно как и зачем. За эти годы он имел все болезни, какие полагаются на долю еврея, так что к концу жизни кости его устали и ныли до невозможности. Его жена успела умереть раньше него, а выжившая половина детей разбрелась по разным селениям, поветам и губерниям в поисках судьбы, хоть сколько-нибудь отличной от Менделевой. Наконец, выпал и для Менделе удачный и счастливый день исполнения желаний: его кости внезапно перестали ныть и томиться, бежать было больше некуда, спешить не к чему, и Менделе, развалившись настоящим паном, важно покачиваясь на чужих руках, отправился занять отведенное ему пространство земли на местном еврейском кладбище.

И действительно, в течение десяти лет кости еврея пребывали в полнейшем покое. Сроки мы установили с полной точностью и можем удостоверить, что Менделе упокоился на

самом хвостике осьмнадцатого века, в октябре 1799 года, очевидно, совершенно не желая продолжать ту же канитель и в новом столетии. А событие, о котором мы хотим рассказать, произошло в октябре 1809 года, в чем нет никакого сомнения, потому что именно в этом году во всей Волынской губернии был скотский падеж.

* * *

Коровья смерть ходит обычно на Агафью, пятого февраля. Так она и вышла, откуда знала, а в село Оржево добралась лишь спустя лето. Надо было ее заговорить заранее или заготовить травы-плакуна с Иванова дня, – да как-то не подумали и не удосужились, а после и каялись, да поздно!

Началось с того, что у Осипа Зелюшка на заре пала боденушка, правда недодойка, а все же большое горе. Сначала думали, что объелась росистой травой – и спучило. Наскоро вилами прокололи ей бок, потом брюхо, – но не помогло, околела птрусеня.

Чтобы и другие коровы не поддались черному глазу, Осип Зелюшко принял меры: опахал свой двор сохой на жене. Да, видно, не в тот час, или надо было не посолонь, а напротив. Одним словом, за недодойкой пал теленок-отъемыш, потом у соседа, у Андрея Ковальцова, пала одна яловка да одна переходница, а у Корнея Товчина буренка, – и пошло чистить по дворам и хлевам.

Какие меры ни принимали – ничто не помогало. Каждую ночь высылали девку бить сполох, чтобы напугать ведьму, но пугались только собаки и лаяли до утра. Потом мужикам не велели выходить, и бабы голыми запрягались в сохи и опахали на себе всю деревню; домой вернуться не успели, как у Романа Жуя свалилась белуха. Не помогали никакие нашепты и снадобья, ни зола из семи печей, ни соль из семи изб, ни тирлич-трава, ни медвяная роса, ни сбрызгиванье.

Стали тогда прогонять скот через живой огонь. Два парня терли куски дерева, а когда загорелось, бабы развели огонь в канаве и над тем огнем провели всех коров, и всех бычков, и всех телят до единого. Думали: ну, теперь болезни конец! А наутро пал бычок, даром, что ему опалило огнем брюхо и все отличия.

Нужно сказать правду: не было на деревне хорошего знахаря, так что все лечение шло вслепую, а ведь это целая наука. Грамотеем был на селе только один Роман Жуй, которо-

го и считали чернокнижником. В действительности Роман Жуй иногда промышлял жидокопством: разрывал на еврейском кладбище могилы состоятельных покойников, но дохода с этого имел мало, денег не находил, а какие вещицы – те сбывал за гроши.

И все-таки к Роману Жую пришлось обратиться за последним средством против скотьего падежа, на этот раз за вернейшим. Всякий знает, что лучше всего против мора помогают кости еврея, вырытые из могилы и перенесенные в хлев. Дело это страшное и ответственное, но уж лучше пойти на это, чем видеть, как валятся и мрут птруси и боденки, мужицкое достояние.

Договорились втайне: Роман Жуй, Осип Зелюшко, Корней Товчин и Андрей Ковальцов, все люди молодые и смелые, готовые поработать для обчества. Роман и Осип со своими лопатами, Корней и Андрей с мешками. Ночь выбрали лунную – на девятое октября. Снег еще не выпал, но земля была уже мерзлой.

Повел их Роман Жуй в бедную часть кладбища, где не было на могилах почти никаких отметин. А так как нужны были только кости, то свежих не копали, а наметили холмик постарше с самого краю. Что выкопали, то посклали в мешок, стараясь прихватить побольше, потому что ведь это же на все село, на все дворы, где имеются коровы.

Так кончился покой Менделе и началось новое странствие его костей, достаточно усталых при жизни!

* * *

Разборку костей начали у Романа Жуя в его хлеве, тайно от баб. Если к такому делу сразу допустить баб – не оберешься ссор и споров!

Дело в том, что каждому приятно получить костку получше и полечебнее, а разбираются люди плохо, костесловию не обучены.

Роман Жуй прямо сказал:

– Кому что, а кострец, ребята, мне, как условлено.

И конечно, лучшие косточки поделили между собой, как бы за работу: Осипу Зелюшку – бедренный мосол с вертлюжной головкой; левое стегно – Корнею Товчину, правый будыль – Андрею, а Роману, сверх оговоренного им крестца, дали плечевину. Затем каждому еще по одному позвонку, причем Роман мудро заметил:

– У них, у жидов, через эти косточки становой мозг проходит.

И только потом кликнули баб и других мужиков делить добычу.

Подходили с опаской: все-таки дело нечистое и волшебное. Иные спрашивали: почему такое, что кости темные? Знающие разъясняли:

– Симова кость святая, Афетова белая, а Хамова кость черна!

Бабы прямо в руки не брали, а прихватывали подолом. Кто помоложе, тот пытался острословить:

– Жид попался костливый!

– Костлив окунек, да уха сладка!

– А нет какой косточки-счастливки?

– Скажешь! То бывает от разваренной кошки!

– И что же с нее делается?

– А то и делается, что человек невидим.

– На что ж ему невидиму?

– В чужой дом войти, а то и оброку не платить.

С опаской да с шуткой, все же разобрали весь мешок еврейских костей: кому – лядвея, кому – берцо, этому – плюсна с перстами, иному – цевка, а кто опоздал – удовольствовался пальцами: наладонным, шишом, средним, четвертым, а то и мизинцем.

На расставанье, вертя в руках оставшуюся бабку, Роман Жуй изрек:

– Теперь, братцы, как приехали в гости старые кости, можно сказать, всем напастям конец; а ежели у кого случится, значит, – пеняй только на себя. А мы для обчества постарались.

Мужики хором ответили:

– Чаво уж тут, покорнейше благодарим!

* * *

"В Волынской епархии в последней минувшего 1809 года половине кликуш, притворноюродцев, босых, также и других суеверий не было, кроме что Ровенского повета, как рапортом ныне от тамошнего духовного правления донесено, в селе Оржеве жители вырыли мертвого еврея кости и оные по суеверию держали в своих хлевах ради прекращения скотского падежа, о каковом их поступке произведено ровенским земским судом следствие, и оное отослано для поступления с виновными по законам в тамошний поветовый суд. О чем и что

в монастырях, соборах, также соборных и приходских церквах поучения читаются, Святейшему правительствующему Синоду по силе указа смиреннейше рапортую епископ Даниил".

* * *

Столь кощунственно и святотатственно похищенные с кладбища кости неизвестного еврея приказано доставлять в канцелярию нижнего земского суда для дальнейшего препровождения в суд поветовый.

Доставлены были отобранные у баб и при обысках в хлеву кости: бедренный мосол один, таранная кость одна, лядвеи обе, будыль одна, плюсны обе, череп один без челюсти, пальцы: наладонных два, да шишов два, да середних тоже два, четверных один, мизинец один, другого же не найдено. Да у преступного жидокопа Романа Жуя отобран евреев костец, да цевка, да плечевина, да того же еврея от которой-то ноги бабка.

Вышеозначенные неизвестного еврея кости, по описи оных и миновении в них надобности, препровождены раввину на предмет вторичного оных похоронения на отведенном кладбище, что и исполнено.

Что же касается до ненайденных частей означенного еврея, то их предписано, при случае обнаружения у частных лиц, отбирать для изничтожения вредных суеверий и представлять в нижний суд для восполнения описи, пока не будет собран весь костяк, за выключением ребер, как явно временем уничтоженных еще до выкопания из соответствующей могилы.

* * *

В ночи лунные снует по местечку беспокойная тень старого Менделе, шарит у порогов и у запертых хлевов, замирает у синагоги – и опять бежит дальше, как и всю свою жизнь суетливо и без остановки бегал Менделе, конечно, за исключением суббот. Не будет полного покоя, пока не все косточки собраны, – а где же их собрать!

Что кости Менделе не знали покоя при его жизни – это и понятно и естественно, потому что такова судьба еврея от самых дней выхода из Египта; но чтобы и по смерти не было

костям его покоя, – на это старый Менделе не согласен, и нет на это указания ни у Пророков, ни даже в Талмуде.

По утрам, едва в синагоге соберется десять евреев, невидимо проникает туда и тень Менделе. Прикрывшись невидимым талесом, она вместе с другими совершает давнен и все голоса покрывает своей жалобой.

Потому что горе Менделе – превыше всякого человеческого горя, и его впереди всех должен услышать тот, чье имя неназываемо!

ДЕНЬ ЕГО СИЯТЕЛЬСТВА

В наше время должность царя, короля или даже императора считается и хлопотливой и неприятной; о добровольцах и думать нечего, а которые вынуждены неудачной наследственностью или случайными обстоятельствами, те, конечно, дотягивают по необходимости и безо всякого удовольствия, потому что ни на какую другую должность после этой их все равно никто не примет.

А вот в старые годы, наоборот, положение коронованной особы считалось и почтенным и очень заманчивым, так что даже многие завидовали и старались как-нибудь подражать. Достать себе настоящую корону было почти невозможно – все места вперед расписаны, – и люди богатые и знатные, ко властвованию склонные, устраивали в своих родовых и благоприобретенных поместьях некоторое подобие государства, с двором, штатом чиновников, канцеляриями, манифестами, приказами и другими неприятностями. Впрочем, подданные были настоящие: крепостные крестьяне. Министров избирали из хорошо грамотных писарей, фрейлин – из бедных дворяночек и дворовых девок, войско – из писарей и конюхов. Образ правления, конечно, самодержавный, не ограниченный ни исправником, ни даже самим губернатором, которым в крайних случаях платилась мзда.

"От собственной Его Сиятельства канцелярии сим объявляется, Его Сиятельство изволит прибыть с супругой и семейством на Троицын день в местную церкву и будут присутствовать при торжественном богослужении и чтобы собрать баб и полы вымыть начисто, да на крыльце березки и ковер красный и все было в надлежащем случаю порядке, о чем поставляетесь в известность для строгого выполнения. В получении сего отношения имеете прислать расписку, да смотри, сукин сын, чтобы по дороге колдобин не было, как в прошедший

раз, не то барин Тебя и супругу Вашу выпорет на конюшне вне всякого снисхождения. Маия 8 дня 1813 года в Господском доме. А ежели господа запоздают, скажи попу, чтобы ждал. Начальник канцелярии Его Сиятельства *Дада Пузырев*".

Дада – имя православное. Старый граф был крестным отцом всей деревни и сам раздавал имена, всегда необычные и звонкие: Дада, Садик, Зотик, Капик, Псой, Пуд, Кукша, Тихик, а крестницам: Стадулия, Прaскудия, Пуплия, Кикилия. Приходили подданные справляться: когда именины праздновать?

– А как дочь звать?

– Кажись, Сиглия, барин батюшка, Ваше Сиятельство.

– Сиглии нет. Есть Сиглитикия. Празднуется дважды – либо пятого генваря, либо октября двадцать четвертого. Когда родилась-то?

– Месяцов мы не помним, барин, а родилась посередке.

– Будешь на месяце генваре праздновать, пятого числа.

– Сиглию-то?

– Не Сиглию, дурак, а Сиглитикию. Ступай!

Личный прием подданных. Доклад ведомственных начальников. Прием повара. Отчет о состоянии конюшни Его Сиятельства. Подписание готовых приказов. Завтраки Их Сиятельств и приглашенных лиц. Выезд на хозяйственные осмотры. Утра как не было!

"Управление охот Его Сиятельства извещает канцелярию об убиении в владениях Его Сиятельства глухого тетерева и прислать ли оного к столу по причине большого веса, а убил оного глухого тетерева Кукша Задырин, так как барин прикажет".

"Главному управителю охот Его Сиятельства в селе Тыркове, Его Сиятельство приказывает донести аккурат, где точно оный тетерев убит. Начальник канцелярии *Дада Пузырев*".

Казенные пакеты разносит одноногий Псой, ногу ему отшиб Его Сиятельства жеребец, вдарив по коленке, она и высохла. Разносит пакеты не быстро; пока о тетереве шла переписка, тетерев протух – вот беда!

На Троицу вышла неприятность. Их Сиятельства прибыли во храм, а в самом того храма преддверии пономарь громко препирается со старушками. Его Сиятельство того пономаря тут же схватил за волосья, каковые закрутив во длани, повлек того пономаря в алтарь и представил попу:

– Это что же за порядки, отец Кондратий? Где же церковное благочиние? Да еще в Троицын день!

Повинился отец Кондратий и обещал пономаря наказать

строжайше. Служба прошла чинно, с возглашением многолетия Их Сиятельствам и всему Дому.

В главном доме ожидает весь придворный штат, одетый одинаково – в казачьи кафтаны серого цвета с синим холстинным стоячим воротником, но цветом жилетов разделенный на три класса, а на воротниках белыми нитками вышито название села. Как раз на Троицын день объявлялось производство чиновников в классы; повышаемый допускался к ручке. Вечером – бал придворных, с участием дворянской соседней мелочи. Добрый монарх сам открыл бал с фрейлиной Кикилией Задыриной, сестрой Кукши, управителя охот Его Сиятельства.

Тут вступаем в область придворных тайн. Кикилия – фаворитка Его Сиятельства, точнее – одна из трех фавориток. Две другие – француженка девица де ла Вальер, по крайней мере так она была прозвана, и маркиза де Монтеспан, впрочем, из чухонок. Все три фаворитки живут тут же в доме, и старый граф Андрей Борисович требует от жены, чтобы она проявляла к фавориткам холодность. У Ее Сиятельства это выходит как-то плохо и вяло.

Дело в том, что фаворитки нужны для стиля придворной жизни. Граф же и достаточно стар, и всегда был нежно предан супруге, верности не нарушая. Время от времени он подходит то к одной фаворитке, то к другой, ту щипнет, этой что-то шепнет на ухо и ласково улыбается. Косится на графиню: видит ли, ревнует ли? Ее Сиятельство, вставши сегодня рано, изволят зевать, чем нарушают стиль. А еще придется ей играть в бостон с маркизой де Монтеспан и престарелым гостем-соседом, едва отличающим вини от трефей. У маркизы де Монтеспан граф иногда занимает деньги, небольшие и доступные ей суммы, под огромные проценты, не по нужде, а опять-таки для стиля придворной развратности, тайно от жены и с лицом озабоченным:

– Главное – ни слова моей супруге, она будет страдать!

Деньги кладет в шкатулку, а через недельку отдает с прибавкой, норовя, чтобы кто-нибудь подсмотрел. Это и идет фаворитке за жалованье, да сытный стол, да комната, да подарки на праздники и в дни тезоименитств.

На Троицын день Его Сиятельство малость перекушали, однако стиль держат, стараются ловеласничать. Фрейлине-фаворитке Кикилии говорят на ухо:

– Предлагаю вам, прелестная, пройтись вне сей залы!

Та, конечно, слушается. Барин под ручку уводит ее в сени:

– Ты обожди здесь, а я сейчас.

Тогдашний модерный комфорт помещался в сенях. Задержавшись минут на десять, Его Сиятельство возвращался довольный и вводил Кикилию обратно в залу, оправляя платье и имея на лице легкомысленное выражение Людовика, только что изменившего августейшей супруге. Желая сделать хозяину приятное, гости перемигивались, а обманутая графиня, к великому Его Сиятельства разочарованию, спокойно продолжала свою беседу со старым соседом на тему, затронутую еще до ухода графа; и в наступившей тишине ясно звучал ее московский отчетливый говорок:

– Блоха, милый мой, не как другой зверь, чтобы наелся и отстал. Блоха, батюшка, норовит человека замучить. Клоп, он пососал и уступит свое место другому, а блоха, голубчик мой, она коли не жрет, так кусает!

– Да ведь как кусает-то, Ваше Сиятельство, что мочи нет терпеть.

– А вы бы, чем зря-то чесаться, пошли бы и вытряслись.

Разумеется, такой стиль разговора нарушал придворный этикет.

Иногда стиль версальский заменялся библейским, старый граф подражал царю Давиду. Гайдуки вносили в залу арфу, а Андрей Борисович надевал поверх кафтана белый полотняный хитон с серебряной застежкой на плече, а на голову – большой дубовый венок. Входил он царственно, поддерживаемый казачками в белых рубашках, сам не кланялся, а все должны были кланяться в пояс. Перебирая струны арфы, голосом, который в молодости был ничего себе, сносным, к старости же ослаб, он пел под арфу не псалмы, а русские песни, но – ради полноты стиля библейского – исполнял их в собственном французском переводе:

Ah! copeau en bois de bouleau!
Pourguoi, copeau, brûles-tu si mal,
Ne t'enflammes-tu pas,
Ne donnes-tu pas de lumière?

По-нашему: "Лучина, лучинушка березовая, что же ты, лучинушка, не ясно горишь, не вспыхиваешь?" Эту песню граф Андрей Борисович исполнял под арфу протяжно и жалобно, с успехом, которому мог бы позавидовать и сам царь Давид, а после нее сразу переходил на песни веселые в не менее счастливой французской передаче. Отметим лучшие из них в параллельном тексте:

Oh, bouleau, toi, mon bouleau,
Oh, mon bouleau épais!
Je pensais, je pensais,
Je songeais, je songeais.

Ah, le mauvais sujet!
Ii n'a pas acheté de povoinik à sa femme!
Je pensais, je pensais,
Je songeais, je songeais.

Что на грубом русском языке означало:

Ой ты, береза, ты моя береза,
Ой ты, кудрявая моя береза!
Я думала-думала,
Я гадала-гадала.

. . . .

Ах, какой мой муж бездомовник!
Не купил жене повойник!
Я думала
и т. д.

Слабо знающим русский язык поясним, что "повойник" – это, в некотором роде, куафюр де баб рюс, ширинка, обвитая поверх волосника, вроде кички.

Для заключения концерта царь Давид пускал развеселые "Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые", песню для перевода не простую, дух которой отлично передается следующим образом:

Ah! vestibule, mon vestibule,
Vestibule tout neuf,
Vestibule en bois b'érable,
Entouré be grillage.

Музыкальные выступления Его Сиятельства производили впечатление на всю деревню. На дворе в толпе собравшихся крестьян, в придворных чинах не состоявших, поведение барина обсуждалось всесторонне:

– Чудит нонче барин, к чему бы это?

– Кабы на барщину завтра не погнали!

– В прошедший случай, как татарином обряжался, после того Зотика-доезжачего на конюшне секли страсть как!

Сколь часто подданные делают самые произвольные и неправильные выводы из лучших движений души монарха!

“От собственной Его Сиятельства канцелярии сим объявляется. Сочетавшимся на Красной Горке законными браками во всех Его Сиятельства владениях явиться четами в ближнюю среду к господскому крыльцу для суждения Его Сиятельства о последствиях оного сочетания, а которые недовольны, Его Сиятельство преподаст нравственное наставление. Начальник канцелярии *Дада Пузырев*”.

Одноногий Псой разносит манифест в пакетах за графской печатью. Время горячее, мужицкая страда, – но выше забот о хлебе бариново сострадание о душе человечьей.

С крыльца барин вопрошает собравшихся:

– Все ли новосочетавшиеся довольны своими прекрасными половинами?

Молчат. Дада Пузырев толкает под ребра ближнего:

– Отвечай, коли Его Сиятельство спрашивает.

– А чаво нужно-то ему, не поймем мы?

– Говори, женой доволен ли.

– Ничаво, довольны.

Барин с крыльца вещает доброжелательно:

– Молодые крестьяне и крестьянки! Позволив вам сочетаться, я положил начало вашему семейному благоденствию. Ныне выслушайте прекрасные страницы Ивана Златоустого о браке и девстве.

Барину на крыльце прохладно, два казачка отгоняют мух. Молодоженов с непокрытыми головами подпекает солнце и осаждает слепень.

“Ибо и ныне еще в сих страстях валяющимся, и свиниям подобно жити, и в блудилищах сквернитися желающим не мало супружество помоществует, от скверны оные и нужды избавляя, и в чистоте и святости соблюдая их. Но доколе не престану я воотще вооружатися?”

Дада Пузырев, как начальник канцелярии, присел на нижней лесенке. Мужики стоят прямо, чешут, где чешется, и страдают безмерно.

“Что же, аще муж есть благосклонный, жена же злонравная, ругательная, многоречивая, роскошная, каковый всем им общий есть недуг, и других многих наполненная зол? Како сносить будет повседневную сию досаду он бедный, надменность, наглость?”

Поднял Его Сиятельство глаза от книжки и смотрит на баб уличающе. Бабы в поту, ноги отяжелели, понять ничего не возможно, чего барин требует, а стоя спать на припеке – никак не заснешь.

Полчасика барин читает, еще полчаса разъясняет, солныш-

ко все выше, время бежит, и на сердце крестьянском великая неизбывная тоска. Уж лучше бы посек, сколько полагается, да отпустил по домам.

БОРОДА

На заводи Москва-реки, где ныне Каменный мост, брала рыба почем зря, чуть не на пустой крючок, и рыба не малая: язь, сазан, крупная плотва, окунь и на живца – зубастая щука. Для царского стола ее ловили сетью, а мальчишки и взрослые таскали ее на уду ради простого удовольствия.

Самым главным любителем этого дела был нарышкинский кучер Левонтий, мужик здоровенный, бородатый, душою же – чистый ребенок.

Леску для удочек Левонтий сучил сам, как предками заповедано, из конского волоса, а волос драл из хвоста коней, к которым был приставлен, на что кони нисколько не обижались, только при каждом подергивании пригибали уши, а если сразу три волоса – пристукивали копытом. Когда же пала серая кобыла, отслужившая свой лошадиный срок, Левонтий, чтобы добро не пропадало, догадался отрезать ей хвост начисто про запас. Отрезав, перевязал сыромятным ремешком и повесил на деревянном колышке тут же, в конюшне, чтобы пока чистить о хвост расческу, когда же понадобится – тянуть и на леску.

Хвост повисел-повисел да и пропал. Всего вернее – играли им ребята и куда-нибудь затащили. А то не раз брала его жена Левонтия, дворовая уборщица, чтобы сбивать паутину в покоях боярыни, где тряпкой не достанешь. Одним словом – пропал хвост, и особого горя в том не было, потому что запас волос в живых лошадиных хвостах не переводился, и не было тогда такой моды, чтобы оставлять упряжным коням только кисточки.

* * *

О Петре Великом написаны книги, а о Тимофее Архипыче, его современнике, едва сыщешь историческое упоминание. А между тем это были равные силы: Петр Русь ломал и перекраивал – Тимофей Архипыч залечивал и выправлял.

В молодости Тимофей Архипыч был художником-иконописцем. Бродил по монастырям, сам делал кисти, сам тер-ва-

рил краски и наводил красоту на церковные стены. Был склонен к шалостям и браге, не уклонялся и от кулачного боя и оставил по себе память во многих женских сердцах. А когда царь Петр принялся стричь именитым людям полы кафтанов и бороды, Тимофей Архипыч стал во главе Руси юродствовавшей и пристроился в покоях царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Иоанна Алексеевича. И все, что Петр заводил, все это натыкалось на упорство людей старой веры и старых обычаев, на неколебимую твердыню ханжей, уродов, святош и хитрых дурачков.

Умер великий Петр, а за ним вскоре преставился и блаженный старец Тимофей Архипыч. Был плач по нем при дворе императрицы, особенно же горевала Настасья Александровна Нарышкина, царицы Прасковьи верный друг и почившего старца усердная почитательница.

Поминали старца кутьей, милостыней и панихидами. Схоронили его в тридцатый день мая в Чудовом монастыре, где в покоях настоятельских имеется его живописный портрет.

Отдыхают старые кости в могиле. Не слышно больше в горницах любимого припева Тимофея Архипыча: дон-дон-дон. Осиротела семья дур, шутих и юродивых: лишилась главы и начальника. В остальном без особых перемен: прежним руслом течет Москва-река, и кучер Левонтий по глиняному скату сползает к заводи, где у него приспособлены мостки в самом добычливом месте.

Старой женщине, Настасье Александровне, не спится. Жизнь бесшумная и покойная прожита, сын вышел в большие люди и уже внучек входит в возраст; но ими только и держится род Нарышкиных, не благословленный плодородием. Про внука писали, что здоровьем слаб, по весне болел краснухой, едва оправился. Но главное горе не в том, а в падении в людях веры, в непочтении к старине; и сим духом кощунства и гордыни заражены и потомки рода Нарышкиных. Сын бороды не носит и ходит в куцем камзоле, а про старца Тимофея Архипыча осмелился отписать: “Одним дурнем меньше”. Куда идут люди – к какой пропасти, к какому огню неугасимому! С верой православной что будет?

В бессонные ночи старая боярыня, оставив теплую постель, уходила в свою моленную и часами била поклоны, не жалея ни коленок, ни лба, простираясь на холодном деревянном полу, шепча молитвы и заклинания. Знала на память со слов старца лучший заговор из сказания преподобного отца нашего Сисиния о двунадесяти трясовицах; об окаянных тресее, гнетее, ледее, гнедее, глухие, грудице, проклятой корно-

ше и злющей вевее, сестре страшной плесовице, коя усекнула главу Иоанну Предтечу. Кто те имена слышит – тому лучше бежать от них за тридесять поприщ! А кто творит против них молитву – тому не будет погибели до скончания века его.

И была такая ночь, что молилась Настасья Александровна даже до полного забвения чувствований, дрожа в холоде и не согреваясь слезами до самой зари, прося Всевышнего, чтобы род ее остался навеки верен истинному православию и за то бы не прекращался никогда. И вот тут-то было ей достопамятное видение. Свет восковой свечи вспыхнул ярко, оторвался, поплыл и остановился посередь моленной, превратившись в лучезарное облако, а на том облаке, как бы на воздусех, явился покойный Тимофей Архипыч с длинной седой бородой, каковая борода вместе с его, блаженного, ножками спускалась с облака почти до самого полу.

Видя то, Настасья Александровна обомлела и потряслась страхом, но Тимофей Архипыч успокоил ее знакомым голосом, торжественно произнесши:

– Не бойся, Настасья! По прошению твоему беседовал я нынче с Богом, и Он мне сказал, что полностью просьбы твоей удовольствовать не может; однако обещает, что род твой пребудет в православии и не прекратится, пока будешь ты, твои дети, внуки и правнуки свято хранить сию мою бороду из рода в род, каковую тебе и вручаю.

При этих словах Тимофей Архипыч махнул ручкой, и борода его пала к ногам боярыни, сам же он остался как бы начисто бритым.

Прежде чем видение исчезло, Настасья Александровна, страх преодолевши, успела спросить:

– А как же сам ты, старец блаженный, останешься без бороды?

На что слабый голос из растаявшего облака ей ответил:

– Выращу новую, Настасьюшка, знаю такое верное снадобье.

Очнулась старая боярыня лежащей на холодном полу в забытьи, в руке же сжимала изрядную прядь предлинных седых волос, перевязанную сыромятным ремешком. От слабости на ногах шатаясь, добрела до своей почивальни и, бороды не выпустив, проспала до позднего часу.

* * *

Сей талисман хранился долго в семье Нарышкиных. По приказу Настасьи Александровны был сделан ящик ценного

дерева, на дно которого была положена шелковая подушка, набитая лебяжьим пухом, и на ту подушку возложена борода Тимофея Архипыча. При возложении ее созваны были родные, и вся дворня, и все шуты и шутихи, и много бедного призреваемого люда. Кучер Левонтий, ту бороду увидя, обомлел от ужаса и на час потерял способность речи, но и позже про то дело не проронил слова, приказав молчать и жене. Когда же священный талисман увидал сын Настасьи Александровны, наехав погостить из Санкт-Петербурга, то кощунственно заметил:

– Сдается, что это не борода, а лошадиный хвост!

Однако талисман охраняли и берегли свято в память Настасьи Александровны, которая скоро вслед за тем преставилась.

Цари сменялись царями, и катилась история крылатым колесом. В 1812 году пришел на Москву чудовищный Бонапарт, посидел в Кремле и едва унес ноги домой. Внук Настасьи Александровны, вернувшись в Москву, опустошенную пожарами, купил новый дом на Пречистенке. Переезд был долог и хлопотен, перевозили скарб и из старого дома, и из деревни, и была немалая возня с любимыми Ивана Александровича коллекциями, так как человек он был современный и науке не чуждый. Особенно была хороша коллекция белых мышей, которых Иван Александрович разводил любовно за их редкость, а также приручал, так что они ползали у него под фраком, залезали в рукава и выползали через ворот, вызывая не только всеобщее удивление, но и ужас и отвращение женщин, зато и радость малых детей.

Те белые мыши содержались в больших клетках в особой комнате. А как перевозить их в клетках было невозможно, то Иван Александрович придумал для них иное временное помещение, где им пришлось просидеть дольше намеченного. Все же перевезли их благополучно и опять рассадили по клеткам в новом доме, а ящик, служивший для перевозки, Иван Александрович приказал отправить на чердак, где он и простоял еще два-три человеческих поколения, до конца прошлого века.

Казалось бы, что ни мыши, ни ящик в нашем рассказе ни при чем. А между тем Иван Александрович, не желая огорчить жену, скрыл от нее странное происшествие. Дело в том, что ящик был тот самый, в котором хранилась борода Тимофея Архипыча; белые же мыши, наголодавшись в ящике, съели не только сыромятный ремешок, но и самую бороду, хотя вкуса в ней не могло быть никакого. Съели не целиком, но

все же настолько, что все ее велелепие исчезло, а к тому же сильно попортилась и загрязнилась и подушка. Все это Иван Александрович скрыл, не придав случаю никакого значения, но боясь неприятностей от своей жены Екатерины Александровны, урожденной Строгановой, женщины серьезной и почтительной к заветам старины.

А уж дальше – суеверные могут охать, а маловерные над ними смеяться, но только в тот самый год тяжко заболел за границей внук Ивана Александровича и впоследствии от этого недуга сошел в могилу бездетным, хоть и был женат на девице Кноринг. А так как у второго сына Ивана Александровича детей мужского пола не было, то тем самым эта ветвь дома Нарышкиных вскоре пресеклась, как и было то предсказано явившимся на воздусех в моленной Тимофеем Архипычем.

* * *

Старинные предания поучительны, и не следует относиться к ним с легкомысленным смешком.

И неплохо в вечной тревоге мира сего поступит тот, кто, современности не смущаясь, насмешек не боясь, даст своей бороде произрастать свободно, охранив и ее и себя от напастей заклинаниями отца нашего Сисиния:

"Ты еси окаянная Тресея!

Ты еси окаянная Глухия!

Ты еси окаянная Грудица!

Ты еси окаянная Корноша проклятая!

Ты еси окаянная Вевея – сестра страшная плесовица, усекнула главу Иоанну Предтечу!"

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ

Людовик Осьмнадцатый, отец и благодетель своих подданных, не скупился на ордена для признательной отметки даже некрупных заслуг перед отечеством. Так, например, небольшой и приятный орденок имел почтмейстер городка Руа, что в Пикардии. В то время орденские кавалеры не ограничивались ношением ленточки в петличке, а добросовестно вывешивали на подлежащем месте красивую побрякушку; и тотчас же, даже у хилого человека, грудь сама собою выпячивалась, а встречный человек смотрел, завидовал и мечтал сам со временем украситься чем-нибудь подобным. Это вело к

благомыслию и рвению чиновников, как, впрочем, ведет и сейчас; самый же орден государству ничего не стоил, так как покупался награжденным за собственный счет. Излишне говорить, что ордена изобретены человеком мудрым и тончайшим психологом.

Мосье Пьер Амабль Кентар, проживая в Руа, чувствовал себя человеком счастливым и по заслугам оцененным, даже несколько возвышенным над окружавшим его миром. Когда же он был переведен в Шель Нижнерейнского департамента в Эльзасе также на должность почтмейстера королевской почты, то случилось, что в первое же воскресенье, выйдя прогуляться с женой средней красоты и дочерью на выданье, он встретил, по крайней мере, десяток таких же орденских кавалеров, а сверх того, почтенных буржуа, украшенных орденом иностранным. Иными словами – здесь почтмейстеру Пьеру Амаблю Кентару не только нечем было выделиться, но он оказывался как бы на втором плане в толпе одинаково отмеченных вниманием Людовика Осьмнадцатого.

Это его неприятно взволновало. Солнце потеряло прежнюю яркость и ласковость, вечера тянулись долго, ночи стали несколько беспокойными. Однажды, внимательно рассматривая еще недавно любимый орденок, Пьер Амабль Кентар пришел в убеждение, что в нем нет ни достаточной красоты, ни особой привлекательности для взора. Есть много орденов французских, не говоря уже об иностранных, при блеске которых этот орденок обращается как бы в простую пуговицу, в малодостойную бляху. Мечтать о более парадном ордене национальном невозможно человеку, остающемуся провинциальным почтмейстером королевской почты. Но сколько людей ничем не выдающихся и за заслуги более чем сомнительные получили в последнее время иностранные знаки отличия в связи с конгрессами и дипломатической суматохой! Жить сейчас в Париже – ничего бы не стоило, использовав случай, поймать на лету ласку международной любезности и украсить новым блеском не только грудь, но и шею.

Напрягая память, почтмейстер духовным взором увидал прекрасный эмалевый крестик с кружочком посредине, украшавший шею проезжего русского военного чиновника; вспомнил ордена австрийские на портрете важного военачальника, фамилии которого никак не запомнишь. Посылает же иным судьба на грудь целые небосводы звезд и крестиков, так что, кажется, для нового отличия и места не найдется. Мечтать об этом праздно, но один-единственный эмалевый крестик мог бы упасть с неба на грудь скромного почтмей-

стера, тем более что по нынешнему времени значение королевской почты особенно велико.

И было угодно счастливому случаю, чтобы в городок Шель занесла судьба компанию русских офицеров. Были они только проездом, однако успели показать себя в лучших кабачках, поразив воображение граждан совсем не виданным дотоле размахом веселья и количеством выпитых бутылок. Еще поразило граждан то, что русские говорят по-французски не хуже их, эльзасцев, и что нет в них никакой важности и готовы они поболтать и выпить с первым встречным. Почтмейстер не был, конечно, первым встречным и тем легче завязал знакомство с офицерами, оказав им небольшую услугу по своей части. А завязав, прежде всего, как все люди любознательные, осведомился, правда ли, что по улицам Петербурга свободно гуляют белые медведи, а затем скоро перешел и к особо интересовавшему его вопросу: какие бывают русские ордена, которые даются среднему человеку за средние заслуги, и что это за эмалевый крестик с пятнышком в середине, который носят на шее?

Разъяснение почтмейстер имел полное, так что даже узнал, что это орден голштинский, но Павлом Первым введен в России, и что имеется он в пяти степенях – по степени заслуг и почтенности одаряемого. Мало того, один из офицеров, с истинно русским великодушием, будучи, однако, почти трезвым, подарил почтмейстеру именно такой крестик Святой Анны третьей степени, сказав, что себе он купит новый и что этого добра у нас сколько хочешь продается в магазинах, только носить может только тот, кому крестик высочайше пожалован.

Метеором блеснув, офицеры уехали, крестик же остался у почтмейстера, и притом с нужной ленточкой. Не раз, стоя перед маленьким зеркалом, прикладывал Пьер Амабль Кентар эмалевый крестик к груди и навязывал его на шею. Хотелось ему хоть раз пройтись с этим украшением по улице, чтобы утереть нос встречным кавалерам орденов не столь важных, но решимости не хватало; если бы еще в Париже, где человек человека не знает; здесь же, в городке Шель, знает каждого человека даже каждая собака, и подобный поступок не только вызовет разговоры, а может доставить и большую неприятность. Поэтому, поиграв драгоценной игрушкой, почтмейстер со вздохом укладывал ее в бумажную коробочку.

Гениальные мысли приходят всегда внезапно; такова была и озарившая внезапно почтмейстера Пьера Амабля Кентара, человека, обладавшего отнюдь не плохим стилем и, в сущно-

сти, живыми дипломатическими способностями. Сколько людей достойнейших только потому остаются в тени, что не умеют использовать момент и приступить к делу с тонкостью и деликатно!

Ибо не был ли император Александр героем Европы, и не про него ли говорили, что ни в ком ином не совмещалась так ярко величавость с изысканной любезностью?

"Ваше Императорское Величество, великий государь, соблаговолите простить смелый поступок француза, внушенный ему поистине Божеским откровением".

Как начало, такая фраза не может не пробудить сразу внимание. И, макнув перо с бравой решительностью, почтмейстер продолжал:

"18 марта 1816 года, в день особенно замечательный для меня в этом случае, так как в это число празднуется память св. Александра, патрона Вашего Императорского Величества, я, Пьер Амабль Кентар, бывший в то время почтмейстером в Руа, что в Пикардии, гуляя по дороге, идущей в Париж, в полкилометре от города нашел на дороге небольшую очень простенькую коробочку из картона, а в ней русский орденский знак Святой Анны третьей степени, потерянный, вероятно, кем-нибудь из ваших храбрых воинов, проходивших по этой дороге. Я поднял с уважением этот почетный знак отличия и свято хранил его, как вещь, которую я высоко ценю".

Просто, достойно и естественно. Но в иной простоте и естественности нельзя не усмотреть Божьего промысла. И нельзя на это не указать!

"Удивительное совпадение обстоятельств, что этот высокочтимый орденский знак попал в мои руки именно в день тезоименитства Вашего Величества, не раз внушало мне с тех пор мысль осмелиться обратиться к великому Александру с всепокорнейшей просьбой даровать мне разрешение носить на груди этот крест, попавший в мои руки по неисповедимому промыслу Божьему, как будто указывавшему мне, что Ваше Императорское Величество не откажете мне в этой особенной милости.

Так как настоящее письмо будет получено в драгоценный для меня день 18 марта 1824 г., то я пользуюсь этим случаем, чтобы вознести к Господу Богу самые искренние молитвы мои и прошу Его ниспослать на августейшую особу Вашу всякие блага и сохранить на многие лета драгоценную жизнь Вашего Величества на благо его народа.

Да здравствует вовеки великий Александр! Таковы будут мои пожелания до последних дней моей жизни.

С глубочайшим почтением честь имею быть Вашего Величества всенижайший и всепокорнейший слуга Кентар".

* * *

И потянулись дни ожидания милостивого ответа. Конечно, имя Пьера Амабля Кентара – пустой звук для великого Александра, имя которого повторяет весь мир. Но ведь и Людовик Осьмнадцатый, отец и благодетель своих подданных, не знал лично руайенского почтмейстера – и, однако, не преминул украсить его грудь орденом. Что стоит царю беспредельных степей, населенных белыми медведями, простереть руку и дать просимое восхищенному его величием гражданину страны, этим царем облагодетельствованной? Окруженный низкопоклонством придворных, среди которых не все достойны его милости, разве не оценит он простой и, в сущности, бескорыстной преданности французского почтового чиновника, которому никогда не пришло бы в голову беспокоить великого императора скромной просьбой, если бы не явное указание божественного промысла и не поистине изумительное совпадение дней.

Еще никогда почта так не интересовала почтмейстера; при разборке писем он теперь всегда присутствовал лично. Дома, обсуждая все "за" и "против", он ясно чувствовал увесистость "за" и ничтожество возможных "против". Чаще прежнего он вынимал из коробочки орден и приставлял его к груди; собственно, он уже настолько с ним сжился, что только скромность и выдержка, плоды прекрасного воспитания, удерживали его от преждевременного обнаружения высокого к нему внимания русского императора. Встречая превыше его награжденных орденами соперников, он загадочно улыбался и больше не завидовал; но не мог отказать себе в удовольствии представить мысленно их вытянутые физиономии, когда однажды он выйдет с женой и дочерью на главную улицу города, поблескивая эмалью иноземного креста – и какого! Конечно, его будут расспрашивать, за что он получил высокую награду. На эти расспросы он ответит загадочной улыбкой: не может он болтать всякому о тех особых отношениях, которые связывают его с императором всех Россий! Тайна останется тайной и еще увеличит блеск его славы. Возможно, что высшее почтовое начальство сочтет неудобным держать его дольше на слишком скромном посту почтмейстера в провинции. Но главное не в этом – не корысть руководила его сме-

лым поступком, а скорее чистая поэзия, эстетический запрос недюжинной души, взлет творческой фантазии.

Скрывать тщетно: он ждал ответного письма страстно и нетерпеливо. И когда письмо пришло, – он сломал его печать дрожащими руками.

"Его Императорское Величество повелел мне ответить Вам на Ваше прошение.

В прошение это вкрались ошибки, которые необходимо исправить.

Во-первых, тезоименитство Его Императорского Величества, несмотря на утверждение грегорианского календаря, приходится не на 18 марта, а на 30 августа старого стиля.

Во-вторых, случайность, вследствие которой в Ваши руки попал крест Святой Анны, отнюдь не дает Вам права носить его, так как подобные знаки отличия даются лишь в награду за услуги, оказанные государству.

По всему этому, милостивый государь, Вы поймете без труда, что императору невозможно удовлетворить Вашу просьбу".

В ближайшее воскресенье почтмейстер не гулял с женой и уже зрелой дочерью. Сидя дома, он со злобным лицом читал газету, бурча про себя иронические замечания по поводу самодурства и чрезмерной дерзости некоторых представителей некоторых варварских стран. В конце концов, обидно, что узурпатор Наполеон Бонапарт не научил их вежливости и вернул им так славно завоеванную Москву. Но увидим, что будет далее...

СТАРАЯ БАРЫНЯ

Нынче весь дом с утра в волнении и на ногах: старая барыня, Катерина Александровна, приглашена к высочайшему столу. Событие хотя и не редкое, но всегда чрезвычайное.

Девушки прогладили кружевной чепец с бантиками. Волосочес старательно подвил седые букли паричка. Еще с вечера развешен и проветрен дорогой шелковый капот, хрустящий и отдающий лавандой.

Приходится Катерине Александровне снять с глаз зеленый зонтик, без которого дома она не ходила: мягчит свет и голове легче. Облекшись в капот, на левое плечо пришпиливает кокарду ордена Святой Екатерины, а через правое плечо под дочерним присмотром перекидывает со всей важностью и пышностью старую желтоватую турецкую шаль, драгоценную и наследственную, видавшую виды и смены царей.

Сколько надето под капотом нижних юбок – и не сосчитать; при полноте природной в таком сооружении Катерина Александровна еще более величественна. Нынче так одеваются немногие, только старого закала и самых почтенных родов особы. В правой руке барыни добрый костыль, в левой золотая табакерка в виде моськи. Вот и готово.

Одевшись, Катерина Александровна во всем облачении мерным шагом проходит по комнатам, и все ею любуются: старая полковница, при ней бессменно пребывающая, и две сиротки-дворянки, да старшая горничная, да две младшие, да калмык Тулем, которого держат в доме за скулы и безобразие, да карлик Василий Тимофеевич, человек хоть и крохотный, но почтеннейший, знаменитый на всех ворчун и большой мастер на ходу вязать чулок.

Дмитрий Степаныч, дворецкий, разряжен тоже в пух и прах: под белым галстуком округлено веером белое жабо, а хохол на голове взъерошен по самой подлинной дворецкой моде. При карете ждут два ливрейных лакея в нарядах, достаточно потертых годами, и в таких треугольных шляпах, каких больше не найти во всем Санкт-Петербурге, а нелегко и в старомодной Москве. Форейтор – чудо из чудес. В форейторы он был взят мальчиком, как и полагается; но Катерина Александровна перемен не любит и преданных людей ценит; форейтор с годами вырос в великана и, однако, остался при должности – здоровенным, устрашающего вида мужиком. Зато кучер, не в пример другим кучерам, отменно худ, хотя вся дворня на хороших хлебах. Сам худ, а армяк шит на плохой глазомер – болтается на кучере, как тряпка на метле.

Знаменита и карета Катерины Александровны: не то чтобы допотопная, но во всяком случае допожарная московская, пережившая французов. Лошадей четверка, разных колеров и роста, с торчащими ребрами, не от голода, а от глубокой старости, зато отличного нрава и полной смиренности: такие клячи не подведут, а довезут куда надо и привезут обратно в целости.

Когда знаменитый рыдван Катерины Александровны громыхает по улице, прохожие столбенеют и оглядываются; одни смотрят, как на чудо, другие, узнав, почтительно кланяются, а иная старушка набожно крестится, думая, что это везут архиерея или чудотворную икону.

Проводив Катерину Александровну хлопотно и почтительно, все домашние и дворня ожидают ее обратного прибытия с большим нетерпением, потому что возвратится она не с пустыми руками.

* * *

В девичестве Римская-Корсакова, по мужу Катерина Александровна была Архаровой. Братья Архаровы, Николай и Иван Петровичи, были знаменитыми правителями обеих столиц. Больше известен старший брат, Николай Петрович, екатерининский вельможа, московский губернатор при Екатерине, а при Павле – второй петербургский генерал-губернатор, человек сильный, лицемер отменный и правитель жестокий. От фамилии Архаровых произошло московское слово "архаровцы", то есть жулики, скандалисты и насильники. Но, вопреки обычному мнению, первый Архаров тут ни при чем, а слово "архаровец" родилось при его брате, Иване Петровиче, тоже губернаторе, но времен павловских, назначенном в помощь князю Долгорукому. Сам Иван Петрович был в военном деле неискусен, и Павел, назначив его военным губернатором, дал ему в дядьки полковника-пруссака Гессе, который и сформировал из восьми гарнизонных батальонов пехотный полк, прозванный архаровским. Вот этих "архаровцев" и запомнила Москва. Иван же Петрович был характера мягкого, человек любезный, правитель никакой, хозяин гостеприимнейший. Про него рассказывают, что особо почетным и любимым гостям он говаривал:

– Чем мне тебя угостить? Прикажи только, и я тебе зажарю любую из дочерей!

Любил выпить в хорошей компании, но к вину был равнодушен, а предпочитал пиво и пил его всегда с присловием:

– "Пивушка!" – "Ась, милушка!" – "Покатись в мое горлышко!" – "Изволь, мое солнышко!"

Наливал стаканчик – и выпивал со вкусом.

Об его московском правлении сведений осталось мало: ничего замечательного. Только известно, что однажды он приказал всем московским жителям завести выезды немецкой упряжи, в чем и обязал их подпиской; это было сделано по совету петербургского брата, чтобы доставить удовольствие Павлу. И, однако, от Павла он получил за это нахлобучку. Еще большую нахлобучку – с устранением со службы – получил его брат Николай, когда приказал всем обывателям Петербурга окрасить ворота и заборы полосами черной, оранжевой и белой краски, на манер шлагбаумов – опять же, чтобы сделать приятное императору, любителю казенного единообразия. Павлу не понравилось, Николай Петрович впал в немилость, а вскоре был устранен от московского гу-

бернаторства и Иван Петрович, и оба были высланы на жительство в свои тамбовские деревни. Ивана Петровича дворянская Москва провожала с сожалением; Карамзин привез ему целый мешок книг – читать в ссылке. Но ссылка была недолгой: Павел умер, а Александр вернул Архаровым царскую милость, хотя службы и не дал. С приходом Наполеона Иван Петрович переселился с семьей в Петербург, где и умер, а Катерина Александровна, его жена, стала проживать у своих замужних дочерей, ведя хозяйство с умеренностью и по старинке.

О ней воспоминаний сохранилось много, особенно в записках ее родных и свойственников. Об ее расчетливости, твердости, склонности к старозаветным обычаям и добродушии. О жирных и простых блюдах, которыми она любила потчевать приглашенных, о кучере Абраме, прозванном "труфиньоном", с которым она в Павловске собирала грибы, выезжая на этот спорт в низенькой тележке, похожей на кресло, окрашенной в желтую краску и запряженной в одну лошадь, старую смирную клячу. Белый гриб был страстью Катерины Александровны. Набрав грибков, приказывала зажарить большую сковородку, но есть грибы родные ей не позволяли – ей было вредно; старуха спорила, горячилась, чуть не плакала и, наконец, огорченно смирялась.

Катерина Александровна была очень чувствительна и боялась ужасов. В будние дни приживалка читала ей романы. Очень нравился Катерине Александровне "Юрий Милославский", но как дошло дело до опасности, которой подвергся герой, Катерина Александровна велела чтице сначала прочитать про себя и узнать, чем кончилось:

– Если он умрет, ты мне того не говори!

Катерина Александровна была глуховата. Глухим был и ее духовник, отец Григорий. Ее зять, Соллогуб, подслушал однажды ее исповедь:

– Грешна, батюшка, покушать люблю сладко.

– И, матушка, в наши годы извинительно.

– Иной раз на людей сержусь и браню.

– Кого?

– Людей, говорю, порядком браню.

– А как их не бранить, потакать им нельзя.

– Еще в картишки поиграть люблю, батюшка.

– В картишки? Ну, что ж, это лучше, чем злословить.

Других грехов за Катериной Александровной не было.

* * *

Бывая при дворе часто как любимица вдовствующей императрицы, Катерина Александровна держалась с достоинством, которого не теряла и в исключительных случаях.

Приглашенных много, прежней, павловской, простоты и строгости нет, гости разряжены по-модному, и на подержанную турецкую шаль Катерины Александровны смотрят со смешком на губах. Но старуху знают и уважают. Сам император Александр Павлович подает ей руку и ведет к столу. Распухшая от юбок, Катерина Александровна идет с ним тихо и важно во главе всех приглашенных.

И вдруг чувствует Катерина Александровна, что у одной ее нижней юбки лопнули завязки и сейчас эта юбка сползет и свалится. Другая бы тут же на месте умерла от ужаса и стыда. Катерина Александровна не растерялась, только позадержалась, беседуя с императором. Тем временем юбка совсем сползла на пол, образовав круг, накрытый шелковым капотом. Тут думать нечего, и Катерина Александровна, не оглядываясь и ничем себя не выдавая, переступает через круг и, продолжая беседовать, шествует дальше в столовую залу. Пусть кто смел и дерзок издевается над старухой – сама она будто ничего и не видит, да и император не заметил. Важно не потеряться и виду не подать! Теряют достоинство только выскочки и ветреницы – Архарова себя держать умеет.

И обед проходит торжественно и весело. Старуха, по глухоте, говорит громко и убедительно, мнений своих не скрывает, никакого смущения не показывает. Может, кто и хотел бы над ней посмеяться, да держит рот на замке.

Обычаю своему не изменяя, Катерина Александровна и сама лакомится сладкими угощениями, и не забывает откладывать, что получше, на особые тарелки, ей услужливо поданные. Гоф-фурьер знает ее привычку, и полные тарелки с пирожными, конфетами и отобранными фруктами с царского стола отправляются в ее экипаж, где ждет дворецкий. Видеть это никому не полагается, хотя и видят все. У старого человека свои прихоти, будь то дома, будь то за парадным придворным обедом.

И когда, вернувшись с обеда, Катерина Александровна, с помощью лакеев, дворецкого и костыля, выгружается из своего рыдвана, впереди нее несут тарелки с гостинцами. Прежде всего она проходит в спальню, где девушки снимают с нее парадный капот и все добавочные шкурки. Вместо них надевается капот домашний, тоже шелковый, но отменно зано-

шенный, а под старый чепец подвязывается зеленый козырек. Выйдя затем в столовую, Катерина Александровна садится в просторное кресло за свой столик, на котором стоит бронзовый колокольчик, перед ней ставят тарелки, и начинается справедливый дележ. Внукам – персики, абрикосы, фиги как угощение наиболее редкостное; приживалкам – сладости попроще, прислуге – что доведется, сладкие сухарики, пряники и леденцы, – но ни один человек не останется не оделенным гостинцами с царского стола.

И только всех наделив в строгой очереди и кратко рассказав, как милостив был император да как пышен и обилен был обед, сколько было почетных гостей, какие подавались блюда и какая к какому блюду подливка, Катерина Александровна под ручки уводится на покой после столь трудного и примечательного дня. О потерянной юбке ни полслова, как будто ничего примечательного не случилось. Да и мало ли какие бывают случаи. Что для молодой вертопрашницы было бы немалым позором, того старухе почтенной фамилии никто в упрек вменить не посмеет, а домашним об этом и знать не к чему.

* * *

И даже когда смерть подошла к одру восьмидесятичетырехлетней Катерины Александровны, и тогда старая женщина не потеряла самообладания. На все слова утешения говорила одно:

– Вы меня умирать не учите. Умела жить, советов не спрашивая, сумею без вашей помощи и помереть.

И похоронили ее на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

СЕРДЦЕ ПОМЕЩИКА

Рязанский помещик Дмитрий Николаевич М–в не зря был избран предводителем дворянства: он был человеком обстоятельным, хозяйственным, расчетливым и передовым, свое родовое поместье сделал образцовым, число крепостных душ приумножил правильным спариваньем и разведением и удачными покупками, а в селе устроил конфетную фабрику.

По утрам, после первого хозяйского обхода, помещик читал либо календарь с полезными сведениями, либо “Ведо-

мости", приходившие дважды в месяц и ценные, главным образом, своими объявлениями. Он читал не через две строчки третью, как читают сейчас газеты, и не одним глазом, а внимательно, буковка за буковкой, ничего не пропуская, а окончив, – читал снова с первой строки до последней и опять это повторял, пока не приходил новый номер. Особо тщательно он читал объявления:

"Продается, за ненадобностью, кучер с женой, умеющей ткать холсты и шить. Тут же продается и коляска в добром состоянии. Спрашивать в доме купца Терентьева у дворника Антона наискосок церкви Вознесенья, третий дом с угла".

"Девка продается молодая, обученная разным вышивкам, и сука лягавая двух лет, отменных родителей".

"Вдовую коровницу с малолетним грамотным сыном продаю дешево за излишеством. Видеть у парикмахера во все дни при театре на площади".

Кучер и коляска ни к чему, своих довольно, девок дворовых полный штат. А вот грамотного мальца с матерью, если подойдет, купил бы Дмитрий Николаевич. А кто продает? Не иначе как сам директор театра, тоже рязанский помещик. На театре и порастряс свое благосостояние.

Отметив объявление аккуратной скобочкой, со вторника на среду побывал в городе и посмотрел вдову с сыном. Вдова крепкая и может еще пойти замуж за пожилого, а сынишка шустрый и толковый.

Повидался с горе-помещиком, поторговался и купил за наличные.

Мальчика звали Ванькой – Иван Сибиряков. Русый, нос загогулей, читает бойко, почти без запинки, нараспев. И разные стихи говорит наизусть, не хуже актера; обучен в Москве, в народной школе, да наслушался в театре бывшего своего помещика.

* * *

На конфетной фабрике варили леденцы простые и барские и печатали пряники всяких сортов: одномедные, медовые, сусланые, сахарные, битые – весом до пуда, писанки, печатные, коврижки, жемки, жемочки; меньше на меду, больше на патоке, а также из соложёного теста с разными пряностями. Из села везли в Рязань, а оттуда по ярмаркам. Дело большое и нелегкое, нужен недремлющий хозяйский глаз, а еще пуще – честные приказчики. И приказчик должен знать все

производство, приучаться к делу сызмальства, не сбиваться в счете, уметь говорить с заказчиком, вести записи. Теперь не те времена, чтобы отмечать на дверном косяке палочками да держать в памяти, как раньше делали; теперь при фабрике контора, в конторе торговые книги, по книгам месячный и годовой отчет. Как в Европе.

Грамотный малый – клад. Ваня Сибиряков недолго пробыл на производстве, скоро перешел в контору, а одновременно стал при барине как бы личным секретарем: подавал умыться, чистил сапоги, составлял письма, вел счетоводство и читал вслух книжки в праздничные дни. Еще в церкви читал Апостола и подпевал на клиросе. За то ему была отведена в барском доме отдельная комната, вроде чуланчика, но с окном.

Был работящ и жаден до книги. День-деньской занят, а по ночам еще читает при коптилке и чего-то пишет свое. Другой бы помещик наказал и запретил, а Дмитрий Николаевич, наоборот, доволен, сам потакает, ибо знает силу просвещения. Умный человек из просвещения деньги чеканит.

В двенадцатом году барин взял Ивана Сибирякова с собой в поход, за денщика, за конюха, за лакея, – и не раскаялся. Особенно полезным оказался Иван за границей, где ему очень легко дались языки – и французский, которому он обучился самоучкой прежде, и особенно немецкий, выученный им в походе, почти шутя. Барину, который немецкого языка одолеть никак не мог, Сибиряков служил переводчиком, а сам с немцами свободно изъяснялся и вел разговоры даже о разных высоких материях. Пришлось его приодеть прилично, и многие, не зная о его крепостном положении, здоровались с ним за руку и удивлялись его уму и образованности. Помещику это нравилось – вот какого слугу вырастил! За стол с собой, конечно, не сажал, но знакомствам не препятствовал: пусть молодой человек развлекается в свободное время, лишь бы хорошо чистил сапоги и все подавалось вовремя. Не пьет, табаку не курит, пишет свои тетрадки – никому и ничему не помеха.

В бытность наших войск в Австрии случилось, что добрые люди, узнавши о зависимом крепостном положении молодого человека, предлагали ему остаться за границей, обещали подыскать ему прекрасную невесту и устроить его в жизни, как прилично человеку просвещенному. Но Сибиряков был патриотом и мечтал о возвращении на родину. Не век же будет он торчать при барине и на конфетной фабрике, – времена подошли замечательные, и может ли быть, чтобы импера-

тор Александр, окончив войну победно, не облегчил участь крепостных людей? От тех образованных офицеров, которых он встречал в походе и которые оказывали ему внимание, он ожидал поддержки и дома. А главное – чувствовал в себе талант и призвание по части литературной, и неужели же не откроется перед ним иная славная дорога?

Когда после двухлетнего похода вернулись домой, помещик с новым упорством занялся конфетным делом, а Сибиряков, пачкаясь в патоке и работая как оглашенный, писал по ночам свои вдохновенные строчки, посылая их на оценку в журналы и великому писателю Василию Андреевичу Жуковскому. А однажды решился на последнюю дерзость: послал самому императору Александру стихи, в честь его написанные.

* * *

Возвращаясь в дом с фабрики, где помещик приставил его наблюдать за изготовлением большого заказа на леденцы и постный сахар, Сибиряков долго обтирал у крыльца о железную скобу подошвы сапог: очень приставала патока и разные сладкие осколки; черным ходом проникал в коридорчик и свою камору – приют залетных муз. Придя, отмывал с рук сладкое, переобувался и брался за тетрадочку.

Но тут и не умылся, и не переобулся, а прямо принялся за полученное в конторе письмо и за книжку журнала. Письмо было ответным от великого поэта Жуковского, а в книжке "Вестника Европы" горело и прожигало страницу его, Сибирякова, первое напечатанное стихотворение.

К иному человеку слава подкрадывается незаметно и ударяет его по макушке сладким пудовым пряником! Не рассказать, что испытал в этот день крепостной поэт-конфетчик; нужно порасспросить об этом молодых поэтов, впервые тиснувших трепет сердца "из цикла".

Стала ли светлее жизнь его с того дня? Нет, стала сто крат тяжелее! На смену мечте шли достижения, но, приблизившись, в руки не давались, а только кривлялись и манили несбыточным: раб ты и сын раба, не по тебе шита поэтическая тога!

Могу ли жизнь еще сносить
С растерзанной душою?
Ужасна бедность, но стократ
Презренье тяжелее:

С ним жизнь – не благо, лютый ад,
И ада мне страшнее!

Увы, и я, и я рожден
В последней смертных доле.
Природой чувством наделен,
Столь гибельным в неволе!..

Потом появились его стихи в “Трудах Московского общества любителей словесности”, – и еще ближе слава, и еще горше конфетная неволя и чистка барских сапогов. Про его успехи узнал, конечно, и помещик. Однажды, ко сну отходя, протянул ему ногу и сказал ласково:

– А ну, Ваня, снимай осторожнее, чтой-то я пятку натер. Слыхал – пропечатали тебя в журнале. Старайся, я тебе не препятствую. Ужо будут гости, прочитаешь им.

Но про стихи, посланные его человеком самому государю императору, барин узнал только из полученного им письма за большой сургучной печатью от петербургского военного губернатора М. Милорадовича.

Письмо тонкое, почтительное, с ясным намеком, но и с вежливой осторожностью. Его величество заинтересован судьбой крепостного человека, приславшего ему стихи собственного сочинения; и другие видные особы также проникнуты вниманием к таланту молодого человека. “Дарование свободы ее заслуживающему есть подвиг, приятный для всякого благородного сердца”. Но чтобы не вышло подобием приказа, – сердце дворянина свободно в движениях и поступках, – прибавлено в письме:

“Не расположены ли Вы продать его и за какую именно цену? В таком случае он куплен будет для того только, чтоб получить в то же самое время свободу”.

Приятно получить такое письмо. От сердца помещика ждут жертвы – сердце его на жертву готово. Не в пример прочим, предводитель дворянства не темный рабовладелец, а истинный отец своим крепостным людям. Взял мальчонку с матерью-коровницей, вырастил из него образованного человека и поэта, – ужели же держать его вечно в неволе?

Пред барские очи предстал Иван Сибиряков трепещущим и полным предчувствий.

– Вот просит за тебя военный губернатор по указанию его императорского величества. Я тебе не враг, а как бы отец, и воля государя священна. Ответ писать будем.

Сам помещик по части писанья не мастер – на то и держит при себе секретарем крепостного человека.

– Слушай, что скажу, да пиши аккуратней; это тебе не стишки. И помни всю жизнь мое благодеяние.

Вначале дрожит перо в руках поэта, дальше тверже, а к концу письма голова как бы в тумане:

"Ваше высокопревосходительство, милостивый государь мой! Означенный в письме Вашем Сибиряков по всей справедливости дарованиями заслуживает одобрение. Он, с немалыми издержками будучи воспитан в московских училищах, приспособлен мною к письмоводству и теперь прекрасным отправлением оного и честным поведением заслуживает совершенного моего доверия, почему я не решился бы ни за какую цену его продать опять в крепостное право".

– Понял? Вот как я тебя аттестую его высокопревосходительству. Пиши дальше!

"Почитая священною обязанностью способствовать счастию человека, своими достоинствами умевшего в почтенных любителях отечественной словесности снискать участие к его освобождению, я поставляю приятным долгом содействовать к общему их удовольствию".

Клубок радостных слез подкатывается к горлу поэта: последним жестом раба – не броситься ли к ногам благодетеля и не облобызать ли их в сыновнем умилении?

"Но как Сибиряков обучен еще кондитерству, почему для занятия должностей, ныне им отправляемых, должно заплатить значительную сумму, каково расход при неизбыточном моем состоянии очень чувствительный, то по всей справедливости считаю непревосходную цену получить за него 10 000 рублей, дабы процентами с оной мог платить занимаемую услугу вместо Сибирякова, не стесняя издержек на воспитание малолетних детей моих".

* * *

Писали в журнал:

"Состраданье великодушное готовит уже свободу и счастье печальному любимцу муз. Многие знаменитые особы соглашались содействовать искуплению".

И правда, выкупили в то время, добровольной подпиской, майора Швецова из чеченского пленения и грузина Джуджи от турецких разбойничков. Конечно, десять тысяч за крепостного – цена неслыханная! За такие деньги можно купить де-

сяток семейств на вывод да в придачу две своры борзых. Но сердца нежные и отзывчивые ужель не откликнутся щедрой жертвой, презрительно указав расчетливому барину-конфетчику, что любители отечественной словесности не позволят ему держать в плену печального любимца муз!

Дважды напечатано в журналах пламенное воззвание. Майор Швецов гулял на свободе героем и потом всю жизнь, пыхтя трубкой, рассказывал о своем пребывании в плену у чеченцев. Грузин Джуджи, освобожденный доброхотными жертвователями, не столько думал о благодарности им, сколько о мести проклятым турецким разбойникам.

Но нет сведений в старых журналах о конечной судьбе Ивана Сибирякова. И – по всему видно – напрасно пропал великодушный порыв помещичьего сердца!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ КУКЛЫ

Как случилось с Микеланджело, так же точно произошло и с русским кустарем Иваном Рыжевым.

Достался великому Микеланджело преогромный кусок мрамора самой отличной породы; колоть его на части – жалко, а что же высечь из цельного куска? Смотрел-смотрел Микеланджело, и в некий момент встал в его воображении юноша Давид, такой величины, что таких и взрослых не бывает; и весь юноша, вместе с пращой, вошел в кусок мрамора очень ловко и без остатка. Можете убедиться, побывав во Флоренции.

А с Иваном Рыжевым, даровитейшим кустарем-самоучкой, дело было так.

Бил Иван баклуши, – но не в том смысле, как это теперь понимают, а в первоначальном, деловом. Баклуши – деревянные чурочки для всяких поделок, для разного щепного товару. Наколов таких чурок сколько требовалось, приступил Иван к изготовлению монахов.

Раскрашенные куклы монахов и монахинь ходко шли на ярмарках, и купец Храпунов выделывал их на своем кустарном заводе в Богородском уезде Московской губернии, а также заказывал кустарям-одиночкам, которых было много в игрушечном районе близ Сергиева Посада. Делали монахов деревянных с раскраской, делали и глиняных, внутри полых, с горлышком в клобуке – как бы фляга для разных напитков.

Кто первый сделал монаха – неизвестно. Но известно, кто первый сделал монаха со снопом, а в снопе спрятана женщина: именно Иван Рыжев.

Было так, что одна чурочка оказалась с горбылем: с одной стороны ровная, а с другой закруглилась горбиком от попавшего сучка. Дерево хорошее, бросить жалко. И вот стал Иван Рыжев смотреть, как смотрел когда-то Микеланджело, и усмотрел сноп, перекинутый у монаха через плечо. Самый же сучок в расколе до удивительности напоминал бабье лицо.

Иван заработал ножичком с обычным своим неоцененным искусством. Вырезав, загрунтовал белым, а по белому разрисовал, как обычно, яичными красками. И ожил монах!

Идет, старый и длиннобородый, согнувшись под тяжестью, в черной манатье, в черном клобуке, несет на плече желтый ржаной сноп, а из того снопа в одну сторону торчит бабья головка, в другую – ножки.

Игрушка-балушка, детская потешка, но богоугодная: видно сразу, что спас монах женщину от какого-нибудь бедствия, вынес ее незаметно в снопе и доставил в безопасное место. И хотя баба внаготку, одежи на ней не видно, но все неподобающее прикрыто соломой, так что никому не зазорно.

Приняв заказ от Ивана Рыжева, купец Храпунов игрушку оценил. Повертел в руках, щелкнул бабу по деревянной пятке, хитро улыбнулся: пойдет! И заказал Рыжеву наделать таких именно монахов, со снопом и с бабой, десятка четыре – на пробу.

На первом базаре в престольный праздник всего бойчее были раскуплены монахи со снопом. Даже и цена на них повысилась. По рыжевской модели стали работать и другие кустари, так что появились монахи со снопом на всех ярмарках и в Москве, на Красной площади, разошлись и по всей России.

* * *

В 1821 году был праздник в Саратовском монастыре и, конечно, ярмарка. Навезли продавцы товаров: разного кустарного барахла, посуды, игрушек, образков, чарочек, фляжек, ложек, тут же и сладости – пряники расписные и подовые, леденцы, постный сахар, орехи, подсолнечное семя. Сам архимандрит Савва прошелся по рядам балаганов и лотков, особо остановившись посмотреть яркие цветные игрушки. Хороши старик со старухой, она в красном сарафане и яркосинем повойнике за прялкой, он – в синей рубахе, расцвеченной у ворота красной полосочкой, а между ними на лавке, как статуй, черная кошка. Хорош и пляшущий крестьянин со

скрипкой, не хуже всадник на серой лошади в яблоках, и очень забавен для деток Ноев ковчег, игрушечный домик, внутри оклеен обоями, а в нем уложены разные зверушки, семь пар чистых и две пары нечистых, как и полагается по Священному писанию.

Хороши херувимчики и серафимчики, розовые и шестикрылые, у иных в задике свистулька – развлеченье для детского возраста. Ходит разносчик середь толпы и покрикивает:

– А вот – остатки небесных сил! Штука семишник, за две пятачок!

И монахи хороши – стоят на прилавках рядами, которые подешевле, работы топорной, а которые в блеске красок и лакировки. Иные потоньше, другие в полном теле. Есть и такие, что видно: не пожалел кустарь дерева на иноческое чрево. Но это ничего, обиды в том нет. Смотрит игумен Савва и ухмыляется с добротою: он и сам природой не обижен. И вот тут-то и попадись ему на глаза рыжевское творение: старый монах со снопом, а в снопе неведомая женщина.

Посмотрел неодобрительно и сурово, ничего не сказал, а вернувшись в монастырь, послал отца-ключаря купить либо просто отобрать у торговца две штуки на просмотр.

Не все понимают чистое искусство, и много в людях напрасной подозрительности.

* * *

Саратовскому преосвященному Амвросию от архимандрита Саввы донесение.

При донесении пакет за монастырской печатью. В пакете расписная кукла-монах со снопом.

Было над чем задуматься! Есть ли сие монашеский подвиг – или соблазн? Задумался преосвященный, долго рассматривал куклу, даже поскоблил ногтем бабью головку у горлышка. Вспоминал, нет ли такого предания о монахе, спасшем женщину в снопе, но припомнить не мог. В прежнее время оставил бы донос без внимания, но нынче пошли по духовному ведомству строгости, а черное духовенство имеет сильную руку даже при царском дворе: младого старца Фотия, а за ним благочестивую девицу графиню Анну Орлову-Чесменскую. Лучше пересолить, чем недосолить!

Первым делом решил преосвященный снестись по делу с управляющим Саратовской губернией.

Губернатором был старый генерал, пустяков не любивший. Однако кукла ему понравилась:

– В чем дело? Ну, несет монах бабу – и на здоровье! При чем тут губернаторская власть?

– Ходатайствует преосвященный о воспрещении.

– Пусть и обращается по ведомству Министерства финансов.

– Финансовое ведомство, ваше превосходительство, все равно запросит отзыв губернского правления.

– Не хватало, чтобы мы в куклы играли!

И поехал многострадальный монах дальше по путям бумажным, с копией жалобы и отзывом властей губернских.

* * *

Вот он и в городе Санкт-Петербурге у министра духовных дел князя А. Голицына.

Повертел князь Голицын куклу так и сяк, усмехнулся в усы, но кстати вспомнил про главного своего неприятеля Фотия. По архиерейскому докладу выходит, что тайные враги духовенства сеют в народе соблазн. Однако губернское правление в отзыве своем пишет иное:

“При рассмотрении при сем прилагаемого произведения кустарной деревянной промышленности саратовское губернское управление полагает, что данная игрушка служит не соблазном, а лишь примером добродетели, представляя старца, стремящегося спасти невинную жертву от злодеев. На указанном основании губернское правление не видит достаточных оснований для представления в ведомство государственных финансов на предмет ходатайства о воспрещении продажи вышеуказанного образца рыночной торговли оптом и в разнос”.

И, однако, зачем-то несет монах женщину! А где же разбойники?

В сем спорном деле чиновникам не доверяя, пишет князь А. Голицын собственноручно письмо министру внутренних дел графу Виктору Павловичу Кочубею, приложивши к тому письму и обвиняемого монаха, несущего сноп с запрещенным содержанием:

“Усматривая, что таковое изображение может дать повод к толкам, противным благонравию, и, заражая тем невинные понятия неопытной юности, внушить неуважение к духовенству – поставляю долгом препроводить к вашему сиятельству

означенную фигуру, предоставляя на усмотрение ваше, милостивый государь, угодно ли будет вам снестись с г. министром финансов о воспрещении продавать и выделывать на фабриках подобные вещи или не признаете ли нужным поручить мне".

* * *

Перед столом министра внутренних дел стоит секретарь с бумагами.

– А это что за чучело?

– Кукла, ваше сиятельство. При письме князя Голицына.

Граф Кочубей – человек светский, без предрассудков.

– Ловко сделана! Куда же монах несет эту... солому?

– Полагаю, ваше сиятельство, что в безопасное место.

– Не иначе, как в безопасное! А как там сказано, в губернской бумаге?

– Спасает невинную жертву от злодеев, ваше сиятельство.

– Да уж, очевидно, спас, коли несет. Князь, значит, не согласен?

– Высказывает опасение, что сим колеблются невинные понятия неопытной юности.

– Ну, юность тут, пожалуй, ни при чем; монах старенький. Нужно, однако, ответить, а?

– Я бы полагал, ваше сиятельство, препроводить министру финансов на усмотрение, приложив и подлежащий суждению предмет.

– Вы уж напишите сами и дайте мне. А куколка недурна, а?

– Работа отменная, ваше сиятельство.

– Мордочка у бабы словно бы напоминает графиню Орлову. Вы эту отошлите при отношении, а мне постарайтесь раздобыть такую же. Хороша куколка!

* * *

"7 ноября 1821 года. Циркуляр министра финансов управляющим губерниями. Принимая во внимание, что на некоторых фабриках деревянных изделий изготовляются для продажи фигуры безнравственного содержания, могущие дать повод к толкам, противным благонравию, и, заражая тем невинные понятия неопытной юности, внушить неуважение к духовенству, а также основываясь на жалобе преосвященно-

го Саратовской епархии, отзыве управления Саратовской губернии, отношении Министерства духовных дел и министерства внутренних дел, предписывается вашему превосходительству воспретить повсеместно во вверенной вам губерии производство и продажу раскрашенной деревянной куклы, изображающей монаха, несущего сноп со включенной в оном женщиной неизвестного происхождения и для невыясненной цели, могущей возбуждать сомнения. О последующих ваших распоряжениях по сему предмету благоволите уведомить немедленно канцелярию господина министра финансов".

– Самый предмет препроводить, ваше высокопревосходительство?

– А сколько прислано образцов?

– Один, ваше выс-ство.

– Как же вы разошлете при всех циркулярах? Соображать надо, молодой человек! Оставьте куклу здесь, я еще рассмотрю. А недурно работают наши кустари!

* * *

У Ивана Рыжева новая изба. Сам уже не бьет баклуши – на то есть помощник. Другой помощник, паренек способный, выделывает монахов начерно, а Иван только доканчивает и раскрашивает саморучно яичными красками.

На ярмарках лотошник пытает у оптовика:

– Чего получше нет, Митрич?

– Какого тебе получше?

– Мне бы пяток со снопом. Цена-то как нынче?

– Цена нынче за штуку рупь.

– Летось по три гривенника давал.

– Ныне не те времена.

Юркий разносчик выглядел покупателя:

– А что, ваше степенство, не нуждаетесь ли в чернеце с бабочкой?

– Какой такой чернец?

– Извольте посмотреть в сторонке. Спасение невинной жерты. Душевный инок избавляет барышню от разбойников. Благородные побуждения престарелого старца.

КИШИНЕВСКИЙ СЛУЧАЙ

На пригорке двухэтажный дом, одинокий, среди небогатой зелени. Окна нижнего этажа с решетками. С верхнего балкона великолепный вид на лощину и на небольшое озеро, в которое впадает речка Бык. Левее – молдавские каменоломни, еще левее – новый Кишинев. Вдали – горы.

Этот вид успел надоесть жильцу нижнего этажа, смуглому молодому человеку с наголо бритой головой. Голову пришлось вторично обрить, потому что волосы, после горячки, растут клочьями. Крайне неприятно, хотя можно, выходя из дому, надевать молдаванскую шапочку или турецкую феску.

– Никита!

Слуга на пороге.

– Узнай, Иван Никитич дома ли.

– Уехали они; сейчас после обеда уехали.

– Ну, подай мне пистолеты.

Никита осторожненько и недоверчиво берет два пистолета, подает лежащему на диване барину и поспешно отступает спиной к дверям.

Молодой барин, опершись на левый локоть, нацеливается в муху на окрашенной в голубой цвет стене. После выстрела на стене оказывается восковая лепешка, в которую он целит из второго пистолета, и довольно удачно: лепешки сидят рядышком, на полвершка одна от другой. Следовало бы встать и посмотреть, нет ли под первой лепешкой останков мухи; но, во-первых, лень, во-вторых, муха, наверное, улетела.

Что делать дальше? Лежать надоело, писать стихи не то чтобы надоело, а как-то не пишется. Не переодеться ли армяшкой, турком или жидом и не пойти ли в кофейную Фукса играть на бильярде? Тоже не забавно! Подняться наверх к Инзову и учить попугая хорошим словам? Дернуть к Кириенке? Закатиться к Крупянскому, но он накормит плациндами и каймаками – покорно благодарю.

Тю юбески питимасура...

Этакая прелесть песенка! Посмотреть бы и послушать мититику или, еще лучше, сербешти... Хорошо поют молдавашки!

Пом, пом, пом, помиерами пом...

– Никита, одеваться!

Слуга в соседней комнате шевелится нехотя.

Дай, Никита, мне одеться,
В митрополии звонят!

Никита на пороге:

– Да во что же одеваться, Лександра Сергеич? Сапоги генерал приказали отобрать; я их Федору выдал.

Федором Никита зовет Бади-Тодора, слугу Инзова. Раз генерал отдал приказ, Федор нипочем сапогов не вернет. Сказано – на двое суток.

Конечно, мог бы Александр Сергеевич, наказанный поэт, выйти в сандальях или турецких туфлях и в своем любимом пестром архалуке, – но нельзя нарушить слово, данное добрейшему Ивану Никитичу! Придется просидеть вечер дома под арестом. А все – шалости! Пора бы и остепениться.

– Ну ладно. Набей мне трубку и ступай.

Под окном голос:

– Эй, Саша, Пушкин, ты дома?

Скачок с дивана к окну:

– Дома, заходи!

– Некогда. Я пришел спросить, пойдешь ли ты в ложу? Ныне у нас прием.

– Душа моя, выйти не могу, под арестом. Инзушка и сапоги отобрал.

– Опять? Эх ты, бес-арабский! А жаль, мы посвящаем ныне болгарского попика, отличнейший человек. А после, конечно, застольная ложа. Братья жалуются, что ты мало бываешь.

– Ходил, да скучно. А что до трапезы, то скажу тебе, душа моя, – вино ни к черту! Скажем, был бы –

...хоть, например, лафит
Иль кло-д-вужо, тогда ни слова,
А то – подумать так смешно –
С водой молдавское вино!

– Значит, не пойдешь?

– Говорю – не могу, Инзушка обидится, я обещал.

– Ну, так прощай, куконаш Пушка!

– Прощай, ангел! Кланяйся Пущину, Раевскому и всем боярам и фанариотам! Забеги потом рассказать.

Опять один. Закат румянит домики на горном склоне.

Ардема, фридема!..

Подобрав ноги на диван, поэт сидит среди кучи исписанных бумажек. "Ардема, фридема!.." – "Режь меня! Жги меня!"

Лицо серьезное, сразу на десять лет старше. Никита заглянул было – и испуганно стушевался:

– Пойти постеречь, чтоб кто-нибудь не нарвался на молодого барина, когда он пишет!

* * *

Подъезжают экипажи и подходят люди к одноэтажному домику на площади близ старого собора в нижней части Кишинева. Экипажи подвозят господ и отъезжают пустыми: значит, господа останутся в домике надолго. В доме молдаванина Кацики живет дивизионный доктор Шулер, родом эльзасец. Почему у него бывает столько народа – неизвестно, но слухи ходят странные; в народе даже говорят, что в этом доме бывает "судилище дьявольское"...

На площади толпится, по обычаю, городская рвань, болгары и арнауты из беглых гетеристов. На подъезжающих смотрят без особого дружелюбия; многих знают: купца Драгушевича, боярина Бернардо, генералов Пущина и Тучкова, доктора Гирлянда, аптекаря Майглера, инзовского чиновника помещика Алексеева. А вот приехал зачем-то и болгарский архимандрит Ефрем, человек святой и добрый, – что ему делать с нечестивцами? Арнауты спрашивают болгар, зачем их поп сюда пожаловал, – болгарам ответить нечего: сами не знают. У решетки, которой отделен от улицы двор, толпа любопытных растет. Видят, что одни входят в дверь, другие спускаются по лесенке в подвальное помещение. Архимандрита встретил один русский офицер и повел его в дом. На улице темнеет – съезд кончился.

Камера приуготовления, черная храмина, устроена наверху; самая ложа помещается в обширном, очень странно разукрашенном подвальном этаже. Там же и комната, где пришедшие братья могут переодеться в голубые камзолы и белые кожаные запоны. В отличие от остальных мастер стула, Павел Сергеевич Пущин, надевает голубую шляпу, украшенную золотым солнцем. В петлице камзола – на голубой ленточке золотая лопатка; на шее, в знак подчинения законам Братства, – золотой наугольник. В правой руке – круглый молоток белой кости.

Посреди ложи, обитой голубым, разостлан символический расписной ковер первой степени: колонны, ступени, зодиаки, масонские клейноды. Занимают места мастер стула, надзиратели, секретарь, другие чиновники ложи; братья на боковых скамьях. Стучат три молотка; обычными малопонят-

ными словами открыта сия достопочтенная ложа, и брат вития с братом ужаса и помощниками удаляются, чтобы приготовить и ввести должным образом профана – Ефрема, архимандрита болгарского.

Совсем иная обстановка в черной храмине, куда посажен Ефрем для размышления о бренности жизни. Малая комната без окон. С потолка свешивается лампад треугольный с тремя тонкими свечками. Черный стол и два стула. На столе человеческие кости и череп, из глазных впадин которого вырывается голубое пламя горящего спирта. Библия и песочные часы. В темном углу скалит зубы человеческий скелет, и на доске белая надпись: "Ты сам будешь таков!" У стены два гроба: один с мертвецом, другой пустой.

Перед профаном высокий человек в запоне и ленте. И тот самый голос, который шутливо звучал только что под окном Пушкина, говорит важно и торжественно:

– Вы посажены были в мрачную храмину, освещенную слабым светом, блистающим сквозь печальные останки тленного человеческого существа; помощью сего малого сияния вы не более увидели, как токмо находящуюся вокруг вас мрачность и в мрачности сей разверстое слово Божие... Желающий света должен прежде узреть тьму, окружающую его... Человек наружный тленен и мрачен, но внутри его есть некая искра нетленная, предержащая Тому Великому Всецелому Существу, которое есть источник жизни и нетления.

Помолчав, вития говорит простым обычным тоном:

– Вам придется снять обувь и верхние одежды и открыть грудь. Вот так. Есть у вас при себе деньги, драгоценности, металлы? Вы должны отдать все. Теперь я завяжу вам глаза и поведу вас.

Глаза профана завязаны, и опять торжественно и важно звучит голос витии:

– Труден путь добродетели! Следуй за мной! Помни, что не войдет в наш храм вольнодумец, раб пороков и страстей, сын неги и сластолюбец! Ты должен преодолеть каменные крутизны и в неизвестные глубины нисходящие скользкие ступени. Будь осторожен!

Маленькое неудобство в том, что каменные крутизны и скользкие ступени, по которым нужно спуститься в нижнее помещение, находятся на дворе и другого спуска нет. Человек в голубом камзоле, переднике и ленте в сопровождении других, так же странно одетых, спешно ведет с крыльца к подвальной лесенке полураздетого монаха, одна нога которого боса, другая в туфле, глаза повязаны черным, к обнаженной груди при-

ставлена острием шпага. Сквозь частую решетку забора эту сцену жадно наблюдают десятки глаз. Процессия спускается в подвал, откуда доносится не очень стройное пение:

От нас, злодеи, удаляйтесь,
Которы ближнего теснят;
Во храмы наши не являйтесь,
Которы правды не хранят!

В подвале у внутренней двери вития стучит ударами профанов. Пенье прекращается, и голос изнутри спрашивает грозно:

– Кто нарушает покой наш?

– Свободный муж, который желает быть принят в почтенный Орден вольных каменщиков!

Еще вопросы, и громкий голос Павла Сергеевича Пущина отдает приказ:

– Введите сего профана!

Ритуальное испытание профана сложно. Но оно неожиданно еще осложняется до крайней степени. Хотя окон в ложе нет, но и через две двери доносятся крики и вопли болгар, ломящихся в ворота. Арнауты стоят поодаль кучкой и с живым интересом наблюдают, удастся ли болгарам освободить своего архимандрита, уведенного в подвал какими-то странными людьми, раздетого ими и ослепленного. Может быть, уже убили его, а может, еще жив?

От напора толпы ворота трещат. Дверь подвальная не заперта. Только бы успеть спасти, а с разбойниками можно будет потом расправиться! И с бранью и угрожающими криками толпа врывается в голубую масонскую ложу.

* * *

Бумажки вокруг поэта валяются в изобилии. Никита был допущен зажечь свечи и теперь оберегает входную дверь. На громкий окрик с улицы отвечает степенно:

– Генерала нет дома, а должны вернуться скоро. Вы подождите, барин, у них, наверху. А к Лександре Сергеевичу пропустить никак не могу.

– Мне нужно, Никита, ты хоть доложи.

– И доложить не могу. Сами знаете, барин, уж если они пишут, лучше не суйся: изорвут все свои бумажки и запустят в рожу. А после ругаться будут.

В вечерней тишине голоса ясны. Пушкин хохочет и отшвыривает бумагу:

– Никита, пусти!

Врывается в комнату недавний вития, взволнованный и словно бы потрепанный:

– Инзова нет – вот горе! Нужно предупредить его, пока его полиция не известила. Такое произошло, Саша, что не знаю, как и рассказать!

Чудесный выдался вечер! Молодой хозяин с бритой головой катается по дивану, держась за живот:

– Ой, не могу! Никита – дай воды! Инзушка-то будет рыдать! Никита, дай лучше вина! Ой, не могу!

Звонкий смех поэта бьется в голубые стены и выпархивает за решетку окна.

– Это не смешно, Саша, а истинный ужас! И ложа-то еще не утверждена, ты пойми!

– Ничего, Инзушка не выдаст, он тоже – брат! Ой, не могу! "Ар-рдема, фр-ридема!" – "Режь меня, жги меня!" Отойди, душа моей души, сейчас лопну! Никита, давай вина скорее!

Веселье заразительно, и испуганный вития начинает улыбаться и кончает таким же хохотом.

На друзей с добродушной приязнью смотрит верный Никита, ухом прислушиваясь, не дребезжат ли дрожки генерала.

САМСОН И ДАЛИЛА ПРОШЛОГО ВЕКА

В столетней давности воспоминаниях совершенно неизвестного человека мне встретилось имя Терентия Трифоновича Трифонова, тоже ничего никому не говорящее; и, однако, автор воспоминаний называет Трифонова замечательной и загадочной личностью, ссылаясь при этом на его бороду и на его способ лечения всех болезней. Трифонов был врачом в Петербурге в двадцатых годах прошлого столетия. Впрочем, самый рассказ о Трифонове занимает не больше странички текста, а фактов так мало, что приходится дополнять воображением.

В наш бритый век забывают, что борода служила раньше одним из существеннейших отличий человека и часто отражала его внутренние качества. Попробуйте мысленно обрить, например, русских литературных классиков – получится картина нестерпимая. Пушкин без бакенбард, Толстой без нестриженой мужицкой лопаты, Тургенев без шелка мягких,

добрых, выхоленных волос, Некрасов без клинышка, Достоевский без скудного волосяного хозяйства, Гончаров без губернаторских булочек. Мыслимы ли без соответствующих бород и бородок лица Щедрина, Аксакова, даже Чехова? С другой стороны, попробуйте представить себе с окладистыми бородами Блока или Маяковского. Думается также, что весь капитал Маркса – в его бороде; обрить ее – и останется один марксизм.

Между прочим, именно замечательной бороде Трифонова автор воспоминаний уделяет только одну строчку, посвящая остальное его методу лечения; при современном состоянии медицины об этом методе не стоило бы и говорить, в то время как чудо бороды остается. У Трифонова была не окладистая и пышная, а тощая и ничтожная бороденка, но зато длиной почти до полу, причем сам он был, как сказано в воспоминаниях, "более нежели среднего роста". Эту необычную ленту волос он никогда не стриг и не носил ее, так сказать, навыпуск, а свертывал и закладывал за галстук; вспомним, что галстуки, точнее – шейные платки носились тогда обстоятельными и пышными.

Так как бороды обычно соответствуют облику человека, то приходится представить себе Терентия Трифоновича господином довольно высокого роста, худым, со слегка впалыми щеками, острым носом, выразительными глазами магнетизера, в длинном сюртуке, светлых широких штанах-веллингтонах, с модной дубинкой и при цепочке. Обычному типу женщин такие мужчины не нравятся, но знаменитая аракчеевская любовница Настасья к обычному типу не принадлежала. Это была хитрая и сластолюбивая баба-зверь, притворявшаяся овечкой перед Аракчеевым, державшая в руках его подчиненных и приближенных, жестокая с крестьянами, из среды которых она вышла. Неизвестно, каким образом Терентий Трифонович стал ее лекарем; вероятно, она услыхала о методе его лечения, выписала его и пожелала испытать на себе. Известно только, что именно она пустила в оборот Терентия Трифоновича в высоких чиновничьих кругах. Сначала, конечно, она держала его для себя одной, как делала со всеми, кто имел удачу чем-нибудь ей приглянуться – в данном случае, надо думать, не бородой, а хитрой наукой. А позабавившись – отпустила с миром и добрыми рекомендациями. Долго она не удерживала даже молоденьких адъютантов, в которых не было недостатка у ненасытной бабы.

Искусство Терентия Трифоновича заключалось в том, что он натирал своих пациентов лампадным маслом, натирал до

тех пор, пока они не становились красными, а сам он не впадал в некоторый транс. Из лампадки, горевшей перед иконами, он выливал на руки масло и приступал к работе. В сущности, это был обычный массаж, но с привкусом мистики; от простуды излечивал великолепно и без промаха, немало помогал также и при нервных заболеваниях. В транс он впадал попросту от усталости, как человек жиденький, весь ушедший в длинную бороду. Но называлось это магнетическим лечением, иначе был бы Терентий Трифонович простым знахарем и не мог бы сделать карьеры. Растирая больного или больную, он делал страшные глаза, пришептывал и пританцовывал; и тогда исходили от него неведомые флюиды и уничтожали болезнетворное начало. Растерев, подвертывал одеяло, накладывал поверх гору теплых шалей и шуб, отходил на несколько шагов и сам падал, преимущественно на мягкое, чтобы и одежды не попортить и не причинить себе синяков. Пока он лежал, должен был лежать и больной; а когда оба подымались, оба оказывались здоровыми, разве что болезнь слишком упорная, и сеанс магнетизма приходилось повторять, конечно, уж не в тот же день, а с передышкой.

Простой, но очаровательный метод лечения; и неудивительно, что он нравился Настасье Минкиной, женщине энергичной и вообще никакими болезнями не страдавшей, но следовавшей за тогдашней модой. Конечно, еще моднее было лечиться водой по способу доктора Лодера – пить ее стаканами и прогуливаться быстрым шагом (откуда и пошло выражение "гонять лодыря"); но Настасье это было недоступно, так как она обычно жила в имении Аракчеева, а выезжать в свет не могла.

Как бы то ни было, Терентий Трифонович прославился и приобрел большую практику в столице. Дома он не принимал, выезжал по вызову, но, конечно, не ко всякому, а только к людям богатым и сановным, преимущественно – аракчеевского окружения, которым его лечение особенно помогало. И самому ему оно помогало неплохо: у Терентия Трифоновича завелся домик, выезд, превосходные шейные платки, за которые он упрятывал свою необычную бороду; и сам он, раньше худощавый, начал округляться, невзирая на постоянные трансы. Дошел даже до того, что начал подумывать о помощниках, которые бы заменяли его в менее важных случаях у менее важных людей; но если это возможно было при лечении мужчин, то женщины протестовали, так как верили только в чудодейственную силу самого Терентия Трифоновича, а как раз среди женщин он и пользовался особенной славой.

Собственно, только этим и исчерпываются печатные сведения о необыкновенном докторе Терентии Трифоновиче Трифонове. Еще приводится эпизод, окончившийся для него неудачей. Два его пациента, оба – царедворцы, обещали ему представить его императору Александру, но так и не представили. Почему? Это остается тайной, которую пытаются объяснить тем, что царедворцы как бы застыдились, потому что чувствовали, что Трифонов – порядочный шарлатан. Неудовлетворительность объяснения бросается в глаза. Во-первых, сами-то они пользовались его услугами, значит, считали их действенными; во-вторых, последние годы царствования Александра Первого были вообще вполне благоприятной эпохой для карьеры шарлатанов разного типа, особенно мистического: с одной стороны – Татаринова и баронесса Крюднер, с другой – Анна Орлова-Чесменская и архимандрит Фотий. Так что дело, конечно, не в этом. Не без труда нам все-таки удалось добиться и в этом деле, как и в других, установления исторической правды путем обращения преимущественного внимания на бороду доктора Трифонова.

Ни одним намеком нигде до сих пор мы не заподозрили загадочного доктора в злоупотреблении доверием больных и в поступках, противных нравственности. Несомненно, однако, что он, не будучи семьянином, не был застрахован от случайных увлечений. Одно из таких увлечений постигло его как раз перед решительным моментом его карьеры – за неделю до предложенного представления его императору. Имя его пациентки для истории потеряно; известно только, что она была женщиной уже в годах, но не утратившей темперамента юности. В один из сеансов она решила во что бы то ни стало удержать доктора, спешившего навестить еще несколько больных. Как он ее ни убеждал, она не слушала никаких резонов и, руководясь чувством ревности, ухватила его за бороду, намотав ее на руку, и таким путем лишила свободы передвижения. Сначала Терентий Трифонович старался воздействовать ласковым словом убеждения, затем прибег к словесным угрозам, наконец попытался вырваться, – но никогда еще мужчина не был в таком беспомощном и таком унизительном положении. Будь борода Терентия Трифоновича обыкновенной, то есть восстановимой, он мог бы в крайнем случае ею пожертвовать, в уверенности отрастить ее вновь через некоторое время. Его же борода была исключительной и невосстановимой, на отращение которой он затратил не месяцы и годы, а всю свою жизнь, начиная с появления первого пушка на подбородке. При этом она была для него существенно не-

обходимой, как бы одним из признаков и доказательств его таинственной посвященности: о ней все знали, ей придавали огромное значение, и, быть может, не напрасно, – быть может, природа действительно вложила в нее запас своих никому точно не ведомых сил. Не известно ли нам из Библии, что таковыми именно чудодейственными свойствами обладала шевелюра Самсона? И не обратился ли в беспомощного младенца этот герой, когда Далила обкорнала ему кудри?

Говоря коротко, приблизительно то же самое случилось и с Терентием Трифоновичем. Нам неизвестны подробности его борьбы с Далилой – известен только исход этой тяжелой истории. Можно предположить, что в пылу борьбы Терентий Трифонович рванулся слишком сильно, еще проще думать, что жестокая женщина, видя неуспех своих чар и боясь, что доктору удастся освободиться и благополучно ускользнуть к ее соперницам, схватила ножницы и, сведя мистическое к обыденному, превратила талисман Терентия Трифоновича в коротенькое социал-демократическое оперенье. Свершилась трагедия. Остался ли хвост в руках Далилы или унесен с собой потерпевшим – не играет никакой роли в этой забавной, но печальной истории.

Рассказав то, что положительно нами установлено, не будем фантазировать о дальнейшем. Весьма вероятно, что сам Терентий Трифонович навсегда или временно отказался от чести быть представленным августейшему монарху, которому уже было доложено об оригинальных и редко встречающихся качествах загадочного врача. Так как дело происходило в 1823 году, то ясно, что за два года он все равно не успел бы восстановить утраты даже в скромной степени, а преемник монарха, Николай Первый, решительно никакой склонности к мистике не проявлял. Столь же возможно, что оба сановника, узнав о случившемся несчастьи, отказались оказать Трифонову обещанную услугу: экспонат потерял значительную долю занимательности. Нет сведений и о том, продолжалась ли с прежним успехом практика Терентия Трифоновича или он ее утратил и поступил на государственную службу рядовым чиновником, тем использовав прежние связи. И вообще дальнейшее интереса для серьезного исследования не представляет.

Если же подойти к этой загадочной истории с любознательностью научно-медицинской, то придется признать Терентия Трифоновича первым или одним из первых врачей-магнетизеров, а по теперешнему – гипнотизеров. При этом, если лампадное масло считать случайной и незначащей услов-

ностью, а массаж – приемом второстепенного значения, то относительно бороды не может быть спора: она, несомненно, являлась тем искусственным зрительным раздражителем, который вызывает бездейственность зоны внимания и способствует автоматизации нервно-мозгового процесса, свершающегося в цепи нейронов на разных уровнях симпатической и центральной нервной системы, в то время как ассоциативные центры зоны внимания служат обычно лишь для связи между центрами представлений, то есть центрами чувства сознания. Если высказанное положение недостаточно убедительно для читателя, то можем подкрепить его указанием на то, что в случае с Далилой Терентию Трифоновичу, очевидно, не удалось локализовать и изолировать ее зону внимания и ограничить ее представление лишь качественными символами памяти, хранящимися, как известно, в корковых центрах органов чувств. Но этому вопросу мы предполагаем посвятить особую статью.

ИСПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

В поисках старинных документов, от каковой страстишки никак не отделаешься, натолкнулись мы на правильную тетрадочку, писанную почерком весьма разборчивым, почти что писарским. Начавши читать – до конца не отрывались, настолько показалось интересным. Из этой тетрадки приведем здесь подлинный рассказ очевидца, достаточно страшный, что на ночь его лучше и не читать. Происходит дело с небольшим сто лет назад, записано же – судя по стилю – немногим позже, хотя возможно, что рукопись в наших руках не первоначальная, не авторская, а позднейший список сего любопытнейшего документа. Знаки препинания расставлены нами сверх бывших.

* * *

“...Мороз простирается по телу, когда представляю себе на глазах моих происшедшее! А как участие темных сил допустить неуместно и прилично только необразованному простолюдину, отнести же токмо к случаю не решаюсь, – то и излагаю бывшее в его доподлинности, как оное видел, а именно: исполнилось дерзостное обещание, данное мне и моей попадье человеком неразумным и отчаянной жизни.

Имя этому господину было Голованов, во крещении Димитрий, и служил регистратором в канцелярии Святейшего Синода, который чиновник записывает бумаги в книгу входящую или исходящую, не являясь лично никакой персоной, а, напротив, малой сошкой и всем подначальной. И вот при такой должности имел язык боек, а и не скажу, чтобы совсем не забавен и даже остер. Происходил из семинаристов, и хотя был уже не молод, но сохранял качества студентов семинарии, почему дома, сняв служебный фрак, любил наряжаться в одежду прежнюю, то есть мухояровый сюртук, сапоги повисшие, штаны и куртку серого сукна толстейшего, как у будочников, о ближайшем же к телу белье и говорить нечего! Если было цело оное, то так тонко и так нежно, как холст, что у добрых людей по полам расстилается.

В отношении прочего также проявлял старые привычки, свойственные бурсе, а именно держал в почете гнусный порок, именуемый иносказательно собриетас, попросту – выпивахом, изощренно говоря: кви плюс бибат – молодец, как в древности у греков, во времена варварства и геройских подвигов. Так что нередко, особливо же после получки нещедрого жалованья, домой под вечер возвращался весьма насыропившись и произнося слова, приводить которые здесь неуместно.

Сей человек был нашим соседом, проживая на Васильевском острове в соответствующей его званию каморе соседнего с нами дома купчихи Устиновой, к нам же забегал порой в рассуждении денежного займа у моей попадьи, которая, не корыстно и лишь по человеколюбию, за процент презреннейший доброй рукой ссужала недостаточных и впавших во временную нужду. Так точно и случилось в месяце октябре 1824 года, точно числа не укажу, поскольку мать попадья расписок не брала, веря людям достойным на слово, а чаще вещами. Зашед к нам в состоянии выпития, подпал под мое кроткое пастырское увещанье, а именно словами:

– Любезный господин Голованов, хорошо ли так? И здоровью ущерб, не говоря о грехе. Подумайте с молитвою и остепенитесь!

На что он позволил себе неуважительно к сану моему ответить:

– Молчи, борода, не на твои пью. А что до здоровья, то пить – умереть и не пить – умереть, одно единственно.

Я же ему с прежней кротостью сказал:

– Трезвым умрешь в постеле с покаянием, пия же столь неистово, – сам себе готовишь смерть под забором.

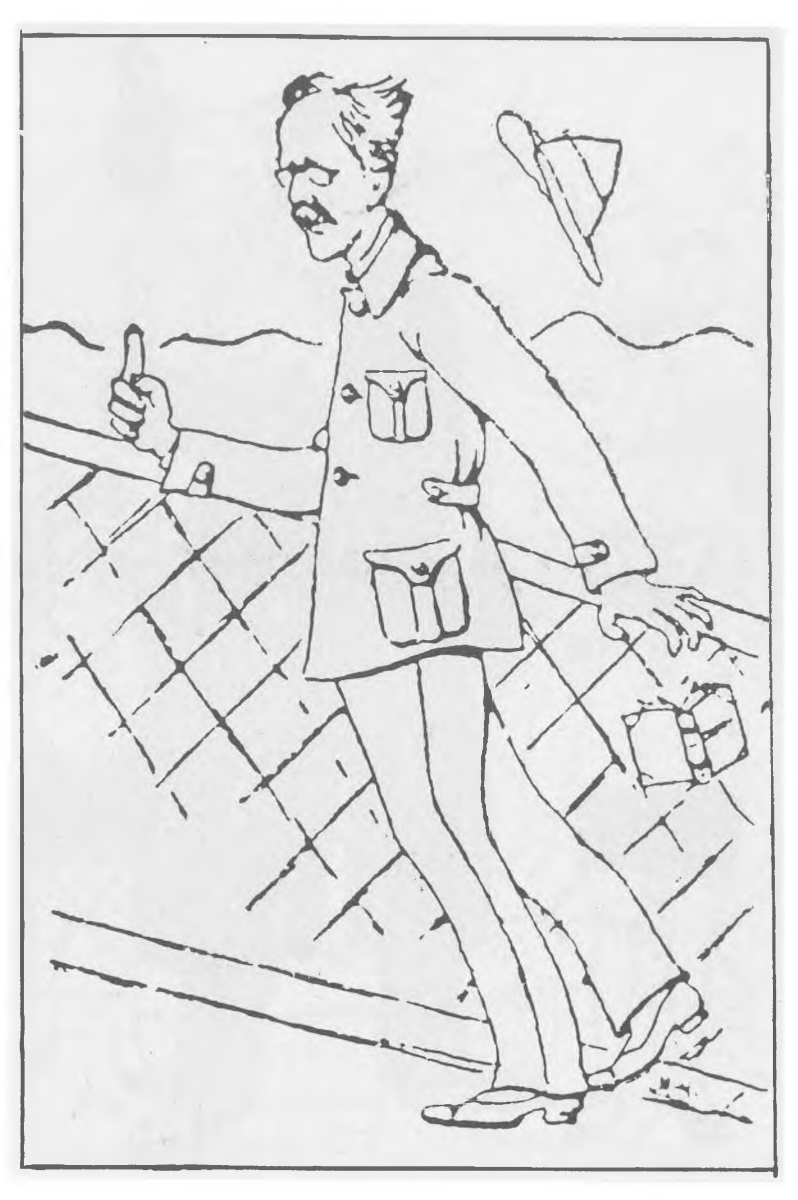
И на эти пастырские речи получил от несчастного нечестивца, в присутствии попадьи, которая, по принадлежавшей



М. А. Ильин (Осоргин). Москва, 1 апреля 1903 г.
Эта и все другие фотографии данного тома из собрания
Т. А. Бакуниной-Осоргиной

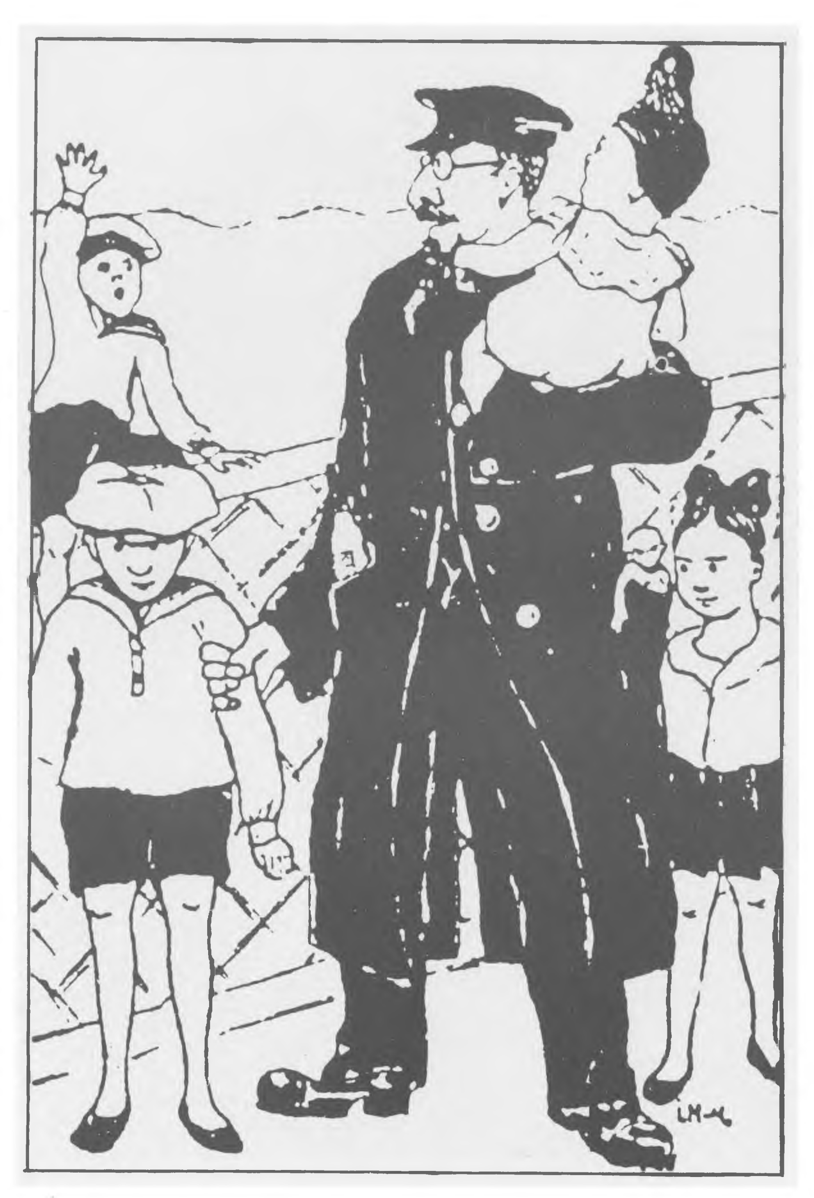


М. А. Осоргин.
Италия, 1909-1910 гг.

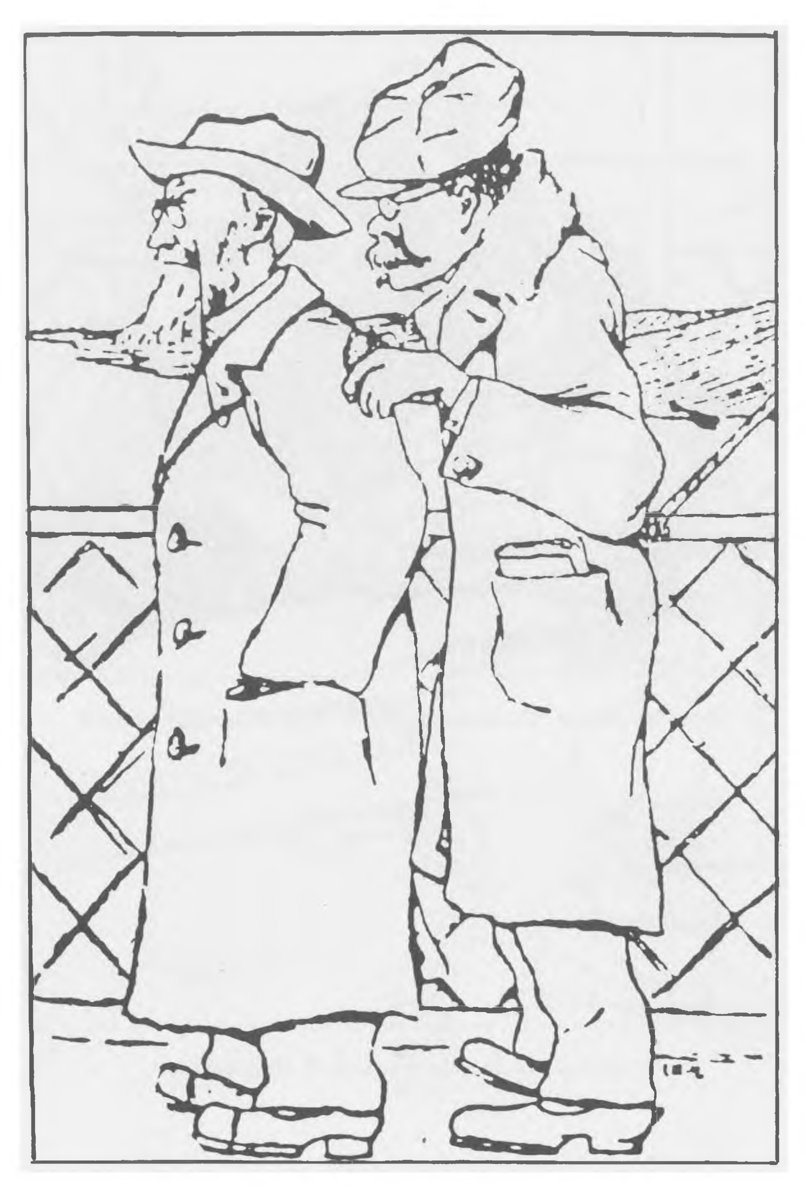


Зарисовки И. А. Матусевича, сделанные на борту парохода, плывущего в Германию. 1922 г.

М. А. Осоргин



Профессор С. Л. Франк



Профессор А. А. Кизеветтер и Ю. А. Айхенвальд



Редактор газеты "Русские ведомости" В. А. Розенберг с женой



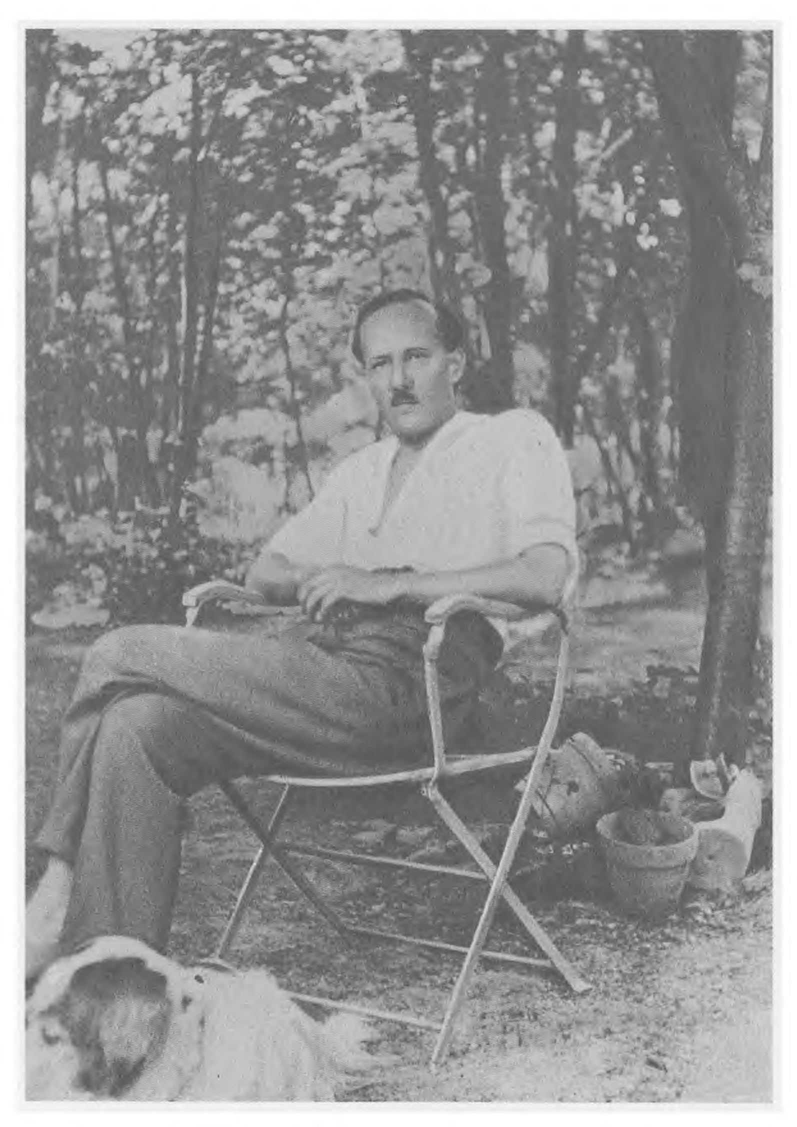
Профессор И. А. Ильин и князь С. Е. Трубецкой



М. А. Осоргин.
Италия, 1923 г.



Сидят слева направо: А. Белый, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах, Б. К. Зайцев. Стоят: А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов, Н. Н. Берберова.
Берлин, 1923 г.



М. А. Осоргин.
Сент-Женевьев де-Буа, 1903 гг.



Е. И. Замятин, Ю. П. Анненков, М. А. Осоргин.
Сент-Женевьев де-Буа, 1930-е гг.



М. А. Осоргин и А. И. Бакунин.
Сент-Женевьев де-Буа, 1930-е гг.



М. А. Осоргин и А. И. Бакунин



М. А. Осоргин.
Сент-Женевьев де-Буа, 1930-е гг.



Во дворе дома в Сент-Женевьев де-Буа



В доме в Сент-Женевьев де-Буа

ей щедрости, снизошла дать ему просимую малую ссуду под мухояровый сюртук:

– На постеле аль под забором, одно знай и ты, поп, и твоя сквалыга: жди меня к себе на самые твои именины.

И кто бы мог думать, что сей беспутник напророчил себе скорую кончину, ибо действительно на той же самой неделе смерть пресекла его златые дни в вечную укоризну мирской кривды, кто говорил – от его неистового бибамус, доктор же определил случайный сердечный щелк.

Родственников не имея, был предан земле на казенный счет по последнему разряду, в дощатом гробе, окрашенном простой охрой.

В дальнейшем нашем рассказе перехожу прямо к роковым дням города Петербурга, столь же страшным, сколь всякому достопамятным.

Ноября 7-го дня 1824 года в начале двенадцатого часа пополуночи долготерпеливый, но праведный Бог посетил столицу, а паче наш остров неслыханным наводнением. Кратко было оное, но ужасно и гибельно. С означенного часа до двух пополудни вода, вышедшая из берегов своих за день ранее, лилась быстро и обильным потоком во дворы, по улицам, в нижние этажи и покрыла весь остров на весьма высокую меру. У нас в соборном доме было оной до целой печатной сажени, между тем как 1747 года наводнение помнившие уверяли, что тогда на сем дворе воды было менее одной четверти аршина.

Правду сказать – ужасно вспомнить о сем событии! Как с горы, катилась вода во все места, барки с грузом своим плыли независимо по проспектам нашего острова, дрова и бревна, носясь в свободе стихии, заполняли дворы, лошади тонули с упряжью, пропадали куры по неумению летать в воздухе. А люди, люди! Не успев укрыться, цеплялись по проспектам за ветви деревьев и висели, пока могли, спасаясь с пришедшей помощью или же обрываясь в холодную воду и в ней утопая. Дома и колокольни были наполнены посторонними жителями, не достигшими своих помещений и нашедшими их под водою. Дети, матери, кровные, соседи, чиновники, семьи духовенства – они передадут потомству неописуемые утраты. О Васильевский остров! Я сказываю только частицу, представшую моему и попадьи моей глазу; прочие предметы горести были скрыты для нас, заключенных водою в нижнем этаже нашего дома, кругом уже объятого хладными водами.

Не думали, что придет такая крайность, что нельзя уже выйти из дому, чтобы подняться в верхний этаж, да и боялась попадья, что затопит постельное белье и припасы, особенно за са-

хар, бывший в головах, как убогое накопление скромных доходов от треб и от хозяйственности моей подруги жизни. Когда убедились, что вода не сбывает, а все прибавляется, уже достигая окон, бежать, оставя все добро, было поздно, и через щели дверей врывались ужасные ручьи. В надежде, что спасатели примут нас в лодку и доставят в безопасность, выставили в окне раму и, настежь оное распахнув, взывали громко о несчастье, но, к ужасу нашему, подплыла к окну неизвестная лошадь, пытаясь спастись внутрь дома, а быв отогнана маханьем, все же спаслась во дворе, где достигла церковного балкона, откуда впоследствии с трудом была спущена на землю. Другое животное, а именно корова, приплыла к сквозному крыльцу, но была не в силах подняться и, залитая водой, зацепилась рогом и окостенела от мороза, так что ее нашли висящую.

И тогда мы с попадьей, отчаявшись в помощи и видя потоки воды, льющиеся в окно и в дверь и готовые нас затопить, спасались спервоначалу на столе, собрав и ценнейшие пожитки, после же достигли печки, на которую взгромоздясь обои в молитвах ждали неминуемой участи, оберегая рядом и пять сахарных голов, оставшихся сухими.

И о виденье! О предначертанье судеб! Уже плавал залитый до доски ломберный стол, крытый салфеткой, которая оставалась незамоченной, на что и обратила попадья внимание, говоря: “Взгляни, не покажется ли тебе это странным?” И едва я взглянул, как в разверстое окно, уже до половины закрытое водою, вместе с новым напором хладных вод показался и вплыл гроб, крашенный желтой охрой, а вплывая, направился к ломберному столу, каковой и скрыл под своей ужасной тяжестью.

Лишь Господней волею не лишились мы с попадьею последнего рассудка, приняв сие посмертное посещение беспутного пропойцы, точно обозначившего и день, так как имя мое – Михаил, и в день страшного наводнения, 7 ноября, подлинно был канун безрадостных моих именин.

Сидя на печи и стараясь совладать с невольным ужасом, видели мы с попадьей, как оный гроб проплыл по комнате, задевая стены, но не покидая подмятого под себя стола, а затем укрепился по самой середине нашего жилища, лишь повернувшись изголовьем к востоку и слегка покачиваясь на волне. Пока моя попадья визжала, по неразумию уверяя, что покойник выйдет из гроба и даже потребует у нее возвратить мухояровый его сюртук или же другие ранее принадлежавшие ему предметы, сам я, более прочный в вере и неподатливый наваждению злой силы, приметил, что одновременно с

нежелательным посещением вода начала как бы сбывать, так что гроб, укрепившись на столе, стал выходить из воды почти целостью. Но в то же время треск и сотрясение известили меня с моей обезумевшей попадьей, что наша печка, служившая последним от стихий убежищем, будучи ранее сильно натоплена, треснула от холодной воды и почала быстро разрушаться.

Сей новый ужас рассказать недоступно! Одно скажу: в последнем несчастии люди находят средства оправдать несбыточную надежду неожиданными путями. Уже прежде мы оба пытались колотить в потолок над нашими головами, чтобы дать знать о себе верхним жителям, но не получили ответа. Когда же встала перед нами сия неминуемая гибель в развалинах лопнувшей печи, в морозной воде и в соседстве страшного пришельца, то силы наши удесятерились. Не жалея более спасенных голов сахару, зачали мы колотить ими в надглавный потолок в надежде пробить нетолстые доски. И действительно, бия что было сил в одно и то же место, удалось расшатать доску, сначала сняв с укрепленных гвоздей, потом и расщепив конец оной на некотором расстоянии. Эту часть отломивши и тем сделавши первое гнездо, принялись новыми головами, острой частью, бить в образованное отверстие, норовя пробить и следующий слой.

Что бы сказал нас видевший и не согрешил ли бы неуместным смехом в сей страшный час близкой нашей гибели? Ибо от ног до головы были покрыты осколками сахара, залепившего очеса и заполнившего уши. От усилий и пота липко было за пазухами, волосы же обратились в сладчайший колтун. И удивления достойно, как моя мать попадья, женщина всю свою жизнь хозяйственная и строгая, сама усердно поглощала сахарную пыль и мне приказывала, чтобы хотя ел осколки пропадающего добра, подкрепляя утраченные силы и запасаясь ими впредь. Но до того ли было! И, однако, в скором времени добились значительного успеха по святому слову: "Толците, и отверзется вам". И в то же время полпечи отвалилось и рухнуло в волны, грозя и дальнейшим. Между тем вода сбывала медленно, производя странное и располагая ранее плававшие предметы на не предназначенных им местах. Именно так мы даже и не знали, узнали же лишь днем позже, что из нашего подполья, имевшего закрышку в кухне, поднялась неполная бочка с квасом, проплыла в спальную и там угнездилась на нашей с попадьей семейственной кровати. Удивляться ли сему, когда на нашем острове целый дом переплыл из 21-й линии в 14-ю, где и остался стоять.

Молитвами ли нашими или же вне заслуг, милостью Творца, но только в самую последнюю минуту были мы с попадьей спасены как своими руками, так и участием верхних жильцов, услышавших наши старания и поспешивших со своей стороны поднять половицы. Первою втащена была мать попадья, которой я подсоблял поднятие снизу в виде значительной, от Бога данной полноты тела, а затем передал и оставшуюся в целости последнюю голову сахара. Когда же добрые люди способствовали извлечению и моей грешной духовной особы, то счастливо успели то сделать, так как печка, словно бы дождавшись случая, внезапно и окончательно разрушилась и ушла из-под ног в то время, как меня тянули из оной страшной пропасти, отчасти придерживая за власы. В сем положении библейского Авессалома пробыв недолго, был доставлен наверх, где и переждали мы убыль досадных и жестоких вод, как в некоем новом ковчеге на вершине Арарата..."

* * *

Дальше в рукописи идет рассуждение по поводу изданного в том же году, по настоянию митрополита Серафима, указа о небритии усов духовенству. За отсутствием свободного места ограничиваемся лишь приведенным страшным рассказом.

ПОВЕСТЬ О НЕКОЕЙ ДЕВИЦЕ

Фигурантка Настя-Коралек, так прозванная за округлость форм и отменный румянец, неистово визжала в театральной уборной и не сдавалась ни на какие уговоры. Перед этим она нахлестала пощечин своей сопернице Авдюше, тоже маленькой балетной пешке, за то, что та выклянчила себе место в кордебалете виднее Настиного, хотя также, конечно, "у воды". Подоплекой тому делу было большое расположение к Авдюше начальника балета, который предпочитал худышек девушкам пышной зрелости – таков был его вкус. А раньше, между прочим, был у него вкус иной. Настя и глаза бы выцарапала Авдюше, да ей помешали. И теперь визжала, как одержимая, пороча Авдюшу нехорошими словами, начальнику же делая явные намеки на его переменчивость.

Кончилось это неблагополучно: Настю-Коралька уволили из балета будто бы за развратное поведение – хотя не было ее поведение хуже, чем других. Просто – надоели начальнику и она сама, и ее вечные скандалы.

Грозилась, рыдала, исцарапала самой себе щеки, кричала, что дойдет до губернатора, но кончила тем, что, собрав свой небогатый скарб, уехала в родной Новгород к сестре, женщине почтенной и набожной.

* * *

В трех верстах от Нова-Города гремел славою Юрьев общежительный мужской монастырь, и был в нем игуменом младой старец, авва Фотий, архимандрит, в мире Петр Спасский.

Сей ратоборец с юных лет умерщвлял плоть, даже обычного пития, чая скверного, сего поганого идоложертвенного зелья, не вкушал, духа прелести и заблужденья бежал, терпел телесные удручения и житейские невыгоды и жены не познал.

Прияв юношей ангельский чин, почал прежестокую борьбу против дьявола, особенно же противу тайных масонских обществ и всяческих духовных ересей, так что в бытность его в Санкт-Петербурге законоучителем от его доношений и искусных выступлений потрясался весь град святого Петра, а князь Голицын, тех вражьих гнезд апостол и пророк сатанин, не знал, как ему и быть: вести ли ему с Фотием дружбу или же властию министра духовных дел того Фотия ущемить.

В лето 1822-го усердием Фотия и масонского перевертеня Кушелева, внушивших царю Александру Павловичу страх и опасения, вострепетало в стране неверие, и столпы вражие пошатнулись: были закрыты масонские ложи, и сатана от боли восскрежетал зубами. В том помогла старцу Фотию светлая родом и житием графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, девица лет тридцати пяти от чрева матери, Богом призванная и избранная в честь, славная чистотою и милостью, изобиловавшая всеми земными благами, но искавшая лишь сокровищ небесных.

И хотя оба они, и авва Фотий, и названная дева, были млады, она лишь немногим его постарше, но была она ему яко бы дщерь, а остальному, что злые языки про них говорили, веры не придавать.

Удалившись от дел свершенных в Юрьев монастырь, в числе прочих подвигов авва Фотий изгонял также злых бесов. И вот однажды явилась к нему некая девица, из себя пышна и румяна, и, пав перед старцем, каталась по земле и дрыга-

ла ногой неистово, моля изгнать из нее обуявшего беса.

Едва же старец Фотий прочитал над той девицей опытное заклинание, как нечистый дух закричал в той девице тонким голосом: "Выйду, выйду!" – и действительно вышел неприметным паром, после чего девица встала и заявила, что от нечистого духа чувствует себя теперь совершенно свободной.

Возрадовавшись на нее, Фотий вопросил:

– Как твое имя?

Она ответила, что доселе имя ее было Настасья, ныне же хочет зваться не иначе как Фотина и чтобы принял ее авва Фотий в свои духовные дщери. По плотскому же отцу она Павловна.

Девицу Фотину Павловну старец позвал в свою келью, но, по обычаю иноческому, в лице девицы не зрел. Девица также ему в лице не зрела, но, сидя рядом на мраморной койке старца, прикрытой лишь власяной материей, вопрошала старца, како соблюсти ей духовное девство, на что он ответствовал:

– Блюди земное – само по себе духовное цело будет. Аще скляница не разбита, а цела, то влиянная масть благовонная и все что-либо потребное сохранно будет. Аще ли скляница диру будет иметь и повреждена будет, то как умно ни стараться себя уверить, что целость есть в склянице, но она будет не в целости, а влиянное прольется сквозь и не сохранится. Ибо когда девица потеряла во плоти девство, то не может себя уверить, что она не потеряла и имеет оное.

Так они беседовали, и хотя та девица старцу призналась, что, злым бесом одержима, была она плясовицею в питерском театре, но мудрость старца Фотия усмотрела в той девице яко бы луч некоего света таинственна, в очах ее зрак душевного утешения, в словах невинность девственную. И той девице он властию игумена разрешил проживать и спасаться в Юрьевом монастыре, почасту приходя для поучения.

* * *

Как жила в монастыре девица Фотина Павловна, того мы подробно не знаем. Однако келейник игумена Иван, неоднократно ночью посылаемый старцем посмотреть, что та девица делает, докладывал, что в ее келье странный свет, ниоткуда исходящий, она же, на земле распростершись, молится истово.

И случилось, что было девице Фотине ви́дение, как бы приказ свыше: для вящего людей спасения и славы того мо-

настыря надобно, чтобы приходили в него все непорочные девицы, окрест монастыря живущие, на вечернее правило и чтобы одеты они были со всеми иконами одинаково, лишь с отличием, в видении указанным. Ей же, Фотине, явиться в той одежде в куполе монастырского храма, без чего разразился бы над монастырем Божий гнев.

И тем же вечером монахам, в церкви предстоявшим, действительно явилась в куполе девица Фотина с власами распущенными, в шелковом коричневом хитоне, у воротника складки, а по талии пояс черный. Явилась она, как бы вися на главном паникадиле, одной рукой держась за балясины верхних хор, ноги же в воздухе довольно свободны до возможного предела.

Было то явление настолько чудесно, что авва Фотий разрешил пошить хитоны для приходящих девиц и допускать их в монастырь беспрепятственно. По бедности, приходящим девицам давались деньги в помощь их скудости, так как средствами монастырь не стеснялся, благодетельствуемый духовной дщерью Анною Орловой-Чесменской.

Стало приходить девиц из деревень и военных поселений весьма большое число, дальние же, за темнотою, оставались и ночевать под строгим присмотром наиболее престарелых монахов. И было в монастыре благолепно и спасительно, так что все монахи радовались. Однако наущением злых языков начался по окрестным деревням ропот и пошли несправедливые слухи, так что дошли и до новоградского губернатора, который, ночью внезапно приехав, впущен в монастырь, однако, не был по строгим правилам монастырским как лицо светское и спасению постороннее. Когда же, по жалобе губернатора, прибыл в обитель архиерей, то ему врата были отперты, после чего он женские сборища своею властию воспретил.

Что касается девицы Фотины Павловны, то она продолжала проживать в Юрьевском монастыре, днем ведя со старцем беседы о духовном девстве, ночью же молясь, распростертая пред налоем в своей келейке, как о том постоянно доносил Фотию его верный служка Иван, наблюдавший ее рвение через щель иногда по долгому времени. Сам же старец спал спокойно на мраморном ложе, прикрытый лишь легкой власяницей.

* * *

Но не все отнеслись к девице с изгнанным бесом просто и прямодушно. Духовная дщерь Фотия, графиня Орлова, зная, что старец дает Фотине много денег для ее полезных дел, заподозрила Фотину в обмане и молила Фотия, говоря:

– Она тебя обманывает ради денег. Отдай ты ей хоть половину моего состояния, но не делай себе бесчестия, держа ее и лаская.

Фотий отвечал ей:

– Ты, знать, говоришь это из ревности!

– Ну, хоть и из ревности. За мою тебе преданность могу я тебе высказать и капризное желание.

Но Фотий ее строго прерывал:

– Не смей и говорить. Не ревнуй человека, – ревнуя, ревнуй о Боге!

Однако помнил Фотий, что в юности был столь беден, что не имел в болезни и срачицы переменить, теперь же щедротами дщери духовной благоденствует весь его монастырь. И когда о Фотине запросил его митрополит Серафим, то Фотий согласился на перевод ее в Феодоровский монастырь в Переяславле, где изредка ее навещал и наставлял в девстве.

От вседневных советов старца удаленная, поддалась девица Фотина, бывшая Настя-Коралек, прежней силе беса. В новом монастыре ее держали как богатую вкладчицу; однако обещанные вклады она истратила сама на пустяки украшений и отлучки. А когда в скором времени старец Фотий, ее покровитель, всю жизнь убивавший плоть, ослабел и от крайнего истощения скончался, то и Фотина монастырь оставила и, по сказанию, с девством расставшись, вышла замуж за кучера, который неистово ее истязал сыромятными вожжами, стараясь изгнать из нее беса неверности, по каковой причине она и преставилась.

* * *

Осталось предание, что в предсмертном своем томлении авва Фотий взглянул на своего келейника острым взглядом и спросил его:

– Скажи, Иван, в чем ты предо мною тяжко виноват? Вижу по глазам твоим!

Иван упал на колени и признался:

– В том виноват тяжко, что тебя, отец, обманывал, рассказывая, будто Фотина по ночам молилась.

И Фотий ему тот грех отпустил, сказавши:

– О том деле помалкивай!

Осталась в библиотеке Юрьева монастыря рукописная книга, начало которой писано рукой Фотия, дальше рукопись оборвана, как думают, рукой Анны Орловой. Та книга называется: "Повесть зело чудна о некоей девице, избавившейся от нечистого духа".

И как почти все страницы той книги истреблены навсегда, то и вознамерился сих строк написатель восстановить их в правде и точности по старым документам и сказаниям и в прославление инока, при жизни бывшего для многих камнем претыкания и соблазна, с коим иноком часто входили в речь и прение люди ученые, профессоры, учители, чада Вольтеровы и чада дьявола и разных новых безбожных отраслей, стремители явного потока зловерия и нечестия, – и тем иноком были все они побеждены и посрамлены. А что могла обмануть его безумная и распутная женка Фотина, в том великий срам ей, а не его достославному безгрешию.

МАТЬ СЫНА АРАКЧЕЕВА

У крестьянки Лукерьи Лукьяновой помер муж, оставив жену в тяжести, на сносях. И хотя при жизни он ее бил нещадно, но не по злобе, а от великой бедности и тоски. Они были Грузинской волости, из дальней аракчеевской деревни, народ ощипанный и забитый. Тяжко было при муже, а без него приходилось просто помирать или побираться с будущим ребенком. Пойти покланяться Настасье, бариновой экономке и любовнице, – да не такая, зря помогать не станет, бедноты и нищеты полны деревни. Все знали, что Настасья Минкина – колдунья, приворожила к себе графа и великого барина и делает с ним что хочет – недаром она цыганской породы, кучерова дочь. С тех пор как уехала баринова жена Наталья Федоровна, не пожелав далее с ним жить, граф покупал себе десятками красивых девок, но эта, Настасья, сразу всех разметала и стала настоящей хозяйкой, так что не только важные генералы целовали ее мужицкие руки, а и сам царь-батюшка Александр Павлович, будучи в селе Грузине, говорил с ней как с равной и оказывал ей всякое вниманье. Истинно – ведьма, и к такой просто не подступишься.

Перед тем как Лукерье рожать, зашла к ней в избу дворовая старуха, состоявшая при Настасье по разным тайным ее делам. Зашла неспроста и неспуста, для того и приехала с грузинским мужиком, поджидавшим ее с телегой за околицей.

Обошлась ласково, называла "голубушкой" и "горемычной", привезла кулечек с барской пищей. Разговор начала издали, что вот какое горе, что теперь без мужа тебе хоть ложись и помирай, а ребенка-то куда деть? И будто Настасья узнала и хочет помочь. Но только дело должно быть скрытным и тайным, и если кто узнает и скажет слово, тому лучше бы не родиться, потому головы не сносить, Настасья его изведет со свету. Дело же в том, что нет у нее детей от барина, а было бы дитя, стала бы она настоящей барыней. Сегодня он ее любит и отличает, а завтра, человек властный, сошлет на скотный двор. Как ни хитра Настасья, а случиться может.

И о чем разговор – ясно. Для бедной крестьянки ребенок – одно несчастье, кормить его нечем, обоим помирать. А был бы он Настасьин, она бы не только держала его, как настоящего барчука, а и вывела в люди; и Лукерьи бы не обошла своими заботами, пока жива; сначала бы взяла к нему кормилицей, а после оставила при нем за няньку, пока придет в возраст. Значит, и расставаться с ребенком не придется. А как сделать, – научат: у Настасьи все в руках, и поп, и начальство, никто пикнуть не смеет, дорожа своей головой. И знать никто не будет, а догадаться не решится. Понятно ли?

Сначала Лукерья испугалась до смерти: как отдать ребенка заведомой колдунье, которую все деревни и боятся и ненавидят? А не отдать нельзя, если она того захотела, будет, значит, верная гибель. И так пропадать, и инак пропадать, – может, и действительно выпадет младенцу негаданная счастливая судьба? И баба согласилась – делать, что укажут, и про все молчать до смертного часа.

К нужному сроку Настасья Минкина, на радость барина, родила здорового младенца. В тот же день крестьянка Лукьянова разрешилась от бремени мертвым мальчиком. При ней была только старуха, подававшая ей помощь. Схоронили незаметно гробик, а в гробике лежала деревянная чурка. Поп махал кадилом, в подряснике позванивали денежки. И записали все правильно – и мертворожденного, и Настасьиного сына, будто сына купеческого Михаила Ивановича Лукина. Кормилицей к нему взяли Лукерью, и она, кормя чужого младенца, по своем слез не проливала.

Аракчеев – человек-зверь, предела жестокостям не знавший, – к сыну был нежен и к родительнице ласков больше прежнего. Положил на ее имя в банк двадцать четыре тысячи, записал ее в купчихи, может, и женился бы, если бы не был женат. Рядил барыней, возил с собой смотреть работы в военных поселениях. Сына сделал дворянином, переимено-

вав его в Михаила Андреевича Шумского. Для таких дел был в городе Слуцке Минской губернии адвокат Тамшевский; брал большие деньги, но все устраивал так, что комар носу не подточит. К нему от Аракчеева съездил генерал Бухмейер – и привез самые настоящие бумаги.

* * *

Мишенька Настасье нужен только для хитрости, а Лукерье – плоть от плоти. Когда приезжал в Грузино Аракчеев, Настасья ломалась, лелеяла дитя, подносила графу посмотреть, "до чего похож на папеньку". А без него на сына почти что и не смотрела. Женщина хитрая и вероломная, обманывала своего покровителя с молодыми, а ему писала нежные письма: "Целую Ваши ручки, милый, и ножки... Скука несносная! Ах, друг мой, нет Вас – нет для меня веселья и утешенья, кроме слез. Скажу, друг мой добрый, что часто в Вас сомневаюсь; но все прощаю... Что делать, что молоденькие берут верх над дружбой, но Ваша слуга Настя всегда будет до конца своей жизни одинакова". Одинакова всегда и была: графа водила за нос, с крестьянами была непомерно жестока, запарывала насмерть, и многих, по ее жалобе, барин отдавал в солдаты и ссылал в Сибирь. Секла и Мишеньку за малейшую провинность и безо всякой вины, так что Лукерья валялась у нее в ногах, плакала навзрыд и даже, бывало, грозилась, что возьмет на душу грех, нарушит клятву и во всем покается самому барину.

До шести лет Лукерья выхаживала Мишеньку заботливо и по-матерински. Мечтала, что так будет и дальше, не могла представить себе, что вот его отнимут и увезут – уж не видать ей больше мальчика, от которого она для его же счастья отреклась. А случилось это просто, и никто ее согласья не спросил: граф решил дать своему сыну, хоть и незаконному, самое лучшее образование, а Настасья увозу его не противоречила. Его отвезли в Петербург и поместили сначала в пансион Греча, потом, для обучения языкам, к пастору Каллинсу и, наконец, определили в Пажеский корпус.

Родная мать плакала, названой было до него мало дела; устроив свое положение, она упрочняла его, выгадывая на хозяйстве и копя деньги на черный день.

В Грузино мальчик теперь приезжал редко: рос со сверстниками – и рано понял ложность своего положения. Среди родовитых дворян он был безродным сыном сильного вель-

можи и крестьянки, и хотя начальство ему мирволило и даже перед ним заискивало, но товарищи тем более его гнушались. Дома воспитанный мальчиком добрым и приветливым, в корпусе он озлобился и старался взять дерзостью и расчетом на безнаказанность. Выпущенный прапорщиком в гвардейскую конную артиллерию, еще больше почувствовал расстояние, которое отделяло его от заправских господских сынков. Чем выше Аракчеев двигал его по служебной военной лестнице, тем становилось ему тяжелее. Из протеста стал кутилой и пьяницей и однажды, уже будучи флигель-адъютантом при императоре, подскакал на смотру к Александру пьяный, упал с лошади и расшибся. Но и тут его спас высокий покровитель, названый отец, всевластный Аракчеев, не знавший, что его сын, бывая в Грузине и наслушавшись и от простых людей, и от своей кормилицы про обращенье графа с крестьянами, видя то же и в своем военном быту, – ненавидел того, кого считал своим отцом. Почти так же относился он и к матери, от которой никогда не видал настоящей ласки, но лицемерие и зверства которой были ему хорошо известны.

В Грузине бывать перестал, бил баклуши в столице, пьянствуя и дебоширя. Сколько мог, тянул деньги со скупого отца и залезал в долги, пользуясь его именем. И, конечно, забыл своего единственного и искреннего друга – старую кормилицу Лукерью.

* * *

Но она о нем не забыла и выспрашивала, сколько осмеливалась, и у Настасьи, и у всех, кто мог знать об его жизни.

Были рассказы довольно безрадостны: залетел ее сын высоко, а из пьянства и похмелья почти не выходит. И когда-нибудь стрясется с ним великая беда.

Раньше стряслась беда с Настасьей и с Аракчеевым. В черный день Настасью зарезали крестьяне, которых она довела до этого поборами и бесчеловечностью. В тот же год – восемьсот двадцать пятый – умер Александр, единственная опора всеми ненавидимого Аракчеева. Сам он, потеряв власть и значение, заперся в Грузине и впал в отчаяние.

Несчастью Аракчеева все радовались; только настоящая, родная мать беспутного поручика Михаила Шумского не знала, скорбеть ли ей или надеяться. Если теперь стрясется что-нибудь с Мишенькой, – кто его выручит?

А рассказывали про него немало. Говорили, что после

обычной трактирной пирушки он пришел в театр; пьян был мрачно, в антрактах пил дальше, рюмку за рюмкой. Сидя в зрительном зале, смотрел не на сцену, где шла веселая пьеса, а на лысого старика, важного барина, сидевшего впереди него и весело хлопавшего актерам. Смотрел – и наконец не выдержал: на весь театр назвал его дураком и болваном, и как тот хлопал, так и он отхлопал его ладонями по лысине, чтобы другой раз зря не веселился. Явилась полиция, но подступиться к нему не решилась. Вывел его из театра плац-адъютант, и по воле государя он был в двадцать четыре часа отправлен с сохранением чина во Владикавказский гарнизон. И когда об этом стало известно в Грузине, названый отец написал сыну, что отрекается от него навсегда.

Отрекся отец, – но не могла отречься кормилица Лукерья. Четыре года лила слезы, утешаясь только в дни, когда приходили вести о военных подвигах Шумского, о чинах и орденах, которые он получил за участие в сраженьях. Испугалась, узнав об его ранении, обрадовалась при вести о выздоровлении и новой награде. Страстно ждала, что он вернется. Он и вернулся, уволенный в отставку будто бы по болезни, а в действительности за новое пьянство и буйство, – но Аракчеев его не пожелал видеть, а приказал выдать ему платье, как носят дворовые, дать ему денег 25 рублей и отвезти его в Новгород, где вице-губернатор Зотов найдет ему службу. Отверженного графского сына провожала со слезами приехавшая из дальней деревни старая кормилица Лукерья; на дорогу напекла ему лепешек и сунула деньгами, сколько могла наскрести.

Из этой службы ничего не вышло – Шумского вернули в Грузино за то, что он в ответ на строгий выговор начальника, будучи нетрезвым, запустил ему в голову чернильницей при всех чиновниках. Но и в усадьбе его не приняли: граф приказал его выгнать и больше не допускать.

Тут-то и понадобилась настоящая, родная мать. Шумский, не зная, где преклонить ему голову, пошел к ней в деревню и был принят с лаской и большой радостью. Больше у него никого на свете не осталось. С детства помнил, что только она и была к нему всегда добра и нежна; поселился в ее избе, ел и пил бедно, но сытно; а так как на выпивку не хватало, то учил грамоте детей военнопоселенцев.

И пил, и порой буянил, но старую кормилицу уважал и ее увещаньям подчинялся, а она терпела его порок, только бы больше не разлучаться.

Их разлучила ее скорая смерть. На смертном одре она ему призналась, что была его родной матерью, а не просто кор-

милицей. Потрясенный ее признанием и чтобы успокоить умиравшую старуху, которую он искренне любил, он обещал ей одуматься и не губить своей жизни окончательно. И она умерла спокойно, как умирают простые и хорошие люди на руках любимого человека.

И лучше, что умерла, не зная его дальнейшей судьбы. Ни того, как он стал монастырским послушником у Фотия, проводя почти все время в карцере на хлебе и воде, как потом жил в монастыре Соловецком, то искренне каясь, то пьянствуя и буйствуя неудержимо, как стал старцем-пустынником на Анзерском острове и споил всех окрестных таких же старцев и как, наконец, допущенный вернуться на родину, до нее не доехал, умер голым и нищим в Архангельске, в больнице приказа общественного призрения, на сорок девятом от роду году.

ЗНАМЕНИТАЯ МОГИЛА

Невелик сибирский город Березов, а и в нем свой городничий по фамилии Андреев, человек решительный и с фантазией.

Без фантазии жить в Березове невозможно. Городок построен при царе Федоре, при великом Петре вырос до четырехсот казацких дворов, ста годами позже выгорел почти дотла вместе с деревянными стенами и с башнями, когда-то устрашавшими инородцев. Теперь в Березове жителей тысяча человек, домов меньше двухсот, да две церкви, да городничий Андреев, как сказано – не лишенный фантазии и к спирту привычный.

Год 1825-й, – но это все равно, потому что над городом Березовом время не властно и судьбы человечества на нем не отражаются. Он стоит на крутом берегу реки Сосвы, близ ее впадения в Обь. Если стать лицом к реке – за нею на многие сотни верст пойдут обширные низменные луга с озерами, протоками и зыбкими болотами; если к реке стать спиной – впереди на тысячи верст протянется хвойный лес: кедр, ель, сосна, пихта; на опушках и полянах – ольха, осина, береза; всякого зверья гибель. Человек бьет зверя; зверь иной раз задирает человека; по уму и другим качествам не так уж они и отличны. Исключение представляет из себя городничий Андреев, только что получивший приказ тобольского губернатора Бантыш-Каменского: разузнать и донести, цела ли и где находится могила Меншикова, ссыльного любимца Петра Великого.

Город Тобольск, сибирская столица, от Березова в 1066 верстах – для желающих приятная прогулка: восемь месяцев снег, мороз бывает градусов до сорока пяти, птицы мерзнут на лету, земля и лед трескаются. Впрочем, тут между землей и льдом нет особой разницы: земля – тот же лед, аршина на два тает, дальше – вечная мерзлота. Горе человека и зверя – свирепые бураны, от которых есть одно спасенье: зарыться в снег и ждать своей участи: может быть, через два-три дня погода переменится.

Меншиков был похоронен близ алтаря церкви, им же и построенной, на берегу Сосвы. Сосва – река быстрая и в разлив многоводная; за сто лет она размыла свой крутой берег и изгладила всякий след могилы светлейшего князя ижорского, которого некогда Феофан Прокопович приветствовал словами: "Мы в Александре видим Петра", который возвел на престол Екатерину I и самовластно управлял Россией в первые дни царствования Петра II.

Но раз приказывает губернатор – городничий должен слушаться и исполнять. Нашелся старожил Березова, казак Шахов, который был вожатым столетнего березовского мещанина Бажанова и будто слыхал от него, что имеется старая могила на косогоре близ Спасской церкви. Чья могила – про то точно неизвестно, а по древности своей как будто подходит.

Стали в указанном месте рыть, вернее – рубить мерзлую землю. И так повезло городничему, что действительно дорылись. На глубине трех аршин с четвертью ударила железная кирка о крышку гроба. Был месяц июль, день жаркий, но земля на такой глубине была скована льдом. И этот вечный лед сохранил в целости и нетленности то, что было предано земле тому назад почти столетие.

Цело было и ярко-алое сукно, которым был обит детский гробик. Удар киркой проломил крышку, а вскрыв, увидали младенческое тело, завернутое в зеленый атлас. На головке шелковый венчик. Рядом с этим гробиком оказался и другой такой же – как два орешка из одной скорлупки. А под гробиками завиделся огромный трехаршинный гроб, как бы колода, выдолбленная из кедра и обитая таким же алым сукном, с серебряным позументным крестом на крышке.

Пока городничий Андреев соображал, что делать, и пока в толпе обывателей, собравшихся без зова, шептались, ладное ли это дело – обижать младенческие могилы, – горячим солнцем охватило гробики, и на глазах у всех личики младенцев почернели, а за ними потерял яркость зеленый атлас и

распались шелковые головные венчики. Полчаса сделали то, чего не могли сделать девять десятилетий.

Нашелся в толпе старый человек, слыхавший от своего деда, что острог был в другом месте и при нем была малая церковь Рождества Богородицы, строенная самим ссыльным князем, да сгорела.

Однако такие разговоры городничий прекратил: только народ смущать! Два детских гробика – чистая случайность; им отведется новое место. А чье тело может лежать в саженном, долбленном из кедра гробу, как не тело великого человека, Петрова сподвижника! К тому же имеется ясный приказ тобольского губернатора: могилу отыскать и приготовить к его, губернатора, личному осмотру.

Обкопав кругом, приподняли тяжелую примерзшую крышку. Под ней лежало тело, обернутое в зеленый атласный покров. Когда же, не тревожа покойника, тот покров разрезали вдоль и концы его откинули, – ахнула толпа, увидав белое лицо, едва подернутое синевой, молодое, строгое и суровое. На голове была шапочка из алой шелковой материи, подбородок подвязан широкой лентой и фустом, однако просвечивали белые целехонькие зубы. И был на мертвеце халат шелковый, красноватый, на ногах башмаки без клюш, с высокими каблуками, вершка на полтора, а переда остроконечные, обитые махровым шелком. Говорят, что у мертвецов отрастает щетина на бритых щеках; но были гладки щеки, и губы, и подбородок, как будто напраслину рассказывали, будто Меншиков в остроге отпустил большую бороду в знак печали и раскаяния в грешных своих замыслах.

Всего же удивительнее было то, что у гроба, долбленного из цельного кедрового ствола, остались с обоих концов недолбленых вершка по три, да на каблуки клади полтора вершка, – как мог в таком гробу уместиться знаменитый великан князь Меншиков, в росте почти не уступавший Петру? И зачем нарядили его в башмаки с каблуками, как носили в старые годы знатные женщины?

Все это видел городничий Андреев, видели и любопытствующие люди. И кто видели – те вспомнили рассказ стариков про цареву невесту Марию, старшую дочь опального князя. Как приехала она с отцом и сестрами в ссылку, как считала, что ее молодая жизнь кончена на семнадцатом году, и не стала она ни царицей, ни женой того, кого тайно любила и с кем рассталась, даже не простившись. И как однажды приехал в Березов сторонний свободный человек – добровольно сюда никто не езживал раньше, – молодой князь Федор Дол-

горуков, тот самый, чье сердце она увезла с собой, приехал тайно, будто простой казак, бросив службу, и родных, и Россию, с великими трудностями одолев долгий путь и явившись перед светлые очи княжны Марии. И как отец, проведав о приезде, махнул рукой и сказал: "Пусть будет по-вашему, а я ничего не знаю". И как их тайно повенчал старый священник Спасской церкви, и потом часто видели березовцы молодую чету гуляющей на берегу Сосвы, он – в простой одежде, она – всегда в черном бархатном платье с окладкой из серебряной блонды. И как год они были счастливы, – а к концу года молодой князь хоронил свою жену и двух близнецов, родившихся мертвыми. И будто в Спасской церкви и посейчас хранится золотой медальон с прядью светло-русых волос, переданный туда князем, недолго пережившим свою жену.

Вот какую могилу нарушил городничий Андреев! Все это поняли, и все молчали, потому что в городе Березове болтать не полагалось: привычны были обыватели к военной строгости.

* * *

Спустя полтора года приехал в Березов и сам губернатор Бантыш-Каменский, человек просвещенный и ученый, потомок Кантемира, сам писатель и сын писателя. Другие губернаторы только правили – этот меньше правил, больше старался обогащать науку учеными изысканиями, за что в скором времени получил законное воздаяние в виде суда шемякина.

Дмитрий Николаевич любил науку искренне и почерпал в истории отдохновение от административных забот и тихую радость. Человек был разносторонний, бывал за границей, изучал деяния знаменитых полководцев, интересовался и крестовыми походами, знал преотлично жизнь Петра и всех его сподвижников. Куда бы ни бросала его судьба – везде он старался оглядеться со вниманием и обогатить историю своими розысками. Живя в Тобольске, много раз порывался съездить в Березов, столь прославленный своими именитыми ссыльными: Меншиковым, Алексеем Долгоруким и Остерманом. Две могилы были известны, третью могилу надлежало разыскать. По счастью, нашелся в Березове толковый городничий Андреев, стараниями которого точно установлено место упокоения светлейшего князя ижорского.

Приезд губернатора – событие высокой важности. Осо-

бенных непорядков в городе не было, но кто Богу не грешен, черту не служил! Пуще же всего городничий Андреев опасался чьего-нибудь неосторожного слова, летучего слушка о том, что князь Меншиков не вышел ни лицом, ни ростом: по докладу его получалось, наоборот, что все в полном порядке. Да ведь кто выдаст хитрость городничего? Губернатор приехал и уехал, – а жить придется с местным хозяином, который предателя, конечно, не пощадит.

Бантыш-Каменский явился в Березов с первым снежным путем, отсчитав тысячу верст с сибирской лошадиной лихостью: так, как в Сибири, нигде на свете не ездили. Больших морозов еще не было, Сосва недавно стала. В первый же день приезда приказал губернатор свести его к месту, где найдена могила Меншикова, – место гладкое, отмеченное только бугром неосевшей земли. Другие дни ушли на другие осмотры, и с трепетом видел городничий Андреев, как внимательно рассматривает губернатор каждую мелочь, как все, ранее не видав, знает досконально, словно видел много раз, как не ошибется ни в имени, ни в годе, поправляя ходячие легенды своими учеными соображениями.

На четверг назначил губернатор свой отъезд обратно; и не успел городничий возликовать, как на среду приказал губернатор явиться городничему с представителями города, священником и рабочими-землекопами к могиле Меншикова.

С утра не от холода дрожал городничий, как осиновый лист, хоть и подкрепился казенным спиртом. Землерубам строго наказал работать медленно, яму копать поуже, чтобы света в нее много не проникало. Когда же все собрались, городничий ни на шаг не отходил от губернатора, боясь, что кто-нибудь шепнет ему губительное слово.

Раскапывали могилу торжественно, при общем молчании. Священник с дьяконом, надев ризы на полушубки, стояли в готовности, мальчик в сторонке раздувал уголья для кадила.

Земля, хоть и мерзлая, поддавалась легче, чем в первый раз. Потирая нос и уши, губернатор приказал поторопить рабочих – им же лучше, скорее согреются. Служилые люди стояли смирненько, поглаживая бороды, – их дело сторона.

Когда кирка глухо стукнула о дерево – показалось городничему, что это его гроб забивают гвоздями. Одно успокоило: прежнее алое сукно почернело и истлело, да и дерево как будто утратило прежнюю свежесть. Когда же сняли крышку и откинули полуистлевший зеленый покров, – городничий закатил глаза и остался стоять истуканом.

Над прахом великого временщика склонился ученый губернатор Бантыш-Каменский. В зимний день и на трехаршинной глубине было достаточно светло. Но уже не то увидел губернатор, что полтора года назад видели березовские жители: воздух принес тление, и хотя еще ясны были черты лица покойника, но не было ни белизны кожи, ни яркости зубов, и потускнели цвета атласа и шелка.

Отведя глаза от праха, губернатор велел секретарю подать портфель и вынул из него большой гравированный портрет. Меншиков был изображен бритым, в богатом кафтане с орденами и лентами. Подойдя к краю могилы, губернатор несколько раз перевел глаза с портрета на лицо покойника, потом вздохнул, подозвал городничего и сказал:

– Вы видите? Я еще сомневался. Теперь сомненья не может больше быть: это он!

Было приказано отломить от кедрового гроба щепочку, взять частицу атласного покрова, шапочки и позумента. Эти реликвии губернатор увез с собой.

Так была открыта и установлена знаменитая могила. История ничего не потеряла, но зато очень много выиграл березовский городничий Андреев, человек решительный и не лишенный фантазии.

МЕДИКУС БЕСТ

"Я называюсь доктор медикус Корнелиус Бест. Я не есть русский, и я не есть тевтон, но я есть из Страсбург и имел французскую мать. Я ехал в Россия септембер 1807-го от война и жил двадцать лет у помещик господин Лысков домашний медикус и научил язык и учил детей немецкий язык и меншенлибе. Я пишу мой мемуар на русский язык для детей мой любезный помещик, которые суть также мои любезные дети".

Вероятно, этот мемуар был труднейшим упражнением для доктора Корнелия Ивановича, хотя и называвшего себя французом, но не знавшего по-французски двух фраз. И, однако, нам его записки оказались бесполезными по краткости и по отсутствию в них описания каких-нибудь значительных событий его жизни; в них рассказано о его честных родителях и о его фатерланд, а также о том, как он был на войне хирургом. Интересен же нам именно период его проживания в имении Лыскове, в двадцати верстах от Рязани. Но знали его не в одном этом селе, а и во

многих соседних, меньше как доктора, больше как чудака. Чудаков же в России всегда любили, и нельзя, по-моему, не любить чудаков: без них мир плоский.

По счастью, о лысковском эскулапе сохранились воспоминания одного проезжего человека и одного рязанского жителя; первый – М. Д. Бутурлин, записки которого общеизвестны и печатались в исторических журналах; рукописи второго нигде не печатались и никому не известны, но именно ими мы преимущественно и пользуемся, так как рассказ графа Бутурлина краток и вряд ли точен. Во всяком случае, рязанский аптекарь Бениге, чистокровный немец и приятель Корнелия Ивановича, знал его гораздо лучше и описал подробнее. А как нам достались его рукописи, где мы их храним, почему не публикуем целиком, – все это наш секрет, как секрет и то, действительно ли такой деловой человек, как аптекарь Бениге, оставивший своим детям круглый капиталец, оставил им также и дневник своих встреч и своей чрезвычайно прозаической жизни. Впрочем, в нашем рассказе сам Бениге никакой выдающейся роли не играет.

В лысковском доме Корнелий Иванович жил в некотором почете и располагал двумя комнатами, приемной и спальней. Их убранство было поистине замечательным и свидетельствовало прежде всего об ученых склонностях медикуса и о его исключительных познаниях. Вход в первую комнату охранялся скелетом, но не человеческим, как было бы естественно для медикуса, а бараньим. Скелет человека и достать было негде, и не был бы, конечно, допущен в порядочном дворянском доме; скелет бараний никого не смущал и был самим Корнелием Ивановичем раздобыт, выварен, очищен и связан проволокой.

К своему медицинскому делу Корнелий Иванович относился с большим вниманием. Когда сам помещик, или члены его семьи, или дворовые к нему обращались, он прежде всего подходил к бараньему скелету и глубоко задумывался. Затем, додумавшись, он знакомил пациента с устройством организма, тыкая под ребра и ему и барану и поясняя, где что находится. При простых болезнях тут же выдавалось лекарство собственного медикуса приготовления: липовый цвет, сухая малина, настойка на полыни, горчичник. Собственноручно ставил пиявки, добытые из заглохшего пруда, в котором Корнелий Иванович ловил также и карасей. Но если болезнь оказывалась сложной, он, уложив больного в постель и приказав ему длительно и без передышки потеть, ехал сам или отправлял нарочного в Рязань к аптекарю Бениге с запиской,

начинавшейся словами: "Ich bitte, liebster Herr"[1], – и дальше просьба прислать наилучший медикамент против болезни, которая подробно описывалась. Не то чтобы сам доктор не знал, что в таких случаях полагается прописывать, а просто он вполне доверял своему другу и считал неудобным его чему-нибудь обязывать, особенно же он не любил сам прописывать яды, боясь ими отравить. На его записку аптекарь отвечал присылкой медикамента с присовокуплением пояснительного письма, также неизменно начинавшегося обращением: "Sapientissime Domine"[2], потому что хотя аптекарь и помогал доктору в придумывании нужных лекарств, но понимал разницу в званиях и в относительной учености.

В разговоре с пациентами медикус Бест любил пускать туманные слова и медицинские термины, от которых больным делалось жутко и не по себе. Даже простое снадобье, как уксус, он переиначивал в "оксос", памятуя, что слово это греческое и должно произноситься правильно. Воду же называл по-латински "аква", и тогда простая вода уже оказывалась настоящим лечебным средством. И нужно сказать, что некоторая пышность и торжественность его лечения сильно действовали на больных.

Торжественность усиливалась обстановкой, так как кроме бараньего скелета в приемной Корнелия Ивановича было и еще немало ученых чудес. Была, например, также и мертвая лошадиная голова, подобранная медикусом в поле; ее Корнелий Иванович щелкал в нос, когда к нему обращались с просьбой об излечении насморка. Были два чучела – совы и вороны, больше служившие украшениями. В банке зеленого стекла плавала в спирту ядовитая змея, при жизни бывшая невинным ужом. Этим на змее настоянным спиртом Корнелий Иванович удачно лечил дворовых от пьянства, отливая полстаканчика и доливая его аквой. Первый же его пациент, лысковский кучер, как рассказывают, осушив несколько насильственно, по приказу барина, настойки доктора Беста, внезапно впал от ужаса в бесчувственное состояние и после пил только по праздникам, а напившись, прятался на сеновале или даже в лесу, опасаясь, что его снова подвергнут принудительному лечению. Этот случай считался в округе одним из самых блестящих в практике лысковского медикуса.

Как явствует из первых строк мемуара, Корнелий Ивано-

---

[1] "Прошу, дорогой господин" (*нем.*).
[2] "Мудрейший господин" (*лат.*).

вич нес также и обязанности учителя детей помещика Лыскова, которых он обучал немецкому разговору. Это обучение заключалось в живой беседе и производилось во время прогулок по полям и лесу для собирания целебных трав. Сухими травами в бумажных и полотняных пакетиках были заполнены комнаты доктора. У нас вообще нет достаточных сведений о степени учености лысковского эскулапа; мы даже не можем уверенно утверждать, что он подлинно был доктором, а не подмастерьем страсбургского пивоваренного заведения. Но он был прилежен и отдавался медицинской науке со всей страстью – это вне сомнения. Отчасти руководясь указаниями своего приятеля аптекаря, отчасти по собственной эльзасской сметке, он собирал травы разнообразнейшие и в большом количестве. Осторожный настолько, что совершенно неизвестны случаи отравления его травами, он пробовал их действие на кошках, которым подбавлял их в пищу. Если кошка начинала хиреть, это было одним из лучших показателей, что и людям данное снадобье лучше не рекомендовать; в остальных случаях его можно было применять без особого вреда, причем могла случиться от него также и польза. На большинстве трав, особенно пахучих и в цвету, настаивалась водка, и каждый вечер, во славу медицины, Корнелий Иванович лично производил испытание действия разнообразных настоек на человеческий организм. Есть основания думать, что именно им изобретена так называемая зубровка, как несомненно, что настойка на зверобое применялась им при большинстве острых желудочных заболеваний и всегда с огромным успехом. Может быть, этим объяснялась эпидемия таких заболеваний не только среди дворовых, но и среди сельских пахарей, не исключая и женщин. Чтобы искоренить эту болезнь окончательно, Корнелий Иванович стал прибавлять к зверобою скипидар – и действительно обращения к нему стали реже.

Но особенно прославилась изготовленная доктором так называемая тинктура апиум, настойка на осиных брюшках, до тех пор медицине неизвестная и впоследствии, кажется, неприменявшаяся. Она пускалась в ход только в самых исключительных случаях как возбудительное: длительный обморок, меланхолия, полная потеря аппетита. Знаменит также случай ее применения в акушерстве, доставивший медикусу настоящую славу. Вообще Корнелий Иванович акушерством не занимался, это для мужчины считалось неприличным и ведалось, по обычаю, деревенскими бабками. Но случилось, что одна здоровенная женщина, первородящая, никак не могла

справиться со своей задачей. Было пущено в ход все: больную ставили вниз головой, сажали на нее мужа, впихнули ее на лопате в накануне вытопленную русскую печь, наконец, поставили ей на живот банку в виде глиняной крынки, под которую подсунули горящую паклю, – все безрезультатно. Так как банку, слишком присосавшуюся и причинившую роженице страшные боли, никак не могли снять, то был, по приказу барыни-помещицы, приглашен доктор Бест, догадавшийся крынку разбить ударом топора, а так как больная вслед затем ослабела, доктор влил ей в рот тройной прием своей тинктуры апиум. Не прошло и получасу, как роды начались и свершились гладко, а именно баба разрешилась от бремени пятерыми младенцами, из которых умер только один, вероятно, тот, который был втянут в глиняную крынку. Слух о такой благодати разнесся чуть ли не по всей губернии, и значительная доля участия в этом чуде была приписана доктору Бесту. Говорят, будто бы помещик Лысков просил своего эскулапа поить пчелиной настойкой всех рожениц в надежде быстро увеличить количество крепостных душ, но опыты больше не удавались, может быть, из-за противодействия темных и своей выгоды не понимающих крестьян.

Не двадцать лет, как значится в записях самого Беста, а тридцать лет он прожил в имении помещиков Лысковых, куда приехал уже сорокапятилетним и где пережил два поколения своих хозяев. Восьмидесятилетним старцем он был здоров, бодр и деятелен, являясь живой рекламой своего врачебного искусства. Он брил усы и подбородок, оставляя на щеках и на шее волосяным полукругом бакены, или, по-тогдашнему, щекобрады, если только это слово не выдумано Далем. Причину своего полного здоровья в столь почтенные годы он не скрывал, но сообщал только на ухо и только мужчинам: полная стойкость в вопросе женском. "И даже, – прибавлял он, – в настоящее время". По-русски он говорил хорошо, если не считать окончания существительных и прилагательных, а также спряжения глаголов. Нет сомнения, что при желании он мог бы легко, скопив довольно денег, вернуться в свой обожаемый фатерланд, о котором всю жизнь он говорил с восторгом и со слезами на глазах. С годами представление о любезном отечестве украшалось в нем картинами необычайного величия и исключительной красоты. Сравнивая Волгу с Рейном, он уверял, что Рейн шире Волги если не в двадцать, то уж, во всяком случае, в десять раз, что вершина страсбургского собора окружена облаками, сам город раскинут на необозримых пространствах, а люди, в нем живущие, на всю

Европу славятся своей красотой, образованностью, музыкальными талантами и говорят на звучнейшем языке, который явился прародителем всех других европейских языков, но в полной чистоте сохранился только в Страсбурге и именно в том квартале, где в молодости проживал он, Корнелий Бест, ныне – несчастный изгнанник, вынужденный жить в стране дикарей, к которым он, однако, не причисляет семью господ Лысковых. Однако он так и не мог сказать, кто же, собственно, изгнал его и почему; отмалчиваясь, он окружал свой взор дымкой непроницаемой тайны.

Вряд ли эта тайна существовала; во всяком случае, она была неизвестна даже аптекарю Бениге, рукописями которого мы пользуемся; кстати, в этих рукописях, отчасти мемуарах, отчасти копиях писем, сапьентиссимус доминус Бест всегда назывался "моим другом", но никогда не именуется доктором. И, однако, аптекарь отзывается о нем с большим уважением, как об особе почтеннейшей и даже культуртрегере дикого рязанского края. "Мой друг и я, – пишет Бениге, – всю жизнь прожили среди русских дикарей; постоянно их благодетельствуя и не пользуясь достаточным признанием наших заслуг. Если бы я остался жить в Пруссии, то был бы наверное санитетсратом; здесь я – простой аптекарь. Такова участь людей, отдающих свои силы человечеству".

Как видите, медикус Бест не принадлежал к числу признанных знаменитостей даже в истории медицины. Но его имя встретилось нам в исторических мемуарах, кстати, искаженным (у Бутурлина он назван Корнелием Павловичем), и мы сочли возможным и должным посвятить ему этот рассказ, чтобы тем самым восстановить справедливость, в которой ему отказали современники.

ДЕКАБРИСТ И ТАРАКАН

Рыжеусый таракан армейской выправки выполз из щели, дружелюбно посмотрел на заключенного и спросил:

– Ну как, все пишешь?

– Пишу.

– Все тетушке?

– Пишу тетушке, а читать будут дяденьки. А ты все ползаешь?

– Когда сплю, а когда и гуляю. Хлебной крошечки не пожалуете старому ветерану?

– Найтись найдется, а только чур! – ночью в глаза не лезть!

– Так ведь это не я, а ребятки.

– И ребяткам закажи. Вот на, ешь на здоровье, прусак.

– Спасибо, декабрист!

Закусивши, таракан обтер нафабренные усы и уполз в щель.

* * *

"...Мокрицы имеют ныне у меня большие преимущества; оных здесь множество, почти каждая величиной с палец, черные и мохнатые. Всякий черный таракан напоминает мне ночлег ваш, любезнейшая тетушка, на корабле. – Одних только прусаков недолюбливаю, потому что они ночью лезут в больные мои глаза, которые теперь стали немного лучше. – Я полагаю, что сие происходит от мороза, который вытягивает находящуюся сырость в стенах и сводах моего жилища, которое от того делается суше; но все глаза мои еще очень слабы и красны, как у кролика..."

Написав, прошелся по камере: в длину – шесть шагов, в ширину – распростертые руки касаются холодных и влажных стен. Император Николай Павлович – без году неделя император – приказал соизволить:

"Препровождаемого за номером (таким-то) содержать в строгости, питать порядочно, бумаги и чернил давать, сколько просит".

Хорошо тому жить, кому тетушка ворожит. Тетушка действительно имеется, но проживает за границей и ворожить не может. А письма ей пишутся только для того, чтобы их прочитали жандармы, а то и сам император, большой любитель литературы.

Про кого еще написать? Жаль, нет в камере волков и крокодилов, – и про них написал бы от скуки и со злости. Есть паук, один-единственный, вялый и неповоротливый. Мух нет, и нечем ему питаться.

– Ты бы, паук, хоть таракашек в сеть заманивал.

– Дрянь, кислятина!

На допросе император вынул платок, отвернулся, утер глаза и сказал:

– Тебя, бунтовщика, мне не жалко: жалею твоего почтенного родителя, коего за верную службу ценю и почитаю. – Потом так же сухо, как сухи были его глаза, прибавил: – И себя и его губишь напрасным запирательством.

И откуда в каземате столько мокриц? Нарочно, что ли, их разводят?

"...Надеюсь, любезная тетушка, что настоящее письмо безвинного страдальца не сделает Вам тошноты описанием стерегущих его в каземате насекомых".

Отшвырнув исписанные листки, августейший следователь и судия наистрожайше повелеть соизволил:

– Проверить!

* * *

Отношение товарища начальника Главного штаба графа Чернышева к коменданту Санкт-Петербургской крепости генерал-адъютанту Сукину:

"Дошло до сведения, что в некоторых казематах в С.-Петербургской крепости находится множество мокриц, тараканов, прусаков и прочих насекомых, которые, кроме того что внушают отвращение, могут вредить и здоровью содержащихся в оных. Сообщая о сем Вашему Высокопревосходительству, покорнейше прошу принять возможные меры к очищению казематов от сих животных".

Большая неприятность коменданту Сукину (даст же Бог такую фамилию!). Не по тому ли назвал граф Чернышев насекомых "животными", что хотел намекнуть на возможность очищения Петропавловской крепости и от коменданта?

– Попросить ко мне полковника Щербинского! Разведут в крепости нечисть, а я – отвечай! Господин плац-майор, чем вы занимаетесь? Тараканов разводите?

– Тараканов нет, ваше высокопревосходительство.

– Мало тараканов – мокриц завели? Прусакам крепость сдали? Приказываю немедленно обойти казематы и мне донести!

– Штаб-лекаря к плац-майору!

– Господин штаб-лекарь, комендант получил указания на мокриц и прусаков в казематах. Что же это делается?

Коллежский советник Элькан, человек штатский, говорит покойно:

– Много тараканов. Но это ваши солдаты разводят по кухням; конечно, заползают и к заключенным.

– А мокрицы? Толщиной в палец и мохнатые?

– Мокрицы от сырости, но вряд ли в палец. Впрочем, я не раз докладывал вам о насекомых. Выводили их, да опять заводятся.

– Значит, и мокрицы есть?

– Стоножки. В летнее время бывают, зимой вымерзают, что ли. Я лечу больных, господин плац-майор, а насекомые – дело комендатуры.

– А со службы вместе вылетим, помяните мое слово. Потрудитесь немедленно произвести осмотр и мне доложить. А что тараканы – сам знаю, что много. У меня самого полна кухня. Чем их выводить?

– Буро́й можно. Буры в порошке по полочкам насыпать велите.

– Сыпали. Они буру жрут и еще жиреют. Однако же отвечать мы должны! Ядом их каким-нибудь нельзя?

– Солдатам в суп попадет.

– Солдат все съест, ему ничего. Вот свалилось на голову несчастье! Вы уж помогите, доктор, на случай личного его высокопревосходительства обхода.

* * *

Отношение генерал-адъютанта Сукина графу Чернышеву:

"На отношение Вашего Сиятельства ко мне от 29 января 1828 года номер 55 о принятии возможных мер к очищению казематов от находящихся в некоторых из них множества мокриц, тараканов, прусаков и прочих насекомых, которые, кроме того что внушают отвращение, могут вредить и здоровью содержащихся в тех казематах, по получении ныне донесения от плац-майора здешней крепости полковника Щербинского, на предписание мое об оном, имею честь ответствовать, что не только в некоторых, но вообще во всех казематах, где арестанты содержатся, вышеозначенных насекомых не видно, а появляются оные только в общей арестантской кухне, но и то по возможности истребляются посредством сметания, что подтвердилось и личным донесением мне прикомандированного к Санкт-Петербургской крепости штаб-лекаря, коллежского советника Элькана, посещающего нередко арестантов, требующих врачебной помощи..."

Между седыми усами коменданта Сукина бегает легкая улыбочка: ловко написано: "... не только в некоторых, но и вообще во всех казематах!"

"А сверх того, когда и мне случалось быть в арестантских казематах, я никогда не видал в оных помянутых насекомых, а слышал, что в летнее время появляются иногда в некото-

рых арестантских казематах мокрицы, или так называемые стоножки, но редко и не в большом количестве".

Тоже ловко и уместно упомянуто: "В летнее время"! А ныне – зима и мороз, ваше сиятельство! Опоздать изволили!

"Тараканы же и прусаки, как донес мне плац-майор Щербинский, находятся в казематах, занимаемых квартированием нижних чинов, большею частью у женатых и даже у офицеров, живущих с семействами, по причине сырости и чрезмерной теплоты, происходящей от варения пищи и печения хлебов. Совершенно же истребить их в сих последних казематах весьма затруднительно, но по возможности живущими оные также истребляются".

Получите, ваше сиятельство, и попробуйте возразить. Таракан – насекомое семейственное, некоторым образом семейная необходимость. Без таракана нет уюта. Вместо того чтобы выводить тараканов, хорошо бы вывести доносчиков! Но Сукин стар, Сукин свое дело знает. Не будь Сукина – не мог бы мирно спать во дворце и его императорское величество!

* * *

"Любезная тетушка! В непрестанных заботах об удобствах заключенных ныне осматривали помещение, где пребываю, и значительно его очистили. Таковым образом, я лишился единственных друзей, с которыми видался и мог беседовать. С сего дня оставшейся утехой являются для меня лишь сии безответные к Вам письма, впрочем, лишенные для Вас достаточной занимательности".

А было когда-то время – друзей было много, и настоящих, а не тех, что бегают по стенам и потолку и заползают по ночам в больные глаза. Не всех постигла плачевная судьба, но иных постигла судьба еще худшая, если такую можно себе представить. Так преходяща слава мирская! Блестящий офицер гвардии – третий год в сыром каземате с тараканами и мокрицами. Три года украдены из жизни, – а что впереди?

И все-таки – забавен был утренний визит крепостного начальства! Впереди сам генерал Сукин, за ним плац-майор полковник Щербинский, за ними лекарь Элькан с двумя служителями. Никто с заключенным ни слова, – точно его и в камере нет.

– Извольте осмотреть!

Генерал в дверях, плац-майор на пороге, полоборотом, доктор водит очками по стенке.

– Чтобы все было очищено!

– Слушаю!

Редкий случай, что сам Сукин решился сунуть нос в арестантский каземат. Служители смели шваброй грязь со стен в ведерко, поскоблили в углах, наскоро подмели пол – и строгий приказ исполнен. Паук погиб первым, – но он не так уж и дорожил жизнью.

Эх, не о чем стало писать тетушке!

Осторожненько, учитывая опасность, пропустив вперед нафабренные усы, выползает из щели старый знакомый.

– Эге, прусак, да ты уцелел?

– Что мне делается? Ребяток кое-кого недосчитываемся.

– А я опасался, что тебя вымели.

– Бывало сие неоднократно – приходили, нарушали покой и сами напрасно беспокоились. Так было, и так будет, декабрист! Люди проходят – тараканы остаются. Суета сует и всяческая суета.

И, выдержав приличествующую паузу, рыжий философ прибавил обычным просительным, но и вполне достойным тоном:

– Не найдется ли завалящей хлебной крошечки старому ветерану?

БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ АЛЖИРЕЦ

"Сево 11 мая 1828 году
в Сурьянине Болховского уезду сево числа опосля обеду по особливому сказу крепосными людьми прапорщика Алексея Денисовича, совместно с крепосными брата его Маера Петра Денисовича при участии духовново хора Александры Денисовны Юрасовских на домовом театре Сурьянинском

представлено будет:

Разбойники Средиземного моря

или

Благодетельный алжирец

большой пантомимный балет в 3 действиях соч. г. Глушковского, с сражениями, маршами и великолепным спектаклем".

* * *

Болховский уезд Орловской губернии был славен хлебом, пенькой, лесом, кожей и помещиками. Среди последних богачи братья Юрасовские прославились на весь уезд и на всю губернию своим служением музам Эвтерпе, Талии и Терпсихоре.

У Алексея Денисовича была целая балетная труппа из крепостных его крестьян, обученная прекрасными учителями; Петр Денисович больше интересовался фокусниками и одного имел поистине замечательного – Тришку Баркова, настоящего шпрын-мейстера; Александра Денисовна любила хоровое пенье, и хор ее славился на всю округу.

11 мая 1828 года наехало гостей столько, что едва хватило места для парадных столов на лужайке в конце липовой аллеи, где стояла оранжерея. Там десятки дворовых суетились, подготовляя для гостей ужин.

Театр открытый. Перед сценой для почетных гостей вынесены кресла и стулья, для прочих помещичьих семейств – скамьи, покрытые материями. Допущены и крестьяне, для которых отгородили места подале веревкой, чтобы не очень напирали на господ и не воняли.

День прекрасный, все разряжены по-летнему; мужчины кто во фраках, кто в поддевках, старые барыни в шелках, девицы в легких ситцах, иные в сарафанах. В саду и не разберешь сразу, которые цветы выращены на клумбах садовниками, а которые цветы бегают на двух ножках и созданы на погибель сердец.

Перед тем как занавесу раздвинуться, выпущен на авансцену говорун, крепостной человек Алексея Денисовича – Афонька Матвеев, в белом балахоне, а рожа в муке:

– Преславные господа и почтенная публика. Как барин приказал, то дозвольте рассказать, чево будет здеся представлено, а именно знаменитая пьеса “Разбойники Средиземного моря, или Благодетельный алжирец”. Сия пьеса имеет роли, наполненные отменной приятностью и полным удовольствием, почему на санкт-петербургских и московских театрах завсегда благосклонно публикою принимаема была. Особливо же обратите внимание: декорации – наружная стена замка Бей, пожары и сражения, которые декорации сейчас перед вами настежь откроются. Замечательное действие препровождено будет музыкой господина Шольца, а на скрипке играет соло его сиятельства графа Каменского бывший крепостной человек Васильев, отменный музыкант. И под эту музыку разнообразные актеры, всё барина Алексея Денисо-

вича крепостные люди, будут вершить прыжки, именуемые антраша в балете. По первому делу Антонов Васька, Хромина Васютка и Зюрина Донька втроем па-де-труа. Отдай занавес!

Тянут занавес детские руки, а как оттянули – выглядывают по краям сопливые мордочки. Их роль невелика, но очень уж занятна.

Васютка Хромина и Донька Зюрина в дешевых костюмах из китайки и коломянки, но девушки – ах, как хороши! Платья закрытые, ножки до самой бабки завешены красными шароварами, на головах чалмы с петушиными перьями. Легкость движений неописуемая; танцуя, смотрят на барина, сидящего в первом ряду, был бы он доволен. Потому что ежели барин не будет доволен, то может и выпороть. Васька Антонов – главный актер, он и есть – Благодетельный алжирец, морда вымазана углем, сапоги под красный сафьян, и скачет Васька поистине превосходно. Самый танец означает, что в замке Бей на берегу Средиземного моря все в порядке и народ благоденствует; а ежели на декорации изображен пожар и сраженье – это относится к дальнейшему, а пока не считается.

Танцуют долго, Васька-алжирец в середке, девушки по бокам. По строгим помещичьим театральным правилам, актер актерки касаться не должен; только вид делает, что поддерживает за талию. И, так танцуя, отступают все трое к стене замка Бей.

И тут из правой кулисы появляется чудо-балерина, вся в белом и простоволосая, только с венком живых цветов, – Аниска Картавая, главная солистка барина Алексея Денисовича. Аниска легка, как пух, обучалась в Москве у лучшего учителя, и не только на сцене, а и в любом зале не уступит никакой светской барышне – и в менуэте, и в контратанце, и даже в верхнем танце (придворном). Аниска и читает, и пишет, и отменно говорит по-французски, и хорошо играет на клавикордах, чем могут похвастаться немногие помещичьи дочки. Аниска знает и любит хорошие стихи и уже не плачет над “Бедной Лизой”, как эти глупенькие провинциальные девицы. Но она остается Аниской Картавой, рабыней помещика Юрасовского.

Влетают на сцену разбойники Средиземного моря, па-де-катр, состоящий из Родина Фильки, Зюрина Захарки и Демина Ваньки, а четвертым танцует с ними тот же Васька Антонов, и тут они сражаются, причем на помощь Ваське прилетают еще Сидорка Петров и Хромин Карпушка, парень-красавец, но сейчас чумазый, как и все, мужчина. Побивши разбойников и освободив из их плена Аниску, Васютку и Доньку, зачали вместе и ними вершить прыжки и антраша самые изу-

мительные, а в заключение Аниска застыла в середке, две девушки у ей за плечами, мужчины в окружении, а Благодетельный алжирец всех впереди на корточках, руки к небу воздевши. И тут скрипка перестала играть сочинения господина Шольца, а почтенная публика захлопала в ладоши.

В перерыве господа промеж собой вспоминали разные театры, кто что видал и где. Одни хвалили бывший еще при Екатерине "Воксал барона Вонжура" в Санкт-Петербурге, на Мойке, другим больше был памятен московский "Воксал Медокса", а из нынешних – "Плезир" и "Альгамбра". Хороша была пиеса "Олинька, или Первоначальная любовь", неплоха и опера "Ям и посиделки", а всего чувствительнее и страшнее трагедия Шекспирова "Леар". В первые годы после Отечественной войны ставили освободительные трагедии исторического характера, в которых русские витязи начисто изничтожали скуластых татар. И как выступит актер и объявит зычным голосом: "Разбитый хан бежит, Россия освобождена!" – так весь театр задрожит от криков и рукоплесканий. Вот были времена! Такие времена, что даже один перчаточник просил разрешения нарисовать на вывеске перчатку с указующим пальцем и надписью: "Рука Всевышнего Отечество Спасла".

Упоительное забвение зрителей прервал опять говорун Афонька Матвеев (он же и афиши всегда писал) новым заявлением:

– Почтенные господа, за сим следует препотешной разнохарактерной комической пантомимной дивертисман с принадлежащими к оному разными танцами, ариями, мазуркою, русскими, тирольскими, камаринскими, литовскими, казацкими и жидовскими под названием: "Ярманка в Бердичеве, или Завербованный жид". Отдай ребята, занавес!

Над ярманкой гости изволили вдоволь нахохотаться, и песни прослушали, и танцы посмотрели с немалым восхищением. Толпа крестьян за веревкой тоже развеселилась и, господ не стесняясь, делала вслух замечания, так что барин Петр Денисович погрозил туда кулаком. И как этот номер кончился, побежал Петр Денисович за кулисы убедиться, что его главный актер-одиночка, великий шпрингер и позитурный мастер, не пьян и к представлению вполне готов.

Отвели занавес, и предстал перед всеми Тришка Барков в балахоне со звездами и в высокой шляпе конусом, как бы маг и волшебник. А возле стоял стол с дудками, тарелками, палками, паклей и прочим нужным Тришке добром.

Первым делом Тришка Барков закричал в дудку уткой, а потом на той же дудке сыграл очень чувствительную музыку,

а бросив дудку, пустым ртом засвистал, бытто соловей, да заиграл, как на свирели, да забрехал по-собачьи, да замяукал кошкой, да заревел медведем, да замычал прежде коровой, потом телком, да закудахтал курицей, да запел и заквохтал петухом, да, как ребенок, заплакал, да завизжал подшибленной собакой, да завыл голодным волком, да голубем заворковал и принялся кричать совою – и все так искусно, что будто эти звери и птицы спрятаны у него не то в рукаве, не то за щекой. Еще Тришка поиграл сразу на двух дудках, сам держит тарелку на палке, а ту палку у себя на носу – и крутит, чертов сын, да еще палку поставил на другую палку и все крутит не роняя. И господин его и вся публика, особенно молодежь, только смотрят да ахают, а Тришка взял со стола паклю, зажег кремнем и трутом и ту горящую огнем паклю начал глотать, грустного вида не показывая и даже рта себе не обжегши, в чем любопытные опосля убедиться легко могли. И когда всю паклю Тришка съел с огнем и пеплом, тогда, чинно поклонившись в сторону барина, принялся тот же Тришка Барков приятным голосом рассказывать прекуриозные рассказы из разных сочинений, наполненных отменными выдержками. Которые барышни, те бытто не поняли, и, однако, личики занялись нежной красочкой, а пожилые помещики Тришку одобрили и набросали ему прямо на сцену медных денег.

Теперь пришла очередь барышне Александре Денисовне похвастать своим хором. Всегда хорошо пели на Руси, а обучи простого крестьянина – он запоет еще отличнее. Пели песни сначала духовные, потом партикулярные. И было всем то радостно, то грустно, кто и слезу пустил, а иные не удержались – подпевали с мест и притоптывали ножкой тем песням в лад. Дунька Хрустова была запевалой, а из мужчин Климка Пустяков – всем голосам голос. Оба учились у известных итальянских учителей, и многие помещики приторговывали их у барышни Юрасовской, давая в обмен и племенных быков, и свору легавых, и заграничный орга́н с десятью музыкальными пиесами, – не продала!

Солнце село, зажглись по аллеям смоляные шесты, а на ужинных столах дворовые лакеи наставили сальных свечей в высоких подсвечниках под стеклянным колпаком; да еще много было свечей понавешено в цветных китайских фонарях над столами и на ближних деревьях аллеи. Умели принять гостей помещики Юрасовские! А вино разносили и наливали актеры в тех же костюмах, как играли и танцевали танцы. Было приказано первой балерине Аниске Картавой

потчевать стариков и важных барынь, говоря с ними непременно по-французски и речью изысканной. На Аниску заглядывались мужчины и пытались заговаривать, а то и щипнуть, – но барин Алексей Денисович смотрел строго и тотчас ее отзывал.

Изо всех крепостных актеров драли за сегодняшнее только одного Захарку Зюрина, да и то на другой день: за то, что Захарка, делая антраша в балете па-де-катре, ногой промахнулся и припал на руку, чего по ходу танца не полагалось. Драли на конюшне розгой, не лихо и не спеша. Барин же, на Захарку рассердившись, при той экзекуции даже и не присутствовал, будучи мягкого и чувствительного сложения.

К ночи которые гости разъехались, а которые остались ночевать. Актеров же и актерок заперли, как полагается, в двух обширных избах, мужской и женской, и приставили от барина верный караул, чтобы из избы в избу никому не было ходу. Главное – баловства не было бы! А как умели держать в те поры лицедеев в полной строгости, то и театр российский стоял высоко, а с годами подымался все выше, и вот теперь выше нашего театру нет ни в Европе, ни в Америке, о чем всякому известно, а хвастать нам не пристало.

ЗАДУМЧИВЫЙ ЧИНОВНИК

В феврале 1829 года Петербург был взволнован слухом о покушении на взрыв Сената. По высочайшему приказу было произведено строжайшее следствие. Дело оказалось вздорным и пустяковым, ни в чьей памяти не осталось, и только спустя сорок лет один исторический журнал напечатал на двух страничках резолюцию по этому делу уголовной палаты и Сената.

В те времена придавали значение событиям и их последствиям, а душа человеческая не изучалась и оставалась в тени. Мы – психологи и мимо человека не проходим. Покорная приказу нашего творческого воображения – да явится пред нами из времен занятная фигура российского Герострата!

Сей Герострат служил канцеляристом второго департамента Сената и носил христианское имя Михаила Егоровича Шабунина. Из его биографии известно очень малое. По показанию его отца, за девять лет до происшествия Мишенька купался в реке и чуть было не утонул, после чего "был замечен не в полном уме, что произошло от испуга". Ясно, что отец рассказал об этом с целью оправдания странного поступка

сына. Затем – покушение на взрыв Сената и отдача виновного в военную службу рядовым. Больше ничего не известно о Михаиле Шабунине, и читатели поймут, каких трудов нам стоило добыть о нем сведения здесь, в Париже, по прошествии ста пяти лет, причем единственной руководящей нитью было для нас занесенное в протокол признание самого героя, выраженное в следующих словах:

"До означенного поступка моего я чувствовал в себе сильную задумчивость, от которой доходил до того, что не мог совершенно на вопросы отвечать".

И вот что мы узнали о личности Михаила Шабунина и мотивах его поступка.

* * *

В то время ему шел девятнадцатый год. Сейчас это – цветущая юность, тогда было вступлением в полную возмужалость. К двадцати годам человек должен был не только вполне определить свое назначение в жизни, но и на деле выказать свое соответствие этому назначению. Михаил Егорович, страдая припадками задумчивости, неуместной в николаевские времена, дороги своей не определил и очень этим мучился. Он чувствовал в себе недюжинную духовную силу – и был лишь ничтожным писцом сенатской канцелярии. Он был высок, строен, носил на висках завитушку из волос и на скулах пушок будущих бакенбард. Идя на службу и со службы, он не смотрел по сторонам, как делали его товарищи, а держал голову высоко и наблюдал ломаную линию крыш, прерываемую заборами. Над крышами летали вороны и воробьи, и мысль Михаила Егоровича следовала за их полетами в то время, как циркуль его ног, одетых в узкие панталоны со штрипками, измерял панель. Именно за эту гордую и независимую походку сослуживцы прозвали его *кандибобером*, – выражение более сильное, чем *гоголь*.

Катеньку Проскудину, некоторым образом виновницу позднейших событий, скромную девушку, ходившую с опущенными долу глазками, Михаил Егорович заметил только потому, что встретил ее на лестнице, когда он подымался, а она спускалась, – единственный случай, когда они могли встретиться глазами. Встреча произошла – и дальнейшее определилось.

Катенька Проскудина была дочерью начальника того самого отдела канцелярии, где служил Михаил Егорович. Дол-

гой службой можно добиться многого – даже руки дочери высокого начальника. Но когда в груди яркой звездой загорается любовь – она не ждет. Долгой службе можно противопоставить яркий подвиг, хотя бы безрассудный; им не завоевать руки, – но сердце завоевывается без промаха. Смелый должен дерзать. Об этом и думал Михаил Егорович, когда, идя на службу или со службы, он считал на крышах ворон и воробьев.

В Эфесе был храм Дианы – в Петербурге был Сенат. Герострат хотел прославить свое имя на все века – и достиг этого. Михаил Егорович Шабунин поставил себе меньшую задачу: он хотел только поразить воображение сослуживцев и заставить о себе заговорить, – и также достиг этого и даже большего; спустя сто лет его имя украшает эти страницы. В лавочке гостиного ряда он купил серы и селитры, древесный уголь нашел дома, а необходимый бурачок сам сделал из сенатской бумаги, которую приносил домой для переписки департаментских документов.

Непонятно, как мог Герострат сжечь храм Дианы Эфесской; храм-то ведь был каменным? Михаил Егорович, при всей своей задумчивости, сразу сообразил, что сжечь или взорвать Сенат почти невозможно. Поэтому он выбрал для своей адской машины место между двумя каменными капитальными стенами, где стояла к тому же пожарная машина, закрытая брезентом. Рано явившись на службу, он поставил бурачок, начиненный самодельным порохом, рядом с пожарной машиной, в бурачок вставил тонкую церковную свечу и зажег. Затем он вошел в комнату канцелярии, взял книгу исходящих, раскрыл ее на текущих номерах и по привычке погрузился в задумчивость.

Входили и выходили мелкие чиновники, самый мелкий из них чинил перья для столоначальника и для его превосходительства, другие обменивались хвастливыми рассказами о том, как здорово было вчера выпито по случаю тезоименитства экзекутора. Сторож Бочкарев подмел вчерашний сор, подхватил его совочком и понес через коридор к ящику на черном ходу. Проходя мимо пожарной машины, Бочкарев потянул носом: откуда-то пахнет гарью. Вынеся сор и возвращаясь, опять потянул носом: еще больше пахнет и как будто из-под машины тянет дымком. Тогда он откинул парусину и увидал на каменном полу тлеющий бумажный бурачок.

Чиновники были бриты, сторож носил большую бороду. Когда Бочкарев, не предвидя всей опасности – а он был человеком семейным, – наклонился над адской машиной и протянул к ней руку... Но тут мы временно обрываем нить рассказа,

чтобы сделать его интереснее, и возвращаемся к задумчивому чиновнику.

* * *

О чем думал Михаил Егорович? В такой ранний час исходящих бумаг еще не было, а входящими ведал другой. Мог он думать о том, что лишь мгновенья отделяют его от начала славы и необычной участи; мог думать о Катеньке Проскудиной и о предстоящем взрыве и пожаре в ее еще неопытном сердце.

Одну минуту в его голове мелькнула мысль, что не лучше ли побежать в коридор и потушить свечку под брезентом пожарной машины. Но тогда все останется по-прежнему – стоило ли начинать? Как фаталист, он не испытывал ни малейшего волнения и даже перед самим собой рисовался полным своим спокойствием, жалея о том, что против него нет зеркала. Минуты идут, сослуживцы входят и выходят, ничего не подозревая, – и вот все это взлетит на воздух. Был Сенат – и нет Сената.

И вдруг – топот ног, громкие голоса, и в комнату вбегает сторож Бочкарев, неистово трепля вполовину сократившуюся бороду.

Настоящего взрыва не было, но трудно передать происшедший в канцелярии переполох. Кто кричал: "Пожар!", кто: "Взрыв!". Догадливые быстро залили догоравший бурачок водой из рукомойника. Начальства выбежали из важных кабинетов, и на некоторое время было забыто чинопочитание, так что простые писцы, размахивая руками, не докладывали, а просто рассказывали о происшедшем и титулярным, и даже действительным статским советникам. Достаточно сказать, что прибыл на место происшествия сам обер-прокурор сенатского департамента, извещенный последовательными в порядке иерархии докладами. Двумя часами позже о взрыве в Сенате узнал император Николай Павлович, а еще позже часом по его высочайшему приказу обер-полицеймейстер Шкурин лично производил дознание и допрашивал служащих. К вечеру о страшном деле говорил весь Петербург.

Среди суматохи и волнений вполне спокойным остался только задумчивый чиновник Михаил Егорович Шабунин. Высокий и стройный, он был прекрасен с застывшей на устах улыбкой Байрона, а к столу занятого допросами обер-полицеймейстера подошел своей обычной походкой чистокровного кандибобера. Скрывать ему было нечего: разве не для славы он сделал то, что он сделал? Он искренне сожалел, что

несчастный Бочкарев опалил бороду и лицо. Он даже не понял предположения о политических мотивах его замысла. Он хотел, чтобы о нем узнали и заговорили, – и вот его знают и о нем говорят.

Следствие по его делу, столь сложному, заняло лишь одиннадцать месяцев. Ко дню его окончания интерес события потерял свою остроту. В иностранных дипломатических кругах пришли к убеждению, что преступление задумчивого чиновника не имеет прямого отношения к делу декабристов и что ожидать дворцового переворота нет достаточных оснований.

Следственная власть, эксперты и судьи оказались вполне на высоте задачи. Инспектор местных арсеналов генерал-лейтенант Козен, произведший экспертизу остатков бумажного бурачка, высказал авторитетно, что от прикосновения огня к веществу, коим был наполнен бурачок, взрыва строения последовать не могло, но в тесном и деревянном помещении, малопосещаемом, и в особенности по ночному времени, долговременное горение подобного предмета в его тесном соприкосновении с деревянными частями могло бы привести к пожару.

Первый департамент надворного уголовного суда в свою очередь признал, что положение бурачка между капитальными стенами каменного строения, притом в час, когда в комнатах помещения присутствуют люди, свидетельствует об отсутствии у обвиняемого зловредного намерения здание уничтожить.

Палата, куда дело перешло, определила поступок Михаила Егоровича Шабунина как шалость, однако весьма дерзкую по месту, избранному для ее совершения.

Сенат по пятому департаменту дал знать губернскому правлению и уголовной палате, что постановление палаты сим утверждается и должно быть приведено в исполнение.

Постановление же было: Егора Шабунина отправить в рекрутское правление для сдачи в солдаты.

Нет никаких сведений, – и не нам их выдумывать, – о том, как тянул солдатскую лямку бывший задумчивый чиновник Михаил Егорович в николаевские времена, когда смертной казни у нас, слава Богу, не было, но были шпицрутены.

Нет никаких сведений и о том, как отнеслась девица Катенька Проскудина к поступку человека, с которым она встретилась глазами впервые на лестнице. Но тут мы гораздо свободнее в предположениях и не можем не высказать надежды, что если бы была хоть искра любви в сердце девушки, –

то она разгорелась более ярким пламенем и привела к губительнейшему взрыву, чем бурачок, поставленный близ пожарной машины. В те года закончил Пушкин "Евгения Онегина" и уже начали молодые люди кутаться в плащ Чайльд-Гарольда. В те дни девушкам нравился чистый героизм, они ценили таинственную задумчивость лица и дерзость поступка. Не было нынешнего противного практицизма, которого ничем не проймешь, – хоть прыгай с высоты Эйфелевой башни, хоть отбей голову Венере Милосской или бросься под вагон метрополитена.

Пусть даже Катенька вышла замуж за чиновника с высоким положением; пусть она блистала в свете или рожала детей. Но нельзя себе представить, чтобы время от времени она не вспоминала молодого задумчивого чиновника, ради нее решившегося на величайшее кощунство – поджог Правительствующего Сената.

"ВНЕЗАПНО СГОРАЕМЫЕ ТЕЛА"

"Г-жа Ругон совершенно явственно видела теперь обнаженное тело, из которого поднимался маленький голубоватый огонек: легонький, колыхающийся с места на место, как пламя на поверхности зажженной пуншевой чаши. Мало-помалу он стал как будто укореняться и разгораться. Кожа растрескалась, и жир из-под нее начал вытапливаться.

Из груди Фелисите вырвался невольный крик:

– Макар!.. Макар!..

Он все еще не шевелился. Он, очевидно, напился до полной бесчувственности. Тем не менее он был жив: грудь его медленно и равномерно опускалась и подымалась..."

. . . .

"Дым стоял в воздухе мрачной, вонючей тучей... Что же сталось с самим Макаром? Перед стулом на вымощенном плитами полу образовалась целая лужа жиру. Рядом с нею виднелась небольшая куча пепла. Тут же лежала коротенькая черная трубка, даже не разбившаяся от падения. Весь дядя Макар был здесь, в этой щепотке мелкой золы, в рыжем облаке дыма, вылетавшего теперь сквозь открытое окно, и в слое сажи, выстилавшем всю кухню, мерзостной сажи, обволакивающей все, вонючей и жирной на ощупь".

. . . .

"Доктор Паскаль, к собственному своему изумлению, сказал:

– Мамаша, вы были в это время у Макара: в кухне осталась ваша перчатка. Отчего же, мамаша, вы его не потушили?

Г-жа Ругон-старшая побледнела, как смерть..."

* * *

Не знаю, как вы, а я, в юности моей, читал эти строки из "Доктора Паскаля" и неотрывно, и с великим ужасом. Сам доктор Паскаль считал недостаточно правдоподобной старинную теорию, допускавшую, что в человеческом теле, пропитанном спиртом, вырабатывается еще неизвестный химикам газ, который может загораться сам собою на воздухе и без остатка сжигать мясо и кости живого человека. Эмиль Золя уверяет, что раньше его дяди Макара точно так же сгорела жена башмачника, большая охотница выпить, и что от нее остались только кисть руки и стопа.

Роман "Доктор Паскаль" был написан в девяностых годах, значит, уже после того, как ученый Либих, по случаю процесса графини Герлиц, написал знаменитую книгу "О самосгорании человеческого тела" (1850 г.) и такую возможность отверг. По обыкновению, ученые лавры достались на долю европейца, а между тем по всей справедливости должны были достаться русскому ординарному академику Петрову, доказавшему обратное, но не собравшему достаточного материала для своей книги исключительно по малой понятливости земских исправников.

Так как читатель нынче пошел недоверчивый, то сошлемся прямо на папку дел управления гражданского штаб-доктора, стол 2, от 21 июня 1829 года, за номером 2099 и на циркуляр Министерства внутренних дел губернаторам, в данном случае ярославскому, от того же года, за номером 352. Не доверять таким документам было бы просто чудовищным и непатриотическим поведением.

* * *

"Ординарный академик императорской Академии наук Петров предоставил конференции сей Академии первые главы предполагаемого им к изданию сочинения под названием: "О многих событиях внезапного загорания и действительного сгорания тел живых людей, а особливо пристрастных винопийц, с положением вероятнейших причин сего дос-

топримечательнейшего и купно плачевного явления"; просить о доставлении ему официальных подробных сведений о всех приключениях сего рода, кои в государстве нашем происходили, дабы через то он мог получить некоторые пояснения по сему предмету, и чтобы врачебные управы и градские полиции в донесениях своих о событиях внезапного сгорания тел излагали:

год, месяц, день,

самое место события,

образ прошедшей жизни человека,

его звание и лета от роду,

повреждение горючих веществ, находившихся в одном месте со сгоревшим телом,

остатки оного,

очевидных свидетелей при самом начале событий и проч.,

а также, чтобы таковые сведения свидетельствуемы были, по объявлении, членами врачебных управ и полицейскими чиновниками и письменными донесениями доводимы были до сведения высшего своего начальства, в архиве которого оные могут надежнее сохраняться для какого-нибудь полезного употребления в свое время.

Вследствие таковаго ходатайства я поручаю Вашему Превосходительству предложить к точному и непременному выполнению всего вышеизложенного местам и лицам, до коих сие относиться будет.

Управл. Мин. внут. дел Ф. Енгель.

Испр. долж. ген.-штаб. д-ра С. Громов.

Генерал штаб-лекарь Д. Тарасов".

* * *

В кабинете господина губернатора. Полицеймейстер кончает свой доклад его превосходительству. Все благополучно, население благоденствует и благословляет предержащие власти.

– Так. А скажите, не поступало сведений о внезапном сгорании тел?

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Но скажите... э... как же так? Министерство нас запрашивает, а у нас сведений нет. Судя по циркуляру, случаи должны быть многочисленны.

Полицеймейстер смущен:

– Прикажу усилить наблюдение, ваше превосходительство.

– Да, пожалуйста. И чтобы в порядке всех вопросов циркуляра, понимаете. И год, и звание, и прошедшая жизнь, и остатки свидетелей, всё как в бумаге.

– Слушаюсь.

– Очень, очень на вас надеюсь. Вопрос важный и, некоторым образом, способствующий процветанию наук. Так что, уж пожалуйста.

* * *

Кабинет господина полицеймейстера. Сам за столом, а против стола смущенно топчутся трое приставов, брандмейстер, уездный исправник и неустрашимого вида партикулярная личность.

– Вы мне зубы не заговаривайте. Имеется приказ от министра, и никаких отговорок быть не может. Вот ты, например, какой ты есть брандмейстер, когда ничего не знаешь? Последний пожар когда был?

– Последний пожар, ваше высокоблагородие, был третьего дни.

– Что горело?

– Горели действительно амбары купца Еремеева, и мы, значит, тушили, так что все начисто и сгорело. А чтобы человеческих тел, этого, ваше высокоблагородие, не было, Бог не привел.

– Ну, а раньше? Были же случаи, горели люди?

– В запрошлом году был случай, да нестоящий, старая старуха сгорела, лет, почитай, девяносто. Ей все равно, она бы и так скончалась.

– Свидетели были?

– Какие же свидетели! Никто и не заметил, после нашли ее под горелыми бревнами, а так особо не занимались.

– А не могло, например, случиться, что сначала загорелась сама старуха, а потом от нее, от старухи, занялся и дом?

– Этого мы знать не можем, а только загорелось оттого, что девка угли на стружки вытрясла.

– А чтобы сам человек загорел, такого не было?

– Такого не знаем. Иной, пожалуй, загорит, если, например, у костра или у печки прожжет чего-нибудь, да из-за этого пожарную бочку не потребуют.

Полицеймейстер говорит неуверенно:

– Приказ вышел такой, чтобы доносить о пьяницах, кото-

рые пьяницы сами загорятся. А разве пьяный человек загорит?

– Пьяного, ваше высокоблагородие, Бог бережет. Трезвый человек пойдет что искать, искру заронит; а пьяному человеку огня не надобно, он и так знает.

– Ну ладно, ступайте все. Да чтобы в случае чего – донести немедля!

* * *

Ученый кабинет ординарного академика Петрова. Две главы сочинения "О многих событиях внезапного загорания" давно написаны, в коих общими чертами описано купно плачевное явление и сделаны все ученые выводы; дальше полагается дать живой и действительный материал, оные выводы подтверждающий, – а его-то и нет.

За восковой печатью пакет Академии наук. Доводится до сведения господина ординарного академика, что Академия наук извещена господином министром народного просвещения, получившим отношение господина министра внутренних дел о поступлении рапорта господина ярославского губернатора с препровождением донесения полицеймейстера о производстве дознания земским исправником в порядке исполнения циркуляра за номером 352 о нижеследующем:

"Маия 14 дня 1829 года ярославского пригорода в доме мещанки Пашкиной случился пожар от неизвестной причины, а именно: выбросило из печной трубы горячую сажу, при каком приключении сгорели сени и вся пристройка, самый же дом мещанки Пашкиной также сгорел дотла при участии прискакавшей пожарной команды. При настоящем приключении полученными обжогами лишился жизни младенец мужеска полу Митрий Пашкин, согласно приказа его превосходительства, в порядке нижеследующей последовательности, а именно:

Год, месяц, число. Маия 14 дня 1829.

Само место события. Там же.

Образ прошедшей жизни сгоревшего неизвестен.

Митрий, от роду лет два года шесть месяцев.

В одном месте со сгоревшим телом повреждено горючих веществ: крыша, окошек четыре, двери две, сарайчик, кровать выволочена потерпевшей, а также сундук с разным добром, которые и отобраны до следующего распоряжения.

При начале события очевидных свидетелей было: упомя-

нутый сгоревший младенец, мать какового бегала на базар.

Произведенным дознанием установлено: означенный младенец лишь по молодости водки и других напитков не соприкасался, мать же его, мещанка Пашкина, будучи вдовой, пила в праздники умеренно и в буйстве и прочем замечена не была, и ранее описанного случая пожара иных самозагораний живых тел не бывало, как то и подтверждено опросом соседей.

По производстве дознания помянутая мещанка Пашкина задержана при арестном доме впредь до распоряжения о причинах внезапного загорания, о каковом и доношу вашему высокоблагородию, земский исправник Тарас Тарасов. С подлинным верно, канцелярии ярославского полицеймейстера столоначальник Устюгов".

Приложения:

"На основании циркуляра за номером 352 сие донесение препровождается Его Превосходительству господину ярославскому губернатору, ярославский полицеймейстер Варнавский".

"Сим препровождается копия донесения по делу о внезапно возгораемых телах винопийц ярославского полицеймейстера, начальник канцелярии ярославского губернатора титулярный советник Огнивцев".

"Министерство внутренних дел настоящим отношением извещает Ваше Высокопревосходительство о получении нижеследующей справки для препровождения в Академию наук. Исправляющий должность ген.-штаб. доктора С. Громов скрепил столоначальник 2-го стола гражданского штаб-доктора кол. регистратор Шушин".

"Для справки: дело за номером 2099 о внезапно сгоревших телах винопийц по личному распоряжению господина министра внутренних дел".

* * *

Получив сию первую долгожданную справку, ординарный академик Петров приступил наконец к написанию третьей главы своего труда. Несмотря на все наши усилия, вышеозначенный труд нам не удалось найти ни в рукописи, ни в напечатанном виде.

ЛЮБИТЕЛЬ СМЕРТИ

Аполлон Андреевич, бывший сановник, а теперь просто человек на покое, вставал рано, в седьмом, и пил чай с булочками и разговором. Его собеседницей была старушка Манефа, из крепостных, не то нянька, не то домоправительница, а вернее – утренняя газета.

– Не слыхала чего?

– Как не слыхать, кончается.

– Вторую неделю он кончается!

– Ему не к спеху, а только нынче соборуют.

– А который в Полуэктовом?

– Тот тянет; доктора ездют.

Одевшись с тщательностью, Аполлон Андреевич выходил на прогулку и, если денек ясный, бодро напевал "Житейское море" и "Бога человекам невозможно видети". Выйдя из своего Николо-Песковского, шел по Арбату, потом Воздвиженкой, потом Остоженкой и возвращался бульварами на Арбат. По пути разглядывал знакомые вывески. Над пивной лавкой шипящая бутылка и надпись: "Эко пиво!!" Над музыкальной просто: "Фортепьянист и роялист". А над лавкой гробовщика под обычным красным сундуком (в те времена гробов не рисовали) изображено по-французски: "Кrapu", – чтобы и иностранцы знали, куда им при нужде обращаться. В эту лавку Аполлон Андреевич всегда заходил по пути за справками: кто, да где, да в котором часу вынос?

Так – в свободные дни; но свободных утр у него было немного, потому что хоронили главным образом по утрам, и ладно, если освободишься к обеденному часу. Когда выпадала удача провожать знакомого – Аполлон Андреевич отдавал этому занятию весь день, все рвение и все таланты, говорил, утешал, хлопотал, подпевал, бросал первый комок земли, обсуждал будущий памятник, иногда сам платил и всегда при выносе поддерживал гроб еще сильной рукой. Ел кутью на поминальном обеде, вечером подробно рассказывал обо всем старой Манефе. Но знакомые радовали не так часто, и потому приходилось разузнавать, кто при последнем дыхании, кого отсоборовали, с кого уже сняли мерку.

Сам столбовой дворянин, он не брезгал ни купеческим сословием, ни даже простым мастеровым. Узнав, что есть покойник по соседству, притом из простых людей, на расходы не способных, он просто забирал свою походную подушечку и являлся в дом. Если мужчина – помогал омыть тело, нарядить в приличный кафтан, уложить руки по уставу, бегал за свечами, нанимал попика и сам читал над покойным, только

на часок позволял себе ночью вздремнуть тут же, около гроба. Таких неустроенных в жизни и в смерти любил особенно, потому что им мог оказать помощь самую существенную, вплоть до надписи на кресте или недорогой каменной плите. И в этих надписях он был настоящим мастером, даже поэтом. Если родные на надпись соглашались, то не только следил за тщательным выполнением заказа, а сам и платил за работу – доброхотно и от чистого сердца, с большой деликатностью и скрытно, о том не разглашая.

Были надписи простые:

“Оставил горестных сирот, стремящихся продолжить род”;

“Жил для семьи – и о себе подумал”;

“Любя, вздохнул в останный раз!”

И были посложнее, якобы перекличка ушедшего с живыми:

“Паша, где ты? – Я здеся, Ваня! – А Катя? – Осталась в суетах!”

Были опыты проникновения в тайну потустороннего, но с непременной сдержанностью, как, например, в сочиненной им эпитафии булочнику с Арбата:

“Скажи, что есть там? – О, не могу, запрещено!”

А на плитке младенца он велел высечь:

“Не грусти, мамаша, цельный день летаю в качестве серафима”.

Дома Аполлон Андреевич записывал очередного покойника в книжечку в черном переплете с изображением мертвой головы, от которой во все стороны шло неистовое серебряное сияние; вписывал имя, а если знал – и все звания, затем день похорон, название кладбища, состояние погоды и текст эпитафии. Записав, ставил свою фамильную печать и расписывался всегда с одним и тем же, довольно замысловатым росчерком. В конце же листочка, для каждого отдельного, писал мелко-мелко буквы “Н. И. Ч. В. Т.”, что должно было означать: “Надеюсь иметь честь встретиться там”. Встретиться он желал со всеми равно – независимо от того, встречался ли с ними здесь при их жизни или познакомился только после их смерти. Занеся имя в эту книжку, переписывал его и в обычный маленький поминальник и дважды в год заказывал в церкви Николы на Песках панихиду по всем умершим, которых он имел случай провожать на кладбище и с которыми будет иметь честь встретиться в лучшем мире.

Могут подумать: вот мрачная личность, вот мизантроп! Совсем напрасно: человек добрейший, вполне уравновешенный и приятный в обращении! И поесть любил Аполлон Ан-

дреевич, и мог выпить, не слишком от других отставая, конечно, соответственно возрасту. И знал наизусть некоторые задорные и вольные стишки входившего тогда в моду поэта-арапчонка Александра Пушкина. Но больше всего любил заупокойную службу, ее прекрасные слова и волнующие душу мотивы. Имея средние музыкальные способности, подсаживался дома к клавесинам, брал аккорды и хрипловатым баском напевал: "Со святыми упокой" – и на словах "надгробное рыда-а-ние" растягивал "а" с дрожью в голосе, как бы прокатывая заоблачный гром по юдоли слез. Красота!

При большой общительности знакомых имел немного; возможно, конечно, что сам их отчасти отпугивал преувеличенным интересом к их здоровью.

– Чтой-то вы похудели, дорогой! Под ложечкой боли не чувствуете?

– Нет, ничего.

– У иных не заметишь. Так, ни с чего, начнет худеть, в лице бледность, легкое недомоганье, а через недельку волокут на Дорогомилово.

Дома говорил Манефе:

– Статского советника Пузырева встретил. Идет бодренький, а в лице что-то нездешнее. Человеку шестой десяток на второй половине, невелики года, а и моложе его, случается, помирают совсем неожиданно. Коробочку приготовила ли?

Одной из обязанностей Манефы было делать из старой бумаги коробочки с крышкой, и делала она это очень искусно, подмазывая где надо клейстером. В такие коробочки Аполлон Андреевич собирал и рядком укладывал на ватке дохлых мух, а потом хоронил их в саду, всегда в одном и том же месте, ряд за рядом, втыкая в могилку прутик, так как креста мухам, конечно, не полагалось. Близ мушиного кладбища была скамейка, и на ней Аполлон Андреевич любил сиживать на закате в хороший день, думая о грустном.

И вот случилось, что Аполлон Андреевич, при почтенном возрасте человек крепкий и здоровый, заболел серьезно. Была поздняя осень, дождливая, холодная, и надо думать, что он простудился, провожая к вечному упокоению незнакомого, но очень хорошего человека, соседа по улице. Вечером легкий жарок, не прошедший от малинового чаю, а к утру озноб и слабость необычные. Была принята касторка, пятки намазаны горчицей и ноги обуты в шерстяные чулки – и все-таки не легче. Был доктор, велел потеть, но как болезнь не проходила, то на третий день Аполлон Андреевич послал за

знакомым гробовщиком, тем самым, у которого на вывеске было написано: "Kгари".

С приходом его очень оживился: выпростал руки из-под одеял, потребовал бумаги и карандаш и занялся делом с привычной обстоятельностью:

– В длину пусти на четверть подоле, чтобы не стеснять, а главное, Прохор Петрович, вымеряй ты мне плечики. Я в плечах довольно широк, да присчитай подушку, чтобы плечи лежали на ней, дерева прямо не касаясь.

– Будьте покойны.

– Дерево поставь – лучший дуб, полированный, и чтобы без сучков, особенно на крышке. Лаком покроешь белым, ручки и ножки серебряные, под один штиль, а не как бывает, что ручки гладкие, а ножки с львиной лапой.

– Это когда по дешевке...

– Вот то-то. Потом сделай ты замок с ключом и пригони получше. Это уж моя прихоть, сам знаю зачем. Как запрете, ключик просуньте мне через малый прорез, поближе к рукам. Обязательно и ключ и весь замок серебряные, чтобы не ржавели. Деньги тебе вперед платятся, будь покоен.

– Это что же, мы знаем!

– Вот. И еще, Прохор Петрович, в головах на крышке одно оконце, да по бокам два других, и застекли со всей тщательностью; размер четыре вершка на три. И опять же стекла в серебряных рамочках без переплета. Понял ли?

– Будьте покойны.

– Буду покоен, если сделаешь все точно, как и говорю. Насчет покрова сказал: синей парчи с бахромой и кистями. Кисть ставь среднюю, большая зря тянет. Ладан, масло, всё чтобы первого сорта, от меня так и попу скажи: они иной раз такое принесут, что даже неприятно. Насчет свечей Манефа знает. А венчик, милый мой, имеется, ранее особо заказан. Теперь насчет панихид...

Часа два наставлял, а отпустив гробовщика – закаялся, потому что в болезненном состоянии забыл многое: на лестнице половичок черный с позументом, и чтобы полотнища чистоты белоснежной и самые крепкие, и в могилу опускать осторожно, не качая, бортов не задевая. И чтобы заказанную надпись золотом по мрамору выбивали сейчас же и представили рисунок самый точный:

– Великая будет обида, коли не успею посмотреть! Ошибку допустят либо поставят букву вкривь!

Никогда еще так не волновался Аполлон Андреевич, заказывая гроб и давая подробные указания; да и понятно: в первый раз хлопотал о себе!

Взволновавшись – основательно пропотел. Пропотевши – выздоровел.

– Видно, придется погодить, Манефа. А заказ не пропадет, заказ пригодится. Оно даже и лучше: все сам проверю основательно.

С тех пор появился у Аполлона Андреевича новый интерес: осматривать заготовленный для себя гроб, вводить некоторые изменения и поправки, дополнять упущенное из виду по болезни и спешке. Раза два в неделю заходил к гробовщику на склад, поглаживал лаковую поверхность крышки, щелкал ключом, приказывал смазать замок маслом да протереть тряпочкой все три оконца. К двум боковым придумал сделать занавесочки из легкого синего шелка, откидные, безо всяких складок; но верхнее оконце оставить свободным.

– А ручки, Прохор Петрович, как будто тускнеют?

– Того быть не может, Аполлон Андреевич, чистое серебро.

– Бывает, и серебро тускнеет. Ты в случае чего прикажи почистить тщательно. И ручки, и ножки. И если где на лаке трещина – заново покрыть.

По-прежнему бывая на похоронах – частенько самодовольно сравнивал... вот что значит спешка и малая заботливость! Неопытному глазу незаметно, а знающий не ошибется: и работа не так солидна, и в отделке небрежность, и нет настоящего штиля; гроб почтенный, дубовый, тяжелый, а ножки куриные – дольше месяца не выдержат.

* * *

Торопиться, конечно, некуда, и жизнь Аполлон Андреевич любил. Единственно – хотелось ему блеснуть на собственных похоронах предусмотрительностью и настоящим вкусом. Подмечая у других разные промахи, либо записывал для памяти на календаре, либо строго внушал Манефе, чтобы в случае чего понаблюдала, посторонним не очень доверяя.

Года три-четыре готовый гроб простоял без пользы. Но как все люди смертны, то наконец пригодилось и Аполлону Андреевичу с такой любовью отстроенное и украшенное новое жилище.

На этот раз ошибки не вышло: подкатила болезнь тяжкая и для старика роковая. Это он понял сразу и радовался, что еще в здоровом состоянии успел подготовить все до мелочей, так что и заботиться больше не о чем. Обмоет Манефа, отпевать будет отец Гавриил от Николы-на-Песках, место давно

куплено, памятник готов – и в надписи ни единой ошибки, а буквы стоят прямо.

За два дня до смерти послал напоминание гробовщику: держать гроб в чистоте и готовности, чтобы в углах не было пыли и стекла протерты. В последний раз заметил: как будто левая передняя ножка не то чтобы покривилась, а у гвоздика шляпка непрочна – так чтобы подправили.

И заснул навеки, с улыбкой и уверенностью, что все будет в порядке; в последнюю минуту по его лицу пробежала тень озабоченности: вот только бы дождя не случилось. Покосился потухающим взором на окно, – за окном сияло солнце, – и испустил дух спокойно.

И действительно, погода не подгадила Аполлону Андреевичу. Утром еще был легкий туман, но к точно указанному часу солнце засияло полностью, ручки и ножки гроба ярко заблестели; опустили его на чистых ярко-белых полотнищах, бортов ямы не задевши, – а уж что увидал он в свое окошечко и когда увидал, сейчас ли или много позже, – про то мы не знаем и допытываться не решаемся.

СТОЙКИЙ ДВОРЯНИН РАСЧЕТОВ

Однажды мы беседовали о проживавшем некогда в Москве "любителе смерти", состоятельном барине, являвшемся на все похороны, а бедняков хоронившем на свой счет. Для себя он заказал поистине образцовый гроб с материалом и отделкой, на всякий случай даже с окошечком, и любовно его хранил и холил до дня своей смерти.

Был в Москве и еще любитель похорон, по фамилии Доможиров, фигура историческая. Впрочем, он не ограничивался присутствием на похоронах, а вообще проявлял себя во всех случаях многолюдных церковных церемоний. Он был настолько неизбежен и настолько полезен, так умел всем распоряжаться, что его слушались и духовенство и полиция. Был ли то крестный ход, или водосвятие, или парадная свадьба, или проводы известного в городе лица в последнее жилище – первым являлся на место Доможиров, высокий пожилой человек в синем казакине, с саблей в металлических ножнах, с волосами, зачесанными назад и завязанными в пучок. Он становился на видном месте, или в самом храме, или перед ним, кратко и деловито отдавал приказания, указывал места и публике, и полицейским чинам, и родственникам покойников или брачащихся, давал знак для начала шествия,

внимательно следил, чтобы не нарушался порядок и все было бы торжественно и благопристойно.

Никакого официального поста он никогда не занимал, был рядовым московским обывателем, и никто не был обязан его слушаться, – но все слушались и безропотно подчинялись его распоряжениям, всегда очень толковым. Он был, так сказать, некоронованным обер-полицеймейстером и держал власть с радостного дня ухода французов из опустошенной Москвы – до того печального дня, когда уже другое лицо распоряжалось на его собственных похоронах, очень скромных, в 1827 году. И нет сомнения, что на этих похоронах уже не было того образцового порядка и благочиния, которыми отличались религиозные ритуалы при его участии и руководстве.

Ни в чьей памяти не осталось биографии Доможирова; только в одном историческом журнале нам попалась заметка – чье-то воспоминание, приведенное историком, высказавшим, по-видимому, правильную мысль, что Доможиров проявил свой талант раньше, чем в Москве организовалась новая полиция, да так и остался в качестве признанной общественной необходимости. Подумать только: какой блестящий исторический материал для добросовестного юриста, занятого вопросами об источниках субъективного права!

Любопытно, что оба упомянутые нами добровольца ограничивали свои общественные склонности религиозно-обрядовой строгой жизнью, были людьми верующими и убежденными церковниками, при полнейшем личном бескорыстии. При некоторой доле фанатизма они были оба поэтами, один – красоты исчезновения, другой – прелести земного порядка. Но те же обывательские легенды отмеченные архивами и устными преданиями, дают нам и образ корыстного боголюбца, заключавшего с предметом своего культа довольно оригинальные договоры.

Таков был, например, дворянин Пал Палыч Расчетов, которого полнозвучно, Павлом Павловичем, никто не звал, а уж фамилия ему, ясное дело, была ниспослана свыше по его качествам. Он был тоже москвич, но эпохи несколько более поздней. Первые известия о нем мы имеем в связи со знаменитой холерной эпидемией 1831 года, когда страшная болезнь яростью нападения напомнила столице о Наполеоновом вторжении. Кто мог – бежал, кто не мог – умирал на улице; был народный бунт, были жертвы человеческого озлобленного отчаяния, сверкали пятки убежавшей от греха власти, заваливались кладбища трупами, была Москва при смерти, пособоровалась – и выжила.

В частности, то же самое случилось и с Пал Палычем Расчетовым, заболевшим в числе первых. А и поел-то он всего-навсего кислой капусты, которую, как человек истинно русский, любил до страсти покушать и в пост, и в скоромный день. Уж, кажется, от такого простого кушанья не должно бы ничего случиться с человеком, не забывшим перед обедом перекреститься! Капусту Пал Палыч любил поесть в качестве как бы особого блюда, и притом "с холодком", с ледяными иголочками, как приносят ее из хорошо льдом набитого погреба. Имевшим счастье пробовать ее в этом виде тщетно рассказывать об ее преимуществах, потому что они, конечно, знают, какой особый, несравнимый и неизъяснимый вкус придают ледяные иголочки ее натуральной прелести. И хотя на этот раз Пал Палыч ограничился одной глубокой тарелкой, якобы в преддверии жареной курицы, – но через два часа уже лежал пластом с таким ощущением, будто ноги его, от самых бедер до кончиков пальцев, были набиты мороженой капустой.

По тем временам медицина была, если это возможно, слабее нынешней, но еще не было, к счастью, всеобещающих патентованных лекарств, а рядовые обыватели старались в случаях особо опасных обходиться своими средствами. Сам Пал Палыч, почувствовав приступ ужасной болезни, успел отдать распоряжение, чтобы во всех комнатах затеплили перед иконами лампадки, у него же в спальне сверх того зажгли свечу перед ликом святого Николы Мирликийского, коему и дал обет, в случае счастливого выздоровления, спутешествовать пешком на богомолье. Это ли помогло или горячие бутылки, но в то время как несколько соседей Пал Палыча умерло в страшных мучениях, ему суждено было выжить, выполнить данный обет и много раз впоследствии убедиться в чрезвычайной выгодности добросовестно выполнять обязательства, принимаемые на себя при подобного рода соглашениях.

Итак, оправившись от болезни и выждав лета, Пал Палыч предпринял далекое путешествие в Николорадовицкий монастырь, что на Оке: кстати, там у него было поблизости небольшое имение, куда он наведывался весьма редко, так как дохода оно не приносило. Использовав поездку, он это имение продал, чем окупил расходы по поездке и по покупке полупудовой свечи Николе Мирликийскому, так сказать – сверх договора, в чаянии благ будущих. Затеплив перед иконою эту свечу, он рядом с ней положил написанное им на всякий случай на гербовой бумаге нижеследующее обещание:

“Святитель Никола, накажи, порази меня чем тебе будет угодно, если я в продолжение всей своей жизни стану когда-нибудь лечиться у докторов от каких бы то ни было приключившихся недугов, в чем и подписуюсь дворянин Павел Павлов сын Расчетов”.

Этот обет Пал Палыч действительно выполнил; умер же он, как известно, подавившись бараньей косточкой, которая сама не выскочила, докторам же он вынимать ее не позволил. Впрочем, к тому времени он был уже достаточно старым.

При всей своей богобоязненности Пал Палыч был известен как страстный картежник. Как все игроки, он то выигрывал, то проигрывал, пока и в этом деле не прибег к испытанному средству. Рассказывала его экономка (он не был женат), что однажды, отправляясь в клуб, он целый час провел в молитве, кладя земные поклоны; по женскому любопытству, экономка подслушивала у двери и услыхала, как он со всем жаром убеждал своего покровителя Николу, спасшего его от холеры, помочь ему выиграть в карты. Он указывал ему, что в то время как другим людям хочется выиграть для того, чтобы потом эти деньги прокутить, он, Пал Палыч, обратит выигрыш на дела нужнейшие. Прежде всего, он заплатит проценты по закладной, если, конечно, нельзя сразу устроить так, чтобы вообще целиком уплатить долг и выкупить подмосковную деревушку начисто. В последнем случае он готов весь возможный остаток выигранной суммы пожертвовать на воспитательный дом. Однако, вовремя спохватившись, он изменил предложение и, как мы после увидим, сделал это весьма предусмотрительно. Он торжественно и в самых убедительных выражениях принес обещание, что лучше всего он даст на благотворительные дела ровнехонько десять процентов суммы, выигранной сверх насущно ему необходимой для приведения своих дел в полнейший порядок, причем, как добросовестный человек и делец, тут же эту сумму приблизительно вычислил и назвал. Сверх десяти процентов он обещал разного рода не очень ценные, но все же соблазнительные подарки, как неугасимую лампаду в одной из церквей на Арбате, кисейный покров на паникадило, столько-то и таких-то свечей и еще разные мелочи. Все это – при выигрыше не менее указанной суммы. В случае выигрышей менее значительных он предложил пока процентов от трех до пяти, так как деньги ему могут понадобиться на продолжение игры в тех же целях последней и окончательной победы, главным образом над купцом Бандаулиным, который будет сегодня в клубе и который вообще склонен в игре зарываться. Слушая его громкие причитания, экономка сначала думала, что

он разговаривает с каким-то подлинным собеседником, так как уж очень обстоятельно он все это излагал; и только тогда поняла, в чем дело, когда донеслись до ее слуха весьма звучные удары лбом о крашеный пол, а порою и жалобные всхлипывания.

Молитва такого обстоятельного и аккуратного в делах человека не могла быть недоходчивой куда следует. В тот же вечер, или, точнее, в ту же ночь Пал Палыч, очевидно рискнувший на игру крупную, выиграл очень большую сумму, превысившую все его ожидания и надежды. У каждого записного игрока бывает в жизни его день – нужно только этот день угадать. Пал Палыч его угадал, – если, конечно, в этом деле не было действительно помощи соблазненной обещаниями высшей силы, что экономка склонна была признать, но люди просвещенные сочли бы кощунством. Одним словом, в скором времени Пал Палыч Расчетов не только выкупил свою подмосковную, но округлил владения приобретением соседней рощицы и довольно обширного покоса и даже устроил конский завод. Об этом его выигрыше говорили в Москве и жертвой его называли именно купца Бандаулина, впрочем, настолько богатого, что у него осталось достаточно и на дальнейшие карточные подвиги. О том, как в те времена играли, досужий человек может прочитать хотя бы в превосходных бытовых очерках Пыляева. Случай Пал Палыча был сравнительно не таким уж выдающимся событием.

Нужно ли говорить, что все свои тайно, без наличных свидетелей (про экономку он не знал) данные обязательства Пал Палыч выполнил неукоснительно и безо всяких фокусов – строго все высчитал на бумажке и отчислил причитавшийся с него куртаж, добавив и сверх того обещанное. В этом отношении на него можно было вполне положиться. Но всего замечательнее (есть же такие люди!), что с той поры Пал Палыча больше в клубе не видали, и общая судьба более легкомысленных игроков его не постигла. Жизнь свою он окончил человеком не только вполне обеспеченным, но и уважаемым за добродетельные его дела. И всякий знал, что ни одного дела Пал Палыч не начинает, не перекрестившись трижды, а в важных случаях не положив и земной поклон. Конечно, не он один так поступал, но далеко не всем это помогало без промаха, должно быть, потому, что не все имели его кредит исполнительного в договорах контрагента.

И все-таки через ту же болтливую экономку стало москвичам известно, что были случаи, когда Пал Палычу сделки не удавались. Такой случай был будто бы с приплодом от какой-то породистой кобылы, каковой приплод был им исходатай-

ствован обычным способом. Дело было, по-видимому, верным, и если жеребенок оказался непредусмотренной масти и породы неблагородной, то это могло быть объяснено либо недосмотром, либо чистым жульничеством конюха. Однако Пал Палыч, как рассказывают, был настолько огорчен и оскорблен в лучших чувствах, что лично загасил и приказал три дня не возжигать лампадки, обычно горевшей в его спальне. Суеверно, конечно, но по-человечеству понятно: сам в делах аккуратный, он имел право требовать того же и от тех, с кем имел постоянные коммерческие отношения. Во всяком случае, в таком деле, как конский завод, чудеса недопустимы.

Как выше сказано, дворянин Расчетов помер от бараньей косточки, случайно проглоченной и неудачно застрявшей в пищеводе. Нам не удалось установить подробностей этого рокового события, тем более что его экономка ушла в тот мир на несколько лет раньше его. Но самый отказ от врачебной помощи, даже в таком критическом случае, лишь еще ярче подчеркивает чисто деловую стойкость человека, не способного изменить раз данному слову. Если мы позволили себе занять внимание читателя изложением этой краткой биографии московского обывателя прошлого века, то именно имея в виду полное исчезновение в наши дни людей, на слово которых можно положиться без всякого раздумья действительно как на каменную гору.

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ

Совершенно необъяснимым образом в Петербурге, в 1830 году, в довольно обширной спальне с еще не убранной постелью стоит Наполеон Бонапарт в костюме прародителя Адама и готовится к прыжку. Вполне отчетливым русским языком он отдает последние распоряжения камердинеру из крепостных:

– Как держишь? Уморить меня хочешь? Левый рукав как держишь? (Следуют чисто русские эпитеты.) Держи обе ручки наотлет, хвост подыми выше! Готовь-сь!

Затем Наполеон мелким крестиком закрещивает волосатую грудь, слегка наклоняется, простирает руки вперед, делает три прыжка – и замирает перед самой рубашкой.

– Отставить!

Он, собственно, мог бы впрыгнуть разом в ворот и рукава, но, по вернейшим приметам, с первого раза делать этого не следует. Повернувшись по-военному, через левое плечо, он

снова отходит на надлежащее расстояние, становится в позу, крестится и нацеливается. Тот же преднамеренный промах и по второму разу. И лишь на третий раз, запыхавшись от почти шестидесятилетней грузности и юношеских усилий, Наполеон единым махом, едва не выбив с позиции камердинера, с разбега заскакивает в распростертую перед ним сорочку, застегивает верхнюю пуговицу и на этот раз истово крестится на икону с неугасимой лампадой, шепча слова: "Яко сподобил мя еси..."

Остальная часть туалета менее сложна, вплоть до последней пуговицы генеральского мундира и слегка ниспадающей челки волос. Поразительное сходство с Наполеоном, составляющее и некоторую гордость, и предмет забот генерала, постепенно теряется, и теперь всякий петербуржец признает, что перед ним главный директор Пажеского и кадетских корпусов, Царскосельского лицея и военных училищ, генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов.

Генерал не сразу выезжает по служебным делам. В полной парадной форме он сначала занимается делами домашними. По его указанию слуги выпускают из клетки петуха, всегда живущего в спальне генерала для отогнания домового. Пока петух совершает прогулку, в клетку подсыпается новый корм, меняется в чашке вода, выметается нечисть, проверяется прочность жердочки, на которой петух проводит свои дни и ночи. В дни праздничные к петуху на короткое время приводится курочка, по возможности одна и та же, чтобы не потакать чрезвычайно распространенному в птичьем царстве пороку многоженства; пока петух общается с себе подобной, его превосходительство, отвернувшись, читает по требнику молитву на благословение нового кладезя: "Отъими от нее всякую горесть и слабость и бесчадство, и благослови и освятию, услади же и благочадну сотвори". По водворении петуха обратно в клетку генерал переходит в свою образную, наполненную множеством икон, размещенных ярусами. Здесь он остается один минут на десять помолиться, но земных поклонов, по случаю узких обтяжных штанов, не делает, оставляя их до вечернего перед сном стояния. Прочитав молитвы нужнейшие и применительные к предстоящим дневным заботам, он прикладывается к иконам нижним, а некоторым из верхних, излюбленным, посылает ручкой воздушный поцелуй.

Петербургская квартира генерала Демидова далеко не так приспособлена к жизни, как его собственный дом в Москве на Басманной. Там и образная богаче, так что можно справлять в ней торжественные службы. Там весь дом полон благо-

сти и отлично защищен от нечистой силы, над каждой дверью прибита найденная генералом или кем-нибудь из его близких подкова, многажды закрещен всякий темный уголок, размножены на счастье черные тараканы, в генераловом кабинете лично им убит на стене ударом лба паук для прощения сорока важнейших грехов. Раз в году генералу удается побывать в Москве и запастись уверенностью, что осторожного человека дьявол никогда не обойдет; в ту же поездку старый барин вызывает на Москву старосту и приказчика из своего имения на суд, расправу и для надлежащих распоряжений.

Но и в Петербурге возможна осторожность – в сей полной греха столице, где начальника ненавидят и стараются подвести не только подчиненные, но и каждый воспитанник столь многих вверенных ему учебных заведений. Явившись в Кадетский корпус, он собирает сначала воспитателей, которых опрашивает не только о делах учебных, но и о личной жизни каждого из них: аккуратно ли посещают храм, не грешат ли скоромным по средам и пятницам, не оскверняют ли кануна больших праздников шутками с собственной женой, не говоря уже о женах ближнего. Замучив подчиненных, генерал вступает в беседу с кадетами, вернее – произносит им нескончаемо длинные речи на темы религиозные и нравственные, выдерживая мальчиков часами на ногах, руки по швам, глаза устремлены на высокое начальство.

Но если день и час приезда генерала Демидова известны заранее, то иной раз мальчикам удается отклонить честь его посещения хитроумным способом. У самых ворот училища, а также у крыльца, на крыльце, на пороге – где только можно – раскладываются палочки крестиком, а то и просто делается крестик мелом. Достаточно генералу увидать такую случайную или нарочную помету, как он хватает кучера за ворот, а если едет в карете – стучит тростью в стекло:

– Стой! Назад!

Так же точно возвращается, уже занеся ногу на ступени крыльца или вступивши на порог: никогда не перешагнет Иван Николаевич крестика и не продолжит пути, если увидал его начерченным на стене. Из многих примет крест на дороге – одна из худших. Лучше потерять день, чем рисковать.

Но есть еще одна примета, из худших худшая, сулящая человеку немедленную беду. Кошка перебежит дорогу – обойдется; даже если заяц перебежит – поправимо; но встретить попа и не принять мер – раскаешься, да будет поздно.

Кучеру на этот счет даны все указания: если вдали заметит какого, хотя бы самого захудалого и затрапезного батю, –

спешно воротить оглобли и делать объезд. И в то же время общий приказ кучерам – гнать вовсю, по-генеральски, а не как катаются простые обыватели. Немудрено, что случаются с кучерами крупные неудачи.

Нынче у генерала полный день забот: утром прием во дворце, где должна быть и встреча с персоной важной и самонужнейшей, от каковой встречи зависит очень многое. Вечером карточная игра, до которой Николай Иванович большой охотник, но только не любит проигрывать. Выходя из дому, помолился с особым усердием, воспев тропарь на глас осьмый и кондак на глас вторый святым бессребреникам: "Посетите немощи наши, туне приясте, туне дадите нам... вашим посещением ратников дерзости низложите", – ибо играть ему сегодня придется с людьми военными, от которых пощады не жди. Хорошо не проиграть, еще лучше бы выиграть... "Сирым заступниче, нищим кормителю, ум мой озари, сердце просвети...", бывают же такие случаи, что человек угадывает карту... "Глухому и гугнивому древле слух и язык отверзи...", а уж я, раб окаянный, обещаю по возвращении домой затеплить самую большую лампаду и положить двадцать поклонов земных, пастырю прещедрый, труждающихся помоще, недогадливых наставниче... "Благоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни".

Все в порядке, все приметы наилучшие, и только кучер Акакий, взяв с места рысью, проехал улицу и завернул за угол, – как едва не сшиб переходившего дорогу почтенного священнослужителя.

Тут уж ни о каком объезде и думать нельзя! Даже сам Акакий, не дожидаясь баринова окрика, так затягивает вожжи, что едва не ставит коренника на дыбы.

– Эй, батюшка!

Напуганный иерей останавливается. Из кареты вылезает генерал в полной форме и орденах, спешит к священнику, снимает головной убор и принимает благословение:

– Прошу пожаловать в мою карету!

– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство...

– Прошу пожаловать в карету! Имею до вас спешное дело, помощь срочная погибающей душе.

Никакие отговорки невозможны, да и слишком батюшка ошарашен блеском орденов и генеральского выезда. Акакий заворачивает лошадей и летит домой. Батюшку спешно извлекают из кареты, и сам генерал ведет его в покои. Здесь с поклоном приглашает его в образную, сам быстро выходит и запирает дверь на ключ. Прислуге известно, что ни на какие

окрики и вопросы арестованного священника отвечать нельзя, что только сам генерал может его освободить.

С облегченным сердцем Николай Иванович садится в карету и отправляется в путь. Устранена величайшая опасность, и хотя бывают с попами неприятности, но иного верного способа нет.

Всем духовным лицам окрестных приходов известны повадки генерала, и стоит показаться на улице его карете с бородатым Акакием на козлах, как случайные попики рассыпаются во все стороны и стараются скрыться в подъезде или в воротах ближайшего дома. Но иные, по незнанию, попадаются и терпят великий страх. Жаловаться на генерала не решаются – слишком важная персона. Иной просидит под арестом до позднего вечера, и счастье, если генерал возвращается с выигрышем: тогда за потраченное иереем время он уплачивает по умеренной таксе, а то и приглашает назавтра отслужить благодарственный молебен. В случае проигрыша или каких деловых неприятностей, вызванных, несомненно, роковой встречей с попом, виновного выводят из дому и отпускают с напутствием вперед быть осторожнее и лучше всего помалкивать про это происшествие.

Закончив суетный и утомительный день, Николай Иванович готовится отойти к мирному сну. Раздевшись с помощью камердинера, облекается в теплый шлафрок и, подложив под колена подушечку, кладет установленное число земных поклонов в образной: "Не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших".

Покинув образную, входит в свою спальню с робостью, всю надежду возлагая на спящего петуха. Прежде чем лечь, закрещивает одеяло, под одеялом, подушки и под подушками, четыре стены, потолок и пол. По немощности покряхтывает, но, спохватившись, мужественным и громким голосом трижды повторяет: "С нами Бог!" – чтобы случайно проникшая в его спальный покой нечистая сила не подумала, что имеет дело со слабым стариком. Свечку задувает только тогда, когда все щелки в одеялах и простынях заткнуты и подоткнуты – некому и некуда подлезть. Дважды в ночь будит его петух неистовым "кукуреку", но для генерала это – приятная и привычная музыка.

Если бы знал он, какая суета бывает по ночам в его спальной комнате! Едва сон смыкает его очи, как изо всех углов выползают нечистики, чертики, чертяки и чертыхашки, с красными рожками и зеленым пузиком, с загнутыми хвостами, а на конце как бы рыболовный крючок. Они ползают по

стенам, по полу, по генеральскому одеялу, ищут щелочку, особенно в ногах, чтобы пощекотать генеральскую пятку или свести его ногу судорогой. К самой щеке спящего подбирается нагая прелестница, рыжая и горбатенькая, и дует ему в ноздрю, отчего нос генерала свистит. На ночном столике три старых черта играют в фараон и банк, загибают карту мирандолем, бьют друг друга по длинным носам подтасованными колодами, а разыгрывают ни больше ни меньше как генеральскую душу. Когда поет петух, не забывающий счета времени, – вся эта нечисть на время исчезает, потом осторожно выползает снова и предается своим ночным забавам. К утру бледнеет, прозрачнеет, делается вялой – и исчезает, ничего не добившись от хоть и старого, но бравого начальника Пажеского и кадетских корпусов, главного воспитателя молодых поколений николаевской России.

СТРАШНАЯ ГОСТЬЯ

Лета одна тысяча восемьсот тридцать первого в середине месяцы пошла походом на город Санкт-Петербург безумная женщина, с дыханием смрадным, с цепкими пальцами, без жалости и сострадания, страшная именем – Холера. Путь ее ведом, полки ее невидимы. Прошлым летом она гуляла в низовых губерниях, осенью пировала в Москве, а к новой весне кольцом окружила северную столицу, ожидая вскрытия Невы и легкой переправы.

Что гостья придет – сомневаться было трудно; но раньше смерти не умрешь, и к ее приходу никто не готовился. Только умнющий купец Василий Иванович Пивоваров заранее скупил по дешевке все деревянное масло, какое было в привозе, правильно сосчитав, что, как начнет смерть косить православных, – у всех образов затеплятся лампадки. И не ошибся!

Вперед себя беспощадная ведьма послала девушку-красотку, теплую и благодатную весну. Вскрылась Нева, сады и острова зазеленели, запели в них соловьи – и люди заулыбались: давно не было такой прелести природы и такого легкого духа! И май наступил, и май прошел – ничего дурного не случилось. Только в последние дни месяца прибыла на Калашникову пристань барка из Вытегры, и на той барке схватило живот судорабочему; но ничего – вылечился.

За весной – лето. В половине июня начался зной совсем необыкновенный. Ветров нет, солнце, как раскаленная желез-

ная печка, дали в тумане, а безоблачное небо из голубого стало зеленым.

Под зеленым небом душа человечья тоскует – чует гибель тела. Есть примета, что в холерный год ни мухи, ни ласточки не летают и лягушки не квакают. В ночь на семнадцатое число, взвалив на плечо острую косу, ввалилась безносая старуха в город.

В Рожественской части малевал вывеску над булочной пожилой человек. Краска сохла быстро: в тени 25 градусов, на солнце не сосчитаешь. В самый полдень маляр выпил тепловатой водицы для освеженья, к ночи помер в жестоких судорогах и с холодными ногами, не успев получить полного расчета за работу. Булочник, человек честный, отправился в тот же день для расчета с маляром на тот свет.

Об этом случае рассказал в трактире бильярдный маркер Половинкин – маляров сосед по квартире. Назавтра лежал на столе и маркер. На послезавтра заболело сорок восемь человек, умерла половина.

И тогда, дальше не скрываясь, стала старуха гулять по улицам открыто, заходить в дома, выбирая потеснее и победнее, но не минуя и богатых. Померли в несколько часов княгиня Куракина и графиня Завадовская; померли профессоры Щеглов и Рогов; померли Ланжерон и Костенецкий, герои Отечественной войны, не взятые пулей; померли актер Рязанцев и славный книгопродавец Глазунов.

Больных лечили мушками, горчичниками, микстурами, кровопусканьем – всем, от чего делается хуже. И как русский человек ни силен – выдерживали немногие. Кто помирал в своей постели с удобством и в окружении родственников, а кто прямо на улице, до дому не дойдя. А солнце жгло, небо было зелено, и в воздухе недвижно стоял дымный туман – вокруг Питера горели леса.

И был особый Комитет. И были особые больницы и особые холерные кладбища. И были расклеены на улицах и напечатаны в газетах мудрые приказы:

"Запрещается пить воду, пиво и молодой квас".

"Запрещается после сна выходить на улицу".

"Запрещается предаваться гневу, страху, утомлению, унынию и беспокойству духа".

"Запрещается жить в жилищах тесных, нечистых и сырых".

Исполнять такие приказы было нелегко. В страхе и унынии выходили после сна из тесных и нечистых квартир, а для бодрости пили молодой квас.

И вышли еще два приказа.

По полиции приказ нижним чинам: вывозить из домов больных в больницы, а на улицах забирать каждого, кто лежит, сидит или стоя шатается.

Приказ высочайший: умерших впредь хоронить не днем, а ночью.

И потянулись ночные обозы с факелами в сторону кладбища: без попов, без провожатых, гробы на гробах поленницей, едва тащит лошадь, близко подходить нельзя, плакать некому.

Середь кладбища в белой палатке батюшка и дьякон. Как приедет обоз и начнут сбрасывать гробы в общую яму, заливая известкой, – дьякон кадит не глядя, а батюшка закрещивает трепетно издали, шепча губами: "Их же имена Ты, Господи, веси!" Особого смрада нет: хоронят свеженьких, и всякий запах заглушен дымом от лесных пожаров, стелющихся и над городом, и по земле.

Так, имени не возгласив, свалили в яму и умнющего купца Василия Ивановича Пивоварова, отлично нажившегося на деревянном масле.

* * *

Помогает против моровой болезни клюквенный морс, а также слабый водный раствор соляной кислоты, – если пить постоянно, как пить захочется. Однако желудок, привыкший к напиткам покрепче, предпочитает водку, исцеляющую даже и от тоски. Слесарь Степан Морковкин выпивал и раньше по дням воскресным и царским праздникам; ныне же, опасаясь моровой болезни, выпил лишка в будни. И хотя солнце склонилось, но жар и духота были нестерпимы, почему Морковкин, оступившись о панель, решил не сразу подниматься, а передохнуть, лежа у заборчика.

Он бы, конечно, поспешил домой, если бы знал, что днем, пока он был на работе, заболела его жена и, усердием соседей, полиция немедленно увезла ее в больницу. Будь он дома – нипочем бы не выдал молодой жены, отстоял бы ее грудью. Были такие случаи, и люди помоложе и посильнее дрались с полицейскими, отстаивая родных. Но Степан ни о чем не знал, а лежал себе у заборчика, ожидая, когда ноги прикажут: "Ну, Степан, идем дальше!" – "А если я не желаю?" – "А не желаешь – полежи еще покойно". Так он сам с собой и беседовал, никому не мешая: "Мне ндравится – я и лежу! А хочу – встал и пошел!"

И вот тут случилось, что остановилась проезжавшая по улице полицейская фура, соскочили с нее люди в балахонах,

подбежали к Степану и стали его подымать. Степан брыкался, говорил, что нет в нем никакой болезни, а совсем напротив – отлично здоров, хотя, конечно, сильно выпивши по полному своему праву; однако ему не поверили, – потому что – кто же сознается в болезни! И трое крепких мужиков утащили и уложили Степана в больничную фуру, где в муках корчились другие, подобранные на улице. Погрузив, доставили в больницу и, за неимением свободных коек, уложили на полу в коридоре до прихода докторов.

В борьбе ослабев, а от больничной духоты и вони совсем сморившись, заснул Степан мирным и целящим сном, как не раз случалось в участках. И не видал, как по коридору серой тенью прошла безносая старуха, кому придавив горло костлявой стопой, кого поколов косою, но мимо пьяного слесаря она прошла с усмешкой, его не задевши: пьяному человеку всяческое уважение.

Часа через два Степан проснулся, привстал, огляделся – и понял, что попал куда не следовало. Сразу отрезвел и сообразил, что надобно уносить ноги, пока жив. Надзора не было, и он, шагая через стонавших людей и через трупы, ринулся к одной двери – заперто, к другой – тоже, пока не выбрался в какую-то палату, где на столах и на полу лежали раздетые люди, мужчины и женщины без разбора. Одну комнату пробежал в страхе – в другой то же самое. Поняв, что попал в мертвецкую, решил Степан утекать через открытое окно. У самого окна стоял стол, на столе лежал труп, и едва Степан занес ногу, чтобы через тот стол влезть к окну, как замер в ужасе и удивлении: в лежавшей женщине он признал свою молодую жену, которую днем оставил дома здоровехонькой.

Всякое может быть сходство, – но не может быть у двух женщин, друг на дружку лицом похожих, одинакового родимого пятна под левой грудью и такого же, тоже в полушку, вершком пониже.

Комната освещалась двумя фонарями, и в окно еще проникал последний свет... Пока Степан смотрел в страхе и полубеспамятстве на труп женщины, случилось самое страшное, отчего легко было совсем решиться разума: Степанова жена пошевелила рукой, потом открыла глаза, увидала мужа и слабым голосом сказала: "Испить бы, Степан!"

Сбежались люди на крик: сторожа, сиделки, сам доктор. Степан бранился последними словами, полез на доктора в кулаки, едва могли удержать его – убил бы на месте. Доктор Земан, сам перепуганный, велел тащить женщину назад в больничную палату, а Степану пришлось связать руки. Пыта-

лись уговорить мужа ласковыми словами, принесли ему выпить шкалик водки для подкрепленья чувств – Степан пить не стал и от жены не отходил ни на шаг. Велел доктор пустить больной женщине кровь, и, как ни рвался Степан, – пустили, и тогда ожившая Степанова жена благополучно скончалась, на этот раз навсегда.

После чего, позвав полицейских, не без труда и скандала вытолкали обезумевшего слесаря на улицу, потому что в заразном бараке не полагается быть посторонним, о чем предписано наистрожайше.

* * *

Было это 23 июня вечером. 24 июня перед полуднем осадила толпа мещан и рабочей бедноты Таировский дом, где помещалась холерная больница. В толпе были женщины, старые и молодые, мужчины с дубинами, молотками и кухонными ножами, а во главе всей толпы стоял и отдавал приказы слесарь Степан Морковкин, человек не в себе, кричавший хрипло, орудовавший тяжелой полосой железа с зазубринами. Опрокинули полицейских, повалили больничных сторожей, выломали двери, ворвались в палаты и мертвецкую, и напрасно главный доктор Земан, коллежский советник, вышел убеждать народ медицинскими словами. На нем первом обновил слесарь свою железную палицу, а остальные докончили иноземного доктора Тарони и другого ординатора – надворного советника Молитора, – все трое с иноземными именами: не иначе как от них и пошла болезнь! Разнесли вдребезги и осколки аптеку, поломали сколько можно столов, шкапов, дверей и окон, повыбрасывали на улицу склянки, банки, белье, людей, забрали десяток больных прямо с кроватями; впереди вынудили пойти пойманного попа с крестом, дошли до участка, от участка – до церкви, и что дальше делать, не знали. Тогда подоспел военный отряд и ту толпу разогнал.

И еще днем позже был знаменитый бунт на Сенной площади, и рассказывали очевидцы, что повсюду был впереди всех высокий человек бешеного вида, с железной палицей, от ударов которого валились полицейские и в развалины обращались балаганы. Им же с пособниками разбиты больные фуры и побиты не только служители, но и лошади.

Приезжал на Сенную площадь сам государь Николай Павлович и велел народу стать на колени. Кто был ближе – повалился. А один мужичок, сняв шапку, даже заплакал: “Защити,

государь, обижают нас!" И тогда мудрый государь указал на мужичка перстом: "Взять его, вот они, зачинщики!" И будто бы, как мужичка взяли, бунт прекратился. Так рассказывают, и даже нарисована такая картина, которая во многих хороших домах висела потом на стене, либо в рамке, либо просто на четырех гвоздиках.

И как стал народ благоразумным, то объявлено было от генерал-губернатора, чтобы от сего дня больных из домов насильно не забирать.

От тех дней осталось за новым арсеналом Куликово холерное кладбище, неизвестно почему так прозванное. Памятников на нем было мало, курганов же – без числа.

К осени стало умирать меньше, а ноября седьмого дня отбыла из Санкт-Петербурга курносая страшная гостья. Затупивши здесь косу, пошла ее оттачивать в другие места, пока не утомилась.

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Наша жизнь серенькая, от сегодня на завтра, тянем-потянем, чего-то ждем, ничего нет, первый звонок, второй испуг – и хлоп: чистая отставка!

А когда видим из своей клетушки, что такое же двуногое скачет по горам, ныряет в пропасти, гремит, горит, творит стальным хребтом свое житие – мы следим завистливым глазом, жуя сухими губами свою малость и бескрасочность, и никак не выходит презрительная гримаса: и нам бы хотелось поплавать в бурю, да нет ни бури, ни корабля, ни этой отчаянной страсти и решимости – все познать, от всего вкусить, а конец для всех один. Да, из разного теста ляпает природа людей!

Известного елизаветинского вельможи графа Р. внук – вот была жизнь! Точно имени не знаю – пусть будет Григорий Кириллович. Родился с беспокойной тревогой в душе и с великой жадностью ко всякому цвету, кроме серого: лебедь – так лебедь, а кровь – пусть кровь. Нам этого и не понять! И жизнь его, обильная тайн, поэма многоголосая и страшная.

Кратко: был балованным мальчиком богатейшей семьи, мать по заграницам, отцу некогда, свобода полная. Учился охотно наукам и языкам, еще охотнее водился с уличными мальчиками и быт улицы, полный происшествий и соблазнов, ценил выше скучной роскоши родного дома. Десяти лет стал пропадать на сутки, на неделю, жил где-то, питался чем-то,

отчета никому не давал. По четырнадцатому году ушел из дому и пропал на два года. По темным притонам, а то в компании воров и громил, в деревне на мирной работе, с бурлаками на Волге, со старцами в монастыре, с богомолами в пути к святым местам.

Его нашли и вернули. Охотно сел за ученье, ничего из прежнего не забыл, обучился языкам, читал запоем книги, был готов пойти дорогой богатых и знатных. И вдруг – закутил, сначала молодо, по-московски, потом мрачно, безобразно, промотал свое, коснулся чужого – и исчез. Был за границей конюхом, кучером, почтальоном, хлебопашцем, огородником, слугой парижского веселого дома. Не хотел вернуться домой к родным и к богатству. Но попался все-таки на родине, работая по сбыту фальшивых паспортов и ассигнаций. От правосудия ускользнул в раскольничьи скиты.

В длинной цепи годин был своим у духоборов, бегунов, у серых и белых голубей. Был взят с самосожигателями и заточен в Соловецкий монастырь. Под старость прощен, выпущен, получил свои родовые богатства, выстроил дом вроде крепости – и в том доме заперся в комнате, отделанной с восточной роскошью. Пищу ему подавали в окошечко, и никто его видеть не мог. И чем кончил – неизвестно: то ли был убит в этом доме, то ли убежал в Турцию.

Из жизни этого человека две странички у нас в руках; происхождения они туманного, лучше не доискиваться. Может быть, что и не точно, – но ведь это не история пишется, а рассказывается жизнь великого сумасброда первой половины прошлого столетия.

* * *

Из брички, подкатившей к подъезду гостиницы, вышли двое: барин и слуга. Барин средних лет, с проседью в висках, крепкий и во всех манерах важный и независимый. Слуга молод, лицом черен, несуетлив. Барин спросил две комнаты, себе и слуге. В комнату баринову слуга внес на плече, будто перышко, тяжеленный кованый сундук, держа в другой руке баульчик заморской работы и постельный сверток. Не прошло часа – все в гостинице знали, что приехал на ярмарку французский граф по имен Жорж, фамилии не выговоришь, по-нашему знает лучше нашего, а слуга у него из арапов – совсем немой.

В тот же вечер граф появился в игорном доме "Мельни-

ца", где кутили и играли кавалерийские ремонтеры и помещики, съехавшиеся на ярмарку со всей губернии: а шулера съехались сюда чуть ли не со всей России. Шулеров звали греками – в честь греческого дворянина Апулоса, еще при Людовике Четырнадцатом помогавшего судьбе одаривать достойного. Из Питера приехал великий Чивеничи, из Москвы француз, прозванный Тала-Бала, из Одессы моряк, профессор пестрой магии, изобретатель зрительной трубочки, в которую из соседней комнаты видны были карты партнеров и меченый крап. Шулера друг друга знали. А кто же такой граф Жорж? То ли пижон, которым стоит заняться, то ли – сам великий мастер?

В первый вечер граф побаловался в рулетку, проставил тысячу, ухмыльнулся и отошел. За столом метал банк приличный человек с табакеркой: на крышке срамная картинка. По позднему времени бил всех абцужным штосом: две карты пускал на счастье, остальные крыл без промаха. Граф поставил закрытую – проиграл; загнул угол – проиграл. Протянул руку к табакерке:

– Разрешите понюхать?

– Очень прошу!

Задержав табакерку, граф поставил две новые карты, загнул каждую мирандолем. По второму абцугу вскрыл одну: выиграла соника. Перегнул, сказал: "По прокидке", вскрыл другую – взяла и она; перегнул и ее, положил на первую, глазом не моргнув. Через несколько абцугов взяла графова семерка червей – и банкомет бросил талью. Граф забрал деньги и вернул табакерку:

– Прекрасная анакреонтическая картинка! Не продадите?

Шулера зашептались: кто такой? Пробовали угостить графа кукельванцем – вкусный напиток, выбивающий из головы здравый смысл; граф попробовал языком, поморщился, сказал: "Предпочту хлебного кваску".

Уходя домой, отвел в сторонку хозяина:

– Прекрасное заведение держите.

– Рад служить, ваше сиятельство. Прошу быть гостем.

– Побываю. В рулетку я проставил тысячу. Потрудитесь вернуть десять, сроку вам даю пять минут.

Хозяин побагровел:

– На каком основании?

– Забавляй детей! Черные клетки с зажимом, под столом машинка. И мастера знаю, немец Штольц, по прозвищу "старый геометр". Остается вам три минуты, поторопитесь, а то цена вырастет.

Сунув деньги в карман, посоветовал:

– В кукельванец кладите больше мяты, она миндальный дух отбивает. Да скажите крупье, чтобы легче дергал коленкой, когда нажимает под столом пуговку. Меня не провожать! Сам знаю дорогу.

Шел домой спокойно, не оглядываясь. На перекрестке улиц подскочило к нему трое молодцов, один успел цапнуть за плечо, но вырос из темноты графов арап, и оба они в два счета скрутили нападавших. Поправив им скулы, отпустили, и граф наказал:

– Хозяину скажите: завтра утром в восемь часов пришлет двадцать. Говорил ему: меня не провожать! За нарушение условий.

Днем у графа посетители. Хозяину игорного дома сбавил пять тысяч. У вчерашнего банкомета табакерку отобрал, как тот ни плакался:

– Стара штука – работать с зеркальцем! Пойдет в мою коллекцию. А помните семерку, что вас доконала? Вот это – произведение искусства! Сделана из чистого серебра, очков на ней шесть, а седьмое появляется при загибе угла. Я заплатил за нее пять тысяч мастеру. Дарю на память – пользуйтесь!

Прожил на ярмарке еще три дня, купил коней и для вспрыска опоил шампанским весь город. На заре выехал с верным арапом, – и больше никто графа не видал.

* * *

Бредут под дождем пещанского зимовья крестьянин Данило, да белый распоп Тимофей, да вдова Куликина с детьми малыми, да вдова тоже Анна с сыном, да ишимской нижней расправы бывший писарь, ныне просветившийся и сбросивший блюдолюбный образ и отрекшийся хмельного пития. И еще некоторые идут всю ночь под капелию, от водяной тяготы изгибая. Льет вода по брюху и по спинам, и брады у мужиков слиплись. Идут – не жалобятся, а Данило и не мычит: язык у него вырезан весь, только оставлен малый комочек во рте, в горле накось резан: пострадал молодым за старую веру, не хотел тремя перстами креститься и беса тешить и метания во церкви творить на колену отверг.

Впереди всех и всех ведет высокий старец Григорий, великий подвижник, крестящий во огне "Тебя ради, Господи". Откуда он пришел – никто того не ведает, но сказывают, что много христианского народу спас и ввел в рай, пожгя в из-

бах, потопив в реке, прияв на себя грехов искупление. Сила в нем неимоверная, и жар очей дождем не заливает.

Время приспе страдания! Враг рода человеческого взял силу, пришествие антихриста свершилось. Пиют неверные горелое вино и пиво из жидовских рук, ходят в бани с мирскими и новоженами, растят власы и носят на главе малахаи, шапки с разрезом начетверо, песни поют бесовские, играют в карты, и в варганы, и в дуды, бранятся матерны, пляшут и яйца катают, и на качелях качаются, а во вторник и в четверг едят подважды, в дни прочие потрижды.

Ныне не спасет верного ни малая, ни большая печать от горения во огне вечном!

– Как велики адские муки?

– Малейшая более тысящи раз величайша, что на сем свете.

– Имеют ли когда грешники в аду малую отраду?

– Нет, ни на мигновение ока.

– Привыкнут ли они когда к мукам?

– Что далее, то жесточае им будет!

К утру добрели до скрытого селения, неизвестного даже моршихинской конторе. Все без сил, распоп Тимофей едва доволок ноги, – но бодр и крепок, никакой усталостью не согбен старец Григорий, водитель правильных христиан.

Ныне спасает он новым спасением. У старицы Пелагеи за овином положен от коры свободный древесный ствол расчетом на пять голов. До заката сидели в избе, слушали проповедь Григория, давали клятву за себя и детей, пели духовную песню:

Вечор со другом сидел,
Ныне зрю смерти предел.
О, горе мне, горе великое!
Плоть мою во гроб кладут,
Душу же беси во ад ведут.
О, горе мне, горе великое!

Когда же зашло солнце, надели белые чистые рубахи и с пением вышли за овин. Распоп Тимофей ослаб и отпросился в лесок, да так и не вернулся. Детей вдовицы Куликиной повлек сам старец Григорий, рты зажав дланью, да с них и начал.

Голову клал так, чтобы с бревна свесилась, а власы откидывал прочь. Пятерых сложив, под пение верных, отделял головы подряд топором весьма вострым, творя молитву и про себя, и вслух. После того прикрыли для новых бревно чистым белым платом, и опять пятерых освободил старец Григо-

рий от здешних страданий и бесовского ада. И тогда, заместо распопа, вышла и спаслась Пелагея, а последним, двенадцатым, был пещанского зимовья крестьянин Данило. Так и легли двенадесять, яко двенадесять бубушков единой лестовки, яко двенадесять апостолов, с Господем по земле ходивших.

Великому старца Григория подвигу спасения грешных – слава!

* * *

Страшна страница, выпавшая из жизни старца Григория и затерявшая в памяти. Не знали о ней и судьи, заточившие его в Соловки. В Соловках на десятом году тот старец покаялся и был прощен с возвращением титула и богатств.

В доме его был приказ: дворецкому приносить, что надо, по бариновой записке, на глаза же никому не являться под страхом смерти!

Дни старости его неизвестны, и конца рассказу нет: ни в книгах, ни в старых архивных делах не сохранился. И зачем конец: конец один и в серенькой жизни, и в жизни бурной!

ПРОРИЦАТЕЛЬ АВЕЛЬ

“Сей отец Авель родиси в северных странах, в московских пределах, в Тульской губернии, Алексинской округи, Соломенской волости, деревня Акулова, приход церкви Илья Пророк, в лето от Адама семь тысяч и двести шестьдесят и пять годов, а от Бога Слова – тысяча и семьсот пятьдесят и в семь годов”.

Таким образом, знаменитый прорицатель Авель был почти что современником еще более знаменитого разбойника и сыщика Каина, о котором мы здесь в свое время рассказали. Каина звали Ванькой, Авеля Васькой, почтеннее – Васильем Васильевым. Оба они написали свои автобиографии: Каин – жизнь, Авель – житие и страдания; Каин – живым народным говором, Авель – малограмотным церковным языком. Каин был вольницей, Авель – хитрым пустосвятом. Оба, каждый по-своему, пользовались человеческой глупостью, а жили со вкусом и в свое удовольствие как в тюрьмах, так и на вольной воле.

В юности Авель был коновалом, но о сем мало внимаша, а боле внимаша о Божестве и божественных судьбах; впрочем, может быть, это после так ему показалось, потому что уже сем-

надцати лет он был женат, а к двадцати имел троих сыновей. Во всяком случае, душа его в деревне не уживалась, и он, выправив плакатный пашпорт, под образом отшествия из дому для работы пошел погулять по святой Руси.

По тем временам искатель легкой жизни придерживался монастырей; для начала Васька, облюбовав имя Адама, пристроился в монастыре Валаамском, островном, на Ладожском озере, но вскоре предпочел стать пустынником. Пу́стыни были не очень пустынными и имелись при многих монастырях; жизнь в них была свободна и самостоятельна, и от личного таланта зависело прославиться великими подвигами. Предприимчивый Адам, превратившись в Авеля, избрал специальностью божественные видения. Отец Авель понахватался разных любопытных сведений по части происшествий, предшествовавших воцарению Екатерины Великой, и ее взаимоотношений с сыном Павлом. В то время царица была уже стара и подумывала о том, как бы, в обход закона о престолонаследии устранив сына, передать престол внуку Александру. Но об этих тонкостях Авель ничего не знал, лишь поведав, что сын не прочь убрать мамашу, как эта мамаша в свое время убрала его папашу.

Трудно сказать, на счастье или на горе свое отец Авель заинтересовался политикой; без этого он не перенес бы некоторых неожиданных испытаний, но зато и не прославился бы. Чтобы зря не пропадали зародившиеся в его голове мысли, Авель написал на досуге свою первую книгу, со справками о прошлом и прорицаниями будущего.

Не для того писатели пишут, чтобы оставались книги под спудом. Проживая в то время в костромском монастыре Байбаках, Авель дал почитать свое произведение другу-монаху, отцу Аркадию. Друг показал настоятелю Савве; настоятель собрал братию и "сотвориша совет: ту книгу и отца Авеля отправить в Кострому, в духовную консисторию; и бысть тако отправлен". Духовная консистория: архимандрит, игумен, протопоп, благочинный и секретарь – допросили Авеля и взяли с него сказку и вместе с рукописью и сказкой отправили его к архиерею, который сказал ему:

– Сия твоя книга написана под смертною казнию!

Архиерей отправил Авеля в губернское правление.

Губернское правление – к губернатору.

Губернатор препроводил Авеля в костромской острог.

Из острога отправили Авеля, с солдатом и прапорщиком, на почтовых в Санкт-Петербург, прямо в дом генерала Самойлова.

Прочитав из той книги страничку, генерал Самойлов призвал отца Авеля "и рече ему с яростию глагола":

– Како ты, злая глава, смела писать такие титлы на земного бога?

И ударил его трикратно по лицу.

Так началось подлинное житие отца нашего Авеля.

* * *

Что же такое написал злополучный монах, что удостоился собственных его превосходительства генерал-прокурора графа Самойлова пощечин?

Написал он краткую и достоверную историю от сотворения мира до наших дней с экскурсией в будущее. Вначале сотворены тверди и тверди, миры и миры, державы и державы, царствы и государствы, а потом и прочая вся. Потом сотворены гог и магог, предки современных американцев, а спустя три тысячи шестьсот лет сотворены Адам и Ева, предки наши. Обе породы в свое время вымрут и заменятся новыми породами и будут тако жить всегда и непрестанно, и тому не будет конца. В общем – нечто от апокрифов с предчувствием Дарвина. Что касается современности, то ныне царствующая всемилостивейшая царица Екатерина, свергнув с престола мужа своего, хотевшего искоренить православную веру, узнает восстание собственного сына Павла и скончается на сороковом году царствования. И тогда под ноги Павла будет покорена вся земля турецкая и все греки, а под отроками его, Александром и Константином, будет покорена и вся земля. Мессия, предсказанный Писанием, уже явился и пока живет в Орле между торгующими жидами под именем Федора Крикова. А кончится все тем, что сам он, Авель, будет пребывать во всех странах, и во всех областях, и во всех городах, и во всех пространствах, а ум его уже и ныне находится во всех твердях, во всех звездах и во всех высотах, в них ликуя и царствуя, господствуя и владычествуя. Проживет он, Авель, 83 года и 4 месяца, после чего, под именем Дадамея, воцарится на тысячу лет, и будет по всей земле едино стадо и един пастырь, а потом мертвые воскреснут.

Книгу свою Авель назвал страшной и престрашной, и таковою же показалась она не только генерал-прокурору, а и самой Екатерине, приятельнице Вольтера и Дидро. После долгих и обстоятельных допросов о сей неистовой книге и после свидания с самой императрицей – был отправлен нео-

сторожный прорицатель на вечное заключение в Шлиссельбургскую крепость как вредный мыслитель и опасный заговорщик.

* * *

Но недаром все, что рассказывал и предсказывал Авель, сам он узнал, будучи временно восхищен на небо. Его прорицание о годах царствования Екатерины сбылось, и даже на четыре года раньше. В марте 1796 года он был заключен в крепость, – к концу года пали его оковы волею нового императора. Мало того, Павел Петрович позвал его во дворец, принял его "со страхом и радостию", обласкал и приказал исполнить желание Авеля: постричь его снова в монахи как неправильно расстриженного.

Заботится об Авеле сам новый генерал-прокурор А. Б. Куракин, приказ царя выполняет сам митрополит Гавриил. И как ни хорошо Авелю в Невском монастыре, а тянет его беспокойный дух обратно в Валаамскую пустынь, где было ему столько видений.

Здесь написал Авель другую книгу, подобную первой, но еще важнее. Книгу эту он показал игумену отцу Назарию.

Прочтя книгу, игумен показал ее своему казначею и прочей братии, и сотвориша совет послать ту книгу в Петербург митрополиту.

Митрополит же, видя в ней написано тайная и безвестная и ничто же ему понятно, скоро ту книгу послал в секретную палату, где совершаются важные секреты и государственные дукаменты.

Начальник палаты доложил генералу, который управляет весь Сенат.

Генерал доложил императору Павлу.

Император, вычитав в той книге про самого себя, переменил милость на гнев и приказал заключить отца Авеля в Петропавловскую крепость.

А случилось то, что прорицатель Авель в своей книге предсказал скорую смерть императора. И опять удачно! А потому пришлось ему посидеть в крепости, как и в первый раз, десять месяцев и десять дней. Когда же, волей Божией и рук человеческих пособием, исполнилось пророчество отца Авеля – новый император Александр освободил Авеля, послав его сначала в Соловецкий монастырь, а там и выпустив на полную свободу.

* * *

Каковую свободу получив, написал Авель третью книгу, мудрую-премудрую, страшную-престрашную. Нужно ли прибавлять, что с нею приключилась прежняя история, окончившаяся для Авеля серьезнее. Когда та книга дошла до императора Александра и когда он в ней прочитал, что через десять лет будет город Москва взят неприятелем, – приказано было абие заключить монаха Авеля в Соловецкий монастырь, под присмотр строжайший, пока сбудутся его пророчества.

И сидел Авель в соловецкой тюрьме десять лет и десять месяцев. Десять раз был под смертью, сто раз приходил в отчаяние, тысячу раз находился в непрестанных подвигах, а прочих искусов было отцу Авелю число многочисленное и число бесчисленное, пока, наконец, не пришел на Москву Наполеон, да исполнится Авелево великое предсказание.

И когда Москва была взята Наполеоном, вспомнил царь об Авеле и приказал князю Голицыну:

“Монаха отца Авеля выключить из числа колодников и включить в число монахов на всю полную свободу”.

И не только приказано было дать отцу Авелю на прогон денег, но и был он приглашен в Петербург, если жив и здоров и если ехать хочет.

Тут начинается бродяжничество отца Авеля и привольная его жизнь по богатым барам и богобоязненным покровителям. Писательства он не оставил, как не оставил и намерения воцариться на веки веков под именем Дадамея. Пока же ел сладко, одевался в хорошие сукна, обедал у знатных людей, сколачивал и капиталец. Одного больше не хотел делать: предсказаний, хотя бы и верных. И на просьбу о пророчествах своей приятельницы графини Прасковьи Андреевны Потемкиной отписал ей однажды отец Авель:

“Согласился я ныне лучше ничего не знать, да быти на воле, а нежели знать, да быть в тюрьмах да под неволию. Видяте, Прасковья Андреевна, каково наше пророчество или прозорливство, – в тюрьмах ли лучше были или на воле, размысли убо. Писано есть: будите мудры, яко змии, и чисты, яко голуби; то есть: буди мудр, да больше молчи”.

И вообще к концу своей земной жизни отец Авель больше всего писал письма к благодетельнице. То ему понадобилось триста рублев, то триста на себя да триста на милостыню неимущим, то шленского сукна на рясу и на подрясник по семи рублей аршин, “и за вся данные мне воздаст вам Господь Бог, что он сам восхощет”. Потом идет речь уже о лошадке для

странствий: "Пеший я не могу ходить, понеже много вещей надавали мне и ноги болят". Потом ему нужно пятьсот рублей, потом две тысячи и триста и шестьдесят рублей, "и тогда к вам поеду и все вам тайное и сокровенное возвещу".

И хотя мудрый, как змий, предпочтительно молчал, – но не сдержался при новой смене царствования и открыл уста свои для пророчества. Что он изрек – мы не знаем. Но известно, что изреченное им не понравилось императору Николаю Павловичу, который и приказал заточить Авеля в Спасо-Евфимьев монастырь.

И видно, на этот раз либо ошибся прорицатель Авель, либо не рассчитал годов: пережить и это царствование ему не удалось. Ждал в монастырском заключении пятнадцать лет – и, наконец, сам преставился, в последний раз подтвердив точность своих предсказаний, восьмидесяти трех лет с небольшим от роду.

И, таким образом, есть все основания надеяться, что в скором времени начнется предсказанное им тысячелетие его собственного царствования на земле, вся творяху по совести. Нам же, наскучавшимся при разных режимах, было бы чрезвычайно желательно отдохнуть наконец под длительным и мирным управлением во святых отца нашего Авеля-Дадамея.

ОПЫТ ДОКТОРА ПАРПУРА

На весь город знаменитый штаб-хирург Парпур стоит перед довольно толстой женщиной Анной Саввишной, которую он сейчас будет магнетизировать.

Дело новое и малоисследованное, так что и сам Парпур тревожится, и женщина дрожит, и окружающим жутко.

Вот Парпур поднял руки, – а пальцы у него дли-инные, – и протянул их к макушке головы оной рыхлой женщины.

Вот он, Парпур, вытаращил зенки и ими, как острыми палочками, вонзился Анне Саввишне в середку переносья. Вокруг стоят любопытствующие зрители в горячем поту, у всякого человека под черепом бегут ниточками шершавые мурашики.

И тут раздался крик нечеловеческий, женщина забилась, затерзалась, случилась с нею ужасная тошнота, одной рукой утирается, другой рукой отбивается, ногами лихо топочет – ужас что такое происходит! Все, конечно, от страха трясутся, никто помогать не смеет, и кому помогать, неизвестно, то ли Анне Саввишне, то ли штаб-хирургу, который, руки вытя-

нув, так и замер, не знает, что ему делать дальше с сей натуральной сомнамбулисткой.

Кончилось, к счастью, благополучно, женщина оправилась, умылась, доктор тоже отдышался. Таков был первый эксперимент магнетического лечения, особенно если прибавить, что происходило это на заре прошлого века в городе Кромах Орловской губернии.

Тут мы делаем перерыв для некоторых пояснительных рассуждений в прямых интересах, несомненно, взволнованного читателя.

* * *

В наше время совсем не стало чудес. Вернее – чудеса делаются, но как-то неинтересно, промышленно и казенно. Тот же гипнотизм, например, о первых опытах которого дальше рассказывается, ныне лишен всякой таинственности. Просто приходят к доктору, обыкновенному, сероглазому (прежде глаз требовался черный, с красным отливом), он посадит в кресло, надавит на темечко и скажет: "Спите, пожалуйста!" – и пациент немедленно засыпает, потому что деньги все равно плачены вперед, а в приемной ждут очереди другие больные, – долго раздумывать не приходится. Затем доктор говорит обыкновенным голосом: "Не пейте!" – или там: "Не извольте курить папирос!" – шлепнет легонько по щеке, разбудит и вызовет следующего. А этот идет домой и по возможности хоть в будни воздерживается от вина или там начинает курить папиросы подешевле, чем и окупается самое лечение.

А между тем помню, например, случай из детства. Мы с Васей были одноклассниками и занимались гипнотизмом, усыпляли друг друга, но безуспешно, потому что каждый старался усыпить другого, а сам засыпать не хотел. Решили попробовать на постороннем человеке, незаинтересованном – на солдате, денщике Васиного отца. Посадили его на стул, Вася стал против него, страшно выпучил глаза и говорит ему: "Спи!" Тот зевать зевает, а не спит. Долго возились, пока не пришел Васин отец, полковник, и не застал нас за этим занятием. "В чем дело?" Мы объяснили. "Ну и что же, не спит?" – "Нет". Тут полковник взял денщика за плечо, пригнул к стулу и говорит: "Ты что же, сукин сын, не спишь, когда тебе приказывают? В морду захотел? Спи, да не смей храпеть!"

И – готово: солдат заснул. Насилу мы его потом разбудили.

Во всем этом было много прекрасной тайны, чудесного, необъяснимого!

Естественно, что в былые дни, больше века тому назад, немногочисленных просвещенных людей русской провинции волновали слухи о чудесах магнетизма, месмеризма, сомнамбулизма и спиритизма, – тогда это, более или менее, валили все в кучу.

В неизданных бумагах Андрея Болотова, известного графомана, впрочем – почтенного современника восьми российских императоров (1738–1833), найдено несколько тщательно скопированных им описаний "експериментов в городе Кромах"; попытаемся создать из этих отрывочных описаний более или менее связный рассказ о самом показательном опыте штаб-хирурга Парпура, возможно сохраняя стиль подлинника.

* * *

...Тут, почтеннейшие читатели, не в том спрос, кто верит ли или не верит, а явление вполне научное. Ибо что есть животный магнетизм? Не иное как присутствие чрезвычайно тонкой жидкости, подобной елетричеству. Сия жидкость, являясь жидкостью нервов, ими управляющей, может быть выпускаема сама из себя и попадать в тело постороннего человека. Для последнего необходимо, чтобы выпускающий превосходил выпускаемого как духовной, так, в особенности, и физической силой.

Итак, мы поймем, почему доктор Парпур, человек при среднем росте, настойчиво-упорного сложения, имел такое всеобщее влияние в городе Кромах Орловской губернии, особливо же на окружающих женщин. Источаемый им животный магнетизм производил истинные чудеса как путем обрызгивания водой, так и непосредственно, лишь махая руками или прикасаясь к тому или иному члену тела. Вслед за сим указанная больная начинала либо сильно дергаться, либо впадала в естественный сомнамбулизм, во время коего можно было ей как угодно загибать руки и ноги на продолжительное время, и она так и держала их уже навсегда, если бы доктор не прекращал интересной операции. Притом узнавалось из подробного ее опроса, каким средствием в отношении медицины или разных трав и притираний ее обычный недуг лечить сподручнее.

Достаточно рассказать о девице Шагаровой, происше-

ствия которой записаны родными в особый журнал в течение тринадцати дней и которая история некоторыми отличными обстоятельствами превосходит знаменитый казус о Кремерте в Стутгарте, и будь это не у нас, в Кромах, а в европейских странах, то было бы пропечатано во всех журналах. Сия девица как будто страдала припадком, называющимся в народе порчей, который всегда с прикосновения ко траве возобновляется. Она, будучи приведена вскоре господином Парпуром в магнетический сон, два дня не могла сказать, чем ее надобно лечить, говоря, что ей не велят о том сказывать живущие в ней духи, и предсказала, что в тую полночь они будут ее душить.

Но неправда и суеверие! В наше время образованному человеку уже известно, что духи, живущие в человеке, суть напрасная выдумка, не отвечающая науке анатомии. Будучи широкого хирургического образования, упомянутый доктор Парпур отверг все, не могущее иметь прямого отношения, а именно в указанную ночь подложил под голову больной Евангелие, дав ей в руки простой освященный крест пальмового дерева.

В ту ночь, ввиду недоверия и даже насмешек не знавших о магнетизме людей, пригласил штаб-хирург для присутствия при опыте его чудесного лечения немало известных в городе персон, в их числе уездного судью, Петра Александровича Киреева, человека столь же всеми уважаемого, сколь совершенно лысого и мечтавшего поправить оный недостаток магнетическим лечением. Точно так же присутствовал известный наш кромский профессор Гежелинский, вольнодумец и афей, никогда ранее того не помышлявший о христианстве, после же описываемого события ставший вернейшим прихожанином соборной церкви.

Бессомненно, любопытны были и мы видеть редкость куриозного сего лечения, для чего и воспользовались любезным приглашением отца больной девицы, Сидора Африкановича Шагарова, при возрасте уже преклонном – истинного богатыря, в присутствии которого даже и сам доктор Парпур оказывался невидной и легковесной особой. Всего же нас собралось, не считая больной и необходимых слуг, не менее двенадцати персон, родственных и любопытных.

Спервоначала был произведен опыт магнетического чтения священных текстов прямо через переплет, причем сказать нужно, что, будучи девица воспитана по-светски и безо всяких сведений о Писании, то заранее ничего знать не могла; однако, вопрошаемая доктором Парпуром, что значится

в такой-то главе, стих такой-то, немедленно и без задержки ответствовала своеобразными текстами, правда – действительности ничуть не отвечавшими, но исполненными немалой мудрости. Достаточно сказать, что вольномыслящий афей, профессор Гежелинский, изменившись в лице, до конца оставался задумчив.

Но главный опыт начался в полночь, когда, по предсказанию больной, должны были душить ее внутренние духи. В качестве меры, ею же в магнетическом сне указанной, был приготовлен отвар богородицкой травы и другой, именуемой петровым крестом, у которой на корне всё кресты, а растет та трава на Севере, между тем как первая преимущественно в Тамбовской губернии. Перед тем как приступить, оной травой в горячем виде была напоена больная, до сего бывшая в спокойном состоянии, теперь же начала немедленно метаться и обнаруживать небывалые феномены. Так, например, в присутствии всех у нее необычайно и под одеялом приметно вздувалось брюхо, вслед за чем голова пригибалась к коленкам, все это сопровождая проклинаниями, странными в устах особы воспитанной и невинной.

Что же относится до штаб-хирурга Парпура, то сей искусник и магнетизер безо всякой боязни продолжал производить так называемые пассы и другие манипуляции, источая в большом количестве животный магнетизм в направлении страдавшей особы. И всякий раз, как он брызгал на нее заранее намагниченной водой, она временно утихала, после чего ее приподымало с кровати всем телом и бросало об стенку, как чуркой, с ужасными воплями.

Сия картина лечения магнетизмом была настолько ужасна, что присутствовавшие дамы не выдержали и со своей стороны издавали вопли и стоны, а уездный судья Петр Александрович Киреев после рассказывал, что у него дыбом стояли волосы, чего, конечно, в натуре, за отличной его плешивостью, быть не могло и лишь указывает на силу магнетического влияния даже на окружающих.

Продолжая всё те же манипуляции, доктор Парпур стремился привести больную наконец в естественное сомнамбулическое состояние, в каковом единственно можно выспросить у нее наиболее действительные средства излечения ее болезни, ибо тут за нее говорит сама истекающая животная магнетическая жидкость. Однако вполне того добиться оный лекарь не успел, единственно в этот раз дознавшись, что следует припустить ей к пояснице некоторое число пиявок.

Сей правдивый рассказ, могущий убедить многих не веру-

ющих в магнетизм или же колеблющихся и сомневающихся, закончу описанием неожиданно приключившейся сцены, повергшей многих в смущение и омрачившей столь удачно начатый опыт. А именно, в своем стремлении к сомнамбулизму наш замечательный магнетизер и гипниаст, желая ускорить действие скрытых сил, принялся по известному ему способу похлопывать и приглаживать помянутую больную девицу по разным необходимым частям, вследствие чего ее батюшка, Сидор Африканович, внезапно обидевшись и подойдя к врачующему, вопросил его: "Государь мой, думаете ли вы прекратить настоящее занятие?" Когда же лекарь возразил, что исполняет лишь требования науки, лично не будучи в том заинтересован, то Сидор Африканович насильно и не вполне вежливо отстранил его от одра скорбящей девственницы, едва начавшей излечиваться, и неожиданным и сильным движением коленки выставил штаб-хирурга Парпура за дверь, не опасаясь с его стороны магнетических воздействий. Выполнив сию роль озабоченного отца, Сидор Африканович обратился к присутствовавшим со следующими словами: "Виденное нами не есть иное, как простое жульничество, и, однако, прошу вас всех, господа, не считаясь с довольно поздним часом, откушать, чем могу служить".

За выключением последнего происшествия, объясняемого чрезмерностью отеческих чувств, во всем остальном опыт доктора Парпура остается беспримерным по силе и убедительности животного магнетизма, о чем долго говорили не только в Кромах, но и в губернском городе Орле. Мы же рассказали об этом не с чужих слов, а как непосредственный свидетель и с полным беспристрастием.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ КОПЕЙКИ

По выражению неточному, во всяком случае, спорному, солнце взошло над канцелярией соответствующего департамента правительствующего Сената; правильнее сказать – Земля повернулась к Солнцу той точкой своей поверхности, где помещалась сенатская канцелярия; еще точнее: в час, изначала установленный правилами внутреннего распорядка, все чиновники канцелярии были на своих местах и исполняли возложенные на каждого из них обязанности в порядке 26 пунктов, а какие именно – тому следуют самые пункты, но не немедленно, а после необходимого предисловия, к коему и приступаем.

Самая мысль об использовании нижеследующих архивных материалов зародилась в нас в естественном и законном предположении, что для многочисленных чиновных лиц предшествовавшего режима, ныне находящихся в европейском рассеянии, небезрадостно было бы возродить в слабеющей памяти наименования канцелярских чинов и должностей, а также и весь ход работы в столь напрасно исчезнувших учреждениях. К сожалению, обстоятельства места и времени не позволяют нам остановиться на соображениях, насколько в государственном режиме, сменившем прошлый, сохранились традиции предшествовавшего, так называемого буржуазно-бюрократического, и не является ли древнерусское слово "волокита" в известном отношении бессмертным. За отсутствием достаточных доказательств из жизни современной, чувствуем себя вынужденными ограничиться яркими картинами славного прошлого, упомянув, что настоящее дело возникло вследствие небольшой, случайной и вполне простительной неточности в финансовом отчете одного благотворительного общества правительственного характера, кои состояли обычно под покровительством августейших особ.

Уместно ли думать, что в обществе подобного типа могли быть люди, руководившиеся не исключительно благородными задачами и не забывшие о личных выгодах? Допустимо ли подобное предположение о высокочиновных лицах второго, третьего, четвертого и даже хотя бы и пятого класса, то есть действительных тайных и просто тайных советниках, действительных статских и даже просто статских, и о соответствующих чинах ведомства военного? И, однако, в связи со строительством некоторых благотворительных учреждений, оказавшихся несовершенными в отношении полов, стен, крыш и движимой обстановки, возникли слухи, очевидно пущенные безнравственными колебателями основ государственности или же лицами более низких чиновных классов, обойденными при очередном производстве. Как бы то ни было, но распространились злонамеренные толки о небескорыстных общениях влиятельных благотворителей с подрядчиками, о необъяснимом увеличении благосостояния некоторых высоких чинов общества, приобретших дачные участки как в Финляндии, так и на крымском побережье, и прочее в том же роде. Для немедленного ниспровержения вредных слухов была назначена сенатская ревизия в лице высокого сенатора баснословной неподкупности и почти предельного человеческого возраста, каковой сенатор, не будучи в состоянии читать и писать лично, ввиду ущерба в зре-

нии и слухе, возглавил проверочную контрольную комиссию из опытных в бухгалтерии и финансах лиц, не могущих быть заподозренными в пристрастии, так как состоявших на немалых окладах, специально по настоящему делу утвержденных. Проработав года два, комиссия установила совершенную правильность отчетов благотворительного общества за одной лишь погрешностью. А именно: при отчете о поставке кирпича на постройку трехэтажного главного корпуса приюта для сирот благородного происхождения указана сумма 144 319 руб. 47 коп., в то время как оправдательных документов имеется лишь на сумму 144 319 руб. 46 коп. с четвертью, иначе говоря – неправильно зачтены в расход три четверти копейки, соответствующими счетами не оправданные. Во всяком ином деле подобная неточность была бы терпима и могла бы быть объяснена стремлением цифру копеек для облегчения дальнейших записей бухгалтерии округлить; но в делах общества благотворительного характера неуместна даже и такая неточность, могущая вызвать нарекания, как в данном случае и произошло, хотя и в иных формах неясных указаний.

По всеподданнейшему личному докладу ревизовавшего дело сенатора его заключение было высочайше утверждено, причем было всемилостивейше указано найденную в отчетах неточность в вину не вменять, лишь озаботившись введением соответствующего исправления. Отсюда, собственно, и возникла переписка по поводу трех четвертей копейки, имеющаяся в архивах правительствующего Сената. Нам удалось проследить лишь прохождение одной из бумаг по этапам канцелярского делопроизводства, с точным выполнением упомянутых нами в начале 26 пунктов, для прохождения таких бумаг установленных.

* * *

Деятельность рассыльного, доставившего пакет в сенатскую канцелярию, к деятельности самой канцелярии не относится ввиду состояния рассыльного в другом ведомстве. Таким образом, первым чиновником, исполнившим свой долг, является:

1. Дежурный, каковой, приняв пакет от рассыльного, расписался в рассыльной книге, после чего передал пакет –

2. Исправнику (не смешивать, конечно, с начальниками уездной полиции: здесь – канцелярская должность), который

пакет распечатал, вынул бумагу, расправил ее в сгибах, пометил дату получения и передал бумагу –

3. Регистратору, записавшему бумагу в книгу входящих, выставившему на ней номер и передавшему ее –

4. Столоначальнику, который занес бумагу в настольный регистр, составил справку и проект протокола и передал –

5. Секретарю, который все просмотрел, проверил и возвратил –

6. Столоначальнику – на предмет следования проекта заключения в переписку, что столоначальник и сделал, передав бумагу –

7. Писарю, занявшемуся своим прямым делом и передавшему черновик и беловик обратно –

8. Столоначальнику, каковой, скрепив подписью, передал бумагу –

9. Секретарю, ту бумагу скрепившему подписью своей и передавшему ее для дальнейшего направления –

10. Исправнику, сделавшему пометку и передавшему бумагу –

11. Непременному члену для осведомления, который и возвратил ее –

12. Секретарю, для дальнейшего ее следования в целях деловой проверки о соответствии законам к –

13. Стряпчему, каковой, найдя все в порядке, ее возвратил –

14. Секретарю – на окончательный просмотр перед тем, как она поступила на утверждение к –

15. Столоначальнику, с утвердительной пометкой возвратившему ее –

16. Секретарю, чтобы он о таковом утверждении был осведомлен и затем передал ее обратно –

17. Столоначальнику, который и отдал приказ о снятии с бумаги копии –

18. Писарю, который, долг свой выполнив, передал бумагу с копией –

19. Столоначальнику, произведшему тщательную сверку, сделавшему пометку о соответствии копии подлиннику и препроводившему ту бумагу –

20. Секретарю, направившему ее для соответственной пометки –

21. Исправнику, сделавшему должную пометку и вернувшему бумагу –

22. Секретарю, видевшему ту бумагу уже в последний раз, так как далее она проследовала к –

23. Столоначальнику, также в последний раз, так как он,

отметив номер настольного регистра, прямо передал готовую бумагу –

24. Регистратору, записавшему ее содержание в книгу исходящих и, отметив на ней номер книги, передавшему ее –

25. Дежурному, на обязанности которого лежало передать бумагу в соответствующем пакете (отметив номер в рассыльной книге) –

26. Рассыльному, который, в противоположность первому рассыльному, принадлежал к числу служащих этой канцелярии.

Рассыльный же понес пакет в канцелярию следующего ведомства, где делопроизводство было таким же обстоятельным.

Не следует думать, что путь деловой бумаги, нами описанный, нами же открыт или придуман. Путь этот был законно утвержден правилами внутреннего распорядка, причем все 26 этапов прохождения точно расписаны и установлены; и отклонение от них было немыслимым и грозило разложением государственных начал со всеми дальнейшими последствиями. Возможно, между прочим, что именно несоблюдение какого-нибудь из 26 пунктов правил о следовании деловой бумаги и явилось истинной причиной крушения всей государственной системы, при каковом мы имели несчастие присутствовать.

* * *

Ибо – что есть принцип? Принцип есть основное начало, а также сим именем назывались в римских легионах войска, стоявшие сначала в первой линии строя, потом – во второй, за гаститами. Иначе говоря – принцип есть нечто весьма важное. И хотя три четверти копейки не представляют собою величины значительной, могущей играть заметную роль в учете приходов и расходов, однако принцип требует, чтобы всякая произведенная затрата общественных сумм точно подтверждалась оправдательными документами. Естественно поэтому, что нарушение принципа может вызвать ряд действий, влекущих за собой непредвиденные расходы, на первый взгляд не оправдываемые обстоятельствами дела.

Так, в принципиальном деле, нами описываемом, недостача отчетности по трем четвертям копейки вызвала контрольные действия, привлекшие к участию:

1. Девять канцелярий различных ведомств с низшим шта-

том от десяти до двадцати чиновников от 14-го до 6-го класса включительно.

2. Двухлетнюю работу особой комиссии при достопочтенном сенаторе, высочайше на сей предмет назначенном.

Не считая окладов обычных, шедших и помимо означенного дела, оклады за дополнительную работу выразились в сумме 28 тысяч рублей, считая с подъемными, прогонными, наградными и пенсионными, помимо коих выдано было в поощрение трудов и за выслугу лет орденов Анны, Станислава и Владимира счетом четырнадцать.

К сожалению, не поддается учету количество бумаги писчей, сенатской и обыкновенной, затраченной на производство ревизии, то есть на справки, отношения, донесения, сообщения, извещения, а также копии означенных бумаг. Вне учета также: чернила, перья, клей, бечевка и нитки для прошивки дел, скрепки, промокательная бумага и песок, книги исходящие, входящие и рассыльные, конверты и сургуч.

Наиболее обидным в этом деле являлось то, что не было найдено формально правильного способа восстановить точность в отчетности благотворительного общества, будь то добавление документа о прибавке в статью прихода дополнительного пункта о возврате переплаты в размере трех четвертей копейки, или же отметки о перерасходе этой суммы в порядке позднейшего утверждения общим собранием добавочного отчета казначейской части. Этот важный вопрос так и остался открытым и был погашен лишь в порядке прекращения дела о сенаторской ревизии высочайшим указом.

Легко смеяться и осуждать, – но где те времена, в которые ничтожнейшая неточность вызывала работу сложной государственной машины – пока справедливость целиком не торжествовала? И времена уже не те, и люди не те, и остаются нам лишь благодарная память да слезы искреннего умиления.

КАМЕР-ЮНКЕР РОКОКО

Про чудачества камер-юнкера Рококо, жившего в Москве сто лет тому назад, кое-что написано в старых книжках, но очень мало, все больше – ходячие анекдоты. Нам посчастливилось раздобыть документы, относящиеся к его биографии и нигде не опубликованные, а именно подлинную запись воспоминаний его современника об "апартаментах и праздне-

ствах камер-юнкера Рококо" с приложением "описания грибов-самоплясов", которых поевши, камер-юнкер Рококо, как известно, и помер. Эта счастливая находка позволяет нам добавить многое к прежде известному.

Как вы знаете, камер-юнкер был очень богатым помещиком, любителем редкостей, стильной мебели и хлебосолом. Анфилады комнат его барского дома были заставлены статуями, бронзой, пузатыми комодами, вазами, стены увешаны картинами, потолки люстрами, и все в таком беспорядке и разнообразии, что рядом с Рембрандтом висела домашняя мазня, на елизаветинском рабочем столике стоял тульский чугунок, а у камина бронзовые шипцы удивительной работы были свалены в кучу с ухватами, случайно занесенными из кухни. Эту безалаберщину хозяин называл "стилем рококо", почему и получил свою кличку.

Из добытых нами документов узнаем, что у Рококо была изумительная трехспальная кровать, сделанная по его указаниям. Ее твердый тюфяк был почти скульптурным произведением. Посередине было место для лежания на спине, для чего были выстеганы на тюфяке с большой точностью углубления соответственно изгибам тела хозяина, как бы форма для отливки его собственного горельефа. По обе стороны тюфяка были формы для лежания на правом и на левом боку, столь же точно воспроизводившие индивидуальные особенности телосложения камер-юнкера. Подобная кровать была бы идеальной в смысле покойного лежания, но обладала тем недостатком, что, при необходимости во сне перевернуться, приходилось искать нужные ямки и выбоины: иначе положение спящего делалось весьма мучительным.

Никогда решительно камер-юнкер Рококо на этой кровати не спал, а спал на простой перине, притом в своеобразной позе утробного младенца: лежал на спине, коленки подогнув к подбородку и, таким образом, ноги оставляя на весу, к чему легко привыкнуть. Согнутые руки он прижимал по бокам груди и на сжатых кулачках делал кукишки, по-тогдашнему – дули, и не из оригинальности, а по религиозным побуждениям: на случай внезапной кончины кукишками отгонялся дьявол, если он явится по грешную душу.

Хотя сон в такой позе достаточно чуток, но Рококо просыпался только по будильнику, честь изобретения которого также принадлежала ему. На стене его спальной, близ самой кровати, была прикреплена полочка на шарнирах, а в соседней комнате была пуговка, при нажиме на которую полочка, путем сложной махинации, опрокидывалась. С вечера на по-

лочку сам хозяин ставил – по своему вкусу – дорогие фарфоровые и стеклянные безделушки работы итальянской и китайской, а в предписанный им час слуга нажимал снаружи пуговку – и хозяин просыпался и вскакивал от треска и звона разбитых предметов. Устройство само по себе простое, но требовался умелый подбор безделушек, чтобы звон был музыкальным и соответствовал стилю рококо. Если накануне было сильно выпито, то на полку ставился также каменный бюст Венеры или Людовика Шестнадцатого, падавший с большим громом и обычно не разбивавшийся, не считая носа.

Хлебосольство камер-юнкера Рококо было известно всей Москве. Были знаменитые его лебеди, павлины и журавли с такой жгучей начинкой, что непривычные гости гибли от несварения желудков. Из блюд более обычных, подававшихся в одном обеде непрерывно, разрешите упомянуть для возбуждения читательского аппетита:

папошники,
пироги долгие, косые и круглые из щучьей телесы,
пирожки маленькие с рыбьим телом,
кашка молочная с пшеном сорочинским,
присол из живых щук,
щука колодка,
огнива белужья в ухе,
звено лосося, звено семги,
полголовы осетра и белуги просольной,
лещи паровые, стерляди, сазаны, окунь, начиненный снетками, таковой же, намятый налимьей печенкой, судак в испарине с яйцом и кашей.

Еще разные мелочи в том же роде, после чего, наконец, начинался настоящий обед из блюд основательных и отлично приготовленных. А в заключение подавались цукатные пироги, марципаны, желе и кремы на больших досках; на блюдах они не умещались.

Но это, конечно, пустяки, – так ли ели в старину! Вот пишут, что в советской Москве хотят выращивать ананасы. Но их сто двадцать лет тому назад выращивал в Москве купец Гусятников, а у графа Завадовского подавали их свежими, вареными, квашеными, а также рубили в кадушках, как простую капусту, и делали из них щи и борщи. И камер-юнкер Рококо славен был не столько обедами, сколько сюрпризами, которые он готовил для дорогих гостей; в этом он был изобретателен до чрезвычайности!

Так, например, он с большими затратами устроил у себя в доме особый подъемный обеденный стол. Посредине зала

внезапно проваливался пол, и из провала появлялся прекрасно сервированный стол с яствами и питиями – пожалуйте, дорогие гости! А для ради полной неожиданности хозяин предлагал гостям потанцевать для возбуждения аппетита. И в первый же раз случилось, что пол опустился несколько преждевременно, и часть танцевавших гостей провалилась в кухню, впрочем, без серьезных повреждений. Разумеется, неудача была поправлена дальнейшими увеселениями.

Весьма остроумно был там показан также фокус со свечами – тонкая работа одного немецкого пиротехника! Был обычными восковыми свечами, в прекрасных подсвечниках и канделябрах, уставлен обеденный стол. Были гости веселы и кушали сладко. И вдруг все свечи одновременно стали меркнуть, а затем из их фитилей полетели фонтаны чудеснейших фальшфейеров и римских звезд.

Картина божественная, еще более украшенная неожиданностью. А так как дамы были декольтированы и в платьях легчайших материй, то эффект удался еще больше: дамы визжали, мужчины их тушили. Несколько испортил впечатление удушливый запах пороха.

Московское владение камер-юнкера Рококо занимал обширнейший участок земли, с десятком строений, тенистыми садами и прудами. По этим садам и прудам гуляла необузданная фантазия хозяина, который для забавы гостей не жалел ничего.

Известно, как русский человек любит грибной спорт. Ни в одном лесу не было такого количества белых грибов, как в садах камер-юнкера Рококо: под каждым деревом, на каждой полянке, по краям всех дорожек, даже на самых непоказанных местах. И грибы были послушны: они вырастали по слову хозяина в день приема гостей. Закупались они возами на базарах, и на рассвете вся челядь помещика была занята делом: втыкала белые грибы в землю по всему саду. Зато – сколько удовольствия гостям, набиравшим без труда и в короткое время целые корзины!

Столь же рационально был поставлен на прудах Рококо спорт рыбный, ловля на удочку. Девицы и дамы получали от хозяина билеты на право рыбной ловли; билеты нумерованные, и каждому билету соответствовала заготовленная и уже заброшенная в воду удочка, причем удилище было перевито резедой или голубой лентой с бантиком на конце. Когда же девица или дама вытягивала леску из воды, то на крючке непременно была рыба: у одной – плотичка, у другой – окунек, у этой – подлещик, у той – крупный карась. С возгласами радости рыбы вытаскивались на бережок. Случались и затрудне-

ния, когда на крючке оказывалась живая щука фунтов на семь, справиться с которой неопытному рыболову трудновато. Но чаще всего рыба была снулая, не выдержавшая ожидания, а кому-то из гостей – по рассказам недоброжелателей – попалась даже малосольная севрюжка.

А знаменитая земляника камер-юнкера Рококо! Ранняя весна, снег только что сошел, земля не успела обсохнуть. Гости хорошо пообедали, и на десерт хозяин приглашает в сад, где чудодейственно выросли кустики со спелой лесной земляникой: собирайте и кушайте на здоровье! Тянешь за ягоду – и вместе с ягодой вытаскиваешь кустик.

Но что земляника! Стоило гостям заранее высказать пожелание – и на еще безлистных деревьях хозяйского сада вырастали яблоки, апельсины, абрикосы и персики, для сбора которых приглашались любители. И нужды нет, что сочная груша оттягивала ветку березы, – от этого она не становилась хуже.

Лучше же всего были в доме камер-юнкера Рококо уборные комнаты. Правда, в те времена дело обстояло неважно с водопроводом и канализацией; зато в дамской уборной столики ломились от коробок с пудрой, скляночек с духами, пакетиков лаванды и других душистых трав. На тарелочках лежали мушки всех величин, шпильки любой формы, булавочки, застежечки, еще не совсем вышедшие из моды блошиные ловушки на цепочках, искусственные локоны всех мастей – и все это дамы могли забирать с собой в желаемом количестве на память о гостеприимном хозяине. В мужской уборной были к услугам два крепостных брадобрея и было можно раздобыться не только шейным платочком, но и хорошим исподним бельем и брызжами.

Очаровательная жизнь! И если хозяину это влетало в копеечку, – то для чего-нибудь существовали хамы, пахавшие и сеявшие в его деревнях.

О странной кончине камер-юнкера Рококо подробных сведений до сих пор не было, и мы рады этот пробел в исторической литературе посильно восполнить.

Грибы делятся на собственно грибы и на губы. Грибы – белые, губы – все остальные. Белый гриб ни с каким другим не спутаешь, в губах разбираться труднее.

Очень любил грибы камер-юнкер. Любил белый гриб в сметане, ценил соленый груздь, уважал и подгруздь, обожал бутылочный рыжик, смаковал опенка, отдавал должное подосиновику и подберезовику, особенно если суп из них приправить луком и перцем до крайности, да не пожалеть и лав-

рового листа. Хорош, хоть и неказист, сморчок – гриб ранний. Трюфель дорог, но ароматен, и ищут его при помощи опытной свиньи. Первым в России стал есть шампиньоны именно камер-юнкер Рококо; до него этот гриб почитался поганым. А то вдруг набрасывался на лисичку в масле, хорошо прожаренную, на зубе хрустящую. Умелый повар сделает чудесное блюдо не только из валуя-кульбика, но даже из будто бы презренной акулининой губы. На любителя – сыроежка в сыром виде, с перчиком и тертым хреном. Моховик, поддубник, зайчонок – всем хорошо известны. В наши дни один профессор доказал, что можно есть и мухоморы, если их выварить в уксусе, и съел целый фунт во время лекции о грибах, – но скончался, бедняга, в судорогах.

Все эти сорта грибов камер-юнкер знал отлично, потребляя неумеренно, – и был здоров. Знал эти и открывал новые во славу грибной науки, пока не докопался до гриба-самопляса, известного в народе своим чудесным свойством – пробуждать в людях отчаянную веселость, особенно если пустить такой грибок под стаканчик водки.

Камер-юнкер решил попробовать. Попробовал – и ничего, только левая нога стала слегка дергаться, тошноту же он убил перцовкой. И вот тогда он заказал повару поджарить сковородочку грибов-самоплясов с имбирем да прибавить капельку гвоздичного масла.

Был гриб слегка горьковат, но потребляем. Перекрестившись, камер-юнкер, человек решительный и готовый страдать для науки, ту сковородочку грибов-самоплясов одним духом изничтожил.

И тут – началось.

Веселость пришла не сразу, а только через четверть часа. Моргнула одна нога, подмигнула ей другая – и пустился камер-юнкер в пляс безо всякой музыки. Плясал стоя, плясал сидя и плясал лежа – не мог остановиться. Приплясывая, стонал и выкрикивал не вполне понятное. То бился о стенку, то бросался на пол и быстро вертелся на животе, который от природы имел круглым и выдающимся. При такой комплекции внезапно извивался змейкой, загибался дугой, подпрыгивал – и начинал бегать на четвереньках из комнаты в комнату, так что угнаться за ним было невозможно. Наскучивши же бегать по полу, устремился в сад, кубарем скатившись с лестницы, пробежал, подплясывая, до искусственного грота, над входом в который была высечена надпись русскими буквами “Мон Репо”, и, в тот грот не проникая, успокоился на его пороге не на час, не на день, а на вечные времена.

Рассказывают, что последними словами камер-юнкера Рококо были: "Я сделал, что мог, пусть кто может сделает лучше". Но слишком часто знаменитостям приписывают исторические возгласы, которые им и в голову не приходили; притом Рококо не знал латыни. Пользуясь в нашем исследовании исключительно проверенными данными, можем удостоверить, что, испуская дух и в последний раз проплясав в воздухе ногами, камер-юнкер Рококо уже слабеющим голосом воскликнул:

– Вот это – гриб!

ЖЕРТВА ПРОРИЦАНИЯ

Иностранцы умеют ловко устраиваться в истории. Девица Мария Ленорман, предсказавшая Наполеону его ослепительную, хотя и хлопотную карьеру, признана знаменитой гадальщицей, – а нашей Марфуши, чухонки с Бердова завода, ее современницы, никто не помнит и не знает. Но и в практике девицы Ленорман отмечаются обычно не лучшие из ее предсказаний, а только наиболее известные. Лучшим предсказанием, действительно исполнившимся в точности (конечно, наряду со случаем Наполеона), мы считаем ее предсказание богатому русскому помещику Ивану Платоновичу Бессонову, что он умрет в собственной постели.

Иван Платонович побывал в Париже офицером в 1814 году. Насмотревшись на разные диковины, нам с вами отлично знакомые и достаточно надоевшие, Иван Платонович завернул, конечно, и на прием к девице Ленорман, проживавшей на улице Турнон, между Сеной и Люксембургским дворцом, в доме номер пять. Посмотрев на его ладонь, девица не задумываясь брякнула:

– Вижу судьбу вашу ясно: вы умрете на постели!

Другой бы только улыбнулся, потому что такая смерть не хуже всякой иной и даже удобнее. Но Иван Платонович пришел в ужас и потребовал дополнительных разъяснений:

– Когда? Когда это будет?

– Будет, когда вы ляжете на постель.

Это прорицание так потрясло Ивана Платоновича, что определило всю его дальнейшую жизнь, довольно продолжительную: он скончался в Москве пятьдесят лет спустя.

Никогда за эти полвека Иван Платонович не ложился спать по-человечески – раздевшись, надев колпак и вытянув ноги. Кровать, перины, подушки гагачьего пуха, стеганые

одеяла были раз навсегда исключены из его быта и вынесены из его дома. Самое большее, что он себе позволял, это – подремать в кресле, обитом плетеньем из ремешков, оставляя ноги покоиться на полу. Так как в подобном положении тело как следует не отдыхает, то Иван Платонович предпочитал проводить ночи в обществе веселящихся людей.

В молодости это просто, особенно для человека с порядочным состоянием: карты, шампанское, женщины (до известного, конечно, предела). О женитьбе и думать не пришлось: какая женщина согласилась бы делить судьбу с таким неуютным человеком, отрицающим примитивные удобства! Но даже и в молодые годы Иван Платонович тяжко переносил им самим наложенное на себя бремя. Общество было нужно ему не для веселья, а лишь для того, чтобы не спать. Он дремал за карточным столом, клевал носом за парадным ужином, зевал в лицо соблазнительной красавице, всхрапывал под цыганское пение. Его не веселили ни искрометное аи, ни загибание карты мирандолем, ни призывная улыбка прелестницы Лаисы или Аспазии. И, однако, кутежи и игорные дома он оставлял последним, радуясь только тому, что ночь прошла и можно отдаться дневным развлечениям.

Эти дневные развлечения были также однообразны. С утра Ивану Платоновичу закладывали четвероместную карету. Он надевал фрак и белый галстук, брал с собой калмычку и старого мопса, отзывавшегося на кличку Бокс, и катался по городу, пока выдерживали лошади, кучер, мопс и калмычка. В карете он дремал, поскольку это было возможно при булыжных мостовых. Маршрутом заведовала калмычка, как и вообще она заведовала всей полусонной жизнью Ивана Платоновича; без преданной калмычки, впрочем, большой жульницы, без труда его обиравшей, Иван Платонович не мог обходиться. Она сообщала ему обо всем, что происходит на свете, потому что сам он, в постоянной дремоте, ничего вокруг себя не замечал. Она отвозила его подремать в гости, или на народное гулянье, или на Воробьевы горы – взглянуть на Москву, подернутую дымкой сонного тумана. К обеду доставляла его домой – пожевать без особого аппетита и посидеть в кресле, опустив голову на грудь и посапывая негромко.

Так бежала мимо Ивана Платоновича, жалостливо на него поглядывая, жизнь города, страны и всего человечества, и жизнь, нужно сказать, по тем временам интересная и значительная. Отстраивалась после великого пожара Москва, – как отстраивается сейчас после пожара революции, томился на острове прообраз нынешних диктаторов, – как дай Бог и им

томиться, ушел из Таганрога император Александр – то ли в небытие, то ли в старцы, прославили месяц декабрь пылкие идеалисты – герои и предки героев русской интеллигенции, бряцал Пушкин на золотых кимвалах – и расплодил современных бандуристов. Все это прошло мимо Ивана Платоновича, которому ужасно хотелось спать, а протягивать ноги не полагалось.

Однажды преданной калмычке пришла в голову недурная мысль – женить на себе сонного барина. Он так привык ей подчиняться и так рассеянно ее слушал, что чуть было не оказался окрученным. Но калмычка – о женщины! – непременно хотела настряпать себе полное приданое и обставить брачную жизнь Ивана Платоновича всеми принятыми удобствами, включая гагачий пух и стеганое одеяло. Когда он, сквозь обычную дремоту, увидал эти приготовления, на него напал неподдельный ужас, и он достаточно проснулся, чтобы решительным протестом разрушить калмычкины козни. С тех пор он вполне доверялся только мопсу Боксу, доживавшему последний собачий срок и также погруженному в постоянную дрему.

* * *

Миновала ночь, которую Иван Платонович провел в кресле в полусогнутом положении. Рано утром, оживив неуклюжими движениями измятое усталостью тело и промыв опухшие глаза холодной водицей, Иван Платонович подошел к венецианскому зеркалу с завитушками и амурами и увидал, что вместо прежнего белокурого кока на голове у него образовалась лысина, а в усах и бороде много седых волос. О том, что молодость прошла, многие люди узнают внезапно, а Ивану Платоновичу было естественно этого не заметить вовремя: он свою молодость продремал. И глаза слезятся; и живот подпирает ребра; и от слабости подгибаются коленки; и еще разное, о чем мы с вами знаем не хуже Ивана Платоновича.

Заметив – удивился, однако порядка жизни из-за этого открытия не изменил. Мальчик-казачок помог ему надеть синий фрак с золотыми пуговицами, по образцу инкруаяблей времен первой французской революции, – другой одежды никто на Иване Платоновиче не видал. Калмычка напоила кофеем со сдобными булочками. У подъезда уже ждала четвероместная карета с двумя лакеями-гайдуками, необходимой охраной, впрочем, не мешавшей таскать у Ивана Платонови-

ча из кармана золотую луковицу вместе с цепочкой, а то и снимать с пальцев кольца. Сегодня Иван Платонович выезжал посетить лечебное заведение московского врача Лодера – первые в России, но уже знаменитые минеральные воды, весьма модные.

Лечиться Иван Платонович любил. Перед тем, что он называл сном, он постоянно пил стаканчик настойки из сабура, шафрана и горьких пряных кореньев. Держал дома также майский бальзам надворного советника Немчинова (для бодрости) и самохотовский эликсир от ревматизма, а также аверин чай от золотухи, хотя от этой болезни его Бог миловал. На всякий случай имел запас камергерского шауфгаузенского пластыря, который очень рекомендовался от неловкого шага и приготовлялся из червей неизвестной породы. На руках носил фонтанели, по своему действию почти равные жизненному эликсиру шведского столетнего старца. Наконец, время от времени приглашал немца, специалиста по китайскому иголкоукалыванию. Все это, собственно, ради удовольствия, так как вообще здоровье Ивана Платоновича было вполне удовлетворительное, во всяком случае, до сегодняшнего утра.

Над самой Москвой-рекой, близ Крымского Брода, обширный сад с галереями – заведение кислых вод врача Лодера. В ранний утренний чай там уже гремит музыка и под музыку ходят богатые больные: старички с одышкой, барыни с печенью, девицы с немочью и темными подглазницами, модные идиоты, веселые офицеры – лучшее московское общество. Попил водички – и гуляй по аллеям ровно три часа. В особом помещении доктор Лодер и доктор Енихен прощупывают кого и где надо и прописывают сроки лечения – кому неделя, а кому и три месяца каждодневно. Мальчики разливают воду и подают кружки вместе с листочками шалфея для чистки зубов. Двор полон экипажей и ливрейной прислуги, которая ждет и зубоскалит, пока господа “лодерничают”. Оркестр наигрывает марши и экосезы.

На какую муку не пойдешь ради собственного здоровья! Ходит по аллее и Иван Платонович как бы в тумане, хотя московское небо чисто, светлы струи Москвы-реки, из которых и приготовляются минеральные кислые воды. Вокруг живой разговор, хихиканье девиц, почтенный говор старцев, звон шпор и звяканье сабель. Иван Платонович мерно передвигает ноги и привычно дремлет на ходу. Музыка, говор, ржанье лошадей, шарканье сотни ног – все сливается в его ушах в отдаленный однообразный шум; в животе булькает выпитая вода, во рту за-

пах шалфея. Если никогда не ложиться в постель, то так можно проходить тысячу лет, и девица Ленорман останется с длинным носом, проклятая парижская гадалка. Так и ходит, пока не подхватывает его под руки верная калмычка и не отводит в карету. И едва он на мягком сиденье – нисходит на усталого настоящий сон, прерываемый только толчками: удивительно целебны кислые воды врача Лодера!

Целебны, кислы и дороги. Но последнее не страшно: в калужском имении Ивана Платоновича столь же мерным шагом, забивая лапти сырой землей, ходят взад и вперед за сохой крепостные крестьяне, отбывая барщину. И тоже после спят утомленные, не зная постелей: на печках, на лавках, на голом полу.

* * *

Лицо калмычки исчерчено морщинами, только скулы блестят гладкой кожей. Иван Платонович – седой старичок, капризный, упрямый, дремлющий в кресле и на ходу, как дремал и молодым. Проскакали мимо, его не задевши, пятьдесят лет и увели за собой многих людей помоложе Ивана Платоновича, его одарив завидным долголетием. В мире суета, в Москве знаменитая грязь московская, которая, по пословице, не марается. В Питере пишут законы, по российским церквам читают манифесты: "Осени себя крестным знамением, русский народ!" Пришли новые люди с новыми понятиями, рождения которых Иван Платонович не заметил, – да ему это и ни к чему. Калужские крестьяне Ивана Платоновича больше барщины не отбывают, но за сохой ходят по-прежнему и почесываются от выкупных платежей. Давно умерла девица Ленорман, лишившая Ивана Платоновича покойного сна. Наконец, пришла на землю бумажка из небесной канцелярии: "Вытребовать!"

Ноги Ивана Платоновича весят сто пудов от отеков, но мягкой постели не знают. На голове ни волоса, во рту шатается последний зуб. Однако умирать не хочется – умирать никому не хочется. Готов еще столько же лет просидеть в кресле в синем фраке с золотыми пуговицами.

В последние дни стал Иван Платонович неопрятен от слабости и невозможности встать. Приходит доктор, немец, говорящий по-латыни, презирающий русских и берущий за визит пятьдесят рублей. Кричит на калмычку, велит уложить Ивана Платоновича в постель. И хотя постель куплена и по-

ставлена, но при одном упоминании о ней Иван Платонович открывает левый глаз, грозит кулаком и пискливым голосом верещит непонятное.

Приходится уложить его силой. Калмычка взбивает подушки, два лакея берут барина под мышки, доктор смотрит грозно и презрительно. Иван Платонович плачет, визжит и отбивается: не для того он всю жизнь прожил без покоя и настоящего сна, чтобы дать победу девице Ленорман! Так тащат бычка на бойню и преступника на казнь. Но с грозным немцем, со здоровыми молодцами и преданной калмычкой ему уже не совладать. Держа на весу, тяжелым мешком кладут его на гагачий пух под стеганое одеяло.

И едва положили – в первый раз за полвека заснул Иван Платонович сном покойным и со всеми удобствами, заснул – и больше не проснулся.

На том свете, на самом пороге, встретила его девица Ленорман, подхватила под ручку, и оба они отправились предстать пред лицо великого Судии.

ТАНЦОРЫ ПОНЕВОЛЕ

Заседание открывается в двенадцать часов дня. Присутствуют члены Общества: гг. Коликов, Кобельков, Козиков, Колпаков, Кибиков, Кукликов, Коловрасов, Куков и Карапузиков; по нездоровью и похмелью отсутствуют: Куропятов, Круглов, Кукурузов и другие, коим поставлено выразить сочувствие и восхищение.

По предложению председательствующего "архимандрита" Кобелькова (в мире Павел Степанович Федоров) "протодиакон" Колпаков (он же Мундт Александр Петрович) провозглашает многолетие Анюточке Савиновой. Член Общества Коловратов-Визапурский благодарит за честь, оказанную состоящей под его покровительством хорошенькой женщине.

По общему требованию и в силу установившегося обычая, тот же "протодиакон" возглашает анафему директору императорских театров Александру Михайловичу Гедеонову, старому черту и кровопивцу. Анафема дружно подхватывается хором.

Оркестр и солист, в составе одного рояля и одного оперного певца Самойлова, он же Кукурузов, исполняют отрывок из балета "Волшебная флейта", причем все участвующие в заседании, временно покинув кресла, танцуют, прыгают или

шевелят в такт всем корпусом, соответственно их темпераментам, возрасту и возбудимости.

Из дел, назначенных к обсуждению, первым заслушивается дело о непосещении отсутствующим членом Общества Кругловым спектакля с участием воспитанницы театрального училища Машеньки Стебельковой, с декабря месяца состоящей с ним в тесном общении душ. Несмотря на указание на то, что помянутый выше Круглов в этот день был с утра в крайне нетрезвом состоянии, что подтверждается также и свидетельскими показаниями, собрание выносит заочное осуждение нарушителю устава и штрафует его на три бутылки шампанского, о чем и посылается ему извещение.

При переходе к очередным делам читается пародия на либретто новой оперы, шедшей в императорском театре, и исполняется романс члена общества Кукова, в мире Константина Булгакова, отличный по музыкальности и непристойности текста. На рояле, как всегда, аккомпанирует "архимандрит".

Следует затем хроника событий. По слухам, Катя Большакова сегодня нездорова и не участвует в балете, но этот слух необходимо проверить. Ввиду неудобства смотреть через двойные зимние рамы телескоп на треножнике выставляется в отворенную форточку и направляется на окна театрального училища. На стул взбирается князь Визапурский как наиболее "дальновидный", различающий даже и невооруженным глазом надписи на запотевших стеклах в училище. Извещения о болезни Кати Большаковой нет, но две девицы показывают на пальцах, что выезд на репетицию (двойной знак креста) состоится в четыре часа с половиной. Сопровождать воспитанниц будет классная дама Курноска (изображается очень легко и просто), а театрального чиновника, вероятно, не будет (знак – два кулака и отрицательное движение пальчиком). Последнее сообщение вызывает общую радость.

Для пояснения: театральное училище помещается на Мойке, а заседания Общества танцоров поневоле происходят в специально снятой квартире по другую сторону Мойки. Этим очень облегчается общение.

Что за танцоры поневоле? Круг молодых театралов, поклявшихся танцевать всякий раз, как где-нибудь исполняется мотив из "Волшебной флейты". В самом крайнем случае, если исполнять танец оказывается, по условиям места, совершенно невозможным, члены Общества обязуются уставом делать в такт мотива телодвижения или хотя бы шевелить головой или пальцами. Неисполнение этого грозит штрафом, а при

повторении – исключением из Общества. Менее объяснимо, почему все члены Общества должны носить в кругу своем и в кругах воспитанниц училища вымышленные фамилии, начинающиеся на букву "К" и кончающиеся на "ов".

Обсудив полученные сведения, собрание постановляет:

"Всем членам Общества быть к четырем с половиной часам в собственных или наемных экипажах на набережной, между Львиным и Каменным мостами. Члену Общества Коловратову, имеющему опытного и преданного кучера Петрушку, принять меры, какие найдет нужным по ходу обстоятельств, и действовать за командира".

Заседание закрывается "архимандритом" при обычном ритуальном танце под мотив из "Волшебной флейты".

* * *

Это было ровно сто лет тому назад, в печальной памяти николаевскую эпоху. Огонь потух, души опустошились, тяга к общественности приняла дозволенные карикатурные формы. Вместо лож масонских и политических тайных обществ процветали теперь шутовские кружки золотой молодежи. К ним Николай относился с монаршим снисхождением: пусть молодежь шалит, это отвлекает ее от вредных идей. И Общество танцоров поневоле пользовалось в Петербурге успехом и даже некоторым влиянием в театральном деле: оно могло сорвать спектакль, как могло и создать успех новой пьесе. Впрочем, его члены преимущественно занимались маленькими романами с воспитанницами театрального училища, которых начальство содержало в строгости и на институтском положении.

В пятом часу дня из ворот училища выехали две кареты. Классная дама по прозвищу Курноска приняла все меры для благополучного проезда: лично осмотрела кареты и велела опустить шторы. Был случай, весьма скандальный, когда один сорванец, подкупив кучера, забрался под лавочку и так проехал незамеченным до середины пути. С приятелями он держал пари, что поцелует самую красивую ножку. На его несчастье, голова его оказалась под сиденьем ненавистной Курноски. Кончилось это визгом девиц, притворившихся испуганными, хотя и посвященных в предприятие, и настоящим испугом Курноски, которую отчаявшийся ловелас ухватил в пути за ногу. С большим скандалом его извлекли из кареты, но проделка осталась безнаказанной: молодого человека отбили и умчали его сочлены по почтенному Обществу.

На этот раз кучер новый и никаких неожиданностей не предвидится. Воспитанницы сидят смирненько и грустно: им неизвестно постановление Общества. До Екатерининского канала кареты едут быстро и без задержек. На набережной остановка: поперек узкой дороги, где едва разъезжаются два экипажа, застряли чьи-то парные сани, запряженные серыми конями в яблоках. Сани стоят поперек дороги, возница лениво распрягает лошадей. К карете, где сидит дама Курноска, подлетает изящный молодой человек, князь Визапурский, и, рекомендуясь маркизом Коловратовым, приносит искреннейшие извинения: его лошади запутались в постромках и неопытный кучер ничего не может поделать. Досадный затор экипажей; целая толпа молодежи окружает обе кареты; оживленный обмен впечатлений, бомбоньерки с конфетами, столь редкие зимой фрукты, даже живые цветы. Маркиз Коловратов так рассыпается перед престарелой девицей, что решительно не дает ей времени навести порядок: сегодня он – жертва Общества. Кучер возится полчаса, пока не вмешиваются будочники. Успех полный, и девицы рады опоздать на репетицию.

Вечером все члены Общества в балете. Если выступает солисткой их любимица – вызовам нет конца. Не только на дешевых местах, но и в креслах сидят не вполне обычные балетоманы: в приличных платьях, но явно с чужого плеча и не к их простецким лицам. Это лакеи, повара и прочая челядь танцоров поневоле, получившая билеты с приказом рукоплескать и кричать по команде. Иногда овации выпадают на долю артистки, исполняющей самую незначительную роль; это значит, что члены Общества способствуют карьере фаворитки приятеля. Хочет того или не хочет директор Гедеонов – завтра о новой звезде заговорит Петербург.

* * *

Протоколы Общества становятся слишком однообразными; падает изобретательность. Теперь и в дневное время кареты воспитанниц сопровождаются конными жандармами: по жалобе Гедеонова – распоряжение императора, впрочем, изволившего смеяться над проделками шалунов. Конечно, жандармы – не препятствие для гвардейских офицеров, но слишком далеко заходить не стоит. Классной даме Курноске устроен кошачий концерт. С Гедеоновым поступили безжалостно, в дождливый вечер напоив до бесчувствия его кучера; выйдя из театра, как обычно, уже после разъезда, директор

напрасно ждал кареты. Выл ветер, лил дождь, и какие-то сорванцы, скрываясь в темноте, пели панихиду и провозглашали анафему представителю театрального начальства. Под их пенье пришлось идти домой пешком.

Влюблен, и серьезно, член Общества Козиков, он же лейбгусар князь Вяземский; влюблен в девицу Кох, которая скоро окончит училище. Но, во-первых, кипучая страсть не ждет, во-вторых, Козиков слишком знатен и богат, чтобы мечтать о законном союзе. У девицы Кох есть мать, вдова, женщина бедная и догадливая; ее нетрудно убедить, что все равно маленькой актрисе театра единственная верная дорога – найти богатого покровителя.

Вывод отсюда прост: девицу Кох необходимо похитить. Верный друг, сочлен Васильев, офицер Преображенского полка, готов благословить влюбленных; знают об этом и другие; но на этот раз проказа слишком серьезна и держится в тайне.

В приемный час, когда на свиданье к воспитанницам допускаются близкие родственники, у телескопа Общества очередь: всем любопытно, как это произойдет. Ровно в два часа в училище вошла старушка в черном, мать девицы Кох. Через полчаса она вышла с низко наклоненной головой, но на улице не выдержала и быстро побежала к закрытой карете, ожидавшей на углу. Карета умчалась. Но через некоторое время из подъезда вышла та же старуха и побрела, боязливо оглядываясь. Мать продала дочь и помогла ей незаметно бежать, переодевшись в старушечье платье; швейцар пропустил обеих: одну по платью, другую по знакомому лицу.

У телескопа смущенье: до последней минуты не верили, что Вяземский и Васильев не шутят. Убедившись, поняли, что это уже не шутка, а подлость: соблазнить тысячами жалкую старуху. Вечером оба офицера в театре, чтобы отклонить подозрение; но вместо поздравлений – холодок со стороны друзей. Девушка отправлена в Царское Село, на холостую квартиру Вяземского. О бегстве ее доложено императору и уже говорят в светском Петербурге; не только говорят, но и называют Общество танцоров поневоле.

Этого, пожалуй, не простит и император: шалость слишком дерзкая. Утром совещались, как быть. Первым спасовал и испугался Вяземский, страсть которого прошла. Вернуть девушку в училище невозможно: пощады ей не будет, и она может выдать виновных. Вяземский и Васильев скачут в Царское Село за пленницей, оттуда в Кронштадт, и на другой день

девицу Кох отправляют в Копенгаген на иностранном пароходе.

Бойкая девица не пострадала. Деньги помогли ей устроиться танцовщицей в копенгагенском театре; позже, попав под манифест, она вернулась в Россию.

Хуже повернулась судьба офицеров. Три месяца спустя Общество праздновало их освобождение с гауптвахты и оплакивало их предстоящий отъезд. Впрочем, император, умевший быть жестоким, когда дело шло о политике, остался милостивым, когда вопрос шел только о покупке дочери у бедной вдовы. Вяземский был переведен тем же чином в армию, Васильев сослан на Кавказ. Первый выслужился, второй был убит.

С их отъездом распалось и Общество танцоров поневоле. В его протоколах нет даже постановления о закрытии. Просто – члены его перестали танцевать и кривляться при звуках танца из “Волшебной флейты”. Или им стало слишком стыдно. Или даже и эта форма общественности оказалась неуместной для эпохи шпицрутенов. Или, наконец, стали зарождаться в умах новые мысли, которым было удобнее до поры до времени таиться под спудом. Историки эпохи не упоминают о довольно бесславной деятельности Общества танцоров.

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ

Все, что можно придумать странного и страшного, – все было собрано в двух комнатах милого чудака, большого барина и бывшего богача Андрея Борисовича. Свое состояние он прожил хорошо: и сам им пользовался, и помогал другим не голодать или хотя бы просто не скучать и не обижаться на судьбу. Когда же пришли почтенные годы, – смерть еще не за плечами, но уже в щелочку подглядывает, тут ли человек, ждет ли, – осталось у Андрея Борисовича достаточно на прожиток и ничего для соблазна многочисленных наследников. Так и лучше – никто не беспокоит заботами и советами о здоровье.

Под старость развились в характере и склонностях Андрея Борисовича черточки, наметившиеся еще в молодые годы: любовь к таинственному, загадочному, необъяснимому, занимательному, страховитому. В свое время отдал дань увлечению тайными обществами и потусторонними знаниями; тайные общества пресеклись со смертью царя Александра в Таганроге, а наступившая новая строгая жизнь отвлекла от пустяковых мечтаний. Но вкусивший от запретного плода –

вкуса его не забывает; на покое, в отставке от дел государственных, Андрей Борисович вернулся к любимым книжкам – Сведенборгу, Эккартсгаузену, творениям Феофраста Парацельса Гогенгеймского, к тайным спискам книг сивилловых, к пробиркам с серой и ртутью, к Изумрудной таблице Гермия Трижды величайшего. Не то чтобы уходил с головой в алхимию и черную магию, а все же забавлялся не на шутку, не столько мечтая о золоте, сколько о жизненном эликсире. Жизнь была прожита неплохая, – отчего бы и не повторить ее, вернув себе молодость и способность к милым шалостям и глупостям, которые никогда не наскучат?

В тайных знаниях помогал Андрею Борисовичу московский, по тому времени знаменитый маг и кудесник, не то армянин, не то персидский выкрест Давьяк, по профессии жулик и шарлатан, зарабатывавший на простаках. Андрей Борисович не верил Давьяку, но не мог без него обходиться, потому что любил обставлять свои занятия магией всякими внешними фокусами, а только Давьяк умел раздобыть, когда нужно, черную кошку, сову, замысловатый рецептик, металлы, соли, колбочки, перегонный куб и всякую иную дребедень. Давьяк украсил стены рабочего кабинета Андрея Борисовича таинственными фигурами, чертежами, знаками зодиака и надписями на неведомых и вряд ли существовавших языках. Все это помогало создавать нужное настроение, и своей рабочей комнатой Андрей Борисович искренно любовался. Работая, надевал перепачканный и прожженный халат, подвязывался сыромятным ремешком, а на голову надевал род камилавки или остроконечный колпак со звездами. В этом костюме он больше всего читал старинные книги и рукописи, до смысла которых добраться было нелегко, но без помощи которых тщетно было надеяться найти философический камень и изготовить жизненный эликсир, не только излечивающий все болезни, но и дающий бессмертие.

Большим сокровищем Андрея Борисовича были несколько списков книг о сивиллах с изображениями в красках и золоте, особенно книга о них мудреца Маркуса, писанная в полулист на толстой александрийской бумаге крупным полууставом. “Что есть Сивилля? Мы о Сивиллях сице отвещаем: Сивилля есть женский пол человек, девственный, чрез мановение предречительный. Понеже жена скорее растет и скорее исчезает, и разум имат мягчайший и непостоянший”. В часы вечерние, в мерцании трех восковых свечей, покойное кресло Андрея Борисовича окружали девственные пророчицы, среди которых были у него любимицы, были и ненавист-

ные. С великой важностью входила древнейшая и славнейшая сивилла халдейская Самвифи во златых ризах, зраку младообразного, красотой зело добра, умывалась в трех корытах, из единого камня усеченных, садилась на высокий престол и изрекала пророчества. Ее сменяла сивилла Ливика, родом из Барбарии, взору среднего, собой зело черна, а в руке масляная ветвь. За черноту Андрей Борисович ее не очень долюбливал, но любил повторять ее стихи: "Приидет день светлости – и разгонит вся темности". За Ливикой входила Делфика, родом гречанка, молоденькая, с главой, обмотанной волосами, всегда в руках с веткой Дафнией, сиречь бобковиное дерево. С пустыми руками сивиллы не являлись, а несли: одна – агнца, другая – меч голый и яблоко кругло, а то книгу и терновый венец, класы житнии, скипетр, воловий рог. Одни были одеты скромно, другие – в золото и пурпур, и возрастом все различны, от молоденькой, всегда веселой хохотушки Любики, до противной нравом, гневливой Фригиаты, неприятнейшей старушенции с распущенными волосами. Последней входила итальянка Тыбуртина в красной одежде, с козловой кожей на плечах, современница Цесаря Октовьяна, и на этом шествие сивилл кончалось, и Андрей Борисович ставил на полку свою драгоценную рукописную книгу.

Где-нибудь да должна была сохраниться утраченная людьми древняя мудрость. Феофраст Парацельс дает немало указаний, но понять его нелегко, говорит он больше намеками, а самые рецепты нарочно запутаны словесной неразберихой, – что и естественно, потому что он писал не для всех, а лишь для догадливых и мудрых. Андрей Борисович перепортил немало всякого добра, кипятя в колбочках разные снадобья и по указанию, и по догадке. Один раз колбочку взорвало, и едва Андрей Борисович не потерял глаз; другой раз надышался каких-то синих паров до головной боли, так что спасла только тертая редька. Года два затратил на изготовление желтого металла, который в последней перегонке должен был превратиться в золото, и на эти опыты ухлопал столько денег, что пришлось бы, открывши секрет, поставить целую фабричку, чтобы вернуть одни только расходы. В этом деле ему с особым старанием помогал Давьяк, пока не наскучило Андрею Борисовичу кормить шарлатана. Да и что в нем, в золоте? Разве в богатстве счастье? Это только в молодости так кажется, а когда седеют волосы, слабеет зрение, появляется ломота в пояснице, устают ноги даже от малой ходьбы, а вкусные любимые блюда становятся в брюхе колышком, – тогда человек догадывается, что никакое богатство не вернет ему моло-

дых утех и смелости прекрасного неблагоразумия. И, однако, говорится в старинных книгах о людях, которые знали тайну вечной молодости и жили припеваючи дольше, чем можно поверить. Сколько есть чудесных трав, действие которых нам не вполне ведомо. Иная деревенская бабушка знает больше нашего, но, по неграмотности и темноте, всей силы из ведомых ей трав извлечь не может. Тут даже не чародейство, а подлинное знание, только либо забытое, либо не доведенное до конца усердными опытами. Но без связи с чудесным наука не имеет силы, и прост тот, кто верит лекарственным лепешечкам и каплям, остаткам знания древних врачевателей, а в целительные силы природы проникнуть не пытается.

Решив ничем не пренебрегать, Андрей Борисович спутешествовал в свою последнюю оставшуюся от богатств бездоходную деревеньку, где проживала старуха, известная за колдунью и врачевательницу, и добыл у нее разных трав и снадобий, порасспросив и об их чудесных действиях, не очень ей доверяя, а все же на случай, что пригодится. Привез в Москву травы колюки, собранной по вечерней росе и хранимой в коровьем пузыре; адамовой головы, действующей от Иванова дня до великого четверга; травы прикрыша, сорванной с заклятьем в великоденский мясоед; сон-травы пророческой, которая шевелится в полнолуние; травы трилича – натирать подмышки; и плакуна; и нечуй-ветра, сорванного ртом, так как в руки эта трава не дается; и разрыва; и цвета кочедыжника, прихватив также и косточку, с которой старуха долго не хотела расставаться, потому что та косточка была от черной кошки, заклеванной вороном в безлунную ночь под пятницу.

Может быть, все эти травы – один обман, а возможно, что на все хоть одна да окажется чудесной; недаром русский народ в них верит. И если правду говорить, то не от таких же ли народных средств пошла и теперешняя лекарская наука? Та же баба-колдунья заговаривать зубную боль великая мастерица, куда лучше зубных докторов, которые только и умеют, что рвать клещами да чистить угольным порошком.

Разобрав свои травы, Андрей Борисович какие выбросил по сомнительности, а на других настоял чистый спирт, для силы подмешав и своих испытанных снадобий, не раз помогавших здоровью. Настояв, смешивал на счастье разные сорта, подбирая по цвету и вкусу и пробуя с осторожностью, потому что могла случиться и отрава. Пил помалу на сон грядущий, следя за снами и за утренним пробуждением. Иногда был сон тяжел – значит, состав неправилен; иногда же, выпив ста-

канчик-другой водки с капельками пробного эликсира, спал как убитый, а просыпался молодец молодцом. Так, аккуратно следя и отмечая для памяти, добился Андрей Борисович многого: попал на верную дорогу. И одышка меньше, и поясницу не ломит, и словно бы стали падать седые волосы, освобождая место для новых, белокурых, которыми в молодости умел побеждать сердца.

При таком успехе решил принимать свой эликсир побольше и почаще, всегда запивая чистой водкой, потому что был у этого снадобья двойной недостаток: вкус препротивный и такой запах, что свежий и непривычный человек не мог бы выдержать. Нужна была вера в доброе действие, чтобы терпеть такую муку, и веры у Андрея Борисовича оказался запас неисчерпаемый; надо думать, что она ему и помогала если не подлинно молодеть, то чувствовать себя веселее и радостней после хорошего приема чудодейственной и чудовищной настойки.

И вот никто ничего не знает, а мудрый человек, в тиши своего всякими чудесами обставленного кабинета, открыл секрет вечной молодости и бессмертия, на самом себе доказав благотворное действие тайного декокта! С двух стаканчиков делался Андрей Борисович почти что юношей, только что зубы заново не вырастали да кудри не вились на гладком черепе!

Дело было на святках, когда Андрей Борисович приказал лакею приготовить парадное платье, не модное, как носили щеголи, со штанами веллингтон навыпуск, а с чулками в обтяжку, а на туфлях бантик. Надевая, немного охал, на ходу же размялся – совсем молодой человек. Ехал Андрей Борисович на великосветский бал в родственном княжеском доме, где давно не бывал. Подкатил лихо, поднялся по лестнице без передышки, вошел с лицом приветливым и сияющим. И кого бы ни встретил – всякий находил для него слово ласки и одобрения: "Вас ли вижу, Андрей Борисович? Да каким вы молодцом!" – "Слава Господу, не жалуюсь!" – "Прямо – жених!" – "И женюсь, если понравится какая девица". – "Уж не впрямь ли нашли жизненный эликсир?" – "Придет время – всё узнаете!"

Гремит музыка, горит разом не меньше ста восковых свечей, молодежь шаркает ногами по крашеному полу. Девушки в светлом, с обнаженными плечами ходят в строгом вальсе со стройными кавалерами. Танец новый, но для старого и опытного танцора никакое па не в диковинку. И едва заиграла музыка новый вальс – ахнули старички и улыбнулись молодые, увидав в первой паре убеленного сединами Андрея Бо-

рисовича с молодой черноглазой девицей, по прелести – невестой, по возрасту - внучкой своего кавалера. Иные прыгают, но Андрей Борисович умел плыть в танцах со старинным изяществом, едва касаясь своей дамы, как драгоценной игрушки.

Первый круг – без видимой усталости, на втором круге лысина Андрея Борисовича покрылась обильной испариной, и лишь на третьем круге побледнел, как пергамент, увидав с необычайной ясностью, что танцует он не с прекрасной сивиллой Любикой, яже от страны Африкийские, всегда радостной и ходившей в зеленом венце, – а с ведьмой сивиллой, родом из Фригии, где была Троя, старой, кручиноватой и жалостной, напрасно оголившей плечо. И тогда же он почувствовал, как его сердце сделало два непомерных скачка, а на третьем спотыкнулось, ухнуло в пропасть и повлекло его за собой.

И хотя тем самым омрачился веселый святочный бал в княжеском доме, но все говорили, что уж если в конце своей жизни поставлена непременная и неизбежная смерть, то лучшей нельзя пожелать, как та, которую нашел в танце с молодой девицей милый барин и великий чудак Андрей Борисович, изобретатель жизненного эликсира.

ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ

Чтобы добыть немножко человеческой крови, сейчас пользуются усовершенствованными инструментами – кровесосной банкой или автоматическим ланцетиком, в котором что-то такое нажимается, какая-то кнопочка, и кровь безо всякой боли добывается, сколько нужно. В любой больнице есть такая штучка. Может быть, было что-нибудь подобное и в сороковых годах прошлого века, но, во всяком случае, не знал об этом младший писарь конторы нарвского военного госпиталя Фадей Дубовцов.

Поэтому он обратился к способу старому и верному, хотя немного хлопотному: стал ковырять собственный нос усиленно, запуская палец поглубже, стараясь расцарапать ногтем. Сначала добывал совершенно ненужное, наконец пошла и кровь, не обильно, но достаточно для коротенького письма.

Очинив доброе гусиное перо, писарь Дубовцов макнул его прямо в ноздрю, повертел там и написал следующее на четвертушке бумаги:

“1840 года я, нижеподписавшийся, даю сие рукописание

князю ангелов в том, что хочу служить им, а от Бога и креста православной веры отрекаюсь, никогда быть и веровать православной вере не буду только с тем, чтобы мне служили сколько-нибудь ангелов, что я захочу, и чтобы мне повиновались и всё слушали. Раб твой Фадей".

Заметьте – письмо безо всякого обращения, что и естественно: чин князя ангелов неизвестен, хотя, конечно, не ниже генеральского, и сомнительно, чтобы можно было писать ему "ваше сиятельство".

Дальше полагалось пойти в полночь в глухое место, взять с собой рукописание, положить его в пятку сапога, повернуться на пятке три раза и сказать:

– Черный бог, приди ко мне, помоги мне, возьми мою душу и служи мне во всем.

Как известно, есть и другие способы заставить князя ангелов, в просторечии – дьявола, служить человеку верой и правдой. Можно, например, делать это через посредников, поверенных дьявола, которым уплачивается за это определенный гонорар. Тогда нужно предварительно выпариться в бане березовым веником, окатиться холодной водой, и, если на теле останутся три березовых листика, – отнести их к упомянутому дьявольскому присяжному поверенному, который наставит в дальнейшем. Но березовый веник хорош, пока он свеж, дело же происходило в ночь на святого Касьяна, на 29 февраля високосного года, когда березы только наливают почки, а листа еще не пускают.

Вечером этого дня Дубовцов улегся спать в конторе и попросил часового, который стоял у денежного ящика, разбудить в одиннадцать часов. И хотя был Дубовцов немного выпивши, и по обычаю и для храбрости, но все же в нужное время встал, вышел и направился к глухому месту, захватив и письмо.

Это удивительно, до чего враг человеческий хитер! Его обычный прием заключается в том, чтобы человека соблазнить, заставив отступиться от православной веры и подтвердив это письменно, – а затем обмануть человека каким-нибудь трюком. Обычно он запугивает, но человека военного, да еще просвещенного наукой писаря, да еще с мухой, легко не запугаешь. Поэтому в данном случае дьявол употребил другую хитрость: заставил запеть петуха, а может быть, и сам за него спел в неурочный час.

Только наивный человек пойдет договариваться с дьяволом после петушиного пения – верный неуспех! Писарю Дубовцову осталось плюнуть и пойти обратно. Главная обида в том, что

теперь жди четыре года новой ночи под святого Касьяна или же обращайся к чертову поверенному. Между тем дело было спешное, и писарь уже придумал разные мелочи и более крупные дела, в которых ему была совершенно необходима скорая помощь нечистой силы. Большинство дел было характера меркантильного, попросту говоря – денежного, вроде ста рублей ассигнациями и кое-какой мелочишки на выпивку. Для простоты писарь полагал ограничить требование неразменным рублем, очень удобной платежной единицей, имеющей чудесное свойство постоянно возвращаться в карман владельца. Из других пожеланий было кое-что и по амурной части, а также офицерские сапоги и трехрядная гармония.

Как сказано, на этот раз ничего не вышло. Впрочем, вышло – и худое: по небрежности писарь потерял заготовленное письмо к князю ангелов (правильнее – аггелов), да не очень им и дорожил, потому что все равно за четыре года подобное чернило выцветет, а нос всегда при себе.

1 марта в 9 часов утра рядовой госпитальной команды нашел на дворе роковую записку и представил ее в контору смотрителю госпиталя Флегерингу.

В тот же день ужаснувшийся смотритель препроводил записку при рапорте нарвскому коменданту, свиты его величества генерал-майору барону Велио.

На другой же день возмущенный свиты его величества генерал-майор послал отношение командиру гренадерского его величества короля прусского полка, генерал-майору Липранди.

Еще позже лишь одним днем, как бы опровергая толки о медленности следственно-судебных производств, командир гренадерского его величества короля прусского полка генерал-майор Липранди, чувствуя всю тягость ответственности в подобном деле перед его величеством, шефом полка королем прусским, и перед его величеством императором российской державы Николаем Павловичем, а также перед отечеством, угрожаемым злоумышленными отступниками от веры православной, назначил приказом следственную комиссию в составе одного штаб-офицера и одного полкового аудитора, совместно с назначенными со стороны коменданта одним обер-офицером и смотрителем госпиталя.

8 марта 1840 года комиссия начала следствие.

Какая все-таки разница между следствиями гражданским и военным! Гражданские тянулись порою годами, наворачивались груды бумаги, подсудимые успевали состариться или умереть, прежде чем их наконец предавали суду. Люди военные в важных делах действуют молниеносно. Достаточно ска-

зать, что пятеро военных чинов, правда люди со специальным образованием, в два месяца разобрались в сложнейшем деле о продаже писарем Дубовцовым своей души дьяволу.

Потребовалось, правда, еще участие одиннадцати сведущих и опытных аудиторов, экспертов по почерку.

Дело в том, что писарь Дубовцов имел сообщника, точнее сказать, подстрекателя, Ивана Седельникова, рядового подвижной инвалидной номер пятьдесят шестой роты. Вероятно, этот Седельников и был частным поверенным князя ангелов, потому что в кармане арестованного Дубовцова была найдена записка-наставление, писанная рукой Ивана. Да и вообще многие видали, как они вместе выпивали, доходя до совсем неприличного для военных людей состояния; выпивали с любовью и со знанием дела: сначала морили червячка, потом зашибали дрозда, затем клюкали с воздержанием, с расстановкой и с расположением. Первую – как свет, призвав друга в привет; вторую – пред обедом, с ближним соседом; третью – пополудни, не то в праздник, не то в будни. Оба держались того взгляда, что недопой хуже перепоя. Водку же, по тому времени разнообразную, не монопольную, различали по особым названиям и приметам: сивуха, сивалдай, сильвупле, царская мадера, пожиже воды, пользительная, хлебная слеза, распоясная, повздошная, крякун, клин в голову, прильпе язык к гортани, мир Европе и прочее.

Иван Седельников в составлении записки не признался, и пришлось его уличать. Одиннадцать экспертов поработали немало и установили полное тожество его почерка. Однако, по отзывам тульской губернской гимназии, где он окончил два класса, и второго департамента московского уездного суда, где раньше служил канцеляристом, Седельников был в вере тверд, поведения благочестивого и у святого причастия бывал неизменно. То же подтвердила и казенная палата, большой в этом вопросе авторитет. Были, впрочем, и такие свидетели, которые слыхали, как Седельников, наливая себе водочки, нежно говорил: "Рюмочка каток, покатися мне в роток!" – на что его приятель Дубовцов неизменно говорил: "Ухни и мне".

Такова была запутанность дела об отречении от Бога писаря Дубовцова и рядового Седельникова. Все же к середине месяца июня клубок был более или менее распутан, и управляющий санкт-петербургскою комиссариатскою комиссиею полковник Княжнин предал обвиняемых военному суду при санкт-петербургском ордонанс-гаузе.

В сентябре того же года комиссия военного суда вынесла

сентенцию, в коей писарь Дубовцов был признан виновным в намерении отречься от Бога и православной веры и в посягательстве на исполнение этого преступления, рядовой Седельников – в подстрекательстве. Но так как выяснилось, что означенное преступление учинено ими в первый раз из легкомыслия и более от пьянства, то комиссия приговорила:

– Прогнать их сквозь строй каждого через пять сот человек по три раза.

Полторы тысячи ударов шпицрутенами достаточны, даже при вежливом обращении, чтобы превратить быка в куриные котлетки. К таким наказаниям присуждал иногда Николай Первый, произнося при этом свою знаменитую фразу: "Слава Богу, у нас нет смертной казни и не мне ее вводить".

Принимая это в соображение, управляющий комиссией, человек мягкий и добросердечный, высказал особое мнение: "Прогнать их сквозь строй через пять сот человек, но только один раз". При таких условиях бык, хотя и превращается в отбивную котлету, но бычачью же.

Еще дальше пошел в милосердии, а главное, обнаружил оттенок справедливости кригс-комиссар, генерал-майор Храпачев, также подавший особое мнение. По его мнению, Дубовцов потерял рассудок от пьянства, а Седельников, по-видимому, вообще не виноват. Поэтому Дубовцову нужно дать двести ударов розгами, а Седельникову тоже дать на всякий случай сто розог, после чего обоих отправить в арестантские роты.

Этим дело, конечно, еще не кончилось, так как требовалось утверждение мнения комиссии и особых мнений генерал-аудитором, который и постановил писаря Дубовцова лишить писарского звания, наказать двумястами розог и отослать к духовному начальству для поступления с ним по церковным правилам, а потом – на фронт. Наказание, как мы видим, сравнительно мягкое и нечленовредительное, хотя и оскорбительное.

Что же касается до рядового Седельникова, – то тут суд человеческий, хотя и военный, оказался не властным, так как Седельникова, несомненно частного поверенного дьявола, до окончания суда призвал на свой собственный суд не то его прямой начальник, не то Высший Судия, против которого он, Седельников, вел подкоп и от которого учил Дубовцова отречься.

Ни следственное производство, ни судебное решение этого верховного суда до нас не дошли; во всяком случае, в архиве аудиториатского департамента, откуда заимствованы до-

кументы по этому делу, никакой переписки с небесной канцелярией не оказалось: только дела земные.

Мы думаем, однако, что этот суд был еще мягче. Самое большее – присужден был рядовой Седельников к лишению удовольствия споласкивать зубы и смачивать усы хлебной слезой.

А когда в место упокоения явился и земной его приятель, бывший писарь Фадей Дубовцов, то они могли, вспоминая земные странствия, почесывать затылки и повторять полную унылого раздумья поговорку:

"Не винца, так пивца; не пивца, так кваску; не кваску, так водки из-под легкия лодки!"

МОСКОВСКИЙ ПОДВИЖНИК

"...Согласно приказа Вашего превосходительства, негласным дознанием обнаружено: означенный Иван, Яковлев сын, прозванием Корейша, однако, подлинного пачпорта не имеет, из смоленских священнических детей, ныне местопребывание в московском преображенском призрения безумных доме, будучи выслан за расстройство семейных дел необузданным пророчеством. В названном безумном доме проживая на казенном иждивении, почитается как бы святым, объявляя заранее о морозах, холере и предсказывая загодя войны, за что приносят ему в изобилии калачи, яблоки и нюхательный табак, причем либо сторожами, либо его сподручной бабой поставлены при входе три кружки для денег, дающие весьма обильный сбор. По расспросам, особо вредным не оказался, а, напротив, исцеляет также от зубной боли и выдает записки для дальнейшего поведения нуждающих. В ихней палате премножество икон со свечами, где и принимает посетителей, преобладающе от купчих, которым пророчествует будто на латынском языке для меньшего понимания, тем действуя исцеляюще, как, например, одну особу ударил яблоками в область живота, доведя до обморока, после чего вставши отбыла домой в полном здоровье..."

Вся Москва знает о великом чудотворце Иване Яковлевиче, живущем в доме умалишенных. Лет ему то ли сорок, то ли все восемьдесят, угадать трудно, голова лыса, на лице скудные волосья бриты, а то и просто не растут, само лицо сально и грязно, глаза полусо́нны, нос сплюснут. Иван Яковлевич не моется и все, что потребно, делает в постеле. Ест все, вплоть до щей, руками, а руки вытирает о рубашку и простыню. Слу-

чается, что встает и сидит в кресле, и тогда делается говорливым. Что он говорит – разобрать легко, а понять дано не всякому. Скажет, например: “Более гораздо квадратных лет ради Бога с его народами тружусь у печки на двух квадратных саженях”, – что это значит и к чему сказано? Слова мудры, а постигнет далеко не всяк!

Слава Ивана Яковлевича прочна и неколебима. Чудеса его доказаны, предсказанья безошибочны, а если бывает ошибка, то не его вина: неправильно поняли предсказательское слово. Над каждым словом надо подумать и голову поломать. Барыня вдовая, заскучавши, вопросила Ивана Яковлевича: “Выйду ли опять замуж?” – а он в ответ: “Это хитрая штука в своей силе, что в рот носили”. Полгода думала вдова над этими словами и не решалась, однако вышла замуж за коллежского советника и живет счастливо, хотя муж и заика; все надо понимать!

* * *

Машеньку Невзорову, среднего достатка дворянскую дочь, повезла маменька показать святому человеку Ивану Яковлевичу в безумный дом. Машеньке осьмнадцатый год, невеста в полном расцвете, из себя приятна, слегка курноса, щечки пухлы, глазки отлично голубые и нигде никаких пороков, кроме того, что в последние месяцы напала на Машеньку задумчивость: побегает, поболтает, да вдруг и задумается. “Что с тобой, о чем?” – “Да нет, маменька, ничего, я так просто!” И, однако, с лица сделалась бледнее и словно бы спала с тела. Между тем Машеньке заготовлен жених, солидный помещик и отставной майор, лет за сорок, мужчина в полном соку и блеске сил, партия счастливая и выгодная. Надо бы девушке цвести и радоваться, а вместо того бледнеет и впадает в думу.

Приехали в час полуденный и застали Ивана Яковлевича вставши и в кресле. По теплому весеннему времени в комнате не продохнуть, но окна на задвижках. Правый угол и от него обе стены в образах, перед многими коптят лампадки, среди полу большой подсвечник накладного серебра с местной свечой, кругом гнезда для малых свечек. У стены кровать, и от ней ли, от него ли самого дух тяжелый, с воздуха прямо невыносимый.

Впустили беспрепятственно; прислуживающей бабе сунуто в руку, да положено в кружку, сколько прилично по состоя-

нию. И едва увидал Иван Яковлевич барыню с дочкой, как, громко икнувши, воскликнул канареечным голосом:

– Телка с телушкой, аргентовы ушки, подай сюда молодшую!

Прислуживающая баба, вроде черницы, разъяснила, что требует угодник девицу для леченья и что это – большая благодать, не всяким сразу оглашается. Перепуганную Машеньку подвели с поклоном, и святой, забравши ее на колени, почал вертеть и мять с большой натугой, покряхтывая. Когда же стал перекидывать ножки, старый да сильный, Машенька, не вытерпев страха, закричала и вырвалась. Очень был грязен и пахуч Иван Яковлевич, не всем под силу такое, а баба объяснила:

– Это из девушки нечистый выходит ротом, оттого и кричит.

Машеньку вывели на воздух отдышаться, а маменьке Иван Яковлевич намешал своим пальцем в стакане невесть что и велел выпить. Ради здоровья дочернего выпила, а последние капли Машеньке вылиты на макушку.

Были и еще посетители, странницы и из мещанок, поздравляли с благодатью. А на поданной записке с вопросом: "Выходить ли девушке за назначенного человека?" – Иван Яковлевич обточенным перышком собственноручно начертать соизволил: "Колумбе Господь радуется, аз разрешаю студент холодных вод Иоаннус Иаковлев".

Так приводили многих, и всем было настоящее указание, отчего и слава Ивана Яковлевича гремела на всю Москву. Когда же приспел час, всем скорбям скорбь – курносой с косой на выгоду, то Иван Яковлевич приказал купить восемь окуней на восемь ден и сварить ушку, которую ушку хлебал в ночь и в день восемь ден, а на девятый преставился, замкнув уста навеки.

* * *

И было на Москве великое горе, а толпа валила из-за Яузы, и от Таганки, и из Замоскворечья, и была у ворот и дверей даже драка.

Два дня держали покойника в той же комнате, впуская и выпуская народ один по одному для поклона и лобызания. Шел спор мирян за то, где хоронить; одни требовали везти в Смоленск, на родину, другие рыли могилу в Покровском монастыре, третьи испрашивали святой прах для женского Алек-

сеевского, но племянница подвижника, черкизовская дьяконица, сумела впереди всех отхлопотать на местное кладбище в уготованный склеп.

И были великие чудеса в часовне, куда вынесли гроб на третий день. Прислан был от богатых купцов художник списать оный Иоаннов лик, и как оказался тот художник католиком-иноверцем, то едва начал списывать, как тотчас у покойного вспухли глаза и губы и решил он испортиться, чтобы не поддаваться неверному. И сколько ни кадили ладаном и ни лили душистых масел, но преодолеть не могли. Просили многие воды, которой омыто было тело праведника, но вся та вода была ранее выпита женщинами, оное тело омывавшими.

В те дни отслужено было у гроба более двухсот панихид, да после на могиле, в день похорон, еще семьдесят панихид ускоренных. Одни причетники заработали 400 рублей серебром, а о священнослужителях и говорить не приходится: щедра Москва и до похоронного пения охоча.

В день восьмой не стало больше возможности держать тело не преданным земле по тяжести духа, наполнившего не только часовню, но и ближайшие окрестности. Ранним утром тысячи народа вышли за гробом в сторону села Черкизова. Хоронили за счет господина Заливского, покровителя старцев и убогих, а до кладбища тащили гроб мужчины и женщины из самых почтенных. Впереди с великими воплями, и криками, и хохотами, и визгом, и причитаньями бежали уроды, юроды, ханжи, странники, кликуши, святые дураки, иной с колотушкой и трещоткой, тот – вертясь на ножке с гиком, этот – грызя морковку, а кто воя собакою – каждый по заведенному и на свой лад. И всех чудней и выносливее был большеголовый паренек босиком и в черной рубашке, лицом соплив и приветлив, который всю дорогу без передышки бежал скачками: трижды скакнет, повернется, гробу поклонится – и снова скачет дальше трижды до нового поклона, и так до места упокоения Ивана Яковлевича. Того дурачка подвиг был всеми замечен и прославлен.

В тот день от дождя размесилась черная грязь по щиколотку, и в ту грязь ложились старые и молодые на брюхи и на спину, чтобы пронесли над ними гроб и была им от того значительная в жизни польза. А когда несшие гроб по нечаянности задевали их по мордам грузными от липкой грязи сапожищами, то считалось это особой радостью и лишней привеской полученной благодати.

Писаного учения Иван Яковлевич по себе не оставил. Из великих же его изречений памятным и непрестанно повто-

ряемым осталось одно, в котором и выражена вся высота его мудрости:

– Без працы не бенды кололаци!

ПЕНЗЕНСКАЯ ФЛОРА

Июль месяц на исходе. Жарища. На крылечке столик, на столике водка, холодец и огурцы. Отец Василий в полном неглиже, исправник в полной форме. Отец Василий исправнику:

– Спечешься ты, куме, яко яблоко! Хоть фуражку сними.

– Бесполезно, батя. Ума в голове не прибавится.

– О чем так загрустил?

– Загрустишь. Учился на медные пятаки, всю жизнь тянул лямку, дослужился до исправника, – а понимать ничего не могу. От его превосходительства, господина начальника губернии, наистрожайшее предписание, – а что приказывают, понять никак не возможно.

Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой. Холодец тает, огурцы похрустывают.

– Вот ты, батя, в семинарии учился, все знаешь. Прочитай ты сию бумагу и смекни: о чем речь? “От его превосходительства, господина начальника Пензенской губернии, предписывается всем исправникам по получении сего же немедля представить в канцелярию его превосходительства все сведения о ФЛОРЕ вверенных ему уездов, с подробным перечислением и описанием существующих и, по мере возможности, представлением образцов”.

– Не грусти, кум, дело поправимое!

Водка на донышке, холодец исчез, огурцов на поповском огороде хватит. Надев очки, отец Василий листает “Академический календарь” со святцами:

– Вот тебе и вся загадка! Сказано: августа 18 дня святых отец Флора и Лавра. И поверь мне, куме: лучше передать, чем недодать! Ибо говорю тебе: Флора и Лавра неразделимо! Прикажи приставам: они соберут.

От исправника приставам предписание: в кратчайший срок собрать по уездам Инсарскому и Саранскому всех имеющихся в наличности мужского пола Фролов и Лавров, каковых и доставить сначала в уездные города, а оттуда, по назначении к тому непременного члена присутствия, оных препроводить в губернию сего года августа осьмнадцатого дня для

представления его превосходительству господину начальнику губернии.

Приказ строгий – исполнение неукоснительное. В достопамятное царствование императора Николая Первого никаких поблажек и проволочек не допускалось: сверху придавят, внизу крякнут – все в полной исправности.

Одно горе – страдная пора! Не везде скошено второе сено, надо убирать овсы, просится под серп рожь, в готовности стоят все яровые. Мужички ропщут, бабы ревут: в такую пору угонять работников неизвестно куда и зачем!

У молодухи Анисьи тащат ребенка; одного его не отпустишь, груди просит, приходится самой молодухе собираться с ним в дальнюю дорогу.

– На што его, маленького, прости Господи! По второму году в некруты!

– Да ведь звать-то Лавром! Не реви, дура баба, вернут из губернии в лучщем виде.

Деду Фролу лет без малого сто, глаза не видят, уши не слышат, лежит на печи; такого без подводы как доставишь? И доедет ли живым?

– Раз приказано – какой разговор! Уж там знают.

Но пуще горе, когда берут молодого работника. Без хозяина сено выгорит, рожь осыпется. До города два дня, до губернии не меньше недели, да пока там разберутся – меньше месяца не управиться. Крестьянскому хозяйству чистое разорение!

– Харчи-то чьи?

Про харчи ничего в приказе не сказано, и выходит – харчи собственные. Может, по именинному делу, после в губернии вернут расходы.

Пристава сбились с ног: укрывают мужики Фролов и Лавров, сказывают другим именем. Проверяют поголовным опросом и через церковные записи. Нелегко управиться в двух уездах за полмесяца, а приказ строг: без малейшего промедления.

В уездном городе Саранске непременный член развесил на веревке потертый мундир для проветривания и чистит треуголку. По проверке прибывших и доставленных Фролов и Лавров хлопот не оберешься. Которые разместились по постоялым дворам, других набили в пожарный сарай, иные ночуют под звездным небом. Всего больше му́ки с бабами, сопровождающими малых ребят, и с ветхими старцами.

К сроку набралось Фролов и Лавров не точным счетом по двум уездам двести человек. В путь выступили ночью, по холодку, десять телег с бабами, младенцами, стариками, скар-

бом, остальные пешком, непременный член впереди в дорожной кибитке, мундир и треуголка заботливо уложены в плетеную корзинку. В губернский город Пензу прибыли как раз в обрез: августа семнадцатого дня.

И в пути учил, и по прибытии старательно наставлял мужиков:

– Как придем, которые Фролы – станете направо, а которые Лавры – по левую руку. И ежели его превосходительство изволят спросить: “Кто, дескать, такие?” – всем миром отвечайте каждая сторона за себя: “Фролы, ваше превосходительство!” – или там: “Лавры, ваше превосходительство!” – да кланяйтесь господину начальнику губернии в пояс.

– А чего ему нужно-то, начальнику?

– Ничего не известно. Может, хочет поздравить вас с днем ангела, а может, иное что. Поклонитесь ниже – Бог даст, распустит его превосходительство по домам, долго не задержит. Вины за вами никакой такой особенной не числится.

Ночь, как могли, переспали – и наутро явились.

* * *

Его превосходительство пензенский губернатор Александр Алексеевич Панчулидзев – человек просвещенный и управитель отменный: недаром получил за свое управление от императора Николая Первого золотую табакерку.

Женат его превосходительство на девице Загоскиной, дочери знаменитого писателя, Варваре Николаевне. К губернской скуке Варвара Николаевна привыкла, но, по нежной организации, страдала нервами и бессонницей. С ночи засыпала – ничего, а рано утром просыпалась с зарей – и нет больше сна! Конечно, по летнему времени жарко и душно.

Среди других влиятельных людей Пензенской губернии отметим уездного городищенского предводителя дворянства Павла Тимофеевича Морозова, подлинного виновника предстоящего торжества. Это Павел Тимофеевич задумал собирать по губернии точные статистические сведения о флоре, и по его ходатайству начальник губернии разослал приказы подлежащим исправникам.

Город Пенза и по тому времени был немалым: от заставы Московской до заставы Тамбовской – четыре версты с четвертью, а жителей было душ свыше двадцати тысяч, из них половина еще крестьянствовала. Было в городе заводов по три кожевенных, мыловаренных и чугуноплавильных, да та-

бачная фабрика, да две мельницы с крупчатками. И впадала, как и сейчас впадает, под самым городом река Пенза в реку Суру; по Пензе сплавляли лес, а по Суре, в полую воду, было и судоходство.

Нельзя сказать, чтобы губерния была очень спокойной: крестьяне в ней по тому времени частенько шевелились, а в самом городе скандалил мастеровой человек. Со всем этим его превосходительство умел хорошо справляться, но Варвара Николаевна, как женщина слабая, порой волновалась: придут бунтовщики, подожгут дом губернатора, зарубят всех топорами и косами, – и никакой гарнизон с ними не справится. В столице, в девушках, жилось куда лучше!

К вечеру под осьмнадцатое число появились в городе неизвестные пришлые люди, по виду мирные, а кто их знает. Дойдя до заставы, расположились неподалеку на ночлег, разложили костры; две-три бабы, остальные мужики. На вопросы толково ответить не хотели и только сказали, что завтрашние именинники.

Сам губернатор спал бестревожно, а Варвара Николаевна проснулась совсем рано и услышала словно бы шум толпы. Дом губернатора был на горе, при доме – обширный двор, куда и выходили окна почивальни их превосходительств. Варвара Николаевна, протерев глаза кулачком, встала, подошла к окну, откинула занавес, взглянула – и ахнула: полон двор мужичья, а какой-то человек делит пришедших на два отряда, одних – направо, других – налево. Не иначе как крестьянский бунт!

Губернаторша разбудила мужа. Его превосходительство также посмотрели в щелочку и убедились, что на дворе выстроены мужицкие отряды. Будучи, однако, смелым мужчиной, начальник губернии поспешил успокоить жену:

– Милочка, бунтовщики являются нестройной толпой, с кольями, вилами и топорами; а эти – сама видишь – безо всякого оружия. Скорее всего – выборные просители, хотя ни о каких просителях мне не докладывали, и пора сейчас в деревне страдная. Мы это выясним.

И как губернаторша ни упрашивала мужа не выходить к толпе, а лучше послать тайно за гарнизонными, как ни толковала ему, что он подвергает себя смертельной опасности, а также и ее, – убедить не могла. Губернатор наскоро умылся, приказал подать себе парадный мундир, – чтобы блеском его поразить неведомо зачем явившуюся толпу, надел шляпу с плюмажем, натянул перчатки и, обняв жену и наказав ей не беспокоиться, двинулся к выходу во двор.

Несомненно – человек был исключительной смелости! Руководился образами героическими и примерами незабываемых подвигов. Помнил, как его величество Николай Первый выехал на площадь, полную черни шумевшей, крикнул величавым голосом: "На колени!" – и вся площадь на колени повалилась. Еще крикнул: "По домам!" – и все мещане до единого разошлись по домам, разделясь, и залегли спать очень довольные.

Точно так выступил и пензенский губернатор. Быстрым шагом сойдя с черного крыльца прямо во двор и миновав маячившего в стороне человека в треуголке, он приблизился к выстроившимся отрядам крестьян и громким голосом спросил:

– В чем дело? Кто такие?

Ближний отряд довольно стройным хором ответил:

– Фролы, ваше превосходительство!

И поясной поклон.

Не разобрав хорошо ответа, повернулся губернатор к остальным и снова вопросил:

– Что такие за люди?

– Лавры, ваше превосходительство!

И тоже все – в пояс!

Тут подоспел непременный член, в треуголке пирогом поперек, предстал пред начальственные очи и голосом дрожащим произнес заученную речь:

– По собственному вашего превосходительства приказу имею честь представить вашему превосходительству Фролов и Лавров мужеского пола Инсарского и Саранского уездов Пензенской губернии!

Начальник губернии сначала опешил, но быстро собрался с духом и голосом привычным и командирским, ручкою махнув, гаркнул:

– Фролы и Лавры – на колени! По домам!

Дважды приказывать не пришлось. Кинулись мужички наутек, радуясь, что столь скоро и легко избавились от начальственного гнева.

Так рассказывает пензенская хроника.

* * *

Климат в Пензенской губернии несколько более суров, чем можно бы ждать по географическому положению: в конце августа наступает холод.

Столик поставлен в горнице, на столике бутылка, в бутылке – на донышке, огурцы малосольные, соленый гриб груздь.

Отец Василий в рясе, исправник в неглиже, горестным тоном бубнит:

– Вот ты, батя, и в семинарии учился, и фи-фи-лософию знаешь; а человека ты загубил.

– Не огорчайся, куме, всяко бывает.

– В-верно! Ошибиться всякому доступно, а только пошли я его превосходительству одних Фролов, – мог бы я и оправдаться. А Лавров-то, Лавров на к-кой черт я послал? А? А ты говоришь: лучше передать, чем недодать!

– Груздя-то, груздя возьми!

– Груздя я могу. А Лаврами ты, батя, загубил человека!

ДВЕ ДУШИ

До писательского уха, хотя бы и не имеющего времени и охоты быть слишком внимательным, все же доносятся иногда критические замечания, с которыми следует считаться. Говорят, например, что не все же было так плохо в "доброе старое время", даже в крепостную эпоху. И люди были всякие, и плохие и хорошие, и немало было такого, о чем и сейчас стоит пожалеть.

Нет ничего справедливее! Вообще прогресс человеческой жизни, а в особенности русской, давно уже поставлен под сомнение. Что касается до внешних жизненных условий, то, вероятно, многие сочли бы за счастье отказаться от курьерских поездов, световых вывесок, воющего радио, перспективы телевидения и ежедневных выпусков бойкой газеты – лишь за право перенестись в прошлое и проехаться в тряской бричке по ухабистым российским дорогам пышными полями, незагубленными лесами, по бревенчатому мостику через рыбную речку, из именья тетеньки в поместье дядюшки, а недельку погостивши – и обратно под кров родной, сладко поесть, хорошо отдохнуть.

Идиллических картин можно нарисовать сколько угодно, против истины нимало не погрешив. Прекрасный материал для одной из таких картин мы находим в воспоминаниях старой помещицы о своих соседях и соседках по имению в Смоленской губернии, в частности о двудушной Параскеве Прокофьевне.

* * *

Были помещики великодушные, малодушные и бездушные. Из малодушных мельчайшей была Параскева Прокофьевна, вдова, столбовая дворянка, малограмотная, жившая с дочерью Анютой лет пятнадцати. Если бы состояние исчислялось головами скота и количеством земли, то еще туда-сюда. Был лесок, березовая рощица (осенью белый гриб!), было поле, и был очень большой старый плодовый сад, несколько запущенный, но отличный, даже довольно доходный. Была птица, три коровы, две лошаденки, козел с семейством, баран с двумя женами, вдовая свинья с поросенком и скворешник со скворцом. Был большой, правда, полуразвалившийся барский дом о семи комнатах, в двух из которых можно было жить с удобством. Для хозяйства крестьянского это было бы настоящим богатством; но помещичье богатство исчислялось крепостными душами, и вот этих душ у Параскевы Прокофьевны осталось только две: бездетные супруги Прошка с Палашкой, оба на возрасте. Остальные еще при покойном бригадире повымерли или разбежались.

И опять-таки, если бы работать вчетвером, по-крестьянски, то и жизнь была бы достаточной и кое-что припаслось бы на черный день. Но нельзя, нехорошо столбовой дворянке работать наряду с холопами и равнять с ними родную дочь! Сама Параскева Прокофьевна проводила весь день в хлопотах, не столько в работе, сколько в суете, распоряжаясь по хозяйству, хотя без ее распоряжений оно шло бы не хуже, потому что все было просто и веками впредь установлено; но дочка воспитывалась барышней, то есть ничего не делала и делать не смела, чтобы не ронять дворянского достоинства. Читать было нечего, и Анюта в грамоте пошла не дальше мамаши; были клавесины, на которых когда-то в молодости Параскева Прокофьевна не всеми пальцами умела играть вальс, похожий и на всякий иной танец, но теперь эти клавесины могли только гудеть, если ударить коленкой в их поцарапанные бока, да сильно и всегда неожиданно потрескивали в большие морозы. Еще от прежнего величия остались две кровати, обе двуспальные, таких размеров, что на каждой могло улечься вдоль и поперек человек по восемь с немалым удобством и без взаимного беспокойства; остались перины и подушки, наваленные горой, так что взбираться на них было непросто даже с высокого табурета. Но вся остальная мебель разладилась и рассыпалась от времени, и обедали мать с дочерью на простом крестьянском некрашеном столе, сидя на

самодельных стульях. И пища их была проста, от мужицкой отличаясь только обилием молочного и очень редко мясом. Больше в жилых комнатах дома ничего не было, а в нежилых хранилась картошка и гуляли мыши; наконец, в самой нежилой ухитрялись жить две души старой помещицы: Прошка с Палашкой.

Эти две души работали день-деньской, то ли по охоте, то ли по обязанности, а главным образом потому, что не умели не работать. Прошка работал в саду, косил лужок, засевал поле, копал огород, чистил конюшню, ковал лошадей, был пахарем, садовником, конюхом, кучером, плотником, слесарем, истопником, посыльным, на все мужские руки. Палашка ходила за коровами и курами, заботилась о свинье Хавронье и козле Васе, собирала хворост и грибы, мыла полы, убирала все в доме, стирала, варила, жарила, подавала на стол, одевала барыню, причесывала барышню и равнодушно получала пощечины от той и от другой. Прошка с Палашкой для такого хозяйства были бы вполне достаточны, если бы могли работать в покое и когда нужно; но покоя от барыни и барышни было мало: принеси то да се, подай платок, подыми наперсток, замой барышнину кофточку, подштопай чулок, выглади чепчик, принеси из погреба холодной простокваши – и все как раз под руку, занятую делом настоящим и срочным.

И хотя Прошка с Палашкой по природе своей были работниками усерднейшими, но нельзя сказать, чтобы барские глупости исполняли с охотой и без ворчанья. Палашка иногда огрызалась: "Да подождешь, барыня, дай с одним управлюсь!" За эти грубости Палашка получала шлепки и пинки, а в Прошку, тоже не всегда послушного, барыня швыряла чем доведется. И все это не со зла, а больше по обычаю и для оживления слишком уж утомительного и однообразного деревенского бытия, а также с целью воспитательной. Конечно, отучить холопов от грубости могла только розга – средство испытанное и насущно необходимое. Но нельзя же заставить Прошку лупить Палашку, а Палашку драть Прошку, – а лишь две души были у помещицы Параскевы Прокофьевны, и в том заключалась главная и основная трагедия ее отеческого и начальственного управления.

Случаи подобного рода были в крепостное время предусмотрены законами и бытом страны. Существовал становой, обязанный драть, если его об этом просили помещики. Но становой был переобременен подобными мелкими делами и сам наезжал неохотно, и посылать за ним одного из людей, отрывая его от работы, было и накладно, и хлопотно. Положение

создавалось невыносимое: люди явно грубят, своими способами барыня справиться не может, власть шатается, нервы портятся, хозяйство расстраивается – государству опасность.

А главное: в чем же тогда отличие столбовой дворянки от любой бабы подлого сословия? Зачем тогда даны человеку, помимо собственной его души, еще души крестьянские? Параскева Прокофьевна, конечно, понимала, что без прошкипалашкиной работы она бы пропала вместе с подрастающей дочкой, и какого-нибудь зла к ним она не питала. Напротив – для их же пользы надобно было класть их под розгу от времени до времени. И Прошка с Палашкой, конечно, понимали, что барыня есть барыня и ей не драться и не ругаться никак не возможно, но только барыня-то она не весть какая, хоть и столбовая, и могла бы не мешать им работать на свою и их пользу. Такую барыню, двудушную, в округе не уважали ни помещики, ни крестьяне.

Однако раза два в год все же удавалось Параскеве Прокофьевне примерно наказывать Прошку с Палашкой – не за свежую провинность, а, так сказать, за истекшее время, разом за полугодовые грубости и непослушание. Обычно этого времени поджидали обе стороны: барыня ходила веселее, холопы становились задумчивы. Было это по осени и по весне, в горячее садовое время. Старый сад помещицы пользовался в округе доброй славой, и после первого Спаса у станового всегда оказывались дела поблизости. В таких случаях Параскева Прокофьевна не скупилась на водочку и закуску, выпивала и сама рюмку и вела со становым деловой разговор. Ныне хорошо уродились антоновские и коричневые, да и розмарин поспел, а каковы груши – всем известно, может быть, таких груш нигде больше и нет. Для господина станового ей ничего не жаль, Прошка отсыплет в мешок всякого сорта. Но одолженье за одолженье, и чтобы этот раз настегать Прошку с Палашкой памятным образом и за прошлое и впредь безо всякого снисхождения.

Подумаешь: ну что за зверские нравы! А между тем, как дальше мы и увидим, было все это лишь чистейшей идиллией.

* * *

Становому сделка подходяща, да и подход должен быть тонок! Прошка мешки насыплет, – да не подгадил бы червивыми и паданкой! Ежели же дело по весне и идет о молодых кустах, то не подсунул бы Прошка с поломанными корнями и

плохих сортов! А у станового свой сад, с любовью устрояемый. Все нужно предусмотреть.

После легкой закуски становой обедает; и уж в этот день одинаково стараются и Параскева Прокофьевна, и Палашка: стол сытный, к жирным щам пирог – объеденье! Для приличия и для формы Палашка, на стол подавая, всхлипывает и утирает подолом слезу: чует холопка грядущее наказанье! Зато помещица обходительна и весела.

После обеда, часок заснув, приступает становой к отправлению правосудия. Первым вызывается на конюшню Прошка. Он уже заготовил для станового свежего сена – на предмет мягкого расположения. Развалившись на душистом сене, становой коротко говорит:

– Ну, Прошка, ты уж мне не подгадь!

– Будьте покойны!

– Анису положил?

– И анису; ныне анис отменный уродился.

– Коли паданок найду, в другой раз выпорю по-настоящему. Ну, значит, с Богом, начинай.

Прошка ложится у самой двери, сначала скулит и жалуется, потом орет благим матом:

– Ой, матушки, ой, смертушка моя!

Чтобы господина станового не утруждать, Прошка сам бьет по земле кнутом, взвизгивая при каждом ударе. По долголетней привычке бьет и орет, как настоящий актер, чтобы сделать барыне полное удовольствие. Становой лежит на сене, слушает, изредка пускает громко крепкое ругательство или читает Прошке мораль:

– Будешь, сукин сын, барыни не слушаться!

По гордости дворянской, Параскева Прокофьевна из дому не выходит, прислушивается издали. Становой работает над Прошкой с полчаса, с передышками. Утомившись, выпускает Прошку из конюшни и сам идет в горницу отдышаться, – а там уж и чай готов.

– Можете быть покойны, сударыня, – говорит становой. – Себя не пожалел, а уж Прошка запомнит по гроб жизни!

Скрывая удовольствие, помещица говорит:

– Вы к ним больно уж милостивы. С него, мужика, как с гуся вода. Разве такого розгой пробьешь! Он орет, а, может, ему и не больно.

– Как это, сударыня, может быть? У меня рука тяжелая, всем известно. Одначе, если не доверяете, извольте сами его освидетельствовать. Иные господа дворяне так и делают, которые, конечно, не столбовые...

– Что вы, батюшка, чтобы я стала марать свою честь!

После чаю с медом и вареньем – очередь Палашки. Если ловок Прошка, то уж Палашка – настоящий талант. Еще не войдя в конюшню, она ревет навзрыд, а в самой конюшне вопит и визжит, как недорезанная свинья, так что даже сам становой изумляется:

– И где ты так научилась?

Палашку, как женщину, полагается драть меньше – минут пятнадцать.

– Уж нет хуже, как сечь бабу!

– Да вы слезам-то ее не верьте.

– Слезы слезами, а неудобное для мужчины занятье. Коли бы не для вас, Параскева Прокофьевна, – нипочем бы не стал!

– А мне с ними каково! С двумя душами хлопот, как с целым народом.

Исполнив тяжкую обязанность, становой уезжает с мешком или кустиками, которых увозит несколько поболе, чем договорился с двудушной помещицей.

Про хитрость станового знали в округе все – и посмеивались. А мы так думаем: может быть, знала о том и сама Параскева Прокофьевна? Знала – и тоже улыбалась. Улыбались и Прошка с Палашкой. Во всяком случае, очень хотелось бы в быт доброго старого времени внести как можно больше идиллии и беззлобно вспомнить о доброй барыне, преданных ей душах и разумном и добродетельном становом.

ЧЕРТОВЫ ЯЙЦА

Чертовыми яйцами наши старообрядцы называли картофель, когда его привез из чужеземья Петр Великий. Трудно было ожидать добра от человека, приказавшего корнать почтенным людям бороды и полы кафтанов, и к картофелю русский народ отнесся подозрительно.

Естественно, конечно, что на стороне картофеля оказалась и немка Екатерина II, предписавшая "повсеместно разводить сей род земляных яблок, которые и земляными грушами, а в иных местах тартуфелями и картофелями называются". Медицинская коллегия издала "наставление о разведении сих яблок, потетес именуемых". Мы же можем удостоверить точно, что самое подлинное, а потому и мало кому ведомое название чертова яблока – солянум туберозум. Знатоки различают: ромбовский, миндальный, ранний, розовый, сахарный, снежинку и еще сортов пятьдесят – на разные вку-

сы. Картофель – мужского рода, а женского – картошка.

Петр Великий не успел заняться картофелем вплотную – его отвлекла сначала задача нравственного перевоспитания стрельцов, потом всешутейший собор. Екатерина, заваленная работой литературной и перепиской с европейскими знаменитостями, также уделяла картошке мало времени. Павел правил недолго и малотолково. Александр никогда не был уверен, что нужно насаждать и что искоренять, – и только Николай Павлович к концу царствования занялся бесспорно полезным делом: насаждением картофеля. Как это ни кажется странным, но картофельная культура не насчитывает в нашей стране и сотни лет.

* * *

По доброй воле картофель выращивается просто: в добрую ископанную землю втыкается кусок картошки с глазком, а остальное более или менее завершает природа. Так и поступали крестьяне Саратовской губернии на огородах по мере потребности, полей не засевая, чтобы не портить земли. В хлебе крепость, а в картошке один скус, да и то невелик.

Но волею монаршей приказано было: научить государственных крестьян культуре настоящей, на село по десятине, с отпуском им посевного, денег с них не взымая, к труду не вынуждая, да еще с выдачей наградных добрым сеятелям из казенных сумм.

Первым сеятелем вышел николаевский министр Гамалей: приказ управляющим палатам государственных имуществ: готовить землю нынешней же осенью.

Вторым сеятелем выступил управляющий саратовской палатой Халкиопов: предписанье окружным начальникам – пустить в дело крестьянские сохи, времени не затягивая, нерадивых подгоняя.

Вышел приказ в октябре, и, как назло, земля не подождала – промерзла. Выгнали крестьян добровольно с деревянными сохами запахивать двести подвод навоза на десятину из их же хлевов, для их же пользы. Лошади спотыкаются, сохи ломаются в щепы, земля торчит комьями, бороны беззубеют, нет в пахарях настоящей, здоровой радости, что привелось исполнить волю монаршью. Трудно с таким народом! Где успели, а где, по неразумию, пришлось отложить на весну.

К марту месяцу все крестьянские начальства поняли выгоду разведения картофеля, – не поняло только темное крес-

тьянство. На заезжей квартире болтали промеж себя старшина с сельским заседателем, что, кто станет сеять картошку, тех крестьян запишут за помещиками на вечные времена. И когда объявили особый сбор на общественные надобности, где с души по 7, а где и по 18 копеек серебром, – решили мужики, что пора принимать меры.

Первое дело – подарить писаря и старшину, – может, дело замнется.

Писарь деньги взял и написал "отзыв". Взял и старшина – отсрочил сбор. Взял и помощник волостного головы, взял и сам голова. В прежнее время тем и кончались обычные весенние неприятности, – в этот раз не вышло. Приободрилась вся волостная контора, прозвенел бубенчиком земский исправник, прокатил на тройке окружной начальник, по своим делам заехал пристав первого стана, зачем-то занес черт уездного стряпчего, завздыхал уездный суд, подняла брови в ожидании уголовная палата, и даже сам губернатор Фаддеев, человек с образованием и прославленной гуманности, встал с кресла и заложил руку за борт. Еще и не было ничего, – а взволновались все заботливые власти:

Помути, Господь, народ,
Покорми нас, воевод!

* * *

По приказу начальства в селе Сердобы собраны крестьяне выслушать толковую бумагу: "О правильном разведении картофеля". Слушают мужики понуро, смекают медленно, но верно:

– "Картофель – важное растение из семейства пасленовых, прорастает в умеренном климате. Сеется по весне в хорошо удобренной земле..."

Дядя Пахом толкает в бок Михея:

– Смекаешь ли? На поселение, говорит?

– На поселение. Всем, говорит, семейством...

– Не откупишься!

– Нарошно стращают, чтобы подводы дали.

– Нипочем!

В обед примчался волостной голова в Петровск заявить окружному начальнику: бунтуют! А вслед за головой – отставной солдат-грамотей Федотов с сельским приговором и печатным руководством к разведению картофеля:

– Картофь сеять не желаем, наставление возвращаем за ненадобностью.

Сказано в высочайшем повелении: крестьян не вынуждать, а действовать уговором и поощрением, собранный урожай частью отдавать им даром, с обязательством посадить, а частью продавать "дешевой ценой, дабы распространить между ними различное употребление". Но пока дойдет до урожая – как добиться посева? И главным уговаривающим поехал по селам сам управляющий палатой Халкиопов, человек строгий и справедливый, опытом умудренный, народу истинный отец. Для начала приказал в селе Малой Сердобе выхватить из толпы двух буянов и посадить в холодную.

– Если брать – бери всех! Но овощ разводить не согласны, нет лишней земли! Хоть всех сдавай в солдаты!

Не подействовал уговор – подействует поощрение. И против опасных бунтарей выступил сам губернатор Фаддеев, военачальник смелый, с какими-нибудь десятками солдат саратовского внутреннего батальона и батареей конно-артиллерийского резерва.

Труднее всего оказалось собрать в одно место бунтарей; не без труда отобрали и согнали со всей волости в Малую Сердобу человек с тысячу – время рабочее, крестьяне в полях. С тысячей можно уже и бунт начинать. Из окрестных сел отобрали понятых, вызвали войска на подмогу, губернатор известил самого министра, министр доложил государю.

Крестьяне в тех местах были мирны, направить бунт было не так легко и просто! В иных местах, едва появится губернатор, – падают мужики на колени, просят прощения, что сразу бунтовать не вышли. Однако картофель сажать не согласны – нет ни лишней земли, ни картофеля.

Несколько лучше пошло дело, когда приступили к порке и проповедям. В иных местах порка вызвала "невежественное ожесточение", хотя тут же приглашенный священник объяснил, что порют крестьян для их же пользы, а за самой поркой, чтобы закон нигде не был нарушен, наблюдал приезжий жандармский офицер. Кого не убеждала порка, тех заковывали в кандалы и отправляли в город Петровск для предания суду. Пробовали пороть с выбором – дело не подвинулось; когда же стали пороть всех подряд – пошло легче. Едва сдерживая слезы жалости и негодования, смотрел гуманнейший губернатор, как наилучшие меры правительства и местного начальства натыкаются на темноту и упорство народа. Не то чтобы крестьяне не соглашались приступить к посадке картофеля, – они уже на все согласились, "только дайте приоб-

выкнуть". Они даже подписали добровольный общественный приговор: "Навсегда повиноваться правительству, над нами поставленному, обязавшись картофель сеять без всяких прекословий и толков". Но явный дух непокорности и отсутствие чистого раскаяния проявлялись немедленно, как только ученый проповедник, магистр богословия Евфимий Дьяконов, отслужив благодарственный молебен, приступал к своей двухчасовой просветительной речи, иногда повторяя ее и дважды в день и призывая виновных к полному раскаянию.

– Не нас, батюшка, смиряй от Писания, а вон тех! А мы смирные!

Замучился и председатель палаты Халкиопов, пока наконец не установился обычай: после предварительной утренней порки – благодарственный молебен, а как только проповедник начинал речь, а полицейские приступали к вытягиванию из крестьянской толпы нераскаянных, – так вся деревня, словно бы по тайному соглашению, пускалась наутек в лес, сначала всей толпой, а дальше врассыпную между деревьями, а возвращались одиночками под покровом ночи. Еще никогда не было столь утомительного бунта в Саратовской губернии.

И лишь тогда появился во всем этом деле некоторый порядок, когда в дело вмешался наконец сам император, приказом июня 9-го дня 1842 года всемилостивейше предписав:

"Дело о бунте внимательно разобрал, годных отдать в рекруты, а неспособных отправить в крепостную работу в Бобруйск".

* * *

Прошли весна и лето, миновала и осень. Кое-где в полях от весеннего посева уродились чертовы яйца. И прошел еще год, и прошел другой. Много крестьян оказалось в бегах, немало в солдатах и на крепостных работах. Усердным начальством были поделены награды за проведение посевной кампании и усмирение картофельных бунтов. Управляющий саратовской палатой, раньше считавшийся человеком бедным, обзавелся под Саратовом богатым имением, окружные начальники удовольствовались меньшим, волостные – пустяками. Больше принуждений не было, и местные власти перешли на верный путь мирных соглашений.

Но если кто-нибудь думает, что правда может остаться под спудом, то он заблуждается! Не прошло и полных трех лет,

как Сенат, до той поры решавший возникшие между властями пререкания по делу о картофельном бунте и отчаявшийся что-нибудь окончательно решить, все же пришел к убеждению, что бунта, в сущности, не было, как "не было даже и простого ослушания начальству". А так как при этом оказалось, что обвиняемые крестьяне, ранее не сосланные на работу и не взятые в солдаты, все еще выжидают своей участи по тюрьмам, где их трехлетнее содержание падает на казну немалым расходом, – то счел мудрый Сенат справедливым, за полным отсутствием вины, зачесть тюремным сидельцам за наказание их долгое содержание под стражей и, выдрав их плетьми на случай будущих правонарушений, – выпустить на свободу без дальнейших последствий.

И всякий, кто пересмотрит производства дел о картофельном бунте по всем инстанциям, должен будет признать, положа руку на сердце, что из всех по тому делу решений – это последнее было если не самым справедливым, то самым милостивым.

ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ

14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме. По молодости лет к изобилию лесов в округе город был деревянным и горел легко. Как загорелся – неизвестно, но, по господствовавшему мнению, его подожгли либо черти, либо поляки.

Скорее всего – черти, чему есть и косвенное доказательство.

Кикимора, при всех ее особых родовых качествах, должна быть отнесена к семье чертей. Кикимора – пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегает нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское платье, вышедшее из моды, и чепчик.

Именно такую особу видела одна старушка в окне дома Чадина во время пожара. Кругом бушевало пламенное море: один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр, четвертый только занимался. Кикимора сидела в чепчике у окна и спокойно помахивала шейным платочком, отгоняя пламя. Кругом все дома горели – дом Чадина остался невредимым, даже не закоптел от чужого пламени.

Этот прием – отмахивать пламя платком – прост, банален и давно известен; у человека ничего не получается, а черти

пользуются им постоянно. Предположить, что кто-нибудь из людей жил в доме Чадина, нелепо, потому что не родился тот человек, который решился бы провести в этом доме хотя бы одну ночь: дом был заколдованным и чудовищным. В противоположность другим, он был каменным и крыт железом, но не достроен и не отделан, и никогда никто в нем не жил. Его хозяин, Елисей Леонтьевич Чадин, советник уголовной палаты, умер при страннейших обстоятельствах, о которых скажем ниже. Со дня его смерти начались в новом доме чудеса: раздавались крики, слышались стоны, с треском падали тяжелые предметы, так что весь дом сотрясался. Происходило это главным образом в полночь, и благоразумный прохожий предпочитал обойти квартал стороной, осеняя себя крестным знамением.

Такие дома встречались в разных городах, бывают и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа свели количество таких домов к минимуму, но и в других странах. Наивные ученые люди подвергают кикимор сомнению, – но все-таки где-нибудь кикиморам жить приходится; неудивительно поэтому, что про такие дома писали и в Италии, и во Франции, то есть в странах совсем несходного политического строя.

Пермский губернатор И. И. Огарев кикимору отрицал. Следовало бы ему попробовать поселиться в доме Чадина с супругой хоть на неделю и тем доказать торжество просвещения. Вместо этого он позвал старушку, видевшую кикимору собственными глазами, разнес ее за распространение нелепых слухов и пригрозил ей присягой. Старушка сказала, что на присягу готова, что врать ей не приходится, так как она уже доживает свой век, а что собственными глазами видела – то готова подтвердить: видела кикимору самую настоящую, и ошибки быть не может. И губернатор оказался в довольно глупом положении. Он было попробовал:

– Ты что же, баба неразумная, в кикимору веришь?

– Я, батюшка, твое превосходительство, Господа Бога видеть не удостоилась, да и то верю; а эту нечисть своими глазами зрела – как же мне в нее не верить! Да и все знают.

Логика неопровержимая – и старушку отпустили, однако с запретом впредь болтать.

* * *

Собственно, этим и заканчивается история. Мы же прибавим: было бы странным, если бы дом Чадина, уже давно не существующий (он снесен нежилым, а на его месте построена женская гимназия – угол Петропавловской и Театральной площади), – если бы этот дом не был заколдованным. Во всем виноват его хозяин и строитель Елисей Леонтьевич.

Человек – кремень, жила, скуп до невероятности и с людьми жесток. Своих дворовых заставлял не только строить, но и выделывать кирпич. И, подражая великолепным римским папам, обратившим памятники Аппиевой дороги в строительный материал, – Чадин кощунственно грабил местное кладбище.

В лунную ночь выходила партия дрожавших от страха рабочих, под водительством более отчаянных, и направлялась на кладбище. Там, по приказу хозяина, отрывали от могил и забирали с собой чугунные и каменные плиты и на руках переносили их в строящийся дом. На рассвете эти плиты вделывались в пол, стены и печи, надгробными надписями внутрь. Выходило дешево, прочно, и кикимора заранее радовалась таинственной отделке своего будущего жилья.

Отличного семьянина и уважаемого человека надгробная плита послужила подом русской печи.

Покойного диакона плита чугунная, с надписью церковной вязью, пошла на подпорку лестницы.

Младенца плиточка, матерью любовно заказанная и омоченная слезами, ничком легла у самого порога столовой комнаты – для вечного попирания ее нечестивыми ногами.

Грешное дело делали рабочие – и люто ненавидели хозяина, гнавшего из них седьмой пот. Донести на него боялись, так как сами были в большинстве безбумажные бродяги, беглые, крестьяне дворянских губерний, люди, знакомые с острогами и с тайгой. Не ровен час – начнется следствие, и всем им пропадать. Грех замаливали по кабакам, пропивая чадинские грошики.

Но, при всей скупости, Чадин умел бывать и хлебосольным – для важных гостей. На рубеже Сибири люди умеют есть подолгу и жирно, пить большими глотками крепчайшее пойло в количестве, для жителя средней России непостижимом и убийственном. Леса под Пермью полны зверья и дичины, Кама обильна рыбой. Оленина, кабаний и медвежий окорок, утки, глухари, рябчики, белужина, стерлядь кольчиком, раки, грибы всех сортов и всех засолов – все это было местным и

обычным, доступным человеку среднего достатка. Кто же хотел угостить на славу, тот после пельменей и сычуга – блюд излюбленных и обязательных – поражал пирогом с такой начинкой, чтобы не сразу угадывали, чем блеснул повар и чьи души на тот пирог загублены. Вино подавалось только для красоты, а пили водку стопочками и чарочками – по первой, по второй, по третьей, колом, соколом, легкой пташечкой, с грибком, с перцем и с кряканьем, до красноты носа и бледности лба, – а потом повторяли.

В день святого Елисея славится пирог чадинский, и не тонкостью вкуса, а жирностью и сверхъестественными размерами: приносили его четверо слуг и ставили перед хозяином на расчищенный стол. Первый кусок он вырезал себе, а дальше слуги оделяли гостей: в первую голову председателя уголовной палаты Андрея Ивановича Орлова, за ним князя Долгорукова, сосланного в Пермь за чудачества, человека важного и величественного, пока не напьется пьяным до бесчувствия.

Так и было в дни строительства нового чадинского дома – праздновал хозяин свои именины. Гостей подобрал самых в городе важных и самых нужных ему по многим делам. Водка стояла в больших графинах, а запасная на особом столе в четвертях. Разговор был не в обычае – только пили, крякали и жевали. В наибольшем почете оказался соленый груздь в сметане, добрый спутник напитка, предохранитель от напрасного обжога. Мелкий рыжик уже не спасал – приходилось бы глотать его столовыми ложками. Студень прикончили сразу, из ухи лениво вылавливали куски налимьей печенки – ждали.

И вот наступил самый торжественный момент: перед хозяйским местом расчищено целое поле для именинного пирога, чарки налиты заранее, и даже кряканья не слышно. Губы и усы насухо обтерты салфетками. Человек внимательный заметил бы, что и слуги взволнованы: один на ходу лязгает зубами и едва не уронил груду собранных тарелок.

Внесли пирог четверо кухонных молодцов – рожи на подбор арестантские. Чадин охотно держал беспаспортных, живших за стол и кров, менявшихся часто, способных на всякое порученье. А набирать их советнику уголовной палаты было нетрудно. Они работали и на постройке, и по домашнему хозяйству, и по рыбному промыслу, и по лесной охоте, – как у большого помещика. А в случае провинности – расправа с ними была коротка.

Гигантский пирог двусторонней выпечки поставили пе-

ред хозяином-именинником. Пирог покрыт стеганым настилом – чтобы сохранить жар.

Помедлив для пущего впечатления, при общем почтительном молчании хозяин привстал, протянул руку и разом сдернул теплую покрышку. Сдернув – остолбенел, замер, покачнулся и осел в хозяйское кресло. Гости вытянули шеи и тоже замерли, слуги попятились и скрылись за дверью.

На пироге, обширном, как могильная плита, отлично испеченном, ясно отпечаталась в самой середине Адамова голова со скрещенными костями, ниже – лестница, а по бокам крупные буквы неразборчивой надписи – читай слева направо.

Заторопился домой председатель Орлов, за ним заспешили и остальные гости. Хозяин сидел с лицом, налитым кровью, качал головой и бормотал невнятное. Достало сил отодвинуть от стола кресло, встать и ухватиться за край скатерти. Затем он повалился на пол, а на него пирог, стаканы, тарелки, грузди, рыжики и солонки с пермской солью. Никто его не поднял – и слуги и гости разбежались. Первым из кухни убежал повар, оставив в горячей русской печи намогильную чугунную плиту, на которой был выпечен именинный пирог доброму хозяину.

* * *

Вот какие страшные вещи рассказывали в городе Перми про Чадина, про его пирог и про его дом.

Сам Чадин вскорости умер, не приходя в полное сознанье. Голова тряслась, губы бормотали жалкие слова о покойниках, попавших в начинку пирога. Когда его соборовали, он отворачивал голову от креста, как будто ему совали в рот кусок пирога с Адамовой головой.

И с той поры недостроенный дом Чадина явно для всех стал заклятым и чудовищным. Неизвестно, кто запер и изнутри заложил камнями и бревнами ворота дома, куда ни один здравомыслящий человек заглянуть не решался даже днем. Впрочем, стало известным, что после смерти хозяина ранее проживавшая у него и бывшая с ним в любовной связи кикимора переселилась в новый дом и жила там, во всяком случае, до опустошившего Пермь пожара. Днем она спала, по ночам безобразничала, пугая окрестных жителей. Хорошо ее рассмотрела только упомянутая старушка; другим удавалось видеть ночью только тени гостей, пробиравшихся в дом ки-

киморы, где они скандалили, кричали, стучали и порой доходили до такой наглости, что пели непристойные песни.

Кое-что знал о доме кикиморы пермский полицеймейстер, но он был человеком молчаливым. Был знаменит и тем, что умел отыскивать краденое, если кража совершена у видного в городе человека, готового дать мзду за нахождение пропавших у него вещей. Ездил полицеймейстер в тарантасе, который можно было издали узнать по серой лошади, и когда проезжал мимо дома Чадина – отворачивался, не из боязни и из презрения к суеверию и напрасным россказням. Это был человек передовой, бесстрашный и равнодушный к смене губернаторов. Значит, не боялся и кикиморы.

Дом Чадина простоял лет пятьдесят – так никто в нем и не жил. К концу века он был куплен городским обществом, снесен до основания и на его месте выстроено здание женской гимназии. И тогда все переменилось, по ночам дом стоял молчаливо, а днем в нем раздавались веселые девичьи голоса. А гимназисты, проходя мимо этого дома, выпячивали грудь и пощипывали на губе волосяную рассаду.

Кто в Перми бывал, тот знает и гимназию, и тополевый против нее театральный сад, через который удобно ходить наискось на почту и к набережной Камы, прекрасной и полноводной русской реки, которая Волге приходится не младшей, а старшей сестрою.

ЛЮБОСТАЙ И ФАРМАЗОН

Настоящее – и былое... Разве можно уравнивать! В Тамбовской, например, губернии, в каком-нибудь селе Кирсановского уезда сейчас, наверное, процветает колхозное хозяйство, бывшие темные крестьяне передавили всех клопов и тараканов, едят воблу вилкой при свете электрической лампочки, мыслят и рассуждают исключительно диалектически, а в свободные часы до хрипоты спорят о пролетарской поэзии в Испании, утирая носы предназначенными для этого платками; тут рядом ревет и трещит радио и один за другим выступают ораторы, уничтожая в отсталых мозгах последнюю несознательность и набивая прочищенные головы наилучшим сортом марксистского мыслительного материала. Под твердым водительством бывших невоспитанных людей, совершенно перевоспитанных, благодаря сердечному и чуткому отношению соловецких надзирателей экономическое и нравственное процветание края летит вперед так неистово,

что приходится попридержать. Когда-то дремучие леса ныне повырублены, и вместо стволов торчат повсеместно фабричные трубы; одновременно устранены мешавшие движению и оскорблявшие глаз реки, ручьи, родники, и уже не отравляют воздуха бесполезные фиалки, душистые колоски, слащавая мята, лесные майники, грушовки, римские свечи. Воздух напоен не смолой, а культурным дымом каменного угля, и утром будят людей не петухи, а фабричная сирена.

Ну что ж, скоро вся земля будет опаясана асфальтовыми лентами дорог, выбрита, причесана и припудрена песочком. Люди как-нибудь к этому приспособятся, и одно нам непонятно – куда же денется нечистая сила? Если мы заговорили именно о Кирсановском уезде Тамбовской губернии, то, разумеется, неспроста и неспуста, а по особой причине: там, в числе других нечистиков, были двое любопытных и не часто встречающихся: Любостай и Фармазон.

Они жили там еще сравнительно недавно: лет пятьдесят тому назад, а то и меньше. В те дни деревенский человек не удовлетворялся обществом себе подобных: он населял свой дом, свои клети, амбары, риги хотя и невидимыми, но забавными и очень деятельными, в большинстве – симпатичными существами, с которыми и жил в тесноте, да не в обиде. Из существ видимых покровителем домовитости и довольства был только черный таракан; пока таракан живет в доме – беспокоиться не о чем, но если он задумал уйти – быть пожару или иной неприятности. И добрый хозяин, переселяясь в новое помещение, переносил туда чулок, полный тараканов, и выпускал на жительство.

Та же вежливость полагалась и по адресу домового, добродушного невидимого старичка, одинокого упрямого холостяка, нетребовательного, но в житейских обстоятельствах достаточно влиятельного. Жил домовой обыкновенно в углу клети во дворе, поближе к скотине, о которой он очень заботился. Но если обидеть или чем-нибудь разозлить дедушку домового, тогда доставалось скотине, а иногда и людям; впрочем, последних домовой только исщипывал до синяков, особенно женщин.

Был еще куриный бог, личность также положительная, – но жил не во всяком курятнике. Куриного бога нужно было найти, и это удавалось не каждой хозяйке. Куриный бог – сверленый черный камушек, иногда попадавшийся при распашке земли на месте старинного поселения или на берегу речки. В дырку продевалась ниточка, и куриный бог висел спокойно в курятнике, иногда занимаясь практикой зубного врача. В пос-

леднем случае камушек крестообразно и шестикратно прикладывали к щеке – и излечивали зубы безо всяких бормашин и золотых мостов.

Вообще по части медицинской раньше было гораздо проще: не нужно было ни врачей, ни дипломов, ни диагнозов, ни анализов, ни терапии, ни хирургии, ни двадцати пяти тысяч патентованных снадобий, вся сила которых в высокой цене и красивой упаковке. Кто мог – вылечивался, кто не выдерживал – умирал и было гораздо меньше хлопот и осложнений. Серьезных болезней было две: лихорадка и грыжа. Обе были женского рода, забирались в человека и сидели в нем, пока их не выгоняли. Лихорадка выгонялась просто: больного, независимо от погоды, выводили во двор, надевали ему на шею хомут и обливали холодной водой, а затем смотрели: поможет или нет? Грыжа изгонялась сложнее. Приходилось больного везти в ближний лес и там раскалывать молодой дубок; в отверстие дубка забивались клинья, и больного грыжей протаскивали в образовавшуюся щель. Случалось, что клин выпадет и больного защемит слишком сильно: неудача, возможная и при нынешних операциях, когда, например, хирург по рассеянности оставит в брюшной полости сумку с инструментами или носовой платок. Протащив больного, с него снимали рубашку и вешали ее на дубок. Остальное зависело от так называемой силы сопротивляемости организма.

И неправильно думать, что все это – суеверия и предрассудки; это только степень медицинского познания: блуждали в области грыжи, как сейчас блуждают в области рака.

Но в славном прошлом человеческому бессилию помогали святые покровители. Святой Власий, например, брал на себя целиком заботы о коровах; Фрол и Лавр достаточно смыслили по конской части; Зосима и Савватий были настоящими знатоками по части пчелиной; Константин и Елена выращивали и укрывали от заморозков огурцы нежинские, муромские, крымские, неросимые и всякие другие, за исключением породы берлизовской, лучшей из существующих, которая была выведена уже после отставки названных высоких покровителей. Было также известно, что Благовещенье – покровитель игроков в орлянку, а кому удастся ловко украсть в день Рождества, – тот на весь предстоящий год обеспечен от всяких в этом деле неудач и неприятностей.

Но все это – быт серый и повседневный, маленькие болезни, незначительные события, мелкая и спокойная речка жизни, без бурь и обрывов. Не всегда спокойно протекала деревенская жизнь; бывали случаи особые, в которых никчем-

ной оказывалась помощь рядовых скромных святых и домашних нечистиков. Бывали случаи отчаяния и протеста, жажды преодолеть границы, поставленные маленькому человеку. В курной избе рождались люди высоких страстей и дерзостных размахов воли, от которых прятался в щель дедушка домовой. А чья-то помощь нужна, кому-то нужно продать душу если не за вечное, то хотя бы за временное, земное счастье, не за всю жизнь – так за годы, за месяцы, за высокие миги!

Тут-то и поджидала человека нечистая сила высшего чина и строго очерченных специальностей. Руководил такими спецами, конечно, все тот же Сатана, жительствовавший в аду, принимавший там от своих подчиненных донесения и отдававший соответствующие распоряжения. Но в то время как в другие места он посылал лиц, более или менее всенародно известных и много раз описанных, – только в Кирсановский уезд Тамбовской губернии он командировал названных нами выше совершенно особых врагов рода человеческого: Любостая и Фармазона.

* * *

Уехал дорогой человек в дальнюю сторону, на месяц, на год, навсегда. Первую ночь женщина тоскует, вторая ночь полегче; но если на третью ночь любовь не пройдет, – хватит за сердце тоска.

И тогда перестает быть милым свет. Днем небо в лиловых облаках, голоса людей сливаются в ненужный шум, валится все из рук, и никакие яства не сладки. Ближе к ночи земля холодит ноги, а голова и грудь пышут жаром. В самую ночь мягкая постель хуже резаной соломы и крапивного ложа, – нет бабе дыханья, руки напрасно шарят, в теле зуд, и сна нет ни на спине, ни на боках, ни ничком – адовы муки, и ночи нет конца, а утренняя заря не радует и не облегчает.

Вот тогда-то и прилетает к тоскующей безо всякого зова великий облегчитель и убийца Любостай.

Он прилетает во образе змея, но никто его в этом образе не видел. Подлетев к избе, рассыпается огненным дождем, ничего не сжигая. Но от жару и пламени в избе раскидывается спящая и теряет сознание. Когда же приходит в себя, – с нею дорогой человек, вернувшийся на тайную побывку. Радости не описать, а страсти обоих нет ни удержу, ни конца. К утру опять засыпает женщина, но сном счастливым, а просыпается одинокой, усталой, ослабевшей, но спокойной на весь

день до солнечного захода. Только к новой ночи просыпается прежняя тоска, – но теперь ждать уже недолго.

Так и бывает, из ночи в ночь, пока Любостай не выпьет из покинутой женщины всю кровь, все молоко, все жизненные силы до последней капельки. Помочь ей ничем нельзя, да она и сама не хочет помощи: ей дороги и милы ночные свидания и ни на что она их не променяет. Пройдут недели, месяцы, а то и год, сколько хватит сил, – и неутешные родные сволокут на погост жертву Любостая.

Совсем иное – Фармазон. Он без зова не приходит и нужен не всякому. Но если молодому или пожилому человеку восхотелось чего-нибудь недостижимого, если жизнь показалась ему скучной и несносной, свет для него сошелся клином, пожелалось ему богатства, славы, красоты, мудрости, любви первой красавицы, власти над людьми, – вот тогда он может призвать к себе Фармазона.

Нужно для этого выйти в чистое поле ночным часом, и чтобы звезды в эту ночь были ясны, а луны не было. На звездном небе нужно отыскать звезду самую тайную и прекрасную, поднять к ней руки – и голосом спокойным, без крика, без слез и униженья, позвать Фармазона. Не к каждому, – а все же может Фармазон неведомо откуда явиться. Особенно объяснять ему не приходится, – он сам все понимает лучше нашего. Богатство и слава стоят подешевле, женская любовь подороже, но если просит человек великих знаний и мудрости, – за это плата высока. Но чего бы человек ни просил, – прежде всего, пожалуйста, расписку! Разрезывают правый мизинец и пишут на бумажке собственной кровью. Ту расписку Фармазон берет с собой, да еще, про случай, снимает с просителя живой патрет, на всякий случай, а на какой – увидим.

Что Фармазоном обещано, – то и исполняется. Станет бедняк богатым, а к ранее неудачному в любви самая лучшая красавица сама бросится на шею. Славы желаешь – славы добьешься, из мужика станешь барином, из Петрушки – Петром Ивановичем господином Кривоносовым. Если же возжелал стать мудрецом – держись крепче на ногах, не упади от великих прозрений!

Но может случиться и так, что богатство не даст тебе сладости, женщина опостылеет, слава приестся, и захочется человеку стать прежним простаком, без лишних знаний и догадок, счастья не приносящих. Тогда еще есть время расторгнуть договор, подписанный с Фармазоном, и вернуть страшный залог: душу, назначенную идти прямо к дьяволу.

И делается это так. Опять выходит человек в чистое поле,

опять зовет и кличет Фармазона: "Верни мне расписку, получай свой процент!" Если была куплена мудрость – меньше смерти платы за нее нет; за все остальное – короткая расправа. Ставит Фармазон готовый патрет, палит в него из ружья, обычно в морду, расписку возвращает, а сам исчезает бесследно к востоку. После чего морда человека изуродована, зато душа спасена.

Откуда было в Кирсановском уезде такое поверие – загадка для людей ученых. Одно можно сказать: насколько же раньше все было проще и удобнее, да и договоры с тогдашней нечистой силой были как будто легче и выгоднее, чем с нынешней! Тело прозакладывалось, – но душа при нужде спасалась; ныне же тела иначе не спасешь, как погубивши навеки душу.

В этом и разница между прошлым и настоящим!

КНЯГИНЯ И ПОСЛУШНИК

Каким образом в монастырского послушника, убивавшего собственное тело постом на хлебе и воде, могла вселиться африканская страсть, – непонятно и из обстоятельств дела не видно. И что так увлекало его в княгине Голицыной, которая была лет на двадцать его старше и решительно ничем не замечательна? Говорили, что она была довольно красива в ранней молодости, замуж вышла поздно, двадцати девяти лет, с мужем жила хорошо, занималась благотворительными делами. Драма произошла, когда Вере Дмитриевне было уже пятьдесят лет и она только что потеряла мужа.

Вообще много неясного в этой страшной драме, надолго взволновавшей Москву в начале пятидесятых годов прошлого столетия. О ней много писали и говорили, и я не уверен, что этот сюжет не использован каким-нибудь тогдашним драматургом или романистом. Роман княгини и монастырского послушника – грешно упустить такую тему! Советские авторы и по сию пору усердно сводят коммунистов с дочерьми бывших генералов и помещиков, выводя отсюда блестящие, хотя и скучноватые умозаключения.

Герою московской драмы, Николаю Семеновичу Зыкову, было двадцать лет, когда, окончив курс института Корпуса путей сообщения, он поступил чиновником в канцелярию московского гражданского губернатора. Об отличных его способностях свидетельствует то, что одновременно он занимался науками и преуспевал в них настолько, что годом позже был членом-соревнователем императорского обще-

ства истории и древностей российских, членом Статистического кабинета, Московского художественного класса и Российского общества любителей садоводства, еще через год – членом Московского благотворительного общества и Попечительного комитета Императорского человеколюбивого общества. Ряд званий разнообразнейших, указывающих, что молодой человек быстро выдвинулся и делал настоящую общественную карьеру. Одновременно из канцелярии гражданского ведомства он перешел в ведомство военного генерал-губернатора, при котором стал чиновником особых поручений.

В одном из благотворительных обществ он познакомился с Верой Дмитриевной; ей было тогда за сорок лет – самое время заниматься добрыми делами. Вероятно, они разговаривали о тщете богатства, о трудности верблюду проходить сквозь игольные уши, о важности смирения, о тихих радостях жизни в шалаше; может быть, вместе навещали бедняков и раздавали им белые булочки и просфоры. Достоверно известно, что именно в это время родилась в сердце послушника к княгине "чисто христианская любовь", как позже он признавал это в своих показаниях. Совершенно неизвестно, отвечала ли ему княгиня такой же любовью или менее возвышенной, или она его просто водила за нос. Впоследствии она утверждала, что любила его "как духовную особу", но, во-первых, духовной особой он стал несколько позже, а во-вторых, и духовных особ можно любить по-разному.

Приблизительно на пятом году их знакомства что-то такое стряслось с Николаем Семеновичем. Знакомство с княгиней продолжалось, они постоянно видались, часто переписывались, но Николай Семенович загрустил. Загрустив, он стал чудить и даже задумал уйти в монастырь. Как могло случиться такое с молодым человеком, хоть и не светского происхождения, но делавшим отличную карьеру?.. В позднейших документах по этому делу имеются его признания; он ссылается на крайне болезненное состояние, которое убедило его в полной неспособности к брачной жизни. Странно, потому что до тех пор он был юношей здоровым и очень работоспособным. Случается, однако, что мечтания выводят человека из строя; может быть, он был слишком робок и не уверен в себе. Вопрос чисто медицинский. Николай Семенович утверждал, что "мирская пища, умножая и волнуя кровь, производит в нем кровотечение, рыба, умножая мокроты, производит удушье". Таковы симптомы болезни. И наилучшее лечение – монастырь.

Он был принят послушником на трехлетний искус. Спал не на постели, а в кресле, чтобы не возбуждать себя теплом. Пищей для него была просфора да хлеб с водой, печеный картофель, яблочко. Нет лучшего способа убивать напрасные страсти. И молитва, конечно. Из монастыря его отпускали помолиться в Успенский собор, а также для занятия благотворительными делами. Отлучался и к своей матушке, жившей на Арбате, и не всегда возвращался в монастырь на ночь, хотя вообще послушникам было запрещено проводить ночи вне монастыря.

Молодой послушник – духовная особа, а не какой-нибудь светский хлыщ; с ним общенье непредосудительно, он вхож во всякий дом для духовной беседы, и женщины с ним могут общаться просто и откровенно, даже наедине. Он и совет даст, и в горести утешит, и научит добру, особенно если он при этом еще и просвещенный человек. Надо полагать, что послушник Зыков был в моде в московском обществе, бывал в аристократических домах – у Голубкова, у графини Шереметевой, у княгини Щербатовой и прежде всего и чаще всего – у княгини Веры Дмитриевны Голицыной. Дружба с нею стала прочнее и интимнее, так что он живал у нее даже в деревне, и к тому же они едва ли не каждый день посылали друг другу письма. Бывала и она у него в монастыре, и по целым часам они читали в его келье проповеди митрополита Филарета на французском языке. Обо всем этом стало известно подробно после драмы, о которой речь впереди.

Не нужно думать, что Николай Семенович был ханжой и аскетом. Напротив, он хорошо одевался, так что мог считаться среди послушников светским франтом. С особой тщательностью он заботился о своих красивых руках, отделывая ногти, и причесывался по моде, не жалея втираний и духов.

Но, по правде сказать, – какое же это монастырское послушание! Очевидно – силен бес! Просфоры плохо помогали, и никак не мог послушник Зыков справиться со своей страстью и выбросить из головы греховные мечтания. Мы, конечно, не знаем, каковы были его отношения с княгиней, старый муж которой часто хворал от раны, полученной им в 1831 году. Молва не щадила княгини при жизни, но последующая трагедия окружила ее память ореолом мученичества. Впрочем, у княгини был уже женатый сын – вряд ли она могла быть особой легкомысленной или хитрой обольстительницей. В письмах она была осторожна. “Я Вас чту, – писала она Зыкову, – но сильно никого не люблю”. Но и он, вероятно, имел какие-

нибудь основания упрекать ее в письмах: "Почему Вы меня любили и разлюбили?"

Он был очень настойчив, послушник Зыков. Он стал еще более настойчивым, когда в 1850 году умер муж Веры Дмитриевны. Он проявил себя жестоким ревнивцем, когда прошел слух, что княгиня собирается вторично выйти замуж, – хотя вряд ли это было правдой. Очевидно, не раз происходили между ними тяжелые сцены. "Вы не хотели пропустить меня в дверь, – писал он ей, – Вы сами не помните, что делаете!"

Несомненно одно: монастырский послушник смертельно надоел княгине или уж слишком стал ее компрометировать. Проповеди Филарета по-французски, просвирки бедным, рассуждения о лучшем способе войти в Царство Небесное – это все хорошо, но с годами прискучивает. Не замуж же идти княгине за ровесника ее сына, за больного и безрассудного мальчишку, который, по собственному признанию, пошел в монастырь по неспособности к браку, – если только это не было поклепом на себя, придуманным на судебном следствии. Во всяком случае, было необходимо пресечь канитель и избавиться от страстного поклонника, начавшего терять голову.

Тут – вводное событие, которое одни объясняли чистой случайностью, другие – махинациями если не самой княгини, то ее родственников, желавших помочь ей развязаться с Зыковым. Вечером в марте месяце Зыков возвращался домой по Волхонке, близ которой жила княгиня. И случилось, что к нему пристал пьяный человек, так что дело кончилось дракой, причем оба они попали в участок. Хотя пострадавшим лицом явно был Зыков, но генерал-губернатор Закревский не только сообщил о его поведении митрополиту, но и велел у Зыкова на квартире произвести обыск. Не видно из дела, чтобы этот обыск дал полиции какую-нибудь поживу, например – удалось отобрать у Зыкова письма княгини. Но синодальная контора постановила уволить послушника Зыкова из монастыря за ночные отлучки и дурное поведение. Теперь ему, как человеку опороченному, не было более входа в знатные семейства и вообще в порядочные дома. Попутно друзья ему нашептали, что ко всей этой истории причастна столь почитаемая им княгиня Голицына.

Но разве мог он поверить? И разве мог он отказаться от каких-то своих сумасшедших надежд? Не решаясь явиться сам – его уже раз не приняли, – он шлет своему кумиру письмо за письмом: с упреками, требованиями, намеками на поэзию жизни в лесной хижине вдвоем, жалобами на ужас одинокого существования забытого и обманутого человека. Он назы-

вает себя убогим и несчастным, ее – ангелом-спасителем. И ангел не смеет оставлять все его письма без ответа, но на этот раз отвечает сухо и даже не всегда вежливо. Княгиня просит бывшего послушника оставить ее в покое, так как помочь ему она ничем не может.

Но не откажет же она прийти к нему, если он будет умирать? Он пишет ей новое письмо, приглашая навестить умирающего. Вместо себя она посылает свою компаньонку, старушку Кауфман. Значит, она уже не верит ему? Но может быть, она поверит его матери?

Он действительно болен, и мать знает о причине его болезни, об убивающей его страсти, которая может свести его в могилу. И по письму матери княгиня, с тою же компаньонкой, была вынуждена приехать проститься с умирающим.

По его просьбе они остались вдвоем. Он был одет – и под одеждой скрыл кинжал. Было бурное объяснение, но немка из соседней комнаты не поняла, о чем они говорили. Он что-то требовал; княгиня резко отвечала: “Нет, нет, нет!” Потом раздался крик – и в комнату вбежали.

Кинжал вонзился княгине в правую сторону шеи, перерезал горло и поранил позвоночник. Она была залита кровью, а он то целовал ее, то на коленях громко читал “Отче наш”. Он не казался сумасшедшим; напротив, он очень спокойно и обстоятельно объяснил полиции, что потому убил княгиню, что для этого мира она слишком хороша и совершенна: он помог ей отворить райские двери в другой мир.

* * *

Зыкова судили и обвинили в предумышленном убийстве – двадцать лет каторги и вечное поселение в Сибири.

Его процесс был громким, и в последний раз Зыков сделался модным в великосветских салонах. Если бы он был оправдан, его мог бы ожидать огромный успех у женщин. Но теперь, во исполнение приговора, его ждала публичная казнь: выставление у позорного столба перед ссылкой в каторжные работы.

Может быть, он был умалишенным, но менее всего ему хотелось быть обыкновенным преступником. Он попросил мать принести ему в тюрьму лучший из его нарядов. Утром в день позора он оделся с особой тщательностью в сорочку тонкого голландского полотна, в отлично сшитый сюртук и из-под галстука выпустил брызжи. Он знал, что на его публичную казнь

явится московский свет, мужчины в колясках, дамы в закрытых каретах. Он был несчастным, но хотел быть интересным.

Это не понравилось генерал-губернатору графу Закревскому, который приказал нарядить убийцу в арестантский халат при грубой холщовой рубашке. У губернатора оказалось гораздо больше вкуса: в этом костюме Зыков был еще интереснее, и дамы это оценили.

На Красной площади толпа стояла и ждала с раннего утра. В девятом часу показалась тюремная открытая колесница; в ней Зыков стоял привязанным к столбу. Вероятно, он страдал, что так плохо одет. Он смотрел не на толпу, а в небо, как и полагалось герою и подвижнику. Он был бледен и красив. Простой народ жалел его, как он жалел в России каждого осужденного преступника, каждого "несчастненького"; этого жалел особенно, потому что его погубила женщина, знатная барыня. Публика избранная любовалась редким зрелищем, последним актом эффектнейшей драмы, в которой было предусмотрено все: разница в социальном положении героев, коварство жертвы, безрассудная любовь юноши, кинжал, молитва над холодеющим телом и страстные поцелуи, которыми убийца осыпал труп убитой...

Медленно проследовала колесница в сторону Пятницкой улицы. На повороте ее догнало несколько карет, а дамы, не боясь запачкать башмаки уличной грязью, вышли из карет и, подбежав к колеснице, просили героя драмы дать им на память хотя бы кусок одежды. Конвойный отдал им носовой платок привязанного к столбу, и они, разорвав платок на части, спрятали лоскутки на груди.

В то время не было кинематографа, обидно и невосстановимо!

СВЕЧКА

В старые годы все в Москве знали знаменитых богачей и скупердяев, супругов Дениса Васильевича и Василису Денисовну, про которых сочинено было много забавных историй, и совершенно напрасно: жизнь их была не забавна, а полна трагизма и ужаса, да пожалеть их было некому. Мы первые их пожалеем и постараемся понять.

Прежде чем стать старыми, они были молоды; прежде чем стать баснословно богатыми, они были бедны. И нужно вспомнить, что в те времена бедность ни в какую поэзию не облекалась, никто не писал о ней сентиментальных расска-

зов, не считал ее “важным социальным фактором”, не возлагал на нищих обязательства быть “авангардом борьбы за лучшее будущее” и не кокетничал прорехами в бороду богачам. Говорили, конечно, что добродетель может быть почтенной и в рубище, – но всегда предполагалось, что подобная одежда для добродетели случайна и гораздо легче и проще войти в Царство Небесное через дверь просторную, по лестнице, устланной мягкими коврами, уплатив за предстоящее блаженство вперед наличными деньгами. Бедность в те времена была несчастием и пороком. Наше время пыталось изменить эти понятия, но без особой удачи. Скажем попросту и откровенно: больших богатств нам не надо, но да будет проклята нищета, труд подневольный, вечное унижение, плесневелые корочки маленьких запоздалых удач, любовь в шалаше, добродетель в лохмотьях и робость протеста, заглушенного подачкой.

Денис Васильевич и Василиса Денисовна поженились против родительской воли, были месяц глупо счастливы и много лет несчастны. Что было, то проели, он не сделал служебной карьеры, она, к счастью, не народила детей, и жизнь прошла мимо них с быстротой курьерского поезда, хотя в те времена, за отсутствием поездов, передвигались в собственных бричках.

К сорока годам спина Дениса Васильевича накланялась вдосталь, голосок стал ласково-приторным, глазки завистливо-искательными; Василиса Денисовна, когда-то бойкая барышня с поднятым носиком, всю свою жизнь проштопала и прочинила, накладывая новые заплаточки на старые вставочки, предпочитая темные материи светлым, подсчитывая кусочки сахару, стараясь больше есть в гостях, меньше дома. Между собой жили мирно, потому что поодиночке совсем пропали бы среди людского равнодушия; жили как бы в заговоре против людей благополучных и достаточных, даже не пылая завистью, а только теплясь нехорошим чувством ко всякому, кому ворожила бабушка и кто мог не думать о завтрашнем дне. Имели все-таки на окраинной Москве свой домишко, – потому что тех дней нищета была отличной от нынешней, когда люди живут в чужих квартирах и платой за них стягивают себе петлю на шее. Имели и прислугу – дворника с женой; дворник был стар, жена его глуха и болезненна, едва способна к работе, но зато и ела мало. Коровы не держали, а по двору бродили злые и голодные куры, которым приходилось, хочешь не хочешь, нести яйца за собственный счет.

И затем случилось, что почти разом и Денис Васильевич, и Василиса Денисовна получили по огромному наследству: несколько деревень в разных губерниях, тысячи крепостных, три доходных дома в Москве, сколько-то барских особняков по уездным городам с неисчислимым имуществом и от долгов чистыми капиталами. Как бы обрушилась на прохожих людей золотая гора, золотой ливень застал в поле случайных путников! И, как всегда бывает, таким же дождем, целым ливнем, хлынули на них друзья, помощники, дельцы, заботливые дальние родственники, управляющие, приказчики, доброжелатели, – так что года два не было отбою от их усердия, пока, наконец, все дела не были приведены в порядок, а помощников и благожелателей супруги не отвадили недоверием и внезапно обнаруженной разбогатевшими вчерашними бедняками крайней скаредностью, превышающей всякое вероятие.

Ни в какие имения супруги не поехали, – чтобы не тратиться зря на дорогу. Часть продали заочно, может, и с потерей, часть оставили для доходов, с редкой находчивостью подтянув и приказчиков, и крестьян. Жить остались в своем московском жалком обиталище, но только теперь, чувствуя большую ответственность за свои владения и свои капиталы, они и сами подтянулись до последней степени в смысле хозяйственной экономии, потому что растратить деньги легко, а уж другой раз получить будет неоткуда. Разорялись единственно на запоры и замки, зная человеческую жадность и склонность к преступной наживе. Вор и грабитель, он чувствует, где что плохо лежит; ему нипочем лишить достояния человека, всю жизнь прожившего в бедности и лишь на старость приобретшего сокровище; он кружит ночами поблизости от дома, он нацеливается, ждет случая, заглядывает в щелочку, точит свой воровской инструмент, а то и ножик. Недогляди – и его цепкая рука утянет хранимое в сундуках, в матрасе, за пазухой, и тогда опять придет костлявая нищета, ужас молодых годов, напрасно загубленных!

И как в те дни не было в ходу банков, чековых книжек, сейфов и несгораемых шкафов, то наличные деньги приходилось хранить дома под вечной опаской нападения. Прощайте, мирные ночи! Завели на дворе злую собаку, старому дворнику приказано проводить ночи на улице с колотушкой. Спали теперь тревожно, а в особо подозрительные дни – по очереди: один спит, другой сторожит, слушая дворникову колотушку, замирая страхом, когда ее больше не слышно, вздрагивая, когда под полом завозятся крысы или залает на дворе собака.

В такие ночи Денис Васильевич клал рядом на ночной столик большой пистолет, купленный на толкучке, хоть и испорченный, хоть и не заряженный, а все-таки с ним покойнее; дверь в спальню заставляли комодом, на край комода клали битую посуду, чтобы если кто попытается комод отодвинуть, падали бы тарелки и стаканы на пол с грохотом.

Случалось, что замученные бессонными ночами супруги прибегали к хитрости: с вечера, отослав куда-нибудь дворника, чтобы не мог подсмотреть, они тайно переносили шкатулку с деньгами в сарай или погреб и зарывали ее в землю или под лед, а сверху наваливали всякого лома и мусора. Успокоенные, с легким сердцем возвращались в горницы, хитро друг другу подмигивали, заглядывали, спит ли глухая дворникова жена, закусывали, если осталось что от обеда, и ложились спать с расчетом провести покойную ночку. Но расчет не всегда был правильным: тут, рядом, шкатулка всегда на виду и можно проверить, все ли в ней цело; а кто поручится, что в погреб не забрались жулики, может быть, даже ради меньшей поживы, в простом намерении стянуть картошку или кислую капусту, да обратили внимание, что не все лежит там, как лежало прежде? Пойти проверить невозможно: увидят в погребе свет и догадаются! А собака сегодня беспокойна, лает да лает! И вот то один, то другой сползают они с постели, шаркают старыми туфлями к окну и слушают – не звякнет ли погребной замок, не разгадал ли кто-нибудь их хитрости. Вместо сна – еще пущее беспокойство!

Придумали было держать по ночам в комнате свет – все-таки людям острастка, видно сквозь щели ставен, что хозяева бодрствуют. Но когда за первую же ночь пожгли три сальных свечи, – закаялись, потому что свечи дороги, этак прожжешь в короткое время целый капитал! Да и все равно – спать нельзя, нужно снимать со свечи нагар. Пожалев о трех сальных свечах, стали впредь ложиться раньше, еще засветло, чтобы окупить напрасно произведенный расход.

Однажды случилось страшное. Как-то днем обоим супругам нужно было уйти из дому одновременно подписывать бумаги в казенном учреждении. Не знали, как быть с пачкой банковых билетов, которых накопилось невесть сколько. Взять с собой – потеряешь, а то нападут и ограбят; оставить дома – где? Хотя комнаты на запоре, – кто поручится, что не придут, не взломают, не утащат? Пошептавшись, решили поступить хитро и мудро: спрятать пачку банковых билетов в

кучу золы в давно не топленной печурке под лежанкой, на которой спит глухая дворникова жена. Догадаться невозможно, а больная женщина все же будет острасткой для воров, как бы невольным сторожем. Сказано – сделано, ловко и незаметно. Уйдя, все же беспокоились, а как вернулись – первым делом к печурке, которую только что дворнику пришло в голову растопить, пока нет господ дома: погреть старые женины кости. Голосом взвыли, голыми руками повыбрасывали разгоревшиеся дрова, полпачки сгорело, половину удалось спасти ...

С той поры стали еще осторожнее и еще экономнее, – чтобы наверстать потерю. Разузнав хорошо, наведя все справки, поместили наличные капиталы на хранение в казенную кассу, каждую неделю справлялись, целы ли. Но деньги отовсюду притекали неудержимым потоком, так что и счета им не было. И чем больше было денег, – тем больше рождалось страхов, как бы не утерять копейку; да не украли бы, да не подожгли бы дом. И в другой раз, заподозрив измену старого дворника (с кем-то говорил на улице, и шляются мимо окон странные люди!), не решились держать ночью только что полученную большую сумму денег, а сдать ее на хранение можно было только назавтра утром; решили израсходоваться – только бы избежать большого несчастья: наняли лошадь и всю ночь проездили по московским улицам, избегая темных переулков, дрожа от холода и страха.

От вечной тревоги, от недоедания и недосыпания быстро стали стареть, поддаваться всякой хвори, а лечиться дорого! Когда зимой сильно разболелась Василиса Денисовна, муж ее чуть-чуть было не позвал доктора, да все оттягивал, выжидая, как повернется болезнь. Повернулась плохо, и с доктором он опоздал: жена умерла, оставив его одного стеречь деньги и управлять напрасным богатством. Случись это в дни бедности – его поразило бы нежданное горе: все-таки столько лет прожито было вместе, сколько выстрадано и испытано лишений! Но теперь, при вести о смерти, налетели вороны-гробовщики, отдаленная родня, бабы-плакальщицы, дьячок, подосланный приходским попом, толпа нищих! Кое-как отделался от них и справил похороны по дешевому разряду, а все же с большим ущербом для капитала. В таких чрезвычайных случаях деньги летят, как пух из прорвавшейся перины, тают, как погребальная свеча! Раскошелься Денис Васильевич – не одобрила бы его покойная!

Одному стало еще труднее и еще тревожнее. Хотя у покойной наследников не было, а все-таки стали приходить ка-

кие-то письма с просьбами и напоминаниями о старых знакомствах; писем Денис Васильевич не читал, а складывал их стопочкой и прижимал подобранным на улице булыжником – на зиму сгодится для растопки печей. Одинокими днями Денис Васильевич пытался подсчитать, сколько у него подкоплено денег и сколько было бы, если бы не пришлось израсходовать на похороны жены. Но цифры ничего не говорили ему, только пугали то малостью, – как будто часть денег пропала, то огромностью нулей, – с такими деньгами жить страшно и нет для них вполне верного хранилища. Днем считал, рано вечером ложился в постель, пододвинув поближе незаряженный пистолет; иной раз было в темноте страшно, не спалось и чудились всякие ужасы, – но свечку он зажигал только в самых крайних случаях, чтобы и не расходоваться зря, и не привлекать к освещенному дому внимания злодеев.

Свою жену Денис Васильевич пережил только двумя годами. Не то чтобы состарился и ослабел, а в студеную зиму, жалея дров, сильно простудился и не преодолел привязавшегося какого-то гнойного кашля, от которого разломило грудь и спину. Ходил за ним дворник, но, сам старый и немощный, ходил неумело и нерадиво, да и не очень подпускал его Денис Васильевич, сомневаясь в чистоте его намерений: больного человека легко обобрать дочиста.

И однако, понял, когда пришел его последний час, даже зажег свечу и стал шарить под подушкой, цел ли ключ от шкатулки. Ключ оказался на месте, но кашель давил немилосердно, а к холоду комнаты присоединился холод новый, внутренний, ясное дуновение смерти. И когда этот холод начал сковывать все члены Дениса Васильевича, он последним проблеском сознания ощутил, что это пришла смерть; зажав в кулак ключ, с трудом приподнялся на локте, сложил трубочкой занемевшие губы и задул свечу, которая была уже не нужна и только горела бы понапрасну.

КЛАДОИСКАТЕЛИ

Ермил Макаров, крестьянин села Ендово-Ендовищи, поднимал целину у самой опушки и норовил запахать до корней, пока можно. Вообще в этом рассказе, старонародническом, маркизов не будет – исключительно мужики. Отец Афанасий и дьякон Вукол – те же, в сущности, мужики, хотя дьякон, об-

ладая редкой памятью, считал себя начетником и любил сыпать цветами из кондаков, икосов и тропарей; никогда не говорил "девица" или "девка", а выражался "неискусобрачная" – в противоположность "бракокрадованным", "божественный бисер произведшим". Так вот, Ермил Макаров, шлепая лаптями за сохой, дошел до поворота и тут увидал, что в отвороченном пласте сверкнул какой-то кругляшок. Он его поднял, протер пальцами, сунул в шапку – и тем проявил археологическую мудрость.

Учитель Павел Логвинович не отличался широтой образования, но все же сообразил и указал Ермилу, что его находка – серебряная монета старых времен, а какая и сколько может стоить – скажут только люди сведущие, городские. Монета была полустерта, на одной стороне путаница, на другой вроде рожи. Коротко говоря, в городском музее за эту монету дали два рубля – деньги неслыханные. Нечего и говорить, что в том месте, где была найдена монета, Ермил Макаров рыл потом лопатой часа три в разных направлениях, не попадет ли еще, но ничего не оказалось. Стали ковырять землю и другие на своих полосах – ничего! Попадали ржавые зубья от бороны, встречались черепки от горшков – толку никакого.

Старики вспомнили, что близ Ендово-Ендовищ кем-то когда-то был найден клад. Но тот человек знал всякие заклинания и умел раздобыть цвет кочедыжника и плакун-траву. Клады зарывались разбойниками и всегда с зароком. Если, например, положен зарок на сто голов воробьиных, – то столько воробьиных голов и подай, иначе ничего не добудешь. А как знать, на что положен зарок? Без этого знания можно добыть только такой клад, который присушился, то есть начал выходить наружу огоньком. Этот огонек и есть цвет кочедыжника, и срывается он только под Иванов день с особыми заговорами. Подробности известны: папоротник цветет ровно в полночь, и если не успеть тот цветок сорвать, то им овладеет нечистая сила. Значит, нужно прийти раньше, очертить круг и ждать, а главное – быть равнодушным ко всем штучкам нечистой силы, и к запугиванью, и к залащиванью, и к кружению головы. Этого простой человек не выдерживает, и пословица говорит: "Клад добудешь, да домой не будешь". Но если какой пропащий человек решится и добудет цветок, то с его помощью он может и найти клад, и, что очень важно, разорвать любые железные двери, устроенные разбойниками для охраны клада.

Когда же появился в селе бывший солдат, служилый чело-

век, никакого страха не знавший и побивший на своем веку множество неприятеля, то дело приняло оборот серьезный. Во главе кладоискателей стал кавалер Никанор Прохоров, отставной воин; часть хозяйственная осталась за Ермилом Макаровым, земля которого, по-видимому, кладами изобиловала; третьим в это дело ввязался старый Герасим, из бывших крепостных, тем знаменитый, что знал всякие заклинанья и заговоры, а сверх того уверял, что есть у него корешок плакун-травы, без которой и приступать к делу не стоит.

Дело велось в строгой тайне, иначе говоря – знали о кладе все бабы, а самый клад исчислялся приблизительно в "мельон", а на "мельон", как известно, можно поставить два сруба, купить самовар, двух коров, сапоги и гармонию, и даже еще останется на черный день. Установлено было и происхождение клада: его закопал в землю с зароком на тыщу лет знаменитый разбойник Лександра Македонов, проживавший во оны времена в Ендово-Ендовищах.

Интересовался кладом и дьякон, отец Вукол, и имел на этот счет бурю внутре помышлений сумнительных. С одной стороны, напрасное буесловие и законопреступная корысть, но, с другой стороны, все может быть, и зря достанутся деньги неразумным мужикам, которые живо их пропьют. Отец Афанасий, священник, укорял дьякона за любопытство и разговоры:

– Грешишь, дьякон! Достойно ли духовного сана повторять бабьи глупости?

– И однако, отец Афанасий, случалось, что люди находили клад и обогащались.

– Находили случайно, а не чернокнижием.

– Сказано, отец Афанасий: книги разгибаются и тайная являются. Не все книги черные, а если, заместо чарований, подойти с молитвою...

– Еще сказано: Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся. Болтаешь про молитву, а сам дьявола тешишь. Скажи лучше: Боже, очисти мя, грешного, – двенадцать раз и толико же малых поклонов.

И однако, такие увещания плохо действовали на дьякона Вукола. Как-никак, а ведь обрел же пахарь Ермил Макаров землею восхищенную драхму и получил за нее два рубля! Ежели же теперь милосердный Отверзитель пожелает отверзнуть толкущим, иже под землею скрыша, – не будет ли сие предложением обещания и надежды исполнением? Прямо войти в компанию кладоискателей никак дьякону невозможно, даже в качестве светоподательна светильника сущим во тме неразумия. Но понаблюсти следует, чтобы на случай какого несча-

стия вовремя вступиться и сокрушить демонов немощные дерзости и всякий дьявольский ядовитый прилог. Одним словом, только из простого человеколюбия, а никак не из корысти порешил отец дьякон тайно разузнать о дне и часе, чего и достиг, угостивши старого Герасима, владельца корня плакун-травы и соучастника предприятия.

* * *

Люди малосведущие думают, что клады можно отрывать только в ночь на Ивана Купалу. Тут – недоразумение! В эту ночь цветет папоротник и ходят добывать его цвет. А раз этот цвет или корень плакун-травы добыт раньше, то любая ночь годится для поисков клада.

Ночь была выбрана вполне подходящая – теплая и лунная. Вечер кладоискатели просидели в кабаке, к ночи пришли на опушку леса, захватив все необходимое: два заступа, мешок, краюху хлеба и две бутылки водки. Костра не разложили, чтобы не привлечь чьего внимания. Солдат был пьян, но крепок, Ермил Макаров на ногах стоял плохо, а старый Герасим от других не отставал, повторял для памяти слова заговора на плакун-траву. Корешок был у него за пазухой, но самому корешку он не очень доверял, потому что не был уверен в его подлинности: мало ли какой корешок можно найти на дороге! Но заговор помнил хорошо и повторял про себя часто.

Время знали по звездам. И когда подошло к полночи, растолкали заснувшего Ермила и пошли на отмеченное место – то самое, где была при пахоте найдена монета.

Тут двое стали копать, а Герасим, на корточках у ямы сидя, держал корень в кулаке и повторял без перерыва:

– Плакун, плакун, плакал ты много, выплакал мало, не катись твои слезы по чисту полю, не несись твой вой по синю морю, будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским, а не дадут тебе покорища, утопи в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе крепко и твердо. Век веком!

И вот, верьте не верьте, как только сказал он это “Век веком!” в десятый или двадцатый раз, – стукнули обе лопаты во что-то твердое, так что земля дрогнула. И солдат крикнул:

– Стой, ребята, сандук!

И, как всегда в таких случаях бывает, – вышла суматоха. Ермил спьяна заголосил, Герасим полез в яму, а солдат едва не отхватил ему заступом ногу. Отрезвев сколь можно, Ермил

заявил, что земля его, значит, его будет и главная доля, солдат же потребовал, чтобы делить пополам. Но, видно, забыли, что всему делу подмога – Герасимов корень.

– Да ладно! Ты отрыть-то дай, голова!

– Знаю вас, отрывателей, а ты поклянись!

– Чего поклянись, моя земля!

– А ты ногу-то, ногу убери, – эко, пьяные морды, где добро делят!

– Уйди, убью!

– А ну те к дьяволу!

Этого, конечно, только и ждала нечистая сила...

* * *

Се жених грядет в полунощи... С путешествующими спутешествуя, отец дьякон все же отправился в путь не опушкой, где могли его заметить, а редким леском – прямо к месту. Сказать, что шел он совсем бесстрашно, – этого сказать нельзя. В нечистую силу не веруя, все же бормотал про себя о сохранении невредненным от всякого чарования, и обаяния, и всякого зла, соблазнства же лукавого, червя и мухи, и ржи, зноя и вара, и безгодных ветров, вред наносящих, и от злосмрадныя тли и муки страшныя... Главное – не хотелось изодрать рясу о сучья, хоть и надел старейшую, белого домотканья.

Зачем выступил дьякон в этот поход – сам он точно не знал. Первое дело – страстное любопытство, второе – надежда стать участником в деле в случае удачи. Кое-какой план в голове дьякона наметился, но все зависело от обстоятельств. Если, например, нечистая сила спугнет мужичков, – с духовным лицом ей нипочем не справиться. Путалось в его голове суеверие со здравым расчетом. А главное, толкали дьякона безвыходная бедность и желание поправить свои делишки каким-нибудь чудом, и поправить сразу, без долгих мучений: вся бо тебе возможна суть, не возможно же ничтоже. Не то чтобы поступал дьякон по разуму, а скорее – от мысленного волка звероуловлен – соблазну поддался, но чаял и прощение: веси зол множество, веси и струны моя! И язвы зриши моя, но и веру веси, и воздыхание слышиши!

Так, лесом продравшись, достиг отец дьякон настоящего места в настоящий момент. И тут, между кустами залегши, все узрел и услышал. Когда же донеслось до отца Вукола слово "сандук", а вслед затем началась лютая распря между кладоис-

кателями, – понял дьякон, что пришло его время действовать, а именно, белую рясу распростерши, яко завесу раздранную, воскрытием махая и власы распустивши, вышел дьякон из леса на опушку и поча птицеподобно взлетати и приседати плавно, весь залитый лунным светом. А как те кладоискатели, занятые потасовкой, сразу привидения не заметили, то догадался дьякон Вукол, непрестанно прыгая, возгласить гласом, преображенным наподобие козлетона:

– Елицы оглашении изыдите, оглашении изыдите, елицы оглашении изыдите-е-е...

И нужно сказать, к позору служивого сословия, что первым, бросив заступ, пустился наутек отставной солдат-кавалер Никанор Прохоров, за ним мужик Ермил, весь хмель позабывши, а последним, по старости лет, но с поспешением, заговорщик Герасим. И пока не скрылись из вида бегущие, дьякон не переставал изображать своей духовной особой страшное привидение.

* * *

Тут было бы кстати досказать, как догадливый дьякон, вырывши сундук, полный денег, разбогател и вышел в попы, а то и в митрополиты. Но из хроники села Ендово-Ендовищи, которою мы пользуемся, ничего такого не следует. Вместо этого есть целый ряд вариантов. По одним выходит, что наутро нашли дьякона в поле в вырытой яме бесчувственна и насилу откачали, по другим – что мужики, догадавшись о своей глупости, вернулись к кладу и что всю ту ночь видели и слышали прохожие люди, как по полям носилось белое привидение, а за ним бегали мужики с лопатами и как то привидение, добежав до села, скрылось в церковном доме. Достоверно же одно: никакого сундука в яме не оказалось, а нашли там только корневище, кругом окопанное и заступом порубленное.

Когда же пришла из консистории бумага, затребовавшая дьякона Вукола Померанцева явиться в город самолично на архипастырскую расправу, и когда, напутствуя его, отец Афанасий пожелал ему отишия в пучине скорбей и начальствующих гнева избавления, – бедный дьякон-кладоискатель голосом смиренным и убитым до крайности сказал:

– Виждь смирение мое и грехи вся! Не утаилась от вас, отец Афанасий, ниже капля моя слезная, ниже капли часть некая. Но одно скажу: вкушая вкусих мало меда – и се аз умираю!

О дальнейшей судьбе его ничего не сказано в хронике села Ендово-Ендовищи.

ТАРТАРАРЫ

История, которую мы сейчас расскажем, произошла достаточно давно, чтобы каждый патриот города Воронежа мог сказать: "Ну, мало ли что могло тогда быть! Да, кстати, и не было никогда в нашем городе полицеймейстера Поросятникова!"

И действительно не было. Подполковник Поросятников лишь временно исполнял обязанности полицеймейстера, так как состоял при губернаторе для особых поручений. Наконец, фамилия могла быть перепутана, да и не в ней дело. Но сама история наделала немало шума и, как и все, что мы пишем, отразилась в воспоминаниях старожилов и в документах эпохи.

У очень почтенного обывателя города, точнее – у его жены пропала коробочка с драгоценностями: бриллиантовой брошью, таким же кольцом, еще кольцом обручальным, ниткой жемчуга, похожего на настоящий, яхонтовыми сережками и мужниной медалью, полученной за деятельность по просвещению и по откупным делам, одним словом, целое богатство. Коробочка хранилась в одном из ящиков пухлого комода, набитого предметами тайного туалета, отрезками материй, шелками для вышиванья и разными вещами и вещичками, вышедшими из употребления, но соблазнительными для воров. Комод оказался в полном порядке, и ничто не пропало, кроме драгоценной коробочки. Вор знал, что брать. И однако, заподозрить было некого: прислуга старая, испытанная, из дворовых. Обыск, конечно, сделали, старая нянюшка ревела и клялась, обе девки ходили с распухшими носами, а слуга Григорий сказал: "Разрази меня Господь!" Впрочем, и сама барыня утверждала, что против своих людей у нее подозрений нет, коробочка была накануне вечером и исчезла утром из спальни, куда никто не входил. А вот окно – хоть и второго этажа – было, по случаю жары, всю ночь открыто, кто-нибудь чужой мог залезть, например – приставить большую лестницу.

А так как барыня закатила мужу истерику, и не по-столичному, а по-провинциальному – с визгом и криками в окно для сведения всех проходящих, – то муж решил, не тратя времени на поиски вора и пропавших вещей своими способами, заявить о пропаже губернатору и просить его поставить на

ноги всю воронежскую полицию. С губернатором он приятельствовал и по делам просветительным, и по делам откупным.

И вот тут выступает на сцену подполковник Поросятников, временный воронежский полицеймейстер. Прежде всего, конечно, созываются все полицейские чины для обсуждения вопроса, кто мог отважиться на подобную кражу? Хорошая и дельная полиция знает приблизительно всех местных воров и состоит с ними в постоянном общении. Квартирный вор Антип Болезный как раз сидел в это время в тюрьме – заподозрить нельзя. Другой, поплоше, хотя по прозвищу и Аховый, уже три дня был в запойном состоянии, и обычно это у него тянется недели полторы. Братья Сукины, главным образом работавшие на базаре, не столько воры, сколько жулики, прямо сказали знакомому будочнику, что это дело не их, да и вообще словно бы не здешнее и что они никаких разъяснений дать не могут. Единственный громила и взломщик Сенька Ухватов в ночь покражи играл в карты с полицейским канцеляристом и имел алиби. Дело получалось крайне запутанным.

И однако, приказ губернатора был категоричен: воров найти немедленно. Терпимо ли, чтобы у почтеннейшего в городе человека произошла такая кража и полиция о ней ничего ни заранее, ни после не знала!

Подсадили в общую камеру уголовной тюрьмы своего человека – способ старый, испытанный, сохраняющийся до наших дней. В тюрьме всё знают, хотя и сидят под замком. Три дня просидев под видом пьянчужки, наседка вышла и решительно поведала, что тюремная компания сама заинтересована случившимся, горячо его обсуждает, но высказывает предположение, что не иначе как обокрал барыню ее собственный муж, потому что настоящего мастера на такое дело сейчас нет. По части лестницы просто смеялись: кто же полезет в открытое окно, со всеми неудобствами и на верный провал! И окно то выходит прямо на улицу. Главное – и лестницы не найдено, неужто же вор, сделав дело, унес с собой и лестницу! Прямо даже стыдно полиции предполагать такое!

Одним словом – никаких следов. Между тем для временного полицеймейстера это – настоящий провал. Мало того что представлялся хороший случай выказать свои таланты, – могла быть и денежная благодарность от потерпевших. Пренеприятнейшая неудача.

В таком отчаянном положении пойдешь на все. И когда рыжий будочник, также лично заинтересованный, потому что

как раз из обокраденного квартала, дал подполковнику Поросятникову некую новую идею, – полицеймейстер, немного поколебавшись, махнул рукой и сказал:

– Ну ладно, зови его. Чем черт не шутит.

В день назначенный явился в полицейское помещение бородатый приземистый мужичонко в смуром кафтане, родом из пригорода, весьма известный по части колдовства и розыска потерянных или украденных вещей. Явился, как говорили, неохотно, притащили его почти что силком. Одно дело – помогать бабам, другое – содействовать властям. И однако, делать нечего – дан строгий приказ явиться. А явившись, чтобы оттянуть время, мужичок заявил, что в таком большом деле колдовать и гадать можно только утречком, на тощее сердце.

Утречком на другой день в канцелярии полицейской части собралось собрание: полицеймейстер подполковник Поросятников, пристава с помощниками, городовики, письмоводитель и канцелярская мелочь, – хоть и не все нужны, а всем любопытно. Подполковник Поросятников важен и строг. Как человек образованный, он в такие глупости, конечно, не верит; но ведь случается, что мужичок-простачок знает кое-что, что и самой полиции неведомо. После ему можно будет за такое знание настегать по причинному месту и взять его на подозрение, а пока использовать его не мешает. А кроме того, заговаривают же разные старухи зубы лучше врачей, и травами лечат, и всякими нашептываниями. Где Бог не помог, там и черт кое-что значит. Наконец, попытка не пытка, спрос не беда, и положение очень уж безвыходное.

Когда все собрались, бородатый колдун потребовал миску чистой воды и щепотку соли. Еще потребовался ему чистый плат, за отсутствием которого подполковник Поросятников пожертвовал своим носовым платком, достаточно свежим. Колдун накрыл воду платком, кинул под плат соли, подул под платок и на четыре стороны, перекрестился и стал шептать. Шептал он долго, ясно слов не произнося, а про себя думал, как бы из такого дела унести целыми ноги. Окончив заклинания, отошел от миски шага на три, ахнул и закричал:

– Таперя все на колени и молитесь до единого!

Грохнул сам, остальные ждали, как поступит господин подполковник. Полицеймейстер переступил с ноги на ногу, помялся, однако делать нечего: подобрал сабельку, чтобы не громыхала, и с недоверчивой улыбочкой стал на одно колено, а за ним повалилась и вся канцелярия.

– Молитеся рьяно да повторяйте за мной! “На море на оки-

яне, на острове на Буяне, стоит железный сундук, а в том сундуке булатный нож. Поди ты, булатный нож, к такому-сякому вору, руби его тело, коли его сердце, чтобы он, вор незнаемый, не утаил ни синь пороха, а выдал бы все сполна".

"Уж какое там все сполна, – думает подполковник, кладя за колдуном земные поклоны. – Хоть бы самого-то поймать".

– "Будь ты, вор, проклят моим сильным заговором в землю преисподнюю, за горы Араратские, в смолу кипучую, в тину болотную, в плотину мельничную, в дом бездонный, в кувшин банный; будь ты прибит к притолке осиновым колом, иссушен суше травы, окривей, ошалей, одервеней, одурей, обезручей, оголодай, отощай, валяйся в грязи, с людьми не смыкайся и не своею смертию умри..."

– "Окривей, охромей, ошалей..." – повторяет подполковник Поросятников. "Раз допустил в канцелярию паршивого мужичонку, пусть уж все произойдет до конца". – "Одурей, обезручей..." ("На кой мне черт, что он обезручеет и умрет не своей смертью! А не найдет его проклятый колдун – осмеет меня весь город!"). "А кто мой заговор возодолеет, и ему провалиться сквозь тартарары". ("Этаких слов наворотил сукин сын, что и не выговоришь! Узнает губернатор – провалиться и мне в тартарары! Кто его знал, что придется класть поклоны? А вдруг найдет он вора? Хорошо бы было!")

– "Будь ты вовеки веков на собаке рыжей, серой, красной, седой, белой, сиди и не сходи вовек, слово мое крепко".

За колдуном поднялись все. Громыхнув саблей, подполковник Поросятников обмахнул коленки и принял прежний важный вид, как будто ничего и не было... А колдун, повернувшись на одной ноге трижды посолонь, как бы запел:

– Вижу его, вижу, сера морда в жиру, ростом поближе к сажени, усы черны, борода лопатой, нос шилом, на лбу отметина. Пришел в нощи, поднялся невидимо, взял беззаконно, вышел незамечен. А живет он под городом на самой долгой улице, второй дом с угла, у врат собачка, у собачки нет клока шерсти, мещанин, не крестьянин, солдатский сын, то ли Васька, то ли Иван, чужой матери родной племянник. Хлопни по лбу – будет твой.

И, голос переменив на простой, с поклоном заявил колдун начальству:

– Боле ничего не видно, ваше скородье, окромя изреченного. Смотрел на воду, да, видно, вода нечиста, соль в ней не кипит. Это уж не от нас зависимо.

Однако примет было немало: и намек на местожительство, и звание, и из двух имен одно на выбор. Подполковник рас-

порядился мужика пока посадить, а вора искать по живым следам. Из нижних чинов один заявил, что знает на городской окраине, на длинной улице, подходящего человечка, который в запрошлом году попался в краже да вышел обеленным. Именем Игнат, но при нужде сойдет и за Ивана и действительно приходится племяшом одной базарной торговке.

Когда забрали Игната, он клялся и божился, что ни к какой краже не причастен и живет честным извозом. Но, на горе его, был у него на лбу шрам – улика несомненная, отпираться трудно. Подполковник сам допрашивал его с перерывами – в перерывах с ним говорили в особой комнате два дюжих городовика. И хоть Игнат в сознанье не пришел, однако с каждым разом отпирался с меньшим жаром, а больше хотел взять слезой. И до полного выяснения был посажен в холодную при части.

По совести говоря, не было у подполковника Поросятникова окончательной уверенности, что взят им подлинный ночной вор. Главное – мало доказательств, если не считать родство с торговкой и старый шрам над левой бровью. Но все-таки хоть один по-настоящему заподозренный в этом сложном уголовном деле. Хоть какое-нибудь движение! И к губернатору он явился с видом исполнившего свой долг.

И вот тут случилось, что только он открыл рот для радостного доклада, как губернатор сказал:

– Кстати, по поводу этой кражи. Вышла прекурьезная история, напрасно наделавшая нам столько хлопот. Коробочка-то, оказывается, нашлась, завалилась где-то в комоде. Вечная история с рассеянными женщинами! Приятно все-таки, что так кончилось.

Колдуна драли медлительно, усердно и в присутствии самого полицеймейстера, который, чувствуя свою карьеру подмоченной, особо яростно приговаривал:

– Так тебе, сукин сын! Подбавь ему, ребята, в тину болотную и в кувшин банный! Будь ты вовеки на собаке рыжей, синей, полосатой! Осрамил, подлец! Дай ему еще раза – ошалей, окривей, одурей и провались ты, чертов колдун, в тартарары!

ЖЕНОНЕНАВИСТНИК

В одном малоизвестном памятнике мемуарной литературы дан материал для классического портрета ненавистника женщин. Беру сюжет, оставляя эпоху и меняя имя, впрочем,

более ничем не замечательного мелкопоместного дворянина пятидесятых годов.

Платон Григорьевич стал мелкопоместным в порядке постепенности, потребив свои леса, луга и деревеньки на уплату житейских наслаждений. Живя в молодости в Петербурге, он время от времени вспоминал о своих владениях и приезжал продать хлеб, участок леса и нескольких крепостных, чтобы запастись деньжонками на предстоящий столичный сезон. Он был красив, блестящ, умел одеваться и говорить по-французски – ряд качеств, вполне достаточных, чтобы, порастреся свое состояние, поправить дела удачной женитьбой. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть его молодость, то, во всяком случае, не в пренебрежении женщинами, которые всегда и везде окружали его радужным венком. В Петербурге это были женщины светские, знакомство с которыми вызывало расходы, в деревне – милые соседки, девушки на выданье, из которых редкая не сказала бы ему "да" или хотя бы "переговорите с мамашей", если бы ему пришло в голову остепениться и стать хозяином, мужем и отцом.

К людям, не думающим о будущем, счастье и несчастье приходят внезапно. У дочери одного из его соседей была горничная Катя, девушка очаровательная, грамотная и изящнее многих барышень. В эту крепостную девушку влюбился Платон Григорьевич, и влюбился по-старинному: потеряв голову. Неизвестно, пользовался ли он взаимностью; это стало известным позже, пока же, в сущности, никакой взаимности и не требовалось, поскольку была возможность купить девушку у соседа за хорошие деньги. Купив, он увез ее в свою деревню и временно поступил в ее рабы, исполняя все ее желания и прихоти, но, конечно, оставив за собой господское право если не на душу, то на тело своей крепостной.

Одной прихоти своей возлюбленной Платон Григорьевич все же не исполнил: не захотел с ней повенчаться. Для почтенного дворянина это была бы непозволительная "мезальянс". Но он дал ей отпускную и сделал ее полной хозяйкой в доме. По-своему, по-барски, он ее действительно любил и радовался, когда у них родилась дочь. Столица была забыта, как и все прежние развлечения. Человек уже второй молодости был готов стать степенным помещиком и поправить свои дела заботливой хозяйственностью, выжимая из крестьян все, что еще из них выжималось.

Так они прожили несколько лет, – по-видимому, без особых ссор, в гостях не бывая, у себя почти не принимая; только раза два в год Катя уезжала на недельку в имение своего

прежнего помещика, где жили ее родные, а Платон Григорьевич – в губернский город по несложным своим делам.

Однажды, вернувшись из города, он не нашел дома ни Кати, ни ребенка, а только письмо, в котором беглянка объясняла, что предпочла уйти к человеку, любящему ее давно и достаточно, чтобы на ней жениться. Это был сын ее прежнего помещика, за смертью отца ставший самостоятельным и предложивший законный союз Кате, которую он давно любил. Забытый ею в поспешном бегстве сундучок с письмами подтвердил, что уже давно они сговаривались о счастливом времени, когда ей будет можно бросить своего “старого хрыча”.

Что Платон Григорьевич еще не был стар – доказывала его страстная любовь. К этой любви прибавилась горечь оскорбления, и у него сделался удар. Через месяц он оправился, но теперь это был действительно седой и дряхлый старик, от прежней силы чувств сохранивший только способность к дикой ненависти.

С этой поры он больше не выходил из дому, а в дом его не допускалась ни одна женщина, кроме иногда навещавшей его сестры. Но это не значит, что он не думал больше о женщинах: только о них он думал и только о них говорил.

* * *

В молодые годы Платон Григорьевич игрывал в шахматы; теперь забавляется шашечной игрой с племянником Климушкой, парнишкой десяти лет. Садятся всегда у окна, из которого видно проходящих и проезжающих по дороге через владения Платона Григорьевича. Под окном на лавочке сидит дежурный казачок, здоровый малый лет двадцати, прозвищем Свистун.

Климушка очень любит проводить время с дядей и его обыгрывать, немножко плутуя, когда дядя, за игрой не следя, увлечется поучениями, всегда на одну тему:

– Ты вот еще мал, ничего не понимаешь. Ты думаешь, что всякая женщина – как твоя мамаша, а моя сестра. А я тебе говорю, что женщина, особливо пока молода, есть не иначе как жидовская гостиница для проезжающих.

– Вам ходить, дядюшка!

– Мне ходить... Сказано: кобыла не лошадь, баба не человек. Бабья вранья и на свинье не объедешь. Ходить-то ходить, а куда моя шашка делась?

– Я ее взял, дядюшка, вы подставили.

– Взял так взял. Кто с бабой свяжется, сам бабой станет, ты это запомни, мальчик. Баба что жаба. Был такой немецкий философ Лессинг, который назвал женщину величайшим произведением природы. Балда! Муж жене пастырь, жена мужу пластырь. Эй, Свистун, не видишь?

Свистун срывается с места и летит ловить на дороге бабу. В имении Платона Григорьевича строжайше воспрещено женщинам проходить по дороге мимо господского дома и вообще попадать на глаза барину. Свои это знают и попадаются редко, а чужая баба иной раз не рассчитает дороги. По знаку Платона Григорьевича дежурный казачок притаскивает бабу под окно, а если она очень брыкается, – вызывается на помощь еще кто-нибудь из дворни. Без дальних слов, будь баба своя или чужая, она судится и наказуется тут же, на месте.

– Ты откуда такая, что законов не знаешь? Всыпь ей, ребята, два десятка розог!

Баба визжит и отбивается, дескать, "бей своих, а барина Мордвинова девки права не имеешь", – но Платон Григорьевич неумолим и никого не боится. Свистун с помощником исполняют свою обязанность с особым удовольствием – наилучшее развлечение! Климушка жадно наблюдает любопытное зрелище, а Платон Григорьевич сопровождает экзекуцию поучениями и сентенциями:

– Тебе, Климушка, и смотреть-то нехорошо бы на некоторые вещи, слишком рано. Но и поучительно. Все девки красны до замужества. Вот так человек и попадает. Храни тебя, Господи, от пожара, от потопа, от бабьих прелестей. Пока мал – смотри, любуйся, а как вырастешь – и пальцем не трогай. Кажется тебе – конфетка, а на деле горька как полынь.

– А почему она визжит, дядюшка?

– Потому и визжит, что парней прельщает. Эй, Свистун, не замай девку, сделал, что надо, и отпусти, дай ей поругаться. Чтобы все было по закону.

* * *

В близком соседстве с Платоном Григорьевичем жили три сестры-помещицы, старые девицы, знаменитые уродливостью и скверными характерами. Всеми делами правила старшая, Агания, девица необычайной физической силы, хотя и изжившая пять десятков; вторая, Ирина, была слаба здоровьем и меланхолична, занималась только курочками; третья держала себя подростком – ей еще не было сорока лет, звали ее Хионией; все три именинницы 16 апреля. У помещиков

эти сестры шли под кличками “три грации” или попросту, “стервы-душечки”.

Между ними и Платоном Григорьевичем была вражда давняя. Он им пакостил, где мог, они ему отвечали тем же. А так как крестьяне своих помещиц ненавидели лютой ненавистью за незаконную барщину и за поборы, то Платон Григорьевич ловко этим пользовался. Точно не выяснено, но были все основания предполагать, что это он научил парней поймать девиц в лесу на прогулке и среднюю только связать, а старшей и младшей “всыпать горячих” с добавочными оскорблениями. Нападавшие были в мешках с прорезами для глаз, а во рту держали сухие бобы, чтобы нельзя было узнать их по голосу. Дело произошло в чужих владениях, но не было основания сомневаться, что высекли помещиц свои крестьяне. Сначала сестры скрывали происшествие, когда же пошла огласка, то возбудили дело, но ничего не выяснили, да и местные власти вели следствие без охоты: всем было приятно, что старые ведьмы получили по заслугам.

Девица Хиония, невзирая на видимое отсутствие надежд, старательно готовила себе приданое – целые сундуки произведений из домотканого холста, над изготовлением, кройкой, шитьем и вышивкой которых день-деньской маялись и крестьяне, и дворовые девушки. У девицы Хионии был утиный нос и игриво-невинные глазки, и, по моде того времени, она в разговоре сюсюкала и краснела, когда речь заходила о таких щекотливых и неприличных предметах, как любовь и замужество.

Зная “законы” Платона Григорьевича, девицы не появлялись в его владениях и, проезжая мимо, делали необходимый крюк. Только раз у старшей сломался экипаж близ владений неприятеля, и она решилась обратиться к его помощи, так как помощь в таких случаях считалась священной соседской обязанностью. Увидав ее из своего окна, Платон Григорьевич запылал радостью. Но он ошибся: посланный ей навстречу Свистун не успел поймать ее за юбку, как получил здоровенный удар палкой по голове, а до Платона Григорьевича донеслась ее уничтожающая брань:

– Ах ты, старый хрыч! Молодец твоя Катька, что подхватила себе муженька получше и опозорила твою голову!

Вне себя от ярости Платон Григорьевич погнал за ней дворовых, но ее выручила проезжавшая крестьянская телега: девицы не догнали.

С этого дня Платон Григорьевич не спал ночей, придумывая, как ему наказать дерзких сестер. Ждать их проезда через его поместье – напрасно; девицы и в своем имении стали ос-

торожны. А чем-то заманить и как-то выдрать нужно непременно!

Думал и – придумал: решил пожертвовать своей свободой.

Несмотря на все свои недомогания, особенно усилившиеся от обиды, свой план он продумал и выполнил осторожно и блестяще. Внезапно прекратились в его владениях преследования и порка девок и баб. Его подручные болтали повсюду, что барин переменился, заскучал и хочет жениться. Говорили также, что влюблен он в соседку, девицу Хионию, так что спит и видит ее во сне. Сам Платон Григорьевич говорил то же всем своим немногочисленным знакомым, а сестре признался с полной откровенностью:

– Влюблен я, как кот в марте! Ни о чем другом думать не могу! Я человек свободный и решил жениться!

– Да ведь неправда, Платоша, а если бы и правда, то ты – человек старый и здоровьем слаб, куда же тебе жениться?

– А ты пойми, милая, для чего я женюсь. Я ее с первого дня буду лупить плетью как сидорову козу!

Конечно, сестер предупредили о его злостных планах. Но когда Платон Григорьевич написал старшей сестре письмо, в котором просил простить все его прошлые грехи и предложить законное супружество Хионии, – невеста не выдержала и дала свое полное согласие и сестры ее поддержали. Если одна Хиония не справится с таким мужем, впрочем, уже не молоденьким, то уж старшая, Агания, конечно, сумеет защитить родную сестру. Притом – жених одинок, имение его еще не загублено, проживет недолго.

Впервые после долгого сидения в своей крепости Платон Григорьевич совершил выезд и лично явился к сестрам. На этот раз старый светский кавалер сумел очаровать их по-настоящему. Сомнений никаких! Свадьба немедленно! А на предварительные подарки неистово влюбленный жених, конечно, не поскупился. Гнусные слухи о злых его кознях было легко развеять: их распространяет его сестра, сын которой, Климушка, лишится наследства, если у молодых будут детки (на нежном лице Хионии выступает краска!).

Рассказывают, что перед свадьбой Платон Григорьевич, с помощью Свистуна, целую неделю готовил какие-то особые плетки из сыромятной кожи и мочил в корыте с соленой водой пучки розог. Не эти ли усиленные хлопоты так внезапно подкосили его здоровье? План, блестяще проведенный, остался недовершенным: второй удар постиг его дня за три до свадьбы, а в назначенный для нее день великий женоненавистник отправился предстать на суде справедливом и милостивом.

И еще говорили, что, уже не владея языком и левой ру-

кой, он правой до последнего вздоха делал движение, как будто подхлестывал кого-то по живому месту, – и глаз его, затуманенный смертью, выражал неизъяснимое наслаждение.

ФОГЕЛЬШИССЕН ГОСПОДИНА ФИНФШТИКА

Не будем хвастать: изучить историю Саксонии невозможно. К счастию, нам и не нужно больших подробностей для дальнейшего рассказа. Достаточно знать, что древнейшими обитателями Саксонии были гермундуры, потом сарбы, а потом германцы. Что касается до ее благодетельных правителей, то отметим Отто Богатого, Отто Гордого, Генриха Светлого и множество Фридрихов: Фридрих Важный, Фридрих Строгий, Фридрих Сварливый, Фридрих Кроткий, Фридрих Мудрый, Фридрих Великодушный и, поближе к нашим временам, Август Фридрих Сильный. Этого Сильного не все выдержали, и кое-кто из подданных удрал в Россию, однако сохранив отличные воспоминания о своем отечестве.

Далее действие переносится в Могилевскую губернию, в имение Езеры, принадлежавшее генералу Сумарокову.

Не очень рассчитывая на русских управляющих, генерал Сумароков отыскал саксонского подданного Франца Антоновича Финфштика, человека честнейшего, аккуратнейшего, типичного сына страны, выдрессированной поколениями Фридрихов. Ко времени нашего рассказа господин Финфштик уже восьмой год управлял имением, и генерал был им чрезвычайно доволен, а сам жил в Петербурге и получал доходы. Недовольны Финфштиком были только некоторые бывшие служащие имения, которых он уволил за жульничество, а настоящим врагом Финфштика был смотритель почтовой станции в селе Соколовке, вообще не любивший немцев. Потому что русский человек, если даже он, скажем, пьяница, – все-таки остается человеком, и сговориться с ним всегда можно; а немец – и языка-то толком не знает, а непременно желает соблюдать свои какие-то права, а от других требует исполнения обязанностей. Ему дело говоришь, а он законами тычет. Народ, безусловно, вредный. И главное, зовут его Финфштик, и выговорить-то не очень прилично, – а он задирает нос и даже исправнику первый не кланяется!

Нужно сказать, что немцев в тех краях было действительно немало и держали они себя свободно и уверенно, в то время как русский человек в пятидесятых годах прошлого столе-

тия отнюдь не стоял на ногах достаточно прочно и навыков гражданских еще не имел. Отсюда – постоянная обида.

Был конец июня – приятнейшие летние дни. Однажды Франц Антонович Финфштик сказал своей жене, настоящей немецкой женщине, не только добродетельной, но и рыжеватой, полной до условных границ, прочно поставленной на две ноги дорического стиля:

– Пюнхен, завтра ты имеешь показать все свое кулинарное искусство!

И сообщил ей, что завтра к ним приедет целая компания приятнейших друзей, в том числе доктор Клопфер с женой и девицей Эрной, студенты Франке и Ланцерт, конечно – лесничий Менгес. “И знаешь еще кто? – мой старый товарищ по Саксонской академии Отто Краузе со своей женой! Мы можем целый день стрелять в цель!”

Друзья – большая радость в деревне! Амалья Карловна Финфштик рьяно принялась за дело и составила изумительнейшее национальное саксонское меню обеда: от простого перечня блюд текут слюнки! Представьте себе на первое пивной суп с клецками из сырого творогу, затем превосходные кухены, в виде шаров из тертого картофеля, в середке каждого шара один наперсточек вареного мяса, и все это заливается подливкой из винных ягод, затем цыплята, начиненные черносливом мит картофельн, и наконец – картофельный пудинг с яблочным сиропом! Нечего и говорить, что в погребах управляющего имением нашлось достаточное количество бутылок настоящего немецкого пива.

Пока Амальхен хлопотала по хозяйству, сам Франц Антонович был не менее занят: на толстой и широкой доске рисовал птицу, настоящего саксонского фогельшиссена, для стрельбы в цель. Фогельшиссен изображается двуголовым, с распростертыми крыльями. Затем он разлиновывается, раскрашивается, и в самой середке делается черное пятно, в которое не так легко угодить пулей с большого расстояния. Нарисовав птицу, Франц Антонович позвал плотника и приказал ему вырубить птицу из доски, что и было исполнено со средним искусством: крылья удались хорошо, шеи, головы и особенно ноги оказались толстоватыми.

На другой день в точно рассчитанное время к домику управляющего подъехали брички, и деревенский воздух огласился гутентагами, поцелуями и другими самыми радостными и искренними приветствиями. Хозяйка была разряжена не хуже приезжих дам – бледно-зеленая кофточка при лиловой юбке с турнюром, узкие розовые ленточки в высокой прическе. Франц Антонович с утра нарядился в коричневый

с горошинками фрак при серых штанах и палевом жилете. Соответственно были одеты и гости, а студенты приехали в серо-зеленых немецких плащах и шляпах с перышком.

Сначала, конечно, охи и ахи, обмен новостями, прогулка по саду, в котором управляющий выращивал не столько красивые, сколько полезные растения, осмотр образцового хозяйства; затем – обед, начиная пивным супом и кончая пудингом, причем за обедом раздавались не только "прозит" и "бибере", но и драймальхохи в честь хозяйственной Амальхен и в честь гостей, а в заключение один из студентов высоким и очаровательным гортанным тенором затянул охотничью песню, подхваченную также и дамами и исполненную всем хором в полнейший унисон.

Было решено после обеда ехать на большую поляну близ села Соколовки, где можно с удобствами и полной безопасностью стрелять в цель. Ружей и пистолетов у управляющего и лесничего было достаточно на всю компанию. Великолепная речная птица была отправлена вперед с мужичком.

Вообще, все было удачно в этот день. Очень любопытно прошло и состязание в стрельбе, при котором несколько оскандалился хвастун лесничий Менгес, едва-едва попавший три раза в крыло птицы да сбивший ей полголовы, зато отличились школьные товарищи Финфштик и Краузе, всадившие по пуле в самый центр черного пятна. Стреляли часа три подряд, пока не насытились по горло разумным развлечением, после чего, оживленно обсуждая свои успехи и таланты, отправились домой, поручив тому же мужичку доставить расстрелянного фогельшиссена.

Случилось, что в тот день через почтовую станцию Соколовку проезжали два гусара, корнет Свистунов и поручик Крутобоков, возвращавшиеся после отпуска из Москвы в Бобруйск. В ожидании дилижанса офицеры скучали и, по мере сил и июньской жары, потребляя напитки, не способствовавшие прохладе. Услыхав стрельбу, осведомились у смотрителя станции о причине – и тут смотритель отвел душу, наговорив офицерам про немцев всяких небылиц и выставив их врагами Российской державы. Кстати, возвращавшийся в имение мужичок нес мимо расстрелянную двуголовую птицу, на которую смотритель обратил сугубое внимание господ офицеров:

– Можете сами удостовериться, как стараются немцы унизить наше отечество! Вот так они собираются целой компанией и расстреливают часами изображения двуглавого орла, который является Российским государственным гербом.

Не столько во имя защиты чести отечества, сколько желая попугать немца, офицеры взяли у смотрителя легкую

бричку, отправились в имение Езеры и вызвали управляющего. Но они напрасно думали, что так легко запугать саксонского подданного, чувствующего свою правоту. Франц Антонович Финфштик выслушал их и заявил, что он их за начальство не признает и не желает отвечать на их глупые обвинения.

Получилось для господ офицеров неудобно. Вернувшись на станцию, они приказали смотрителю донести об этом случае по начальству, обещав, со своей стороны, обо всем доложить бобруйскому коменданту, а через него и киевскому генерал-губернатору Игнатьеву.

Вот тебе и фогельшиссен! Не забудьте при этом, что времена – николаевские!

* * *

Только-только успел чериковский земский исправник управиться с мертвым телом, обнаруженным в его уезде и неизвестно кому принадлежавшим, как получил эстафету от уездного стряпчего Гусаковского – немедленно прибыть в деревню Соколовку для расследования слухов о важном политическом деле: о расстреле управляющим имением Езеры, совместно с прочими саксонскими подданными, Русского государственного герба.

Как земскому исправнику не знать немца Финфштика! Человек почтенный, основательный, водится только с порядочными господами, полиции зря не утруждает, шапки ни перед кем не ломает, но и к стряпчему, и к земскому относится с уважением и не раз в своем управительстве угощал и пивом, и картофельными кухенами со сладкой подливкой. Такой благонамеренный человек глупости сделать не мог, тут не иначе как смотритель донес!

Пришлось расследовать дело на месте и, в предупреждение запроса из губернии, донести обо всем подробно могилевскому губернатору.

"Во исполнение предписания прибыв на место происшествия в именье Езеры его превосходительства генерала Сумаркова, оказалось, что 23 сего июня происходила стрельба в цель саксонского подданного Франца Антонова Финфштика и прибывших к нему гостей, вследствие чего упомянутый Финфштик и ниже подробно перечисленные мужчины немецкого общества стреляли в поле пулями в сторону обыкновенной двуглавой птицы, впоследствии потерявшей от таковой

стрельбы голову и оконечности крыл, и уже тем самым была переделана на звезду для равномерной стрельбы в цель. При этом расспросом свидетелей удалось выяснить, что никто из бывших поблизости от стрелявших ничего более не слыхал, как только выстрелы, и никакой попытки на нарушение общего порядка или умысла колебания спокойствия не было, уподоблять же ту вырезанную в безобразном виде птицу простым мужиком тому великолепному виду двуглавого орла, которым изображается государственный герб, осмелиться совершенно невозможно, поскольку в самом деле сказанная деревянная птица, кроме остального безобразия, не имела еще и корон на хохолках, венчающих двуглавые головы в единый государственный герб. Допрошенный по этому поводу саксонский подданный Финфштик заявил, что означенную птицу рисовал он саморучно, вырезал же живущий в том именье плотник простым топором и стамеской и что подобные двуглавые птицы именуются фогельшиссенами, употребляются всегда в Саксонии для стрелебных упражнений в память отделения народа от зависимости города Рима Вследствие чего имею честь донести:

1. За отсутствием ни умысла, ни преступления никаких дальнейших мероприятий принято не было, будучи указанный Франц Антонов Финфштик хорошо известен местным властям и отличается всегдашней благонамеренностью.

2. Дабы впоследствии не возникла излишняя переписка по неосновательному возможному донесению подверженных ошибке офицеров, если оное последует, то заявлено мною указанному Финфштику впредь на будущее время более деревянных птиц из дерева не делать и в них не стрелять во избежание беспокойства и слухов в населении вверенного уезда".

Толковая и горячая защита со стороны земского исправника очень помогла выяснению этого сложного и страшного дела. Не нужно, конечно, думать, что одним донесением все производство было исчерпано. Офицеры действительно донесли коменданту, а комендант – киевскому генерал-губернатору. Бедный Финфштик не знал, что дальнейшее расследование производилось секретнейшим образом в течение нескольких месяцев и что окончательно его спасло только заступничество владельца имения, генерала Сумарокова, написавшего умоляющее письмо министру внутренних дел Д. Г. Бибикову, в архиве которого и осталось все производство.

В этом производстве много дельных бумаг и глубоких мыслей, каждая из которых могла упечь Финфштика если не в Сибирь, то в Саксонию. Но победила все доводы все же мудрая

мысль чериковского земского исправника, доказавшего, что не всякая птица – орел и что даже двуглавая птица, чтобы стать государственным гербом, должна, "сверх прочего безобразия", обладать еще двумя коронами на хохолках да третьей повыше.

ДЕВИЦА, ВЗЫСКУЮЩАЯ ЖЕНИХА

Если бы пристойно было допустить, что высокий архипастырь будет биться в истерике или, придя в последнее неистовство, дубасить кулаками почтенных возрастом женщин, – то, говоря по совести, все права на это имел преосвященный Варлаам, пензенский архиерей, известный своей добротою и вниманием к нуждам духовного сословия. Потому что можно выносить человеческую глупость и тупое упорство месяц; можно, скажем, и год; но изо дня в день семь лет подряд – это уж вне человеческих сил, да вряд ли по плечу и большинству ангелов!

Мы говорим "семь лет", но, может быть, и более. Однако только за семь лет, с 1854 по 1861 год включительно, имеются в пензенской духовной консистории документы по неоконченному "делу девицы Евпраксии, взыскующей жениха".

Конечно, обычай рождает право. Обычай же был таков, что если в селе умирает священник и оставляет совершеннолетнюю дочь, то место в селе зачисляется за нею, с тем, конечно, что она выйдет замуж за семинариста, кандидата в священники. Это не всегда было удобно, но такой обычай оказывал великую помощь бедному сельскому духовенству, – иначе осиротелые семьи шли бы по миру.

Преосвященный Варлаам обычай соблюдал и о девушках-сиротах заботился, и не только зачислением мест, но и подысканием подходящего жениха: и выступал сватом, и помогал денежно. За это его любили и почитали.

Умер отец Сильвестр, священник села Вороновки Городищенского уезда. Остались после него уже престарелая, хотя и достаточно бодрая попадья, отличавшаяся неимоверной тучностью и соответствующей бесхарактерностью, и дочь Евпраксия, высокая, худая, но характера необыкновенно твердого, что она впоследствии и доказала.

Евпраксия была совершеннолетней; будет точнее сказать, что она была в высшей степени совершеннолетней, особенно по тем временам, когда девушки иной раз невестились по тринадцатому году. Девице Евпраксии было не тринадцать и

даже не вдвое больше лет, а почти втрое: тридцать семь – к началу дела, сорок три – к последнему консисторскому о том деле документу. Притом единственной положительной чертой лица девицы Евпраксии была несокрушимая твердость его выражения, остальные же черты были, скорее, отрицательными. Твердости не мешала безбровость и способствовал выдающийся нос; о ней говорили сжатые губы, как верхняя, с легкой усатостью, так и нижняя, с зачатками под нею юной, но мужественной бородки. В противоположность своей матери девица Евпраксия отличалась не округленностью, а скорее, прямолинейностью форм, так что, при повороте головы в профиль, было нелегко догадаться, какая часть ее тела может быть предпочтительно принята за фасад, и какая за оборотную сторону. Вероятно, поэтому семинаристы в Пензе прозвали девицу Евпраксию "Эвклидовой геометрией".

Внешняя мужественность не препятствовала девице Евпраксии не только ощущать себя женщиной, но и сознавать все свои права иметь достойного мужа, притом немедленно, потому что в серьезных делах промедление смерти подобно, что девица Евпраксия, хотя и неграмотная, прекрасно сознавала. При жизни отца ее право на мужа не имело под собой юридической основы; теперь оно было прочным и несомненным, так как к ранее собранному приданому прибавился отцовский священнический приход – достаточный привесок к личным достоинствам невесты.

Можно себе представить поэтому негодование и возмущение как девицы, так и ее матери, когда на прошении о зачислении места за сиротой преосвященный Варлаам написал:

"Девица вышла из лет, навязывать такую невесту я никому не могу, и если кто будет брать по желанию, на то будет его воля, и какое-либо вспомоществование от попечительства дается".

Это еще не было официальным отказом, который, однако, воспоследовал, когда преосвященный, для верности, запросил консисторию о летах девицы: тридцать семь! Где же найти такой невесте подходящего жениха-семинариста! И архипастырь, почерком мелким, спокойным и почти без закорючек, начертал в левом верхнем уголке справки:

"В выдаче этой вышедшей из лет дочери за кандида священства отказать навсегда. Если же кто из холостых дьячков и ее лет возьмет ее, за такового выдать никто не воспрещает ей".

И вот тогда началась семилетняя война.

Нет греха в том, что почтенный архипастырь любит пос-

ле утомительной работы закусить, поспать часок и, одр оставив, выпить чашку-другую чаю с малиновым вареньем и единой ложечкой того, чего же и монаси приемлют. В жизни преосвященного Варлаама сии минуты были самыми счастливыми: полнейший покой.

И вот в такое именно время докладывают ему, что пришли две женщины и просят принять их немедленно по сиротскому делу крайней спешности.

– Скажи, пусть придут в час приемный.

– Сказал, да никакого резону не слушают. Полчаса уговаривал, вашему преосвященству не докладывая, и в переднюю пущать не хотел, да где же справиться! Старшая, матушка, будучи объемом шире двери, заперла собою вход, яко пробка, а младшая видом столь грозна, что не доложить побоялся.

Пришлось принять не в очередь – по пастырской доброте.

Сколько времени длился разговор – мы не знаем, но только к остывшей чашке преосвященный вернулся измученным. Ведь вот какой случай! Уверяет вдовая попадья, что хоть ее дочери и вправду больше тридцати лет, но к браку совершенно готова и что все село Вороновка желает дочь ее Евпраксию иметь у себя священницею.

– Да ведь что ж священницей, когда священника нет!

– Благоволите выдать замуж поскорее, ваше преосвященство.

– Милая моя, где же я к таким годам почтенным подберу жениха? Нужна хоть тень соответствия. Хотя ваша дочка особо прекрасная, да ведь нельзя же выдать матушку за сына! И ей это неудобно.

– Она, ваше преосвященство, и на молодого согласна, а уж вы прикажите.

– Не могу я приказать, женщина неразумная! Любови человеческой не приказывают; и не должно быть в таинстве брака никакого принуждения.

– По закону полагается.

– Нет такого закону, а обычай тут не у места, ибо вышли года девицы. И не беспокойте вы меня понапрасну, ничего не могу.

– Нельзя девушке без мужа.

– Живут и без мужа Христовы невесты; а если сама найдет человека подходящего и в годах, – благословлю и помогу пособием. Идите с миром, милые, не тревожьте себя напрасными желаниями.

– Ждать невозможно, ваше преосвященство, девушка в беспокойстве...

А девица Евпраксия, голосом мужественным и твердым, долбит голову преосвященному:

– Кому ждать можно, а мне нужен жених немедленно!

– Не обижайте сироту, ваше преосвященство; дочь единственная...

Так ничего и не мог им вдолбить архипастырь, и едва удалось выдворить их из приемной.

Пришли и на другой день, но впущены не были. Каждодневно дежурили у порога, так что преосвященный, прежде чем покинуть покои, посылал справиться, свободен ли проход. То же самое было и в консистории, где матушка с дочкой, не будучи больше впускаемы, ловили у входа за полу каждого чиновника, кого прося, а кому и угрожая. В часы же неприсутственные попадья с дочерью гуляли против окон местной семинарии, приглядывая и в окнах и на улице подходящего семинариста.

Добр был преосвященный Варлаам, – а не выдержал и предписал благочинному:

“Поелику сия с дочерью меня беспокоит совершенно незаконно и явно вопреки моей резолюции, оштрафовать ее в церкви 100 земных поклонов и обязать подпискою более не просить меня о выдаче дочери ее, как 37-летней, за кого-либо из студентов”.

Положенную епитимью мать с дочерью отвергли и подписки не дали, а требовали, чтобы муж был предоставлен девице Евпраксии немедленно, и таковой муж намечен ими в лице выпускного студента семинарии Агафангела Мурашенко двадцати одного года, к браку явно весьма склонного, что и сказалось во всем его поведении, особенно же во взглядах, на девицу Евпраксию неоднократно обращенных как из окна, так и проходя на улице.

Отвергнуть епитимью – случай в духовном сословии тревожный и непозволительный. За такое преступление консистория постановила отослать мать с дочерью в пензенский Троицкий монастырь на один месяц “для научения вежливости”.

В монастырь они, однако, не поехали, а заявили, что отныне девица Евпраксия согласна выйти немедленно замуж за другого студента семинарии, а именно за Иннокентия Воскресенского, как наиболее подходящего к священству в селе Вороновке, ими же вполне одобренного. Причем вдовая попадья, подстрекаемая девицей, просила об этом смиренно и со слезой, сама же невеста подтверждала криком, что ей делать в монастыре нечего, Богу молиться не для чего, а нужно

ей жениха тотчас же и безусловно, а ждать и разговарить некогда.

Так тянулось дело не дни и не месяцы, а два года, пока, с помощью полиции, не водворили неразумных женщин в Троицкий монастырь.

Легче вздохнул преосвященный Варлаам, отдохнули немного и консисторские чиновники, – но взвыл весь монастырь с игуменьей Надеждой во главе. Великий соблазн вышел от тучной попадьи и ее мужеобразной дочери; вместо монастырского покоя и благолепия целый день слышались причитания и жалобы матери и крик дочери: "Хочу мужа немедленно и без малейшей задержки!" Смеялись мастеровые, работавшие над отделкой нового храма, смущенно бродили монахини, растревоженные девичьим неистовством. А так как запрошенный игуменьей архипастырь никак не соглашался сократить срок покаяния неистовых женщин, то неизвестно, чем бы кончился этот соблазн, если бы наказуемые не ушли из монастыря самовольно и не явились бы в город Пензу на предмет продолжения ходатайства о немедленном и безусловном предоставлении девице Евпраксии указанных ею женихов из местных семинаристов.

К концу третьего года от домогательства сироты стонала вся Пенза. Пробовали выслать беспокойных в село Вороновку, пытались заключить их в богадельню; но духовная власть в принуждениях слабосильна, а по законам гражданским – искать и желать мужа не возбранено.

Оставались два способа: исключить их обеих из духовного звания и попытаться заключить в дом умалишенных. На первое не мог сразу, по мягкости характера, согласиться добрый архипастырь: женщины – воистину несчастные! Вторым занялась консистория, запросив губернское правление об освидетельствовании умственных способностей настойчивых просительниц.

* * *

Состав комиссии: начальник губернии, советник, товарищ председателя, оператор, акушерка, протоиерей.

– Сколько имеете от роду лет?

– Больше тридцати.

– Почему, имея сорок лет, утруждаете духовное начальство?

– Желаю иметь жениха.

Резолюция испытательной комиссии:

“Мать 60 лет, здоровая, толстая, причем никакого в ней расстройства умственных способностей незаметно. Нормальна и дочь, при неуместном своем домогательстве молодого жениха, каковых причин для заключения в дом умалишенных недостаточно”.

Выслушав такое решение, мамаша одобрительно закивала головой, дочь же со всею решительностью заявила, что требует от комиссии предоставления ей жениха, притом без малейшего промедления.

И хотя постановила консистория, а архипастырь утвердил, что девица Евпраксия, потерявшая всякий стыд и вышедшая из повиновения, исключается из духовного сословия, – ничему это не помогло. Была отравлена жизнь доброго владыки, замученные бродили тенями чиновники консистории, и не было дома в городе Пензе, куда не заходили бы время от времени престарелая попадья с дочерью на выданье и не жаловались бы на духовную власть, обидевшую сироту.

Так прошло шесть лет; студенты поступали в семинарию юношами, кончали ее степенными кандидатами. И не было среди них такого, на которого не указывала бы девица Евпраксия как на вполне одобренного ею жениха, подавшего ей надежду взглядом или словом. Иным же она угрожала арестом, если немедленно не даст подписку в согласии священствовать с нею в брачном союзе в селе Вороновке.

Неизвестно, вышла ли замуж девица Евпраксия за молодого семинариста. Известно только, что весною 1862 года преосвященный Варлаам в бессчетный раз просил письменно гражданское начальство “о содействии к удержанию в собственном значении безумной или глупой девки, имеющей уже такие года, в коих нет для нее ни одного сверстника в учениках, окончивших семинарский курс”. Еще известно, что в день ухода архипастыря Варлаама на покой в числе провожавших его была девица Евпраксия, требовавшая от него жениха, и что первым просителем, которого принял его преемник, была она же, в сопровождении уже совсем престарелой, но по-прежнему тучной мамаши.

Но так как новый владыко просительниц еще не знал, то и вынужден был осведомиться с любопытством:

– А которая же из вас мамаша и которая невеста?

ПРАЗДНИК СВЯТЫМ

Восемьдесят лет тому назад в одной удельной деревушке Владимирской губернии случилось дело, о котором люди говорили с великим ужасом, а в журналах кричали о преступности русского крестьянина, для которого ничего святого нет. Потом владимирская уголовная и гражданская палата судила нераскаянного зверя. По обстоятельствам и подробностям дело это и сейчас представляется кошмаром, хотя о подобных же событиях мы часто читаем в хронике просвещеннейшей Европы; но здесь вся обстановка иная и иные побуждения руководят людьми, чаще всего – отчаяние и безвыходная нужда. Совсем иное было в деле владимирского крестьянина: ангел шепнул ему в ухо с правой стороны.

* * *

Деревень с именем Слободищи в России сколько угодно; не меньше, чем Выселок и Старых Боров. Крестьянин Михаил Федоров Куртин был жителем Слободищ вязниковских, деревушки в двадцать восемь дворов при речках Кетиже и Вощиковке, в 19 верстах от уездного города и становой квартиры. По нашему – деревня, Богом забытая, в которой люди живут зверушками, изо дня в день промышляя пропитание трудом рук своих, ни о каких высоких материях не задумываясь. Это, конечно, неверно, потому что человек, живущий в постоянном общении с природой, мыслит больше любого горожанина и глубже его вникает в смысл бытия.

Малое пятнышко на земном шаре, деревушка Слободищи была открыта всем ветрам, а из нее на четыре стороны простирались бесконечные дали, ровные и одинаковые, так что глазу было не за что запнуться, разве что за ивняк и кудрявую зелень речных берегов. Речки прибегали с двух сторон, сливались и уходили неведомо куда одним руслом, а в летнее жаркое время одна из них превращалась в песчаный ручеек, в котором пескарям было достаточно привольно, окунькам тесно и опасно, а щукам приходилось выжидать осени по ямам, а пока не брезговать даже ершом. Были и леса, среди полей лежали, как бы возвышаясь, темными лепешками осина, дубняк, мелкая береза, орешник. А поля, как и везде, пять раз в год меняли одежду: белый саван на черную рясу, ее на зеленый наряд, его на золотую волну, золото на бритую колючку – и опять белоснежный покров долгой зимы.

Так было, и так будет. Все крестьяне села Слободищи твердо знали, что в жизни нет ничего, кроме безнадежности и

упования на Спаса, который может спасти, как может и загубить и в этой жизни, и в будущей. К "Спасову согласию" принадлежал дед Куртина и его родители, как и сам он, как и его жена, взятая из другой деревни, но приведенная им в свою единую истинную веру. Спасовцы не верили ни в таинства, ни в святыни, ни в благодать, ни в священство; все это – напрасные выдумки, и человеку нет никаких иных путей к спасению, как положиться на Спаса и предоставить ему свою судьбу; если Спас захочет – может шепнуть через своих ангелов, что человеку делать; а то и сам управится безо всякого нашего участия. Детей спасовцы не крестили, покойников не отпевали, церковь отрицали и попов сторонились как обманщиков и служителей дьявола. Однако старые иконы почитали и молитву творили по-своему – одиноко, без сборищ. Веровали и в ангелов и боялись духов нечистых и антихриста, уже воцарившегося на земле. "В мире несть спасения, несть истинного Бога, но Бози мнози, сиречь дуси нечистии, бесовы темнии и антихрист скверный" – так учил Кузьма, основатель "Спасова согласия", а за отрицание таинства и благодати спасовцев называли также "нетовцами".

Михаил Федоров, сын Куртин, всю свою жизнь прожил в этой деревне; был уже немолод – за пятьдесят лет, любил жену Аграфену Михайловну и всего больше любил сынишку Григория, семилетнего, очень хорошего, резвого и не по летам смышленого мальчика. В жизни такой малый может преуспеть вперед других, – а что ждет его в мире загробном? Человеком тупым и равнодушным руководит Спас, а умный и смышленый норовит сам выбирать себе пути, забывая, что знать нам ничего не дано и спастись на земле нельзя. Это очень заботило любящего отца и повергало его в постоянную грусть и тревожные размышления.

Весной и летом на полевых работах думать было мало времени; зимой и деревню и поля заносило снегом, свет был короток, от мыслей некуда сокрыться. Выйдешь из избы – дума бежит на салазках до небесного края, опоясывает землю и возвращается недодуманной и нерешенной; в теплой избе, чистой и некурной (раскольники жили не бедно), та же дума упирается в стены, томит голову и не хочет отступить. И от нее печаль отца была постоянна и необорима – и за себя, и за жену, и за сына, и за весь человеческий род, которому нет спасения.

27 ноября, в праздник Знамения Пресвятой Богородицы, Михаил Федорович долго молился Спасу, затеплил свечи перед иконами и молился не как обычно, со степенностью и

самоотрицанием, а горячо, со слезами, метая поклоны часами без перерыва, пытая Спаса об указании ему верной дороги к спасению семейства от вечной погибели и адовых мук. И днем молился, и всю ночь провел в поклонах и слезах, а на заре решил проверить в последний раз свою давнюю думу способом испытанным и уж тогда, если мысль его верна и намерения праведны, приступить к выполнению без страха, без сомнений и с подобающей веселостью духа.

На самой заре он вышел в задние ворота и стал молиться на восход, положив про себя, что если прежний помысл вернется к нему в голову с правой стороны, то, значит, он праведен и нашептан ангелом, если же с левой – значит, от дьявола и надобно его навсегда оставить и забыть. И только молитву окончил, как помысл незамедлительно пришел справа. Тогда Михаил Федорович вернулся в избу, уже без прежней печали, с уверенностью и с веселием в душе.

В избе жена и сын спали крепким предутренним сном. Куртин разбудил жену и с хозяйской строгостью послал ее в деревню Перово, что на Клязьме, в двух верстах от Слободищ, за овчинами; опасался, что женщина, по слабости и недостаче веры, будет ему препятствием. Когда ушла, разбудил и сына Гришу:

– Вставай, Гришенька, да надень белую рубашку, хочу на тебя полюбоваться.

Сынишка встал, но только белой рубашки у него не было: мамка еще не сшила. Белая рубашка была ему обещана, сшить велел отец, да мать не управилась.

– Так ты хоть мою белую надень, а надевши, ляг, умница, на лавку, а я полюбуюсь на тебя, какой ты в белой рубахе.

Был бы великий грех по вере “Спасова согласия”, если бы отец оставил сына в рубахе синей или пестрядинной.

Мальчик лег на лавку в передний угол, а под голову отец положил ему шубу. Устроив его так, под святыми иконами, отец заворотил ему подол белой рубахи и быстро нанес ему в живот несколько ударов кухонным ножом, заранее спрятанным в рукаве. Мальчик стал биться и метаться, натыкаясь на нож, и, чтобы кончить его мучения, отец распорол ему живот сверху донизу.

Это было как раз на заре, и когда мальчик перестал трепыхаться, хоть и был еще жив, – разом в окно глянуло взошедшее солнце багряным светом. Куртин принял это как знамение и, бросив нож, пал перед иконами и перед сыном и стал молиться, прося Спаса принять милостиво его жертву.

Помолившись, наклонился к умирающему Грише и слезно просил его простить за причиненную скорбь; старался вразумительно объяснить мальчику, что сделано это для его же вечного спасения и по великой к нему отеческой любви. И будто бы Гриша попрощался с ним и сказал:

– Бог тебя, тятенька, простит!

Так рассказывал Михаил Федорович на судебном следствии. И о том рассказал, как умиравший мальчик, еще не потеряв сознание, вместе с ним прочитал "Богородицу" перед затепленными свечками, но только в третий раз прочитать не успел – скончался. Свечи были затеплены для того, что на том свете Гриша назовется отроком и надобно ему "уставить звезды".

Аграфена Михайловна по холодку сбегала в соседнюю деревню скоро; вышла до света, а когда возвращалась, солнце стояло еще невысоко. Сына нашла на лавке в крови, а мужа на коленях перед образами. Увидав – грохнулась на пол: все сразу поняла. Голосом строгим, но ласковым объяснил ей Михаил Федорович, что по давней своей мысли и по ангелов наущению сделал он праздник святым, спас невинную душу от этого мира, за что и должен ответить перед человеческим судом, в котором правды не бывает. Стало быть, надо позвать старосту и соседей.

Так же толково и степенно поведал сбежавшимся крестьянам, что зарезал любимого сына, чтобы был всем святым радостный праздник от такой его жертвы. Раньше силы не имел, а теперь нашел ее в себе, хоть и жаль было мальчонку и его слабую в вере мать. Старосте наказал съездить без промедления за становым и в земский суд, чтобы все было в порядке и никому бы, кроме него, не быть в ответе.

На допросах в уголовной и гражданской палате отвечал толково и подробно; задумано дело давно, да не был в уверенности, угодна ли будет жертва милостивому Спасу, да еще настоящей храбрости не хватало, потому что очень любил своего Гришеньку, мальчика доброго и понятливого, перед смертью его простившего. Теперь же, дело спасения исполнив, ни в чем не кается и радуется Божьему соизволению. Судить же его ни к чему, потому что дни его недолги и люди ничего с ним поделать не могут.

Дело Куртина было просто, как проста и ясна человеческая вера. Но оно было ужасно и тревожило людскую совесть. Судившим Куртина хотелось, чтобы он оказался либо рожденным злодеем, либо помешанным. Однако все однодеревенцы согласно показали, что Куртин был мужиком добрым, спра-

ведливым, богобоязненным и к себе строгим. Зла никому не причинял, жены не бил и не обижал, в сыне не чаял души. Как большинство раскольников, был грамотен и читал по праздникам книги старой печати. В рот не брал хмельного, а табаку не курил и носом не пил. И деды его, и родители – все были здоровы, долговечны, доброй породы, сам он был силен и никаких болезней не знал.

Еще хотелось некоторым, чтобы Куртина довела до преступления крайняя нужда и рабское крестьянское состояние. Но деревня Слободищи не знала помещиков, была удельной, а крестьяне жили если не богато, то в достатке, хозяйственно; не зная кабака, деньги откладывали в кубышки для детей и на черный день.

Волновалось духовенство, проклиная изувера. Однако люди "Спасова согласия" говорили на это: "Разве был изувером праотец наш Авраам, подъявший руку для заклания сына?" – "Но Бог остановил его руку!" – "Почему же не отвел он руку Михайлы Куртина?"

И что на это ответить – духовенство не знало.

В тюрьме Куртин был спокоен и печалился только о том, что не было у него белой рубахи. Когда допустили к нему жену, приказал ей сшить ему рубаху своими руками и принести на свиданье. И хотя жена поняла, зачем ему нужна рубаха, но противоречить не могла и просьбу мужа исполнила.

С этого дня Михаил Федорович, для кого – детоубийца, а для кого – великий подвижник, перестал принимать пищу. По крепкому своему сложению держался долго, пока не ослабел совсем. Тогда надел он, как полагается, белую рубаху, руки сложил на груди крестом и отошел в спокойствии и молчании.

КУЗЬКА-БОГ

История Кузьки-бога пользовалась известностью в шестидесятые годы прошлого столетия, а вспомнить ее уместно именно теперь, в дни набожного преклонения перед разного оттенка, но одной внутренней породы вождями, дни нынешнего расцвета духовного рабства и сладострастного подхалимства и за страх и будто бы за совесть. Кузька-бог был велик и могуч, почти как почтальон в рассказе Е. Замятина, конечно – в глазах таракана; он отлично знал тараканью психологию, и будущие вожди многому от него научились.

Кузька был мордвином и проживал в деревне Макраше,

между Нижним и Арзамасом; был грамотен, умел знахарствовать, лечить кликуш, предсказывать будущее и находить украденный скот. В деле изгнания шайтанов из бесноватых баб ему помогала та самая нагайка, которою Михаил Архангел прогнал с небес нечистую силу и вверг ее в преисподнюю. Как он ее раздобыл – это уже его дело. Имел некоторое отношение к секте душителей, спасавшейся через грех (не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься). Грех по преимуществу свальной.

Биография Кузьки сложна и известна в подробностях; в ней немало историй романтического характера. Одна из этих историй разорила и потрясла Кузьку: его начисто обобрали. С этого момента начинается подвижничество Кузьки, решившего изменить образ жизни и завоевать высокое положение. На время он исчез из деревни и спасался во святых местах. Домой он вернулся степенным, в монашеском одеянии и черной ермолке. От всех сует мира ушел и стал проживать в выстроенной им келье – поблизости от деревни, почти ни с кем не видаясь, дни свои проводя в посте и молитве. Единственными постоянными гостями Кузьки были святые и ангелы – и в этом его односельчане имели случай удостовериться собственными глазами.

* * *

Уже и в те времена требовалось, чтобы вождь был умнее рядовых дураков и опытен в технике морочить головы. Кузька живал в городах – видал чудеса. Он тяпает доски, ляпает ящики, что-то такое строит – никому не говорит. Три ящика пристроил в простенке между окнами, вроде шкапов, а заместо дверцы толстая бумага, в бумаге вырезки. У стены против ящиков поставил стол со всякими угощениями для высоких гостей, в ящиках зажег свечки и пока завесил вырезки темной занавеской. Легко рассказать, а работал Кузька надо всем этим чуть не целый месяц, пока не добился своего.

В свою келью Кузька никого не допускает. С человеком он не ведается. Его общество – Христосик, его матушка и святые ангелы. Христосикова матушка вышила Кузьке на досуге плат для ношения на груди. Частой гостьей у Кузьки и святая Пятница. А что все это не выдумка – скоро люди убедятся. И Кузька намекнул мордовским бабам, что назавтра к ночи ждет к себе гостей – светлых ангелов – на важное совещание, да только простым людям увидать этого невозможно.

К ночи пробрались бабы к Кузькиной избе, разговаривать не смеют, тихо шушукаются, стараются заглянуть в щели Кузькиных ставен. В избе тьма, а как будто слышны шаги. Одной бабе повезло – усмотрела полоску света, и сейчас облепили бабы оба окна, одна другую оттискивают, каждой хочется подсмотреть в малую щелку. И та, которая была других половчее, ахнула и покатилась. Ее сменила другая – и тоже от страха попятилась. Сидит Кузька за столом у самой стены, а рядом с ним шевелятся светлые видения, на людей непохожие, бестелесные, насквозь видно. Нет в избе ни лучины, ни плошки, и свет идет от самих святых гостей, которым Кузька пододвигает угощенья и с которыми запросто беседует. Лиц не видно, а лики блистают и прозрачные руки ерзают по стене.

Долго смотреть не пришлось – Кузька встал, весь осветился, а потом все исчезло, как ветерком задуло, и наступила в избе опять полная тьма и тишина. Бабы разбежались по деревне как полоумные, и на другой день вся деревня узнала про чудеса в Кузькиной келье. Знали и раньше, что Кузька – человек святой жизни, но только теперь убедились, что он со святыми угодниками и светлыми ангелами самый близкий приятель, а то и главный их начальник.

И правда – ангелы служили Кузьке. Их помощью он не только разыскивал всякое воровство, приказывал идти дождю или светить солнцу, а и лечил все болезни, без всяких трав и нашептываний – одним прикосновением. Если же случалось, что тяжко больной помирал, то только потому, что его скорая смерть была записана у Христосика в главной большой книге, читать которую мог Кузька без особого труда. И была такова вера в сверхъестественную врачующую силу Кузьки, что и подлинно люди вылечивались от одного его слова, а кликуши переставали кликать.

Слава Кузьки покатилась из деревни в волость, из волости в уезд, из уезда по всей губернии, и не только среди мордвы, а и между русскими. Кузька лечил, Кузька давал советы, Кузька прорицал будущее. Из знахаря стал пророком, из пророка – богом.

Кузька-бог не был корыстным, и только для угощения своих святых гостей принимал подаяние сычевым пивом, медовым квасом, зеленым вином и разной мордовской стряпней, да не отказывался и от денег – для раздачи нищим и на содержание образовавшейся вокруг него святой братии из вернейших последователей его новой религии. Эту религию он скатал из кусков веры мордовской, веры православной и разных раскольничьих уклонов. Новой верой воспрещалось пьян-

ство, воровство, распутство и предписывалось девицам соблюдать свое девство и состоять при Кузьке послушницами. К себе Кузька-бог приблизил солдатку Степаниду, старую женщину, объявленную им святой Пятницей, и апостола Григория, здоровенного мордвина, которому были поручены дела карательные. Как истинный вождь, Кузька понимал важность террора для воздействия на тех, кто сказкам не верит. Почтенных стариков он привлекал угощением, бедноту – милостыней, баб и девок – лаской, всех – обещанием царствия небесного под его, Кузьки, главным управлением. Девиц поручал предварительному осмотру бабкой Степанидой и соблюдавших чистоту постригал и оставлял при своем новом ските на лесной поляне, где происходили и богослужения.

Кузька-бог был здоров, дороден, крепко скроен и сшит и не чужд человеческих страстей. Запретив женщинам распутство, он облегчал им воздержание, разрешив и даже предписав пользоваться его, Кузькиной, благодатью. Из непорочных девственниц к Кузьке на каждую ночь назначалась дежурная. Но тяжко карался плотский грех с чужими, и было объявлено, что преступных послушниц, по приказу Христосика, будут зарывать живыми в могилу вместе с их сообщниками.

Новая религия была облечена тайной, и, хотя у Кузьки было множество последователей, – никто не выдавал ни места его пребывания, ни времени свершавшихся на лесной поляне богослужений.

На священной поляне собирался народ из окружных деревень. Кузька-бог выходил в особом облачении и говорил свои проповеди и лечил больных. Для острастки болтунам он показал, как будет поступлено с неверными. К двум наклоненным крепким молодым дубкам был заранее привязан теленок, и по знаку Кузьки апостол Григорий перерезал веревки, связывавшие верхушки дубов. Теленка взметнуло и разорвало надвое; одна часть шлепнулась в толпу на поляне, другая кровавой тушей обмоталась об верхушку дерева.

И Кузька-бог доказал, что его угроза – не на ветер. Скоро довелось защищать новую веру. Слухи о мордовских служениях распространялись. Духовенство отметило, что мордва отходит от церкви, а губернское начальство обеспокоилось, что население перестало пить водку. Правда, Кузька-бог был к тому времени уже достаточно могуч и богат, чтобы задобрить духовенство и "вином до положения", и золотыми монетами; теми же средствами его помощники умело утихомиривали наезжавших чиновников, и местопребывание мордовского бога оставалось неизвестным высоким властям. Но великого

Кузьку погубила его страстишка: он привязался к одной из своих послушниц, которая, не смея не уступать Кузьке, втайне любила Пахомку-сиротинку. Пахомка оказался предателем и выдал место тайных богослужений. И Пахомка, и Афросинья были жестоко наказаны: парня, как теленка, разорвали дубками, а девка от ужаса сошла с ума и утопилась в колодце.

Рабы любят кровавые расправы, – и слава Кузьки-бога, мордовского диктатора, возросла еще больше. Теперь он крестил младенцев, венчал браки, отпевал покойников и был для окружной мордвы единственной властью религиозной и политической. Губернских чиновных лазутчиков угощали дубинками, а иные с поисков так и не возвращались. А когда за Кузькой-богом был послан исправник с отрядом понятых человек в пятьсот, мордва завалила лесные дороги, разрушила мосты через речки и ручьи, а сам исправник кончил плохо: он разделил судьбу теленка и Пахомки-сиротинки. Кусками исправника удобрили соседнее болото. Кузька-бог остался невредим, – но дни его владычества были уже сочтены.

Новый исправник пошел на Кузьку с целым войском. Колья, вилы и косы против ружей оказались недействительными, а мосты были починены солдатами. Ружейным залпом смыло первый заградительный отряд мордвы – и сопротивление потеряло силу. Все же не без труда добрались солдаты до священной Кузькиной поляны, которую заслонила последняя толпа защитников. Новым и последним залпом и здесь была расчищена дорога. Добрались до избы, – но Кузьки в ней не оказалось. Апостол Григорий, по фамилии Бакулин, отказался выдать местопребывание Кузьки. Разобрали избу по бревнышкам, нашли подземный ход и в конце его – последнее Кузькино убежище: темный, сырой земляной угол, в котором, сжавшись в комочек и дрожа от страха, запрятался Кузька-бог, а в мире – Кузьма Пеляндин.

Как часто случается с властными диктаторами, Кузька оказался трусом. Защищаясь от обвинения, выдал всех, и первым своего верного телохранителя Григория, будто бы самовольно убившего исправника. Относительно девиц Кузька уверял, что он не насильничал, а действовал с полного их согласия. Богом себя не ставил, а если его таковым считали, то на то была добрая воля и глупость окрестной мордвы, а сам он, Кузька, учил их добру, воздержанию и молитвам.

И странное дело: был Кузька-бог высоким и здоровенным мужиком, умевшим расправляться и без помощи апостола Григория; когда же попал в руки начальства и высидел в тюрьме до суда столько-то времени, стал Кузька кротким, слабо-

сильным и худым, а черная его борода поседела. Из всесильного диктатора стал мужичком-замухрышкой, никому не страшным.

В те годы суд был либерален и в делах уголовных "высшая мера наказания" не применялась. Суд постановил наказать Кузьму Пеляндина ста ударами кнута на кобыле, вырвать ему ноздри и сослать в каторжную работу. Для исполнения приговора Кузьку привезли в его село на площадь, куда сбежалась и вся мордва.

Кузьку-бога вывели на деревянный помост. Он был смирен, молчал, только поклонился народу на все четыре стороны. Послушно лег на кобылу, дал себя связать, а под кнутом выл и голосил, как самый обыкновенный человек, пока не впал в полное ослабление. Палач проделал все, что полагалось, – вырвал Кузьке ноздри и наложил клеймо. И наказание преступника, и воспитательное для народа зрелище было закончено мирно и благополучно, – и Кузьку отправили в дальнюю Сибирь.

И, однако, хитрая мордва сообразила, что не могло случиться такого дела с всесильным богом Кузькой и что в худшем случае он взят живым на небо, а начальство наказывало подставного мужичонку. С небес Кузька должен был вот-вот сойти обратно на землю, и ждали его долго, украдкой собираясь на разоренной поляне и молясь там с воем и причитаниями. Вера в Кузьку долго еще жила среди мордовского населения, и имя его вошло в легенды.

Но история Кузьки-бога поучительна не своим концом, а своим началом: чтобы стать вождем и диктатором, нужно быть несколько умнее рядовых дураков, обещать им рай земной или небесный и играть на их грубых рабских чувствах, как на вишневой дудочке. Что же до чудес – чудеса можно вырезывать из бумаги и пускать зайчиком на стенку, – остальное довершат истерические бабы обоего пола.

СИБИРСКИЙ ИГРОК

...и, посмотрев на меня не то чтобы критически, а с явным сожалением, как на занимающегося пустяками, сказала:

– Вот вы все роетесь в книгах, выискиваете печатные анекдоты про замечательных людей, а про моего деда, наверное, ничего не знаете.

Назвала и фамилию и город Екатеринбург. Людей с такой фамилией множество, а имя и отчество ниже. Весь рассказ

занял минут пять, так как обоим нам было некогда. Но остальное она мне разрешила, что называется, досочинить, только без злобы, потому что ее дед был действительно замечательный чудак; кажется, о нем даже и писали что-то в исторических журналах. Сейчас таких людей больше нет. Есть судьбы сходные – людей, высоко взлетающих и низвергающихся в пропасть, чтобы взлететь опять, – но наше время придало этому характер авантюризма, деловой ловкости и коммерческого просчета. А тут просто – игрок, от природы презирающий обывательскую размеренную, разграфленную обыденность. Ну ее, в самом деле! И детей, – дальше об этом прочитаете, – так же воспитывал: сумбурно и бесшабашно. Дети выросли отличными и дельными людьми, прямыми, без душевных ужимок, широкими и свободными в житейских отношениях, сдержанными в серьезном, не падающими в несчастье. И такая же внучка – моя рассказчица, сейчас уже и сама бабушка, но живой человек и великая работница, которую знает весь грамотный русский Париж.

Не кутилой, а игроком был Марий Петрович (в святцах имени Марий нет, но уж так его звали). Игроком высокого полета – безраздумным. Не только верхисетские чугуноплавщики, а и почтенные екатеринбургские граждане ахали при рассказах о его карточных подвигах. И вообще в те времена в Сибири велась такая игра, о какой и не слыхивали клубмены парижского "Османа". В ночь выигрывали и проигрывали заводы и золотые прииски, пуды золота, своих и чужих жен и детские соски. Выиграв – наливали ванну шампанским и купали заезжую актрису, а потом, разлив по бутылкам, пили осовело и без особого вкуса. Проиграв – брались за ум и начинали "новую жизнь", пока не вывозила кривая или не пристукивала последняя незадача. Конечно, помогали друг другу выкарабкаться из крайности, потому что случиться может с каждым, а платежник за всех один и верный: заводской рабочий. Марий Петрович был среди других не хуже, а из лучших – первый на виду. Когда он появлялся за карточным столом, мелкая рыбешка отходила к сторонке и только примазывалась, играя на его счастье, а рыба красная, сгрудившись, терла бока. Начинали, по обычаю, с пустячков, кидаясь сотенными – детскими мячиками. Счастье шло вперевалку, передвигая деньги стопочками, пока не доходило до мелка; и вот тогда разгорался бой, потому что доверие было полное, да и знали каждый, кто в каком может считаться верном кредите. И уж с этой минуты мелкота попросту сматывалась. Играли же не на аглицкий манер – с каменным лицом и замаринован-

ной вежливостью, а по-русски – с издевкой, кляня судьбу и не чуждаясь упоминания о родителях. А сибирский язык едок и образен, даже и до сей поры – поры языков смешения.

За Марием Петровичем числилось много великих побед и великих поражений. Иные из его побед остались в памяти горожан. В счастливую ночь Марий Петрович очистил до соринки и выжал досуха самые пузатые карманы. Под утро, приканчивая ногтем последнего, послал за городским оркестром и тройкой мирных лошадок. С поля сражения его вывели под руки прихлебатели и усадили в сани, разукрашенные коврами. Впереди шел оркестр, за ним нелихая благоразумная тройка, неспешно, впритруску, не беспокоя счастливо дремлющего человека, – и так по всему городу до самого дома. И конечно, весь обыватель высыпал на улицу, и уж всякий знал, что ныне за ночь Марий Петрович положил в лоск всех добрых приятелей, а завтра всем купцам и подрядчикам толкаться в его подъезде и принимать заказы.

Когда Марий Петрович выигрывал очень крупные суммы, душа его размягчалась – и никому не было отказа. Зная, что богат ненадолго, покупал прииски, дома, бриллианты жене, диковинки детям. Начиналась жизнь широкая, щедрая, у всех на виду. И жена ходила со светлым, приветливым лицом, богатством не кичась, но и не отказывая себе в удовольствии поблистать не одними уральскими самоцветами. Появлялась в доме дорогая мебель, детям выписывались учителя, легче жилось и рабочим, жизнь которых всегда стояла на карте. И случалось, что проходил год – Марий Петрович крепился, благоденствовал, не брал в руки карт.

Но слишком долго протянуть не мог – наползала скука. Сначала шутил на пустяках, зря чудачил. В пасхальный день, когда всем гражданам полагается, высунув язык и расстегнув пуговицу на брюхе, делать друг другу визиты, Марий Петрович через подручных нанимал всех городских извозчиков, с утра сгонял их к своему дому, а в удобный час выходил, садился на первого попавшегося, а остальным приказывал следовать порожнем за ним, вытянувшись на несколько улиц. И радовался, смотря, как визитеры снуют пехтурой, злобно на него косясь, а поделать ничего не могут: нет больше в городе извозчиков.

Забавлялся и дома в своем многодетном семействе: всех детей скликал в зал, садился на стул посредине, вынимал золотые часы и объявлял:

– Десять минут сроку на всех! Можете делать все, что хотите, только меня не трогать. Но кто просрочит – берегись!

Немедленно начинался кавардак. Сначала дети тузили друг друга, потом роняли вазу, горку уральских камней, еще что-нибудь ценное, а так как отец сидел при этом невозмутимо и улыбался, то приходили в истинный раж, хватали что попало, били зеркала, опрокидывали стойку с прекрасными изделиями из малахита и горного хрусталя, ломали мебель и выбивали в зале все окна. Но обычно, в увлечении, пропускали срок и попадали в лапы родителя, который спускал им по очереди штанишки, зажимал коленками голову и всыпал щедрую порцию тяжелой дланью. Затем призывались плотники, столяры, слесари, стекольщики – и Марий Петрович развлекался отделкой и обставкой своего парадного зала в новом стиле. Жена не вмешивалась в его забавы; чувствуя, что приближается новая полоса жизни, она припрятывала что можно, закапывала в саду кубышку с деньгами и раздавала верным друзьям бриллианты и драгоценности на хранение.

И вот однажды вечером Марий Петрович появлялся в игорном клубе. Плотно ужинал, говорил с тузами о делах, пил шампанское маленькими глотками, недовольно поглядывая на марку. В игру вступал не сразу и только в том случае, если его не уговаривали и не приглашали взять карту. Начинал с пульки в преферанс с разбойником и скачками, по той крупной, по какой играли только в Сибири. Обычно выигрывал, небрежно совал в карман несколько тысяч, затем вперевалку и с усмешечкой подходил к столу, за которым кидались в три листика или в девятку, смотрел, отходил, опять возвращался и на крупном куше брал карточку и покрывал всё. Бывали удачи – и тогда, к большому игроков неудовольствию, рано уходил, унося немалые деньги. Но если зарывался и начинал сердиться, – тут открывалась перед Марием Петровичем пропасть. Перебросав наличные, хватал мелок и писал на зеленом сукне вкривь и вкось цифру с нулями. С игроками горячими расправлялся быстро, давя капиталом и неразумной решимостью; но, попав на холодного искусника, – сам терял голову, бранился по-сибирски и навертывал запись на запись, непременно проставляя все нули огромными шарами.

Так шла ночь, а под утро, если попадала плохая и несчастная полоса, появлялись на сукне рядом с цифрами корявые буквы. Это для себя, для памяти, Марий Петрович переводил на деньги дом, обстановку, готовый чугун, руду, завод, бриллианты жены, свою коллекцию малахитов, лошадей с экипажами, последнюю запонку. Проиграв все дотла, делался строгим и спокойным, вставал из-за стола, назначив срок полной расплаты, и уходил, раздав прислуге последние золотые, при-

прятанные в карманах. По улице шел пешком, никого не беря в попутчики. Дома ложился спать и спал до другого дня.

Жена ни о чем не спрашивала, – да было и ни к чему, так как о проигрыше Мария Петровича уже наутро говорил весь город. Приходили поставщики со счетами, служащие за расчетом, замухрышки с дрянными вексельками. По маленьким счетам жена, его не спрашивая, выплачивала из оставшихся денег. Когда же муж, засев в своем кабинете, клал перед собой счеты и начинал щелкать костяшками, она тихо входила, становилась за его спиной, одной рукой ласково гладила его по плечу, другой рукой ставила на стол шкатулку с теми драгоценностями, о которых он не мог не помнить. Приходили и уходили приказчики, разные темные людишки, но голоса повышать никто не смел: все знали, что Марий Петрович, хоть и разорен начисто, со всеми расплатится до последнего гроша.

Так и бывало. Со двора выводили лошадей, из дома выносили мебель, пока не оставался только некрашеный кухонный стол и носильное платье. Потом со скудным скарбом вся семья переселялась в небольшой, снятый внаймы домик на окраине города, дети переставали учиться, за обеденным столом подавали вареное мясо и зайцев; заяц на базаре стоил со шкуркой пятак, без шкурки восемь копеек (шкурку сдирать трудно). Прислуга зайцев не ела, – да прислуги-то больше не было, управлялась со всем жена и старшая дочь.

О своих сбережениях и припрятках жена Мария Петровича не говорила, а он никогда не спрашивал. С полгода, а то и год тянули жизнь бедную, пока Марий Петрович, с помощью лучших друзей, часто тех же самых, которые его обыграли, не покрывался легким пушком, а затем не обрастал и перышком. Начинал с малого, но, в делах ловкий и опытный, умел развить и крохотное дело в солидное предприятие. В клубе бывал постоянно, играл по маленькой в преферанс, к большому столу не совался. Немного делишки поправив, повышал игру, обычно счастливо. В семье был ласков, в обществе посмеивался без задора и общего уважения и доверия никогда не терял.

И вот опять приходил момент, когда, при хорошем заработке, Марий Петрович делал попытку выплыть. Тот момент чувствуя, жена старалась ему помочь. Видя его задумчивость, шептала на ухо, что на случай чего и у нее немножко припрятано, так что детям на молочко найдется. И Марий Петрович с улыбочкой подходил в клубе к большому зеленому столу. Не присаживался, а играл сбоку, мазал. Сотни брал и отдавал рав-

нодушно, взятой тысяче тихо радовался, однако виду не подавая. Сыграв счастливо, присаживался на полчаса, держал банк и уходил вовремя с немалым выигрышем. И уже видели и чувствовали все, что придет час настоящего боя, когда Марий Петрович покажет себя в прежней силе, дождется своей полосы.

Так и случалось – полоса приходила. Вцепившись в хвост Фортуны, Марий Петрович держался за него крепко и, больше не задумываясь, рисковал раз-другой полным провалом. Кривая вывозила, куча золота росла, игроки бледнели, переползал на их сторону злодейский мелок. Карту Марий Петрович брал уверенно, зная, что не выдаст, и открывал ее с лицом равнодушным, почти жестоким. Когда же в затворенные ставни стучалось утро и противникам Мария Петровича уже нельзя было мечтать об отыгрыше, он подзывал пальцем сонного лакея и громким шепотком приказывал:

– Пошлешь там кого к капельмейстеру Черномордику на квартиру. Коли спит, вели вставать, и чтобы через час был готов со всем оркестром. А мне подай за мой столик в столовой чаю покрепче с молоком. Молоко-то есть? Это вот передай музыканту, а это тебе за услуги. Да чай чтобы горячий, настой до черноты, а кипятить не смей. Понял?

Ранним утром будил горожан городской оркестр и гремел по главной улице до окраинного домика. Подремывая в извозчичьей пролетке, следом за оркестром победитель возвращался домой отоспаться от славной трудовой ночи.

ДОСТОПАМЯТНЫЙ ОСЕТР

Осетр среднего возраста, не костеряк и не перестарок, весом пуда на два, разгуливал в волжских водах поблизости от Нижнего Новгорода, скуля, что очень уж мало попадается в последнее время моллюсков и прочей жратвы. "Мало" на его языке означало отсутствие привычных сотен тысяч и миллионов, потребных ему на завтрак и обед. Дело происходило в 1863 году, и если бы осетр мог подозревать, что лет через семьдесят, то есть к дням его основательной старости, не только будет еще меньше пищи, но и Нижний будет называться городом Горького, – он немедленно и в панике скатился бы в море, что, впрочем, он и делал каждую осень.

О чем думают рыбы – нам неизвестно, но их обычное хладнокровие заставляет предполагать в них мысли порядка холерического, то есть преимущественно бытового, не выхо-

дящего за пределы каждодневности. Осетр мог думать о надоедливости его близких родственников, от ничтожной стерляди до грандиозной белуги, о сородиче немецком, также носящем фамилию Анипенсеров, о своих собственных усах, висящих под закругленным рылом, о прочности и красоте своих спинных, боковых и брюшных жучек, мог вспоминать о днях страсти, загнавших его в верховья Камы; но и в мыслях его не могло быть того, что с ним вскоре случилось и о чем пойдет дальнейший наш рассказ.

В то время как осетр разгуливал по пресным водам, – по земле совершал образовательную поездку наследник российского престола Николай Александрович, сын Александра II. Маршрут его был, разумеется, предварительно выработан и известен, и куда направлялись его стопы – там начиналась великая суматоха власть имевших и городских управителей. Будущий царь должен был знакомиться со страной, и поэтому всюду, куда он приезжал, заранее наводились красота и порядок, каких в обычное время не было и быть не могло: улицы подметались, дома подмалевывались заново, люди облекались в парад, и население призывалось выражать чувства, какие в подобных случаях полагается испытывать, чтобы сделать приятное и высокому посетителю, и местному начальству; потому что ведь посетитель уедет, а начальство останется и может наделать неприятностей. Для чинов и отцов города столь редкие налеты были действительным праздником, так как за ними следовали награды и отличия, а если есть за кем-нибудь грехи, то наследник – не ревизор, и уж, конечно, в этом случае высшее начальство в своих же интересах покрывает низшее, чтобы самому не оказаться в ответе или немилости. Значит – показывай товар лицом, с самой лучшей стороны, удачно сокрой прорехи, направь стопы его величества на свежеусыпанные чистым песочком дорожки. А главное – занять внимание историческими достопримечательностями города, достижениями местной промышленности, красотами природы и отвлечь его от возможных житейских несовершенств.

Нижнему Новгороду было чем похвастаться: кремлем, часовой башней, собственным памятником Минину и Пожарскому, Спасопреображенским собором, тремя монастырями, флотилией речных судов и плотов, слиянием двух прекрасных рек, Макарьевской ярмаркой, красивыми окрестностями. Не могло быть, конечно, сомнения, что Николай Александрович захочет побывать и на пристани, откуда временно

уберут бурлацкую рвань, и на рыбных садках, где и рыбка успеет принарядиться к его приезду.

До всего этого осетру не было бы никакого дела, если бы не случилось с ним крайне неприятной неожиданности, самой неприятной, какая может произойти с рыбой: он попал в сети в самый день приезда наследника российского престола. Собственно, попал-то он несколько раньше, дня за три, и временно пребывал в садке; но когда высокий гость пожелал присутствовать при промышленной ловле сетью, будущее содержимое улова было заранее очень ловко и предусмотрительно пополнено выдающимися образчиками красной рыбы, чтобы какая-нибудь случайность не испортила впечатления. В качестве главного козыря в последний момент был подброшен в сеть вышеупомянутый осетр, пойманный, таким образом, вторично.

Двухпудовый осетр, синевато-пепельный, с белым брюхом, с раздвоенной верхней губой и четырьмя висячими усиками, с шинами на спинных жучках, – картина занятная; наследник им залюбовался. Разумеется, осетр был немедленно преподнесен высокому гостю от имени нижегородского купечества, а так как государи бывают милостивы с юношеского возраста, то Николай Александрович высказал пожелание того осетра отпустить на волю, в привычную ему водяную стихию. Все это было заранее соображено и подготовлено, так что даже оказались заготовленными серебряные сережки с надписью, каковые его высочество изволил собственноручно прицепить осетру к жабрам. Не будучи очень чувствительным, осетр не возражал против пожалования его знаками отличия, а когда его спихнули в воду, не заставил себя долго просить, мотнул трижды хвостом – и оказался на середине реки.

Мы не описываем умиления присутствовавших лиц, не располагая на нашей палитре достаточным подбором розовых красок. Отметим только, что городской голова, человек добрый, хотя и любитель осетрины, едва не расплакался. Были награждены рыбаки, купечество получило словесную благодарность, из которой позже извлекло и некоторую материальную выгоду. Младшие родственники осетра, стерлядь и севрюга, напросились к высочайшему столу и предстали на блюдах в разварном и паровом виде, как врастяжку, так и кольчиком. Кто бывал на Волге, тем нечего рассказывать о зрительных и вкусовых впечатлениях, испытываемых человеком, не страдающим потерей аппетита и умеющим отдать должное местным рыбным блюдам, перечень которых занял бы слишком много времени и места.

Осмотрев все, что полагалось, и пополнив свое образование, наследник-цесаревич отбыл из Нижнего Новгорода выполнять дальнейший маршрут. Что касается осетра, то он, поболтавшись в Волге, отправился на зимний спорт в Каспийское море.

В мае 1865 года наследник-цесаревич скончался. Известно, как эта смерть огорчила отца, подготовившего своего старшего сына к управлению государством, в то время как второй сын его, Александр, никаких талантов в этом отношении не проявлял, страны наглядно не изучал и к царствованию не готовился.

12 октября того же года случилось такое событие. Мужичок Федор Иванов Петухов, временнообязанный крестьянин князя Юсупова, проживавший в селе Безводном Нижегородской губернии, невзирая на название своего родного села, был отличным рыболовом. И хотя невод его был достаточно дырявым, дно лодки во многих местах заплатано просмоленной паклей, а сам он не в меру суетлив, – все же судьба послала ему в этот день неожиданный и богатейший улов, а именно: среди обычной мелочи попал в его сеть двухпудовый осетр. Чтобы сохранить его для продажи живым, Петухов, не имевший садка, решил продеть осетру под жабры крепкую веревку и так пустить его в воду. Дело это сложное, так как осетры сильны и не любят такого обращения; навалившись на осетра всем телом и подпрыгивая вместе с его хвостом, Петухов все же исполнил свое намерение, но при этом увидал, что в одной из жабр осетра торчит серебряная сережка с вырезанными на ней буквами. По неграмотности сам он прочитать надписи не мог, но нашлись грамотные люди, которые не только прочитали, а и вспомнили, что два года тому назад был с такой отметиной выпущен осетр в Нижнем Новгороде самим покойным наследником-цесаревичем. Иначе говоря – привалило мужику большое счастье!

Немедленно о происшедшем был извещен нижегородский городской голова Мичурин, взволновавшийся до последней степени. Подсчитав по календарю, он установил, что достопамятный осетр пойман вновь как раз в полугодовщину смерти наследника. Не говоря уже о мистическом характере данного происшествия, только окончательный дурак не использует такого события для собственной карьеры. Поэтому городской голова, приказав того осетра беречь как зеницу ока, немедленно послал донесение губернатору, генерал-лейтенанту Одинцову.

Текст этого донесения благополучно сохранился в архи-

вах нижегородской ученой архивной комиссии, и нам отрадно узнать, что городской голова был не только деятельным человеком, но и отличным литератором.

"При посещении в 1863 году Нижнего Новгорода блаженной памяти Его Императорского Высочества Государя Наследника цесаревича Николая Александровича городское общество поднесло Его Высочеству живого осетра больше двух пудов, и когда Государь Наследник подходил к тому осетру, он как будто обрадовался ему, встрепенулся, и цесаревич, по свойственной своей доброте, не желая предавать его закланию, изволил приказать сделать две сережки с означением на них имени своего и, лично сам продев их в жабры осетра, пустил его в Волгу с тем, чтобы он всегда принадлежал Его Высочеству".

Далее описывается уже рассказанное нами: как крестьянин Федор Иванов Петухов поймал осетра с сережкой в левой жабре и, не будучи человеком возвышенных чувств, попросил за осетра вознаграждение.

"Я, удовлетворив крестьянина Петухова приличным денежным вознаграждением из собственных своих денег, вообще с членами думы удостоверившись серьгою, имеющеюся в жабре того осетра, на ней оказалась вырезана надпись: "Выпущен цесаревичем Николаем Александровичем", которую имею честь представить Вашему превосходительству и присовокупить, что поимка помянутого осетра весьма знаменательна тем, что день был этот полугодием со времени кончины цесаревича Николая Александровича, даровавшего свободу этому осетру, которому тоже с подлежащими знаками полагали бы по назначению покойного цесаревича дать свободу и пустить в Волгу: а для памяти настоящего события подвесить вместо потерянной серьги новую, изобразив так: "Вновь пойман в полугодие кончины Его Императорского Высочества, 12 октября 1865 года".

Далее городской голова просил разрешения опубликовать в "Губернских ведомостях", чтобы каждый, кому еще раз удастся поймать того достопамятного осетра, выпускал его на свободу, за что из средств города будет выдаваться вознаграждение.

Разумеется, губернатор согласился и сел писать пространное донесение о том же министру внутренних дел, который, по всей вероятности, не упустил повергнуть этот случай на высочайшее рассмотрение.

По сказаниям современников, вторично пойманный достопамятный осетр, когда к нему приблизился городской го-

лова Мичурин с новыми знаками отличия, вострепетал почти в той же мере, как и при знакомстве с цесаревичем. Каково же было его удивление, когда из его жабр была вытащена высокогнусная веревка, калечившая его столь нежные органы и надорвавшая рот, и сам он был предоставлен собственной воле. Не сразу поверив, он некоторое время поболтался на месте, опасаясь подвоха, и даже имел намерение перевернуться брюхом кверху. Однако выдуманный для него людьми инстинкт самосохранения помог ему оправиться и попытаться спастись бегством, что он и исполнил.

Разумеется, никаких дальнейших достоверных известий о судьбе осетра нет. Но есть некоторые основания предполагать, что береговые пределы Нижегородской губернии перестали нравиться достопамятному осетру. Сообразив, что его могут заставить праздновать целый ряд печальных и радостных годовщин и что его жабры обратятся таким образом в витрину ювелирного магазина, он решил, преодолев все трудности, переселиться из бассейна Волги в бассейн Северной Двины, как это сделали наиболее предприимчивые особи родственной ему стерляди. Предприятие оказалось чрезвычайно сложным, и мы до сих пор не знаем, удалось ли оно впечатлительному осетру. Если он жив до сих пор, то, вероятно, достиг уже предельного осетрового веса, примерно пяти пудов, и постепенно растерял свои знаки отличия, не представляющие особой ценности в подводном царстве. Возможно, наконец, что этого самого осетра кто-нибудь из нас потребил в том или ином виде, то есть под соусом томат или просто "по-русски".

ЗАЛОЖЕННЫЙ ПРАХ

В московский сад "Эрмитаж" валит публика валом: два человека летят в небеса!

В те времена человек еще не подымался над поверхностью земли иначе как по лестнице на такой-то этаж, редко выше четвертого. И только совершенно сумасшедшие и неуважаемые люди отваживались летать на привязном воздушном шаре. Такого отчаянного фокусника приобрел сад "Эрмитаж" в расчете на хороший сбор; и даже не отчаянного, а просто – немца. У немцев воображения нет, им все равно, только плати деньги; и бояться немцу нечего, потому что он не личность, а так себе, и притом все соображает заранее. И если валил народ на гулянье и платил деньги, то не на немца

смотреть, а на русского добровольного человека: было пропечатано в афише, что с немцем решил полететь отставной флотский офицер Фролов Петр Иванович, человек подлинный, которого многие даже и лично знали, и из хорошего общества.

Чтобы сдерживать толпу и в случае чего тащить в участок, приехал и сам московский полицеймейстер Огарев, важный, громкоголосый и не без усов.

Петру Ивановичу Фролову благоразумные люди говорили:

– Что вы делаете, Петр Иванович! Зачем?

– Да ведь что ж, не все ли равно! Тоже и на земле удовольствия немного.

– Лопнет шар – вы и пропадете.

– Может случиться. Но что же поделаешь: вызвался полететь, и отказаться как-то неловко.

– А вызвались зачем?

– Пришлось. Мне говорят: “Не полетите!” – а я говорю: “Полечу!” Вот теперь и лечу.

Человек был занятный, приветливый и в обращении простой. Считался одним из лучших остроумцев. Обедал по хорошим домам.

Собралось множество знакомых, жмут руку на прощанье. Попрощавшись со всеми, Петр Иванович залез в корзинку, машет ручкой и шапочкой. И вот тут немец, чего-то такое попробовавши, заявляет, что лететь вдвоем и думать невозможно: шар никак не подымет. Петр Иванович огорчился, плечами пожал и говорит:

– Ну, что же делать! Я вылезу.

И действительно вылез, грустный, но спокойный.

Естественно, что публика хотела очень сильно бить Петра Ивановича, и не только знакомые, но и посторонние, кто платил деньги. К счастью, присутствие и распорядительность полицеймейстера Огарева спасли положение, и Петр Иванович успел благополучно скрыться от общего внимания.

* * *

Из-за такого пустякового случая мы бы, конечно, не начали писать рассказ. Как увидит читатель далее, дело гораздо серьезнее и пахнет трупом. Но предварительно нужно было пояснить, каков был Петр Иванович Фролов, герой рассказа, и почему к нему относился с подозрительностью московс-

кий губернатор Закревский, человек решительнейший и характера деспотического.

Достаточно сказать, что этот Закревский высек и выслал из Москвы настоящего французского гражданина, дамского парикмахера, который позволил себе не только причесывать дам, но и продавать им какие-то таинственные предметы неизвестного нам назначения, поименованные в губернаторском приказе “механическими аппаратами”. Очевидно, это были очень любопытные штуки, так как у нас, в противоположность другим странам, иностранцев любили и никуда не высылали, хотя бы у них были визы и отечество. Выславши парикмахера, Закревский занялся и Петром Ивановичем, вся вина которого заключалась в острословии и находчивости. Было общеизвестно, что именно Петр Иванович назвал губернатора Закревского “китайцем”, каковая кличка очень привилась в обществе и навсегда за губернатором осталась. Возможно также, что Петр Иванович наболтал еще чего-нибудь лишнего, что было подхвачено и пошло гулять по Москве. Коротко говоря, Петр Иванович Фролов был внезапно сослан в город Колу Архангельской губернии за болтовню. Там он прожил в ссылке два года.

Но и этот случай – только предисловие. А начинается все с того момента, как Фролов, вернувшись из ссылки в Москву и узнав, что губернатор Закревский уже в отставке, зашел к нему повидаться, остался обедать, провел у него весь день, остался ужинать, – и между гонимым и гонителем установились наидружеские отношения, так что Петр Иванович с тех пор стал в семье Закревских своим домашним человеком, которому безгранично доверяли и без которого просто жить не могли.

Причина такой дружбы остается невыясненной, как неясна была, собственно, и подлинная причина высылки Петра Ивановича. Вообще в этом деле неясного очень много. Кто, например, мог бы сказать, простил ли Фролов Закревскому свое былое унижение или только затаился, чтобы потом отомстить? Однако большинство полагает, что простил, а все дальнейшее было чистой случайностью и следствием природного легкомыслия Петра Ивановича Фролова.

Мы имеем в виду дело о трупе, к которому наконец и переходим.

* * *

Чувствуя свое здоровье достаточно подорванным службой и неприятностями, бывший губернатор Закревский с семей-

ством выехал за границу, а именно в Италию, страну теплую и очень по тем временам приятную.

Соскучившись о дружественном семействе, выехал в Италию и Петр Иванович. Встретились во Флоренции, ели там макароны, осматривали храм Санта Мария Новелла, гуляли в парке Кашинэ, катались во Фьезоле слушать орган и любоваться видом, оказывали, по мере сил и расположения, должное внимание вину кьянти, собирались ехать и в Рим. И посреди всех этих невинных и приятных развлечений бывший губернатор Закревский возьми и умри!

Умирать и дома неприятно, а уж в чужих краях – хлопот не оберешься. Счастье, что у семьи покойного – жена и дочь – оказался тут же преданный друг, Петр Иванович Фролов. Он решительно отстранил от всех хлопот убитых горем родных, не только две ночи самолично читал над покойным, сделал куда нужно заявления и заказал свинцовый гроб, но и вызвался доставить этот гроб в Россию, в имение Ивановское Подольского уезда, где решено было похоронить отца, мужа и друга.

Жена и дочь выехали вперед, чтобы все дома приготовить. Петр Иванович, с печальным грузом, выехал немедленно вслед за ними через Германию. В пути не раз ощупывал в кармане документы, к этому грузу относящиеся, и на остановках проверял, не отцепился ли случайно вагон с телом друга. Но все было в порядке, и в полагающийся день и час Петр Иванович со свинцовым гробом прибыл в немецкий город Берлин.

Он бывал здесь и прежде, хорошо говорил по-немецки, любил и сосиски, и пиво, и сигары из гаванской капусты, и все, чем была славна Германия середины девятнадцатого века. Пожалуй, здесь ему нравилось даже больше, чем в Италии, к тому же теперь в кармане Петра Ивановича были немалые деньги, полученные им на расходы по доставке печального груза.

На этот раз Петр Иванович остановился не в маленьком, как делал раньше, – а в наилучшем отеле Берлина, что было ему необходимо как представителю семьи знатной и высокочиновной. По общительности характера он всем рассказал, что везет в Россию тело усопшего знаменитого генерала, с которым был связан узами неразрывной дружбы. Особенной спешки не было: гробница в имении вряд ли приготовлена, – и Петр Иванович выехать из Берлина не спешил.

Нужно, конечно, учесть и его душевное состояние. Час-

тенько, за бутылкой рейнвейну или просто за кружкой пива, Петр Иванович со вздохом поминал прошлое и говорил:

– За что? За что судьбе было угодно, чтобы я лишился истинного друга, с которым был связан столькими переживаниями! Было время, когда нас разъединяла взаимная неприязнь и несправедливость. Я легкомысленно прославил его на всю Москву "китайцем", тупым и злостным администратором, пускал по городу анекдоты и забавлялся, слушая, как их всюду повторяют. Он отплатил мне по заслугам: отправил меня образумиться в скучный городок холодного края. Но пришло время – и мы поняли и оценили друг друга. Враг подал руку врагу, как и полагается добрым христианам. В наших сердцах ярко и пышно распустился цветок дружбы – и не было бы ей конца, если бы ты не покинул меня вековать одиноким мою пустую и отныне ненужную жизнь!

Допив бутылку рейнвейну, Петр Иванович спрашивал другую, и с каждым стаканом речь его делалась складнее и слезы лились обильней. Когда же становилось совсем невмоготу, Петр Иванович отправлялся осматривать вечерний и ночной Берлин и домой возвращался только под утро чрезвычайно усталым.

Обязанность представительства знатной, хотя и покойной, персоны была сопряжена с немалыми расходами, и в скором времени Петр Иванович, прожив все ассигнованные ему средства, сильно задолжал в отеле, где его, впрочем, уважали как настоящего русского барина, не считавшего ни марок, ни рублей.

Между тем родные умершего генерала забеспокоились, почему его тело так долго не прибывает в место последнего упокоения. Самому Петру Ивановичу было также неприятно, почему он и решил как-нибудь выкупиться из отеля и отправиться в Москву если уж не с печальным грузом – на что денег совершенно не было, – то хотя бы персонально.

Вот тут-то и помогли ему документы о смерти генерала и о подлинном пребывании его тела, заключенного в свинцовый гроб, на хранении в железнодорожном складе. В обмен на эти документы херр фон Фролов без особого труда получил некоторую сумму денег на проезд, к которой хозяин отеля присчитал и накопившийся должок, обещая вернуть документы по уплате сполна всего, ему причитавшегося. Заложив таким образом прах лучшего друга, Петр Иванович, уже не в первоклассном вагоне, пересек границу германского государства и оказался в отечестве, возврат в которое всегда бывает приятен доброму патриоту.

Из дальнейшего известно, что гроб с телом бывшего губернатора Закревского не остался навсегда в Берлине, но в свое время, усердием обеспокоенных родных, был все же разыскан и доставлен в имение Ивановское Подольского уезда. Этим, между прочим, лишний раз доказывается, что расчетливость немцев, хотя и лишенных фантазии и воображения, всегда оправдывается.

* * *

Нам остается добавить, что история с закладом дружеского праха очень долго служила предметом обсуждения в московском обществе. При этом сразу образовались две партии: одни высказывали мнение, что Петр Иванович просто проявил величайшее легкомыслие, прокутив в Берлине деньги на доставку генеральского трупа; другие, наоборот, полагали, что все это было проделано с заранее обдуманным намерением отомстить бывшему губернатору за самоуправную высылку без достаточных причин в глухой Архангельский край. Таким образом, в глазах некоторых Петр Иванович явился как бы мстителем за административные несправедливости, в том числе и за высеченного парикмахера, французского гражданина. Были, наконец, и такие, которые считали поступок Петра Ивановича одной из обычных его остроумных проделок, которыми он давно славился на всю Москву и в ряду которых несостоявшийся полет на воздушном шаре был только одной из невиннейших шуток.

Мы не беремся быть в этом споре третейскими судьями, особенно – ввиду крайней скудости архивных материалов, которыми мы в данном случае пользуемся. Есть, однако, соображения, по которым мы склоняемся скорее ко второму утверждению, рисующему Петра Ивановича Фролова – суровым мстителем во имя идеи свободы человеческой личности. К этому выводу нас приводит, во-первых, высказанный им взгляд, что "тоже и на земле удовольствия немного", особенно же совершенно неожиданный конец нашего героя: по точным известиям, он, по прошествии многих лет, покончил с собой в Ницце. Что, почему и как – неизвестно. Хотя и были случаи, что кончали с собой знаменитые остряки и забавники, как, например, талантливый поэт Барков, – но гораздо чаще к такому способу расчета с жизнью прибегают натуры скрытные и способные по многу лет вынашивать в душе затаенные намерения.

Несмотря на это, мы, повторяем, окончательного вывода не делаем, тем более что по другим, не менее точным, сведениям Петр Иванович Фролов, покончив с собой в Ницце, где он чрезвычайно много задолжал и за квартиру и частным лицам, впоследствии избегал проживать в этом французском городе, проводя лето по преимуществу на итальянской Ривьере, а иногда попросту оставаясь в Москве и лишь по воскресеньям выезжая не далее Малаховки и Кускова. Все это придает его биографии особый интерес, почему мы и решились использовать некоторые сведения об этом известном москвиче для настоящего рассказа.

ДЕЛО О ТРЕПАКЕ И ЧУДЕСНОМ ЯВЛЕНИИ

Чтобы с места заинтриговать читателя (а дело это, да еще в понедельник, нелегкое!), начнем наш рассказ так.

Над речкой Свиягой стоял густой туман. Под утро туман зашевелился и пополз на городок, затопив тридцать восемь лавок, пятнадцать торговых заведений, сто четырнадцать лиц чиновничьего, сто сорок духовного звания и свыше тысячи мещан и купечества из русских, татар и чувашей – все население уездного города Свияжска. Потонул в тумане дом городничего, где были допиты последние бутылки, часть гостей валялась под столами, а часть доигрывала в карты. Затем, постояв и соскучившись, туман стал подыматься с тою же медленностью, с какой дьячок Василий Варенцов, будучи в расстройстве чувств, поднимался по лестнице колокольни, пока не оказался выше, чем можно было ожидать. В этот момент туман разорвался и первыми лучами брызнуло приволжское солнце, по которому так истосковались мы с вами, люди равнинные, лесные, приречные, а отнюдь не европейцы.

Недурное начало для рассказа о странных приключениях духовной особы. Но возникает вопрос: можно ли называть духовной особой простого дьячка? Дьякона – конечно, но и дьяконы не всегда безгрешны. Из консисторских архивов мы выудили однажды повествование о неблагочинном поведении дьякона Евфимия Денисова, который, по словам священника, приходил иногда в такое исступление, что “забывал сан свой и самого себя, в стихаре шумел, прыгал и делал такие наглости, кои свойственны только сумасшедшим”, так что добрый пастырь запер его в чулан, опасаясь, “чтобы он, по природной своей храбрости, не спрокудил чего-нибудь слиш-

ком важного". Были у этого дьякона странные выходки. Он не только "выщипал бороду у старика, бывшего бургомистра Полежаева", но и в алтаре вел себя непозволительно: "На горнем месте стриг волосы, отирал руки ризами, вызывал причетника биться на кулачки". При всем том этот дьякон был человек хороший, непьющий, имел склонность к занятию сельским хозяйством, и, думается мне, не был ли он одним из прототипов лесковского дьякона Ахиллы из "Соборян"?

Ино дело дьякон, ино – дьячок, о котором и идет рассказ. Дьячка звали Василием Варенцовым, и был он человек вроде как бы пропащий, так как пил горькую. Не в пример другим дьячкам, был с некоторым образованием, то есть пробовал обучаться в семинарии, но не одолел латыни. Слова латинские мог запоминать, а как доходило до склонения и спряжения – тупел и чувствовал великую и непреоборимую сонливость, пока, по великовозрастию, из семинарии не был удален. Побыв вольным человеком и места себе в природе не обретя, обратился к казанскому преосвященному с нижеследующим прошением:

"По причине моих взрослых лет и по причине забытия латинского языка, учение продолжать на латинском диалекте встретиться могут трудности едва ли преоборимыя; но как в нашем селе дед мой священник при старости; я же до совершенных лет, в которых бы мог получить сан священника, еще не достиг. Того ради, Ваше Высокопреосвященство, всепокорно прошу меня в показанное наше село произвесть в дьякона в надежде получения священства и о сем моем прошении Архипасторское и щедроотеческое учинить благорассмотрение. – К сему прошению бывший русской риторики ученик Василий Варенцов руку приложил".

На что и последовала резолюция преосвященного:

"Высечь лозами за недельное прошение".

Быв примерно высечен, однако в скором времени возмог пристроиться хоть и не дьяконом, а только дьячком, но зато в уездном городе Свияжске при церкви св. Николая.

И все бы ничего, но загубила его, как выше сказано, необычайная приверженность к горячительным напиткам. Говорили про него, что пил он до потери образа и подобия, во хмелю же был не буен, а отменно весел и необычайно храбр: мог схватить бешеного быка за рога или же проплыть реку Свиягу от города до впадения ее в Волгу. Однако бешеных быков в Свияжске не было, и потому храбрость дьячка Варенцова направлялась на иные разнообразные предметы, предусмотреть которые заранее было невозможно, так как он не стремился со-

вершать подвиги непременно на людях, а как придется.

Вот об этом-то дьячке и сохранились в консисторских архивах документы, которыми мы пользуемся. Путем сложных изысканий удалось также выяснить его участие и в необычайном явлении, о котором речь ниже. Непосредственно к нему относится донесение отца Андроника, послужившее основанием для затяжного делопроизводства о не имевшем места оскорблении действием несуществовавшего человека. Это донесение гласило:

"... сей дьяк Василий Варенцов в церкви был так пьян, что не знал, что читать, в течение вечерни еще читал кое-как, но при утреннем богослужении потерял сознание до того, что забыл, что он в церкви, и *ударил трепака*".

Тут мы делаем в рассказе перерыв и на время возвращаемся к утреннему туману над городом Свияжском.

* * *

Когда туман над городом Свияжском зашевелился и уже некому и нечего стало проигрывать в карты, – гости городничего один за другим выползли из-за столов и из-под столов. Трудовая ночь закончилась, от тезоименитства городничего остались одни пустые бутылки и несколько селедочных хвостов, в большинстве обсосанных. Застегивая непокорными пальцами пуговицы и наматывая заново шейные платки, почтмейстер, смотритель богоугодных заведений и прочие гоголевские типы начали расползаться по домам, по пути подпирая стены, невысокие шаткие заборы и стволы великолепных лип, не нуждавшихся в подпорках.

С последними гостями, наиболее ослабевшими от пережитого, но и наиболее упорными в отрицании необходимости перехода к очередным делам, вышел проветриться и сам хозяин, которого закадычные его друзья поддерживали под ручки и за талию. Так как жизнь в городе еще не проснулась, то опыт хорового, правда – нестройного пения был очень удачен на пустынной улице. Особенно охотно присоединились к хору собаки, которых в Свияжске было, во всяком случае, не меньше, чем взрослых граждан.

А туман все поднимался, и притом с такой отчетливостью, что двухэтажные домики были от него свободны, а водокачка, пожарная каланча и упраздненная за ветхостью колокольня церкви св. Николая были еще увенчаны прозрачным облаком. Как выше сказано, одновременно с туманом на эту колокольню

подымался и дьячок Василий Варенцов, не в полном сознании чувств, но с жаждой подвига. Что за предметы он нес с собой, – до сих пор осталось невыясненным; но в том, что в кармане его была косушка водки, не могло быть сомнения. Эту косушку дьячок вознамерился осушить на самом высоком месте, коего ему удастся достигнуть в это прекрасное утро.

В дальнейшем описании должны бы соучаствовать световые эффекты, о которых мы узнаем только из официального донесения свияжского городничего. Должно также играть известную роль столкновение двух туманов, одного – в голове почтенных граждан, наблюдавших явление, другого – окутавшего вершину колокольни. Известно, что даже в горах туманы меняют до причудливости очертания предметов и людей. Во всяком случае, перо городничего как непосредственного свидетеля так называемого "явления в городе Свияжске" будет красноречивее всяких наших толкований. И вот что читаем мы в его донесении:

"Сего Июня 15-го числа на упраздненной колокольне церкви св. Николая крест вдруг покрылся как бы белой пеленой и стал невидим. Через пять минут пелена стала проходить к правой стороне, и когда открылся весь крест, то показалась на верху оного, в рост человека, человеческая фигура, стоящая на одной правой ноге, на левом плече держала крест, а в правой руке и на голове подобие треугольника; одежда беловатого цвета, а лицо смуглое. Через пять минут цвет одежды переменился в светло-желтый, а в правой руке был уже не треугольник, а предмет блестящего вида. После чего явление стало исчезать, а с креста посыпались звезды бледного цвета, посреди же него показалась голова, как пишется Спаситель Нерукотворный, с тою лишь разницей, что голова была не на полотне. Потом снова крест покрылся пеленою, и явление возобновилось прежним порядком, исключая того, что звезды уже не падали и не звенели наподобие стекла. Одновременно с вершины упраздненной колокольни раздались слова, достигавшие до уха некоторых, но неясные по значению. Сего явления были свидетелями многие благородные чиновники города".

Относительно слов некоторые из благородных чиновников утверждали, что смысл был понятен, но для повторения их вслух неуместен и к явлению прямого отношения, очевидно, не имел. Звезды же видели все, а одному из ближе стоявших будто бы одна звезда ударила в непокрытую голову, произведя легкое рассечение кожного покрова, однако найдена им, за общим смятением, не была.

Таковы подробности знаменитого в летописях города Свияжска явления на колокольне св. Николая. Раскрытие его тайны последовало много позже, лишь в порядке разбирательства уже упомянутого нами дела об оскорблении несуществовавшего лица.

Нужно, однако, сказать, что это последнее дело затянулось на многие годы, так как сначала было как бы положено под сукно и лишь потом всплыло при пересмотре всех незаконченных производством дел, что случилось уже в эпоху великих реформ. Возникло оно, как известно, по доносу отца Андроника о неприличном поведении дьячка Василия Варенцова, в пьяном виде "ударившего трепака" в неподобающем случаю месте. Последнее же заключение по этому делу писал уездный протоиерей, человек образованный и неплохой юрист, которому мы, для завершения настоящего несколько путаного повествования, и предоставляем слово:

"... что же касается того, что помянутый дьяк в церкви ударил Трепака, то, как это показывается одним только свидетелем, каковое показание, на основании 330 ст. XV тома 2 части Свода Законов, считается недостаточным, и поелику, по требованию примечания к ст. 1534 Уложения о наказаниях изд. 1866 г., не заявили об этом жалобы ни сам Трепак, ни его супруга, ни родители, то таковое обвинение оставить без последствий, не лишая Трепака права самому лично жаловаться за свою обиду, если он того пожелает".

Излишне прибавлять, что все наши дальнейшие поиски по архивам, в надежде найти жалобу Трепака, его супруги или его родителей, остались тщетными. Единственным результатом проделанной нами работы было посильное пролитие света на столь нашумевшее в свое время дело об "явлении в городе Свияжске", так как в других донесениях отца Андроника вскользь упомянуто и о "распитии сим буйным дьячком горячительного пития на неуказанных высотах, откуда вслед за тем швырял стеклянной посудой в мирно проходящих". Но и этот малый вклад в историю города Свияжска мы, без особого хвастовства, считаем нашей скромной заслугой.

ПОЭТ ПРАВОЛАМСКИЙ

– Честь имею представиться: поэт Праволамский. Может быть, слыхали?

Доктор Пирожков, руководитель ярославской больницы Приказа общественного признания, кое-что почитывал, но такой фамилии не слыхал. Перед ним стоял в величествен-

ной позе плохо одетый и уже немолодой человек выразительной наружности.

– Что же вам угодно? Вы больны?

– Увы, доктор! Я совершенно здоров. Праволамский не затем пришел сюда, чтобы лечиться; Праволамский обращается к вашему сердцу: он ищет приюта! Что же касается божественного нектара, то уста Праволамского не прикоснутся к фиалу. Верьте!

Доктор Пирожков, милый и добрый человек, был единственным, сохранившим память о поэте Праволамском и записавшим свои с ним встречи; страничка из его дневника опубликована в начале семидесятых годов.

О, великое счастье издать первую книжку стихов! Весь мир кажется взволнованным и взбудораженным, будущее надвигается высокой светлой волной, не сдержать сердца обеими руками! Разгонисто, на 108 страницах (а это уже почтенный томик!), отпечатаны плоды вдохновений: *Каин* – фантастическая сцена, *Прощание, Рим, Аукцион, Она...* Без "Она" возможен ли томик стихов? И еще: *Отчужденный, Русь, Незнакомка,* и опять *К ней...* А в объявлении газеты "Ярославские губернские ведомости" за 1839 год, в номере пятом, напечатано:

"Стихотворения П. П. поступили в продажу. Молодой талант, не объявляя ни малейшего притязания на славу, не будет иметь недостатка в поощрении от любителей просвещения. Предоставляя опыт г. П. П. на суд благомыслящего снисхождения опытной публики, редакция "Губернских ведомостей" с удовольствием берет на себя обязанность довести о новой книжке до сведения публики и приглашает желающих иметь оную адресоваться прямо в редакцию, которая приятным долгом сочтет удовлетворять немедленно с возможной аккуратностью. Цена за книжку 25 копеек серебром, с пересылкой во все места 30 копеек серебром. Имена удостоивших внимания г. сочинителя напечатаны и розданы будут особо всем гг., подписавшимся на получение книжки стихотворений".

Неизвестно точно, ни когда родился поэт Петр Праволамский, ни когда он умер. Книжку стихов – первую и единственную в жизни – он издал, когда был студентом Демидовского лицея, вероятно, года за два до окончания курса.

Вот год прошел!.. – Еще два года,
Пройдет пора тяжелых дней,
И навестит меня свобода,
И сердцу будет веселей.

Мечтать о свободе естественно было в те времена студенту лицея, отданного под менторство штаб-офицера, – так как император Николай I, посетив лицей, остался недоволен студентами, которые "не имели военной выправки и не могли порядочно маршировать".

Неизвестно также, что принесла свобода поэту Праволамскому. Мы встречаем его только двадцать лет спустя в больнице у доктора Пирожкова.

– Здесь рай, здесь я лечу мою разбитую душу-страдалицу!

– Но помните обещание?

– Помню и клянусь, что не брошусь в объятия Бахуса, доколе пребуду в сем эдеме. Но если Праволамский, сверх ожидания, искусится, если он падет, как Адам в раю... о, тогда выгоняйте его смело и поставьте у врат ангела с огненным мечом!

Дело в том, что поэт постоянно слышал голос, звучавший и Агасферу и приказывавший ему:

– Иди, иди, иди!

И он шел, иногда до ближайшего кабачка, иногда дальше, например в Сибирь. Но куда бы ни уходил – возвращался в родной Ярославль. Здесь ему давал временный приют доктор (до падения Адама), а иногда о нем заботился старый друг – школьный товарищ, отогревавший озябшего и бесприютного странника.

Но в прошлом его, несомненно, были и радости, и бури. Трезвый, он восторженно вспоминал о Петербурге, о знаменитых артистах сороковых годов – Каратыгине, Асенковой, читал наизусть длинные сцены из старинной драмы "Жизнь игрока", мечтал сам пойти на сцену. Иной раз растроганно вспоминал, что в Петербурге есть у него сын-студент и что ему хотелось бы "обнять свое милое, любимое дитя, выплакать с ним, на его груди, свое горе". В иные светлые недели ему удавалось, с помощью друзей, приодеться и приобрести временную оседлость. Тогда он был приятным и занимательным собеседником, остроумным, приветливым, – пока, подчиняясь таинственному голосу ("Иди, иди!"), не попадал в объятия Бахуса. И снова оказывалась на нем пилигримская шапка, заношенное пальто и стоптанные сапоги:

– Праволамский не удержался! Его одолела пагубная страсть. Он чувствует свое падение и сейчас же удаляется. Прощайте!

Он говорил о себе только в третьем лице. Он никогда не говорил просто – всегда языком торжественным, несколько актерским. И он никогда не говорил неправды – все самые

фантастические его рассказы о себе и своих странствиях подтверждались. Было некому описать его жизнь. Но если бы нашелся охотник, – он не имел бы недостатка в самых изумительных картинах и в самых необычных приключениях для описания жизни поэта Праволамского.

* * *

– Иди, иди!

Родившись на Волге, он в пути придерживается ее берегов. Летом бредет от города до города, высокий, длинноволосый, чудаковатый странник, где один, где в компании богомольцев и нищих, чувствующих в нем человека непростого, с чудно́й речью, со странными повадками. В городах он предпочитает искать удачи в одиночку и с особым прилежанием заходит в больницы:

– В городах есть разумные существа, которые отогревают бедняков и не отказывают Праволамскому в больничной койке, в порции щей, в кружке квасу. Эти разумные существа – врачи!

Больничная койка – отдых, но всегда кратковременный. Бродячий поэт здоров и не хочет никого обманывать. Отдохнув, он идет дальше.

Денег у него нет, – но "средства падают с небес, из рук добрых людей". Иной раз этих средств хватает, чтобы сократить путь пароходом. С малым узелком он располагается на корме, заводит дружбу с матросами, читает им стихи, рассказывает про чудеса столиц, не отказывается от плошки с наваристой ухой. Мимо бегут зеленые берега, деревушки, и сколь бы ни были новы эти места – все они поэту родные.

Волга сменяется Камой, желтая вода – живой сталью. Воздух хвойный и хмельной, картины природы четки и суровы. Легкий пароход догоняет арестантскую баржу; закованных людей везут туда же, куда поэт едет добровольно. Нет с собой бумаги у поэта Праволамского, – и он слагает в уме строфы о "свободе", как слагал их в лицее, но только тут речь об иной свободе, более драгоценной.

За Пермью – бесконечный Сибирский тракт, прорезавший еловые и пихтовые леса. Арестантов гонят партиями, – поэт идет налегке с высокой палкой странника, которую сам вырезал из стройного деревца на опушке. Сладок дух смолы, так сладок, что не вспоминается ни о каком Бахусе, и путник шагает радостно и бодро.

– Праволамский, иди, иди!

Деревни все реже, и с пропитаньем трудно. Но сибирский крестьянин добр к бродячему человеку; даже для беглых выставляют на крыльцо избы горшки с кашей. И работишка попадается – избы конопатить, драть лыко, пасти баранов. Праволамский готов на всякую работу.

Побывал и на приисках, работал и терпел все бедствия. Но заживался тут неохотно, чувствуя, что прииски – гибель для человека, наклонного к спиртному. Спаивают не одни приятели – сами хозяева спаивают. Так можно потерять совсем человеческий образ.

Так ходил он по городам и весям чудаком землепроходом, в больших городах заживался подольше, – пока терпели его "разумные существа", городские врачи, к которым он имел особое пристрастие. Мог бы где-нибудь и осесть, если бы не "вакхические увлечения" и если бы не "тайный голос". То – совершенным оборванцем, подлинной шпаной, то – "прикрытый мантией возможной цивилизации", никогда не забывая о своем высоком назначении – поэта.

На родине о нем забывали – пропал Праволамский! Проходили два-три года – и он появлялся вновь, то – обветренный российскими просторами, здоровый и веселый, то – жалким и слабым пропойцей.

В последний раз он появился в Ярославле в середине шестидесятых годов. Оказывается, пришел "из хладных гиперборейских стран, и по-прежнему все наг и нищ". Явился к доктору Пирожкову, старому знакомому и благодетелю. Тот его и не узнал сразу: пожилой человек с огромной седой бородой, в военном пальто, не по сезону холодном.

– Благородный человек! Ужель не узнаете поэта Праволамского! – И сжал доктора в могучих объятиях. – Ходил за счастьем. Вот судьба! Но, видно, нет для Праволамского счастья на земле!

И опять приютился на больничной койке, хоть и совсем здоровый, – до первого припадка "пагубной страсти".

Пожил недолго. Сидячему человеку слишком чувствительна горе-горькая жизнь – на ходу лучше. Решил пойти на Москву и в Питер. Кстати вспомнил, что в Питере вошел в славу другой ярославский поэт, Н. А. Некрасов:

– С ним, бывало, делил Праволамский дни юности...

По бедности и любви к пешему хождению – ушел дорогой апостолов. Дошел ли или не дошел – никаких о том известий не осталось. Только лет через десять узнали ярославские друзья, что поэт Праволамский умер.

Вспомнили о нем с приязнью: был человек беспутный, но честный и ненавязчивый. Никому зла не причинил, ни о ком плохо не отзывался.

Где-нибудь должна быть его могила. Где? А единственный памятник – его книжка, ставшая великой редкостью. Кто хранит стихи провинциального поэта? Да и кто их покупал? Верно, были перемолоты книжки на фабрике и превратились в оберточную бумагу.

* * *

Не слыхали раньше фамилии Праволамского? Но ведь не слыхали и имен Гашукова, Свиблова – тоже ярославские поэты. А сколько губерний в России! И в каком городе не было своего поэта, кропавшего стихи в местной газете, иногда выпускавшего их и книжечкой.

Странниками были не все, – но редкий не приносил жертвы великому богу Бахусу. Гибли бездарные, гибли и таланты. Гибли, все же "с толпой не смешиваясь", настаивая и в хмелю на своем священном призвании. Одни посылали свои стихи в столичные издания – и годами ждали ответа. Другим везло безмерно – и стишок печатался в "Ниве" или на задворках иного иллюстрированного журнала. И тогда поэт гордо подымал голову: может быть, сколько тысяч людей прочитали в журнале его строчки! Может быть, кого-нибудь прошибла слеза, чье-нибудь сердце рванулось навстречу! А тут – скука и серость провинции, и никуда не вырвешься. Страдал – и прилеплялся грешными устами к божественному фиалу с драгоценным нектаром – опрокидывал шкалик в горькой судорогой сведенное горло.

Это все оттого, что звучит поэту тайный голос – иди, иди! – а куда пойдешь, когда счастья нет на земле для отмеченных святою печатью поэзии. Счастлив только тот, "кто малым доволен, в тишине знает прожить, от суетных волен мыслей". Счастлив обыватель, лире предпочитающий гармонику, призывов не слышащий, никуда не спешащий и тот же самый нектар потребляющий умеренно, малыми рюмками по большим праздникам.

ВЕЛИКИЙ КРЫСОЛОВ

Гаврила Дмитрич, дворянин на покое, сорок два года ошибался, думая, что призван быть гвардейцем, потом сельским хозяином, потом женатым человеком. Природная лень оказалась препятствием на всех этих поприщах, и на сорок третьем году он проживал на окраине Москвы в собственном доме праздным холостяком, не зная, чем заполнить день, и катастрофически прибывая в весе за счет живота.

Девятнадцатый век медленно перевалил за середину, доплелся до Крымской кампании, спотыкнулся о Севастополь, перепугался герценовского “Колокола” и решил заняться вплотную великим реформами. Как раз в это время произошло и пробуждение Гаврилы Дмитрича к новой жизни, полной смысла и значения.

Он пробудился в подлинном смысле слова, и о том, как именно он пробудился, стоит рассказать. Но прежде – две генеалогические справки, без которых дальнейшее не будет понятно.

Род Гаврилы Дмитрича – чистейший русский: по отцу – от шведов, по матушке – от татар. И действительно, лицом Гаврила Дмитрич напоминал шведского эмигранта Рюрика, а животом – евроазийца Чингисхана. Потомки этих замечательных людей, соединившись законным браком в небольшом пятиглавом храме Успения, что в Путинках (бледное золото куполов! чистые линии семнадцатого века!), – в кратчайший срок произвели на свет сына Гавриила.

Более путан, но также исследован до истоков род пасюка, рыжей крысы, на которую не всякая кошка пойдет войной. Пасюк прибыл из Индии или Персии во второй половине осьмнадцатого века. Длина тела 10 дюймов, чешуйчатого хвоста – 8 дюймов. Мех со спины коричневый или серовато-желтый, снизу беловатый. Уши голые, на треть длиннее головы. Пасюк – самая плодовитая и самая отчаянная крыса. Как и человек, она ест всякую гадость. Зимой не спит. Рожает по два-три раза в год по восемь – двадцать детенышей. Приехав из Индии или Персии, пасюк завоевал Европу, почти совершенно вытеснив крысу черную и все другие породы крыс, кроме интендантской и канцелярской. В народе за пасюком привились клички: гад, гнус, поганка и плюгава. В наши дни против пасюка выступил Пастеровский институт и еще до сих пор не признал себя побежденным, но, конечно, должен будет признать. Возможно, что пасюк завоюет весь мир и создаст в нем свою культуру.

С этими кратчайшими сведениями мы можем приступить к рассказу.

* * *

Во сне Гаврила Дмитрич свистал ноздрей, обращенной кверху; обращенная книзу в это время отдыхала, чтобы в свое время сменить уставшую. В спальне теплилась лампадка перед коричневым вырезом лика в темном серебре; в лампадке плавали отлично промасленные мухи. Воздух в спальню проникал, как мог, через щели и скважины в количестве, достаточном для дыхания одного. Деревянная кровать Гаврилы Дмитрича была величественна и рассчитана на подростка слона или зрелого бегемота; за отсутствием таких крупных зверей во всех скрепах гнездились воспитанные в довольстве и сытой жизни клопы. На прочных досках лежал сенник, на нем – перина, на перине – простыня домотканого холста, на простыне – дворянин в широких фланелевых штанах, такой же теплой ночной рубахе и вязаном колпаке; поверх дворянина – одеяло летнее бумажное, еще поверх – одеяло суконное, а последним – стеганое на хлопке мелкими ромбами и треугольниками из разноцветных кусочков с преобладанием желтого атласа.

С десяти вечера часов до двух утра Гаврила Дмитрич обычно спал крепко и без сновидений. После двух начинался сон рассеянный и несколько беспокойный, так что случалось, что стеганое одеяло сползало с кровати на пол, стягивая к себе и остальные. Приходивший по своим делам черный таракан останавливался перед цветным треугольником, шевелил усами и шел дальше. Всхлипнув во сне, потный дворянин поворачивался на отдохнувший бок и перестраивал носовую флейту. Очень слабо доносилось пение петуха, исполнявшего в курятнике свою нелепую обязанность.

И вот однажды из дыры в полу за комодом вышла большая крыса, потомок пасюков, переселившихся в Европу из Индии или Персии. Рассчитывать на какую-нибудь поживу крыса не могла, и руководила ею простая любознательность. Дойдя до сползшего одеяла, крыса понюхала и, по неразборчивости вкуса, заинтересовалась. Со всей осторожностью она вползла по одеялу на кровать, минутку выждала – и огляделась. То, что она увидела, было и неожиданно и прекрасно: из складок одеяла приветливо глянул на нее красивый и, несомненно, съедобный круглый маленький предмет грязновато-розового цвета, с одного бока украшенный блестящей роговой оболочкой. Приблизившись, крыса долгое время не решалась приступить и лишь принюхивалась, не скрывая своего восхищения. Возможно, что она неосторожно пощекотала его усами, и в тот момент, когда это несомненно живое су-

щество хотело ускользнуть под одеяло, крыса, спохватившись, вонзила в него острый зуб.

То, что произошло дальше, трудно поддается описанию. Сильным рывком втащенная под одеяло, крыса не сразу нашла выход.

При свете лампадки по комнате металась фигура в колпаке, потом еще несколько сбежавшихся на крик странных человеческих фигур со щетками, сапогами, березовыми поленьями. Коротко говоря, любознательный пасюк спасся только чудом, а событие это так потрясло Гаврилу Дмитрича, что произвело полный переворот в его дальнейшей жизни, пробудив в нем спавшую раньше исключительную энергию.

В нижеследующем описании мы пользуемся, как обычно, не только преданием, но и документами, сохранившимися в московской старине. Один из них рисует в подробностях гениальное изобретение, которое может найти применение и в наши дни, почему мы и не упустим познакомить с ним читателей.

Пятью-шестью годами позже описанного события нельзя было узнать прежней квартиры Гаврилы Дмитрича, как неузнаваем был и он сам. Начавший опускаться человек ожил, сбавил ненужный жирок, помолодел, приобрел вкус к новой сознательной жизни. Его квартира необычным убранством привлекала любопытных и прославилась гостеприимством. Первое, что видел в гостиной посетитель, был золотой щит с дворянским гербом Гаврилы Дмитрича, на котором был изображен Георгий Победоносец, попирающий и мечом поражающий пасюка, причем рыцарь был нарисован, а пасюк настоящий, в виде выделанной шкурки, а в морду вместо глаз вставлены бусинки. По уверению Гаврилы Дмитрича, это был тот самый пасюк, который посягнул на палец дворянской ноги. Шкурками была убрана и вся стена, за исключением мест, украшенных портретами предков, счастливо сочетавших кровь Рюрика и Чингисхана. Карниз был убран прихотливо скрещенными золочеными и серебрёными крысиными хвостами, конечно, настоящими – трофеями удачной и беспощадной охоты хозяина.

В другой комнате можно было остолбенеть от количества самых разнообразных, с большим вкусом расставленных и развешенных приборов для ловли и уничтожения крыс. Тут были проволочные ловушки всех величин и сортов, от круглых, похожих на рыболовную вершу с внутренней воронкой, до одно- и двухэтажных домиков с автоматическими затворами. В одних домиках стоял внутри покрытый скатертью столик, на который клалась приманка; в других на полу было написано: "Вход свободный!" – а еще в одном устроена маленькая постель с фигурой человечка, высунувшего из-под одеяла

ногу. Еще были пружинные гильотинки с крючком и необычайно сложные приспособления с уравновешенными тяжестями, которые обрушивались на сунувшегося под них зверя. Был лук со стрелами, к которым были привязаны легкие плетеные веревки, был подбор обычных рыболовных удочек с якорьками и крепчайшей лесой, было копье в стиле храмовников, был трезубец в стиле Нептуна, были слитки свинца, удобные для метания. И еще был шкапчик с ядами, на дверце которого был изображен крысиный череп со скрещенными под ним лапками. Всего не перечислишь!

Хозяин, всегда бодрый и оживленный, встречал гостей в охотничьем наряде серого защитного цвета, не столь заметного для зорких крысиных глаз. Показав убранство квартиры, он вел гостей в свой рабочий кабинет и, в знак особого доверия, показывал огромную рукопись плотной синей бумаги, еще не законченную, но уже имевшую на первом листе прекрасно выписанный титул:

"Главенствующая задача Российского Дворянства в деле крысоистребления с изображением оных".

Этот труд был якобы данью общему увлечению проектами великих реформ, обильных в новое царствование.

Труд остался незаконченным. Это понятно и простительно, если принять во внимание, что его автор был не праздным болтуном, писавшим на досуге, а настоящим деятелем, почти не знавшим отдыха и лично истребившим столько грызунов, сколько не всякий садовод истребляет гусениц. И не только лично, но и способом, им изобретенным и обнаруживавшим его необычайную ловкость, смелость и предприимчивость. Этот способ, можно сказать, был и остался единственным в анналах крысоловства.

* * *

На охоту Гаврила Дмитрич выходил на заре или на закате солнца, как рыболовы. Сопровождал его дворовый оруженосец Лука, несший ловушки, мешок с салом и ягдташ. Думать о том, чтобы охотиться поблизости от дома, было тщетным: здесь не только пасюки, но и черные крысы были давно истреблены начисто. Приходилось уходить в новые кварталы города, главным образом туда, где были хлебные амбары.

Придя, расставляли ловушки и гильотинки, зарядив их салом и хлебными корками. Говорили шепотом, ступали тихо. Затем Лука садился поодаль на бревнышко, а Гаврила

Дмитрич обходил кругом строения и осматривал крысиные норы.

Наметив опытным глазом удобную и добычливую, он снимал правый сапог и обувал ногу в другой, каблук которого завершался прочным кованым гвоздем. Затем клал у отверстия кусок сала на расстоянии трех вершков, предварительно помазав им краешек норы. Затем, твердо стоя на ноге левой и слабо опираясь на правую, он замирал в ожидании, не производя ни малейшего шороха и даже стараясь не моргать.

Если место было выбрано хорошо, то и ждать приходилось недолго. Привлеченная запахом сала, крыса осторожно выставляла усы, потом ноздри, потом мордочку, все постепенно, с чуткой осторожностью. Иногда, почуяв неладное, скрывалась или очень долго не высовывала всего туловища. Неподвижно стоящего на шаг человека, прижавшегося к стене, крысы не видят; их внимание привлечено куском сала. И вот происходила борьба на выдержку, и в той борьбе всегда побеждал Гаврила Дмитрич. Когда же крыса, решив, что опасности нет, выползала из норы и подтягивалась к приманке, человек у стены делал огромный скачок и без малейшего промаха вонзал каблучный гвоздь в серо-желтую спину.

Это легко рассказать, но сделать так может только великий и опытнейший охотник, каким и был Гаврила Дмитрич.

Если крыса не была исключительным по величине экземпляром, то перочинным ножиком отрезался хвостик, а тело бросалось поодаль, не слишком близко к норе, чтобы не возбуждать подозрений. Затем охотник или пристраивался тут же, или шел к другой норе.

Для кого – просто приятное развлечение, для Гаврилы Дмитрича это было как бы выполнением дворянского долга и служения отечеству. Уменьшением числа вредных грызунов он, во всяком случае, способствовал росту национального богатства, в то время как другие это богатство зря растаскивали по заграницам.

Именно это соображение и побудило нас рассказать в подробности о подвигах московского крысолова, пользовавшегося ненапрасной славой и общим уважением на рубеже двух эпох, когда либеральная мысль, разнузданная преждевременным просвещением, часто недооценивала случаи бескорыстного подвижничества представителей родов, происшедших от счастливого соединения потомков Рюрика с потомками Чингисхана.

ЧЕРНЫЙ КАБИНЕТ

В подъезд почтамта близ арки с часами походкой пожилого человека, который знает, куда идет, потому что он идет сюда в тысячный и более раз, – вошел Пимен Миронович, чиновник секретной экспедиции и совершенно замечательный человек. Пальто не снимая, поднялся в третий этаж, проник без доклада и без стука в кабинет старшего цензора Мардарьева, с которым молча поздоровался, затем подошел к большому желтому шкапу и, как это ни странно, исчез: из кабинета не вышел, но и в кабинете не остался. Впрочем, это исчезновение доказывало не чудесное качество чиновника, а лишь любопытное устройство шкапа, служившего тайною дверью в самое секретное отделение – в Черный Кабинет петербургского почтамта.

И все-таки мы не напрасно назвали Пимена Мироновича совершенно замечательным человеком. Он был едва ли не талантливейшим из двенадцати служащих, работавших в угловых комнатах третьего этажа (тот самый угол здания, где внизу снаружи висели невинные почтовые ящики). Пимен Миронович не только знал множество языков, но и свободно определял по внешнему виду письма, по качеству бумаги, по конверту, по манере наклеивать марку и особенно по почерку, кто кому и приблизительно что пишет и стоит ли вскрывать письмо. Не то чтобы соображал или догадывался, а просто – знал. Первые пять лет службы он еще иногда ошибался, последние десять лет – никогда, и если бы хоть раз ошибся, то был бы сам поражен и восхищен, потому что никогда не ошибаться очень скучно. Кроме того, он сразу видел, есть ли приписки химическими чернилами (у простаков – молоком, луковым соком), отлично понимал (лучше, чем адресат) все условные словечки и выражения, читал все шифры, вплоть до самых замысловатых ("по стихотворению"), и почти не имел надобности заглядывать в табличку имен и тетрадку с образцами почерков, потому что он вообще знал всех и все наизусть, – разве что появится новичок по приемам "конспирации", повторяющий наивности многоопытных, прошивающий письмо ниткой, сообщающий свой секрет бисерным почерком под почтовой маркой (о дети, дети!), вкладывающий белокурый или кудревато-черный волос (будто случайно!), ставящий едва заметный крестик на внутренней стороне конверта, стряпающий слово из начальных букв замысловатой фразы, или еще что-нибудь древнеисторическое.

Все это Пимену Мироновичу давным-давно известно-пе-

реизвестно, и, усмотрев невероятно "тонкую" хитрость, он часто добродушно говорил:

– Ах, Петя, товарищ Петя! Зачем эти глупости!

Неизменно улыбался Пимен Миронович, когда в куче писем, вскрытых паровой машинкой, он находил два письма от одного и того же лица: одно – конспиративнейшее, измененным почерком, иногда даже довольно ловко, и в той же почте другое, на такой же бумаге, адресованное мамаше или сестре, простым почерком, с простой подписью "Твой сын Ваня", "Твой любящий Володя Г.", с изложением маленьких житейских дел и поклонами родным. Стоило в первом письме расчеркиваться псевдонимом и указывать условный адрес, когда второе письмо выдает с головой! До чего люди просты!

Раньше Пимен Миронович сидел сначала на иностранных бандеролях, потом на письмах посольских, министерских и особо отмеченных влиятельных лиц. Прошел также курс подделывания печатей, старым способом (воск, гипс, отливка), более новым (серебряный порошок и амальгама; тот способ, который бывший начальник Кабинета продал Австрии), наконец – новейшим, при котором в несколько минут получались печатки идеальной четкости из твердого металла, – тем самым способом, за который изобретатель его, тоже чиновник, получил от царя, по представлению Столыпина, Владимира 4-й степени "за полезные и применимые на деле открытия". Затем долгое время Пимен Миронович занимался шифрами иностранных дипломатов, но после стали эти шифры покупать тут же, на месте, в Петербурге, или, в редких случаях невозможности достать быстро, – стали их приобретать через очень популярную брюссельскую шпионскую контору: коды греческий, испанский, болгарский по цене грошовой (полторы-две тысячи рублей), другие европейские от пяти до пятнадцати тысяч, американский и японский – за несколько десятков тысяч; исполнение заказов быстрое и точное, с гарантией и извещением о происшедших переменах (тогда, конечно, плати особо). Но при спешной надобности Министерство иностранных дел доверяло дело почтамтским чудодеям, и Пимен Миронович, покорпев над телеграммой несколько часов, возвращал ее с переводом на надлежащий язык. Наконец, отчасти за долгую службу, отчасти ввиду проявленной склонности, Пимен Миронович был окончательно назначен заведующим перлюстрацией переписки революционеров. Работа тихая, легкая, не требующая особой спешки (какая требовалась, например, с посольскими пост-пакетами и портфелями!), на вид простая, но с каждым годом все более ответственная.

Теперь Пимен Миронович жил как бы в атмосфере семей-

ственности: Петя, Ваня, Абрам, товарищ Волжанин, у нас в Женеве на Каружке, в Париже на Бульмише, Иван Николаевич "в командировке", Сережа заболел и едет за Урал, "духи высылаю", "товар подмочен", "спешно прекратите закупку жмыхов" – милый знакомый язык, книжки с подчеркнутыми буквами на странице 41-й, помнишь ли, как мы певали "Не осенний мелкий" (разумей – новый шифр), – все так наивно, и, по-видимому, пресимпатичные ребята! Впрочем, почему "по-видимому"? Сколько переснято фотографий, посланных маме, тете и всяким тургеневским "дурам-святым"! Многих Пимен Миронович видит перед собой с полной отчетливостью.

Собственно – ему-то какое дело! Снятые копии куда-то посылаются, и не куда-то, а в департамент полиции, но чиновника цензуры это не касается ни в малой степени – он не сыщик, не судья, не следователь, он – графолог, психолог, свободный художник. Ему даже смешны иногда "заказы" департамента вынимать и перлюстрировать письма таких-то и таких-то. Заказ выполняет добросовестно, но сколь очевидна ему департаментская близорукость – ему, мысленно живущему в этой революционной семье! Он посылает детскую чепуху пера товарища Пети, – но и не обязан и не имеет ни малейшего желания знакомить с интересной во всех отношениях перепиской Паши Гусева с итальянской Ривьеры, потому что о Гусеве его не спрашивают и в списках его фамилии нет. Сам он письма Гусева читает, как и ответы "твоей Маруси", знает их делишки и их совместные планы, следит, что из этого может выйти, догадывается, что транспорт литературы благополучно прибыл в Киев, – но он ограничивается своим чисто научным интересом и не обязан помогать полицейским. Иногда он с увлечением наблюдает, как обернется дело с побегом "тети Нины" из Акутая ("Тетя Нина закончила тяжелую работу на даче и хочет отдохнуть на теплых водах..."), с удовлетворением узнаёт, что "тетя Нина" уже в Ницце, откуда пишет кучи открыток и могла бы подвести этим ряд друзей на родине, а эти департаментские олухи ждут ее цидулек из Москвы в Париж. "Тетя Нина" положительно мила в купальном костюме на открыточке, посланной ею какой-то другой тете; открыточка без задержки и без отметки следует по адресу – до нее нет Пимену Мироновичу никакого дела.

За годы работы в Черном Кабинете Пимен Миронович пришел к твердому убеждению, что почти все люди без исключения фальшивы и продажны, но что их основное качество все-таки глупость. Министр путей сообщения догадался дешево купить земельку на имя жены на участке, который

подлежит отчуждению для новой дороги. Подлец, конечно. Но он же ведет об этом обстоятельную частную переписку, упуская из виду, что все письма министров и сенаторов читаются в Черном Кабинете: это ли не глупость! В каждом посольстве есть свой предатель, продающий слепки ключей, приносящий разорванные бумажки из посольской корзины, готовый исполнить любой заказ; поэтому каждый новый посол меняет всю прислугу и привозит свою; остаются только дворник, швейцар, истопник или полотер. Но полотер оказывается языковедом и человеком со средним образованием, а скоро и приезжая горничная жены посла начинает зарабатывать немалые деньги. Секретарь посольства по ночам трудится над зашифровкой секретнейших донесений, текст которых он уже отправил в российское министерство за не очень высокую мзду. Продают все, кто что может, ибо мир населен жуликами. Против этого мира жуликов выступают клиенты Пимена Мироновича – революционеры, самые наивные и доверчивые люди, самые смешные в своей непроходимой честности, – хотя и среди них встречаются предатели, посылающие из-за границы донесения своему начальству. Из любознательности Пимен Миронович не записал (это ни к чему), а запомнил несколько адресов какой-то Марьи Ивановны в Петербурге да Анны Петровны в Москве, а в действительности, конечно, жандармских ротмистров охранной службы. Донесения любопытные, и его любимец Паша Гусев напрасно ведет дружбу с неким Подосеновым, подписывающимся "Женичкой", но деньги получающим в Генуе на собственное имя. Если Паша соберется нелегально съездить в Киев, – его сцапают на границе, а затем "ликвидируют" и "твою Марусю". Эх, ребята, ребята!

И вот именно так и случилось: Женичка спешно уведомляет Марью Ивановну, что Паша складывает чемоданы и едет с паспортом Мориса Дюбуа, доверенного парфюмерной фирмы. О том же туманно, без имени, эзоповским языком ("Тоска по родным местам пробудила активность...") пишет Марусе и сам Паша. Летит мотылек на огонь – Марье Ивановне большая радость. Черт его знает, почему Пимену Мироновичу так полюбилась эта парочка, Паша с Марусей. Их имена в списке не значатся, и не будет нелояльным разрушить Женичкину махинацию, пока Марья Ивановна ничего не знает. Ядовито улыбаясь, он сует в карман Женичкино письмо, а в письмо Паши вписывает Пашиным же шифром и почерком и точно подобранными чернилами: "Старайтесь скрыться немедленно". Затем запечатывает письмо и швыряет в ящик

возвращаемых в общее отделение почтамта. Маленькое озорство, которое открыться не может, потому что даже сам Паша должен будет признать, если когда-нибудь увидит, приписку своей собственной; но нужно думать, что Маруся письма все же уничтожает, хотя от этих простачков можно всего ожидать. А Марья Ивановна останется с носом, если Морис Дюбуа не наделает новых глупостей.

Шутка сказать, за день проходит через Черный Кабинет до двух тысяч писем, отобранных внизу опытным чиновником – по спискам, по догадке, по внешней подозрительности. Из них на долю Пимена Мироновича приходится сотни две для просмотра и лишь десятка три для копий, фотографирования и выписок. И все же работа утомительная.

Дома ждет обед и долгий пустой вечер; Пимен Миронович одинок и нелюдим; люди подлы и глупы, исключения случайны. Из служебных комнат он выходит другим выходом – из подъезда против почтовой церкви, что в Почтамтском переулке. Так уж принято – входить через шкап, выходить без особых фокусов.

Собственно, зачем он утаил письмо Женички и набедокурил в письме к Марусе? Кстати – первое письмо он старательно сжигает дома, так как сам к числу глупцов не принадлежит. Противно видеть, как неплохие, в сущности, ребята, во всяком случае, искренние и некорыстные, глупейшим образом попадают на крючок рыболовов в темной воде. Паша с Марусей получат каторгу или ссылку, Марья Ивановна – орденок, Женичка – подачку на пропой души, – обидно как-то! Хочется хоть раз дать щелчок в нос достойному, хотя, конечно, никого этим не исправишь.

Долгий вечер Пимен Миронович проводит за книгой по химии или по философии. Химия пополняет знания, философия укрепляет в человеке веру в полную тщету всяких знаний. Химик изобретает новые невидимые чернила – и тут же отличный для них реактив. Философ смотрит на химика и дивится его напрасным стараниям. Но химика с философом может легко объединить бутылка отличного коньяку, которая делит одиночество Пимена Мироновича.

К ночи он добрее к людям и разговорчивее с самим собой. Наливая последнюю рюмку, сонным голосом говорит:

– Все минется, все переменится, – а что останется? Человеческая глупость и, конечно, Черный Кабинет. Ну, за здоровье Паши и Маруси!

СОСЛУЖИВЦЫ

Фамилия Алексея Ивановича была Жекмаки. Откуда такая фамилия у православного человека? Был другой человек, такой же специальности, и звали его Ричард Фремель; и был не только лютеранином, а и германским подданным, а в России только помогал нашему правительству в труднейшее время и в труднейшем деле. Это понятно. Но фамилия Жекмаки у обыкновенного русского человека могла появиться только в городе чудес – Одессе. Так оно и было: Алексей Иванович служил в Одессе долголетним штатным агентом сыскного отделения – по части розыска воров и краденых вещей. Получал за это хорошие деньги, шестьдесят рублей в месяц. Значит, был особо полезным человеком, потому что такого жалованья никто из других агентов не получал. Он служил в самые тревожные времена – с 1900-го по 1913 год: как раз захватил первую революцию. Не то чтобы в те дни было особо много краж, а было другое, именно то, за что и вознаграждался Алексей Иванович дополнительно и не в пример прочим. В аттестате числилось, что Жекмаки "вел себя честно, трезво и все возложенные на него поручения исполнял с успехом и с полным знанием полицейского сыска".

Сам одесский градоначальник отлично знал и очень уважал человека с фамилией Жекмаки, считал его преданным, честным и совершенно незаменимым работником. Кроме того, Жекмаки знали – кому знать надлежало – в Тифлисе, Севастополе, Симферополе и Херсоне, но не везде под его собственной фамилией, которая уж слишком легко запоминалась и была редка. Иногда Жекмаки превращался в Сидорова, а то в Поликарпова, разумеется, получал временно и документ на эти имена. Сверх того ему был выдан, да так у него и оставался, особый наряд: черное домино и маска, точно для маскарада.

Вообще жизнь этого человека была особенная, и особенным было общее к нему отношение, а не как к агенту уголовного розыска. Когда Жекмаки куда-нибудь приглашался работать по его главной и негласной специальности, то прежде велась довольно сложная подготовка, особенно в 1906–1909 годах. Сначала собирались почтеннейшие люди в мундирах, говорили, думали, обсуждали, решали, постановляли. Потом в соответствующем месте под руководством Алексея Ивановича выстраивали сооружение из двух столбов с перекладиной, приводили туда отмеченного судьбой и приговором человека, – и Жекмаки, надев домино и маску, приступал к привычному занятию: перекидывал веревку, обычно намыливал

ее для свободного хода, ставил человека на табурет, просовывал его шею в петлю, подтягивал, укреплял, потом слезал и ловким ударом ноги вышибал табурет. Все это кажется очень просто, а в действительности нужна большая опытность и хорошая практика, так как человек, над которым все это производится, не всегда ведет себя спокойно и с иными приходится немало повозиться. На помощников никакой серьезной надежды возлагать нельзя, потому что они помогают с крайней неохотой, только по принуждению и никакого искусства в свою работу не вкладывают, а больше стараются увильнуть от всякого участия. Не сознают люди ответственности, не чувствуют всей важности для государства быстрой и отчетливой работы по ликвидации преступности; мало того – с недостаточным уважением относятся к настоящим мастерам своего дела, каков Жекмаки, почему и приходится ему менять имя и надевать театральный костюм, в котором работать далеко не так и удобно, в особенности когда подлежащий операции человек, по малодушию или неуклюжести, сам портит дело напрасными телодвижениями, так что приходится подтягивать его весом собственного тела, пока он наконец выправится и успокоится.

Все это Алексей Иванович выполнял с большим знанием дела, нужным спокойствием, не позволяя себе вредной чувствительности. Разумеется, привык не сразу, и его первые клиенты, Корниченко Михаил и Пустовойтов Владимир (оба в один день – ноября 11-го, в день холодный), имели основания быть недовольными недостаточной отчетливостью движений исполнителя законного приговора. Зато ранее чем через год Алексей Иванович управлялся с пятерыми-шестерыми одним махом и одним духом так, что смотреть было приятно, особенно когда попадалась партия одной национальности, скажем – Войченко, Черниченко, Семенюк, Половчук или там – Вейгерман Лейба, Трейгер Кельман с братишкой Янкелем, Оренбах Абрам, а то Абдул-Меин-Седеман-Оглы, Асан-Абиль-Таар-Оглы, Абельтыре-Ибрагим-Оглы, – если только не перепутаны несколько трудные имена в тетрадочке, которую аккуратно, для счета голов, вел Алексей Иванович. В тетрадочке – шутка сказать – около трехсот имен! Есть офицеры: Глинский штабс-капитан; есть и неизвестный, так и отправившийся на тот свет неизвестным в ночь с 30 октября на 1 ноября. До чего народ упрямый! Есть, наконец, некий Херхулидзе, из-за которого и вышла большая неприятность.

А неприятность вот какая. Херхулидзе был не из революционеров (эти – народ спокойный, их и вешать просто и при-

ятно), а из бандитов. Жекмаки пришлось заняться им в Тифлисе, было их трое или пятеро, вообще – ничего особенного. Но случилось, что в Одессу был назначен начальником сыскного отделения брат этого Херхулидзе, тоже, конечно, из бывших бандитов, потому что эти люди свою среду хорошо знают и могут быть очень полезны розыску. И вот, узнав из бумаг сыскного отделения, что "исполнять" его брата выезжал в Тифлис Алексей Иванович Жекмаки, новый начальник розыска невзлюбил мирного и заслуженного работника и стал его преследовать:

– Это ты, сволочь, моего брата убил?

Жекмаки даже обиделся:

– Как так убил? Я никого не убивал, не тот человек. Я приговоры исполняю.

– Ты и меня так убьешь!

– Ежели вы заслужите и прикажут, будет и с вами то же.

Иначе Жекмаки и ответить не мог; ответил достойно, как честно правительству служащий, нужный человек.

И, однако, пришлось ему со службы уйти – очень Херхулидзе преследовал, а мог свободно и впутать его в какую-нибудь историю, так что и сам окажешься на веревочке. По сыскным делам, да еще в такое тревожное время, человека запутать ничего не стоит, потому что часто и разобраться невозможно, кто сыщик, а кто и сам бандит. И Жекмаки предпочел на время устраниться ото всяких дел и даже скрывался.

Херхулидзе между тем выслужился и был назначен на пост и ответственный, и более покойный – приставом перекопского участка, почти военным человеком и у начальства на виду. Жекмаки попробовал вернуться в сыскное, но уж на этот раз по вольному найму. Работы по специальности стало в то время меньше, кого нужно – перевешали, год подошел 1913-й, сравнительно спокойный. По вольному найму жалованья положили только 25 рублей – это человеку с такими заслугами!

Но и на эти деньги жить было бы можно, так как у каждого к сыску прикосновенного человека бывают доходы случайные, так сказать – от удачного и заботливого ведения дел. Однако Херхулидзе, человек злопамятный, решил и тут погубить "исполнителя" своего брата: дал о нем такой отзыв, по которому выходило, что правильнее всего его, Жекмаки, отправить прямым путем на каторгу.

Вот что делает злоба человеческая! Доносить дурное про заслуженную личность, собственноручно повесившую триста человек! Конечно, мог Алексей Иванович защищаться и доказывать, что никаких темных дел за ним нет и быть не

может, что служил он честно и исполнительно и ничего, кроме всеобщего уважения, не заслуживает. Но бороться с влиятельным человеком, с приставом, нечего и думать, – лучше тихонько смыться и поискать правды в другом месте. И уж где же искать правды, как не в Петербурге, как не у самых сильных людей?

И Жекмаки отправился в Петербург, прежде всего – в департамент полиции. Там люди всегда были нужны – но люди с тонким образованием, которые не ударили бы лицом в грязь в самом избранном обществе: осведомители, секретные сотрудники. Жекмаки был простой человек, без светского разговора, годный только в исполнители. И все же по первому его обращению департамент не отказал ему во временном пособии – выдал 50 рублей. Долго в столице на такую сумму не просуществуешь. Откровенно говоря, дешево ценили у нас доблестных работников! Дать 50 рублей вознаграждения – это выходит как бы по 17 копеек за голову, не считая других услуг.

Жекмаки купил лист бумаги и написал не то прошение, не то личное письмо старому начальнику, бывшему одесскому градоначальнику, а потом заседавшему в Сенате. Конечно, разница в положении между ним, отставным сыщиком – исполнителем приговоров, и блестящим сенатором – огромна; однако работали вместе, над одним делом, в полном согласии, каждый свою часть исполняя.

И нужно сказать, что бывший градоначальник не оставил вниманием старого товарища и вступился за него. Он просил весьма известного Степана Петровича Белецкого позаботиться о Жекмаки, предстательствовать за него у нового одесского градоначальника и рекомендовать ему опытного исполнителя с самой лучшей стороны.

Строки из письма Белецкого:

“N. N., принимая особое участие в судьбе Жекмаки и всячески желая помочь ему ныне в его безвыходном положении, между прочим, оттеняем то обстоятельство, что Жекмаки в смутный период 1906–1908 гг. оказывал весьма ценные услуги в деле ликвидации в Одессе судебными приговорами к высшей мере наказания, назначаемого военно-полевыми судами”.

Официальный язык обладает прекрасной способностью смягчать грубые понятия. Слово “палач” невыносимо, как и слово “убийство”; плохо звучит и “казнь” – между тем как “ликвидация приговором” и “высшая мера наказания” не оскорбляют чувствительного уха.

Но если легко смягчить понятия на бумаге, – далеко не так просто отмахнуться от живого видения. Оно заходит не

без робости и просит доложить о себе. Не принять его невозможно – как-то жутко отказать в этом человеку, удалившему из жизни триста человек. Человек оказывается потрепанным, приниженным, уважительным к начальству. Он, конечно, не осмеливается протянуть руку, исполнявшую приговоры, – он прячет ее за спиной. Но он говорит:

– Окажите милость, ваше превосходительство, не дайте погибнуть с голоду! Сколько годов сряду работал, всякое ваше приказание исполнял аккуратно. Вот, извольте посмотреть списочек, ваше превосходительство...

И он вынимает и протягивает засаленную тетрадочку, некоторым образом – дневник совместных с его превосходительством занятий. Никакой литературы – простой перечень:

“4 августа – Савочкин, Шмановский Хуна, Боржиков, Барон Сруль, Ройтман Нахман. 13 августа – Грабовский Станислав, Бойко Роман. 26 августа – Козленко Яков, Козликов Янкель, Поганасянц, Яценко Архип, Демченко Дмитрий...”

Иногда же без имен, просто: “Солдаты”, “За ограбление 14 тысяч”, “10 за побег из тюрьмы”, “8 то же”.

Он носит свою тетрадочку в кармане у сердца – как почетный послужной список. Но его превосходительство брезглив к тетрадочке и не смотрит в лицо впавшему в несчастье сослуживцу. Его превосходительство готов все сделать, оказать всяческую поддержку, только бы ушел этот странный и страшный человек, руки которого, опять спрятанные за спину, вероятно, потны и волосаты, тогда как белы и выхолены руки его превосходительства, ни разу не коснувшиеся веревки.

Он вздыхает облегченно, когда палач выходит из приемной. Следовало бы отворить окно – оздоровить воздух, отравленный грязным дыханием. Увы! – защита интересов страны сопряжена с тяжкими необходимостями! И, как это ни ужасно, приходится прибегать к услугам субъектов, так сказать, отрицательного порядка...

И он говорит секретарю:

– Пожалуйста, напишите там, чтобы этому, вот который был, оказали помощь и выдали бы на проезд... и вообще...

РОССИЯ

Требует хороший тон время от времени хоронить Россию. Я даже сделал тетрадочку, и в тетрадочке выписки и вырезки. Из собранного материала ясно, что России больше нет, а есть разоренный и зараженный сифилисом край с безнравственным населением, вымирающим от эпидемий. На полях ничто не растет, в городах ничего не потребляется, а только ходят голые люди с надписью на ленточках: "Долой стыд". Несогласных расстреливают, а самих голых людей Семашки садят в участок. Так никто и не понимает, как дальше поступать. Больше ничего нет, в том числе и водопроводов. Почту из Лиссабона в Стокгольм посылают на просмотр в Москву; делает это Савинков, нынешний глава ГПУ, издающий в Париже газету на эсперанто. И еще много интересного, но печального. Большевики совершенно бессильны, но всесильны; скоро падут, но продержатся, вероятно, долго. Народ же взволнован манифестом императора Кирилла и интервью "Вечернего Времени" с адъютантом Николая Николаевича.

Печатному слову нельзя не верить: сами пишем и печатаем. Что-нибудь да уж правда! Куда же, однако, делась Россия? Леса, реки, горы, человеки?

Под самой Москвой были такие леса, что на верхушках солнце, а небо снизу кажется черным. И у ствола деревьев зеленый полумрак и прохлада, и шепоты, и дятел долбит клювом, и белка швыряется скорлупками. Но знавал я и леса севера. Только опушки знавал; опушка — сотни верст вглубь, а самый лес идет на тысячи, где его узнаешь! Конца там лесам нет. Конца им быть не может.

И реки. По эту сторону Урала несравненная Кама и соперница ее Волга. На Каме, за Пьяным Бором (имя какое!), поворот в устье Белой, где вдоль берега буки и вязы шириной в три дружеских объятия. Под самой Пермью, помню, села на мель белуга, мужики ее кольями добивали. Везли на трех подводах. Набили белужьим мясом все колбасные города, только мясо дрянь, старое.

Кто любит на лодочке и владеет удочкой, для того с реки Белой поворот на Дёму (за Уфой, близ моста). По Ивану Сергеевичу Аксакову, поэту рыбной ловли, всей России известна. Когда вода на Дёме сбывает, вылезают со дна коряги, ночью похожие на чертей. На каждой коряге с удобством рассядется человек десять, с неудобством пятнадцать. Иных и половодье не сдвинет – совсем каменные стали. О коряги Дёма плещется, не речка – злость, не вода – мороз, не красота – душа растворенная. Это я помню с детства, может быть, преувеличил, да ведь не удержишься.

А за Уралом – Лена, Енисей. Рыба там максун и сырок. Хоть в рыбе-то вы что-нибудь понимаете?

В студенческие годы, в год дважды, переваливал я через Урал. Знаю Италию, знаю Швейцарию, знаю Черногорию, бывал в Норвегии. Но лишь потому знаю горы, что видал Урал. По Луньевской ветке катался. Швейцария – открытка, а там настоящее. Хороша Юнг-Фрау, не плохи черногорские орлиные гнезда, и Великий Камень Италии не плох. У нас же на Урале есть гора под названием Благость. Вот тут и попробуй удержаться от сердечного трепета. Это она-то умерла? Троцкий ее съел!

Кто знает – пусть степи вспоминает; кто любит – гриб боровик. Акварельный восход солнца в средней России. Светлую ночь на севере. Спелую рожь в конце июля, когда по ней ветер волну гонит. Кто музыкант – курского соловья или щегла на Трубной площади. Кто пешеход – бесконечную дорогу по российским равнинам. Кто лакомка – пчелиный рой. Кто пуглив – лесной пожар. Кто глуп – пусть думает, что все это съел большевик.

Есть еще, и были, и есть в России человеки: скиф, великоросс, хохол, татарин, грузин, мордва, армянин, чудь, черемис, киргиз-кайсак... наизусть не вспомнишь; забыл поляка, чухонца, еврея, румына, самоеда, немца-колониста; еще многих забыл. Одни молятся царю небесному, другие идолам, третьи никому. Есть в Чердынском уезде народец, у которого религии не было никакой, брака тоже; и ничего, жили. Открыт этот народец местным этнографом Б. лет двадцать назад. Возможно, конечно, что теперь там есть уже и "сознательный пролетарий", а может быть, еще и не слыхали про Русско-японскую войну, как моржи на Белом море не слыхали про Ллойд Джорджа. Но и этот народец – Россия.

Одни картавят, другие горланят, третьи говорят с пришепеткой. Москвич акает, володимирец окает, вятич чавокает. А сколько в России языков – сосчитать надо. И все же по числу говорящих на нем – русский язык второй в мире. У народов России язык великий, а корень души – один, российский, что это значит – трудно объяснить, а что это так – всякий знает. И вся она, как одно стеганое одеяло из цветных кусков, теплое, переходящее по наследству.

Нет и такой статистики, чтобы знать, сколько в России святых, дураков, крепких умниц и продувных негодяев. А большевик – это тоже наше, российское, если он не выписной товар, а народился внутри. И Сергий Радонежский наш, и Лев Толстой, и хитровский хулиган Сенька Козарь, и покойный Лобачевский, и живой профессор Павлов, и местечковый еврей. И Ленин наш, как нашим был и Малюта Скуратов, и Победоносцев, и полунемцы и полурусские господа Романовы. Нечего от них открещиваться – наша плоть от плоти и от крови кровь.

Была и есть у нас рожь, пушнина, уголь, золото, клоп, безграмотность, душа нараспашку и тонкий расчет. И прославленная литература, и музыка, и все, что угодно. Отвешено нам всего по совести, с привеской.

Все это съел большевик? Извините, поверить невозможно! Ни царям, ни писарям не по зубам.

Случилось, правда, нечто. Много народа перебито, много земли погублено, и полопалось в воздухе много мыльных пузырей, называемых идеями. Но отсюда до гибели России так далеко, что и на горизонте не видно.

В сентябре месяце накатилась вода на Петроград и затопила его. Поплыли по улицам "бревна, кровли, товар запасливой торговли, обломки бедной нищеты, грозой снесенные мосты, гробы с размытого кладбища", затопило склады, музеи, люди погибли. Такой же случай был тому назад ровно сто лет.

На глади озера вскакивают со дна и лопаются пузыри. И когда пузыри лопаются, им кажется, что озеро погибло. Когда лопнет наше маленькое бытие, здесь ли – там ли – на глади российской не отметится это ни единой морщинкой. В подвалах музеев погибли от воды драгоценные коллекции, – но жизнь ежедневно готовит будущему запасы новых, которые также погибнут при будущих наводнениях. Правда, никто и ничто не заменит матери ее погибшего сына. Но и мать, и сын, и его стон, и ее горе – не слышны в учете того, что зовем мы Россией. Как и наши мысли о ней, и наши программы, и наши планы, возмущенья, проклятья. И сами мы – поденки на Волге за час до заката.

Посадите рядышком и Зиновьева, и Кирилла на Уральский хребет: величественное зрелище! Как в латинской басне о быке и мухе: "Taurus respondit: ubi es? Nihil sentio!"[1]

* * *

Я помню в России лето, – как раз роковое лето 18-го года, когда полуварвары-полуидеалисты почувствовали себя просто властью и стали действовать. Я жил в Тульской губернии, в подлинной деревне, в маленьком домике среди старого леса.

---

[1] "Бык сказал: где ты? Я ничего не чувствую!" *(лат.)*

Ухали топоры, и вековые деревья падали со стоном. Так, зря валили лес, будто бы на срубы, на новые избы, а изб никто не ставил. Потом почти весь распилили на дрова, но и дров не успели растащить, гнили они потом, было их слишком много без надобности, а вывозить не на чем.

И было то лето удивительным! Днем горячее солнце, вечером дождик. По утрам и лес, и поля застилались ослепительным для глаз душистым паром, как в бане от березового веника, и трава лезла из земли, как бешеная, безудержно, бурно. Ни такого роста, ни такого цветенья не помню раньше. Иная цветущая головка раньше билась о коленку – теперь ударяла по лицу. В иных местах идешь в траве, как в лесу, – дороги не усмотришь. И пчелы гудели, не зная, куда деть медовое богатство. И быстро-быстро росли молодые деревца, наверстывая убыток, причиненный лесу неразумным человеком. В детстве, стараясь представить себе рай, я рисовал его таким.

С тех пор верю и знаю, что нет программы для России лучшей, чем солнце днем и теплый дождик в ночи. И что раны свои она умеет лечить без аптечных снадобий и без консультаций иноземных врачей. И что не страшны ей укусы комара или хоть бы и ядовитого овода.

И с тех пор желаю России одного: хорошего урожая хлебов и трав. Так мыслю я о России-земле, о России-народе, а не о пятнышках – городах и математических точках – людях. А не о "декрете", который солнца не заменит и не отменит, не о "комиссаре", который десять лет рубит с плеча – все же не вырубит заметной плешины в лесах вечного обновления.

Такие страны не гибнут; гибнут названия, меняются властители, перечеркиваются географические карты. Пусть плачет, кто хочет, а желающий смеется. Ту огромную землю и тот многоплеменный народ, которым я, в благодарность за рожденные чувства и за строй моих дум, за прожитое горе и радость, дал имя родины, – никак и ничем у меня отнять нельзя, ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня, – ничем, никак, никогда. Нет такой силы, и быть не может.

И когда говорят: "Россия погибла, России нет", – мне жаль говорящих. Значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфитеатром Государственной Думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, знакомым говором, полицейским участком, – не знаю еще чем, чем угодно, но не всей страной его культуры – от края до края, не всем народом – от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибло любимое, но Россия вовсе не "любимое". Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто – он, лишь с ним связанный, – лишь ему принадлежит.

И пока связан, пока зелен, пока жив – должен верить в свое родное дерево. Иначе – во что же верить? Иначе – чем же жить!

ПРАВДА ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАВДА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Два альбома с пожелтевшими газетными вырезками семьдесят лет хранились в отделе специального хранения Российской Государственной библиотеки, бывшей Ленинской. На них пометы и небольшая правка автора – Михаила Андреевича Осоргина. В 1934–1935 гг. в парижской газете "Последние новости" почти каждую неделю появлялись его рассказы. Осоргин собирал их в альбомы, мечтал опубликовать книгу старинных рассказов на родине.

Он просил о помощи Горького: "Неужели, неужели я ничего не могу издать в СССР? В течение двух лет напечатал здесь 104 (один в неделю) рассказа по историческим материалам (архивным). Все до одного могут быть напечатаны в СССР <...>. Десятка два Вы бы одобрили. <...> Вы поймете, Ал<ексей> Макс<имович>, что писателю не из самых худших (или это – самомнение?), имеющему сорокалетний стаж, невыносимо обидно совсем не быть читаемым на его родине. Или Вы находите меня враждебным СССР писателем? И совершенно ненужным? Я этого не думаю. И к шестидесяти годам жизни я подхожу с ощущением жестокой и напрасной обиды"[1].

С просьбой о содействии Осоргин обращался и к своему старому московскому другу А. С. Буткевичу: "Сим облекаю тебя правом печатать все, что захочешь из моих вещей. Я постараюсь прислать что-нибудь небольшое подходящее, вернее всего из исторических набросков, несколько стилизованных под эпоху. По ряду причин мне очень хочется что-ниб<удь> напечатать в Москве, хоть пустяк. Очень подходящи были бы именно исторические рассказы, которых у меня набралось на две книги, а здесь печатать не буду"[2].

---

[1] Из письма М. А. Осоргина к М. Горькому от 31 декабря 1935 г. // Архив М. Горького (Москва).

[2] Из письма М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 27 марта 1936 г. // ОР РГБ. Ф.599. 2.24. Л. 14.

Но все хлопоты друзей оказались напрасными, а публиковаться под псевдонимом Осоргин решительно отказался: "Под псевдонимом я не хочу печататься. А вообще говоря — к черту! Я дома не существую, очевидно, я иностранный писатель. Пусть так и будет. Теряю от этого только я, а не русская литература, которой желаю процветания"[1].

"Утекло с той поры не только много воды, но немало и крови", и только теперь книга старинных рассказов М. А. Осоргина дошла до российского читателя, для которого она писалась более пятидесяти лет тому назад.

* * *

Эмигрантом Осоргин себя не считал, жил мечтой о возвращении в Россию. По выражению Ф. Степуна, ему была чужда "эмигрантщина"[2], когда чувство личной обиды искажает перспективу, порождает ненависть.

В житейском плане жизнь была трудной. Работал во многих газетах и журналах, печатался в разных странах, в одних только парижских "Последних ведомостях" им было опубликовано более тысячи рассказов, статей, фельетонов. "Я сейчас пишу все, кроме того, что хотелось бы, — писал он Горькому, — сижу над кучами мелких газетных заметок, которые не хочется даже и подписывать. Право писать день "для души" приходится покупать месяцем работы "для дела". Впрочем — так было всегда и новости в этом нет"[3].

Хоть он и называл журналистику своим проклятием, но работы не боялся и нес свой крест с достоинством, в отличие от многих русских эмигрантов рассчитывая только на собственные силы, а не на субсидии богатых жертвователей.

27 июня 1935 г. Осоргин рассказывал А. С. Буткевичу о своих делах: "Помимо большого романа ("для души" и для книги) пишу еженедельно рассказ — уже для заработка, и это шестьдесят пять недель подряд! Печатая их в двух-трех изданиях одновременно — зарабатываю минимум для весьма скудного существования. Рассказы исключительно исторические — всю зиму провожу в библиотеках. Часть, вероятно, издам книгой — ради перевода на другие языки. А собственно по-русски писать не для кого! Для кучки забитых жизнью и судьбой людей, с

---

[1] Из письма М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 27 марта 1936 г.//ОР РГБ. Ф. 599.2.24. Л. 14.

[2] *Степун Ф.* Мысли о России // Современные записки. Париж, 1923. № 17.

[3] Из письма М. А. Осоргина к М. Горькому от 18 января 1929 г. //Архив М. Горького.

которыми у меня духовно нет ничего общего! Это очень тяжко..."[1]

Кроме "Последних новостей" Осоргин публиковал свои исторические рассказы еще в газетах "Сегодня" (Рига), "Новая заря" (Сан-Франциско), "Русский вестник" (Нью-Йорк) и других. В 1938 г. в Таллине вышла книга Осоргина "Повесть о некоей девице", включившая в себя ряд исторических рассказов, но большая их часть осталась в газетах, заставляя читателей, по выражению одного из рецензентов, сожалеть о недолговечности газетного листа[2].

Рассказывая Горькому о своих "вечных" книгах, среди которых были Библия, Свифт, "Дон Кихот", "Илиада", Данте, Марк Аврелий, "Декамерон", Осоргин писал как о любимом чтении о книгах по библиографии и фольклору. Не менее важным было для него постоянное обращение к словарям, которые он называл "орудиями писательского производства", и языковедческой литературе: "Без нее, прожив за границей 17 лет, я бы, вероятно, потерял русский язык"[3].

Осоргин понимал, что в зарубежье русская речь звучит плохо, обедняется, искажается, но он не раз повторял, что это "лишний повод не для отчаяния, а для сверхобычных усилий и сверхурочной работы"[4], для "удвоенной энергии и удесятеренного внимания"[5]. Он считал необходимым для всякого, кто берет в руки перо, глубокое знание языка, его истоков, истории, чуткости к его изменениям: "Чувство, талант, наблюдательность – все это окажется напрасным, если словарь писателя скуден и дух слов и оборотов ему чужд. <...> Если для парижского обихода не важно, когда курица клохчет, а когда кудахтает, то для литературного языка каждая утрата синонима грозит гибелью"[6].

Осоргин считал неудачным "искусственное словотворчество", которым гордился Д'Аннунцио и которое оказывалось соблазнительным и для наших соотечественников, оказавшихся на чужбине: "Как бы оно ни было удачно, оно никогда не заменит настоящего знания языка, приобретенного изучением народного говора и старых памятников сло-

---

[1] Из письма М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 27 июня 1935 г. // ОР РГБ. Ф. 599.2.24. Л. 12.

[2] *Савельев С.* // Русские записки. Париж, 1938. № 12.

[3] Из письма М. А. Осоргина к М. Горькому от 31 марта 1930 г. // Архив М. Горького.

[4] *Осоргин Мих.* О писательском ремесле // Последние новости. Париж, 1936. 3 августа. № 5610.

[5] *Осоргин Мих.* Дела литературные // Последние новости. 1928. 2 августа. № 2689.

[6] Там же.

весности"[1]. Близки ему были поиски "отличного знатока русского языка" А. М. Ремизова. Осоргин очень ценил его книгу "Россия в письменах", советовал продолжать эту работу, несмотря на "преступно малое" внимание к ней.

Языковые поиски Осоргина были толчком к созданию целого ряда рассказов. Справедливо писал критик о причине удач Осоргина: "Совершенно недостаточно щегольнуть набором старинных слов, чтобы читатель почувствовал старину или старый язык. Необходимо ощущение этих слов как живых и то проникновение в их глубину, какое дается при большой любви и восприятии языка в его живой непрерывности"[2]. Богатство языка соединялось у Осоргина с точностью и простотой, которые он считал ценнейшими качествами писателя.

"Осоргин своей простоте учился у Тургенева и Аксакова, – писал литературный критик К. М. Мочульский, – он связан с ними не только литературно, но и кровно, от них у него – пристальность взгляда, чувство родной природы, любовь к земле, верность прошлому, светлая память по давно ушедшему. Его язык – выразительный и точный – близок к народному складу. В нем есть вещественность и прямота, убеждающие нас сразу. Автор не боится показаться несовременным, напротив, он настаивает на своей старомодности..."[3] Из россыпи забытых слов Осоргин умел создать узор, поражающий своей органичностью. Как археолог, он поднимал языковой пласт, исследовал его, вдыхал в него новую жизнь. Как никто, он умел раскрыть перед читателем обаяние, прелесть старых слов, которыми "чувства выражаются сильнее, чем если писать по-нынешнему"[4].

В одном рассказе Осоргин мог соединить, переплести совершенно разные стили речи: народный говор и книжную замысловатость переписки Никона и Филарета ("Соловей") или грубую простоту объявления о поисках палача в Ярославле с кокетливой претенциозностью писем Екатерины и Вольтера ("Заплечный мастер"). И за столкновением разных пластов речи оказывались высвеченными трагические противоречия эпохи. А порой, одурманив читателя колдовской прелестью "старых речей", автор неожиданно врывался в современность. Рассказывая о тюремных мытарствах мужика, обвиненного в чародействе, Осоргин мог забыть о

---

[1] *Осоргин Мих.* О писательском ремесле // Последние новости. 1936. 3 августа. № 5610.

[2] *Савельев С.* // Русские записки. 1938. № 12.

[3] *Мочульский К. М.* // Современные записки. 1931. № 46.

[4] *Старый книгоед* <*Осоргин Мих.*>. Заметки старого книгоеда //Последние новости. 1928. 24 октября. № 2772.

свойственной ему сдержанности и заговорить о трагедии своего времени — "столь же необъяснимых покаяниях современных вредителей" ("Чародей").

Осоргин много думал о природе стилизации, осмысливал опыт своих предшественников и современников. Он писал, например, о книге А. П. Чапыгина "Гулящие люди": "Опыт воссоздания языка эпохи целиком, во всей грамматике и всем синтаксисе, вообще нельзя считать правильным художественным приемом, осторожная стилизация дает гораздо больше (это хорошо понимает Алексей Толстой). В сущности, Чапыгин переводит речь современную на старинный язык, очень ловко переводит, но вряд ли диалоги людей прошлого строились по нынешним схемам, да и мысль развивалась в головах иначе. Постоянное "зрю" вместо "вижу" эпохи не дает"[1].

У Осоргина есть рассказы, вся художественная ткань которых состояла из узора старых слов ("Выбор невесты", "Настинькина маета"). В большинстве же случаев его стилизация была, действительно, осторожной, ювелирно тонкой, но она оставалась главным инструментом при крайней экономии других художественных средств. Осоргин описывал, например, крепостницу-помещицу, считавшую неприличной букву "х" и называвшую яйца "куриными фруктами": "А каков ныне урожай куриных фруктов?" ("Чепчик набекрень"). Речевой характеристики оказывалось достаточно, чтобы создать запоминающийся образ.

Осоргин стремился избежать иллюстративности, "исторического маскарада", когда литературные герои начинают выражаться историческими фразами, теряют живое лицо. Он считал важным "не колоть читательского глаза пышностью исторического инвентаря, взятого у Забелина", не преувеличивать в красочности там, где по ходу жизни было больше "серости и тусклой грязи": "В наших старых театральных постановках это сказывалось в блеске клеенчатых сапогов и похвальной чистоте крестьянских рубах, аккуратно разглаженных перед спектаклем"[2].

Другой опасностью он считал сухость и буквоедство. Их он видел, например, в книге С. Н. Сергеева-Ценского, который, оглядываясь на авторитеты, запутывался в деталях и забывал о духе времени. "Правда историческая" оказывалась враждебной "правде художественной"[3]. Осоргин же считал, что образ, созданный воображением художника, начинает

---

[1] *Осоргин Мих.* // Последние новости. 1935. 1 августа. № 5243.

[2] Там же.

[3] *Осоргин Мих.* Невеста Пушкина // Последние новости. 1934. 27 декабря. № 5026.

жить своей собственной жизнью и может иметь не меньшее значение, чем документальный портрет. Он писал: "В сущности, прав только художник Флавицкий, изобразивший никогда не бывшую гибель никогда не существовавшей княжны Таракановой, и от созданного им образа нам никогда не отделаться. <...> Ни капли "исторической правды"! Но есть правда художника: такою он представлял себе княжну Тараканову. И конечно, его правда пересиливает, потому что сказка имеет свои права, а именно – право на сказку жизни отстаивала знаменитая самозванка" ("Княжна Тараканова").

Для самого Осоргина было характерно пристальное внимание к историческому факту, и бóльшая часть его рассказов имеют прочную документальную основу. Зимой 1934/35 г. Осоргин особенно много работал в библиотеках Парижа. Жена писателя Т. А. Бакунина-Осоргина вспоминала, как он сидел целыми днями обложенный толстыми фолиантами, а потом сразу – "вдруг" – рождался очередной рассказ. Сам он, с юмором говоря о своих поисках, о цепи "архив – журнал – исследователь", припоминал библейское изречение: "Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели кузнечики и оставшееся от кузнечиков доели мошки". Для Осоргина толчком в работе мог стать намек, весьма туманный документ, а дальше наступал черед воображения – "о многих иных подробностях в документах ничего не имеется, прибавлено же это по усердию написателя этих строк". Но мастерство писателя было таково, что грань между документом и фантазией не сразу определит и профессиональный историк.

Рецензенты много спорили о стиле Осоргина, в котором видели "задорность" (Г. Адамович[1]) или "стыдливость и гордость" (В. Жаботинский[2]), говорили о его масках – "маске наивного рассказчика", "маске равнодушия". В. Жаботинский писал, например, о рассказе "Волосочес": "Потрясающая, беспримерная история неслыханного мучительства, но она передана таким тоном, как будто речь идет о невинном курьезе, и ни разу <...> не выдал себя автор, – не признался ни прямо, ни намеком, ни усмешкой, что рассказывает он ужасное и сам это знает, для этого и рассказывает. По-видимому, "маска" тут принадлежит к самому костяку художественной натуры; критиковать эту черту бесполезно... Словно протянута тебе навстречу горячая, нервная, порывистая рука, пожатие которой могло бы тебя омагнитить, – но на руке перчатка, и ни за что он перчатки не снимет"[3].

---

[1] *Адамович Г. В.* // Современные записки. 1930. № 50.
[2] *Жаботинский В.* //Последние новости. 1937. 11 февраля. № 5802.
[3] Там же.

Осоргин никогда не был равнодушным, но его историческим рассказам действительно не свойственна открытая эмоциональность. Лишь иронию (более точным здесь будет русское слово лукавство) почувствует в них читатель. Повествователь у Осоргина отдален от изображаемого мира, не сливается с литературными героями, хоть и отказывается от суда над ними с точки зрения современных представлений: "И хотя всякому человеку ясно, что лукавый подлинно квартировал во чреве девки Ирины, оттуда разговаривал и ругался и вышел оттуда же во образе курицы, однако сама Ирина, после первой дыбы, муки той не вынеся, заявила, что ничего такого не было, никто ее не научал, а притворилась она по девичьей глупости и озорству. <...> Что девушка отреклась от чистой видимости – никто ее, замученную, в том не осудит" ("Проделка лукавого").

Говоря об исторических миниатюрах как "излюбленном чтении читательской элиты", Осоргин вспоминал малоизвестного у нас французского историка Ленотра, которого считал "непревзойденным, изумительным мастером по переоценке личностей": "В признанном герое он показывает облик рядового человека, в незаметном историческом деятеле открывает героические черты"[1]. Такого рода опыты казались привлекательными и Осоргину, всегда искавшему для своих этюдов неожиданный ракурс. Властители, спустившиеся с трона, чудаки, неудачники, просто маленькие, "забытые" люди – вот кто прежде всего попадал в поле зрения Осоргина.

Некоторые из старинных рассказов внутренне связаны с циклом "Заметки старого книгоеда" (1928–1934). Их герои – вполне реальные фигуры: переводчик С. С. Волчков, "служитель семи царствований", всю жизнь остававшийся беднейшим литературным поденщиком; помещик екатерининских времен Н. Е. Струйский, в характере которого сплелись увлечение книжным делом и самодурство; провинциальный поэт Праволамский, пьяница и вечный скиталец. Осоргин создает целую портретную галерею "великих" и "замечательных" чудаков – тут и "любитель смерти", и тайный советник, нашедший истинное призвание в зубоврачестве, и правдоискатель, перепоровший всех взяточников в городе, и генерал от инфантерии, столь суеверный, что всех встреченных утром священнослужителей сажал под арест, и девятнадцатилетний чиновник, решивший обратить на себя внимание поджогом Сената, и экспедитор тайной кан-

[1] *Ос. Мих. <Осоргин Мих.>* Женские портреты // Последние новости. 1937. 4 февраля. № 5795.

целярии, перлюстрировавший переписку революционеров и незаметно им помогавший.

Но только на первый взгляд может показаться, что внимание Осоргина привлекали не слишком важные события и герои, что перед нами – история курьезов. За жестокими картинами крепостничества, унижения человеческого достоинства, через которое прошли поколения русских людей, стояли размышления об истоках духовного рабства – плена, в который попали многие наши соотечественники в двадцатом веке, хоть "нынешний раб не так заметен".

Осоргин собрал целую коллекцию разного рода суеверий, и эта тема тоже оказалась вечной. И сейчас безнадежность часто толкает человека не к нравственным поискам, не на трудный путь построения храма в душе, а к увлечению современными любостаями и фармазонами, которые, впрочем, зовутся теперь иначе. Осоргин прослеживает, как легко может возникнуть культ, как немного надо, чтобы поверили шарлатану: "Чтобы стать вождем и диктатором, нужно быть несколько умнее рядовых дураков, обещать им рай земной и небесный и играть на их грубых рабских чувствах, как на вишневой дудочке" ("Кузька-бог").

И еще одна постоянная тема Осоргина – воспоминания о России, раздумья о ее судьбе. Можно только позавидовать его упоенной влюбленности в родные места, его восхищению природой, языком, самобытным характером русского человека: "Мы говорим здесь лишь о себе, не желая впутывать иностранцев; дело в том, что в одной только дельте нашей реки Лены в пору разлива с удобством тонет любое европейское государство, обычно без остатка, и только от некоторых остаются рожки и ножки. Так что разговор о реке – наше дело семейное" ("Конец Ваньки-Каина"). Или: "Соловьиное пенье – дело русское; иностранцы ничего о нем толком не знают, у них даже и нет соловьиной науки. И рассказать им про нее невозможно, потому что у них нет подходящих слов. Никакой переводчик не переведет на иностранный язык всех тонкостей переводов (колен) соловьиного пенья: пульканье, клокотанье, раскат, плёнканье, дробь, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня, почин, оттолчка..." ("Соловей"). Нет уже у нас соловьиной науки. И сами мы не становимся ли иностранцами в своей стране, нуждающимися в переводе, когда речь идет о природе? Уже в начале 1930-х гг. Осоргин видел приближение времен, когда будут "устранены мешающие движению и оскорбляющие глаз реки, ручьи, родники", когда исчезнут "бесполезные фиалки", и пытался предостеречь своих соотечественников. Но его голос не был услышан, так

же как и многие другие голоса. Наши дети еще долгие годы будут пожинать плоды этой глухоты.

Осоргин писал о книге: “Я даже готов настаивать на том, что она и есть живое существо, или, точнее, то живое, совсем живое, что остается от ушедших в историю и вечность”.

Книги Осоргина пережили их владельца. После войны выяснилось, что его исчезнувший архив оказался в Советском Союзе, большую его часть передали тогда в Центральный государственный архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ). Некоторые книги и самодельный альбом с историческими рассказами поступили в спецхран главной библиотеки страны. Произошло их физическое возвращение, духовное же еще впереди.

О. Ю. АВДЕЕВА

КОММЕНТАРИИ

Все исторические рассказы М. А. Осоргина, собранные в этом томе, вместе издаются впервые. Часть рассказов печатается по книге: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице. Таллин, 1938, часть – по газете *“Последние новости”* (Париж). Вырезки из этой газеты Осоргин собрал в два альбома, ныне находящиеся в отделе специального хранения Российской Государственной библиотеки. При подготовке текста учтена правка Осоргина, имеющаяся в альбомах. Особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены, исправлены лишь явные типографские опечатки.

СОЛОВЕЙ

В п е р в ы е: Последние новости. Париж. 1934. 9 марта. № 4733. Опубликовано также: Сегодня. <Рига>. 1934. 10 марта. № 69; Новая заря. Сан-Франциско. 1934. 31 марта. № 1336;и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *9. ...судьбу патриарха Никона.* – Никон (Никита Минов; 1605–1681) – русский патриарх с 1652 г., реформатор Русской Православной Церкви.

...Никоном построенный Иверский монастырь – Иверский Богородицкий Святозерский мужской монастырь. Основан в 1653 г.

И колокольчик, дар Валдая... – строки из стихотворения Федора Николаевича Глинки (1786–1880) “Тройка” (1825).

С. *10. ... ”Ке-се-ке-се-кеса?”* – “Qu’est ce gue c’est ça?” – “Что это такое?” (*фр.*)

С. *11. ...искусился сшибить незваную гостью орарем...* – Орарь – часть дьяконского облачения, длинная полоса на левом плече из парчовой или другой ткани.

С. *13. ...великий господин патриарх <...> заточен в Ферапонтов монастырь.* – В 1658 г. Никон оставил патриаршество, в 1666 г. собор снял с него сан патриарха, после чего Никон был сослан.

ВЫБОР НЕВЕСТЫ

В п е р в ы е: Сегодня. 1934. 30 декабря. № 360. С подзаголовком: По старым документам. Опубликовано также: Последние но-

вости. 1934. 31 декабря. № 5030; и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин. 1938.

С. *15. Овдовел царь...* – Первой женой царя Алексея Михайловича была Мария Ильинична Милославская (1625–1669), боярская дочь; от этого брака (1648) родились будущие цари Федор и Иоанн.

...Кирилловой дочери Нарышкина Натальи... – Наталья Кирилловна Нарышкина (1651–1694), воспитывалась в семье А. С. Матвеева; мать первого российского императора Петра I.

...у боярина Артамона Сергеевича Матвеева... – А. С. Матвеев (1625–1682) – боярин, дипломат, приближенный царя Алексея Михайловича, с 1671 г. руководил русской дипломатией, после смерти царя был в опале; убит стрельцами.

...боярин Богдан Хитрово. – Богдан Матвеевич Хитрово (ок. 1615–1680), ближний боярин и дворецкий Алексея Михайловича.

С. 16. ...Ушаков. – Симон Федорович Ушаков (1626–1686) – русский иконописец, гравер.

С. *19. ...стала Наталья Нарышкина русской царицей...* – Это произошло в 1671 г.

АВВАКУМ

Впервые: Сегодня. 1935. 4 августа. № 213. С подзаголовком: Рассказ по житию и творениям. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 5 августа. № 5247;и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин. 1938.

С. *19. ...протопоп Аввакум* Петрович (1620–1682) – глава старообрядчества, идеолог раскола в Православной Церкви, писатель.

С молодой женой Настасьей Марковной... – Настасья Марковна (1624–1710) была дочерью богатого купца; вышла замуж за Аввакума в четырнадцать лет. После смерти Аввакума жила в Холмогорах, затем в Москве.

...с рожденным сыном... – Старший сын Аввакума родился в 1644 г.

С. 22. ...до Филиппова поста... – Филиппов пост – Рождественский.

С. *24. ...сожжен был в срубе мученик Аввакум...* – Это было совершено по приказанию царя Федора Алексеевича.

СКАЗАНИЕ О ТАБАШНОМ ЗЕЛЬЕ

Впервые: Последние новости. 1934. 26 ноября. № 4995; Сегодня. С подзаголовком: По архивным данным. 1934. 26 ноября. № 327.

С. *24. ...испанец Франциско де Толедо* – с 1566 г. вице-король Перу. В 1581 г. вернулся в Испанию, где был заключен в тюрьму; умер в заточении.

...Жана Нико... – Жан Нико де Вильмен (1530–1600) – французский дипломат и ученый. Во время пребывания в Португалии

научился разведению табака и перевез это растение во Францию. В честь Нико ботаники назвали табак именем “никотиана”.

...*Ричард Ченслер* (ум. 1556) – английский мореплаватель, положивший начало торговле России с Англией. Оставил записки о Московском государстве.

С. *25. ...до дней Михайлы Федоровича.*– Михаил Федорович (1596–1645) – первый русский царь из династии Романовых (с 1613 г.).

С. *27. ... – Дас ист штаркер...* – Das ist starker – крепкий (*нем.*).

...Чехов – лекцию “О вреде табака”... – Имеется в виду: *Чехов А. П.* О вреде табака: Сцена-монолог (1886) или *Чехов А. П.* О вреде табака: Сцена-монолог в одном действии (1903).

...Ремизов – заветный сказ “Что есть табак?” – В кн.: *Ремизов А. М.* Заветные сказы. Царь Додон. Что есть табак. Чудесный урожай. Султанский финик. Пг.: Алконост, 1920.

...духоборцы <...> штундисты <...> молокане <...> постники <...> беспоповцы <...> белопоповцы <...> бегуны <...> скопцы <...> имебожники <...> непокорники <...> чемреки <...> ветвь Старого Израиля <...> баптисты – религиозные течения (см.: *Сахаров Ф.* Литература истории и обличения русского раскола: Систематический указатель книг. Вып. 1–3. Тамбов; СПб., 1887–1900).

СОЖЖЕННЫЙ ДЬЯЧОК

Впервые: Последние новости. 1934. 27 марта. № 4751; Сегодня. 1934. 27 марта. № 86. С подзаголовком: По старым русским синодским документам. Опубликовано также: Новая заря. Сан-Франциско. 1934. 20 апреля. № 1348;и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице. Старинные рассказы. Таллин, 1938.

ИСТОРИЯ ТРЕХ КАЛАЧИКОВ

Впервые: Сегодня. 1935. 23 июня. № 172 (под названием “Банный лист”). С подзаголовком: Рассказ по старым документам. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 24 июня. № 5205.

С. *35. ...генерал-прокурор Ягужинский* Павел Иванович (1683–1736) – граф, русский государственный деятель, дипломат, сподвижник Петра I.

С. *37. ... – До чего мы дожили, о, россияне...* – слова из речи Феофана Прокоповича на погребении Петра I.

ПРОДЕЛКА ЛУКАВОГО

Впервые: Последние новости. 1934. 6 августа. № 4883. Опубликовано в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин. 1938.

С. *42. ...фузей* (фузея) – ружье (*старин.*).

КАРЛИЦА КАТЬКА

В п е р в ы е: Сегодня. 1935. 30 июня. № 178. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 1 июля. № 5212; и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *44. ...Балакирева...* – Иван Алексеевич Балакирев (род. 1699) – доверенный слуга Петра I и Екатерины I. При императрице Анне Иоанновне был ее официальным шутом, после ее кончины (1740) уволен со службы.

...Лакосту... – Лакоста (Ян д'Акоста) был привезен в Россию из Гамбурга. Петр I любил вступать с ним в богословские споры, за усердную шутовскую службу пожаловал ему титул "самоедского короля" и подарил один из безлюдных островов Финского залива.

...Голицын Михаил Алексеевич (1697–1775) – имел прозвище Квасник.

...Пьетра Миро... – Пьетро Мира (Педрилло) – неаполитанец, прибыл в Петербург в начале царствования Анны Иоанновны; любимец императрицы, ее постоянный карточный партнер. После ее смерти вернулся на родину.

С. *47. ...Еще была у государыни любимая калмычка...* – Имеется в виду Евдокия Ивановна Буженинова (ум. в 1742 г.).

Свадьба эта была знаменита... – Свадьба состоялась 6 февраля 1740 г.

...автор "Ледяного дома" – Иван Иванович Лажечников (1792–1869).

ИМПЕРАТОР

В п е р в ы е: Сегодня. 1935. 14 апреля. № 104 (под названием "Иоанн Антонович"). Опубликовано также: Последние новости. 1935. 15 апреля. № 5135.

С. *49. ...Караваком...* – Луи Карвак (конец XVII – 1754) – французский живописец, работавший с 1716 г. в России.

...Тарсием... – Тарсиа Бартоломео (ум. 1765) – художник-декоратор из Венеции, работавший в Петербурге при Петре I; после его кончины вернулся в Италию, но в 1735 г. вновь приехал в Петербург.

С. *52. ...Анна Леопольдовна* (1718–1746) – с 1739 г. была замужем за принцем Брауншвейгским. Являлась фактической правительницей страны в 1740–1741 гг. при малолетнем сыне – императоре Иване Антоновиче, правнуке царя Алексея Михайловича. Свергнута в ноябре 1741 г.

БРАУНШВЕЙГСКОЕ СЕМЕЙСТВО

В п е р в ы е: Последние новости. 1935. 9 сентября. № 5282.

С. *54. ...барон Николай Андреевич Корф* (1710–1766) – действительный камергер, значительно выдвинулся в царствование Елизаветы Петровны благодаря своей жене; впоследствии генерал-аншеф, сенатор.

С. *58. ...А. П. Мельгунов...* – Алексей Петрович Мельгунов (1722–1788), ярославский и вологодский генерал-губернатор.

МОНСТРЫ

Впервые: Последние новости. 1934. 16 июля. № 4862. Опубликовано также в одном из французских медицинских журналов и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице, Таллин. 1938.

С. *61. ...с профессором Гмелиным...* – Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) – натуралист, академик Петербургской Академии наук. В 1733–1743 гг. путешествовал по Сибири.

С. 62. *...зернь* – игра в кости, распространенная в XVI–XVII вв.

ШИНКАРКА РОЗУМИХА

Впервые: Русский вестник. Нью-Йорк. 1934. Декабрь. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 4 февраля. № 5065; Сегодня. 1935. 3 февраля. № 34. С подзаголовком: Старинный рассказ; и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *65. ...Кирилла, Розумихиного сына...* – Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803) – с 1744 г. граф; гетман Украины, генерал-фельдмаршал, президент Петербургской Академии наук.

...Алексей Григорьевич Разумовский (1709–1771) – граф, генерал-фельдмаршал. С 1742 г. – морганатический супруг императрицы Елизаветы Петровны.

САМОБЕГЛАЯ КОЛЯСКА

Впервые: Последние новости. 1934. 4 июня. № 4820; Сегодня. 1934. 4 июня. № 153. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Рассказ вошел в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

ТАЙНА СЛУЖКИ

Впервые: Последние новости. 1934. 10 июня. № 4826; Сегодня. 1934. 10 июня. № 159. Вошло в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *75. ... Царевоконстантинова монастыря...* – Царевоконстантинов-Еленовский мужской монастырь существовал с XIII в., в

1764 г. из-за ветхости построек был переведен в Волосов-Николаевский монастырь.

С. *80. ... слов Исаака Сирского...* – Исаак Сирский – один из Отцов Церкви (VII в.). Оставив кафедру епископа в Ниневии, отдался аскетическим подвигам и ученым трудам (см.: Иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина Слова Подвижнические. М., 1854. Сл. 15. С. 75).

КАЗНЬ ТЕТРАДКИ

Впервые: Последние новости. 1934. 22 июня. № 4838; Сегодня. 24 июня. № 172. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным.

С. *81. ... по Четьим Минеям.* – Четьи Минеи – церковные книги для ежедневного чтения, содержащие жизнеописания святых в порядке празднования их памяти на каждый день года.

... с супругой Юнонией... – Юнония – в римской мифологии богиня брака, материнства.

ЧАРОДЕЙ

Впервые: Последние новости. 1934. 29 октября. № 4967.

С. *85. ... (кличку придумал Помяловский)...* – Николай Герасимович Помяловский (1835–1863), русский писатель.

"ПРЕД ВСЕМИ БЕДНЫЙ"

Впервые: Последние новости. 1934. 27 февраля. № 4723.

Источником рассказа послужило донесение о масонах, опубликованное Н. С. Тихонравовым в кн.: Летописи русской литературы и древностей. Т. IV. М. 1862. С. 49–52.

С. *91... Михайла Алсуфьев...* – Михаил Матвеевич Олсуфьев (1733–1801) в описываемое время (1756) был корнетом Конной гвардии, впоследствии дослужился до чина статского советника.

...через Тайную канцелярию... – Тайная розыскных дел канцелярия, высший орган политического сыска в России в 1731–1762 гг.

...тайной франмасонской секты... – Орден вольных каменщиков (франк-масонов) получил распространение в России с 1741 г. Ложа, о которой идет речь в рассказе, относилась к так называемому масонству французской системы, в которой рыцарская обрядность доминировала над первоначальными, духовно-нравственными поисками масонов.

...Роман Илларионович Воронцов (1707–1783) – граф, в 1756 г. генерал-поручик, впоследствии генерал-аншеф, сенатор, наместник владимирский, пензенский и тамбовский; был руководителем масонской ложи, о которой идет речь.

...Александра Сумароков... – Александр Петрович Сумароков (1718–1777), драматург, с 1756 г. был директором российского театра, впоследствии дослужился до чина действительного статского советника.

...капитан Милисино... – Петр Иванович Мелиссино (1726–1797), впоследствии генерал от артиллерии, начальник всей артиллерии в России, основатель новой масонской системы.

...два-три лица княжеских фамилий. – В ложу входили князья: Голицыны, Дашков, Мещерский, Трубецкой и Щербатов.

С. *92. ...от профанов двери ложи на запоре...* – Масоны запрещали посещать свои собрания непосвященным – профанам.

...братья были уже в сборе. – Масоны традиционно называли друг друга братьями.

С. *93. ...черная палата со всякими страстями* – так называемая черная храмина, в которой будущий масон должен был внутренне подготовиться к посвящению в братство.

...грудь ему проколовши циркулем... – Здесь дается описание посвящения в Орден вольных каменщиков, которое символизировало стремление преодолеть все трудности на пути познания. Циркуль, один из основополагающих масонских символов, должен был напоминать о том, что вольный каменщик обязан всегда "размерять" свои поступки.

...у гранметра. – Гранметр – великий мастер, руководитель масонской ложи, в данном случае Р. И. Воронцов.

С. 94. *...родственник его сиятельства Александра Ивановича Шувалова...* – Граф А. И. Шувалов (1710–1771) в 1746–1763 гг. был начальником Тайной канцелярии; двоюродный брат Ивана Ивановича Шувалова (1727–1797), генерал-адъютанта, фаворита Елизаветы Петровны и члена ложи Р. И. Воронцова. Именно имя И. И. Шувалова было "опущено" в списке масонов, предоставленном Михайлой Олсуфьевым.

...Пеле – танцмейстер в Сухопутном кадетском корпусе.

ПЕРЕВОДЧИК

Впервые: Последние новости. 1935. 28 января. № 5058.

С. *96*. – *Марка Аврелия Антонина...* – Книга "Житие и дела Марка Аврелия Антонина" в переводе С. С. Волчкова была издана в 1740 г.

...академический переводчик Сергей Саввич Волчков (1707–1773) – директор сенатской типографии, до того штатный переводчик.

... "Флориновой Экономии"... – "Флоринова Экономия", руководство по экономике и ведению хозяйства, была опубликована в 1739 г.

С. *97. ...перевел книгу о "Совершенном Воспитании"...* – Речь идет о переводе книги Ж.-Б. Бельгарда "Совершенное Воспитание детей", который вышел в свет в 1747 г.

...Василий Кириллович Тредиаковский (1703–1768) – русский поэт, филолог, академик Петербургской Академии наук. В. К. Тредиаковский дал положительный отзыв о переводе "Флориновой Экономии", но подверг критике другие переводы С. С. Волчкова – "Вояжиров лексикон" и "Историю славных мужей Плутарха".

... "Генеральную Историю Гильмара Кураса"... – Перевод "Введения в Генеральную Историю" вышел в 1747 г.

... "Экстракт Савариева Лексикона о Коммерции"... – Этот перевод труда Ж. Савари был сделан С. С. Волчковым по заказу Б. Г. Юсупова и увидел свет в 1747 г.

... "Грациан, Придворный Человек" – нравоучительное сочинение Б. Грасиана-и-Моралеса "Придворный Человек" вышло в переводе С. С. Волчкова в 1741 г.

...188 басен Эзоповых... – Перевод С. С. Волчкова "Эзоповых басен с нравоучениями и примечаниями Рожера Летранжа", вышедший в 1747 г., пользовался успехом у читателей.

... "Книга Язык" Л. Борделона – была издана в переводе С. С. Волчкова в 1761 г.

С. *99. ... "Истинный Христианин и Честный Человек"* – книга под таким названием Ж.-Б. Бельгарда в переводе С. С. Волчкова была опубликована в 1762 г.

С. *100. ...Алексей Орлов* – Алексей Григорьевич Орлов (1737–1807), один из главных участников переворота 1762 г., вслед за этим возведенный в графское достоинство, а в 1769 г. произведенный в генерал-аншефы.

С. *101. ...пробуя старческие силы в переводе Михайлы Монтания...* – Неполный перевод "Опытов" М. Монтеня был напечатан в Сенатской типографии в 1762 г.

...отдыхая за изложением "Христианина в Уединении"... – Это сочинение М. Крюго увидело свет в переводе С. С. Волчкова в 1769 г. Позднее переведенные С. С. Волчковым книги Ж.-Б. Бельгарда и М. Крюго были переизданы Н. И. Новиковым.

РАССКАЗЫ БЕСХИТРОСТНОГО

Впервые: Последние новости. 1935. 3 июня. № 5184.

С. *101. ...автобиография, напечатанная <...> в "Русской Старине", изданная после отдельно и вновь переизданная советской "Академией"...* – Речь идет о произведении "Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков" (СПб., 1870–1873. Ч. 1–4).

С. *103. ...Служа адъютантом Корфа при Петре III...* – Болотов являлся флигель-адъютантом петербургского генерал-полицмейстера Н. А. Корфа с января 1762 г.

С. *104. ...уклонился от участия в заговоре Орлова...* – Болотов прибыл в Петербург 24 марта 1762 г. Попытки вовлечь его в заговор Григория Григорьевича Орлова (1734–1783), фаворита Екате-

рины II, впоследствии генерал-фельдцейхмейстера, не увенчались успехом; Болотов 14 июня 1762 г. вышел в отставку.

...тяжкая кара Екатерины обрушилась на голову его друга <...> Новикова. – Николай Иванович Новиков (1744–1818) был по приказу императрицы заключен в Шлиссельбургскую крепость.

С. *104–105. ...многие печатно отрекались от всякой прикосновенности к масонству <...> (например – Лубяновский).* – Федор Петрович Лубяновский (1777–1869), сенатор, действительный тайный советник.

С. 105. ...Петру III (баловавшемуся масонством...) ... – Император Петр III вступил в масонский орден за границей и был членом ложи в Ораниенбауме.

Он служил в канцелярии масона генерала Корфа... – Николай Андреевич Корф был членом ложи во Франкфурте.

...масоном был не только его сын Павел, но и <...> его внук – Алексей. – Павел Андреевич Болотов (1771–1850), коллежский асессор, помещик, член московских лож Нептуна, Гермеса и Ищущих манны; Алексей Павлович Болотов (1803–1853), профессор Военной академии, член ложи Ищущих манны.

...в голубом иоанновском масонстве – то есть масонстве первых трех степеней, покровителем которых являлся Святой Иоанн Креститель.

С. 106. ...ярым крепостником был <...> Поздеев... – Иосиф Алексеевич Поздеев (1746–1820), бывший начальник канцелярии московского градоначальника, член 12 лож, духовный руководитель масонов начала XIX столетия.

...Бенкендорф и Муравьев Вешатель! – Александр Христофорович Бенкендорф (1783–1844) был членом петербургской ложи Соединенных друзей. Сведения о масонстве Михаила Николаевича Муравьева (1796–1866) не подтверждаются.

КОНЕЦ ВАНЬКИ-КАИНА

Впервые: Последние новости. 1934. 17 декабря. № 5016.

Опубликовано также в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин. 1938. Этой же теме посвящен другой рассказ М. А. Осоргина: Жизнь Ваньки-Каина (см.: *Осоргин М. А.* Записки старого книгоеда. М., 1989).

С. *106. ...князя М. М. Щербатова...* – Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790), историк, публицист, общественный деятель, сенатор.

МУЖСКАЯ ВЕРНОСТЬ

Впервые: Сегодня. 1934. 4 марта. № 63. Опубликовано также: Новая заря. 1934. 27 марта.

С. *114. ...графы Иван, Алексей и Федор Орловы...* – Алексей Григорьевич Орлов (1737–1807/08), генерал-аншеф; Федор Григорь-

евич Орлов (1741–1796), генерал-аншеф, генерал-прокурор Сената; Иван Григорьевич Орлов – их брат.

...Дмитрий Волков – Дмитрий Васильевич Волков (1727–1785), генерал-полицмейстер в Петербурге.

...Лев Александрович Нарышкин (1733–1799) – генерал-поручик, управляющий придворной конторой.

С. *115. ...вспоминает его С. Н. Глинка...* – Сергей Николаевич Глинка (1775 или 1776–1847), брат декабриста Ф. Н. Глинки, писатель. Его "Записки" опубликованы в Петербурге в 1895 г.

А другой пример <...> находим в "Записной книжке" П. Вяземского... – Петр Андреевич Вяземский (1792–1878), поэт, критик, академик. Наиболее полное издание его "Старой записной книжки" см.: *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. VIII–X. СПб., 1880–1886.

БРАК ГЕНЕРАЛИССИМУСА

Впервые: Сегодня. 1935. 25 августа. № 234 (под названием "Брак генералиссимуса Суворова". С подзаголовком: Рассказ по архивным данным). Опубликовано также: Последние новости. 1935. 26 августа. № 5268.

С. *117. ...князя Ивана Андреевича Прозоровского дочь...* – И. А. Прозоровский (ум. 1791), генерал-поручик, генерал-аншеф.

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

Впервые: Последние новости. 1934. 22 апреля. № 4777. Опубликовано также: Сегодня. 1934. 24 апреля. № 113;и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице. Старинные рассказы. Таллин. 1938.

С. *122. ...Фарнейский пустынник...* – С 1758 г. Вольтер поселился в имении Ферне, на границе Франции и Швейцарии.

Ее Наказом... – В 1767 г. Екатерина II написала политический трактат "Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения", составленный на основе произведений французских энциклопедистов.

...Дидероте... – Дени Дидро (1713–1784) в 1773–1774 гг. по приглашению Екатерины II посетил Россию, жил в Петербурге, написал "Замечания на Наказ ее императорского величества депутатам Комиссии по составлению законов" (1774).

С. *123. ...Романов* – город в Ярославской губернии, с 1918 г. – Тутаев.

...Пошехонье – город в Ярославской губернии.

С. *124. ...Вольтер – Екатерине...* – Переписка Вольтера и Екатерины II на французском языке издана в 1785 г.; 1-е изд. на русском см.: Философская и политическая переписка 1763–1778 годов. СПб., 1803.

...*Минерва* – римская богиня, покровительница ремесел.

...*Церера* – древняя италийская богиня произрастания растений и подземного мира.

ШАХМАТНЫЙ БОЛВАН

Впервые: Последние новости. 1934. 27 августа. № 4904; Сегодня. 1934. 27 августа. № 236. Рассказ вошел также в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *127. ...в эпоху первого раздела Польши...* – Петербургскими конверсиями 1770–1790 гг. территория Речи Посполитой была разделена между Россией, Пруссией и Австрией (первый раздел – 1772 г.).

С. *128. ...тавлея* – шашечница (*старин.*).

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Впервые: Последние новости. 1936. 3 февраля. № 5429.

С. *137. ...картиной Флавицкого...* – Художник Константин Дмитриевич Флавицкий (1830–1866) – в 1864 г. за картину "Княжна Тараканова в темнице во время наводнения" был удостоен звания профессора живописи.

ТРИ ГОЛОВЫ

Впервые: Последние новости. 1936. 10 февраля. № 5436.

С. *138. ...княгиню Дашкову...* – Екатерина Романовна Дашкова (1744–1810), дочь Р. И. Воронцова, в 1783–1796 гг. была директором Петербургской Академии наук и президентом Российской Академии; автор интересных воспоминаний.

...камергера Виллима Ивановича Монса... – Виллим Иванович Монс, правитель Вотчинной канцелярии Екатерины I. Казнен в 1724 г.

ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ

Впервые: Сегодня. 1935. 11 августа. № 220 (под названием "Из истории Медного всадника"). Опубликовано также: Последние новости. 1935. 12 августа. № 5254.

С. *143. ...Фальконет.* – Этьен Морис Фальконе (1716–1791), французский скульптор, работал в 1766–1778 гг. в Петербурге; создатель памятника Петру I.

С. *144. ...Колло* Мария Анна (1748–1821) – французская художница и скульптор, ученица Фальконе.

С. *145. ...сельский дьячок Тимофей Красноперцев...* – Впервые курьезный случай с ним был описан в книге: Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государственных и

замечательных людей XVIII и XIX столетий. СПб., 1885. С. 299–301.

НОСОВЫЕ ХРЯЩИ

Впервые: Последние новости. 1934. 19 марта. № 4743.

С. *149. ...петиметров.* – Петиметр (от французского petit-maître) – щеголь, франт, вертопрах.

С. *150. ...закладка из флеру* – то есть из прозрачной, преимущественно шелковой ткани.

С. *151. ...– Бон-бон!* – Конфету! (*фр.* bonbon)

В ПОДМОСКОВНОМ

Впервые: Последние новости. 1935. 7 января. № 5037.

С. *154. ...проклятый временщик Бирон* – Эрнст Иоганн Бирон (1690–1772), граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курляндский.

С. *156. ...фам-де-менаж* (*фр.* femme de ménage) – приходящая домработница.

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ

Впервые: Последние новости. 1935. 7 октября. № 5310.

С. *157. ...Александра Васильевича Храповицкого...* – А. В. Храповицкий (1749–1801) – сенатор, статс-секретарь Екатерины II, затем генерал-аншеф; писатель.

С. *159. ...к ложе Александра Ильича Бибикова...* – А. И. Бибиков (1729–1774), маршал Уложенной комиссии, дипломат, генерал-аншеф, сенатор, переводчик; название ложи, возглавлявшейся им, неизвестно. А. В. Храповицкий посещал еще четыре масонские ложи.

С. *160. ...Марья Саввишна Перекусихина* (1739–1824) – камер-юнгфрау императрицы.

...жизнь Кориолана... – По древнеримской легенде, Кориолан – патриций и полководец V в. до н. э.

С. *161. ...в его дневник, озаглавленный "Памятные записки".* – "Памятные записки" А. В. Храповицкого были изданы в Москве в 1862 г.; репринтно переизданы в 1990 г.

...Уранова – сценический псевдоним Елизаветы Семеновны Федоровой (1772 или 1777–1826), певица-сопрано, с 1791 г. – Сандунова.

...Сандунов (Зандукели) Сила Николаевич (1756–1820) – артист, на сцене с 1776 г.

...Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) – дипломат, светлейший князь, с 1775 г. секретарь Екатерины II, фактически руководил русской внешней политикой, с 1797 г. канцлер.

С. *162. ...его и Соймонова на этом посту сменил Юсупов.* – Князь Николай Борисович Юсупов (1750–1831) стал директором театров в 1791 г., впоследствии министр удельного департамента, член Государственного совета. Историю с Сандуновым см. в "Памятных записках" А. В. Храповицкого (с. 236 и далее). Она послужила сюжетом для пьесы П. Н. Арапова "Лизанька" (СПб., 1858).

ПАРНАС ПОМЕЩИКА СТРУЙСКОГО

Впервые: Последние новости. 1934. 18 февраля. № 4714.

С. *162. ...Николаю Еремеевичу Струйскому...* – Н. Е. Струйский скончался в 1796 г.

С. *163. ...майковский перевод...* – Василий Иванович Майков (1728–1778), поэт, сатирик, драматург, переводчик.

...до двадцати книг, им написанных... – Н. Е. Струйский издал 32 книги.

С. 164. ...известные граверы и художники Набхольц и Шенберг. – И. К. Набгольц и Х. Г. Шенберг гравировали виньетки к большинству книг Струйского.

Он был поклонником Сумарокова... – Александр Петрович Сумароков (1718–1777), издатель, драматург, директор российского театра.

...Сумарокову он посвятил свою первую книгу... – Она называлась "Апология к потомству от Николая Струйского, или Начертание о свойстве нрава Александра Петровича Сумарокова..." (СПб., 1788).

С. 165. Он писал Епистолы, Елегии, Епиталамы... – Об изданиях Н. Е. Струйского подробнее см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. Т. III. М., 1966. С. 177–179.

Что делают в тебе Мартышки Каглиостры? – Книга "О Париже", называющая масонов "мартышками" и высмеивающая Калиостро, была написана под явным влиянием пьес Екатерины II "Обманщик", "Обольщенный", "Шаман сибирский".

С. *167. ...обливал негодованием Княжнина...* – Яков Борисович Княжнин (1742 (1740?) – 1791), русский драматург.

...считался "бездарнее Тредиаковского". – Василий Кириллович Тредиаковский (1703–1768), русский поэт, филолог, академик.

НАСТИНЬКИНА МАЕТА

Впервые: Последние новости. 1934. 12 ноября. № 4981. Опубликовано также в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин. 1938.

С. *169. ...фижмы.* – в XVIII – начале XIX в. каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку, а также юбка с таким каркасом.

...из тарлатана... – Тарлатан – легкая хлопчатобумажная или полушелковая ткань, из которой шили женские платья в XIX в.

С. *170. ... Омфалой...* – Омфала – в греческой мифологии царица Лидии, к которой был отдан в рабство Геракл.

... "О тампль де гу"... – "Au temple de goût" – "В храме вкуса" (*фр.*).

... "Мюзе де нувоте". – "Musée de nouveauté – "Музей новинок" (*фр.*).

С. *171. ...мебель <...> работы Жакобовой...* – Жакоб – семья французских мастеров художественной мебели.

...Шибанова... – Михаил Шибанов (ум. после 1789) – крепостной живописец.

ДВА ПЕШЕХОДА

Впервые: Последние новости. 1935. 30 сентября. № 5303; Сегодня. 1935. 30 сентября. № 270. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным.

ВОЛОСОЧЕС

Впервые: Последние новости. 1934. 9 апреля. № 4764. Рассказ был включен в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин. 1938.

С. *178. ...Граф Николай Иванович* Салтыков (1736–1816) – генерал-фельдмаршал; с 1783 г. руководил воспитанием великих князей Александра и Константина Павловичей; сенатор.

...Наталья Владимировна кончала свой шестой десяток. – Н. В. Салтыкова, урожденная княгиня Долгорукова (1737–1812).

С. *181. ...называли графиню второй Салтычихой...* – Дарья Николаевна Салтыкова (1730–1801), помещица Подольского уезда Московской губернии (там же находилось имение Н. И. и Н. В. Салтыковых (Красная Пахра), замучившая десятки крепостных. С 1768 г. находилась в заключении в монастырской тюрьме в Москве.

ПО МОСКВЕ

Впервые: первая часть: Последние новости. 1935. 29 июля. № 5240; Временник общества друзей русской книги. 1938. № 4; вторая часть: Последние новости. 1935. 1 августа. № 5243. Рукопись М. Н. Муравьева, хранившаяся в архиве М. А. Осоргина, бесследно исчезла вместе с другими бумагами во время второй мировой войны. Значительная часть аналогичных документов М. Н. Муравьева хранится в Государственном Историческом музее.

С. *183. ...восьмиконечная звезда с внутренним крестом, глобус, циркуль, линейка, треугольник, ветки акации <...> кафинский узел* – распространенные масонские символы.

С. *185. ...Михаил Никитич Муравьев* (1757–1807) – писатель, попечитель Московского университета, товарищ министра народного просвещения, сенатор.

С. *186. ...был другом <...> Ивана Петровича Тургенева ...* – И. П. Тургенев (1752–1807), отставной бригадир, один из руководителей российского масонства, с 1796 г. директор Московского университета.

Он был <...> отцом знаменитого декабриста Никиты Михайловича Муравьева. – Н. М. Муравьев (1795–1843) – основатель Союза спасения, член Союза благоденствия, правитель Северного общества декабристов, автор проекта конституции, историк и публицист.

...Екатерине Федоровне, урожденной Колокольцовой... – Е. Ф. Колокольцова (1757–1807), баронесса, в замужестве Е. Ф. Муравьева.

С. *187. ...живет у Михаила Михайловича Рахманова.* – М. М. Рахманов, в 1781 г. полковник, масон, член ложи Озириса в Москве.

С. *188. ...заехал к обоим градодержателям, князю Долгорукову и Архарову...* – Юрий Владимирович Долгоруков (1740–1830), генерал-губернатор в Москве, генерал от инфантерии, один из руководителей масонства в России; Иван Петрович Архаров (ум. 1815), при Павле I произведен в генералы от инфантерии, назначен военным губернатором Москвы, в 1797 г. отставлен от должностей и отправлен в тамбовские поместья.

С. *189. ...побывал и у <...> профессора Гейма.* – Иван Андреевич (Иоганн Христиан Андреас) Гейм (1759–1821), преподавал в Московском университете с 1781 г., в 1808–1819 гг. его ректор; писатель, издатель, масон.

С. *192. ...читала <...> Александру...* – Александр Михайлович Муравьев (1802–1853), член декабристских обществ – Союза благоденствия и Северного общества, мемуарист.

РОЗА БЕЗ ШИПОВ

Впервые: Последние новости. 1935. 16 сентября. № 5289.

С. *193 ...поэт С. Джунковский...* – Степан Семенович Джунковский (1762–1839), учитель английского языка у великих княжон; числился в штате лейб-гвардии Преображенского полка. Его поэма "Александрова увеселительный сад..." впервые была издана в 1793 г., переиздана в Харькове в 1810 г.

С. 194. Пахарь – генерал-аншеф граф Николай Иванович Салтыков (1736–1816) – обучал великих князей Александра и Константина Павловичей по учебной библиотеке, составленной Екатериной II, в которую входила и так называемая "Бабушкина азбука". В состав последней была включена и "Сказка о царевиче Хлоре". См.: Сочинения Екатерины II. СПб., 1893. Т. I. Примечания. С. XIII.

С. *195. ...нимфы Эгерии, мудрой наставницы Нумы Помпилия.* – В римской мифологии Эгерия была пророчицей-нимфой ручья, из которого весталки черпали воду для своего храма; возлюбленная и наставница царя Нумы Помпилия, который, согласно традиции, был вторым царем Древнего Рима; учредил религиозные культы в городе.

С. *196. ...Флора и Помона переименовываются в Татаринову и госпожу Крюднер.* – Екатерина Филипповна Татаринова, урожденная Буксгевден (1783–1856), руководительница мистической секты "Союз братства". Подробнее о ней и ее секте см.: *Дубровин Н. Ф.* Наши мистики-сектанты. Екатерина Филипповна Татаринова и Александр Петрович Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 10–12; 1896. № 1–2. Варвара-Юлия Крюднер, урожденная Фитингоф (1764–1824), проповедница мистицизма, "пророчица", как и Татаринова; знакомая с 1815 г. императора Александра I, который покровительствовал ей. Подробнее см.: *Пыпин А. Н.* Госпожа Крюднер // Вестник Европы, 1869. № 8–9.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ДВУХ МЕЙЕРОВ

Впервые: Сегодня. 1935. 15 декабря. № 345. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 16 декабря. № 5380.

С. *198. ...в Гамбурге <...> российским резидентом был Муравьев...* – Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1768–1851), писатель, член Российской Академии, затем посланник в Мадриде, отец декабристов Сергея, Матвея и Ипполита Муравьевых.

С. *199. ...граф фон дер Пален* Петр Александрович (1745–1826) – в 1798–1801 гг. петербургский генерал-губернатор, один из организаторов заговора против императора Павла I.

...графу Ростопчину... – Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826), впоследствии генерал от инфантерии, член Государственного совета, московский военный генерал-губернатор.

...с графом Паниным Никитой Петровичем... – Н. П. Панин (1770–1837), сын генерал-аншефа Петра Ивановича Панина.

НЕСКЛОННОСТЬ К ЛЮБЛЕНИЮ

Впервые: Последние новости. 1934. 8 июля. № 4854.

С. *203. ...письмовник Курганова...* – Николай Гаврилович Курганов (1725(?)–1796), педагог, издатель, автор "Российской универсальной грамматики" (1796), в последующих изданиях носившей название "Письмовник".

С. *206. ...мнение по сему предмету евангелиста Матфея, в главе 19-й в стихе 6-м...* – "Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек не разлучает". (Мф. XIX, 6.).

С. *207. ...генерал-прокурор Д. Трощинский...* – Дмитрий Прокофьевич Трощинский (1754–1829), впоследствии министр юстиции и министр уделов.

ЧЕПЧИК НАБЕКРЕНЬ

Впервые: Последние новости. 1934. 10 декабря. № 5009. Опубликовано также в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

ГРОЗА

Впервые: Последние новости. 1935. 27 мая. № 5177.

С. *215. ...защищать от небесных стрел и безумного метания колесницы Ильи-Пророка.* – На Руси, особенно в Новгороде, Илья-Пророк почитался как "громовержец", который может даровать дождь или солнечную погоду. В народе было распространено представление, что гром вызван тем, что Илья-Пророк разъезжает по небу на своей колеснице.

...ночь под Ильин день – то есть ночь с 1 на 2 августа по новому стилю.

ОЗОРНОЙ КОЛОКОЛ

Впервые: Последние новости. 1935. 15 июля. № 5226.

С. *222. Главноуправляющий Кремлевской экспедицией Валуев...* – Петр Степанович Валуев (1743–1814), обер-церемониймейстер, действительный тайный советник.

...сын убежавшего во время чумы. – Граф Петр Семенович Салтыков (1698–1772), московский главнокомандующий и фельдмаршал, в разгар эпидемии чумы в Москве в 1770–1771 гг. на два дня покинул город, после чего был обвинен в попустительстве беспорядкам и уволен в отставку.

С. *223. ...заиграли куранты масонский гимн "Коль славен наш Господь в Сионе".* – Гимн был написан М. М. Херасковым для исполнения торжественных песнопений в масонских ложах; получил распространение и стал одним из российских гимнов.

ПАСТОР В МУНДИРЕ

Впервые: Сегодня. 1934. 19 августа. № 228. С подзаголовком: Рижский рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 20 августа. № 4897.

С. 226. *Обер-пастор Либориус Бергман* (1754–1823) – доктор философии Лейпцигского университета, основатель Лифляндского музея искусств; широко занимался благотворительной деятельностью.

С. 227. ...военный губернатор граф Бунсгевден Федор Федорович (1750–1811) – генерал от инфантерии, главнокомандующий в русско-шведской войне 1808 г.

...министр юстиции князь Лопухин Петр Васильевич (1753–1827) – затем председатель Государственного Совета и Комитета министров.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОРОДА

Впервые: Последние новости. 1934. 1 октября. № 4939.

ЗУБОВРАЧ

Впервые: Последние новости. 1935. 25 марта. № 5114.

С. *234. ...граф Михаил Румянцев, сын победителя при Ларге и Кагуле...* – Михаил Петрович Румянцев (р. 1753), с 1797 г. сенатор; в 1809 г. сошел с ума. Его отец Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796), генерал-фельдмаршал, командовал войсками в русско-турецкой войне.

КОСТИ ЕВРЕЯ

Впервые: Последние новости. 1934. 10 сентября. № 4918. Опубликовано также в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *240. ...до Торы...* – Тора – древнееврейское наименование Пятикнижия.

ДЕНЬ ЕГО СИЯТЕЛЬСТВА

Впервые: Последние новости. 1934. 8 октября. № 4946. Опубликовано также: Сегодня. 1934. 9 октября. № 279. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным.

С. *246. На Троицу* – то есть в один из "двунадесятых" церковных праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи; отсюда другое название Троицы – пятидесятница.

С. *250. ...на Красной Горке* – так называется в народе Фомино воскресенье, первое воскресенье после Пасхи. На Красную Горку было принято устраивать свадьбы.

БОРОДА

Впервые: Последние новости. 1934. 13 апреля. № 4768. Вошло также в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *252 ...в Чудовом монастыре...* – Чудов Алексеевский Архангело-Михайловский кафедральный монастырь в Московском Кремле, основан в 1365 г.

...заговор <...> отца нашего Сисиния о двунадесяти трясовицах... – Сисиний, один из сорока севастийских мучеников (день памяти 9 марта), почитался как целитель от лихорадки. См. об этом, напр.: Церковно-славянский месяцеслов на Руси И. П. Калинского. М.: Художественная литература. 1990. С. 102–103.

С. 253. ...плесовице, коя усекнула главу Иоанну Предтечу. – По случаю дня рождения Ирода, правителя Галилеи, танцевала его

падчерица Саломея. В награду она получила голову Иоанна Предтечи, которую ей подали на блюде (Новый Завет. Евангелие от Матфея).

С. *255. ...Иван Александрович скрыл <...> от своей жены Екатерины Александровны, урожденной Строгановой...* — Иван Александрович Нарышкин (1761—1841), сенатор, обер-церемониймейстер двора; урожденная баронесса Екатерина Александровна Строганова (1769—1844).

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ

Впервые: Сегодня. 1934. 20 мая. № 139; опубликовано также: Последние новости. 1934. 21 мая. № 4806.

С. *255. Людовик Осьмнадцатый...* — Людовик XVIII (1755—1824) — французский король в 1814—1824 гг.; возведен на престол после свержения Наполеона, до этого один из лидеров контрреволюции.

СТАРАЯ БАРЫНЯ

Впервые: Последние новости. 1935. 19 августа. № 5261; Сегодня. 1935. 19 августа. № 228.

С. *262. В девичестве Римская-Корсакова, по мужу Катерина Александровна была Архаровой.* — Жена генерала от инфантерии, командира Московского батальона И. П. Архарова Екатерина Александровна Архарова (1753—1836).

СЕРДЦЕ ПОМЕЩИКА

Впервые: Сегодня. 1934. 29 июля. № 207. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 30 июля. № 4876.

С. *269. ...узнал <...> из <...> письма <...> от петербургского военного губернатора М. Милорадовича.* — Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825), граф, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г.; был смертельно ранен во время восстания декабристов.

С. *271. Но нет сведений в старых журналах о конечной судьбе Ивана Сибирякова.* — Иван Семенович Сибиряков был выкуплен благодаря хлопотам В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Ф. Н. Глинки, братьев Тургеневых, М. А. Милорадовича и других лиц в 1820 г. Был актером, суфлером. Умер в 1848 г.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ КУКЛЫ

Впервые: Сегодня. 1934. 17 июня. № 166. С подзаголовком: По старинным документам. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 25 июня. № 4841;и в сборнике: *Осоргин*

Мих. Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *274. ...графу Виктору Павловичу Кочубею...* – В. П. Кочубей (1768–1834), дипломат, управляющий министерством внутренних дел, председатель Государственного Совета и Комитета министров.

КИШИНЕВСКИЙ СЛУЧАЙ

Впервые: Сегодня. 1934. 4 ноября. № 305. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 5 ноября. № 4974. М. А. Осоргин внимательно изучил все документальные сведения о членстве А. С. Пушкина в масонской ложе Овидий. См.: *Кульман Н. К.* К истории масонства в России // Журнал Министерства народного просвещения. 1907. № 10. С. 343–373; Императоры Александр I и Николай I. К истории ссылки поэта А. С. Пушкина в южную Россию // Русская старина. 1883. Т. 40. С. 654–657; А. С. Пушкин в южной России // Русский архив. 1866. С. 1089–1214 и др. Этой же теме было посвящено другое произведение М. А. Осоргина: Пушкин – вольный каменщик // Последние новости. 1937. 10 февраля. № 5801.

С. *277. ...Иван Никитич* Инзов (1768–1845) – генерал-лейтенант, главный попечитель и председатель Комитета об иностранных поселенцах южного края России, к канцелярии которого был прикомандирован А. С. Пушкин в Кишиневе. Масон, член ложи в Одессе.

Дернуть к Кириенке? – Д. А. Кириенко-Волошинов, чиновник канцелярии И. Н. Инзова, сослуживец А. С. Пушкина.

Закатиться к Крупянскому... – Речь идет о Матвее Егоровиче Крупенском (1781–1848), кишиневском вице-губернаторе, или о Тудоре Егоровиче Крупенском (1787–1843), чиновнике особых поручений при И. Н. Инзове; живя в Кишиневе, А. С. Пушкин часто бывал в домах братьев Крупенских.

С. 278. ...в своем любимом пестром архалуке... – Архалук – верхняя распашная одежда у народов Кавказа.

...застольная ложа. – Заседания масонов зачастую завершались так называемыми столовыми ложами.

Кланяйся Пущину, Раевскому и всем боярам и фанариотам! – Павел Сергеевич Пущин (1789–1865), генерал-майор, бригадный командир 16-й пехотной дивизии, мастер стула (руководитель) масонской ложи Овидий; Владимир Федосеевич Раевский (1795–1872), майор 32-го егерского полка 16-й пехотной дивизии, член декабристского Союза благоденствия, член масонской ложи Овидий; в ложу Овидий входили представители молдавской и греческой аристократии (бояре и фанариоты).

С. 279. В доме молдаванина Кацики... – Дом Михалки Кацики сохранился до настоящего времени (ул. Олега Кошевого, д. 2).

...доктор Шулер... – Федор Михайлович Шуллер (ум. 1829), венгр, плененный во время Отечественной войны 1812 г. и остав-

шийся в России, дивизионный врач 16-й пехотной дивизии, масон, член лож в Париже и в Кишиневе.

...арнауты – турецкое наименование албанцев.

...из беглых гетеристов... – Гетеристы – члены греческой революционной организации "Филики Этерия", которая ставила своей целью освобождение страны от османского гнета.

...купца Драгушевича... – Матвей Драгушевич, австрийский подданный, измаильский негоциант.

...боярина Бернардо... – Мануэль Бернардо, член лож в Яссах и Одессе, один из основателей ложи Овидий.

...Тучкова... – Сергей Алексеевич Тучков (1767–1839), генерал-майор, затем сенатор, основатель города Тучкова, основатель и амунир ложи Овидий.

...доктора Гирлянда... – Брачини Рафаэль, хирург, живший после греческой революции в Кишиневе, основатель и обрядоначальник ложи в Кишиневе.

...аптекаря Майглера... – Мейглер – член ложи Овидий.

...помещика Алексеева. – Николай Сергеевич Алексеев (1788–1854), чиновник особых поручений при И. Н. Инзове, казначей ложи Овидий, друг А. С. Пушкина, подарил ему "масонские" тетради.

...мастер стула... Пущин... – Его руководству в ложе А. С. Пушкин посвятил стихотворение "Генералу Пущину" (1821).

С. 280. ...вития – должностное лицо в масонских ложах; вития составлял и читал обычно нравоучительные речи на заседаниях ложи. В кишиневской мастерской витией был Иван Бранкович, бывший учитель в Яссах, писатель.

С. *282. И ложа-то еще не утверждена...* – Было установлено, что каждая масонская ложа должна была получить разрешение на открытие от губернских властей и руководящей масонской организации. Ложа Овидий получила "конституцию" от руководящей организации лишь 17 сентября 1821 г., однако вскоре была закрыта.

САМСОН И ДАЛИЛА ПРОШЛОГО ВЕКА

Впервые: Сегодня. 1935. 22 декабря. №352. С подзаголовком: Рассказ по архивным документам. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 23 декабря. № 5387.

С. *282. Самсон и Далила* – ветхозаветные персонажи: еврейский богатырь, наделенный невиданной физической силой, источником которой были его волосы, и его возлюбленная, филистимлянка, виновница его гибели.

ИСПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Впервые: Последние новости. 1935. 14 января. № 5044.

С. *288. ... собриетас* – трезвость, воздержание (от лат. sobrius – трезвый, воздержанный; употреблено в ироническом смысле).

... *кви плюс бибат* – который много пьет (от лат. qui plus bibat).

С. *289. ... бибамус* – пьянства (от лат. bibamus – выпьем).

С. *291. "Толците, и отверзется вам"* – "Стучите, и откроется вам".

С. *292. ... митрополита Серафима...* – Митрополит Серафим (Стефан Васильевич Глаголевский, 1757–1843) – с 1821 г. митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский.

ПОВЕСТЬ О НЕКОЕЙ ДЕВИЦЕ

Впервые: Последние новости. 1934. 29 апреля. № 4784. Название рассказа стало названием и книги М. А. Осоргина, изданной в Таллине в 1938 г.

С. *293. ... Юрьев общежительный мужской монастырь* – Юрьев-Георгиевский монастырь в Новгородской губернии; основан в 1030 г.

... *авва* – духовный отец (*церк.*).

... *Фотий* (в миру Петр Никитич Спасский; 1792–1838) – настоятель Юрьева монастыря с августа 1822 г., церковный деятель.

... *князь Голицын...* – Александр Николаевич Голицын (1773–1844), в 1817–1823 гг. министр духовных дел и народного просвещения; один из приближенных лиц к императору Александру I; мистик; первоначально способствовал возвышению Фотия. Фотий вместе с А. А. Аракчеевым составил заговор с целью отстранения А. Н. Голицына с министерской должности.

В лето 1822-го усердием Фотия и масонского перевертеня Кушелева <...> вострепетало в стране неверие ... – После ряда доносов Егора Андреевича Кушелева (1763–1826), сенатора и руководителя масонского союза Директоральной ложи Астреи, а также после приезда к императору 5 июня 1822 г. Фотия все тайные общества и масонские ложи в России были запрещены именным рескриптом от 1 августа 1822 г.

... *Анна Алексеевна Орлова-Чесменская* (1785–1848) – фрейлина двора, одна из богатейших помещиц своего времени, фанатичная поклонница Фотия.

МАТЬ СЫНА АРАКЧЕЕВА

Впервые: Сегодня. 1935. 20 октября. № 290. С подзаголовком: Исторический рассказ. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 21 октября. № 5324.

С. *299. ... к пастору Коллинсу ...* – Иоганн Давид Коллинс (1761–1833), лютеранский пастор, директор немецкого училища при церкви Святого Петра в Петербурге.

ЗНАМЕНИТАЯ МОГИЛА

Впервые: Последние новости. 1935. 11 февраля. № 5072.

С. *302. ...приказ тобольского губернатора Бантыш-Каменского...* –

Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский (1788–1850), историк, автор восьмитомного "Словаря достопамятных людей Русской земли".

С. *303. ... Феофан Прокопович* (1681–1736) – русский государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I.

С. *305. ... Бантыш-Каменский <...> сам писатель и сын писателя...* – Отец Д. Н. Бантыш-Каменского Николай Николаевич Каменский (1737–1814) был историком, археографом, библиографом.

... Остерманом – Андрей Иванович Остерман (1686–1747), граф, дипломат, член Верховного тайного совета, фактический руководитель государства при Анне Иоанновне; в 1741 г. был сослан в Березов.

МЕДИКУС БЕСТ

Впервые: Последние новости. 1936. 20 января. № 5415.

С. *308. ... М. Д. Бутурлин, записки которого общеизвестны...* – "Записки" Михаила Дмитриевича Бутурлина были опубликованы в "Русском архиве", кн. I–III, в 1897 г.

ДЕКАБРИСТ И ТАРАКАН

Впервые: Последние новости. 1934. 1 июля. № 4847.

С. *314 ... графа Чернышева* – Александр Иванович Чернышев (1786–1857), в 1827–1852 гг. военный министр, впоследствии председатель Государственного Совета, князь. Член Следственной комиссии по делу декабристов.

... генерал-адъютанту Сукину... – Александр Яковлевич Сукин (1764–1837), генерал от инфантерии; был членом Верховного уголовного суда над декабристами.

БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ АЛЖИРЕЦ

Впервые: Сегодня. 1934. 2 декабря. № 333. С подзаголовком: Рассказ по старым документам. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 3 декабря. № 5002. Основой рассказа стала афиша, опубликованная: Русская старина. 1900. Т. 101. С. 307.

С. *318. ... прославились <...> служением музам Эвтерпе, Талии и Терпсихоре.* – В древнегреческой мифологии Эвтерпа, Талия и Терпсихора – дочери Зевса, покровительницы лирической песни, комедии и танца.

С. *320. ... "Олинька, или Первоначальная любовь"* – пьеса со стихами А. М. Белосельского-Белозерского, опубликованная в 1796 г. в селе Ясном. Была поставлена в крепостном театре А. А. Столыпина.

ЗАДУМЧИВЫЙ ЧИНОВНИК

Впервые: Сегодня. 1934. 27 мая. № 145. С подзаголовком: По архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 28 мая. № 4813.

С. *322. ... российского Герострата!* – Герострат – грек из города Эфеса в Малой Азии, в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды Эфесской, чтобы обессмертить свое имя. В переносном смысле употребляется для обозначения честолюбцев, добивающихся славы любой ценой.

С. *324. ... В Эфесе был храм Дианы...* – Храм Дианы – одно из семи чудес света. В римской мифологии Диана, богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны, отождествлялась с Артемидой и Гекатой, поэтому встречаются различные названия известного эфесского храма.

С. *325. ...обер-полицеймейстер Шкурин ...* – Александр Сергеевич Шкурин (1783–1853), занимал пост обер-полицеймейстера в Петербурге, генерал-майор.

"ВНЕЗАПНО СГОРАЕМЫЕ ТЕЛА"

Впервые: Последние новости. 1935. 4 марта. № 5093.

С. *328. ...строки из "Доктора Паскаля"...* – "Доктор Паскаль" (1893). – роман Э. Золя.

... *Либих* Юстус (1803–1873) – немецкий химик, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.

... ординарному академику Петрову... – Речь идет, вероятно, о Василии Владимировиче Петрове (1761–1834), русском физике и одном из первых русских электриков.

ЛЮБИТЕЛЬ СМЕРТИ

Впервые: Сегодня. 1934. 10 августа. № 219. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 13 августа. № 4890; и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *333. ...в Полуэктовом?* – Полуэктов переулок – с 1955 г. Сеченовский переулок.

С. *334. ...в церкви Николы на Песках...* – Церковь Николая Чудотворца на Песках, находившаяся в одном из арбатских переулков; построена около 1825 г.

СТОЙКИЙ ДВОРЯНИН РАСЧЕТОВ

Впервые: Последние новости. 1936. 17 февраля. № 5443.

С. *340. ...перед ликом святого Николы Мирликийского ...* – Святитель Николай, архиепископ Мирликийских, города в Малой Азии, чудотворец (ум. ок. 345–351) – один из наиболее почитаемых на Руси святых; каждый русский город и каждый храм был украшен иконой этого святителя. Память его празднуется 6/19 декабря и 9/22 мая.

ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ

Впервые: Последние новости. 1935. 13 мая. № 5163.

СТРАШНАЯ ГОСТЬЯ

Впервые: Сегодня. 1934. 6 мая. № 125. Опубликовано также: Последние новости, 1934. 7 мая. № 4792.

С. *349. ... Щеглов* Николай Прокофьевич (1794–1831) – профессор физики Петербургского университета.

... *Ланжерон* Александр Федорович (1763–1831) – новороссийский генерал-губернатор, генерал от инфантерии.

... *Глазунов* Матвей Петрович (1757–1830) – основатель известной фирмы по продаже книг.

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Впервые: Последние новости. 1934. 15 октября. № 4953.

Рассказ также опубликован в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

ПРОРИЦАТЕЛЬ АВЕЛЬ

Впервые: Последние новости. 1935. 8 апреля. № 5128.

С. *360. ... генерал-прокурора графа Самойлова...* – Александр Николаевич Самойлов (1744–1814), генерал-прокурор.

С. *361. ... генерал-прокурор А. Б. Куракин...* – Алексей Борисович Куракин (1759–1829), занимал должность генерал-прокурора в 1796–1798 гг.; впоследствии сенатор, член Государственного Совета.

ОПЫТ ДОКТОРА ПАРПУРА

Впервые: Последние новости. 1935. 18 февраля. № 5079.

С. *366. ... афей* – простонародное от "атеист".

ТРИ ЧЕТВЕРТИ КОПЕЙКИ

Впервые: Последние новости. 1836. 13 января. № 5408.

КАМЕР-ЮНКЕР РОКОКО

Впервые: Сегодня. 1934. 16 сентября. № 256. Под заголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 17 сентября. № 4925.

С. *375. ... у графа Завадовского...* – Вероятно, речь идет о Василии Петровиче Завадовском (1798–до 1867), сенаторе.

С. *379. ... "Я сделал, что мог, пусть кто может сделает лучше".* – Выражение является средневековой переработкой слов Цицерона ("Послания", XI, 14).

ЖЕРТВА ПРОРИЦАНИЯ

Впервые: Последние новости, 1934. 24 сентября. № 4932. Опубликовано также: Сегодня. 1934. 25 сентября. № 265.

С. *381. ... ушел из Таганрога император Александр...* – Скоропостижная смерть императора вызвала к жизни легенду о том, что он скрылся в Сибири под именем старца Федора Козьмича. Подробно версии об "уходе" рассмотрены в статье: *Ланге Е. В.* Александр I и Федор Козьмич. Обзор мнений// Записки русской академической группы в США. Т. XIII. Нью-Йорк. 1980. С. 262–335.

... прославили месяц декабрь пылкие идеалисты – то есть декабристы.

... инкруаяблей (фр. incroyable – невероятный) – модников.

С. *382. ... посетить лечебное заведение московского врача Лодера...* – Христиан Иванович фон Лодер (1753–1832), лейб-медик, действительный статский советник, основатель Главного военного госпиталя и Заведения искусственных минеральных вод, где после водных процедур предписывался моцион (отсюда слово "лодырь" и выражение "гонять лодыря").

ТАНЦОРЫ ПОНЕВОЛЕ

Впервые: Последние новости. 1935. 23 сентября. № 5296.

С. *384. ...Гедеонову...* – Александр Михайлович Гедеонов (1790–1867), в 1833–1858 гг. директор императорских театров.

С. *388. ...сочлен Васильев, офицер Преображенского полка...* – Григорий Константинович Васильев, бывший камер-паж, с 1833 г. прапорщик Преображенского полка; в июле 1835 г. был переведен в Куринский егерский полк на Кавказ в чине штабс-капитана.

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ

Впервые: Сегодня. 1935. 16 июня. № 165. С подзаголовком: Старинный рассказ. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 17 июня. № 5198.

С. *390. ...вернулся к любимым книжкам – Сведенборгу, Эккартсгаузену, творениям Феофраста Парацельса Гогенгеймского <...>, к Изумрудной таблице Гермия Триждывеличайшего.* – Эммануил Сведенборг (1688–1772), шведский естествоиспытатель, ясновидец и духовидец; связывал свое учение с древней наукой магов. Карл Эккартсгаузен – немецкий мистик, чьи произведения получили наибольшее распространение в начале XIX века. Парацельс (настоящее имя Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493–1541) – немецкий врач и естествоиспытатель, родоначальник учения об "ар-

хее" – высшем духовном принципе, регулирующем жизнедеятельность организмов. Гермий Триждывеличайший (более распространено было его наименование Гермес Трисмегист) – мифологический "мудрый и благодетельный" египетский царь, создатель теософского учения; книги, якобы написанные Гермием, были созданы в середине III века и получили распространение в Египте и Греции в III–IV веках; считался покровителем тайных наук и тайного знания. Книги, написанные этими авторами, а также приписываемые им, были широко распространены в среде русских масонов.

ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ

Впервые: Последние новости. 1934. 13 мая. № 4798.

С. *396. ...генерал-майору барону Велио.* – Вероятно, речь идет об Иосифе Иосифовиче Велио (1795–1867), впоследствии генерале от кавалерии.

МОСКОВСКИЙ ПОДВИЖНИК

Впервые одновременно в двух газетах: Последние новости. 1935. 21 января. № 5051; Сегодня. 1935. 21 января. № 21. С подзаголовком: По архивным данным.

ПЕНЗЕНСКАЯ ФЛОРА

Впервые: Последние новости. 1934. 19 ноября. № 4988. Рассказ вошел также в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *405. ...пензенский губернатор Александр Алексеевич Панчулидзев* (1789–1867) – занимал этот пост в 1832–1859 гг. Тайный советник.

...девице Загоскиной, дочери знаменитого писателя, Варваре Николаевне. – Михаил Николаевич Загоскин (1789–1852), русский писатель; видимо, речь идет не о дочери, а о сестре писателя.

ДВЕ ДУШИ

Впервые: Последние новости. 1935. 10 июня. № 5191; Сегодня. 1935. 9 июня. № 159. С подзаголовком: По старым документам. Опубликовано также в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *411. ...после первого Спаса...* – Имеется в виду так называемый медовый Спас, приходящийся на 1/14 августа.

ЧЕРТОВЫ ЯЙЦА

Впервые: Последние новости. 1935. 1 апреля. № 5121.

С. *414. ...николаевский министр Гамалей...* – Вероятно, речь идет

о Николае Михайловиче Гамалее (1795–1859), в 1840–1856 гг. товарище министра государственных имуществ.

ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ

Впервые: Последние новости. 1934. 23 июля. № 4869. Рассказ вошел также в сборник: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

ЛЮБОСТАЙ И ФАРМАЗОН

Впервые: Последние новости. 1935. 11 марта. № 5100.

КНЯГИНЯ И ПОСЛУШНИК

Впервые: Последние новости. 1936. 27 января. № 5422.

С. *431. ...генерал-губернатор Закревский* Арсений Андреевич (1786–1865) – генерал-лейтенант, в 1828–1831 гг. министр внутренних дел, затем московский генерал-губернатор.

СВЕЧКА

Впервые: Сегодня. 1935. 19 мая. № 138. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 20 мая. № 5170.

КЛАДОИСКАТЕЛИ

Впервые: Последние новости. 1935. 18 марта. № 5107.

С. *441. ...в ночь на Ивана Купалу* – в просторечии в Иванов день, то есть с 23 на 24 июня по старому стилю, во время праздника летнего солнцестояния. Иван Купала – народное название праздника рождества Иоанна Крестителя.

ТАРТАРАРЫ

Впервые: Сегодня. 1935. 21 июля. № 199. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 22 июля. № 5233.

ЖЕНОНЕНАВИСТНИК

Впервые: Сегодня. 1935. 5 мая. № 124. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 6 мая. № 5156.

ФОГЕЛЬШИССЕН ГОСПОДИНА ФИНФШТИКА

Впервые: Последние новости. 1935. 25 февраля. № 5086.

С. *458. ...письмо министру внутренних дел Д. Г. Бибикову...* – Дмитрий Гаврилович Бибиков (1791–1870), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета; занимал пост министра внутренних дел в 1852–1855 гг.

ДЕВИЦА, ВЗЫСКУЮЩАЯ ЖЕНИХА

Впервые: Сегодня. 1934. 3 сентября. № 243. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным. Опубликовано также: Последние новости. 1934. 4 сентября. № 4912;и в сборнике: *Осоргин Мих.* Повесть о некоей девице: Старинные рассказы. Таллин, 1938.

С. *462. ...в пензенский Троицкий монастырь...* – Имеется в виду Троице-Ковыялевский женский монастырь. Основан в 1842 г.

ПРАЗДНИК СВЯТЫМ

Впервые: Последние новости. 1935. 2 сентября. № 5275.

КУЗЬКА-БОГ

Впервые: Последние новости. 1935. 8 июля. № 5219.

СИБИРСКИЙ ИГРОК

Впервые: Сегодня. 1935. 13 октября. № 283. С подзаголовком: По рассказу внучки. Опубликовано также: Последние новости. 1935. 14 октября. № 5317.

ДОСТОПАМЯТНЫЙ ОСЕТР

Впервые: Последние новости. 1936. 2 марта. № 5457. Основой рассказа стала заметка, опубликованная в журнале: Русский архив. 1897. № 5. С. 139.

ЗАЛОЖЕННЫЙ ПРАХ

Впервые: Последние новости. 1934. 24 декабря. № 5023. Основой рассказа послужила публикация в журнале: Русский архив. 1886. Кн. 12. С. 499.

С. *489. ...талантливый поэт Барков* Дмитрий Николаевич (1796–1855) – поэт, театральный критик, переводчик; чиновник петербургской таможни.

ДЕЛО О ТРЕПАКЕ И ЧУДЕСНОМ ЯВЛЕНИИ

Впервые: Последние новости. 1935. 30 декабря. № 5394.

С. *490. ...уездного города Свияжска.* – Свияжск – с 1932 г. село в Татарии.

ПОЭТ ПРАВОЛАМСКИЙ

В п е р в ы е: Последние новости. 1934. 15 марта. № 4739. Опубликовано также: Сегодня. 1934. 16 марта. № 75; Новая заря (Сан-Франциско). 1934. 14 апреля. № 1344.

С. *496. ...вспоминал о <...> Каратыгине, Асенковой...* – Василий Андреевич Каратыгин (1802–1853) – ведущий трагический актер Александринского театра; Варвара Николаевна Асенкова (1817–1841) – актриса, с 1835 г. выступала в Александринском театре, имела большой успех в водевилях.

ВЕЛИКИЙ КРЫСОЛОВ

В п е р в ы е: Последние новости. 1934. 22 октября. № 4960.

С. *500. ... небольшом пятиглавом храме Успения, что в Путинках...* – Имеется в виду церковь Рождества Богородицы в Путинках, построенная в 1649–1652 гг.

ЧЕРНЫЙ КАБИНЕТ

В п е р в ы е: Последние новости. 1935. 22 апреля. № 5142. Опубликовано также: Сегодня. 1935. 23 апреля. № 112. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным.

С. *506. ...по представлению Столыпина...* – Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), русский государственный деятель, реформатор. Занимал пост министра внутренних дел, а с 1906 г. – председателя Совета министров.

СОСЛУЖИВЦЫ

В п е р в ы е: Последние новости. 1935. 29 апреля. № 5149; Сегодня. 1935. 29 апреля. № 118. С подзаголовком: Рассказ по архивным данным.

РОССИЯ

В п е р в ы е: Дни. 1924. 12 октября. № 584.

С. *516. ... По Ивану Сергеевичу Аксакову...* – "Назвал я Сергея Тимофеевича Аксакова – Иваном Сергеевичем, описался, вспомнив о другом поэте лесов и вод российских – Тургеневе" (*Мих. Осоргин.* Письмо Ваньки – Ивану. Дни. 1924. 18 октября. № 593).

О. Ю. АВДЕЕВА
А. И. СЕРКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Андреевич ОСОРГИН

Собрание сочинений

ТОМ 2

Редактор *И. Геника*
Художественный редактор *М. Кудрявцева*

Лицензия № 010184 от 14.04.97. ЛР № 071768 от 15.12.98.
Сдано в набор 27.10.96. Подписано в печать 23.02.99. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Баскервиль". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 32,13. Уч.-изд. л. 33,61. Тираж 5000 экз.
Заказ № 8728.

Издательство "Московский рабочий",
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульв., 8.

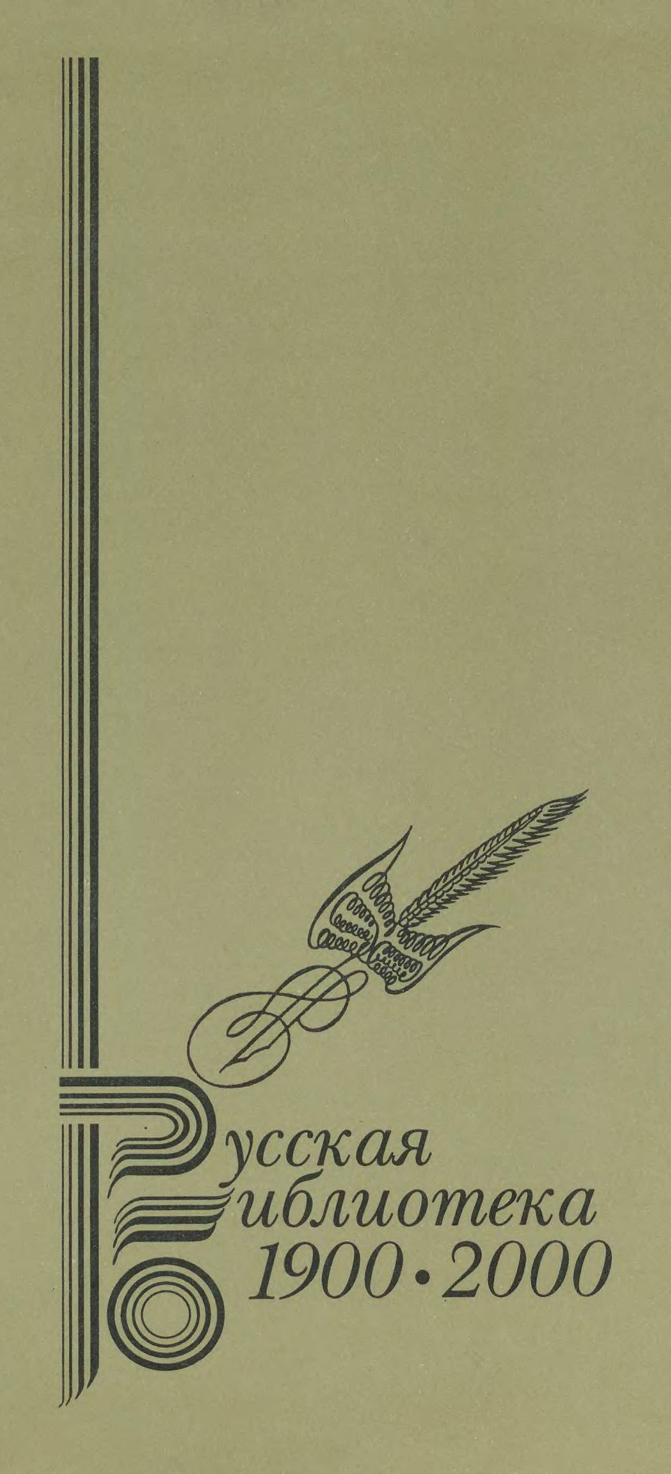
Издательство НПК "Интелвак",
113105, Москва, Нагорный пр., 7. Тел.127-38-46, факс 127-38-47.

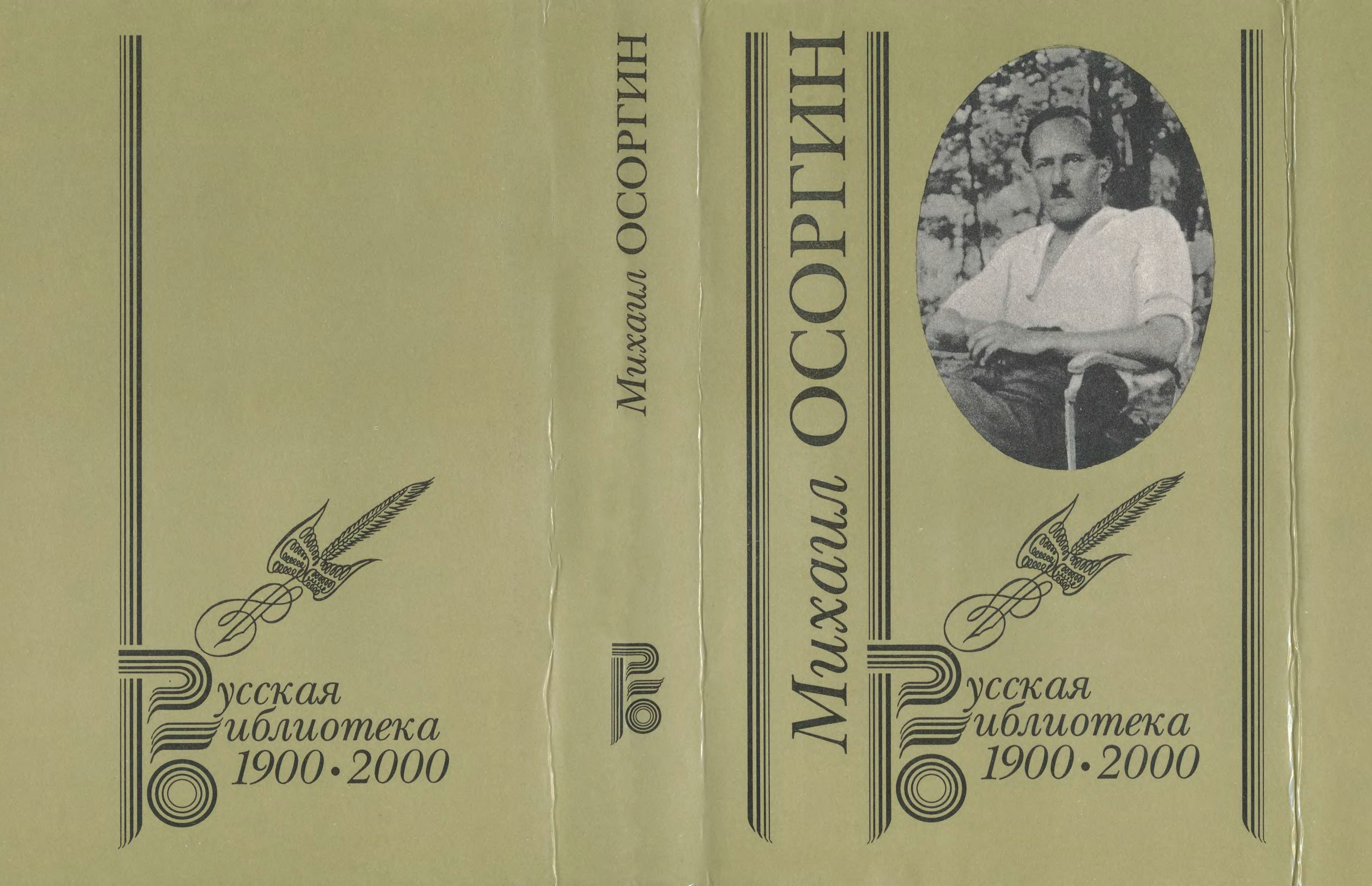
Отпечатано с готового оригинал-макета на Государственном унитарном предприятии Смоленский полиграфический комбинат Государственного комитета Российской Федерации по печати.
214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1.

ISBN 5-93264-003-0






Русская
библиотека
1900 • 2000


Русская
Библиотека
1900 • 2000
Михаил ОСОРГИН
Михаил ОСОРГИН
Русская
Библиотека
1900 • 2000